РУССКАЯ КРИТИКА



Литературно-критические статьи







Н. К. МИХАЙЛОВСКИЙ

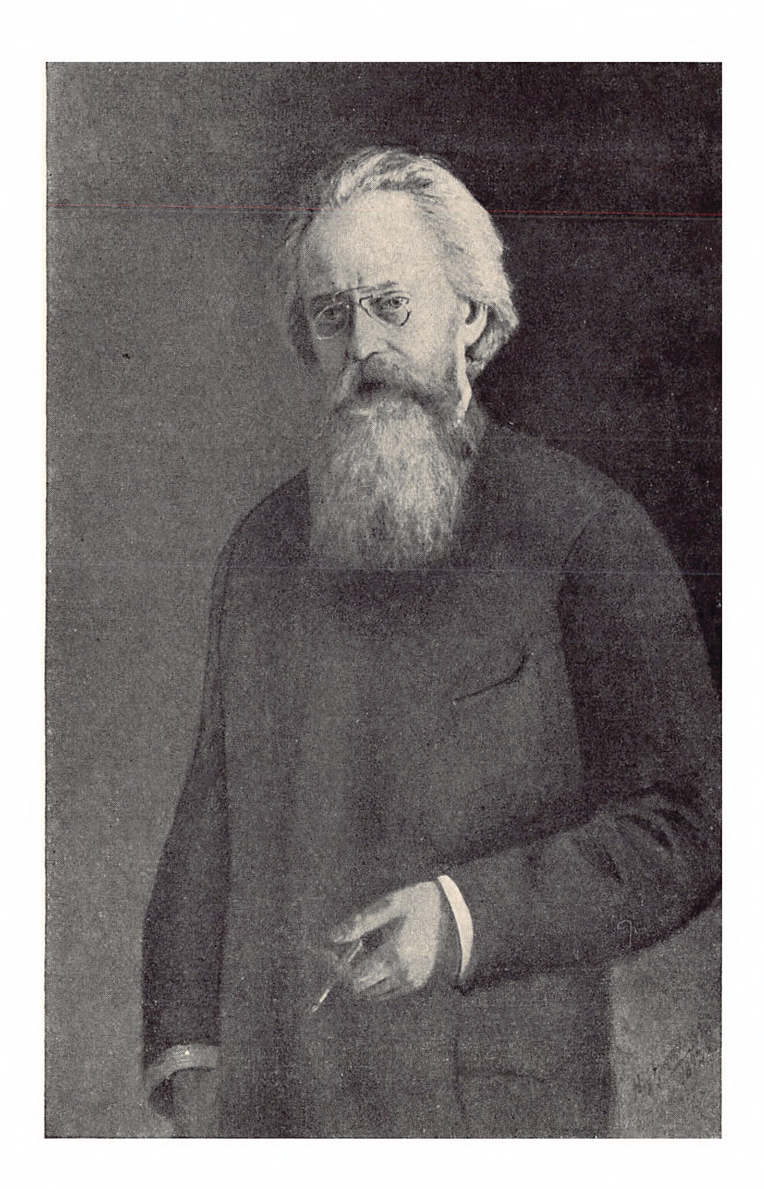
ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ











РУССКАЯ КРИТИКА

Н. К. МИХАЙЛОВСКИЙ

Литературно-критические статьи



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1957

Подготовка текста,
вступительная статья и примечания
Г. А. БЯЛОГО

Оформление художника
М. РОВЕНСКОГО

Н. К. МИХАЙЛОВСКИЙ — ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК

Имя Н. К. Михайловского неразрывно связано с народническим литературно-общественным движением. Среди народнических критиков, действовавших в легальной печати, Михайловский был бесспорно самой популярной фигурой.

Перу Михайловского принадлежат статьи и отзывы о крупнейших русских писателях второй половины XIX и начала XX века. Его работы о Тургеневе, Щедрине, Толстом, Достоевском, Г. Успенском, Гаршине, Чехове были заметным явлением в истории русской литературы и общественной мысли второй половины XIX века. Между тем литературная деятельность Михайловского освещена еще далеко не достаточно. Разобраться в сложном наследии Михайловского, выяснить сильные и слабые стороны его критических взглядов — одна из важных задач советского литературоведения.

1

Николай Константинович Михайловский родился 15 ноября 1842 года в Мещовске, Калужской губернии, в дворянской семье среднего достатка.

Учился Михайловский в костромской гимназии. В 1856 году умер его отец (матери он лишился в раннем детстве), и родственники, совместно с опекунами, определили его в Петербургский институт корпуса горных инженеров. Здесь в пору общественного подъема накануне крестьянской реформы Михайловский воспринял освободительные веяния времени: учащиеся читали «Современник», увлекались Чернышевским, Добролюбовым, Некрасовым, читали также и запрещенный «Колокол». Закончить курс Михайловскому

не удалось: в 1863 году, когда он был в последнем классе корпуса, произошла обычная в те времена «история»: столкновение учащихся с учебным начальством. В этой «истории» Михайловскому принадлежала не последняя роль, и ему было предложено подать прошение об увольнении из корпуса.

Литературная деятельность Михайловского началась еще до выхода из института. В 1860 году, семнадцати лет от роду, он поместил в журнале «Рассвет» первую критическую статью — «Софья Николаевна Беловодова», посвященную актуальному в то время женскому вопросу. Однако вначале не литература влекла к себе Михайловского; еще на институтской скамье он мечтал об адвокатуре. После исключения из института он стал усиленно заниматься юридическими науками, но поступить в университет ему не удалось, и с юриспруденцией Михайловский решил распрощаться навсегда, чтобы целиком отдаться литературе и публицистике.

В 1865 году он познакомился с группой передовых литераторов, сотрудничавших в журнале «Книжный вестник». С тех пор Михайловский стал постоянным сотрудником этого журнала, а иногда, в критические для журнала периоды, он выполнял даже обязанности редактора.

Один из сотрудников «Книжного вестника», Николай Дмитриевич Ножин, оказал на Михайловского огромное влияние. Талантливый молодой ученый, биолог по специальности, он мечтал о сближении естествознания с общественными науками и от этого сближения ожидал важных последствий для развития революционной социалистической мысли. В очерках «Вперемежку» Михайловский с сочувствием и даже с восхищением изобразил Ножина в лице Бухарцева. «Никогда не встречал я такой силы анализа, такой способности к обобщению, такого быстрого усвоения фактического материала, такой неустанной, почти лихорадочной работы мысли, — так отзывался Михайловский о своем друге. — Пишу вполне трезво и сознательно: Бухарцев был гениальный ум» (IV, 267) *. Ножин охотно развивал свои мысли в кругу друзей и, пишет Михайловский, «можно сказать, ежедневно осыпал нас гипотезами, теориями, оригинальными сближениями, не придавая им никакого значения, а так, между делом. Так льется вода из переполненного сосуда» (IV, 269).

Общение Михайловского с Ножиным было очень кратковременным. Ножин умер в 1866 году, 3 апреля, при загадочных, до сих

* Статьи Михайловского цитируются по тексту полного собрания его сочинений, изд. «Русского богатства», СПб. 1896. В скобках указываются том и страница.

пор не выясненных обстоятельствах. Ножин был близок к Худякову, тесно связанному с Каракозовым; перед покушением Каракозова Ножин стал проявлять признаки беспокойства, нервозности, подолгу отлучался из дома, наконец внезапно заболел и умер в больнице накануне покушения. Есть основания предполагать, что он отравился; быть может, он был противником покушения и пытался предотвратить его. Вероятно, Ножину Михайловский обязан сближением с революционными кругами, и несомненно под его воздействием он пристально заинтересовался биологическими вопросами. Социальные идеи Добролюбова и Чернышевского, мелкобуржуазный социализм Прудона, учения европейских социалистов-утопистов соединились в сознании Михайловского с естественно-научными проблемами.

Кроме «Книжного вестника», Михайловский сотрудничал в «Неделе», в «Гласном суде»; он принял участие и в «Невском сборнике» Некрасова. Естественно, что ему было предложено сотрудничество в некрасовских «Отечественных записках». Работа в «Отечественных записках» с 1869 года до закрытия журнала составила эпоху в жизни и деятельности Михайловского. Здесь помещались все его критические и публицистические статьи. В «Отечественных записках» Михайловский работал рядом с Некрасовым и Щедриным. Щедрин не разделял многих воззрений Михайловского, связанных с его субъективной социологией, поэтому между ними иной раз возникали серьезные расхождения. Однако эти расхождения не раскалывали редакционного коллектива «Отечественных записок».

За время работы в «Отечественных записках» установились и окрепли связи Михайловского с революционными кругами. Еще в 1864 году Михайловский под влиянием «Что делать?» Чернышевского принял участие в организации кооперативной артели, целиком истратив на это предприятие небольшое наследство, доставшееся ему после смерти отца. В пору близости с Ножиным он, очевидно, вращался в среде, близкой к каракозовцам. В период «Отечественных записок», не примкнув организационно ни к одному из революционных течений, он близко стоял к «Земле и воле», и в особенности к «Народной воле». В 1878 году, после выстрела Веры Засулич, он написал нелегальный «Летучий листок», в котором доказывал, что если управление страной не будет передано в «общественные руки», то единственным выходом будет создание тайного «Комитета общественной безопасности». «И тогда, — писал он, — горе безумцам, становящимся поперек путей истории!» (X, 70).

Сотрудничал Михайловский и в нелегальном органе народо-

вольцев «Народная воля». Здесь он поместил статью «Лисий хвост и волчий рот», направленную против министра внутренних дел Лорис-Меликова, хитрого и ловкого диктатора, прикрывавшего борьбу против революционного движения либеральными фразами. Здесь же поместил Михайловский несколько статей под общим заглавием «Политические письма социалиста». Эти письма неслучайно были подписаны псевдонимом «Гроньяр», что значит ворчун. «Ворчал» Михайловский потому, что его смущали надежды на народное восстание, в которое народовольцы, как известно, и без того верили весьма слабо. Ведь партия «Народной воли» и возникла в результате краха надежд на массовое движение крестьянства. Но Михайловский занимал в этом вопросе позицию еще более крайнюю, чем руководители народовольческого журнала: он возлагал надежды исключительно на активность революционеров-одиночек в их борьбе с правительством. Вместе с тем он убеждал народовольцев для достижения своих целей не отказываться от близости с либеральными кругами. Как известно, народничество никогда не могло отделить себя резкой чертой от либерализма, и в «Письмах» Михайловского это сказалось с особенной ясностью.

Несмотря на эти разногласия, Михайловский всегда поддерживал связи с деятелями революционного подполья и даже старался помогать им практически. После убийства Александра II Исполнительный комитет «Народной воли» обратился к новому царю с открытым письмом, содержавшим ряд политических требований. Письмо это было передано на окончательную редакцию Михайловскому и затем принято с теми небольшими поправками, которые он предложил. В 1882 году Михайловский принял деятельное участие в переговорах правительства с «Народной волей». Близкий к кругу Чернышевского журналист Н. Я. Николадзе, выполнявший в этих переговорах роль посредника, обратился к Михайловскому, и тот взял на себя для этой цели организацию совещания уцелевших деятелей «Народной воли»; между прочим, он ездил в Харьков, где скрывалась тогда В. Н. Фигнер, единственная из оставшихся на свободе членов Исполнительного комитета.

И до и после этого эпизода Михайловский поддерживал личные связи с деятелями революционного подполья. Однако прямую революционную работу он никогда не считал своей главной задачей. Свою роль он понимал как роль теоретика и публициста, отстаивающего задачи и принципы народничества в легальной журналистике. В этом смысле ответил он П. Л. Лаврову, когда тот предложил ему систематическое участие в нелегальном журнале «Вперед».

После закрытия правительством в 1884 году «Отечественных записок» Михайловский в 1885 году перешел в «Северный вестник», в котором пытался воскресить традиции закрытого журнала. Убедившись в невозможности этого, он в 1888 году покинул «Северный вестник» и нашел себе временное пристанище в «Русских ведомостях» и отчасти в «Русской мысли». В 1892 году он принял участие в «Русском богатстве» и с 1894 года до конца жизни стоял во главе этого журнала. Общеизвестно, что «Русское богатство», став типичным органом народнического либерализма, ни в малой мере не заменило «Отечественных записок». На страницах «Русского богатства» велась упорная борьба с революционным марксизмом, и Михайловский возглавлял эту борьбу.

Лучший, относительно прогрессивный период его литературно-критической деятельности остался позади. 28 января 1904 года Н. К. Михайловский умер.

2

На протяжении всей своей литературной деятельности Михайловский упорно и настойчиво подчеркивал свою идейную связь с шестидесятниками — с Чернышевским, Добролюбовым, отчасти и с Писаревым. Он считал себя прямым преемником этих людей, верным хранителем их наследства. Он много раз говорил о том, что прошел их школу, воспитался в созданной ими идейной атмосфере, и он действительно многое воспринял от своих предшественников, но в то же время во многом разошелся с ними. Для взглядов Михайловского характерна та специфическая прибавка народничества к наследству революционных просветителей, о которой говорил В. И. Ленин в работе «От какого наследства мы отказываемся?» *.

Такой народнической «прибавкой» является субъективная социология Михайловского: его теория прогресса, учение о целостности «неделимых», о борьбе за индивидуальность.

Верховным мерилом ценности и прогрессивности всех общественных явлений Михайловский объявлял человеческую личность, индивидуальность или «неделимое», как он обычно называл индивидуальность, применяя ходовой термин, принятый в биологической науке. Законно, хорошо, нравственно, прогрессивно лишь то, что соответствует потребностям, желаниям, счастью человеческой личности. Личность, рассуждает Михайловский, меньше всего за-

* См. В. И. Ленин, Сочинения, т. 2, стр. 474.

интересована в том, чтобы стать частью какого бы то ни было целого, быть поглощенной им, и больше всего заинтересована в самодостаточности, в целостности и гармонии. Отсюда вырастает знаменитая формула прогресса Михайловского, выдвинутая им в ранней его работе «Что такое прогресс» (1869), сразу же ставшей «евангелием» субъективной народнической социологии: «Прогресс есть постепенное приближение к целостности неделимых, к возможно полному и всестороннему разделению труда между органами и возможно меньшему разделению труда между людьми. Безнравственно, несправедливо, вредно, неразумно все, что задерживает это движение. Нравственно, справедливо, разумно и полезно только то, что уменьшает разнородность общества, усиливая тем самым разнородность его отдельных членов» (I, 150).

Антиисторичность, отвлеченный «антропологизм» этой формулы, ее идеалистическая природа — все это теперь совершенно очевидно. Еще в 90-х годах В. И. Ленин и Г. В. Плеханов разъяснили это с исчерпывающей точностью. «Вы видите, — писал В. И. Ленин в 1894 году о теории прогресса Михайловского, — этого социолога интересует только такое общество, которое удовлетворяет человеческой природе, а совсем не какие-то там общественные формации, которые притом могут быть основаны на таком не соответствующем «человеческой природе» явлении, как порабощение большинства меньшинством. Вы видите также, что с точки зрения этого социолога не может быть и речи о том, чтобы смотреть на развитие общества как на естественно-исторический процесс... Мало того, не может быть речи даже и о развитии, а только о разных уклонениях от «желательного», о «дефектах», случавшихся в истории вследствие... вследствие того, что люди были не умны, не умели хорошенько понять того, что требует человеческая природа, не умели найти условий осуществления таких разумных порядков» *.

Выдвинув свою формулу прогресса в полемике против «органической теории» Герберта Спенсера, Михайловский в дальнейшем старался уточнить и углубить ее, привлекая для этой цели разнообразные материалы из области биологии и социологии, истории и политической экономии, но сущность ее сохранил на протяжении всей своей деятельности. Такое понимание прогресса он считал единственно возможным; выдвинуть в качестве критерия прогресса интересы и потребности более широкой единицы, чем личность, например общества, — с точки зрения Михайловского противно самой природе человека, потому что общество представляет собой

* В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 119—120.

некую высшую индивидуальность, которая стремится подчинить себе человека, подобно тому как человек стремится подчинить себе низшие «индивидуальности», то есть отдельные органы, входящие в его состав.

Личность Михайловский рассматривал не только как единственный критерий прогресса, но и как главного творца истории. В статье «Герои и толпа» (1882) Михайловский так ставил вопрос о соотношении личности и массы: при современном общественном строе, считал он, огромное большинство людей подавлено однородностью и скудостью жизненных впечатлений. В этих условиях сознание и воля массы, «толпы», тускнеет, люди становятся терпеливы, покорны, послушны; человеческая толпа легко впадает в состояние почти гипнотической пассивности и обнаруживает повышенную склонность к бессознательному подражанию. И тут человек с инициативой — «герой» — может с легкостью увлечь за собой «толпу» на любое дело, доброе или злое, на подвиг или на преступление. Человек этот может быть вовсе не великим, даже не выдающимся деятелем, и тем не менее именно он будет «героем» того или иного исторического события.

Эта теория Михайловского стала обоснованием многих политически ошибочных действий народников, — в частности, их тактики индивидуального террора.

Выдвигая в своих социологических построениях на первое место личность и противопоставляя ее обществу, Михайловский в то же время превращал личность в некую абстракцию и ее интересы рассматривал в отрыве от реального хода истории. В самом деле, согласно теории прогресса Михайловского, все реальные достижения человеческой культуры, промышленности, техники, материальной цивилизации оказывались явлениями регрессивными, а прогрессивные явления человеческой истории либо терялись в туманной дали доисторического периода, либо мелькали в качестве редких феноменов исторического прошлого, либо представали как задача, как цель, как идеал для будущего.

Этот зияющий разрыв между субъективным идеалом и объективным развитием жизни Михайловский заполнял теорией «типов и степеней развития». Современный общественный строй, рассуждал он, действительно стоит на очень высокой степени развития, но это *высокая степень* в развитии *низшего типа;* наоборот, первобытный строй жизни находился на крайне *низкой степени* развития, зато он представлял собой *высший тип*. Это же относится и к современной крестьянской общине, отсталой по сравнению с окружающими ее формами капиталистического хозяйства; она представляет собой высший *тип* общественной организации, стоящий

на низкой *степени* развития. Задача и цель людей, берущих на себя осуществление формулы прогресса, должна, очевидно, заключаться в том, чтобы привести высокий *тип* общественного развития к столь же высокой *степени.*

К этому же, по Михайловскому, должна была бы стремиться истинная наука, но беда заключается в том, что такая наука не может существовать и развиваться в современном обществе, основанном на кастовом строе, на специализации и чудовищном разделении труда. Здесь мы подходим к взглядам Михайловского на роль и значение науки в современном обществе.

Результатом чрезмерного разделения труда в этой области явилась раздробленность научного познания и прежде всего взаимная изоляция наук естественных и общественных. Наука о жизни — биология — и наука об обществе — социология, так далеко отошедшие одна от другой в результате свойственной современному строю специализации, должны, по Михайловскому, объединиться: обе эти науки исследуют, с его точки зрения, все тот же всеобъемлющий закон — закон борьбы за индивидуальность. Михайловский часто выступал против кастовости, против академизма, против ведомственных перегородок в науке. В частности, свою задачу он видел в том, чтобы «смешать» все виды знания, переходя с полной непринужденностью от данных биологии к фактам истории, литературы, современной политической жизни. Публицистичность, даже фельетонность литературной манеры стала как бы декларативной позицией Михайловского; для него это было больше чем манера, это был принцип. В 1876—1877 годах он помещал в «Отечественных записках» очерки под характерным заглавием — «Вперемежку», где писал уже решительно обо всем разом: беллетристические главы перемежались политическими тирадами, рассуждениями на биологические и социальные темы, лирическими воспоминаниями, критическими этюдами, и т. п. В предисловии к этому циклу он заявлял с задором: «Я не романист, не критик, не публицист, а всего понемножку, «вперемежку». В таком смысле я и условие с редакцией «Отечественных записок» заключил. Выйдет у меня фантастическая поэма — могу ее печатать, водевильные куплеты — тоже могу, критические заметки — опять могу, и т. д.» (IV, 210—211).

Свое положение в науке он определил словом «профан», противопоставив, таким образом, свою позицию позиции патентованных представителей официальной науки. «Записки профана» — так назывался его цикл 1875 года. Профан, от лица которого написаны очерки, — это как бы воплотившаяся абстрактная «индивидуальность», «целостная личность», борющаяся за свои права

в жизни и получившая свой голос в литературе, политике и науке; в то же время это обыкновенный образованный человек, считающий себя вправе предъявлять требования людям науки, забывшим про его существование. «Как профаны, мы носим в себе начало свободы, независимости, неприспособленности к данной форме общества, задаток лучшего будущего, задаток успешной борьбы за индивидуальность. Поэтому, служа профанам, наука служит человечеству». Только на пути служения профанам наука может добиться полной истины. «Исполняйте наши заказы, люди науки, и вам дастся истина» (III, 423—424).

Говоря об истине, Михайловский разумел только «явления и те постоянные отношения, в которые они становятся друг к другу». «Сущность вещей, — говорил он, — вечная тьма». Человек не может познать то, что выходит за пределы его опыта, да и не должен стремиться к этому, так как эти стремления ни к чему не ведут его в борьбе за счастье. Опираясь на О. Конта и позитивистов, Михайловский самое стремление постигнуть «сущность вещей» считал метафизикой. Позитивистский агностицизм, являвшийся по философскому существу своему разновидностью идеализма, лег, таким образом, в основу его мировоззрения.

Об этой стороне взглядов Михайловского В. И. Ленин писал: «В философии Михайловский сделал *шаг назад* от Чернышевского, величайшего представителя утопического социализма в России. Чернышевский был материалистом и смеялся до конца дней своих (т. е. до 80-х годов XIX века) над уступочками идеализму и мистике, которые делали модные «позитивисты» (кантианцы, махисты и т. п.). А Михайловский плелся именно за такими позитивистами» *.

3

Таковы основные черты тех глубоко ошибочных взглядов, которые развивал Михайловский в качестве «прибавки» к наследству шестидесятников. Давно уже было отмечено, что по научной сущности своей эта «прибавка» эклектична. Действительно, в своем стремлении все смешать и объединить на пользу человеку Михайловский был эклектиком не только практически, но и принципиально. Подбирая аргументы в пользу своей теории прогресса, он брал разнородный материал, и брал его отовсюду: биологические аргументы он заимствовал у русского натуралиста Карла Бэра: философская основа его построений восходит к позитивиз-

* В. И. Ленин, Сочинения, т. 20, стр. 100—101.

му — к О. Конту, Е. Дюрингу и другим; полемизируя против органической теории Г. Спенсера, Михайловский опирался на многие понятия спенсеровой социологии — на его рассуждения об органе и организме; яркие примеры губительной роли разделения труда он заимствовал у Маркса; даже в пору полемики с марксизмом он без всяких на то оснований защищал субъективизм ссылкой на известные тезисы Маркса о Фейербахе (Последние сочинения, I, 70—71); в своей критике капиталистического строя он опирался на Прудона, идею соединения биологии с социологией Михайловский сам связывал с именем Ножина; идеал гармонического, целостного, естественного человека восходит к великим западноевропейским утопистам и, конечно, к Чернышевскому. Более мелкие источники построений и аргументов Михайловского настолько многочисленны и разнородны, что перечислить их было бы нелегко.

Однако при всем теоретическом эклектизме система Михайловского, как и система русского народничества вообще, обладает внутренним единством своего объективно-социального содержания. И признание регрессом капиталистической формации общества, и идеализация докапиталистической старины, и фетишизация целостного, «самодостаточного» человека, и т. п. — все это имеет своим реально историческим содержанием «представительство интересов и точки зрения русского мелкого производителя, мелкого буржуа. Поэтому народник в теории точно так же является Янусом, который смотрит одним ликом в прошлое, другим — в будущее, как в жизни является Янусом мелкий производитель, который смотрит одним ликом в прошлое, желая укрепить свое мелкое хозяйство, не зная и знать ничего не желая об общем экономическом строе и о необходимости считаться с заведующим им классом,— а другим ликом в будущее, настраиваясь враждебно против разоряющего его капитализма» *.

Таким образом, Михайловский, подобно другим теоретикам народничества, выражал и отстаивал интересы огромной массы русских мелких производителей. Опираясь на ошибочную философско-социологическую теорию, он в этой теории искал и находил обоснование необходимости и неизбежности борьбы с самодержавно-полицейским гнетом и с пережитками крепостничества.

Надо помнить, что взгляды Михайловского сформировались в период общественной реакции, когда казалось, что объективный ход истории не оправдывает демократических стремлений передовой интеллигенции. В этих-то условиях и возникли идейные концепции, рассчитанные на то, чтобы повернуть колесо истории, не

* В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 480—481.

считаясь с ее объективным ходом и даже вопреки ему. Поэтому и взгляды Михайловского приобрели субъективистский и волюнтаристский характер. Но будучи активно направлены против реакционных сил, эти взгляды, ошибочные по своей научной сущности, приобрели тем не менее в 70—80-е годы боевое демократическое содержание.

Михайловский не случайно связывал свою идейно-политическую биографию с приходом в русскую жизнь разночинцев-демократов, хотя прямо себя к ним не относил. В приходе разночинца он видел начало нового периода русской общественной мысли. «Что случилось? — писал он в 1874 году.— Разночинец пришел. Больше ничего не случилось. Однако это событие, как бы кто о нем ни судил, как бы кто ему сочувствовал или не сочувствовал, есть событие высокой важности, составившее эпоху в русской литературе» (II, 623). С этого времени и начинается для Михайловского современный этап русской жизни и литературы. Предшествующие периоды он затрагивал редко и почти всегда в связи с вопросом о разночинцах. О декабристах, например, Михайловский отказывался говорить по цензурным соображениям. «Я не могу говорить об этих людях так, как хотел бы, а говорить так, как могу,— не хочу» (II, 633). Люди 20-х годов были в его глазах гораздо беднее жизненным опытом, чем разночинцы; он подчеркивал, что «ядро их составляла военная молодежь аристократического происхождения», и сама констатация этого факта звучала в его устах как осуждение.

Что касается людей 40-х годов, то это были дворяне средней руки, образованные и чуткие, но с неопределенным мировоззрением и неопределенным общественным положением: «ни в тих ни в сих», говорил Михайловский. Не имея крепких связей с настоящим, не имея причин веровать крепко в будущее, эти люди, естественно, должны были искать себе пристанище в сфере более или менее отвлеченных истин и красот. «К окружающей их действительности они должны были, конечно, относиться отрицательно, но в большей части случаев, постояв перед ней в позе красивого уныния, они стремились уйти от ее скверн в тихое пристанище гегелевской диалектики и красивых образов» (II, 634). Из этой среды для Михайловского выделялся только гениальный Белинский и небольшая группа стоявших возле него людей: «под красивой корой искусства и философии» у них появились реальные жизненные задачи: освобождение крестьян, освежение политической атмосферы и т. п.

Только разночинцы, по мнению Михайловского, выдвинули вопросы народной жизни как единственно важные, только они отвле-

ченные категории цивилизации подчинили идее народа и его блага; к тому же они сами, как выходцы из народа, имели право говорить от его имени и заявлять свои права. Это были люди часто грубоватые и бесцеремонные, менее чуткие, чем их предшественники, но зато более решительные, не сомневающиеся в себе и знающие, что делать.

В тесной связи с «пришествием разночинца» находится, по Михайловскому, появление другого общественного элемента. Это дворяне по происхождению, дети людей 40-х годов, которыми овладела непреодолимая потребность «самообругания, самонаказания, покаяния». Этих людей, почувствовавших вину и ответственность за свою принадлежность к господствующему сословию, Михайловский назвал «кающимися дворянами». Рассматривая эту общественную группу, Михайловский сильно преувеличивал ее роль и значение. В революционно-демократическом движений 60-х годов и в народническом движении 70—80-х годов участвовало немало выходцев из помещичьей среды, иные из них играли видную роль. Достаточно вспомнить Писарева, Лаврова, Крапоткина и самого Михайловского. Но, будучи выходцами из дворянской среды, они реально-исторически были деятелями разночинного периода русского освободительного движения. Созданные ими социальные и политические теории были выражением взглядов мелкого производителя, мелкого буржуа, и ничего дворянского в себе не заключали. А чувство социальной вины и покаянные настроения, сказывавшиеся у некоторых народнических писателей, ничего существенно важного в систему народнических взглядов не вносили. Михайловский же склонен был видеть в «кающихся дворянах» некую обособленную группу, даже «секту», как он ее иной раз называл. Люди этой «секты», считал Михайловский, начали с того, что занялись разработкой личной морали. Как жить свято? — вот вопрос, который на первых порах захватил все их внимание. Кающимся дворянам грозила прямая опасность «закупориться в тесную раковину собственной чистоты», но на помощь к ним пришли разночинцы и спасли «кающихся дворян» от крайностей. Разночинцы были полны ненависти, решимости и увлекли этими своими настроениями молодых сектантов. Каяться разночинцам было не в чем; напротив, они не хотели знать никаких эпитимий и требовали покаяния от других. Разночинцы и «кающиеся дворяне», при всем отличии друг от друга, почувствовали свою взаимную близость: те и другие были недовольны существующим порядком вещей и стремились к изменению жизни. Эти различные психологические типы дополняли друг друга, сохраняя, однако, свои типические признаки.

Основной психологической чертой разночинцев Михайловский считал начало «чести», в то время как у «кающихся дворян» он видел прежде всего обостренное чувство «совести». Установить гармонию между требованиями «совести» и «чести» — в этом видел Михайловский задачу будущего. Самая же психологическая потребность в такой гармонии возникла после того, как «кающиеся дворяне» встретились с разночинцами. К «кающимся дворянам», к людям «уязвленной совести», которые в своих стремлениях столкнулись с героями «чести» — разночинцами, — и возводил Михайловский свое мировоззрение, свою систему. «Уязвленная совесть» заставила его и ему подобных почувствовать личную ответственность за господствующую в мире неправду, вызвала ощущение долга перед народом, стремление сквитаться с ним, оградить народ от «чумазого» и ради этой цели опровергнуть и разоблачить всех и всяких апологетов современного строя, оправдывающих закабаление народа.

Этими понятиями «совести» и «чести», которым Михайловский придавал важное значение, он всегда оперировал как в своих социально-философских сочинениях, так и в литературно-критических статьях.

4

Первое печатное произведение Михайловского — статья «Софья Николаевна Беловодова» (1860) не дает представления о его критической манере. Это еще юношеская, незрелая работа: ее автору было всего семнадцать лет. Такой же характер «пробы пера» имеет и большинство рецензий, помещавшихся Михайловским на протяжении 60-х годов в «Книжном вестнике». Подлинное лицо Михайловского-критика обнаружилось в его политических выступлениях против литературной реакции разных оттенков. Уже в 1868 году появилась его статья «Старички» — один из тех больших и колких фельетонов, которые и позднее нередко посвящал Михайловский литературным явлениям, не заслуживающим серьезного разбора.

В «Старичках» подвергнуты жестокому осмеянию «Беседы в Обществе любителей российской словесности при императорском Московском университете». Престарелые члены общества, вроде Федора Глинки и князя Вяземского, закосневшие в своих пристрастиях к литературной старине и ненависти к прогрессивной литературе, обрисованы как зубры из Беловежской пущи, вообразившие себя хранителями истины вообще и истинных понятий о прекрасном в частности. На заседаниях этих старцев, обменивающихся

церемонными приветствиями, молодому критику слышится «какой-то мертвый, торжественный шум, как бы от падения на пол сыплющегося песка». С презрительным негодованием оценивает Михайловский характерную черту литературных староверов — «симпатию к величавой и красно- и многоречивой «российской словесности» и антипатию к сменившей ее «русской литературе» (X, 444).

В оценке ретроградных писателей Михайловский не стесняется в выражениях и не знает другого оружия, кроме сатирического бича. Так же обращался он впоследствии и с реакционными беллетристами 70—80-х годов — Б. Маркевичем, Авсеенко и им подобными; не критические разборы посвящал им Михайловский, а сатирические фельетоны, написанные иной раз в щедринской манере. Он старался показать, к примеру, что аристократические защитники «основ» семьи и брака, негодующие против нигилистов — разрушителей этих «основ», сами в своих бесчисленных романах любуются фривольными и соблазнительными нравами великосветских лоботрясов обоего пола. С блеском и остроумием пародировал Михайловский великосветский роман, в котором герои группируются парами, и эти пары «более или менее красиво совершают многоточие». «Эх, господа, господа! — обращается критик к писателям вроде Маркевича и Авсеенко.— Любовь дело житейское, любовь дело вольное, но лицемерие дело скверное. Или скажите уж прямо: узы брака священны, но messieurs Леон, Панталеон, Мильон и mesdames Кира, Мира, Заира имеют привилегию на разрушение оных. Тогда по крайней мере дело ясно будет» (V, 560).

С такой же беспощадной резкостью отнесся Михайловский и к реакционным веяниям в молодой беллетристике 80-х годов. В самом начале этого десятилетия писатель-ренегат Ю. Н. Говоруха-Отрок написал несколько рассказов, главным героем которых был революционер, разочаровывающийся в своей былой деятельности. Фигура этого отщепенца была освещена трагическим светом и подана в сочувственном духе. Михайловский откликнулся на эти рассказы, характерные для 80-х годов, презрительно-гневной статьей «Гамлетизированные поросята» (1882). Эта кличка относилась к героям рассказов Говорухи-Отрока, прикрывавшим свое ренегатство гамлетической позой. Задача критика заключалась в том, чтобы указать этим людям их настоящее место. «Это тем полезнее теперь,— писал Михайловский,— когда к услугам гамлетизированных поросят являются модные пессимистические теории, с высоты которых они могут с особенным удобством кокетничать и ломаться» (V, 690).

Рядом с этими боевыми выступлениями Михайловского против литературной реакции, в каких бы формах она ни проявлялась, могут быть поставлены и его критические оценки писателей школы «чистого искусства». Теория и практика «чистого искусства» была органически чужда и враждебна Михайловскому. Вслед за Чернышевским и Добролюбовым он считал «чистое искусство» косвенным выражением антидемократической идеологии. «То, что понимается под всеми этими категориями,— писал он в 1874 году,— есть не более как замаскированное служение данному общественному строю» (II, 609). Еще в 1866 году, комментируя положение Тэна о зависимости искусства от «среды», Михайловский указывал, что эта зависимость бывает двоякая: художник может быть во главе «среды» и вести ее за собой, но он может также плестись в хвосте «среды». В последнем случае он будет тешить своих читателей «возвышающими обманами» чистого искусства. «Таким образом,— писал Михайловский,— участие этого сорта искусства в социальной жизни ограничивается увлечением общества в безвоздушную область прекрасного, вследствие чего общество теряет возможность оценить, насколько прекрасна ближайшая к нему атмосфера». Для того чтобы идти во главе среды, необходимо иметь определенный общественный идеал, то есть нечто отличное от действительности и желанное для нее. «Но не все находят это удобным,— писал Михайловский,— и потому подонки искусства не создают идеала, а возводят или лучше производят в идеал какой-нибудь нас возвышающий обман, то есть указывая на какую-нибудь пошлость, говорят, что это не пошлость, а прелесть, и воображают в простоте сердечной, что они себя и других возвысили» (X, 733).

Критик настойчиво подчеркивает, что «чистое искусство» только по видимости не имеет социального содержания и смысла. Так, рассматривая античные мотивы в поэзии Щербины, Михайловский приходит к выводу, что в своих греческих стихотворениях поэт только «желал служить исключительно красоте», в действительности же его антологическая поэзия является идеализацией помещичьего строя жизни.

Наравне с «чистым искусством» стояло для Михайловского и искусство протокольное, натуралистическое. В стремлении к «протоколам», к «бесстрастной анатомии» он видел не больше чем маску, которую надевают писатели для того, чтобы скрыть отсутствие широкой нравственно-политической программы. «Раз человек взял перо в руки с целью живописать человеческую жизнь,— писал Михайловский в «Дневнике читателя» 1887 года,— он никогда анатомией и протоколами не ограничится и ограничиться не может. Он непременно явится судьей и проповедником, и разница

между разными писателями состоит в этом отношении только в том, что для одних район явлений, подлежащих суду, и идей, нуждающихся в проповеди, шире, а для других у́же. У «натуралистов нет нравственно-политического идеала, и они пишут протоколы и бесстрастно-анатомические трактаты, но элементарные нравственные истины им доступны, и потому они пестрят свои протоколы более или менее страстным обличением воровства носовых платков» (VI, 507).

Одной из самых важных причин, порождающих политический индифферентизм натуралистов, Михайловский считал удовлетворенность этих писателей, в том числе и Зола, «наличным, существующим порядком вещей». «В политическом отношении он <Зола>, вообще говоря, совершенно доволен обстоятельствами, как они кругом него сложились. Это-то и дает ему смелость думать, что он строгий ученый» (IV, 431).

Оценка натурализма носит у Михайловского характер беглый и примерный, он не различает оттенков и течений внутри этого направления, он не выделяет Зола и несправедливо видит в нем апологета буржуазного строя. В этом отношении он разделяет ошибки многих своих современников, в том числе и Щедрина, также безоговорочно отрицавшего творчество Зола. Но в целом борьба Михайловского против натурализма имела, бесспорно, важное значение. В этой борьбе Михайловский шел рядом с Щедриным, посвятившим немало блестящих сатирических страниц французскому натурализму, в котором он видел выражение «безыдейной сытости».

Выступая против натуралистов и против сторонников «чистого искусства», Михайловский всегда подчеркивал, что как у тех, так и у других аполитичность является замаскированным служением интересам господствующих сословий.

Примечательно, что в оценке натурализма и «чистого искусства» Михайловский подходит к идеологическим явлениям с классовой точки зрения, и это не единственные случаи в его критической практике. Правда, только в оценке реакционных явлений литературы это приводило Михайловского к положительным результатам: в иных случаях Михайловский, пытаясь выяснить социальную сущность литературного произведения или творчества писателя в целом, нередко приходил к оценкам и определениям вульгарно-социологического характера. Например, коснувшись в одной из статей Пушкина, Михайловский категорически отверг общепринятый взгляд на него как на поэта общенародного. «Это замечательно неверно,— писал он.— Пушкин есть поэт по преимуществу дворянский... ни русский купец, ни русский мужик ему большой цены не дадут. Тот круг идей и чувств, который волновал современного ему

среднего дворянина, Пушкин исчерпал вполне и блистательно» (III, 526). Эта характеристика не стоит у Михайловского особняком. Так, в «Литературных заметках» 1878 года он полемизирует с распространенной оценкой И. Никитина как народного поэта. По Михайловскому, Никитин — поэт кулацкий. «Кулак, торгаш и вообще человек данной среды сидел в Никитине уже так сильно, что неопределенная проповедь добра, красоты и истины не могла сделать в нем какую-нибудь радикальную перемену. Она могла только почистить его, приодеть, причесать. Постоялый двор без непечатной ругани и сивухи удовлетворил бы его, да он и нашел такой постоялый двор в своем книжном магазине» (IV, 481) В «Письмах о правде и неправде» (1877) Михайловский упрекал славянофилов в том, что они, преувеличивая национальный элемент при объяснении некоторых идейно-политических учений, совершенно игнорируют элемент сословный: «...учения эти,— писал он,— суть не национальные, а сословные продукты, разумея под сословием группу людей с определенными интересами, отличными от интересов остальных частей нации» (IV, 448—449).

Нетрудно заметить односторонность социального анализа у Михайловского. Классовый характер идеологических явлений — это для Михайловского признак их порочности. Установить связь какого-либо идейного течения с насущными интересами класса, сословия — значит для Михайловского подчеркнуть антинародный характер этого течения, и наоборот, идейная борьба за интересы народа в концепции Михайловского внеклассова по своей природе. Однако и тот ограниченный социологический критерий, которым пользовался Михайловский, позволял ему иной раз обнаружить замаскированный и скрытый социальный интерес в явлениях, по внешности своей далеких от общественной злобы дня. Это ясно сказалось в приведенных выше характеристиках «чистого искусства».

5

В статьях и фельетонах, направленных против литературной реакции, против литературно-политического ренегатства, против школы «чистого искусства», Михайловский ставил перед собой ясную, определенную и сравнительно простую задачу. Речь шла в этих случаях о прямой дискредитации и разоблачении противников демократического литературно-общественного движения.

Иначе обстояло дело с оценкой творчества писателей сложных, внутренне противоречивых, в иных случаях приближавшихся к демократической идеологии, в иных случаях далеко отходивших от нее, таких писателей, как Тургенев, Толстой, Достоевский.

Что касается Тургенева, то при жизни писателя Михайловский решительно присоединился к тем, в общем отрицательным оценкам, которые встречали его произведения, написанные после разрыва с «Современником», в особенности же после «Отцов и детей».

Разумеется, Михайловский никогда не забывал о великой заслуге Тургенева как автора «Записок охотника», не забывал он и о том, что Тургенев ни на каком этапе своего пути не присоединялся к лагерю «гонителей правды». Поэтому он говорил о нем без того ожесточенного сарказма, с каким высказывался о писателях-реакционерах или ренегатах, но во всяком случае в его суждениях о Тургеневе при жизни писателя не было недостатка в иронии, самой язвительной и резкой. Уже в раннем журнальном обозрении 1868 года (в «Неделе»), упомянув о появившемся в «Вестнике Европы» рассказе Тургенева «Бригадир», Михайловский отказался даже воспроизвести содержание «этого бедного, старого, расслабленного «Бригадира», ибо «содержание его какое-то неподобное». Михайловский высмеивал пристрастие Тургенева к любовной теме и в самом тургеневском подходе к этой теме не видел ни глубины, ни серьезности: Тургенев, считал он, «только тешится картинами любви» (X, 455, 458).

В этой явно нигилистической оценке любовной темы у Тургенева Михайловский далеко отходит от революционно-демократической критики 60-х годов, лучшие представители которой, как например, Добролюбов, умели понять и оценить «всю прелесть тех страстных, нежных и томительных сцен, тех тонких и глубоких психологических подробностей», которыми рисуется любовь в «Накануне» и других произведениях Тургенева *.

Даже в отклике на смерть Тургенева, написанном в более чем примирительном тоне, Михайловский не оценил в должной мере его заслуг как романиста и отверг общепринятое мнение о нем как о чутком изобразителе новых моментов в идейной жизни общества, мнение, опять-таки обоснованное Добролюбовым. Чрезмерно заботясь об индивидуализации своих героев, Тургенев, считал Михайловский, затемняет основные черты их социального типа. Так, личные недостатки Рудина и Базарова совершенно затмили в обрисовке Тургенева общественное значение деятелей этого рода (II, 619). Что касается «Нови», то здесь, утверждал Михайловский, Тургенев подал свой голос в чужом для него деле (III, 904). Оскорбленный за народническое движение, столь скептически изображенное в «Нови», Михайловский решительно отрицал характерность образа

* Н. А. Добролюбов, Полное собр. соч., т. 2, ГИХЛ, М. 1935, стр. 223.

Нежданова. «Роман написан на тему современного движения в России, а между тем внимание читателя сосредоточивается главным образом на человеке, не верующем в то дело, которым он занимается, не имеющем ни политического темперамента, ни фанатической преданности своим убеждениям, ни холодной уверенности в торжестве своих идей. Спору нет, Неждановы возможны везде, а следовательно, и в среде русских революционеров, но, конечно, не они для этой среды характерны» (V, 692).

В действительности же в образе Нежданова, этого «романтика реализма», наделенного глубокой честностью, любовью к народу, которого он и ему подобные как следует не знали, было, разумеется, много характерного для народнического движения. Михайловский не понял того, что отметил П. Ф. Якубович, автор народовольческой прокламации, выпущенной ко дню похорон Тургенева: «Барин по рождению, аристократ по воспитанию и характеру, «постепеновец» по убеждениям, Тургенев, быть может, бессознательно для самого себя своим чутким и любящим сердцем сочувствовал и даже служил русской революции» *.

Впрочем, причина споров Михайловского с Тургеневым ясна, он сам сказал о ней в отзыве на «Пунина и Бабурина». Дело в том, что Тургенев принадлежит к тем людям 40-х годов, которых борьба разночинцев-демократов против либеральных деятелей заставила «отшатнуться от нашего последнего движения» (II, 669—675). А в очерках «Вперемежку» Михайловский даже с некоторой горечью говорил о большом художественном таланте Тургенева, с горечью потому, что «Тургенев — большой человек. Большой, да не наш. Федот, да не тот» (IV, 282).

«Большой, да не наш» был для Михайловского и Лев Толстой, но, оценивая его произведения, Михайловский уже в 70-х годах указал на противоречивость его мысли и стремился найти у Толстого такие черты, которые свидетельствовали бы о демократической природе его творчества.

Впервые Михайловский обратился к Толстому в 1872 году в одной из журнальных заметок. Это было упоминание беглое, однако уже достаточно характерное. Рассуждая об оскудении литературы сравнительно с недавно минувшими 60-ми годами, когда писатели были захвачены идеей освобождения народа, Михайловский для подтверждения своей мысли ссылается на статью Л. Толстого «Прогресс и определение образования». Л. Толстой никак не может быть причислен к «неблагонамеренным утопистам»,

---

* И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников, изд. «Academia», М.—Л. 1930, стр. 4.

и потому его мнение для Михайловского особенно важно и ценно. С полным сочувствием приводит он слова Л. Толстого о том, что прогресс благосостояния не совпадает с прогрессом цивилизации и т. п. «Прогресс тем выгоднее для общества, чем невыгоднее для народа»,— писал Толстой, и Михайловский, разумеется, не мог не увидеть в этом близкой и родственной идеи. Он заявил о своем полном согласии с толстовским отрицанием «прогресса» по существу и в особенности с самым духом и приемами исследования Толстого. Народное благосостояние как критерий прогресса — это и был главный «прием исследования», который Михайловский встретил у Толстого как нечто вполне созвучное его собственным принципам.

В 1874 году Толстой поместил в «Отечественных записках» знаменитую статью «О народном образовании», наделавшую много шума и вызвавшую ожесточенную полемику. Это дало Михайловскому повод вновь высказаться о Толстом, на этот раз уже полным голосом и с большой определенностью. К тому же самый факт появления на страницах «Отечественных записок» Льва Толстого, тесно связанного с далекими и даже враждебными этому журналу органами печати, требовал со стороны Михайловского объяснения, если не оправдания. Что связывает «Отечественные записки» с Толстым и что их разделяет — на этот вопрос и дает Михайловский ответы в обширной статье под названием «Десница и шуйца Льва Толстого». Опять с безусловным сочувствием присоединяется он к толстовской теории прогресса, к мысли Толстого о том, что «исторический путь, которым идет Западная Европа и на который сравнительно недавно вступила Россия, отнюдь не усыпан розами» (III, 443).

При этом Михайловский проводит грань между взглядами Толстого и схожими с ними построениями славянофилов. В частности, он показывает, что толстовское понимание народа только по внешности соприкасается со славянофильским, так как для Толстого «русский народ» это не совокупность людей русской национальности, а трудящиеся классы России, находящиеся в резком антагонизме с верхними, нетрудящимися сословиями. Равным образом, указывает Михайловский, отрицательное отношение Толстого к европейской цивилизации, в отличие от славянофильских воззрений, основано не на началах «русского духа» и не на «возвышенных мерках смиренномудрия и терпения», а на принципе «общего благосостояния». «Он только потому отрицает эту цивилизацию, — пишет Михайловский, — что она не ведет к общему благосостоянию, и справься она с этим пунктом, — гр. Толстой не будет ничего иметь против нее» (III, 458).

Что касается постоянного тяготения Толстого к народу и к уходящей патриархальной старине народной жизни, то в этом Михайловский видит косвенное выражение идеи типов и степеней развития. «Лукашка и Илюшка составляют для гр. Толстого идеал не в смысле предела, его же не прейдеши, не в смысле высокой *степени* развития, а в смысле высокого *типа* развития, не имевшего до сих пор возможности подняться на высшую степень» (III, 500).

Нечего и говорить, что, приписывая Толстому солидарность (пусть бессознательную) с собственным учением о типах и степенях развития, Михайловский был далек от точного отражения взглядов писателя. Он давал не объективное изложение воззрений Толстого, а перевод этих воззрений на язык субъективной социологии. Однако в качестве такого своеобразного переводчика он был проницателен в том смысле, что верно подмечал у Толстого те черты, которые поддавались этому переводу, — именно патриархальность, ретроспективность его утопий, идеализацию уходящих в прошлое явлений народной жизни; он ясно чувствовал также, что все это соединяется у Толстого с непосредственным демократизмом. Будучи сам демократом утопического толка, Михайловский с одинаковым сочувствием принимал обе стороны учения Толстого, как оно сказалось в его педагогических статьях, — и утопическую патриархальность и живой демократизм. В этом соединении он не видел противоречивого совмещения сильных и слабых сторон Толстого-мыслителя. Напротив, он видел в этом только силу Толстого, его *десницу*. Слабость Толстого, его *шуйцу*, Михайловский усматривал в толстовском фатализме, в недоверии к человеческому разуму. Михайловский считал этот круг идей Толстого вопиющим противоречием толстовскому же учению о неразумности и безнравственности так называемого «прогресса».

В восприятии Михайловского Толстой раздваивается. «То вытягивается его десница, поднимается тот сильный, смелый, энергический человек, который решился во имя истины и справедливости, во имя интересов народа померяться со всей историей цивилизации, то вылезает шуйца, тот слабый, нерешительный человек, который заявил о целесообразности, законности кровавого движения народов с запада на восток и обратно, о том, что Наполеон был именно такой негодный человек, какой был нужен для целей провидения и т. п.» (III, 538).

Корень этих слабостей и противоречий Толстого Михайловский ищет в его социальном положении. Толстой слишком близок к тем привилегированным верхним слоям, негодность которых доказывает ему его теоретическая мысль. Порвать с этим кругом он не может,

и отсюда проистекают шатания его мысли. «Цивилизованный человек плох и слаб, между тем он обязан действовать, и действовать в определенном направлении; однако же по негодности своей он действовать не в состоянии. И вот тут-то у Толстого и совершается тот психологический процесс, благодаря которому вылезает его «шуйца». Мысль трусит, стремления замирают, энергия слабеет, и вся надежда возлагается на какое-то туманное целесообразное начало, которое без нас и наперекор нам устроит все по-своему» (III, 508). С этим связан, по Михайловскому, также и апофеоз семейного начала в аристократическом обществе. Мир Курагиных, Облонских, Карениных и Вронских плох, — об этом говорит Толстому его трезвое наблюдение и теоретическая мысль, но в то же время Толстого тянет к этому миру его шуйца, ему нужно найти что-нибудь хорошее в этой среде, и он находит это хорошее в семейной сфере, потому что всякая другая сфера — общественная, политическая — людям этой среды явно не по плечу.

Борьба против «шуйцы» Толстого усиливается у Михайловского в 80-х годах в связи с проповедью «непротивления» в религиозно-этических трактатах и народных сказках Толстого. «Великий писатель земли русской совсем левша стал», — восклицает Михайловский. В исповеди Толстого, в его публичном покаянии он не видит истинного смирения. Толстой, с его точки зрения, слишком занят своей душой, слишком удовлетворен совершающимся в нем процессом духовного умиротворения, чтобы найти в себе необходимую силу мысли и духа для борьбы с социальным злом. «Завидна участь гр. Толстого, — иронически восклицает он в «Дневнике читателя» 1886 года. — Завидны это спокойствие сердца, приставшего к стране, где реки в кисельных берегах молоком текут; эта чистота совести перед любовной и радостной деятельностью; эта ясность разума, который говорит: я все понял! Да, это завидно. Но мы, мятущиеся, мы, ищущие, мы, не сумевшие выскочить из водоворота жизни ни на кисельный берег молочной реки, ни на облака, венчающие вершины Олимпа, мы не верим гр. Толстому! Он, конечно, говорит правду: он спокоен, счастлив, он достиг того душевного состояния, которое даже не всем угодникам усваивают жития святых. Но это только потому, что граф прислушивается к шуму в собственных ушах. Отверзи он их на минуту для восприятия живых внешних впечатлений, и он должен ужаснуться того странного, противоречивого положения, в котором он находится» (VI, 370).

В народных сказках Толстого Михайловский обнаруживает антинародную мораль. Так, в сказке «Ильяс» он видит идеализацию батрачества, то есть нечто такое, что сближается не со священ-

ным писанием, а с писаниями «разных буржуазно-либеральных ученых и публицистов, которым очень желательно ссадить мужика с его собственного хозяйства и водворить батраком у чужого хозяйства». «Но, — продолжает Михайловский, — простонародный читатель рассказов гр. Толстого, в закоснелости своей, едва ли соблазнится этой идиллией, едва ли согласится бросить по доброй воле свое, хотя бы самое убогое хозяйство и стать в положение, при котором есть и обед, и ужин, и в то же время «только и заботы, что хозяину служить» (VI, 389). С особенным негодованием восстает Михайловский против толстовского «непротивления» и «неделания». Он видит в этой проповеди не новое, хотя бы и ошибочное, слово в области общественной морали, а освящение той рабской обывательской трусости и готовности мириться с угнетением, которые процветают в обществе практически, без всякого теоретического обоснования. «Я не понимаю этого, — говорит Михайловский. — Это какое-то колоссальное недоразумение, возможное только в такие мрачные, тусклые времена, какие переживаем мы. Пусть ломятся к вам в дом, пусть бьют отцов и детей ваших, — так надо, убийцы спасают ваших близких и кровных от вящих грехов, но горе вам, если вы сами пальцем коснетесь убийц! Увы, гр. Толстой является даже не учителем, он с улицы поднял свое поучение, ибо вся улица поступает именно так, как желательно гр. Толстому» (VI, 398).

Так связывает Михайловский «непротивленчество» Толстого с условиями общественно-политической реакции 80-х годов. Применяя к толстовской проповеди мерки своей социологической системы, Михайловский пользуется параллелью «совести и чести». Призывая к непротивлению злу насилием, Толстой рассчитывает разбудить совесть угнетателей, и в этом нет ничего дурного, но он забывает при этом о чести угнетенных, которая вовсе не должна обнаруживать склонность к терпению. Если в «Сказке об Иване-дураке» дураки, герои Толстого, только плачут и повинуются тараканцам, то это значит, что у них атрофировано чувство чести и потому они совсем неверно понимают свое положение. «Не в том дело, что сердешным тараканцам есть нечего, — это поистине «дурацкое» разумение. Голодного накормить следует, но переносить наглые оскорбления отнюдь не следует, тем более что в огромном большинстве случаев наглыми оскорбителями являются не нуждающиеся и обремененные, не голодные, а сытые...» (VI, 405).

Подведем итоги критическим отзывам Михайловского о Толстом. В 70-х годах Михайловский отнес, как мы видели, к сильным сторонам великого писателя и то, в чем состояла его несомненная слабость. В 80-х годах, воюя против действительно слабых

сторон учения Толстого, Михайловский не увидел того, что они находились в противоречивом и причудливом соединении с горячим демократическим негодованием против всех и всяких угнетателей народа и прежде всего — крестьянства. Критика Михайловского была, таким образом, неполна и неточна. И тем не менее она принесла несомненную пользу и имела прогрессивный смысл. Прогрессивное значение имело подчеркивание демократических сторон учения Толстого в тот период, когда яснополянского педагога безоговорочно относили к реакционному лагерю. Прогрессивна была и страстная борьба Михайловского против непротивленчества и самоусовершенствования в тот период, когда многие провозгласили Толстого авторитетным «учителем жизни». Даже самая теория «десницы и шуйцы», как бы механически она ни делила Толстого на две половины, существующие рядом по какому-то странному недоразумению, даже она имела важное значение в том смысле, что указывала на противоречивость сознания и творчества Толстого. Вспомним, что даже Щедрин не видел этих противоречий Толстого и указывал прежде всего на его идейные слабости. Вспомним, что такой выдающийся революционно-демократический критик, как Н. В. Шелгунов, увидел в идейной концепции «Войны и мира» одну лишь «философию застоя». На этом фоне критическая заслуга Михайловского в оценке Толстого становится особенно ясной. Разумеется, правильно определить противоречия Толстого, найти единство в них, дать им реально-историческое объяснение Михайловский не сумел, как не сумел этого сделать и никто другой в его время. Эта задача оказалась под силу только марксистской критике.

6

Важное значение для русской литературной жизни 70—80-х годов имели те оценки, которые давал Михайловский творчеству Ф. М. Достоевского.

После статей Белинского и Добролюбова за Достоевским утвердилась репутация писателя-гуманиста, защитника «забитых людей», «униженных и оскорбленных». Между тем к тому времени, когда развернулась критическая деятельность Михайловского, Достоевский стал печататься в реакционном «Гражданине», Достоевский написал «Бесов». С этим романом и связано первое выступление Михайловского против Достоевского.

Прежде всего Михайловский оспаривает почвенническую идею Достоевского о необходимости преклониться перед народом и его правдой и ждать от этой «народной правды» чуда обновления

жизни («Власы спасут себя от нас»). «Народная правда», то есть мнения народа, не представляет собой чего-либо единого, доказывает Михайловский. В ней, в «народной правде», есть мнения верные, справедливые, даже величественные, но есть другие мнения, порожденные народной темнотой и забитостью, — мнения жестокие, несправедливые. И уж во всяком случае нет у народа сознания необходимости спасать цивилизованное общество: народ сам ждет себе спасения от бога, от начальников, от купцов... Вместо преклонения перед «народной правдой» Михайловский выдвигает свою идею «долга перед народом», которая должна лечь в основу целесообразной деятельности, рассчитанной не на следование народным *взглядам,* а на борьбу за народные *интересы*. Впоследствии разграничение *взглядов* народа и его *интересов* стало излюбленным тезисом Михайловского, который он всегда выдвигал против различного рода реакционно-демагогических толков о враждебности демократических стремлений интеллигенции народному сознанию и духу. Теперь, в полемике с Достоевским развивая эту мысль, Михайловский старался провести ясную разграничительную черту между почвенническими теориями и народничеством.

Это был первый, самый важный пункт спора, далее следовала полемика уже по существу романа. Прежде всего Михайловский осудил автора «Бесов» за выбор нечаевского дела для художественного суда над современной революционной молодежью: нечаевское дело нетипично для нынешнего движения, это «во всех отношениях монстр», непригодный для разработки широкой картины борьбы и деятельности современного поколения. Кроме того, указывал Михайловский, не те мистические вопросы, которые волнуют «бесноватых» героев Достоевского, составляют действительную злобу дня современной России. Михайловский подсказывает Достоевскому темы, которые могли бы лечь в основание действительно животрепещущих и современных произведений. «Как! Россия, этот бесноватый больной, вами изображаемый, перепоясывается железными дорогами, усыпается фабриками и банками, — и в вашем романе нет ни одной черты из этого мира! Вы сосредоточивайте свое внимание на ничтожной горсти безумцев и негодяев! В вашем романе нет беса национального обогащения, беса самого распространенного и менее всякого другого знающего границы добра и зла. Свиньи, одолеваемые этим бесом, не бросятся, конечно, со скалы в море, нет, они будут похитрее ваших любимых героев. Если бы вы их заметили, они составили и украшение вашего романа. Вы не за тех бесов ухватились» (I, 872).

Итак, «бесы» капиталистического развития — вот истинные враги России, — такова мысль Михайловского. Борьба с этими «бе-

сами» и представляет защиту народных *интересов*; эту защиту и берет на себя демократическая интеллигенция.

Так полемизировал Михайловский с Достоевским при жизни писателя.

Когда же, после смерти Достоевского, Михайловскому пришлось подводить итоги всей его литературной деятельности, то он подверг суровому пересмотру взгляд на Достоевского как на писателя-гуманиста, защитника «униженных и оскорбленных», и, таким образом, прямо и декларативно отступил от традиций Белинского и Добролюбова. Со статьей Добролюбова «Забитые люди» (1861), в которой утверждалась гуманистическая природа творчества Достоевского, Михайловский вступает в прямую полемику. Сочувствия к обездоленным людям у Достоевского нет и никогда не было, считает Михайловский. Напротив, уверяет он, Достоевский бессердечен к человеку. Так было и в ту пору, когда Достоевский казался гуманистом, так было и после. Дело все в том, что Достоевский всегда любил в своем искусстве «травить овцу волком», только раньше его больше интересовала овца, потом стал больше интересовать волк, отсюда возникла версия о переломе, который будто бы произошел в Достоевском. На самом деле, приписывая человеку страсть к мучительству, Достоевский сам был именно таким мучителем. Таково свойство его натуры и таланта — беспричинное и бесцельное мучительство. Вот почему любит Достоевский ставить своих героев в унизительные и мучительные положения, которые он выбирает всегда с виртуозной изобретательностью. Изображать страдания людей — еще не значит сочувствовать этим страданиям. Скорее напротив: неумеренность в изображении страданий почти всегда говорит о равнодушии к этим страданиям. Тут возможны другие побуждения — «стон для стона, боль для боли», это и была жестокая специальность Достоевского, жестокая и, по мысли Михайловского, социально опасная, находящая истинных ценителей только в реакционные эпохи.

В статье «Жестокий талант» Достоевский под пером Михайловского приобретает черты злого гения, жестокого гипнотизера, который сценами беспрерывных жестокостей и насилий подавляет сознание и волю общества, приучает его к пассивному и покорному восприятию этих жестокостей и насилий. Мнимый гуманист, он убивает в людях чувство деятельного протеста, так что им остается только трепетать больными нервами. Вот почему, по мнению Михайловского, популярность Достоевского достигает особенных размеров под самый конец его жизни, то есть в период торжествующей реакции, когда деятельность общества была подавлена и массовый читатель был вне деятельной жизни. «Там, в живой

жизни, — говорит Михайловский, несомненно имея в виду борьбу революционеров 70-х годов, — происходили события огромной важности, небывалых размеров и почти сказочного характера. Но читатель был тут ни при чем. Он был зритель и только и мог, что трепетать нервами». И, заканчивая статью, Михайловский с горечью обрывает этот разговор о «страшном времени», потому что «о нем надо либо начистоту, по душе говорить, либо не говорить вовсе» (V, 78).

Сурово оценивая «жестокий талант» Достоевского, Михайловский заботится об интересах революционного подполья, о воспитании в обществе активного уважения и сочувствия к нему. При всем том творчество Достоевского во всей его сложности и своеобразии осталось нераскрытым. Не был поставлен вопрос об идейных противоречиях Достоевского, о его борьбе против общественного зла, о социальной природе его творчества, даже в тех узких рамках, как это сделано было по отношению к Л. Толстому, и все главные черты творчества Достоевского Михайловский объяснял особенностями личной психологии писателя.

7

Об авторах близких себе, о единомышленниках и друзьях Михайловский не всегда мог высказываться по соображениям литературной этики; все эти писатели были сотрудниками «Отечественных записок», и помещать о них сочувственные отзывы в том же журнале было неудобно. Нужно было ждать особого случая; так, для того чтобы высказаться полным голосом о Г. И. Успенском, Михайловский воспользовался выходом в 1888 году собрания его сочинений, к которому написал вступительную статью; поводом для написания большой работы о Щедрине послужила смерть сатирика (1889).

В связи с Успенским и Щедриным Михайловский поднял самые острые, больные и животрепещущие вопросы современной демократической литературы. Задача его заключалась в том, чтобы объяснить и оправдать те особенности художественной манеры обоих писателей, которые воспринимались как художественный недостаток, как несовершенство формы. Задача заключалась также в том, чтобы связать и художественную манеру и идейное направление писателей демократического лагеря с «пришествием разночинца», в чем Михайловский, как говорилось выше, видел важное событие в истории русской литературы и общества.

В статье «Г. И. Успенский. Литературная характеристика»

Михайловский эти вопросы прежде всего и поднимает. Он связывает Успенского с той плеядой молодых беллетристов 60-х годов, которые вышли на арену истории вдруг «целым гнездом» и сразу занялись средними и низшими слоями общества, в изображение которых внесли суровую жизненную правду, чуждую всяких прикрас и ненужной идеализации. Немудрено, что они сразу вызвали интерес у читателей и новизной своего содержания и своей художественной дерзостью. Дерзость прежде всего сказалась в пренебрежении к традиционным формам словесности. «...Эта молодежь, — писал Михайловский, — наносила оскорбление действием всем традиционным, привычным формам беллетристики: недосказанные рассказы, незавершенные сценки, начала без конца и концы без начала, беглые отметки, еле очерченные лица, отсутствие «выдумки», как говорил Тургенев, то есть сколько-нибудь стройной фабулы, и т. д.» (V, 79). Между тем «подо всем этим веял дух жизни и правды». Из всей этой группы писателей к 80-м годам остался один только Глеб Успенский, который сохранил в своих писаниях типические черты, вынесенные им из 60-х годов. «Дух правды и жизни» достиг у него такого высокого напряжения, что привел писателя даже к некоему художественному аскетизму — «черная схима ему дороже цветного платья» (V, 94). Но это, по мысли Михайловского, не дает оснований говорить о художественной неумелости писателя. Успенский передает жизненные впечатления «волнуясь и спеша», он пишет кровью сердца, а «брызги крови разве только по какой-нибудь особенно счастливой случайности могут расположиться симметрично или вообще с тою правильностью, какая нужна для законченности формы» (V, 96).

«Болезнь совести», жажда гармонии, грустное раздумье при виде существующих жизненных драм и несообразностей, порожденное этим грустным раздумьем своеобразное сочетание трагического и комического, особого типа «смех сквозь слезы» — таковы характерные признаки творчества Успенского. «Больная совесть» — это психологическая особенность автора, это же и предмет его художественных наблюдений. Требования же оскорбленной чести Успенского почти совсем не волнуют. «Успенский, сосредоточив свое внимание на драме совести, почти совсем в стороне оставляет драму чести», — пишет Михайловский, видя в этом слабость Успенского, на которую он указывает писателю осторожно и легко, но в то же время настойчиво. Он выдвигает тему «чести» как новую задачу, стоящую перед Успенским, задачу для него естественную и близкую.

Подходя с теми же мерками и критериями оценок к Щедрину («Щедрин», 1889), Михайловский находит у него то соединение

мотивов совести и чести, которого он не находил у Г. Успенского. Сравнивая для примера две сказки Щедрина — «Бедный волк» и «Баран непомнящий», — он видит в первой из них отражение трагедии проснувшейся совести, а во второй — проснувшейся чести. Михайловский высоко ценит постоянную готовность Щедрина поражать не только «бессовестную силу», но и «бесчестную слабость». В этом он видит характерную черту отношения Щедрина к жертвам насилия и произвола. Жертвы эти тем больше пользуются сочувствием сатирика, чем сильнее в них начало чести. Щедрин ясно видит те наслоения, которые история наложила на трудящуюся массу, породив в них черты пассивности и покорности. Михайловский ценит в Щедрине его способность подмечать этот исторический грех отсталых слоев народа, ценит он также и то обстоятельство, что Щедрин слишком хорошо видит причины этого греха и слишком высоко ставит другие качества русского крестьянства, чтобы относиться к нему презрительно.

Словом, Михайловский отстаивает тот принцип изображения народа, который был сформулирован еще Чернышевским в его знаменитой статье «Не начало ли перемены?» (1861). Это было особенно важно и ценно в тот период, когда многие беллетристы-народники впадали в грех слащавой идеализации народного быта и сознания.

У Глеба Успенского Михайловский отметил непосредственность чувства и необыкновенную впечатлительность художника «больной совести». В Щедрине же он видит удивительное и счастливое сочетание могучей непосредственности, с одной стороны, и силы неусыпно бодрствующего сознания — с другой. Это сочетание и придает особую твердость, вескость и устойчивость всему, что Щедрин говорит и пишет. Стихийная сила таланта находится у него под строгим и суровым контролем сознания. Для Щедрина поэтому невозможен бесцельный смех, хотя он мог бы изукрасить страницы своих произведений блестками своего могучего юмора настолько, что они, эти блестки, приобрели бы самодовлеющую ценность. Ему было бы легко «смешить нас без удержу, смешить до упаду, но великий писатель не пожелал этого: он обуздал свой смех систематической программой. Менее могучий талант едва ли мог бы выдержать такое неустанно зоркое самообладание и самообуздание, такой контроль сознания и воли. Салтыков выдержал» (V, 278). Обладавший строгой и ясной программой Щедрин, отмечает Михайловский, с большой сознательностью подошел и к разрешению чисто художественных задач. Особая сила и гибкость его таланта заключается в том, что он, превосходно зная утвержденные авторитетами и традицией привычные «формы словесности», «обращался с ними вполне

бесцеремонно, подчиняя их основной струе своего творчества. Салтыков утилизировал все эти роды и виды, но тасовал их, как колоду карт, то, например в «Современной идиллии», перебивая комический рассказ страстным стихотворением в прозе «Властитель дум», то иллюстрируя публицистику диалогом «Свиньи с правдой», то, наоборот, обрывая художественный рассказ публицистической экскурсией, то неожиданно вводя струю сказочной фантастики в реальнейшее из реальных описаний» (V, 268). Михайловский восхищается «смелым до дерзости сочетанием» разнородных элементов у Щедрина и той особенной легкостью, «с которой талант Салтыкова, презирая препоны утвержденных форм словесности, переходит от одной из них к другой, от беспощадного реализма к вершинам фантазии, от ядовитой насмешки к страстной лирике» (V, 269).

Михайловский не сближает художественную манеру Щедрина с методом Успенского, хотя с его точки зрения оба писателя одинаково резко противоречили привычным канонам и формам современной им беллетристики. Очевидно, при внешнем сходстве обеих манер Михайловский видит здесь разные случаи нарушения привычных норм. В одном случае (Успенский) — это художественная «схима», результат того добровольного аскетизма, который психологически вырастает из гипертрофированного начала «совести». В другом случае (Щедрин) — это активное наступление на канонизированные формы, это — не отказ художника от своих привилегий, как в случае с Успенским, а, напротив, заявление своих прав. Разрушая художественные каноны, Щедрин, по мысли критика, осуществляет то самое право, которое чувствовал за собой сам Михайловский, когда вмешивался в мир науки, разрушая привычные формы научных исследований своими причудливыми рассуждениями обо всем «вперемежку». Такой смысл вкладывал Михайловский в свою оценку щедринской художественной манеры. «Формалисты, — писал он, — назовут ее, может быть, распущенностью, беспорядочностью, невыдержанностью стиля. Ну и бог с ними» (V, 269). Против этих «формалистов», против защитников старых канонов, не желавших признавать художественного мастерства Г. Успенского и Щедрина, и направлены работы Михайловского об этих писателях.

Михайловский видит в Успенском и Щедрине не только публицистов, он видит в них больших художников и стремится выяснить особенности их метода. Убежденно и страстно утверждает он художественное значение творчества великих писателей-демократов. В этом бесспорное достоинство критики Михайловского. Но, как всегда, он подходит к творчеству писателя с заранее заготовленной меркой, восходящей к его субъективной социологии и этим

обедняет содержание и смысл рассматриваемых произведений. В самом деле, оперируя категориями «совести» и «чести», он превращает Успенского в «кающегося дворянина». И в Салтыкове и в Успенском он замалчивает их критическое отношение ко многим сторонам народнической теории, как она сложилась в 70—80-х годах, создавая видимость полной своей идейной солидарности с ними, чего на деле не было. И тем не менее статьи об Успенском и Щедрине принадлежат к числу лучших работ Михайловского. В особенности это следует сказать относительно статей о Щедрине. В них влияние субъективной социологии Михайловского сказалось меньше, чем в других его критических статьях. Это была большая работа (в сущности — целая книга) о Щедрине, в которой истолкование его взглядов и художественной манеры впервые дано было в демократическом духе. Кроме того, в этой работе чувствуются живые интонации человека, который в течение долгих лет стоял рядом с Щедриным, находился с ним в повседневном общении и чувствовал своеобразие его личности.

8

С сочувствием встретил Михайловский молодое дарование В. М. Гаршина и анализ его произведений также подчинил своей социологической схеме. В трагедии героев Гаршина, болезненно переживающих ощущение разлада с действительностью, он увидел «лучи все той же скорби о том специальном и высшем оскорблении, которое наносится человеческому достоинству превращением человека в те или другие клапаны, в «пальцы от ноги» (VI, 327). Так истолковал он трагедию героев «Четырех дней», «Труса», «Надежды Николаевны», «Происшествия», «Художников». Эти люди, считал Михайловский, упорно и настойчиво, с душевной болью «ищут выхода, то есть таких форм общения с людьми, которые не налагали бы на них ненавистного ярма, не делали бы их «пальцами от ноги», «клапанами», безвольными орудиями сложного целого, все большему дифференцированию которого так радуются разные спенсеровы дети» (VI, 330). Главный вопрос всего творчества Гаршина — «кто победит: человеческое достоинство или стихийный процесс, превращающий человека в клапан, это, — говорит Михайловский, — всем вопросам вопрос. Все наши маленькие житейские драмы, а пожалуй и водевили, все крупнейшие исторические события укладываются в рамки этого огромного и рокового вопроса» (VI, 332). За постоянную и напряженную мысль о человеческом достоинстве, за внимание к «огром-

ному и роковому» вопросу Гаршин, с точки зрения Михайловского, достоин особого внимания читателей и их любви. «Одним из наших любимцев» называет Гаршина и сам Михайловский.

И тем не менее скорбь Гаршина и его пессимизм внушали Михайловскому некоторую тревогу. Дело в том, что «человеческое достоинство» никогда не торжествует в рассказах Гаршина, и его герой всегда оказывается побежденным силою тех стихийных обстоятельств, против которых он возмущается. Безмятежность духа вовсе не нужна была Михайловскому, он стремился не к тому, чтобы Гаршин был настроен радужно при виде современного зла: это значило бы, что он не понимает силы и крепости «стихийного» хода событий. Ему нужно было нечто другое. Возможность повернуть историю в нужном направлении, противопоставить закону исторической необходимости произвол субъективных целей, возможность переделать сделанное историей — все эти утопические упования лежали в основе «субъективной социологии» Михайловского, и именно этого круга идей он не находил в творчестве Гаршина. Относительная независимость Гаршина от специфически народнических утопий — вот что внушало тревогу Михайловскому, когда он подходил к оценке произведений автора «Красного цветка». В глазах Михайловского Гаршину недоставало народнического утопизма, и он советовал молодому писателю показать «победу человеческого достоинства хотя бы в возможности, в перспективе». «Не потому мне этого хочется, — писал он, — что человеческое достоинство часто торжествует в сей юдоли плача и беззакония... Нет, вообще говоря, это торжество пока слишком редкое, но пусть же эта редкость блеснет в творческой фантазии г. Гаршина, хотя бы только как возможность, и разгонит мрачные тучи безнадежности, заволакивающие его горизонт» (VI, 331).

Творчество Гаршина, как мы видим, заставило Михайловского несколько насторожиться при виде того, что новое поколение писателей-демократов идет своим особым путем и в исканиях своих отходит довольно далеко от программных положений ортодоксального народничества.

Среди писателей нового поколения особенно своеобразным и необычным путем шел А. П. Чехов.

В творчестве Чехова вырисовывались такие черты, которые, во-первых, не соответствовали народническим воззрениям и, во-вторых, свидетельствовали о новаторских чертах его реалистического метода. Безнадежная испорченность современного общества представала в рассказах Чехова чаще всего в форме «нелепостей» и «мелочей», исказивших человеческую жизнь. В отличие от своих предшественников, Чехов целиком оставался на почве будничной жизни в ее

бытовых проявлениях. Он сумел увидеть неправоту современного строя человеческих отношений в самых мелких фактах, почти незаметных и на первый взгляд случайных. Для того чтобы отвергнуть современный строй жизни, ему не нужно было прибегать к изображению вопиющих проявлений насилия и угнетения; для Чехова достаточно было того, что «мелочи», «пустяки», «недоразумения» отравили источник простых человеческих радостей, сделали жизнь скучной, непорядочной и неизящной. «Все это мелочи, пустяки, — говорил он, — но не будь этих мелочей, вся человеческая жизнь всплошную состояла бы из радостей, а теперь она наполовину противна». Для Чехова не было поэтому принципиального различия между темами мелкими и крупными, «значительными» и «незначительными», в его художественной системе каждая «мелочь» становилась бесконечно значительной и могла служить поводом для оценки современной жизни в целом.

В этом новом художественном методе, методе, так сказать, «арифметическом», основанном на умозаключении от простейшего к сложному, Михайловский увидел суженность горизонтов писателя, безразличие к изображаемому, равнодушие к общественному злу.

Вместе с тем Михайловский зорко усмотрел некоторые характерные черты чеховского метода: он отметил принципиальную равноправность тем для Чехова, одинаковость тона, которым Чехов повествует о крупных и мелких несообразностях жизни, равно для Чехова неприемлемых. Только он увидел во всем этом не контуры новой художественной системы, не своеобразный максимализм Чехова, отвергающего любое нарушение жизненной «нормы», как бы микроскопично это нарушение ни казалось на первый взгляд,— Михайловский увидел в этом проявление безыдейности, случайность жизненных наблюдений и отсутствие живого интереса к широким общественным вопросам.

Великого писателя он рассматривал как одного из тех бескрылых «восьмидесятников», которые отрекались от прогрессивного наследства «отцов».

«Г. Чехов, — писал он,— пока единственный действительно талантливый беллетрист из того литературного поколения, которое может сказать о себе, что для него «существует только действительность, в которой ему суждено жить», и что «идеалы отцов и дедов над ними бессильны». И я не знаю зрелища печальнее, чем этот даром пропадающий талант» (VI, 776).

В «Иванове», считает Михайловский, Чехов «идеализирует отсутствие идеалов», в «Степи» и других более мелких рассказах он сцепляет без всякой общей мысли случайные, разрозненные впечатления, и самое большее, до чего он поднимается, это выражение

тоски по «общей идее» — в «Скучной истории». В этой тоске Михайловский видит единственный залог возможности плодотворного движения для Чехова и горячо рекомендует писателю продолжать разработку темы, затронутой в «Скучной истории». Дальнейшее развитие Чехова не заставило Михайловского изменить свой взгляд на писателя. Его позднейшие отклики с незначительными вариациями повторяют эту же точку зрения.

В такой скептической оценке Чехова Михайловский не был одинок. Лишь очень немногие сумели в 80-х годах понять и оценить дарование молодого писателя. Среди них был Д. В. Григорович, В. М. Гаршин, В. Г. Короленко. С другой стороны, критики правонароднической «Недели» старались представить Чехова «восьмидесятником новейшей формации», бесстрастным созерцателем жизни, едва ли не сторонником «малых дел». Эти «недельные» оценки в значительной степени определили восприятие творчества Чехова в демократических литературных кругах и вызвали настороженное и скептическое отношение к нему. Сдержанно отнесся к Чехову Г. Успенский. Как свидетельствует В. Г. Короленко, веселость тогдашнего Чехова, автора «Пестрых рассказов», была чужда и неприятна Успенскому *. С поколением восьмидесятников, отказавшихся от наследства «отцов», сближал Чехова Н. В. Шелгунов; аналогичных взглядов, как мы видели, придерживался и Михайловский.

9

В критических отзывах Михайловского 70—80-х годов вырисовываются контуры его положительной программы, намечаются требования, которые он предъявлял к современной ему литературе. Вместо старых тем и старых «шаблонов красоты» Михайловский настойчиво выдвигал новые темы, новые художественные образы. Появление в русской общественной жизни кающегося дворянина, его психологический облик, его духовная биография — вот, по мнению Михайловского, одна из важнейших тем современной литературы. Если художники возьмутся за разработку этой темы и всех иных, с ней связанных, то сразу выдвинутся такие житейские коллизии, которых прежняя литература не знала. Так, прежняя литература знала разлад идеала и действительности, теперь, с появлением «кающегося дворянина», разлад с действительностью выражается в иной форме: в форме «разлада совести с жизнью». Эта

---

* В. Г. Короленко, Собр. соч., Гослитиздат, М. 1955, стр. 91.

тема новая, сложная, таящая в себе бесконечное разнообразие. Если, положим, тема первой любви одухотворяла такое множество романов и повестей, то насколько более значительной и плодотворной должна оказаться тема «первых проблесков покаяния».

В очерках «Вперемежку» (1877), представляющих собой своеобразный эстетический манифест, Михайловский писал: «Личное благополучие, как принцип, есть штука, конечно, очень, как бы сказать... мещанская, что ли. Стремление к личной чистоте и соответственное покаяние — штука старая и давшая искусству, кажется, уже все, что с нее взять можно. Но чувство *личной* ответственности за свое *общественное* положение — есть тема новая и почти нетронутая» (IV, 279). Именно это особое чувство и это особое настроение принесли с собой революционные разночинцы 70-х годов, и в этом чувстве есть своя красота, еще не разработанная искусством, но более чем достойная разработки. От лица разночинцев и «кающихся дворян» Михайловский требует от искусства поэтического апофеоза людей этого типа. «...С тех пор как стоит святая Русь, никто более нас поэтического апофеоза не заслуживал. И мы его, наконец, получим. Ах, если бы я был первоклассный художник, если бы я мог разлиться в звуках, в образах, в красках, я воспел бы вас, братья по духу, изобразил бы вас, мученики истории...» (IV, 239). Говоря о психологическом типе «кающегося дворянина» как о теме нового искусства, Михайловский имеет в виду все многообразие форм и видов, какие принимает этот тип в реальной жизни. В очерках «Вперемежку» он старается наметить главные его разновидности. Здесь и герой «первых проблесков покаяния», человек, только что расставшийся с понятиями и предрассудками своей среды; здесь и молодой ученый, поставивший своей целью подчинить отвлеченную науку задачам служения народу и работающий для этого над сближением естествознания с общественной наукой; здесь и человек скептического склада ума, мучительно анализирующий проблему долга перед народом; здесь и скромный, но бесстрашный герой революционного подвига, обреченный по-видимому, на гибель; здесь молодая девушка, находящая свою настоящую среду в кругу «кающихся дворян»; здесь, наконец, грубоватый, честный и прямой разночинец, идущий рука об руку с компанией «кающихся». Рисуя беглые портреты этих людей, Михайловский много раз подчеркивает, что его слабому перу не под силу художественная разработка таких тем и образов, для этого нужен великий художник; он воспользуется со временем несовершенными набросками вроде тех, на которые отважился сам Михайловский, «подберет все наши мелочи, сгруппирует их, осветит и такую поразительную красоту вам предъявит, что вы ахнете»

(IV, 235). Тогда из разрозненных очерков, этюдов, мелочей сложится большая и цельная картина.

Совершенно очевидно, что Михайловский мечтал о новом романе, посвященном вопросам «совести и чести», проникнутом идеей «долга перед народом», с глубокой психологической разработкой образов «кающихся дворян», действующих в союзе с разночинцами на разных поприщах жизни, включая сюда и прямую революционную борьбу. Михайловский считал, что при создании такого романа встанут многообразные и сложные художественные задачи, для разрешения которых необходимо будет обратиться и к опыту старой литературы, к старым «шаблонам красоты», которые засветятся иным светом. «...Старых шаблонов красоты бросать не следует, — писал Михайловский. — В них есть кое-что истинно и еще надолго прекрасное, особенно если в них сделать маленькую передвижечку» (IV, 279). В тот «проспект» будущего романа, который попытался дать Михайловский в цитированных очерках, он ввел фигуру молодой девушки, которую ему хотелось сделать центром всего мужского общества, показанного в романе. Но, с горечью вынужден был признаться Михайловский, «надо быть Тургеневым, чтобы изобразить те невидимые радиусы, которые соединяли этот центр с каждым из нас. Я об этом не помышляю» (IV, 290). Значит, и тургеневское тонкое искусство изображения «невидимых радиусов» необходимо для разработки нового романа. Между тем Михайловский был уверен, что не Тургенев будет тем великим художником, появление которого он предсказывает.

Можно думать, что эту роль он предназначал Глебу Успенскому. В своих литературных воспоминаниях («Литературные воспоминания и современная смута», II, 128—129) Михайловский рассказал, как он настойчиво, но безуспешно понуждал Успенского к написанию романа. Примечательно, что Успенского при мысли о романе смущала именно необходимость обращения к старым «шаблонам красоты». «Г. И. Успенский, — вспоминал Михайловский, — с особенным, свойственным ему юмором ответил однажды: «Не могу; роман — ведь это, значит, надо начинать «Марья Ивановна полулежала на кушетке», — где же этакое написать? не мое это дело». Михайловский соглашался даже на такой шаблонный зачин и под влиянием этих разговоров с Успенским начал сам писать роман («Карьера Оладушкина»), открывавшийся такими словами:

«— Ты вот что мне скажи, Женевьева, вот ты больна теперь, — ну, как же он ходит: на цыпочках или всей ступней?

Так с чрезвычайно серьезным видом спрашивал Евгений Павлович Суровской свою сестру, Евгению Павловну Зимогорову, сидя в большом кресле возле кушетки, на которой полулежала его

собеседница». «Как видите, — писал Михайловский в своих воспоминаниях, — героиня в первых же строках романа таки полулежала на кушетке. Это было сделано намеренно, вполне сознательно, так сказать в пику Г. И. Успенскому».

Михайловскому так и не удалось уговорить Успенского взяться за роман, как не удалось ему довести до конца и «Карьеру Оладушкина», а оставшиеся от этого замысла главы не прибавили ничего принципиально нового к схеме романа, намеченной в очерках «Вперемежку». Но мысль о новом романе не оставляла Михайловского до конца его жизни. В 1899 году он говорил М. Горькому: «А вы бы попробовали написать роман из жизни наших революционеров. Вы симпатизируете людям сильной воли, — сильнее и ярче этих людей вы не найдете в русской жизни!» Как вспоминает Горький, «с глубоким чувством любви к бойцам и волнующе подчеркивая драму их жизни, он заговорил о ничтожной — количественно — группе людей, которые хотели взорвать трон Романовых. Говорил страстно, образно, как поэт, задыхаясь от волнения и как-то вздрагивая всем телом» *.

10

С развитием русского марксизма, с окончанием периода идейной гегемонии народнической мысли Михайловский теряет значение передового критика своего времени. Вторая половина 90-х годов — это время упадка критической деятельности Михайловского. Ожесточенная борьба с марксизмом приводила его не только к резким полемическим выпадам против марксистского учения, но и к грубо тенденциозному искажению идей марксизма. Михайловский пытался представить русский марксизм как одно из проявлений общественной реакции, приписывая марксистам социальный индифферентизм, равнодушие к страданиям народных масс, обездоленных развивающимся капитализмом. Марксистский детерминизм он истолковывал в своих полемических статьях как отрицание «ответственности человека» перед историей, как ницшеанский аморализм.

«...Это один из любимых коньков субъективного философа — идея о конфликте между детерминизмом и нравственностью, между исторической необходимостью и значением личности, — писал по этому поводу В. И. Ленин в своем классическом труде «Что такое «друзья народа»?», разоблачая «подтасовки» Михайловского.— На самом деле, никакого тут конфликта нет: он выдуман г. Михайлов-

---

* М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 15, Гослитиздат, М. 1951, стр. 123.

ским, опасавшимся (и не без основания), что детерминизм отнимет почву у столь любимой им мещанской морали. Идея детерминизма, устанавливая необходимость человеческих поступков, отвергая вздорную побасенку о свободе воли, нимало не уничтожаст ни разума, ни совести человека, ни оценки его действий» *.

Михайловский продолжал отвергать ставшее уже очевидным марксистское положение о неизбежности, непредотвратимости капитализма в России, упорно продолжал он оспаривать и вытекающий отсюда факт преобладания города над деревней, «и в экономическом, и в политическом, и в интеллектуальном, и во всех других отношениях» **. Марксистов, указывавших на этот бесспорный факт, Михайловский обвинял в презрении к деревне, в неуважении к земледельческим классам населения.

Все эти черты антимарксистской тенденциозности сказываются, прямо или косвенно, в поздних литературно-критических работах Михайловского.

Так, откликнувшись на повесть Чехова «Мужики», нанесшую удар деревенским иллюзиям народников, Михайловский опять повторил, что у Чехова будто бы нет «общей идеи». «Отсюда же следует и другой общий вывод, — писал он, — а именно тот, что никаких общих выводов из произведений г. Чехова делать не следует, да и просто нельзя. Беспрестанно перенося свое художественное внимание с одного предмета на другой, он довольствуется самыми поверхностными наблюдениями» («Отклики», II, 126). Критика легально-марксистского лагеря в связи с повестью Чехова говорила о превосходстве города над деревней, и это вызвало негодование Михайловского, кстати сказать не отделявшего легальный марксизм от марксизма революционного. Процитировав финальную сцену «Мужиков», в которой вдова и сирота Николая Чикильдеева просят милостыню Христа ради, Михайловский восклицает с раздражением: «Господа, подайте милостыню своего внимания подлинной вдове и сироте подлинного рабочего человека, где бы он ни работал, в деревне ли, в городе ли; и не сшибайте лбами двух разрядов людей, жизнь которых в разном роде, но одинаково темна и скудна, одинаково требует и заслуживает участия...» («Отклики», II, 129.)

Такие же ноты звучат и в отклике Михайловского на тридцатилетний юбилей литературной деятельности Н. Н. Златовратского (1897). Михайловский превозносит этого сентиментального беллетриста-народника, с неумеренной похвалой отзываясь о его «худо-

---

* В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 142.
** Там же, т. 2, стр. 207.

жественном таланте». Он извиняет ему даже то мистическое преклонение перед «тайной народного духа», за которое, как известно из некоторых воспоминаний, в свое время жестоко упрекал автора «Устоев» *. Забыв старые споры, Михайловский выдвигает фигуру Златовратского как образец и пример новому литературному поколению, отказавшемуся от идеализации деревенской жизни. «И если поколение, вместе с г. Златовратским мучившееся над сложными вопросами деревенской жизни, приняло много напрасного горя, то горе — хотя и иное — и тому поколению, которое воспитывается на презрительном отношении к идиотизму деревенской жизни...» («Отклики», II, 194—195).

В этом же круге вопросов — о городе и деревне, об отношении к промышленному строю жизни и т. п. — вращается Михайловский и в статьях 1898 года — «О Максиме Горьком и его героях» и «Еще о Максиме Горьком и его героях». К чести Михайловского нужно сказать, что он сумел оценить огромный талант молодого Горького. С похвалой отозвался Михайловский о «художественной правде» его произведений, о цельности и глубине изображения жизни в рассказе Горького «Скуки ради», о красоте и силе его пейзажей; в качестве шедевра мягкого юмора назвал он «Ярмарку в Голтве», а сцену пения в рассказе «Тоска» поставил рядом с тургеневскими «Певцами». Он закончил свой разбор рассказов Горького общим выводом о том, что в лице этого нового писателя «мы имеем дело с большой художественной силой» («Отклики», II, 394).

Что касается оценки идейного смысла произведений Горького, то в этом отношении весь обширный отзыв Михайловского пронизан явно выраженным стремлением если не сделать Горького своим союзником, то во всяком случае отделить его от своих противников. Так, по поводу «бешено страстного гимна Меркурию», которым открывается рассказ «Челкаш», Михайловский замечает: «Из этой цитаты видно, что г. Горький не принадлежит к числу тех оптимистов, которых радует промышленный прогресс как таковой. В нарисованной им мрачной картине есть только один светлый луч, да и то скорее намек на луч: «человек еще не устал надеяться на лучшее, и желание чувствовать себя свободным не умерло в нем» («Отклики», II, 342).

Михайловского явно смущает отрицательное отношение многих героев Горького к деревенской жизни, но он просит читателей не делать из этого поспешных выводов для «подтверждения той или другой излюбленной теории» и настойчиво стремится уравновесить

---

* См. В. Г. Короленко, Воспоминания о писателях, изд. «Мир», М. 1934, стр. 79—84.

нелюбовь «бывших людей» к крепким, «хозяйственным мужичкам» отрицательным отношением их к городской жизни, к городским сословиям и классам.

Так подчинял Михайловский свой разбор произведений Горького главной для него задаче — обороне обветшалого народничества от наступающего на него марксизма.

Ту же цель, хотя и не в такой явно выраженной форме преследовал Михайловский в своих двух статьях «Об Ибсене» (1896). Главный мотив этих статей — утверждение «ответственности человека», направленное (в духе изложенных выше воззрений Михайловского) против идеи детерминизма. Вновь извлекая свои старые критерии «совести и чести», Михайловский подводит под эти понятия трагические коллизии ибсеновских драм и рассматривает требования «совести и чести» как антитезу идеи исторической необходимости. К этому он готов свести объективное содержание всего почти творчества Ибсена. «Мне кажется, — пишет он, — что весь литературный багаж Ибсена, или по крайней мере большая его часть, составляет в совокупности одну большую книгу об «ответственности человека», в которую разные случайности вплели много лишних страниц. Ответственность же человека перед собой и перед другими исчерпывается в конечном счете понятиями вины и заслуги и соответственными им мотивами совести и чести». Герои Ибсена часто совершают грехи, они понимают при этом, что их поступки вызваны не зависящими от их воли обстоятельствами, иной раз обстоятельствами стихийными, но в то же время чувствуют свою вину. Они переносят обиды и оскорбления и понимают, что этих обид им нельзя было избежать, но испытывают при этом муки оскорбленной чести. В этом конфликте «необходимости» и нравственного чувства видит Михайловский положительное значение творчества Ибсена. «Бунт личности против роковых стихийных сил», пусть даже безумный, кажется ему интереснейшим моментом жизни каждого мыслящего и чувствующего человека.

Ради этого бунта против «необходимости» Михайловский снисходительно относится даже к символизму норвежского драматурга, к его постоянному тяготению в область таинственного, к неопределенности его общественных стремлений.

О европейском символизме Михайловскому приходилось высказываться и независимо от Ибсена, и нужно сказать, что его оценка символизма в общем балансе последнего периода деятельности имеет относительно прогрессивный смысл. «Символисты, декаденты и маги» (так называется статья Михайловского 1898 года) нашли в его лице сурового критика. В оценке символизма народническая догматика отходит у Михайловского на второй план, и на первое

место выдвигаются общедемократические требования к искусству. Правда, в своей погоне за все новыми аргументами в пользу субъективной социологии Михайловский и у декадентов готов усмотреть тяготение к гармонической цельности человеческого существа, зависть «к цельности и полноте древней жизни, не расколотой сомнениями и колебаниями» (VIII, 578), но и самое это стремление он считает уродливым по своему идейному и художественному выражению. Уродливость эту он усматривает в отказе от науки, от достижений современного естествознания, в тяготении к мистике, в замене этико-социальных задач искусства формалистическим техницизмом.

Не менее отрицательно отнесся Михайловский и к русским декадентским и околодекадентским течениям. Во второй половине 90-х годов и в начале нового века ему приходилось высказываться о Минском и Волынском (этом «рыцаре без стыда», как называл его Михайловский), о Мережковском и Случевском, о Ф. Сологубе и З. Гиппиус, о В. Розанове и других. Это были отзывы то недоуменные, то гневные, то, чаще всего, иронические, но всегда безусловно отрицательные. Михайловский жестоко осудил русских декадентов разных толков за реакционный индивидуализм, за мистицизм, за культ инстинктивных побуждений, «которые по их предположению, будучи освобождены от гнета разума, должны дать роскошные цветы и плоды» (Последние сочинения, II, 368). Против этих апологетов индивидуализма и аморальности Михайловский вновь применил свой принцип «ответственности человека», на этот раз с полным основанием. «Современники, — писал он о русских декадентах, — высоко ставя достоинство своего я, не желают обременять его ответственностью, ибо долг, совесть, обязанность — все ведь это формы ответственности. Вместе с тем, так как разум им «не по нраву», они (напоминаю, в теории, словесно) отдаются на волю своих инстинктов и настроений, что, конечно, очень удобно. Отсюда празднование именин сердца и по случаю открытия личного местоимения первого лица единственного числа: открыта, собственно, безответственность инстинктов каждого я, вследствие чего оно и кажется столь нарядным и единственным «в целом божьем созданье» (Последние сочинения, II, 373).

Эти замечания и отзывы Михайловского, направленные против различных проявлений литературной реакции, напоминали лучшие страницы его старых работ, написанных в пору близости к демократическим и революционным кругам. Уважение к деятелям революционного движения Михайловский сохранил и в 90-е годы. Однако уважение к революционерам и боевые выступления против общественно-литературной реакции соединялись в это время у Михайлов-

ского с ожесточенной борьбой против передовой революционной теории, и это лишило старого критика той прогрессивной роли, которую он играл некогда. Время Михайловского было в прошлом, самое значительное и ценное было им создано в 70—80-х годах.

Историческое значение лучших сторон литературной деятельности Михайловского выяснено В. И. Лениным. «Михайловский, — указал он, — был одним из лучших представителей и выразителей взглядов русской буржуазной демократии в последней трети прошлого века. ...Великой исторической заслугой Михайловского в буржуазно-демократическом движении в пользу освобождения России было то, что он горячо сочувствовал угнетенному положению крестьян, энергично боролся против всех и всяких проявлений крепостнического гнета, отстаивал в легальной, открытой печати — хотя бы намеками — сочувствие и уважение к «подполью», где действовали самые последовательные и решительные демократы разночинцы, и даже сам помогал прямо этому подполью» *.

---

* В. И. Ленин, Сочинения, т. 20, стр. 99—100.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ И ЖУРНАЛЬНЫХ ЗАМЕТОК 1874 ГОДА

...Недавно вышло полное собрание сочинений одного из наших талантливых поэтов, покойного Щербины. Первые из его пьес относятся к 1841, последние к 1869 году. Тридцать лет! И каких лет! Чем только не потчевала за этот период судьба нашу Русь православную! Сколько надежд и разочарований, Каинов и Авелей, жертв и жрецов, веселья и слез, сколько благородных сердец начало и кончило биться за это время, сколько медных лбов закалилось. Поневоле соблазняешься мыслью подвести итог литературной деятельности лирика, несомненно талантливого, пережившего всю эту толкотню света и мрака, величия и пошлости и окончившего уже свое земное странствование. Последнее обстоятельство весьма важно. Совершенно справедливо говорит сам Щербина: «Одною смертью окончательно определяется значение и смысл человека, а до смерти еще о нем бабушка надвое сказала» (Полное собрание сочинений, 363).

Щербина перед смертью сам приготовил свои сочинения для издания полного собрания и расположил их в семь отделов. Любопытнейшие из этих отделов суть: первый («греческие стихотворения»), третий («песни о природе»), четвертый («ямбы и элегии») и седьмой, в который вошли различные сатирические произведения Щербины. (Неизвестный автор приложенной к книге статьи «Н. Ф. Щербина» утверждает, что сатирические вещи покойного поэта являются в печати впервые. Это не совсем справедливо, потому что часть их была напечатана

в «Русской старине» за 1872 год). Группы, на которые Щербина разделил свои произведения, весьма резко отграничиваются друг от друга. В установлении и расположении их поэт обнаружил большой такт и значительно облегчил задачу критики. Они могут быть сравниваемы с напластованиями земной коры, из которых каждое отличается от соседних и своим минеральным составом и заключающимися в ней остатками органической жизни. При каждом стихотворении указан год его создания, и хотя при этом оказывается, что отделы, установленные самим Щербиной, расположены в подробностях не строго хронологически, но все-таки мы можем сказать с большим приближением к полной точности: вот что преимущественно занимало и волновало поэта в такую-то пору, а вот за что ухватился он потом. Мы имеем, таким образом, ключ к истории развития поэта.

Но что такое история развития поэта? Что такое сам поэт? Мне не случалось встречать определение, которое я мог бы признать удовлетворительным, и потому предлагаю свое: поэт есть человек, умеющий говорить и за себя и за другого. Это определение (не совсем верное только разве в смысле неполноты) может, впрочем, кажется, обнять не только поэта, а художника вообще. У Щербины есть чрезвычайно злая и остроумная эпиграмма на представление «Смерти Иоанна Грозного» [1]. Вот она:

Талантливых наших актеров, наверное, тем не обижу,
Когда бы им правду в глаза я сказал,
Что Павла Васильича * видел, Василья Васильича ** вижу,
Ивана ж Васильича *** я не видал.

Это значит, что, по мнению Щербины, гг. Васильев и Самойлов не прониклись духом грозного царя, не пережили его, не сумели говорить за него. Пройдитесь по залам любой художественной выставки, и вы убедитесь, что предлагаемая мною простая мерка вполне приложима и здесь, что и здесь есть люди, умеющие и не умеющие говорить красками и образами за других, за молящегося, негодующего, любящего, ненавидящего, страдающего, радующегося человека. Относительно жанра,

* Павел Васильевич — Васильев.
** Василий Васильевич — Самойлов.
*** Иван Васильевич — Грозный.

исторической живописи, портретов, в этом, кажется, не может быть сомнений, но я думаю, что та же мерка приложима и к ландшафтной живописи; приложима она и к музыке. Не стану, впрочем, настаивать на этом, потому что я имею дело только с поэзией. Поэзия же, и лирика, и эпос, и драма, несомненно вся построена на умении говорить за других. В этом заключается и неотразимая сила поэзии в принципе и ее великое социальное значение. Отсюда: как в начертательной геометрии положение тела в пространстве определяется двумя его проекциями на горизонтальной и вертикальной плоскостях, так критика должна определять рост поэта, во-первых, его *умением* говорить за других и, во-вторых, количественным и качественным значением этих *других.*

Первые вдохновения Щербины были ниспосланы ему древней Грецией. Неизвестный автор предисловия к полному собранию его сочинений говорит, что он с ранней юности тщательно изучал классический мир. И этому следует верить не только потому, что Щербина, будучи тринадцати лет, написал поэму «Сафо», впоследствии им уничтоженную, но и потому, что многие из его «греческих стихотворений» положительно превосходны. Я приведу образцы, нарочно выбирая положения и образы, с нашей теперешней точки зрения по малой мере неважные и даже щекотливые и неудобные:

Вечером ясным она у потока стояла,
Моя прозрачные ножки во влаге жемчужной;
Струйка воды их с любовью собой обдавала,
Тихо шипела и брызгала пеной воздушной...
Кто б любовался красавицей этой порою,
Как над потоком она, будто лотос, склонилась,
Змейкою стан изогнула, и белой ногою
Стала на черный обрывистый камень, и мылась,
Грудь наклонивши над зыбью зеркальной потока;
Кто б посмотрел на нее, облитую лучами,
Или увидел, как страстно, привольно, широко
Прядали волны на грудь ей толпами
И, как о мрамор кристалл, разбивались, бледнея,
Тот пожелал бы, клянусь я, чтоб в это мгновенье
В мрамор она превратилась, как мать Ниобея,
Вечно б здесь мылась грядущим векам в наслажденье.

(«Купанье», 20)

Сбрось же, красавица, сбрось, умоляю, одежды и пояс!
Прелестям тела они безобразье, а не прикраса...
Что ты стыдишься напрасно! Оставь предрассудки и мненья

Суетно-глупой толпы пред лицом человека-поэта!..
Что ты ему созерцать позволяешь лишь только отдельно
Части прекрасного тела... Зачем бы тебе не явиться
Творческим взорам его в наготе, нестыдливой и чистой!
Только порок лишь стыдится, скрываясь от ясного света!..
Иль тебе больно, что драхмой наемщицы бедной
Я заплатил за бесценность, твою красу покупая?..
В жизни нам должно мирить все земное с небесным,
Должно равно уважать нам потребы Олимпа и дола...
Разоблачись предо мною, и примешь ты плату бессмертья,
Плату из всех дорогую... О, как ты чиста непорочно...

(*«Ваятель и натурщица»*, 40)

Стоило бы выписать еще маленькое стихотворение — «В деревне», в котором воспеваются «здоровые и сытные блюда деревенские, облитые крепительной влагой Вакха», и сладострастие, а также несколько строк из стихотворения без заглавия под № XXIII. Здесь так называемая пикантность сюжета идет, пожалуй, еще дальше, чем в приведенных отрывках, а между тем она нисколько не режет вам уха, если вы более или менее знакомы с духом древней Эллады. Это, конечно, условие sine qua non *. Иначе вы не увидите ничего, кроме плоских и циничеких картинок, как не увидите и в Венере Милосской ничего, кроме голой женщины. В молодом Щербине (ему было тогда 20—25 лет) было почти дерзостью браться за такие, так сказать, скользкие темы, с которых так легко свалиться в пропасть грязи и цинизма. Но он вышел победителем из этих трудностей, и успех оправдал его дерзость. В лета от р. Х. 1840—1850 трудно говорить лучше за древнего грека, трудно лучше передать ясность, простоту, законченность его миросозерцания. Отсутствие всякой туманности, цельность, не дававшая обособляться чувственному наслаждению от духовного, удивительно тонкое чувство меры, изгонявшее из искусства и из морали все преувеличенное и напыщенное, безграничное поклонение красоте во всех ее видах — вот что характеризовало древнего грека в цветущую пору Греции, вот что удалось ему воспитать в себе насчет каторжного труда и духовной нищеты рабов, вот что не может более повториться в истории и вот что удивительно верно схвачено Щербиной. Задача исполнена им блистательно, он

---

* непременное *(лат.)*.— *Ред.*

сумел говорить за древнего грека. Но является еще другой вопрос: почему ему вздумалось говорить за древнего грека?

В стихотворении «Волосы Вереники» есть следующая profession de foi * поэта:

Вижу яркий образ всюду
И прекрасные черты...
Я всегда поэтом буду
И любви и красоты!
Вам, художники другие,—
Горе дня и ложь людей,
Вам мечтания больные,
Стон и жалобы страстей!
То моя отвергла лира,
Что проходит с каждым днем,
Что изгонится из мира
Вечной правды торжеством...
. . . .
Того, что недостойно,
Я искусству не даю
И в душе горячкой знойной
Зло без образов таю.

Зло недостойно образов — вот воззрение чистокровного древнего эллина, отождествлявшего искусство с служением красоте и идеал красоты с идеалом нравственности. Очевидно, что и Щербина так смотрел в ту пору. А между тем пора была не совсем подходящая. Если бы я имел время и охоту повеселиться, я бы провел небольшую параллель между древней Грецией и Россией сороковых — пятидесятых годов. Базис и той и другой культуры, пожалуй, один и тот же — рабство. Но с одной стороны на этом грубом, неотесанном, презренном пьедестале стоит свободный, цельный, здоровый, трезвый красавец. А с другой толпятся: дикий помещик, пьяный бурбон, чиновник, сухой и желто-зеленый, как осенний лист, лишний человек, демоническая натура, наконец борец, страстно жаждущий померяться со злом вообще и воплотить его в образах в частности, — все люди забитые, разбитые и борцы, все вовсе не античные фигуры. Уже Гоголь давно раскатился своим негодующим хохотом, своим смехом сквозь слезы, и успел изныть с тоски по идеальном типе. Уже Чацкий проговорил свои

* Совокупность убеждений, буквально: исповедание веры *(франц.).— Ред.*

великолепные монологи, съедаемый «мильоном терзаний», уже славянофилы ушли искать спасения в глуши времен. Уже Печорин успел разменяться на Тамариных[2]. Уже Белинский сменил одну блестящую кожу на еще более блестящую и из эстетического критика обратился в протестанта. Уже раздалась «муза мести и печали», и послышался надтреснутый голос Достоевского и проч., и проч., и вдруг

Вечером ясным она у потока стояла,
Моя прозрачные ножки...

Вдрут такая неимоверная ясность, спокойствие и прозрачность среди всяческих стонов, раздвоенностей, болезненных криков и лихорадочной тревоги врачей. Как избежал Щербина всей этой забитости и разбитости и в особенности этой жажды борьбы со злом? Может быть, никогда последняя не была так сильна в русском обществе, — я разумею его лучшую часть, — как вскоре после выступления Щербины на литературное поприще. Но, может быть, никогда эта жажда и законнее не была, — припомните только, что тогда творилось у нас и что носилось над Европой. Как же мог такой замечательный и молодой, следовательно впечатлительный талант, каким оказался на первых порах Щербина, не только избежать этой жажды, но так сильно и полно проникнуться безмятежными принципами греческой жизни: «того, что недостойно, я искусству не даю, зло без образов таю». Создать «греческие стихотворения» Щербины совсем не то, что написать ученейший и превосходнейший трактат о древней Греции. Первое требует гораздо большего, полнейшего усвоения древнегреческой жизни, требует умения говорить за нее, чего вовсе не требуется от ученого трактата. Это и не то, что потребовать в критической статье, чтобы художник поклонялся только красоте и таил в себе зло без образов. Известно, что la critique est aisée, mais l'art est difficile*. Такому критику всякий может сказать: попробуй-ка сам. И кабы он попробовал, так, может быть, ничего и не вышло бы. Но у Щербины вышло. У него мы видим не рецепт, не правило, а исполнение, и притом блистательное. Значит, на душе у него было действительно антично — светло и спокойно, не-

* Критика легка, искусство трудно *(франц.).— Ред.*

смотря на все, что делалось вокруг него. Но как ни хороша сама по себе античная ясность и цельность, в русском юноше сороковых годов она представляет собою аномалию, которая только тем и объясняется, что Щербина с ранних лет жил в греческом обществе, чуждом русским, да и европейским тревогам и болезням.

То, что было так широко для древней Греции, было слишком узко для второй половины XIX века, и талантливый, чуткий человек не мог навеки погрязнуть в красотах древнегреческой поэзии. Действительно, в позднейших греческих стихотворениях античная ненависть ко всякой раздвоенности, ко всякому дуализму не исчезает:

Верь мне, одна без различия жизнь и людей и природы:
Всюду единая царствует мысль, и душа обитает
В глыбах камней бездыханных и в радужных листьях
растений...
Нет для меня, Левконоя, и тела без вечного духа,
Нет для меня, Левконоя, и духа без стройного тела!
Умственным взором гляжу я на образ жены полногрудой.
В выпуклых линиях форм, изваянных богиней-природой,
Душу, и целую жизнь, и поэму созданья читаю...

(«Моя богиня», 82)

Но рядом с этим чисто античным монизмом и чисто античным же воззрением на самую богиню-природу как на художника попадаются уже такие строки:

Дети! Искусство — *слеза недовольства насущною жизнью,*
Голос прозрения в лучшую жизнь с полнотой ее стройной,
Страстная жажда везде и всегда и во всем совершенства,
Вопли любви, не изведанной нами и нами просимой,
Первое чадо рассудку и сердцу знакомого горя,
Первый младенческий крик в человеке родившейся мысли,
Слово потреб вопиющих, потреб бесконечного духа...
Знайте, искусство — уж это несчастие наше, о дети!
Вы же, малютки, живете в довольстве *созвучья с природой,*
В светлой охране ее, под крылом ее, девственно теплым,
Счастливы тем, что вам *чуждо искусство, а с ним и страданье,*
Чужды вам слезы тоски по возникшем в душе идеале.

(«Девочки», 80)

Или:

И художник в печали своей,
Когда *сердцем болящим страдал*
Над нестройною жизнью людей,
Твой чарующий лик изваял,

И он верил: придут времена —
Все, что в духе бесплотном живет,
Будто грезы роскошного сна,
В повседневную жизнь перейдет.

(«Пред статуей Венеры Таврической», 81)

Здесь мы видим все еще в античной форме вовсе уже не античное содержание. Никогда греку, при виде статуи Венеры, не пришли бы в голову подобные мысли. Для этого, во-первых, он слишком сильно наслаждался бы непосредственно красотой статуи, а во-вторых, слишком мало страдал над нестройною жизнью людей. Аристотель и Платон в сильнейшей язве своего времени — рабстве видели именно только необходимый и законный пьедестал культуры. Эпикурейцы[3] замыкались в личное счастье при данных условиях. Стоики[4] видели в нестройности жизни людей только отблеск мировой стройности, то есть нестройности не видели и, следовательно, над ней не страдали. Словом, тут Щербина уже не за грека говорил, а за современного человека с его «недовольством насущною жизнью» и надеждою устроить «повседневную жизнь» в будущем, с его почти неизвестной древнему миру тоской по общественному идеалу. Формой Щербина пользовался еще старой, но относительно содержания сделал значительный шаг вперед. Но тут замешалась другая зацепка — пантеизм, сказавшийся особенно в «песнях о природе».

Щербина точно нарочно искал для своей поэтической деятельности такой сферы, где бы его не терзали болезни времени, такой точки зрения, которая скрывала бы или подкрашивала все многоразличное зло насущной жизни. Еще не выпутавшись окончательно из сетей классицизма и все-таки стесняемый ими, он начинает колебаться, но изо всех тогдашних веяний вдохновляется только пантеизмом:

Верю, я бессмертен!
В атомах вселенной
Я уж зарождался,
С вечной жизнью бога,
В божьей мысли жил я...
Жизненная влага
И пылинка персти
Первых дней созданья
Слиты в этом теле...
И ужель не буду
В мире вечно жить я,

С этим вечным миром —
Образом всевечной,
Некрушимой мысли?
Разве заронился
Втуне хоть единый
Солнца луч на землю?
Или не возник он,
В ней преображенный,
Цветом ароматным
В изумрудных листьях?
Иль в дыханье зноя
С чашечки рассвета
Не упал на землю
Радужною пылью
И с землей не слился
В вечных превращеньях?

(«Жизнь», 108)

Эту тему Щербина эксплуатировал часто, и иногда с замечательной силой. «Жизнь» я привел только потому, что это стихотворение небольшое и, так сказать, концентрированное, но отнюдь не как лучшее в этом роде. Особенно удачно «Уженье» (112). Это действительно прелестная вещь, каждая строка которой полна смысла, конечно пантеистического. Понятно, как успокоительно это поэтическое убежище. Несмотря на свою туманность и расплывчатость, оно не уступает в этом отношении античной ясности и конкретности образов. Вдвигая человека, со всеми его радостями и страданиями, помыслами и страстями, в бесконечную цепь явлений природы на правах одного из атомов, пантеизм, собственно говоря, вычеркивает человека, закалает его на алтаре мирового величия. Поэтому с своей новой точки зрения Щербина имел полное право говорить:

Смолкните ж, стоны страданья,
Жалобный вопль человека!
Нет в мироздании горя:
Горе — то призрак, от века
Созданный вольно тобою,
Где утонул ты, как в море,
Ложной носимый судьбой
И истомленный борьбой.
Слейся душою и телом,
Слейся с широкой природой,
Полной здоровья, свободой,
Мыслью и делом...
Смертный! Пойми и прими
Жизнь горячо и разумно,

Страсти больные уйми,—
И перестанешь, в сознанье,
Во всеуслышанье, шумно
Плакать *о мнимом страданье,*
Плакать, как плакал ты вечно
О преходящем, ничтожном,
Ложно блестящем, конечном
Иль на земле невозможном.

(«Мир», 130)

Во всяком случае, это шаг вперед, тем более, что рядом с культом красоты поэт ставит науку, знание (см. «Природа», «Счастье» и проч.). Но мало-помалу пробиваются среди этих песен о природе совершенно иного свойства ноты, и поэт поднимается постепенно на новую, высшую ступень своего развития. К прекрасному и истинному примыкает в его песнях благое, справедливое, «Добро». Задачу своей деятельности поэт видит уже не в служении красоте, не в обегании зла, как материала для образов. Напротив:

О поэт! ты — совесть века

. . . . .

Да звучит твой стих обронный (?),
Правды божией набат,
В пробужденье мысли сонной,
В кару жизни беззаконной,
На погибель всех неправд.

(«Поэту», 149)

И античное и пантеистическое спокойствие постепенно рассеиваются, как туман, из-под которого вырезывается, наконец, фигура современного русского человека. Щербина сумел говорить и за отчаяние тогдашнего лучшего русского человека:

Переполнены силою страстною,
Пожираемы жадно любовью,
Истомимся мы жертвой напрасною,
За людей не прольемся мы кровью...
Не волнуйся ж, душа многодумная,
И в безгрезной дремоте разлейся!
Замолчи, мое сердце безумное,
Замолчи навсегда... иль разбейся!

(«Песня века», 170)

Умереть бы нам, други, весною:
Ничего не осталось для нас,
Кроме сказанных с желчью больною
Отрицанья исполненных фраз.

(«Смерть весны», 178)

Отозвался он и на его надежды:

Но настанут века золотые:
Ты их мыслью своей призовешь
И добра семена дорогие
Своей кровью обильно польешь.
И все силы души и природы
Покоришь себе, новый Зевес,
Создашь новое солнце свободы,
И два солнца засветят с небес.

(«Песня Прометея», 159)

Многие из этих «ямбов и элегий» в свое время производили впечатление, несмотря на весь блеск наличных первостепенных поэтов в этом роде. Но это был последний шаг Щербины вперед. Он вдруг круто оборвался и полетел вниз, его оставили и мысль, и форма, и *уменье* говорить за других и умение говорить за *других*. В нем не осталось ничего, кроме злобного, узкого, бессмысленно на все стороны огрызающегося я...

Повторяю, история развития поэта не так проста, не так хронологически прямолинейна, как я представил. Три указанные фазиса только постепенно вытесняли друг друга. Но если читатель пожелает позаняться статистикой, то он увидит, что наибольшее количество «греческих стихотворений» написано Щербиной в самом начале сороковых годов; затем все чаще и чаще проглядывают пантеистические прожилки, а наибольшее число «ямбов и элегий» выпадает на самый конец сороковых и пятидесятые годы, хотя и тут еще отзываются по временам старые струи.

Но читатель, может быть, спросит, почему я считаю историю развития Щербины, до того момента, до которого я ее довел, историей прогрессивного развития. Сделал ли действительно Щербина шаг вперед, заразившись болезнями места и времени, схватив скорбь о настоящем и тоску по будущем? Не лучше ли было ему оставаться «певцом зимой погоды летней» и стоять одиноко с классическим спокойствием среди волн отрицательного и беспокойного течения? Я полагаю, впрочем, что читатель мне подобного вопроса не задаст и жеваную азбуку пережевывать не заставит. Я скажу только несколько слов, собственно, в разъяснение моего определения поэта и поэзии, пожалуй искусства вообще.

Я не верю в так называемое чистое искусство или

искусство для искусства. Не то чтобы я ему не сочувствовал или не одобрял его, я в него именно не верю, я полагаю, что его никогда не было, нет и не будет, как не было, нет и не будет безусловной справедливости, то есть справедливости для справедливости, объективной морали, то есть морали для морали, науки для науки. То, что понимается под всеми этими категориями, есть не более как замаскированное служение данному общественному строю. Эстетическая способность, способность познавания, способность этическая, идеалы красоты, личной нравственности и общественной справедливости переплетены друг с другом самым тесным образом и бесчисленными перекрещивающимися нитями. Древний грек, художник по преимуществу, преклоняясь пред красотою Фидиева создания, преклонялся не перед одной красотой, и дрожала в нем не только эстетическая струнка. Он преклонялся в статуе, в картине, в поэтическом произведении перед всем строем античной жизни. Он чуял в них и отблеск своей гражданской и политической свободы и рабства четырех пятых населения всей Греции. Да, в статуе Фидия и в картине Апеллеса отразилось это рабство, ибо оно составляло одно из условий их создания. Отсюда следует, что Фидий и Апеллес умели говорить за других, но эти другие составляли лишь одну пятую долю их соотечественников. Мысли, чувства и, главное, интересы только этой дроби формулировали они в своих прекрасных образах. Раб их не понимал, не мог понимать, не хотел, да и они не хотели, чтобы он их хоть когда-нибудь понял, потому что, пойми он их, греческой культуре конец. Пойми он, какое оскорбление, какая несправедливость к нему кроется в каждом изгибе тела прекрасной статуи, эту статую постигла бы участь Вандомской колонны [5]. Божественный лик Сикстинской Мадонны вонючий и развратный раб изрежет ножом, с негодованием говорит один из героев «Бесов» г. Достоевского [6]. Я понимаю это негодование, но понимаю и раба, хоть, конечно, не этим путем достигнется его нравственная и физическая чистота. Но все-таки его движения так понятны. Ламартин еще в сороковых, помнится, годах предсказывал разрушение, при известных обстоятельствах, Вандомской колонны [7]. А ведь не бог знает какой пророк был. А Прудон по этому поводу спокойно заметил: да, вот тоже ваши произведения будут изорваны.

Итак, служение чистой красоте не существует, а то, что называется этим именем, есть служение интересам группы людей, усвоившей себе соответственные понятия о красоте, воспитавшей в себе известную комбинацию эстетической и познавательной способности. Комбинация эта, удовлетворявшая древних греков, оставив по себе великие памятники, рассыпалась прахом; кости носителей ее истлели, и даже лопух растет уже не из них. Возможны, конечно, и ныне редкие экземпляры, повторившие в себе вследствие особенных обстоятельств эту комбинацию. Но это будут тепличные растения, потому что, если бы каким-нибудь чудом сложились развеянные по миру частицы настоящего, заправского древнего грека, если бы он, гордый решитель судеб своей родины и свободный слуга ее, явился среди нас, ему пришлось бы вторично умереть — от удушья в нашей канцелярско-казарменной атмосфере. — Но, скажет, может быть, читатель, тут-то, в этой независимости поэтического вдохновения от окружающей среды и сказывается чистое искусство, если даже справедливо все, что вами сказано о связи греческого искусства с нравственными и политическими идеалами античного мира. — Не совсем так. Допуская даже, что в своих греческих стихотворениях Щербина *желал* служить исключительно красоте и что его нравственные идеалы тут ни при чем, не трудно видеть, что в *действительности,* может быть бессознательно, так сказать нечаянно, он служил кое-чему и кроме красоты. За кого говорил поэт, например, в следующих строках:

Музам я утро свое посвящаю, вставая с Авророй,
Знойного полдня часы провожу под наметом
Темно-прохладных дерев, и на ложе забывчивой неги
Сладко дремлю я, вкусивши здоровых и сытных
Блюд деревенских, облитых крепительной влагою Вакха.
Ночью я весь отдаюсь Афродите-богине:
Полною чашей восторги любви испиваю во мраке:
Тонут уста мои в жарких устах Левконои,
Руки по мрамору тела скользят, красоты ощущая
Гибкого стана и груди упругой и полной.

В этом стихотворении (озаглавленном «В деревне») поэт говорит за древних греков, которые были и быльем поросли, которые проводили время далеко не всегда на этот манер, но с точки зрения которых такое времяпровождение, между прочим, вполне достойно песнопения.

Сам поэт и еще сотня людей это, конечно, очень хорошо знают и радуются единственно удачному выражению античного спокойствия. Но затем на Руси сороковых — пятидесятых годов есть еще несколько тысяч людей, не переведшихся и до сих пор, которые могут вполне сочувствовать и содержанию этого произведения, за которых, следовательно, поэт тоже говорит. Эти несколько тысяч человек проводили время весьма сходно с описанием Щербины, которое *фактически* оказывается идеализацией их житья-бытья. Щи с кулебякой на четыре угла, окропленные живительной влагой очищенной, лежание вверх брюхом под кустом смородины или в тени рябины, затем ночь с законной супругой, а нет, так с Левконоей-Палашкой (утренние беседы с музами, конечно, вычеркиваются, потому дело не греческое — надо и по хозяйству посмотреть), — вот чему служил, допустим, бессознательно Щербина в своих греческих стихотворениях, а вовсе не чистой красоте; вот чьим интересам, оплеванным Гоголем, служил этот юный поэт и даже до известной степени сочувствовал, потому что иначе у него на душе не было бы так античны светло в сороковых годах. Следовательно, было бы вовсе неправильно говорить, что Щербина перешел впоследствии от чистого искусства и гимнов красоте к «гражданским мотивам». Он просто качественно и количественно расширил круг своего поэтического сочувствия, круг людей, за которых он взялся говорить. Он перестал говорить за мертвых греков и людей вроде Петра Петровича Петуха и стал говорить за лучших русских людей сороковых годов, которые обнимали своим сочувствием всю Россию, а с ней и все человечество...

ДЕСНИЦА И ШУЙЦА ЛЬВА ТОЛСТОГО

I

. . . .

Есть два типа социологических исследований. Одни исследователи принимают за точку отправления судьбы общества или цивилизации, сводят задачу науки к познанию существующего и не могут или не желают дать руководящую нить для практики. Другие отправляются от судеб личности, полагая, что общество и цивилизация сами по себе цены не имеют, если не служат удовлетворению потребности личности; далее эти исследователи думают, что наука обязана дать практике нужные указания и изучать не только существующее, а и желательное. Который же из этих двух типов социологических исследований одобряется и который отвергается гр. Толстым?

Изучив сочинения этого замечательного писателя со всем тщанием, на какое я способен, я отвечаю: не знаю. И это не потому, что он, должно быть из боязни модного слова, несколько презирает «социологию». Можно всю жизнь говорить прозой, даже не зная слова «проза». Не важно, нравится кому-нибудь или нет слово социология. Важно то, что всякий, изучающий какое-нибудь общественное явление, необходимо держится одного из двух поименованных типов социологического исследования. Надо держаться которого-нибудь одного, потому что они логически исключают друг друга. Логически —да, но фактически они могут уживаться рядом, и в таком

случае шуйца не будет знать, что делает десница, и наоборот. Шуйца и десница гр. Толстого находятся именно в таких взаимных отношениях. Поэтому-то я и отвечаю на свой вопрос: не знаю. Не знаю потому, что из сочинений гр. Толстого можно извлечь очень резкие суждения в пользу обоих, логически исключающих друг друга типов исследования.

Много лет тому назад гр. Толстой занялся педагогиею и занялся так, как у нас очень редко кто занимается своим делом[1]. Он не только не принял на веру какой бы то ни было готовой теории образования и воспитания, но, так сказать, изрыл всю область педагогии вопросами. Это зачем? какие основания такого-то явления? какая цель такого-то? — вот с чем подходил гр. Толстой и к самой сути педагогии и к разным ее подробностям. Делал он это с истинно замечательною смелостью. Смелость бывает разного рода. Есть смелость дикарей, подбегающих к самым жерлам направленных на них пушек, чтобы заткнуть их своими шляпами; это — смелость невежд, не имеющих понятия о трудностях предпринимаемого ими дела. Есть смелость Угрюм-Бурчеевых, смелость мраколюбцев, почерпаемая в беззаветной ненависти к свету. Есть смелость нравственно пустопорожних людей, готовых идти в любой поход без всякого умственного и нравственного багажа, без знаний и убеждений и не рассчитывающих на победу, но и в поражении не видящих чего-нибудь печального или позорного. Есть смелость отчаяния, когда человек сознает, что дело его проиграно, и бросается в самый пыл битвы, чтобы погибнуть. Есть смелость бретеров, жаждущих борьбы для процесса борьбы. Есть, наконец, смелость людей, глубоко преданных своему делу и верящих, что оно не сегодня-завтра восторжествует, что оно должно восторжествовать. Ввиду идеала, который им так ясен и близок, им не приходится гнуться перед господствующими мнениями, не приходится в оставленном ими храме видеть все-таки храм и в низверженном ими внутри себя кумире все-таки бога. Педагогические воззрения гр. Толстого — налицо (они собраны в IV томе его сочинений), и всякий непредубежденный человек должен признать, что смелость его была последнего рода. Он, например, открыто восставал против университетского образования в такое время, когда общество ценило его очень высоко; но вос-

ставал, надо заметить, совсем не с точки зрения Магницкого, ныне у московских ученых опять получающей вес и значение. Он отрицал университеты не потому, что боялся света и свободы, и не потому, что желал какой-нибудь монополии высшего образования, предоставления его исключительно какому-нибудь одному классу общества. Совсем напротив, он находил, что университетское образование *не* свободно. Далее он, например, говоря, собственно, о народных училищах, самым серьезным образом повторял вопрос знаменитой г-жи Простаковой: зачем нужна география? Тут двойная смелость. Смело задать этот вопрос, но еще смелее указать, что он был уже задан одним из наиболее осмеянных литературных типов и стал даже некоторой притчей во языцех. Я убежден, что ни один самый завзятый мраколюбец, даже полумифический Аскоченский это сделать не посмеет, а посмеет только человек свободного и пытливого ума, вложивший свой особенный смысл в вопрос матери Митрофанушки. Только человек, поднятый знанием дела и любовью к нему на известную высоту, осмелится придать некоторое значение вопросу глупой Простаковой и тут же рядом скептически взглянуть на какое-нибудь изречение весьма ученого и даже умного мужа. Но понятное дело, что такая смелость и свобода отношений к изучаемому предмету не могут прийтись всем по плечу. Всегда найдутся люди, которые, гоняясь за дешевыми лаврами, высыпят целых три короба либеральных, но не идущих к делу возражений в таком роде: а! так, значит, вы солидарны с г-жой Простаковой? Поздравввляю! Затем начинается победоносное нашествие на г-жу Простакову, которое оканчивается, разумеется, победой, а победа над глупой, грубой и необразованной г-жой Простаковой убеждает возражателей и кое-кого из читателей, что они необыкновенно умные и высокообразованные люди. Нет поэтому ничего удивительного в том, что воззрения, высказанные гр. Толстым самым резким, определенным образом, но с подробным мотивированием в журнале «Ясная Поляна», были встречены неодобрительно. Даже г. Страхов, которого трудно представить рядом с гр. Толстым иначе, как в коленопреклоненной позе, даже и тот, хотя и погладил его по головке, но в значительной степени против шерсти [2]. Большинство видело в «яснополянских» теориях, сомнениях и вопро-

сах только мистический ультрапатриотизм и славянофильство, то есть то именно, что и ныне валят господа педагоги на гр. Толстого, как шишки на бедного Макара.

Из критических статей, вызванных педагогическою ересью «Ясной Поляны», для нас особенно любопытна статья г. Маркова, появившаяся в «Русском вестнике» [3]. Любопытна она, впрочем, только потому, что гр. Толстой ответил на нее замечательной статьей «Прогресс и определение образования» (Сочинения, т. IV, 171—215). Статья г. Маркова мне только и известна по ответу гр. Толстого, я не счел нужным ее разыскивать.

Репутация гр. Толстого двойственна: как из ряду вон выходящего беллетриста и как плохого мыслителя. Эта репутация обратилась уже в какую-то аксиому, не требующую никаких доказательств. Только силой непрокритикованного предания и можно объяснить, например, такой факт. В московском обществе любителей российской словесности кто-то читал отрывок из не напечатанной еще тогда второй части «Анны Карениной». «С.-Петербургским ведомостям» немедленно пишут (телеграфировать бы надо!), что отрывок изумителен, превосходен, велик и проч. И в подтверждение приводится такая черта: когда Анна Каренина, уже пораженная стрелой Амура, возвращается в Петербург и встречается с мужем, то ей кажется, будто у него выросли уши! Корреспондент так и ставит восклицательный знак, выражая тем свое изумление перед психологической глубиной и эстетической силой этой подробности. Бывают люди, репутация которых как остроумцев до такой степени установилась, что им стоит только поздравить именинника, разинуть рот, мигнуть, попросить стакан чаю и т. п., чтобы все присутствующие пришли в необычайно веселое настроение. Так-то вот и с гр. Толстым. А между тем, может быть, тот же самый корреспондент «С.-Петербургских ведомостей» считает себя вправе смотреть на педагогические теории гр. Толстого сверху вниз. Это очень возможно, во-первых потому, что этому соответствует утвердившаяся репутация гр. Толстого, а во-вторых потому, что холопское унижение стоит всегда рядом с холопской заносчивостью. Я не знаю, придется ли мне говорить о гр. Толстом как беллетристе. Вероятно, придется. Здесь замечу только следующее. Говоря об нем

как о первоклассном художнике, обыкновенно подразумевают не только его творческую силу, но и язык, сильный, точный, сжатый, выразительный и проч. Вот и г. Бунаков, в письме в редакцию «Семьи и школы» (1874, № 10) [4], пишет, что напечатанная в «Отечественных записках» статья гр. Толстого есть сплошная нелепость и «ложь, написанная увлекательно, остроумно и таким прекрасным языком, каким умеет писать один только автор «Войны и мира». Тут сказывается все та же двойственная репутация гр. Толстого, которая, однако, как и большинство ходячих репутаций, далеко не вполне основательна. Читатель, надеюсь, сейчас убедится, что первая же статья гр. Толстого, на которую я обращаю его внимание, — «Прогресс и определение образования», отличается, напротив, редкою трезвостью, ясностью и силою мысли и вместе с тем языком крайне неточным, неправильным, а подчас и совершенно неуклюжим.

Гр. Толстой дал следующее определение: «Образование есть деятельность человека, имеющая своим основанием потребность к равенству и неизменный закон движения вперед образования». Это *сказано* до такой степени неточно, неправильно, неуклюже, до такой степени не по-русски, что определение выходит крайне плохое. Однако тут виновата не мысль гр. Толстого, заслуживающая, напротив, бо́льшого внимания, а только его неумение выразить свою мысль. Занявшись практически педагогией, гр. Толстой пожелал найти такое определение образования, которое указывало бы его цель и, следовательно, момент прекращения деятельности образовывающего и образовывающегося; определение это должно было дать критерий педагогики, то есть некоторую истину, с высоты которой можно бы было решить вопрос о том, чему и как следует учить. Гр. Толстой рассуждает так. В обществе действует несколько причин, побуждающих одних образовывать, а других образовываться. Возьмем сначала деятельность образовывающегося, ученика. Он может учиться для того, чтобы избежать наказания, — это, по определению гр. Толстого, «учение на основании послушания»; для получения награды или для того, чтобы быть лучше других, — «учение на основании самолюбия»; для получения выгодного положения в свете, — «учение на основании материальных выгод и честолюбия». Гр. Толстой все тем же неточным и неуклюжим

языком утверждает, что «на основании этих трех разрядов строились и строятся различные педагогические школы: протестантские — на послушании, католические, иезуитские — на основании соревнования и самолюбия, наши российские — на основании материальных выгод, гражданских преимуществ и честолюбия». Могут ли быть эти основания введены в науку? Нет, отвечает гр. Толстой, главным образом по двум причинам: 1) «при таких основаниях нет общего критериума педагогики, — и богослов и естественник одновременно считают свои школы непогрешительными, а не свои школы положительно вредными»; 2) потому, что при системе образования, построенной на одном из перечисленных начал, «приобретаются привычки послушания, раздраженное самолюбие и материальные выгоды; но это, конечно, не суть прямые цели образования». Деятельность образовывающего также управляется различными мотивами, из которых главные: «желание сделать людей такими, которые были бы для нас полезны (помещики, отдававшие дворовых в ученье и в музыканты, правительство, приготовляющее для себя офицеров, чиновников и инженеров)»; послушание и материальные выгоды; самолюбие; «желание сделать других людей участниками в своих интересах, передать им свои убеждения и с этою целью передать им свои знания». Только этот последний мотив, только побуждение учителя уравнять с собой знания ученика и соответственное побуждение ученика сравняться в знании с учителем — гр. Толстой признает достойным лечь во главу угла науки педагогии. Как только образовывающий передал свои знания образовывающемуся,— цель образования на данном пункте достигнута: ученик может идти дальше, искать новых учителей, но учитель свое дело сделал, то есть прямое, непосредственное дело образования. Но равенство знаний может быть достигнуто не на низшей, а только на высшей ступени знания «по той простой причине, что ребенок может узнать то, что я знаю, а я не могу забыть того, что́ я знаю; и еще потому, что мне может быть известен образ мысли прошедших поколений, а прошедшим поколениям не может быть известен мой образ мысли». Это-то и есть «неизменный закон движения вперед образования». Вот что хотел сказать гр. Толстой своим неуклюжим определением образования.

Я желал бы выяснить шуйцу и десницу гр. Толстого по возможности независимо от педагогики и затем уже приложить найденное к спору гр. Толстого с педагогами. Прием этот кажется мне потому удобным, что мы сразу получим, таким образом, руководящую нить, и нам не нужно будет долго засиживаться на мелочах и частностях текущей педагогической распри, которые выяснены уже достаточно. Тем не менее обойти на этот раз педагогику совсем — не представляется никакой возможности. Я должен привести теперь же по крайней мере один вывод, который делает гр. Толстой из своего определения образования, собственно для того, чтобы показать, что определение это есть не бесплодная экскурсия в область отвлеченной мысли. На основании своего определения образования гр. Толстой считает возможным указать следующую цель науки педагогики: она должна изучать условия, благоприятствующие и препятствующие совпадению стремлений образовывающих и образовывающихся в одной общей цели. Этого-то совпадения, по мнению гр. Толстого, и нет в деле народного образования. Народ хочет учиться, правительства и частные лица хотят его учить, но стремления эти не имеют до сих пор общей точки, не совпадают. Отсюда все трагикомические подробности народного образования. Для устранения их нужно одно — полная свобода для образовывающихся выбора программы учения. К этому последнему результату приводят гр. Толстого и некоторые другие соображения. Но для нас пока достаточно и сказанного.

Замечательно, что упомянутая статья «Русского вестника» (г. Маркова) направлена, как можно судить по цитатам гр. Толстого, не столько против приведенного определения образования и выводов из него, сколько против самой задачи гр. Толстого. Г. Марков считает нелепыми самые вопросы о цели и критерии педагогики. Он пишет: «Ясную Поляну» смущает то обстоятельство, что в различные времена люди учат различному и различно. Схоластики[5] одному, Лютер другому, Руссо по-своему, Песталоцци опять по-своему. Она видит в этом невозможность установить критериум педагогики и на этом основании отвергает педагогику. А мне кажется, она сама указала на этот необходимый критериум, приводя упомянутые примеры. Критериум — в том, чтобы учить, соображаясь с потребностями времени. Он прост и в совер-

шенном согласии с историей и логикой. Лютер оттого только и мог быть учителем целого столетия, что сам был созданием своего века, думал его мыслию и действовал по его вкусу. Иначе его огромное влияние было бы или невозможно, или сверхъестественно; не походи он на своих современников, он бы исчез бесплодно, как непонятное, никому не нужное явление,— пришелец среди народа, которого даже языка он не понимает. То же и с Руссо и всяким другим. Руссо формулировал в своих теориях накипевшую ненависть своего века к формализму и искусственности, его жажду простых, сердечных отношений. Это была неизбежная реакция против версальского склада жизни, и, если бы только один Руссо чувствовал ее,— не явился бы век романтизма, не явились бы универсальные замыслы переродить человечество, декларации прав, Карлы Мооры и все подобное...[6] Мне непонятно, чего бы хотел гр. Толстой от педагогии. Он все о крайней цели, о незыблемом критериуме хлопочет. Нет этих — так, по его мнению, не нужно никаких. Отчего же не вспомнит он о жизни отдельного человека, о своей собственной? Ведь он, конечно, не знает крайней цели своего существования, не знает общего философского критериума для деятельности всех периодов своей жизни. А ведь живет же он и действует; и оттого только живет и действует, что в детстве имел одну цель и один критериум, в молодости другие, теперь опять новые, и так далее».

Вот образец социологического исследования первого типа. Здесь налицо все признаки этого рода исследований. Г. Марков принимает за точку отправления судьбы общества или цивилизации и предлагает учить и учиться не тому, что́ тот или другой учитель или ученик считает нужным, полезным, избранным, а тому, что́ «соответствует потребностям времени», то есть потребностям известного исторического момента. Вместе с тем г. Марков сводит задачу науки к познанию существующего, так как отвергает надобность и возможность для педагога подняться выше существующего порядка вещей или вообще как-нибудь от него отклониться. Тем самым, наконец, г. Марков отказывается дать руководящую нить практике. Сказать: учите, соображаясь с потребностями времени,— значит ничего не сказать, потому что потребности времени остаются невыясненными. Я, впрочем, не намерен утомлять читателя собственным своим разбором мнений

г. Маркова, во-первых потому, что не в них совсем дело, а во-вторых потому, что я не сумел бы сделать этот разбор лучше гр. Толстого. В своем ответе г. Маркову он стоит на истинно философской высоте, и, если бы не портили дела некоторые частности, почти исключительно зависящие от неправильности и неточности выражений, статья «Прогресс и определение образования» была бы безукоризненна во всех отношениях.

«Со времен Гегеля и знаменитого афоризма: «что исторично, то разумно»,— говорит гр. Толстой, — в литературных и изустных спорах, в особенности у нас, царствует один весьма странный умственный фокус, называющийся историческое воззрение. Вы говорите, например, что человек имеет право быть свободным, судиться на основании только тех законов, которые он сам признает справедливыми, а историческое воззрение отвечает, что история вырабатывает известный исторический момент, обусловливающий известное историческое законодательство и историческое отношение к нему народа.

Вы говорите, что вы верите в бога,— историческое воззрение отвечает, что история вырабатывает известные религиозные воззрения и отношения к ним человечества. Вы говорите, что Илиада есть величайшее эпическое произведение, — историческое воззрение отвечает, что Илиада есть только выражение исторического сознания народа в известный исторический момент. *На этом основании историческое воззрение не только не спорит с вами о том, необходима ли свобода для человека, о том, есть или нет бога, о том, хороша или не хороша Илиада, не только ничего не делает для достижения той свободы, которой вы желаете, для убеждения или разубеждения вас в существовании бога или в красоте Илиады, а только указывает вам то место, которое наша внутренняя потребность, любовь к правде или красоте занимает в истории: оно только сознает, но сознает не путем непосредственного сознания, а путем исторических умозаключений.* Скажите, что вы любите или верите во что-нибудь,— историческое воззрение говорит: любите и верьте, и ваша любовь и вера найдут себе место в нашем историческом воззрении. Пройдут века, и мы найдем то место, которое вы будете занимать в истории; но вперед знайте, что то, что вы любите, не безусловно прекрасно, и то, во что вы верите, не безусловно справедливо; но забавляйтесь,

дети, — ваша любовь и вера найдут себе место и приложение. К какому хотите понятию стоит только приложить слово историческое, — и понятие это теряет свое жизненное, действительное значение и получает только искусственное и неплодотворное значение в каком-то искусственно составленном историческом миросозерцании».

Вовсе не надо быть педантом, чтобы с некоторым недоумением остановиться перед этими невозможными «не только, а только», «только сознает, но сознает не путем сознания» и т. п., испещряющими речь знаменитого русского писателя. Но бог с ним, с языком гр. Толстого. Я упоминаю об нем только для того, чтобы лишний раз обратить внимание читателя на неосновательность ходячих репутаций. Больше я этой скучной материи касаться не буду. Читатель предупрежден и не станет строить какие-либо выводы на отдельных выражениях гр. Толстого, которые своею грамматическою неуклюжестью и логическою неправильностью слишком часто только затемняют, даже извращают мысль автора. Будем следить только за мыслью гр. Толстого. Она этого сто́ит, по крайней мере с моей точки зрения, с точки зрения профана, потому что из приведенных неуклюжих строк так и бьет тот дух жизни, который нам, профанам, дороже всего. Очевидно, что суть протеста гр. Толстого против того, что́ он называет историческим воззрением, сосредоточивается в подчеркнутых мною словах. Значения исторических условий как факторов, определяющих деятельность личности, гр. Толстой вовсе не отрицает. Он очень хорошо знает, что Илиада, известные понятия о божестве, известный общественный строй — суть продукты исторических условий. Но он хочет не только знать, какое место в истории занимают его идеалы: он хочет жить ими и, следовательно, знать их настоящую, теперешнюю цену, независимо от истории. В другом месте гр. Толстой говорит весьма определительно: «Статья «Русского вестника» думает, что школы не могут и не должны быть изъяты из-под исторических условий. Мы думаем, что эти слова не имеют смысла, во-первых потому, что *изъять из-под исторических условий нельзя ничего ни на деле, ни даже в мыслях*. Во-вторых потому, что ежели открытие законов, на которых строилась и должна строиться школа, есть, по мнению г. Маркова, изъятие из-под исторических условий, то мы полагаем, что *наша мысль*, от-

крывшая известные законы, *действует тоже в исторических условиях,* но что нужно опровергнуть или признать самую мысль путем мысли для того, чтобы разъяснить ее, а не отвечать на нее тою истиною, что мы живем в исторических условиях». Из этого видно, что г. Марков совершенно понапрасну рассыпáл цветы своего красноречия. Гр. Толстому очень хорошо известна сила исторических условий. Она ему известна даже лучше, чем г. Маркову, или по крайней мере соображения о ней проводятся гр. Толстым дальше и последовательнее. Предполагая даже, что потребности времени суть нечто для всех ясное и определенное, я, с точки зрения все той же силы исторических условий, имею полное право восставать против этих потребностей времени, признавать их ложными, дрянными, желать их изменения, делать соответственные усилия и проч. Потому что, если во мне зародились известные сомнения и желания, так ведь они не с неба свалились, они тоже определены историческими условиями. И если мои сомнения и желания признаются кем-нибудь неосновательными, то оппонент мой должен оставить исторические условия в покое и представить какие-нибудь иные аргументы «от разума» или «от опыта». Историческими условиями можно оправдать всякую нелепость и всякую мерзость, для чего нет никакой надобности в длинных рассуждениях, к которым любят прибегать в подобных случаях: довольно указать на существование нелепости или мерзости, — тем самым они уже оправданы. Но это будет, собственно говоря, не оправдание, а празднословие, очень удобно опрокидываемое несколькими словами; теми самыми словами, которые сказал гр. Толстой: человек, стремящийся стереть с лица земли существующие нелепости и мерзости, есть тоже продукт истории. Против этого аргумента возражений нет. В своем ответе г. Маркову гр. Толстой поставил и разрешил (я не говорю, что это не было делаемо другими, задолго до гр. Толстого) теоретический вопрос высочайшей важности. Больших усилий стоило людям убедиться, что нет действий без причины, что и их людские действия, мысли, желания, чувства возникают в конце известного ряда явлений, сменяющих друг друга с физическою необходимостью. Убеждение это завоевывалось шаг за шагом, пробивая себе дорогу сквозь целый лес предрассудков. И только в сравнительно недавнее

время оно восторжествовало благодаря соединенным усилиям статистиков, историков, психологов, физиологов, философов. Но, к сожалению, мысль о «законосообразности» человеческих действий, не успев даже наметить весь круг своих результатов, уже успела заразиться двумя исконными наследственными недугами человечества — фатализмом и оптимизмом. Удивляться надо в самом деле, какие это цепкие и прилипчивые болезни. Трудно даже найти в истории мысли теорию, которая не была бы хоть на короткое время покрыта злокачественною и отвратительною сыпью оптимизма и фатализма. А идея необходимости или законосообразности человеческих действий находится в условиях, особенно благоприятных для заражения. Фатализм есть учение или взгляд, не допускающий возможности влияния личных усилий на ход событий. Понятное дело, что этому взгляду очень удобно заразить собой теорию необходимости человеческих действий. Каждый из нас, жалких детищ вращающегося во вселенной ничтожного комка грязи, называемого землей, есть нечто вроде шашки, которую сила событий передвигает с одной клетки шахматной доски на другую. Шашка может иметь в ходе игры важное и не важное значение, но она жестоко ошибается, когда думает, что *сама* становится на такую-то клетку и могла бы, если бы захотела, стать на другую. В таком роде рассуждают многие статистики, историки и другие ученые люди не только в теоретической области познания существующего, а и в практической сфере жизни. Нам, профанам, эти рассуждения глубоко противны, мы их не можем переварить. И когда ученые люди говорят нам с презрительно-снисходительным видом: «Что ж делать! наука не может сказать ничего иного», — мы отвечаем: «Что ж делать! эта наука нас не удовлетворяет». Но мы замечаем, что она не удовлетворяет не только нас, а и самих ученых людей. Например, ученые люди говорят и пишут друг другу панегирики. За что? ведь не пишут же они панегириков камню, падающему на землю сообразно законам тяжести, и траве, начинающей весной зеленеть на лугах. Ученое открытие есть такое же звено известной цепи причинно связанных явлений, как и рост травы и падение камня; оно не может появиться раньше осуществления известных исторических условий, и ученый, сделавший открытие, есть опять-таки не больше как шашка, постав-

ленная ходом игры на определенную клетку. Ученые люди бранят наше невежество и стараются просветить нас. За что бранят и зачем стараются? Одну шашку так же мало резонно бранить, как другой шашке мало резонно стараться. Очевидно, что есть сферы мысли, в которых теория необходимости наших действий, их полнейшей зависимости от данных исторических условий удовлетворяет человеческую природу, но есть и такие, где она равно не удовлетворяет и ученых и неученых людей, где теория исторических условий на каждом шагу путается в противоречиях и сама себя закалывает. Это — сфера практической мысли. Задним числом, конечно, можно доказать, что Лютер, например, только потому и мог быть учителем целого столетия, что «сам был созданием своего века, думал его мыслью и действовал по его вкусу». Совершенно справедливо, что, не будь у него многочисленных и многосторонних связей с своим временем и своим народом, он пролетел бы как падучая звезда. Но дело в том, что если бы сам Лютер не верил, что думает *своею собственною* мыслью и действует по *своему собственному* вкусу, то реформацию поднял бы не он, а кто-нибудь другой. Пусть, связанный историческими условиями по рукам и по ногам, Лютер обманывался, думая, что он свободно выбрал себе цель, — этот обман неизбежен в практической деятельности: он есть один из необходимых факторов тех самых исторических условий, незыблемость которых провозглашают фаталисты.

Гордые ученые и вдвое более гордые полуученые люди очень любят восклицать: без обмана! Восклицание это, конечно, очень хорошее и способное собрать вокруг восклицающего толпу людей с разинутым от умиления ртом. Но отчего же гордые ученые и вдвое более гордые полуученые люди не подумают о том, что наиболее разработанные отрасли физической науки допускают иногда заведомый обман и не конфузятся этого? Метафизики говорят: реальный мир есть обман. Наиболее разработанные отрасли физической науки говорят: обман так обман, нам до этого дела нет, мы признаем данный мир существующим, потому что того требуют условия человеческой природы, а может, это и в самом деле обман [7]. Наиболее разработанные отрасли физической науки вводят в свои построения таких гипотетических деятелей, которых себе вполне ясно даже представить нельзя;

это — обманы, но наука держится их, потому что в настоящую по крайней мере минуту ничто, кроме них, не дает возможности ориентироваться в известных рядах фактов. Почему же это науки разработанные не боятся обмана в такой мере, как науки (если только это науки) социальные, в которых кто во что горазд, в которых сколько голов, столько умов, в которых нет почти ничего прочного, установившегося, общепринятого? Да именно оттого, я думаю, что то — науки разработанные, а это — так, что-то вроде наук. Вполне светский человек может себе позволить некоторые уклонения от установившихся в его кругу нравов и обычаев и сделает так, что уклонения эти не только не будут колоть глаза, но даже усилят основной тон принятого порядка. Неофит, напротив, человек неопытный, не слившийся всем своим существом с известной общественной атмосферой, будет держаться каждой буквы светского кодекса, но именно эти его старания и изобличат в нем человека неопытного и неофита. Так же и с наукой. Давно ли у нас, например, так много толковали о необходимости индуктивного метода и крайней вредности дедуктивного. Между тем как раз в это время истинные ученые, хоть и не очень гордые, с величайшим успехом применяли дедукцию и двигали ею науку исполинскими шагами вперед. Они уже прошли ту ступень развития, на которой индукция признавалась единственным научным методом, и прилагали к делу, смотря по условиям своих задач, то наведение, то вывод. Эти же истинные, хоть и не очень гордые ученые рассуждают так: обман — вещь нехорошая, но если уж в том или другом случае без него по условиям человеческой природы обойтись нельзя, так делать нечего; надо только помнить, что это — обман, введенный в исследование с определенною целью, и что мы имеем право пользоваться им только в определенных случаях и под определенными условиями. Очевидно, что допущенный в науку в таком виде обман даже перестает быть обманом и становится просто орудием науки. А гордые социологи продолжают восклицать: без обмана! Не желая уподобляться Кифе Мокиевичу [8], я не стану рассуждать о том, что было бы, если бы люди действительно перестали обманываться насчет свободы своей деятельности. Но вот что я могу сказать, не боясь быть опровергнутым ученейшими из ученых: в момент деятельности я сознаю, что ставлю себе

цель свободно, совершенно независимо от влияния исторических условий; пусть это — обман, но им движется история; я признаю, что и соседи мои выбирают себе цели жизни свободно; на этом только и держится возможность личной ответственности и нравственного суда, которых нельзя же вычеркнуть из человеческой души. Действительно, их вычеркнуть нельзя, надо признать их существование, а между тем они находятся в противоречии с познанием причинной связи явлений. Приходится осуждать то, что в данную минуту не может не существовать. Как тут быть? Это противоречие известно с очень давних пор, и много умных и глупых, ученых и неученых голов билось над его разрешением. Эти головы придумали три выхода. Одни, закалая на алтаре познания причинной связи явлений личную ответственность, совесть и нравственный суд, стоят на своем: без обмана! Но это не выход, потому что чувство ответственности, совесть и потребность нравственного суда суть вполне реальные явления психической жизни, допускающие наблюдения и вообще научные приемы исследования; они до такой степени реальны, что сами жрецы познания не чужды им в момент жертвоприношения; они произносят нравственный суд и сознают свое жертвоприношение действием свободным. Другие приносят, напротив, в жертву причинную связь явлений, утверждая, что человек свободен. Если это и выход из затруднения, то во всяком случае он не может быть принят наукой, потому что совершенно свободных явлений познавать нельзя, а наука только познает. Третьи, наконец, признавая противоречие между свободою и необходимостью неразрешимым по существу, говорят, что иногда мы должны признавать человеческие действия свободными, а иногда необходимыми.

К числу этих третьих принадлежит и гр. Толстой. На первый взгляд, это решение самое неудовлетворительное, наименее научное, потому что ему недостает единства и последовательности. Но это только на первый взгляд. Вы идете в место, лежащее на запад от вас; по дороге вы натыкаетесь на пропасть, которую обходите, уклоняясь к северу, потом круто сворачиваете к югу, потому что прямо перед вами непроходимое болото: несмотря на эти отклонения от пути на запад, вы идете единственной верной дорогой, потому что, направляясь по-вороньему, все прямо, вы провалитесь, утонете и

вообще не дойдете до цели своей прогулки. Так и единство и последовательность в науке состоят вовсе не в том, чтобы всегда и везде употреблять одни и те же приемы исследования, а в том, чтобы всегда и везде смотреть на вещи так, как того требуют условия научной задачи. Этим достигается не только единство науки, но, что всего важнее, и примирение науки с жизнью. Поставьте только себя в положение гр. Толстого. Он поставил себе жизненную, живую цель, работает для нее, наконец, как ему кажется, достиг ее: узнал, чему и как следует учить. Вдруг является ученый человек, г. Марков, и говорит: каким вы, однако, вздором занимаетесь! разве вы можете придумать какое-нибудь свое собственное решение этого вопроса, независимое от исторических условий, в которых вы живете? Понятно ли читателю все безобразие этого рипоста г. Маркова, хотя в основании его лежит несомненная истина: гр. Толстой, как и всякий другой, не может вылезти из исторических условий. Дело в том, что в словах г. Маркова есть истина, но она пристраивается им совсем не к месту. Это часто бывает, что ученые люди суют несомненные истины не туда, где им нужно быть. Очки превосходная вещь, но когда мартышка надевала их себе на хвост, она делала большую ошибку. Мы, профаны, считаем своим священным правом, которого у нас отнять никто не может, право нравственного суда над собой и другими, право познания добра и зла, право называть мерзавца мерзавцем. Закономерность человеческих действий есть великая истина, но она не должна посягать на это право, хотя бы уже потому, что она с ним ничего не поделает. В этой импотенции не к месту пристроенной истины заключается, собственно, комическая сторона ученых набегов на наше право называть мерзавца мерзавцем. Не будь ее, этой комической стороны, можно было бы ужаснуться тому неслыханному насилию над человеческой личностью, которое позволяют себе некоторые ученые люди, стараясь убедить нас, что мерзавец есть только продукт истории и что мы не смеем даже помыслить о деятельности по собственному вкусу, независимо от «исторических условий» и «потребностей времени». Дыба, испанский осел, нюренбергская железная девица [9], все ужасы инквизиции и русских застенков были бы милыми игрушками в сравнении с этим насилием, если бы только оно могло когда-нибудь пере-

селиться из области словоизвержения в область живой действительности. Теперь дух насилия выражается только тем, что, как очень неправильно по форме, но очень метко и верно говорит гр. Толстой, «историческое воззрение не только не спорит с вами о том, необходима ли свобода для человека, о том, есть или нет бога, о том, хороша или не хороша Илиада, не только ничего не делает для достижения той свободы, которой вы желаете, для убеждения или разубеждения вас в существовании бога или в красоте Илиады, а только указывает вам то место, которое наша внутренняя потребность, любовь к правде или красоте занимают в истории». Это — несомненное выражение духа насилия. Исторический воззритель, если такое существительное возможно, только потому стремится отравить вам известное наслаждение, что сам он не способен его оценить. Собственные свои цели он преследует так, как будто бы они имели вечную, непреходящую цену. Вон, например, Спенсер сочиняет социологию, которая должна остаться истинною даже в отдаленнейшем мраке будущего, а радикалу и торию [10] говорит: благословляю вас на все ваши глупости, потому что они свое определенное место в истории займут; вы оба врете, но ничего, продолжайте, законами истории предписано вам обоим несколько времени поврать и затем умолкнуть (см. «Изучение социологии»). Ясно, что Спенсер потому только может так относиться к радикалу и торию, что ему совершенно чужды волнующие их интересы, что ему решительно все равно, восторжествует ли который-нибудь из них, и вообще все равно, как пойдут дела, о которых спорят торий и радикал. Когда речь идет о скверных каминных щипцах и неудобных аптекарских склянках, Спенсер совершенно изменяет тон: он не говорит, что скверные щипцы займут свое место в истории, он просто говорит, что щипцы скверны, потому что относится к щипцам и склянкам как живой человек. Величественные запрещения искать чего-нибудь, не помышляя об исторических условиях, и столь же величественные дозволения врать сообразно историческим условиям — суть продукты умственной мертвечины, мертвенного отношения к явлениям [11].

Итак, значение исторических условий как факторов, определяющих деятельность личности, несомненно, но столь же несомненны право и возможность для личности

судить о явлениях жизни без отношения к месту их в истории, а сообразно той внутренней ценности, которую им придает та или другая личность в каждую данную минуту. Это неизбежно вытекает из условий человеческой природы. Противоречие между необходимостью и свободой по существу неразрешимо, и мы должны попеременно опираться то на ту, то на другую. Когда на одну, когда на другую? Гр. Толстой отвечает на этот вопрос в статье «Прогресс и определение образования». Но резче и рельефнее выходит ответ, данный в много осмеянном одними и много расхваленном другими философском приложении к «Войне и миру». Там есть ряд определений, из которых я приведу следующие два: «Действия людей подлежат общим, неизменным законам, выражаемым статистикой. В чем же состоит ответственность человека перед обществом, понятие о которой вытекает из сознания свободы? — вот вопрос права. Поступки человека вытекают из его прирожденного характера и мотивов, действующих на него. Что такое есть совесть и сознание добра и зла поступков, вытекающих из сознания свободы? — вот вопрос этики». (Сочинения, VIII, 166.) В русской литературе мне известна только одна постановка вопроса о необходимости и свободе человеческих действий, совпадающая с постановкою гр. Толстого и не уступающая ей в ясности и категоричности. Она сделана одним из сотрудников «Отечественных записок в статье «Г. Кавелин как психолог» («Отечественные записки» 1872, № 11) [12]. «Вопрос о произвольности не существует для науки. Психология неизбежно рассуждает, как бы он был решен отрицательно. Логика и этика столь же неизбежно рассуждают, как бы он был решен положительно».

Человек, будучи обязан признать всякое историческое явление законосообразным, имеет, однако, логическое и нравственное право бороться с ним, признавая его пагубным, вредным, безнравственным. Отсюда прямой вывод, что исторический ход событий сам по себе совершенно бессмыслен и, взятый в своей грубой, эмпирической целости, может оказаться таким смешением добра и зла, что последнее перевесит первое. Гр. Толстой делает этот вывод. Он не только подвергает осмеянию афоризм «что исторично, то разумно», но, кроме того, довольно подробно анализируя ходячее понятие прогресса, приходит к заключению, что исторический

путь, которым идет Западная Европа и на который сравнительно недавно вступила Россия, отнюдь не усыпан розами. Гр. Толстой полагает далее, что этот путь развития не есть единственный и что он может и должен быть избегнут Россией. Известно, что совершенно так же смотрят на дело славянофилы и их выродки — «почвенники». При ближайшем, однако, рассмотрении анализа прогресса гр. Толстого оказывается, что он самым существенным образом отличается от славянофильских воззрений. Читатель в этом сейчас убедится.

Покончив с фатализмом, гр. Толстой обращается к оптимизму. Г. Марков полагал, что искать критерия образования нет никакой надобности, потому что дело и без него очень просто: «каждый век кидает в общую кучу свою горсть, и чем дольше мы живем, тем выше поднимается эта куча, тем выше и мы с ней поднимаемся». Таким образом, все идет к лучшему в сем наилучшем из миров, шипов становится все меньше, а розы цветут и благоухают все роскошнее. Гр. Толстой находит, что этот образ кучи, возрастающей и вместе с тем поднимающей нас, далеко не передает истинного смысла истории. Движения истории он не отрицает, но он не согласен признавать верхние, позднейшие слои исторической кучи лучшими только потому, что они — верхние, позднейшие. Он требует для оценки исторических явлений иных, более сложных приемов, к выработке которых приступает весьма оригинальным образом. Именно он задает себе вопрос: кто признает рост исторической кучи, обыкновенно называемый прогрессом, кто признает его благом? «Так называемое общество, незанятые классы, по выражению Бокля». Рассматривая некоторые, наиболее выдающиеся «явления прогресса» (мы условились не придираться к неточности и неправильности выражений), гр. Толстой приходит к заключению, что они действительно суть благо для «незанятых классов». Например, по телеграфным проволокам «пролетает мысль о том, что возвысилось требование на такой-то предмет торговли и как потому нужно возвысить цену на этот предмет, или мысль о том, что я, русская помещица, проживающая во Флоренции, слава богу укрепилась нервами, обнимаю моего обожаемого супруга и прошу прислать мне в наискорейшем времени сорок тысяч франков»; сообщаются сведения о «дешевизне или дороговиз-

не сахара или хлопчатой бумаги, о низвержении короля Оттона, о речи, произнесенной Пальмерстоном и Наполеоном III». Из всего этого незанятые классы извлекают огромные выгоды и много удовольствия. Извлекают они их и из книгопечатания, из улучшенных путей сообщения. Но почему же народ, девять десятых всего населения цивилизованных стран, «занятые классы» относятся к благам цивилизации по малой мере равнодушно, а то и прямо враждебно? Потому, отвечает гр. Толстой, что блага цивилизации для народа вовсе не блага, они или проходят совершенно мимо его, или приносят ему больше зла, чем пользы. Г. Марков ссылался на Маколея. Гр. Толстой утверждает, что из знаменитой 3-й главы первой части истории Маколея [13] можно выудить только следующие, наиболее выдающиеся факты: «1) Народонаселение увеличилось, — так что необходима теория Мальтуса [14]. 2) Войска не было, теперь оно стало огромно; с флотом — то же самое. 3) Число мелких землевладельцев уменьшилось. 4) Города стянули к себе большую часть народонаселения. 5) Земля обнажилась от лесов. 6) Заработная плата стала на половину больше, цены же на все увеличились, и удобств в жизни стало меньше. 7) Подать на бедных удесятерилась. Газет стало больше, освещение улиц лучше, детей и жен меньше бьют, и английские дамы стали писать без орфографических ошибок». Гр. Толстой убежден, что совокупность этих явлений, их общий характер несомненно выгоден для незанятых классов, которые поэтому с своей точки зрения имеют все резоны признавать его благом, но они не имеют права навязывать свое воззрение народу; народ, опять-таки с своей точки зрения, имеет тоже все резоны относиться к перечисленным фактам вполне равнодушно, а отчасти и враждебно. «Интересы общества (под обществом гр. Толстой разумеет так называемые образованные классы) и народа всегда бывают противоположны. Чем выгоднее одному, тем невыгоднее другому». Сообразно этому распределяются и понятия «общества» и народа о том или другом историческом явлении в отдельности и об общем направлении истории. Но, спрашивается, неужели мы можем положиться на мнения людей грубых и невежественных, «проводящих жизнь на полатях, в курной избе или за сохою, ковыряющих сами себе лапти и ткущих себе рубахи, никогда не читавших

ни одной книги, раз в две недели снимающих с насекомыми рубаху, по солнышку и по петухам узнающих время и не имеющих других потребностей, как лошадиная работа, спанье, еда и пьянство?» Гр. Толстой самым решительным образом становится на сторону грубого, грязного и невежественного народа. «Я полагаю, — говорит он,— что эти люди, называемые дикими, и целые поколения этих диких суть точно такие же люди и точно такое же человечество, как Пальмерстоны, Оттоны, Бонапарты. Я полагаю, что поколения работников носят в себе точно те же человеческие свойства и в особенности свойство искать где лучше, как рыба где глубже, как и поколения лордов, баронов, профессоров, банкиров и т. д. В этой мысли подтверждает и мое личное, без сомнения, малозначащее убеждение, состоящее в том, что в поколениях работников лежит и больше силы и больше сознания правды и добра, чем в поколениях баронов, банкиров и профессоров, и, главное, подтверждает меня в этой мысли то простое наблюдение, что работник точно так же саркастически и умно обсуживает барина и смеется над ним за то, что он не знает — что соха, что сволока, что гречиха, что крупа; когда сеять овес, когда гречу; как узнать какой след; как узнать, тельна ли корова, или нет? и за то, что барин живет, всю жизнь ничего не делая, и т. п. Точно так же, как обсуживает барин работника и подтрунивает над ним за то, что тот говорит табе и сабе, фитанец, плант и т. п., и за то, что он в праздник напивается как животное и не знает, как рассказать дорогу. То же наблюдение поражает меня, когда два человека, разойдясь между собою, совершенно искренно называют друг друга дураками и подлецами. Еще более поражает меня это наблюдение в столкновениях восточных народов с европейскими. Индейцы считают англичан варварами и злодеями, англичане — индейцев; японцы — европейцев; европейцы — японцев; даже самые прогрессивные народы — французы считают немцев тупоголовыми, немцы считают французов безмозглыми. Из всех этих наблюдений я вывожу то умозаключение, что ежели прогрессисты считают народ не имеющим права обсуждать своего благосостояния и народ считает прогрессистов людьми, озабоченными корыстными, личными видами, то из этих противоположных воззрений нельзя вывести справедливости ни той, ни

другой стороны. И потому я должен склониться на сторону народа, на том основании, что: 1) народа больше, чем общества, и что потому должно предположить, что бóльшая доля правды на стороне народа; 2) и главное потому, что народ без общества прогрессистов мог бы жить и удовлетворять всем своим человеческим потребностям, как-то: трудиться, веселиться, любить, мыслить и творить художественные произведения (Илиада, русские песни). Прогрессисты же не могли бы существовать без народа». В конце концов гр. Толстой объясняет, что «весь интерес истории заключается для него не в прогрессе цивилизации, а в прогрессе общего благосостояния. Прогресс же благосостояния, — продолжает он, — по нашим убеждениям, не только не вытекает из прогресса цивилизации, но большею частию противоположен ей. Ежели есть люди, которые думают противное, то это должно быть доказано. Доказательств же этих мы не находим ни в непосредственном наблюдении явлений жизни, ни на страницах историков, философов и публицистов... Эти люди признают без всякого основания вопрос о тождестве общего благосостояния и цивилизации решенным».

Но, может быть, прогресс, как он выразился в истории Западной Европы, есть нечто фатальное, нечто неизбежно обязательное как для самой Европы в будущем, так и для других стран, стоящих на низших ступенях цивилизации? Из предыдущего уже видно, что гр. Толстой должен был отвечать на этот вопрос отрицательно. Он так и отвечает. Он говорит, что «не считает этого движения неизбежным». Обращаясь к России, он делает несколько беглых замечаний о разнице в условиях ее жизни и жизни Западной Европы. Я приведу только одно из этих замечаний. Упомянув о мнении Маколея, что благосостояние рабочего народа измеряется высотой заработной платы, гр. Толстой спрашивает: «Неужели мы, русские, до такой степени не хотим знать и не знаем положения своего народа, что повторим такое бессмысленное и ложное для нас положение? Неужели не очевидно для каждого русского, что заработная плата для русского простолюдина есть случайность, роскошь, на которой ничего нельзя основывать? Весь народ, каждый русский человек без исключения назовет несомненно богатым степного мужика с старыми одоньями хлеба на гумне, никогда не видавшего в глаза заработной платы,

и назовет несомненно бедным подмосковного мужика в ситцевой рубашке, получающего постоянно высокую заработную плату. Не только невозможно в России определять богатство степенью заработной платы, но смело можно сказать, что в России появление заработной платы есть признак уменьшения богатства и благосостояния. Это правило мы, русские, изучающие свой народ, можем проверить во всей России и потому, не рассуждая о богатстве всей Европы, можем и должны сказать, что для России, то есть для большей массы русского народа, высота заработной платы не только не служит мерилом благосостояния, но одно появление заработной платы показывает упадок народного богатства».

Этим исчерпываются, кажется, все существенные пункты статьи «Прогресс и определение образования». Теперь я прошу объяснить мне: что общего между приведенными воззрениями и мистицизмом, фатализмом, оптимизмом, квасным патриотизмом, славянофильством и проч., в которых только ленивый не упрекает гр. Толстого. Без сомнения, его анализ понятий прогресса и цивилизации далеко не полон (автор, впрочем, и не ставил себе целью полноту анализа), страдает и другими недостатками. Но дело не в этом. Я обращаю только внимание читателя на точку зрения гр. Толстого. Она, прежде всего, не нова. Она установлена лет приблизительно за тридцать до занимающей нас статьи, но отнюдь не славянофилами, а европейскими социалистами. Если где искать у гр. Толстого славянофильских или «почвенных» тенденций, так именно в указанной статье, которая, собственно говоря, представляет целую политическую программу в сжатом, скомканном виде. Между тем здесь-то и выступает всего резче непричастность гр. Толстого к славянофильству. В статье нет и помину об одной из любимейших тем славянофильства,— о великой роли, предназначенной провидением славянскому миру, долженствующему стереть с лица земли или по крайней мере совершенно посрамить мир романо-германский. Мало того, что тема эта не затронута в статье, — гр. Толстой и вообще не написал на нее ни одной строки, — статья отрицает ее в самом корне, ибо гр. Толстой признает, что исторический ход событий сам по себе неразумен, бессмыслен, что для человека неустранимо сознание возможности с ним бороться, свободно ставя перед со-

бой идеалы. Гр. Толстой с своей обычной смелостью бросает перчатку историческим условиям, вовсе не имея в виду, соответствуют они или не соответствуют началам русского, а тем паче славянского национального духа. Мистицизм, уверенный, что им уловлены пути, которыми провидение направляет человечество к известной цели, и пошлая трезвость, не знающая нравственной оценки исторических явлений, обе эти крайности, так часто совпадающие, уничтожены гр. Толстым одним ударом. Не отрицая законов истории, он провозглашает право нравственного суда над историей, право личности судить об исторических явлениях не только как о звеньях цепи причин и следствий, но и как о фактах, соответствующих или не соответствующих ее, личности, идеалам. Право нравственного суда есть вместе с тем и право вмешательства в ход событий, которому соответствует обязанность отвечать за свою деятельность. Живая личность со всеми своими помыслами и чувствами становится деятелем истории на свой собственный страх. Она, а не какая-нибудь мистическая сила, ставит цели в истории и движет к ним события сквозь строй препятствий, поставляемых ей стихийными силами природы и исторических условий. Гр. Толстой во всех своих доводах опирается единственно на разум и логические доказательства, — что было бы для славянофила почти невозможным подвигом при рассуждениях о русском народе и европейской цивилизации. Правда, как и славянофилы, гр. Толстой много говорит о народе и скептически относится к благам европейской цивилизации. Но разве сочувствие народу и критика европейской цивилизации составляют монополию славянофилов? Во всяком случае, гр. Толстой иначе относится к обоим этим пунктам славянофильской программы. Хотя славянофилы и много толковали о «народе», но почти всегда разумели под этим словом стихийную совокупность людей, говорящих русским языком и населяющих Россию. Гр. Толстой не признает этого единства русских людей или по крайней мере усматривает в нем такие два крупные обособления, что считает возможным приравнивать их отношения к отношениям враждебных национальностей. Для него «общество» и народ стоят друг перед другом в таких же, если можно так выразиться, нравственных позах, как французы и немцы в тот момент, когда они взаимно

величают друг друга безмозглыми и пустоголовыми. Интересы «общества» и народа, говорит он, всегда противоположны. Правда, славянофилы также указывали на рознь идеалов и интересов высших и низших слоев совокупности русских людей. Они полагали, что рознь эта порождена Петровским переворотом, и только им. Говорят, что и гр. Толстой относится к Петровским реформам отрицательно. Я этого не знаю, потому что печатно гр. Толстой в таком смысле не высказывался. Во всяком случае, это весьма возможно. Но я почти уверен, что печатное изложение мнений гр. Толстого о Петровской реформе вполне обнаружило бы его непричастность к славянофильству, хотя бы уж потому, что Русь допетровскую он не может себе представлять в розовом свете. И в допетровской Руси существовали раздельно народ, «занятые классы» и, как выражается гр. Толстой, «общество», правда грубое, грязное, невежественное, но все-таки «общество». Что гр. Толстой именно так смотрит на дело, это видно из общего характера вышеприведенных его воззрений и из некоторых прямых указаний. Очень любопытно, например, следующее замечание. В статье «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» гр. Толстой рассуждает, между прочим, о преподавании истории и об том, следует ли ребятам только сообщать сведения, или же давать пищу их патриотическому чувству. Рассказав о впечатлении, произведенном на детей повестью о Куликовской битве, он замечает: «Но если удовлетворять национальному чувству, что же останется из всей истории? 612, 812 года — и всего» [15]. Это — замечание глубоко верное само по себе и вполне совпадающее с общим тоном *десницы* гр. Толстого. Действительно, 1612, 1812 года и отчасти времена монгольского ига суть единственные моменты национальной русской истории, в которые не было никакой розни между целями и интересами «общества» и народа. Много других блестящих войн вела Россия, и для «общества», для «незанятых классов» Суворовский переход через Альпы или венгерская кампания могут представлять даже больший патриотический интерес, чем 1612 и даже 1812 год. «Общество» знает цену тем отвлеченным началам, ради которых Суворов переходил через С.-Готард [16] или русские войска ходили усмирять венгров [17]. Народ — профан в этих отвлеченных началах: они не

будят в нем никаких необыденных чувств, потому что не имеют с ним жизненной связи. И я уверен, что рассказ о почти невероятном подвиге перехода через Чертов мост или о том, что Гёргей пожелал сдаться русским, а не австрийцам, — не могут возбудить в народе ни патриотической гордости, ни вообще какого бы то ни было живого интереса, несмотря на то, что в обоих этих случаях русское оружие покрылось неувядаемою славой. Худо ли это, хорошо ли это — другой вопрос, но это — так. Гр. Толстой, в той же статье о преподавании истории, неподражаемо мастерски передает сцену оживления, возбужденного в яснополянской школе рассказом о войне 1812 года, особенно тот момент, когда, по определению одного из учеников, Кутузов, наконец, «окарачил» Наполеона. Суворов, Потемкин, Румянцев и другие славные русские полководцы «окарачивали» почище Кутузова, но они всегда останутся для народа бледными и неинтересными фигурами. Вот что, я думаю, хотел сказать гр. Толстой своим замечанием об исключительном, с точки зрения народа, характере 1612 и 1812 годов. Глубоко патриотическая подкладка «Войны и мира» в связи с другими причинами утвердила во многих убеждение, что гр. Толстой есть квасной патриот, славянофил, что он падает ниц перед всем, что отзывается пресловутой и едва ли кому-нибудь понятной «почвой», что он верит в какое-то мистическое величие России и проч. Одни радовались, другие бранились, а между тем это убеждение решительно ни на чем не основано. Оно не оправдывается даже *шуйцей* гр. Толстого, о которой — в следующий раз. Я не отрицаю случайных совпадений воззрений гр. Толстого с тем или другим пунктом славянофильского учения, но это совпадения именно только случайные. Гр. Толстой написал резко патриотическую хронику Отечественной войны, он написал бы, вероятно, таковую же хронику событий смутного времени. Не спорю, он впал бы, может быть, при этом в некоторую односторонность и преувеличение в оценке грехов и заслуг той или другой исторической личности, того или другого исторического факта. Но одно верно: роста и развития московской, допетровской Руси он никогда не изобразит розовыми, угодными для славянофилов красками. Не напишет он также ничего подобного «Богатырям» г. Чаева или «Пугачевцам» гр. Сальяса [18]. Сравнение этих романов с «Вой-

ной и миром» очень соблазнительно и, смею думать, было бы небезынтересно с точки зрения профана. Но я должен отказаться от этой соблазнительной темы. Скажу только следующее. Ни от читателей, ни от критики не укрылась подражательность произведений гг. Чаева и Сальяса; слишком очевидно было, что эти писатели рабски копируют манеру «Войны и мира». Порешено было, что это плохие копии, и только, все было сведено к степени таланта. Только наш уважаемый сотрудник, г. Скабичевский, взглянул на дело несколько иначе. Но, будучи все-таки уверен в славянофильстве гр. Толстого, он, мне кажется, далеко не вполне измерил глубину различия между «Войной и миром», с одной стороны, и «Пугачевцами» и «Богатырями» — с другой [19]. Гг. Чаев и Сальяс действительно рабски копировали манеру «Войны и мира» и изо всех сил старались то же слово так же молвить. Насколько неудачны оказались их старания, это дело второстепенное, ввиду того, что они не сумели схватить главного и существеннейшего в воззрениях гр. Толстого. Они, гг. Чаев и Сальяс, могут любую страницу русской истории, не моргнув глазом, обработать на манер «Войны и мира», и выйдет ни хуже, ни лучше, чем «Богатыри» и «Пугачевщина», а гр. Толстой призадумается. А если, паче чаяния, не призадумается и в суворовских, например, походах времен императора Павла увидит общенародное русское дело, то напишет вещь плохую, сравнительно, разумеется говоря. Вещь эта будет потому плоха, что гр. Толстой не верит в единство целей и интересов всех людей, говорящих русским языком, на протяжении всей русской истории. Он знает, что единство это есть явление крайне редкое в русской, как и в европейской истории, что много нужно условий для совпадения славы оружия с интересами и идеалами народа. Он лишен первобытной невинности и наивности людей, считающих возможным и даже обязательным гореть патриотическим пламенем при всякой победе русского оружия и вообще на всякой громкой странице русской истории. И если бы он вздумал заставить своих героев пламенеть по таким же поводам, по каким пламенеют почти все «герои», то есть положительные типы гг. Чаева и Сальяса,—это было бы пламя фальшивое, бледное, негодное, недостойное мыслящего и убежденного художника.

Повторяю, случайные совпадения мнений гр. Тол-

стого с славянофильскими воззрениями разных оттенков возможны и существуют, но общий тон его убеждений, по моему мнению, самым резким образом противоречит как славянофильским и почвенным принципам, так и принципам «официальной народности». В этом меня нисколько не разубеждают и слухи об отрицательном отношении гр. Толстого к Петровской реформе. Надо, впрочем, заметить, что только первые, старые славянофилы ненавидели и презирали Петра. Теперешние же эпигоны славянофильства относятся к нему совсем иначе. Года два тому назад я был приглашен на вечер, на котором должен был присутствовать один довольно известный петербургский славянофил. «Живого славянофила увидите», — заманивали меня. Я пошел смотреть на живого славянофила. Он оказался человеком очень говорливым, красноречивым и, между прочим, с большим пафосом доказывал, что Петр был «святорусский богатырь», «чисто русская широкая натура», что в нем целиком отразились начала русского народного духа. Это напомнило мне, что тоже прикосновенный к славянофильству г. Страхов одно время очень старался доказать, что нигилизм есть одно из самых ярких выражений начал русского народного духа... Я думаю, что если гр. Толстой исполнит приписываемое ему намерение написать роман из времен Петра Великого, то оставит эти несчастные начала народного духа, которые каждый притягивает за волосы к чему хочет, совсем в стороне. Быть может, он потщится свалить Петра с пьедестала как личность, быть может, он казнит в нем человека, толкнувшего Россию на путь *европейских форм* раздвоенности народа и «общества». Славянофильства тут все-таки не будет. Критика европейской цивилизации, представленная в статье о прогрессе гр. Толстым, и критика славянофильская не только не имеют между собою ничего общего, но мудрено даже найти два исследования одного и того же предмета, более противоположные и по исходным точкам, и по приемам, и по результатам. Прошу читателя сравнить воззрения гр. Толстого с следующими, например, строками, заимствованными из статьи «Зигзаги и арабески русского домоседа», напечатанной в № 4 «Дня» за 1865 год [20]. Уверяю вас, что я не рылся в книгах для того, чтобы выудить этот перл. Мне хотелось найти что-нибудь подходящее для сравнения. Я взял первое попавшееся под

руку славянофильское издание и, перевернув несколько страниц, нашел следующее:

«Всяким довольством обильна, величавым покоем полна, протекала когда-то старинная дворянская жизнь домоседская: мед, пиво варили, соленья солили и гостей угощали на славу — избытком некупленных, богом дарованных благ. И этой спокойно-беззаботной жизни не смущала залетная мысль, а если бушевала подчас кровь — пиры и охота, шуты и веселье разгулом утоляли взволновавшуюся буйную кровь». Затем идет длинное, все в том же шутовском стиле, описание запустения дворянской домоседской жизни. Все это просто подход, автору просто хочется сказать, что Южной России нужны железные дороги. Поговорив и о русских красавицах, и об удалых тройках, и еще невесть об чем, автор подступает, наконец, с божией помощью, к Илье Муромцу, ну, а уж известное дело, что от Ильи Муромца можно прямым путем до чего угодно дойти. Автор и доходит: «Не старцев, калик перехожих, ждет томящийся избытком богатств несбытных, земель непочатых южнорусский край — ждет он железного пути от срединной Москвы к Черному морю. Ждет его могучего соловьиного свиста древний престольный город Киев; встрепенется, оживет в нем старый русский дух богатырский; воссияют ярким золотом потемневшие златоглавые церкви, и звонче раздастся колокольный тот звон, что со всех концов земли русской утомленные силы, нажитое, накопленное горе ко святым пещерам зовет, облегченье, обновленье дает. Торный, широкий след проложила крепкая вера нетронутая да тяжелая, жизнию вскормленная скорбь народная — к городу Киеву. Но на перепутье другом создали силы народной жизни новый город Украйны, Харьков торговый,— бьет ключом здесь торговая русская жизнь, север с югом здесь мену ведет, и стремятся сюда свежие, ретивые русские рабочие силы, к непочатым землям Черноморья и Дона, к просторным новороссийским степям, к Крыму безлюдному, что стоном стонет, рабочих рук просит. И сильный борец против Киева древнего — юный город, народной жизнью вновь указанный, созданный. Томятся, ждут города и земли — к кому направится новый желанный путь, кому дастся сила, кому бесплодие, бессилие?» Редакция «Дня», с своей стороны, не желая уступить в паясничестве своему

корреспонденту, делает такое примечание от себя: «Моря и Москвы хочет доступить Киев, — пуще моря Москва нужна Харькову: Киеву — первый почет, да жаль обидеть и Харькова. Или Русь-богатырь так казной-мошной отощала и ума-разума истеряла, что не под силу ей богатырскую, не по ее уму-разуму за единый раз добыть обоих путей, обоих морей, железом сягнуть до Черного через Киев-град и Азовское на цепь к Москве через Харьков взять, чтобы никому в обиду не стало?»

Я не об том говорю, что гр. Толстой унизится до такого паясничества только в том случае, если у него бог разум отнимет. Это само собой разумеется. Я обращаю внимание читателей на внутреннюю подделку фактов и понятий, выглядывающую из-под этой нелепой, режущей ухо подделки речи. Нужды «дворян-домоседов» обставляются звоном киевских колоколов, Ильей Муромцем, каликами перехожими, и выходит так, как будто бы уж не о дворянах-домоседах речь идет, а о величии всей России. Вместо дворян-домоседов подсовывается «Русь-богатырь». С паясничеством или без паясничества, но славянофилы всегда очень удобно справлялись с материальными благами проклятой ими европейской цивилизации. Они только «духа» европейского не любили, они предпочитали начала русского или славянского духа. Много они об этом духе толковали, и потому выходило так, что они — необыкновенно возвышенные идеалисты, до которых гр. Толстому, как до звезды небесной, далеко. В самом деле, он критикует европейскую цивилизацию совсем не с точки зрения какого бы то ни было «духа», а с точки зрения такой прозаической и материальной вещи, как «общее благосостояние». С этой точки зрения он признает телеграфы, железные дороги, книгопечатание, заработную плату и другие «явления прогресса», которых он не перечисляет, явлениями выгодными для известной, малой части русской нации и невыгодными для другой, большей. Уличайте его в преувеличении, в парадоксах, доказывайте, что его точка зрения неверна, но не валите же на него того, в чем он ни на волос не грешен. Не называйте его славянофилом, когда мудрено найти точку зрения более противоположную славянофильской, чем та, на которой он стоит. Я далек от мысли признавать славянофилов людьми, сознательно подтасовывавшими факты и понятия — напротив, наиболее видные славяно-

филы были люди вполне искренние. Но тем не менее, оставляя в стороне их богословские воззрения и панславизм (об чем гр. Толстой не написал во всю свою жизнь ни одной строчки), не трудно видеть, что они провозили немало контрабанды под флагом начал русского народного духа. В экономическом отношении сделать из России Европу легче всего при помощи славянофильской программы, за вычетом из нее одного только пункта — поземельной общины. Как это на первый взгляд ни странно, но оно так. Славянофилы никогда не протестовали против утверждения в России европейских форм кредита, промышленности, экономических предприятий. Они требовали только, чтобы производительные силы России и ее потребители находились в русских руках. Так, например, они требовали покровительства русской промышленности, попросту говоря, высоких тарифов. Обставляя это требование орнаментами в вышеприведенном стиле, то есть рассуждениями о величии России и восклицаниями о каликах перехожих и киевских колоколах, славянофилы не смущались тем, что покровительственная торговая политика выгодна не России, а русским заводчикам. Под покровом киевских колоколов и калик перехожих они, сами того не замечая, стремились ускорить появление в России господствующих в Европе отношений между трудом и капиталом, то есть того, что сами они готовы были отрицать на словах и что составляет самое больное место европейской цивилизации. Гарантируйте русским фабрикантам десяток-другой лет отсутствия европейской конкуренции, и вы не отличите России от Европы в экономическом отношении. Недаром весьма просвещенные русские заводчики проникаются необычайною любовью к России всякий раз, когда заходит речь о тарифе. Недаром один из ораторов заседающего в эту минуту в Петербурге «съезда главных по машиностроительной промышленности деятелей», кажется известный своим красноречием г. Полетика, воскликнул: тогда (то есть после десятка-другого лет отсутствия европейской конкуренции) мы встретим врагов России русскою грудью и русским железом! Вот образчик чисто славянофильского пафоса. Русская грудь, русское железо и враги России играют тут такую же роль, как киевские колокола и Илья Муромец в паясничестве «Дня» и его корреспондента из дворян-домоседов: совсем об них речи нет,

совсем они ненужны, совсем они даже бессмысленны, потому что врага нужно встречать просто хорошим железом, а будет ли оно русское или английское — это не суть важно. Русская грудь, русское железо и враги России притянуты сюда в качестве флага, прикрывающего контрабанду, скрадывающего разницу между Россией и русскими заводчиками. Этим-то скрадыванием и занимались всегда славянофилы. Они знали себе одно: или Русь-богатырь так казной-мошной истощала и ума-разума истеряла, что не под силу ей богатырскую, не по ее уму-разуму иметь своих собственных русских заводчиков, свои собственные акционерные общества, своих собственных русских концессионеров железных дорог и проч. Все выработанные и освященные европейской цивилизацией формы экономической жизни принимались славянофилами с распростертыми объятьями, со звоном киевских и других колоколов, если они обставлялись русскими и обруселыми именами собственными. А тем самым вызывалось изменение начал русской экономической жизни в чисто европейском смысле. Но изменение не могло ограничиться экономической стороной общественной жизни. Допустим, что русские фабриканты обеспечены от европейской конкуренции, что вследствие этого Русь-богатырь имеет своих собственных святорусских пролетариев и свою собственную святорусскую буржуазию; что значительная часть деревенского населения, стянувшись к городам, передала свои земли собственным святорусским лендлордам и фермерам; что появилась более или менее высокая заработная плата, появление которой гр. Толстой считает для России признаком упадка народного богатства и проч. Таким образом, русская промышленность и русское сельское хозяйство процветают. Как отзовется это изменение на других сторонах русской жизни? Вовсе не надо быть пророком, чтобы ответить на этот вопрос, потому что означенное изменение уже отчасти совершается. Мы видим, например, что народ забывает те свои, чисто народные песни, которые так восхищали славянофилов, как выражение начал русского духа, и запевает:

Мы на фабрике живали,
Мелки деньги получали,—
Мелки деньги пятаки
Посносили в кабаки.

Или:

Я куплю своему милому
Тот ли бархатный жилет.

Этой перемене должно, конечно, соответствовать и изменение нравственного характера русского рабочего люда. Политические условия страны опять-таки необходимо должны измениться, экономическая сила буржуазии и лендлордов необходимо повлечет ее по пути развития одного из европейских политических типов. В конце концов знаменитых начал русского духа не останется даже на семена, хотя процесс начался звоном киевских колоколов и вызовом тени Ильи Муромца.

Может показаться, что первые славянофилы гораздо глубже и, главное, проницательнее ненавидели европейскую цивилизацию. Я об этом спорить не буду. Замечу только, что Киреевские, Хомяков были поглощены преимущественно богословскими и философско-историческими, вообще отвлеченными, теоретическими интересами, что зависело от условий времени. Как только жизнь выдвинула на очередь вопросы практические, так немедленно обнаружилось внутреннее противоречие славянофильской доктрины, ее бессознательное тяготение к провозу европейской контрабанды под флагом начал русского народного духа. Вообще я вовсе не претендую на хотя бы даже приблизительно полный очерк славянофильства и связанных с ним учений. Славянофильство имело много почтенных сторон и оказало немало ценных услуг русскому обществу, чего, впрочем, отнюдь нельзя сказать о его преемниках, о тех межеумках, которые получили название «почвенников»[21], — умалчиваю о головоногих «Гражданина»[22]. Я имею в виду только один, но весьма существенный признак славянофильства: в трогательной идиллии или с бурным пафосом, серьезно или при помощи буффонады, но славянофилы упорно отождествляли интересы и цели «незанятых классов» (древней или новой России) с интересами классов занятых, вдвигая их в национальное единство. Это справедливо и относительно первых славянофилов. Не стану этого доказывать, а просто сошлюсь на г. Страхова. Этот часто очень тонкий и меткий писатель назвал Ренана французским славянофилом[23]. А Ренан смотрит на вещи так: «Мы уничтожили бы человечество, если бы не допустили, что целые массы

должны жить славою и наслаждением других. Демократ называет глупцом крестьянина старого порядка, работавшего на своих господ, любившего их и наслаждавшегося высоким существованием, которое другие ведут по милости его пота. Конечно, тут есть бессмыслица при той узкой, запертой жизни, где все делается с закрытыми дверями, как в наше время. В настоящем состоянии общества преимущества, которые один человек имеет над другими, стали вещами исключительными и личными: наслаждаться удовольствием или благородством другого кажется дикостью; но не всегда так было. Когда Губбио или Ассиз глядел на проходящую мимо свадебную кавалькаду своего молодого господина, никто не завидовал. Тогда все участвовали в жизни всех; бедный наслаждался богатством богатого, монах радостями мирянина, мирянин молитвами монаха, для всех существовало искусство, поэзия, религия» [24]. Г. Страхов прав: это — истинно славянофильские воззрения.

Но это не суть воззрения гр. Толстого. Любопытно, что г. Страхов (статья его о Ренане напечатана в сборнике «Гражданина»), которого нельзя себе представить рядом с гр. Толстым иначе, как в коленопреклоненной позе и который, впрочем, столь же охотно преклоняет колена перед г. Н. Данилевским и — я не знаю — может быть, даже перед кн. Мещерским; любопытно, что г. Страхов вполне согласен с Ренаном. Он тоже верит, что толки об «общем благосостоянии» порождены постыдною завистью, сменившею восторг крестьянина старого порядка («молодшего брата»?) перед «свадебной кавалькадой молодого господина». Но, говорит г. Страхов, Россия гарантирована от толков в «общем благосостоянии» и от духа зависти, гарантирована глубокими началами русского народного духа, которому противен «житейский материализм». Увы! на эти гарантии наложил руку не кто иной, как — horribile dictu!* — гр. Лев Толстой. Он, так много превознесенный, меряет западную цивилизацию не началами русского духа и не какими-нибудь возвышенными мерками смиренномудрия и терпения, а «общим благосостоянием»! Он только потому отрицает эту цивилизацию, что она не ведет к общему благосостоянию, и справься она с этим пунктом, — гр. Толстой не

* страшно сказать! *(лат.)* — *Ред.*

будет ничего иметь против нее. Он, гр. Толстой, не смущаясь соображениями г. Страхова о зависти, утверждает, что «молодшему брату» действительно нет никакой причины радоваться на «кавалькаду молодого господина». Этого мало. На гнилом Западе мало ли что делается. Но и русский молодший брат, по мнению гр. Толстого, нисколько не заинтересован в том, что «русская помещица, проживающая во Флоренции, слава богу укрепилась нервами и обнимает своего обожаемого супруга»; нечего ему радоваться и тому, что русский купец или фабрикант исправно получает телеграммы о дороговизне или дешевизне сахара или хлопчатой бумаги. Молодший брат «только слышит гудение проволок и только стеснен законом о повреждении телеграфов». «Мысли, с быстротою молнии облетающие вселенную, не увеличивают производительности его пашни, не ослабляют надзора в помещичьих и казенных лесах, не прибавляют силы в работах ему и его семейству, не дают ему лишнего работника. Все эти великие мысли только могут нарушить его благосостояние, а не упрочить или улучшить, и могут только в отрицательном смысле быть занимательными для него». Вместо того чтобы приглашать молодшего брата радоваться процветанию отечественной литературы, гр. Толстой уверяет, что «сочинения Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина, несмотря на давность существования, неизвестны, не нужны для народа и не приносят ему никакой выгоды»; и «чтобы человеку из русского народа полюбить чтение «Бориса Годунова» Пушкина или историю Соловьева, надо этому человеку перестать быть тем, чем он есть, то есть человеком независимым, удовлетворяющим всем своим человеческим потребностям».

Довольно. Прегрешение гр. Толстого очевидно. Я лично, впрочем, вижу во всем этом не прегрешение, а десницу гр. Толстого, свежую и здоровую часть его воззрений. Я отнюдь не думаю утверждать, чтобы все положительные и отрицательные результаты, к которым пришел гр. Толстой, были вполне верны. Главный и общий их недостаток состоит в излишней простоте. В самом деле, они до такой степени просты, что не могут вполне соответствовать действительности, всегда сложной и запутанной. Но дело не в этом. Раз установлена известная точка зрения на вещи, все остальное дело поправимое. Только

за точку зрения гр. Толстого я и стою. И я искренно говорю, что не понимаю ни того, почему гр. Толстой прослыл мистиком, оптимистом, фаталистом, славянофилом, квасным патриотом и проч., ни того, почему его воззрения прошли бесследно в шестидесятых годах, когда мы были более или менее восприимчивы к свежей, оригинальной, хотя бы и парадоксальной мысли, ни, наконец, того, почему его воззрения возбудили такой шум теперь, когда...

II

В статье «О народном образовании» (старой, напечатанной в IV т. сочинений) Толстой говорит: «Мы, русские, живем в исключительно счастливых условиях относительно народного образования; наша школа не должна выходить, как в средневековой Европе, из условий гражданственности, не должна служить известным правительственным или религиозным целям, не должна вырабатываться во мраке отсутствия контроля над ней общественного мнения и отсутствия высшей степени жизненного образования, не должна с новым трудом и болями проходить и выбиваться из того cercle vicieux*, который столько времени проходили европейские школы, cercle vicieux, состоящий в том, что школа должна была двигать бессознательное образование, а бессознательное образование двигать школу. Европейские народы победили эту трудность, но в борьбе не могли не утратить многого. Будем же благодарны за труд, которым мы призваны пользоваться, и по тому самому не будем забывать, что мы призваны совершить новый труд на этом поприще».

Таким образом, граф Толстой, провозглашающий право и обязанность личности бороться с историческими условиями во имя ее идеалов и отрицающий прошлый ход европейской цивилизации, подает руку последним и лучшим плодам этой цивилизации. Эта рука есть десница графа Толстого. Ах, если бы у него не было шуйцы!.. Если бы не имели повода пристегиваться к его громкому имени всякие проходимцы, всякие пустопорожние люди и межеумки, по заслугам не пользующиеся сочувствием

* порочного круга *(франц.)*.— *Ред.*

общества... Какой бы вес имело тогда каждое его слово и какое благотворное влияние имела бы эта вескость!..

Какова бы, однако, ни была шуйца графа Толстого, но уже из предыдущего видно, до какой степени недобросовестно относятся к нему многие наши критики, как хвалители, так и хулители. Замечательны, в самом деле, усилия, употребляемые многими для смешения гр. Толстого со всем, что только есть темного и промозглого в нашей литературе. По поводу статьи «Отечественных записок» и «Анны Карениной» в мрачных, поросших плесенью, пропитанных гнилостью и сыростью подвалах «Гражданина» и «Русского мира» [25] раздались радостные вопли! Своды подвалов тряслись от криков: наш! наш! Он — певец священных радостей и забав «культурных слоев общества» и изобличитель «науки, им ослушной, суеты и пустоты»! Обитателям подвалов простительно это ликование. Понятно, что им лестно пристегнуться к светлому имени. Понятно также, что им не ясен истинный характер воззрений гр. Толстого на радости и забавы «культурных слоев общества». Много мерзостных подробностей быта этих слоев изображено в «Анне Карениной», и обитатели подвалов, пещерные люди, троглодиты, с гордостью указывали на эти подробности, как на нечто такое, чего не способны проделать «разночинцы». Еще бы! Но бог с ними, с пещерными людьми. Им многое простится, потому что они почти ничего не понимают. Совсем иначе приходится взглянуть на статью г. Евгения Маркова: «Последние могикане русской педагогии», напечатанную в № 5 «Вестника Европы». Статьи, более недобросовестной, более, скажу прямо, наглой мне давно не приходилось читать. Г. Марков тщательно облекается в полную парадную форму либерализма, ежеминутно брякает шпорами либерализма и потряхивает блестящими эполетами либерализма. Статья пропитана лирическим и патетическим жаром и тем не менее каждая ее строчка, так сказать, точеная, деланная, высиженная с весьма непохвальною целью. Звоном и блеском, которого так много, что даже в глазах рябит и тошно становится, прикрывается не непонимание, а простая передержка. Надо заметить, что автор есть тот самый г. Марков, который некогда полемизировал в «Русском вестнике» с гр. Толстым и которому последний отвечал статьей «Прогресс и определение образования». Я узнал об этом из следую-

щего величественного заявления г-на Маркова: «С гр. Л. Н. Толстым мы встречаемся не в первый раз. В 1862 г. мы напечатали в «Русском вестнике» статью под заглавием «Теория и практика яснополянской школы», в которой сделали, по возможности, полный анализ как теоретических заблуждений, так и практических достоинств яснополянской школы. Педагогический журнал гр. Л. Н. Толстого закончился ответною статьей на нашу статью и не возобновлялся больше. Мы не были настолько нескромны, чтобы приписать нашему посильному анализу решение гр. Толстого прекратить защиту исповедуемой им теории обучения, но все-таки надеялись, что и наши замечания имели, вместе со школьным опытом гр. Толстого, некоторое влияние на изменение его педагогических убеждений. Поэтому теперь, когда оказывается, что гр. Толстой вновь поднимает старое копье и выступает с проповедью тех самых педагогических начал, которые выставлял он в 1862 году, на нас даже лежит некоторая нравственная обязанность не отказываться от состязания и явиться на защиту тех общеевропейских основ народного обучения, которые мы отстаивали против гр. Толстого двенадцать лет назад».

Право, мне жаль г. Маркова. Двенадцать лет человек был убежден, что он убедил и победил, спокойно занимался изучением итальянской живописи, недобросовестностью адвокатов, красотами Крыма и многими другими предметами, — вдруг оказывается, что враг и не думал класть оружие! Положение истинно трагическое. Я не думаю, однако, чтобы из него надлежало выходить при помощи тех приемов, которые г. Марков почему-то называет исполнением «нравственной обязанности».

Сердца русских педагогов должны трепетать от радости. Статья гр. Толстого налетела на них, как неожиданная туча, разразившаяся дождем и градом; цветы педагогии были прибиты к земле и еле-еле поднимали свои растрепанные венчики к небу, прося солнца и тишины. Вся литература, точно сговорившись, дружно поддержала гр. Толстого, а полемические опыты гг. Евтушевского, Бунакова, Медникова, редакции «Семьи и школы» и проч. были так слабы, так незаметны... Но мало-помалу сквозь тучу стали пробиваться солнечные лучи. Первым лучом была статья г. Цветкова в «Русском вестнике», появившаяся тотчас же вслед за статьей гр. Толстого в

«Отечественных записках». Г. Цветков есть пещерный человек, троглодит, и нападение его на новую педагогию в лице барона Корфа должно было приятно щекотать самолюбие педагогов, как и всякое нападение, исходящее из среды пещерных людей. Но все-таки это был только, так сказать, отрицательный солнечный луч[26]. Мало-помалу и в литературе то там то сям стали проскальзывать более или менее приятные для педагогов вещи (я думаю, тут много помогло педагогам появление в «Русском вестнике» «Анны Карениной»), а наконец... наконец, взошло и солнце, явилась статья г. Маркова «Последние могикане русской педагогии» в майской книжке «Вестника Европы». Восемь месяцев пребывали педагоги в томительном ожидании, восемь месяцев г. Евгений Марков работал, работал, работал... Результат налицо. Статья г. Маркова во многих отношениях далеко превосходит полемические опыты гг. Медникова, Евтушевского, Бунакова и проч. Те только старались быть развязными; но всякому было ясно, что они чего-то конфузятся. Г. Марков действительно развязен и к конфузу не имеет ни склонностей, ни способности. Гордиев узел полемики гг. Медников, Евтушевский, Бунаков и проч. старались распутать бойко и с колкостью, но так как они своим саном учителей юношества более приучены к степенности, то колкость и бойкость им не удавалась; при распутывании узла у них нервически дрожали руки, нервная дрожь слышалась и в голосе. Г. Марков, памятуя пример Александра Македонского, не распутывает узла, а разрубает его. Гг. Медников, Евтушевский, Бунаков и проч. имели вид скромных «штафирок», бьющих на то, чтобы действия их имели характер солидности, и, будучи втянуты в полемику, наносили удары столь неграциозно и неуклюже, что напоминали собой разыгравшуюся корову, держащую хвост на отлете вверх и несколько вбок. Г. Марков имеет, напротив, вид блестящего военного офицера из кавалеристов, с лихо закрученными усами, вполне уверенного в своей непобедимости и все дела обделывающего «по-военному». Педагоги вели войну почти исключительно оборонительную и только изредка делали вылазки наступательного характера. Г. Марков презирает оборонительную войну; он наступает, вторгается в неприятельскую страну, жжет, рубит, расстреливает, вешает, налагает контрибуции. Понятно, что сердца

педагогов должны трепетать от радости при виде такого победоносного союзника. Он обладает именно теми качествами, недостаток которых обнаружили педагоги; он есть именно такой герой, каким бы они хотели быть, но по привычке к гражданской деятельности быть не могут.

По человечеству, я рад за господ педагогов, если мир действительно осенил их взбаламученные души. Но я должен все-таки сказать, что, будь я педагог, я бы не обрадовался такому союзнику, как г. Марков. Мне казалось бы, что такой союзник компрометирует меня и мое дело, компрометирует именно своею развязностью и неконфузливостью.

Главная задача г. Маркова состоит в том, чтобы смешать гр. Толстого если не прямо с грязью, то хоть с г. Цветковым, автором статьи «Новые идеи в нашей народной школе», напечатанной в № 9 «Русского вестника». Г. Цветков есть один из «птенцов гнезда Каткова», то есть нечто вообще злобное, мрачное, воюющее с ветряными мельницами, ежеминутно готовое уличить в государственном преступлении и верстовой столб на большой дороге, и кротко блеющего барашка, и сороку, и ворону, и я не знаю кого и что. Одного штриха будет достаточно для убеждения читателя в том, что г. Цветков есть действительно птенец гнезда Каткова. Найдя в книге барона Корфа «Наш друг» несколько практических сельскохозяйственных советов (едва ли особенно нужных и полезных) и несколько указаний на полезных и вредных животных, г. Цветков разражается такими громами: «Без сомнения, проштудировав о любви ради пользы и выгоды, и о барышах, и о чистом доходе, ученики будут наведены, чтобы и без помощи учителя предложить себе вопросы вроде следующих: какую пользу приносит дряхлый старик, слабый ребенок, калека, больной? За что следует любить их? Какой чистый барыш могут принести мне яблоки, что растут за забором соседа?»

Казалось бы, переход от вредоносности суслика или мыши к воровству соседних яблок невозможен, немыслим. Но нас давно уже приучили к такого рода переходам, мало того, притупили в нас способность возмущаться этими вольтами и передержками. Было время, — оно от нас очень недалеко, — когда этих виртуозов можно было даже опасаться, но своим изумительным усердием и необычайным искусством, добытым продолжительною

практикою, они достигли неожиданного результата: репутации шутов, подчас действительно смешащих, но в большинстве случаев слишком назойливых и надоедливых. Теперь их никто не боится, никто их кликушеством не возмущается, редко кого они смешат. Прочтут люди, пожмут плечами, и конец. Иначе и быть не может. Фельетонисты «Русского мира» и критики «Русского вестника» все обличают кого-то в разрушении семьи, а увидав в последнем романе гр. Толстого Анну Каренину, Облонского, Вронского, самым осязательным образом разрушающих семейное начало, вдруг восклицают: «Вот люди, сохраняющие среди новых общественных наслоений лучшие предания культурного общества!» Эти несчастные уверены, что они говорят комплимент «культурному обществу»! Такое самозаушение было смешно, пока оно было внове, но теперь, глядя на него, можно только плечами пожать, потому что шутовство это уже надоело. Г. Цветков очень хорошо знает, что истребление овражков составляет в некоторых губерниях повинность; он, вероятно, держит у себя кошку, исправно истребляющую мышей, и вдруг проникается необычайной симпатией к овражкам и мышам и за наименование их бароном Корфом вредными и любви недостойными обвиняет почтенного барона в подговоре к истреблению стариков, калек и к воровству соседних яблок... Г. Цветков — русский клерикал, то есть нечто нравственно безногое, безрукое и безголовое, ибо клерикализм не имеет у нас на Руси ни даже подобия почвы. Духовенство русское никогда не обнаруживало ни желания захватить в свои руки воспитание юношества, ни того уменья, с которым ухватились за это дело, например, иезуиты или протестантские пасторы. Да и вообще прошедшее и настоящее русского духовенства таково, что мало-мальски серьезный русский клерикализм просто невозможен. Я полагаю, этого и доказывать нечего. Так вот с этим-то невозможным г. Цветковым г. Марков и желал смешать гр. Толстого. Достигает он этого способами поистине изумительными. Он, собственно говоря, очень хорошо понимает, что гр. Толстой — сам по себе, а г. Цветков — сам по себе. Статьи этих писателей появились почти единовременно. Г. Марков великодушно допускает, что это совпадение случайное. Он даже прямо говорит, что «удары, направляемые на нашу зарождающуюся народную

школу, идут из двух *совершенно противоположных* лагерей». «И радикал (гр. Толстой) и клерикал (г. Цветков), — продолжает г. Марков, — сошлись в общей ненависти к нашей народной школе за ее общечеловеческий и общеевропейский характер и *разными орудиями, с разным искусством, из разных побуждений* дружно добиваются одной и той же цели — избиения русской народной школы. Этот искусственный минутный союз напоминает такие же искусственные минутные союзы теперешних французских политических партий, где легитимисты идут то рядом с бонапартистами, то рядом с ультрарадикалами, чтобы обессилить единственную, пугающую их партию просвещенного и сознательного либерализма».

Г. Марков делает в этих словах совершенно верное и даже подходящее, но не совсем полное сравнение. Справедливо, что крайние партии во Франции часто вступают в минутные союзы; справедливо и то, что подобные союзы наичаще заключаются ввиду партии, которую г. Марков называет «партией просвещенного и сознательного либерализма» и которую правильнее было бы характеризовать русской поговоркой: ни богу свечка, ни черту кочерга. Но г. Марков не сказал, как поступают в подобных случаях люди «просвещенного и сознательного либерализма»: они мешают шашки, валят с больной головы на здоровую, валят грехи, например, бонапартистов на «ультрарадикалов» и стараются наловить в этой мутной воде как можно больше рыбы. Так поступает и г. Марков относительно г. Цветкова и гр. Толстого. Считая себя, вероятно, человеком просвещенного и сознательного либерализма, г. Марков не гнушается приемами смешения шашек, выработанными людьми просвещенного и сознательного либерализма в Европе. Он, открыто заявляющий, что г. Цветков и гр. Толстой суть представители *совершенно противоположных* лагерей, что они действуют *различными орудиями и из различных побуждений,* он в той же статье, нимало не смущаясь, кладет их обоих в ступу просвещенного и сознательного либерализма и с азартом толчет их вместе пестом «жалких слов».

Приведя из статьи гр. Толстого несколько фраз, г. Марков замечает: «Итак, ясно, что вина новой школы, по гр. Толстому, в том, что она изменила науке, недостаточно научна». Да, гр. Толстой указывает и доказывает это. Г-ну Маркову, по его словам, «дорога та живая идея,

которая действует в новой школе и которая, собственно, и возмущает педагогов иного пошиба». Прекрасно. Г-ну Маркову надлежало бы только показать публике эту «живую идею», доказать всем смущенным статьей гр. Толстого, что последний говорит неправду, что наша педагогия вполне научна. Ведь это кажется так просто: покажите научные основания, в силу которых г. Миропольский уличает в невежестве барона Корфа и рекомендует благодарить создателя, который нам дал наружные уши, а вот рыбам так не дал; покажите научные основания, которыми руководствуется г. Белов, распевая:

Супцу нет уже нисколько,—
Все уж скушал мой сынок,

или г. Бунаков, задавая вопрос: сколько у курицы ног? и летает ли лошадь? Покажите эти научные основания — и спор немедленно прекратится. Если бы гр. Толстой и продолжал из упрямства твердить свое, ему бы никто не верил и оставался бы он гласом вопиющего в пустыне. Но г. Марков более склонен блистать эполетами и шпорами просвещенного либерализма, чем говорить дело. Поэтому он оставляет упрек гр. Толстого без рассмотрения и, только отметив его, иронически продолжает: «Новая школа готова совсем исправиться, стать неизмеримо научнее... но вдруг, повернувшись, встречает нападение г-на Цветкова. Он ей говорит: 1) Новая школа виновата в том, что она стремится дать *массу научных фактов* и сведений. 2) Новая школа, вместо того чтобы читать *«божественное»*, и т. д., и т. д.

Вы возмущены, читатель. И я вас понимаю. Г. Марков, рассыпавший в своей статье об адвокатах сильные выражения, вроде «прелюбодей мысли» и «софисты XIX века», брезгает даже софизмом, — он просто передергивает. Речь идет о гр. Толстом. Опровергните его и принимайтесь потом за г. Цветкова, — это ведь люди совершенно противоположных лагерей, действующие различными орудиями и из различных побуждений. Какое же дело гр. Толстому до того, в чем обвиняет новую школу г. Цветков, и обратно — какой резон г. Цветкову отвечать за гр. Толстого? Но г. Марков идет и дальше на этом скользком пути смешения шашек. Он систематизирует прием, который, я боюсь, приличествует только прелюбодеям мысли, возводит его в критический прин-

цип. Он говорит: «Мы не можем представить лучшего опровержения нашим оппонентам, как устроив между ними такую очную ставку; всецелое противоречие свидетелей, — на основании которого еще премудрый ветхозаветный судия посрамил двух старцев, оклеветавших невинную Сусанну, — считается окончательным доводом несправедливости на самом строгом судебном процессе. Поэтому мы не видим нужды приводить после этого (поэтому после этого?), в разъяснение истинных целей и сущности новой педагогии, какие-либо авторитетные свидетельства, хотя могли бы сделать это без малейшего труда. Что два союзника, одновременно производящие свое нападение с двух различных флангов, вдруг стукнулись лбами, означает одно: что они двигались в темноте и что они нападали на пустоту». Как вам нравится, читатель, этот новоявленный критический прием? Некто утверждает, что педагоги не могут представить в оправдание своей системы научных оснований и что они не сообщают ученикам новых сведений. Другой говорит, что педагоги сообщают слишком много научных сведений. Является г. Марков и, подражая премудрому ветхозаветному судии, объявляет, бряцая шпорами просвещенного либерализма: вы противоречите друг другу, следовательно вы оба врете, а *поэтому* я не стану *после этого* доказывать, что современная педагогия хороша, — это само собой ясно. Напрасно, г. Марков. Это вовсе не ясно. И лучше бы вам «без труда» набрать авторитетных свидетельств, чем трудиться над чисткой эполет просвещенного либерализма. Кроме барышень, которые «к военным людям так и льнут»[27], блеском эполет никого и ни в чем убедить нельзя. Кто вас знает, может быть, вы и в самом деле можете доказать, что современная педагогия вполне научна и сообщает такое именно количество сведений, которое нужно. Отзвонили бы, да и с колокольни долой, а теперь вы можете звонить сколько вашей душе будет угодно и все-таки не вырвете у ереси гр. Толстого ни одной души, ибо слишком ясно, что вы занимаетесь прелюбодеянием мысли. Положим, что существует убеждение в неподвижности земли и солнца и что вы, г. Марков, разделяете это убеждение (конечно вы для этого слишком просвещенны, но, положим, к примеру). Вы присутствуете при астрономическом споре, в котором на ваших единомыш-

ленников нападают с одной стороны люди, доказывающие, что земля обращается около солнца, а с другой стороны — люди, верящие, что солнце вертится около земли. Вы, со свойственною вам развязностью, объясняете: и те и другие врут, ибо противоречат друг другу, а еще премудрый ветхозаветный судия и проч.: поэтому, я не стану доказывать после этого, что солнце и земля неподвижны, — это само собой ясно. Без сомнения, такой критический прием и добытый им результат весьма удобны, но могут ли они кого-нибудь убедить?

Но и это только цветки. На словах г. Марков предпринимает уличить в противоречии двух людей, по его собственным словам не имеющих между собой ничего общего. Задача по крайней мере легкая, если не плодотворная. Но истинная цель г. Маркова совсем не такова: ему нужно, напротив, доказать, что гр. Толстой и г. Цветков, эти представители совершенно противоположных лагерей, действующие разными орудиями и по разным побуждениям, суть люди одного и того же лагеря, действующие одними и теми же орудиями и по одним и тем же побуждениям. Это — уже несравненно труднейшая задача, и понятно, что разрешить ее нельзя без некоторого прелюбодеяния мысли, каковое г. Марков и совершает с удовлетворительным успехом. Г. Цветков категорически заявляет, что народное образование должно быть сдано на руки духовенства. Гр. Толстой чужд этой исключительности. Правда, он неоднократно рекомендует священно- и церковнослужителей как пригодных народных учителей, но пригодность их он видит единственно в том, что это учителя дешевые и находящиеся под рукой. Выражая сочувственный ему взгляд народа, он говорит, что учителем может быть «дворянин, чиновник, мещанин, солдат, дьячок, священник — все равно, только бы был человек простой и русский». В другом месте гр. Толстой спрашивает от лица своих оппонентов: «Каковы же будут эти школы с богомольцами, богомолками, пьяными солдатами, выгнанными писарями и дьячками?» Такие перечисления в статье гр. Толстого встречаются не раз и не два. Их категорический, нимало не двусмысленный характер мог, кажется, гарантировать гр. Толстого от сплетения с его именем имени г. Цветкова. Я не говорю уже об общем тоне статьи, который настолько ясен, что даже г. Марков

признает гр. Толстого противником не только господствующих в среде наших педагогов воззрений, а и «церковной педагогии». Тем не менее г. Марков, продолжая блистать и греметь, берет в руки решето просвещенного и сознательного либерализма и столь искусно просевает вышеозначенные перечисления народных учителей, что из всех их налицо остается один дьячок. Правда, мимоходом г. Марков глумится и над писарями и над солдатами, но в конце концов все-таки сводит дело к дьячку. Гр. Толстой полагает, что программа народного училища должна ограничиваться русским, языком, славянским и арифметикой. Г. Марков местами вычеркивает из этой программы все, кроме «*славянской* грамоты и счета», которые ставит даже в кавычках, дабы показать, что это подлинное требование гр. Толстого. Вы спросите — зачем эти мелочные, жалкие, дрянные передержки, надставки и просевания? Затем, что г. Маркову нужно смешать гр. Толстого с г. Цветковым, затем, что «славянская грамота и счет» составляют, как выражается г. Марков, дьячковскую программу, которую г. Марков желает навязать гр. Толстому. При помощи подобных, крайне нечистоплотных манипуляций г. Марков подходит к вожделенному концу и с напряженным, деланным, фальшивым пафосом громит единовременно и гр. Толстого и Цветкова, безразлично цитируя то одного, то другого. Таковы критические приемы людей просвещенного и сознательного либерализма... Они основываются на уменье пропустить или вставить в критикуемом произведении маленькое, совсем маленькое словечко, поставить кавычки не там, где следует, и т. п. Я начинаю думать, что сознательный и просвещенный либерализм достопочтенного г. Маркова состоит в полнейшей свободе перевирать чужие мысли и слова. Избави бог и нас от этаких судей.

Гадко рыться в этом «гробе повапленном», в этой систематизированной лжи, облеченной в полную парадную форму либерализма. Но две-три блестки рассмотреть надо, хотя бы потому, что некоторые якобы воззрения г. Маркова принадлежат не ему лично, а, так сказать, подслушаны им у гг. Евтушевского, Бунакова, Медникова и других возражателей гр. Толстого.

Гр. Толстой выразил мнение, что критерий педагогии состоит в свободе учащегося, что поэтому народ должен

сам выработать программу своего образования. Верна ли эта мысль, или нет — здесь для нас безразлично. Но вот как передает эту мысль г. Марков: «*Вечный* критерий педагогики в том, чтобы *наш мужик* выбирал, каким предметам нужно учить *человечество* в школе, и чтобы наш русский школьный учитель, *наш русский дьячок* сочинял каждый день экспромты в классе, как нужно учить этим предметам *человечество*». Эти геркулесовы столбы недобросовестности не требуют комментариев. Поучительнее следующие соображения сознательно либерального автора. Он уверяет, будто гр. Толстой так мотивирует законность предлагаемой им программы элементарного народного образования: «Гр. Толстой поучает нас, что русский мужик стоит за славянскую грамоту вовсе не для того, чтобы его сынишка мог выручить полтину за чтение псалтыря по покойнике: нет, народ вполне понимает педагогическое значение славянского языка, именно как мертвого языка, как организма вполне законченного, и за русскую грамоту вовсе не потому, что норовит своего мальчишку в писаря или в конторщики произвесть. Удивительный народ гр. Толстого и счет понимает не как механическое орудие для некоторых отправлений своего хозяйства и своей торговли, вроде того как грабли он признает полезными для сгребания сена, а соху для пахоты. О, совершенно нет! Народ гр. Толстого «допускает две области знания, самые точные и не подверженные колебаниям от различных взглядов — языки и математику». Народ этот, видите ли, «*постиг,* что один мертвый, один живой язык, с их этимологическими и синтаксическими формами и литературой, и математика» — основы знания, «открывающие ему пути к самостоятельному приобретению всех других знаний». Остальные науки он «отталкивает как ложь» и (—) говорит: «Мне одно нужно знать — церковный и свой язык и законы чисел». Именно законы; это стремление к «законам чисел» так естественно и поучительно во взглядах нашего русского мужичка!»

Я потому обращаю внимание читателя на эту тираду, что она фигурирует и у гг. Евтушевского, Медникова, Бунакова и пр. Г. Марков только обдал ее соком просвещенного и сознательного либерализма, то есть сделал две-три подделки, излагая мысли гр. Толстого. Подчеркнутого мною слова «постиг» у гр. Толстого нет,

а там, где у меня стоит знак (—) следовало бы вставить имеющиеся у гр. Толстого слова «как будто». Признаюсь, мне стыдно делать эти замечания, стыдно возиться с этими бесстыдными вставками и пропусками. Но что же делать, если г. Маркову не стыдно? Маленькие это словечки, но мал золотник, да дорог. Слово *не* еще меньше, но если г. Марков вычеркнет его из предложения «автор «Последних могикан» недобросовестен», — то получит о своей персоне совершенно превратное понятие. Если бы гр. Толстой уверил, что народ постиг педагогическое значение законов чисел или славянского языка с его этимологическими и синтаксическими формами, то это был бы такой смешной вздор, из-за которого Мальбругу-Маркову не стоило бы в поход ехать[28]. Но дело в том, что гр. Толстой ничего подобного не утверждает. Он заявил факт, как я думаю, несомненный: народ желает знать русскую и славянскую грамоту и арифметику или счет. Желание это обусловлено его обстановкой, его практическою жизнью. Удовлетворяя этому желанию, вы откроете народу «пути к самостоятельному приобретению всех других знаний». Народ, без сомнения, не разумеет под арифметикой или счетом — изучение законов чисел, но ведь это не мешает арифметике быть именно наукою о законах чисел. А следовательно, ничего не мешает сказать: народ *как будто* понимает великое теоретическое значение математики. Программа начального образования выработана или, вернее сказать, выработалась из самой практической жизни, и теоретическими соображениями народ при этом не задавался. Гр. Толстой ее комментирует, вот и все. Ясно или нет?

Я должен, однако, с прискорбием сказать, что среди самых беззастенчивых фальсификаций и плоско-либеральной болтовни г. Маркова есть одно очень важное указание, и если бы он им только и ограничился, а «нравственную обязанность» перевирать чужие слова оставил бы в стороне, то нельзя было бы не поблагодарить его. Г. Марков делает много любопытнейших выписок из таких статей «Ясной Поляны», которые не вошли в собрание сочинений гр. Толстого и потому большинству теперешней читающей публики совершенно неизвестны. Я приведу только одну из этих выписок, правда большую, с сохранением курсивов г. Маркова, которые

в этом случае являются вполне уместными и действительно бьющими в цель.

«...Общество в дер. Подосинках нашло своего учителя и на предложение мое заместить выбранного ими учителя другим объявило, что *не нуждается* в новом учителе и *своим довольно.* Учитель этот был *отставной дьячок,* уже 20 лет занимавшийся обучением детей... Он предложил *учить дешевле,* чем в других школах... Я посетил эту школу во время ее *цветения.* Когда мы вошли, все было тихо там; 24 мальчика, сидевшие с вырезными указками чинно вокруг длинного стола, *вдруг запели* на разные голоса. Во главе всех сидел сын огородника, *лет 16-ти,* в синем кафтане. Он запевал: *«надеющиеся на ны»;* сосед его, водя указкой по засаленной азбучке, пел: «слова под титлами: ангел, ангельский, архангел, архангельский»; и снова начиная: слова под титлами: ангел и т. д.; третий: «буки-арцы-аз-бра»; четвертый — «премудрость». Когда я вошел в избу, они закричали, потом встали. *Учителя не было.* Я спросил, зачем они встали? Они объяснили, что меня ждали и что так им было приказано. Я попросил их сесть и продолжать; все начали опять с тех же слов: «надеющиеся, слова под титлами» и т. д. Здесь я в первый раз видел классическую старинную школу»... Как устраиваются подобные школы, граф Толстой описывает на следующей странице: «Учитель устраивает стол, лавки, назначает время ученья, обыкновенно с *8-ми часов до сумерек;* отцы обязаны снабдить неграмотных детей азбуками, грамотных часовником или псалтырем, смотря по степени успеха. Весьма часто родитель покупает или достает *бог знает какую книжонку* вместо азбучки, иногда не может достать псалтыря, когда уже мальчик начал учить псалтырь, и ученик учит не то, что следовало ему учить по порядку курса. Так здесь я застал псалтырщика, *читающего уже всю выученную* наизусть азбуку, потому что единственный псалтырь был занят... Родители, приводя детей в школу или на дом к учителю, *всегда при ученике просят наказывать, бить* и говорят почти одну и ту же обычную фразу, имеющую целью внушить мальчику страх и убедить в том, что родитель передает ему свою власть побоев над сыном... Входя в школу, все молятся богу, садятся за книги, вновь крестятся и целуют эти книги. *Книги для них есть божество вроде*

идолов у чувашей, которое они просят быть милостивым к ним. Каждому задается стишок, который он должен выучить (стишок — строка или две)... Начинается то самое пение, которое я застал. *Учитель поручает старшему смотреть за порядком, сам же большею частью уходит.* Порядок состоит в том, чтобы каждый безостановочно продолжал кричать свои пять или шесть слов. Самый лучший из таких классических учителей в продолжение дня едва ли обойдет всех учеников, спросит заданный урок и задаст новый, то есть час времени в продолжение дня употребит на занятие со всеми. Обыкновенный же прием такого рода учителей состоит в том, чтобы поручать ученье старшему ученику, самому же *в продолжение недели заняться с учениками много 3—4 часа.* Все такие учителя непременно завербовывают к себе в школу хотя одного грамотного под предлогом доучивать его, а в сущности этот полуграмотный и есть учитель. Настоящий же учитель занимает только полицейскую должность *прикрикнуть, приударить,* собрать деньги и изредка только указать и спросить урок. Такими учителями очень часто бывают люди, почти целый день занятые посторонним делом — *причетники, писаря, и таких-то учителей и вытекающую из их занятий методу* предлагают вышеприведенные указы консистории и циркуляры министерства внутренних дел о волостных училищах».

«Да, — прибавляет г. Марков, — и не только консистории, но и сам гр. Толстой, который в 1862 году удивлялся, *как можно предлагать* в учителя безграмотных и бесполезных причетников, целый день *занятых посторонним делом,* — в 1874 году удивляется, напротив, как можно обходить тех же самых причетников, оскорбляется, что этим «дешевым учителям» предпочитается «любимый тип» учителей, окончивших курс учительской школы, и хлопочет, чтобы вместо теперешних школ с правильно подготовленными наставниками были заводимы сотни школ, подобных подосинковской, у солдат, причетников и дворников, дешевле, чем по 2 рубля в месяц».

В других местах гр. Толстой выражается еще резче. Он называет «старинных учителей» палачами и живодерами и говорит, что не видал еще старинного учителя — «кроткого человека и не пьяницу». Что касается до требований народа, то в той же «Ясной Поляне» гр. Толстой неоднократно говорил, что родители требовали,

чтобы детей их били и ничему, кроме азбуки, не учили. «Что нам рихметика! — говорил один мужик гр. Толстому, — копейка за хлеб, копейка за лук, вот и вся рихметика. У нас солдат рихметики не учит, потому *знает, что не нужно*». Из школ, которые заводил гр. Толстой, дело шло успешно только в таких, «где учитель *на шаг не сдавался на требования крестьян,* а прямо говорил: «не нравится, возьми из школы и отдай солдатам»; где он толковал, что *я не пойду тебя учить, как пахать,* хоть ты и для меня бы пахал, *так и ты не учи меня, как учить,* хотя я и учу твоего сына, — *так понемногу крестьяне сдавались*». Я не имел возможности проверить цитаты г. Маркова, а из предыдущего видно, что почтенному писателю этому верить на слово нельзя. Может быть, он и тут нечто просеял и нечто прибавил. Но цитат этих слишком много, и есть же граница у всякой недобросовестности. Должно поэтому думать, что 12 лет тому назад гр. Толстой не возлагал надежд на солдат, прохожих, богомолок и причетников, которых ныне рекомендует в народные учителя, и относился к требованиям народа и его свободе выбирать программу образования не столь доверчиво, как теперь. Это уже не противоречие между гр. Толстым и г. Цветковым, что нимало не поучительно, это — противоречие гр. Толстого с самим собой и притом не только противоречие его взглядов 1862 года со взглядами 1874 года, как думает г. Марков. Нет, гр. Толстой совершенно справедливо заявляет, что его основные воззрения со времен «Ясной Поляны» не изменились. Поэтому то, что является противоречием теперь, было и тогда противоречием.

Мы здесь имеем первый случай столкновения десницы гр. Толстого с шуйцей, которое (столкновение) есть только одно звено из целой цепи и может быть правильно оценено только в совокупности всех этого рода явлений литературной деятельности этого искренно и глубоко уважаемого мною писателя.

III

Как ни просты, как ни ясны соображения гр. Толстого о значении для народа явлений, которые принято называть прогрессивными, но приходят к ним сравни-

тельно очень и очень немногие люди. И это совершенно понятно. «Мы все, вверху стоящие, что город на горе, дабы всем виден был» — естественно, должны принимать близко к сердцу казовую сторону цивилизации. Цивилизация разбудила в нас известные потребности и затем сама же удовлетворяет этим потребностям в известном порядке и в известной степени. Наслаждения умственною деятельностью, искусством, политическою деятельностью, материальною обстановкой, созданной цивилизацией, так велики, так осязательны, что нам вполне естественно добиваться их и затем просто наслаждаться, когда они в той или другой мере добыты. Мы очень хорошо знаем цену, заплаченную за них нами самими, и именно поэтому даже не задаем себе вопроса, — не оплачивает ли наши наслаждения еще кто-нибудь, кроме нас? А если он нам и представится, то мы невольно от него отмахиваемся, что даже очень удобно благодаря сложности и запутанности явлений жизни. Теперь, например, раздаются повсюду жалобы на оскудение беллетристических талантов. Критика припоминает Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Грибоедова, припоминает вторую серию больших талантов — Льва Толстого, Гончарова, Тургенева — и сетует, что источник наслаждения поэтическими произведениями как бы иссяк, не дает ничего нового и грозит даже совершенно высохнуть, как только неумолимая смерть унесет представителей прежнего, блестящего периода русской поэзии. Таланты есть и теперь, и, если бы мы не имели образцов талантов более сильных, мы были бы, может быть, совершенно довольны своим настоящим. Но в общем счете группы поэтов 20—30-х и затем 40-х годов несомненно примируют над всем, что народилось лучшего в последние пятнадцать — двадцать лет. Из новейших беллетристов — у кого не хватает выдержки и законченности, у кого — тонкости понимания и изящества кисти, словом, все так или иначе с изъяном, все не дают нам тех наслаждений, которые мы уже имели случаи испытывать. Представим себе теперь, что нижеследующее объяснение этого прискорбного явления вполне верно: поэты двадцатых — сороковых годов были хоть и не очень богатые люди, но все-таки в большинстве случаев помещики, обеспеченные крепостным правом. Они имели полную возможность развивать свои таланты на досуге, учиться более

или менее пристально сызмала, посещать заграничные университеты, исполнять рецепт Гоголя, по которому следует написать повесть и дать ей «отлежаться» с год, потом переписать ее и опять отложить и т. д., до восьми раз. При такой обстановке ни одна случайная искра духовного интереса не могла пропасть совсем даром и должна была преимущественно разгораться пламенем поэтического таланта, ибо поэзия составляла чуть не единственное более или менее свободное поприще умственной деятельности. Ныне талантов нарождается, может быть, и не меньше, но одни совсем затираются беспощадной борьбой за существование, так что и не показываются даже, а другие недоразвиваются. Возвратите крепостное право или подождите, пока вырастут и окрепнут, то есть передадутся несколько раз по наследству большие промышленные капиталы, и русская беллетристика опять расцветет. Я очень хорошо понимаю, что это объяснение далеко не полное, но думаю, что оно в значительной степени верно. Положим, что мне удалось бы доказать это со всею возможною в такого рода вопросах точностью. Как бы вы приняли эту диссертацию, мой благосклонный читатель? Если бы вы были крепостником, вы бы одобрительно промычали и сказали бы: ну вот, я всегда это говорил! Если бы вы были чем-нибудь вроде г. Скальковского, вы сказали бы, что к крепостному праву возврата нет, но поставить поэзию в зависимость от капитала — не вредно. Если бы вы были не крепостником и не г. Скальковским, а только русским Ренаном, г. Страховым, вы бы сказали: конечно, «пот многих есть необходимое условие развития немногих», и хоть крепостное право омерзительно, но нужно что-нибудь этакое — «фантастическое и неопределенное, долженствующее произвести на зрителя легкое, но приятное впечатление», как говорится в афишах фокусников. Крепостник и г. Скальковский для нас здесь нимало не интересны, ибо речь идет о поэзии, до которой им дела нет. Г. Страхов, конечно, интереснее, ибо он способен наслаждаться поэзией и знает цену этому наслаждению. Он действительно может потребовать чего-нибудь «фантастического и неопределенного» единственно ради интересов русской литературы и — мало того — способен сказать это смело, публично. Но гг. Страховы очень редки в природе. Большинство моих

благосклонных читателей, я полагаю, не решатся заявить симпатии к «фантастическому и неопределенному», отчасти похожему, а отчасти совсем не похожему на крепостное право; не решатся заявить не только публично, другим, а и внутри себя, сами себе. Да, господа, как бы ни были убедительны мои доводы, хоть бы вы под них не сумели иголки подточить, вы не то что не согласились бы со мной, а не хотели бы согласиться. Вам было бы больно, обидно признать, что, может быть, чистейшие ваши наслаждения взросли при помощи такого удобрения, как крепостное право; до такой степени больно, что вы отогнали бы от себя эту мысль, как пискливого комара, не дающего спокойно заснуть. Но если бы, продолжая гипотезу неопровержимой точности моих доказательств, вы и согласились со мной, вам было бы в высокой степени трудно долго удержаться на рекомендуемой точке зрения, и вы бы, может быть, пропустили, не поморщившись, например следующие строки статьи «Современная бездарность», напечатанной в № 5 «Дела» (мне неизвестно, принадлежат ли эти строки автору статьи, или Гальтону, о книге которого статья трактует, но это все равно):[29] «Нынче, как всегда, хозяйство на человеческие силы (?) совершенно в пренебрежении, и все обычаи и строй жизни клонятся не к тому, чтобы увеличивать массу людей (?) и массу мыслящего мозга, а к тому, чтобы их уменьшить. Любопытнейший факт этого рода представляет древняя Греция. Нигде и никогда не было такой массы выдающихся гениальных людей, как в Аттике. Миллионы европейцев в течение двух тысяч лет не произвели ничего подобного Сократу, Периклу, Фидию, и даже величайший европеец — лорд Бэкон едва равняется второстепенному человеку древности — Платону. Если бы порода древних греков могла сохраниться, распространиться и размножиться по другим странам, в этом бы заключалось величайшее благо для всей последующей цивилизации, и размер этого блага мы даже не в состоянии себе вообразить. Но общественная нравственность древнего мира крайне извратилась. Браков избегали, потому что они вышли из моды, многие из самых честолюбивых и образованных женщин открыто вели распутную жизнь и потому не имели детей, а матери будущих поколений принадлежали к классам общества менее интеллектуальным».

Эти строки дали вам, без сомнения, много пищи для размышлений, очень интересных. Так, вы размышляли, может быть, об том, есть ли какие-нибудь основания для признания Бэкона величайшим европейцем, Платона — второстепенным человеком древности, а Перикла — не превзойденным никем в последующие века; об том, возможно ли и вообще какое-нибудь основание для подобных сравнений; об том, хорошо или дурно, что честолюбивейшие из гречанок не имели детей, и т. п. Но весьма вероятно, что вы, как и автор приведенных строк, совершенно упустили из виду одно немаловажное и уже несомненное, — не то что мое объяснение расцвета и оскудения русской поэзии, — обстоятельство: «более интеллектуальные» классы общества афинского, все эти Сократы, Платоны, Фидии и Periклы взросли на рабстве и сами открыто признавали институт этот необходимым условием своего блеска. Вы не задавали себе вопроса: как отразились бы на последующей цивилизации сохранение и распространение «породы древних греков» с точки зрения этой коренной ее складки? Почему вы не задали себе этого вопроса? Во-первых потому, что вам, как образованному человеку, мудрый Сократ и изящнейший Фидий несравненно ближе, чем темная масса «менее интеллектуальных» греческих рабов. Во-вторых потому, что Сократ и Фидий и сами по себе заметнее, ярче темной массы. В-третьих, наконец, потому, что связь Сократа и Фидия с рабством производит столь неприятное, отталкивающее впечатление, что вы инстинктивно его избегаете.

Заметьте, благосклонный читатель, что я об вас не дурного, а, напротив, очень хорошего мнения: я предполагаю, что связь мудрости Сократа и искусства Фидия с рабством или высокого поэтического таланта гр. Л. Н. Толстого с крепостным правом производит на вас обидное, отталкивающее впечатление. Но некоторые из читателей имеют, вероятно, право на еще лучшее о них мнение. Потому ли, что они вышли из рядов темной массы, на себе испытывающей невидную сторону блеска цивилизации; потому ли, что они люди очень большого ума, не позволяющего им отворачиваться даже от неприятной истины; потому ли, наконец, что они случайно одарены тонкой и восприимчивой нравственной организацией, но они признают факт означенной связи и при-

знают не на манер крепостника или г. Страхова. Для таких людей возникает ряд очень мучительных вопросов. Сократ мудр, Фидий прекрасен, но взрастившее их рабство омерзительно. Можно ли разорвать ненавистную, связывающую их цепь? Или надо признать эту связь фатальною и отказаться от надежды обладать философией и искусством? Или, напротив, продолжать плодить мысль и красоту на почве чистого рабства или одного из его видоизменений? Если я, «интеллектуальный» человек, сознал, что интеллект мой и все связанные с ним наслаждения куплены ценою «пота многих», то каково должно быть мое поведение? Отказаться от интеллектуальных наслаждений я не могу, признать их происхождение безгрешными — тоже не могу.

Повторяю, очень немногие способны задать себе эти вопросы не потому, чтобы их постановка представляла какие-нибудь непреодолимые логические трудности; напротив, логически они крайне просты, но потому, что тут становится поперек дороги весь склад нашей жизни, все наше воспитание, все привычные, ежедневные впечатления. Даже die Wenigen, die was davon erkannten *, не могут пройти весь свой жизненный путь твердым, уверенным шагом и почти неизбежно впадают в ряд противоречий. Не избег этих противоречий и гр. Толстой. Я этому не удивляюсь. В статье г. Маркова упоминается, что он богатый помещик; из романов его явствует, что он коротко знает высший свет и, вероятно, имеет с ним многосторонние и прочные связи; он очень тонкий художник и так горячо говорит об искусстве, что должен придавать эстетическому наслаждению высокую цену. И этому-то человеку, имеющему возможность наслаждаться всеми лучшими благами цивилизации, совокупность каких-то неизвестных нам обстоятельств вложила в голову мысли, изложенные мною выше. Если бы такие мысли пришли в голову человеку, лично неспособному или материальною обстановкою лишенному возможности вкушать плоды цивилизации, то тут не было бы ничего удивительного. И обойтись без противоречий такому человеку было бы весьма легко. Например, человек, по своей собственной вине или по вине обстоятельств невежественный или лишенный потребности по-

* те немногие, которые об этом знают *(нем.)* [30]. — *Ред.*

знания, может весьма последовательно, ни разу в жизни себе не противореча, отрицать знание, поскольку оно отрицается точкою зрения гр. Толстого. Но сам гр. Толстой находится в совершенно ином положении. Возьмем его литературную деятельность. Он — блестящий писатель, пользующийся громадною известностью, он — художник, то есть творец, и несомненно глубоко наслаждается актом поэтического творчества, он издавал журнал и печатал в других журналах и отдельными изданиями свои произведения. Между тем он пришел к следующим воззрениям на книгопечатание:

«Для меня очевидно, что расплложение журналов и книг, безостановочный и громадный процесс книгопечатания был выгоден для писателей, редакторов, издателей, корректоров и наборщиков. Огромные суммы народа косвенными путями перешли в руки этих людей. Книгопечатание так выгодно для этих людей, что для увеличения числа читателей придумываются всевозможные средства: стихи, повести, скандалы, обличения, сплетни, полемика, подарки, премии, общества грамотности, распространения книг и школы для увеличения числа грамотных... Но ежели число журналов и книг увеличивается, ежели литература так хорошо окупается, то, стало быть, она необходима, скажут мне наивные люди. Стало быть, откупа необходимы, что они хорошо окупались? отвечу я... Литература, так же как и откупа, есть только искусная эксплуатация, выгодная только для ее участников и невыгодная для народа... У нас есть разные журналы (гр. Толстой перечисляет тогдашние журналы), есть сочинения Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина. И все эти журналы и сочинения, несмотря на давность существования, неизвестны, не нужны для народа и не приносят ему никакой выгоды. Я говорил уж об опытах, деланных мною для привития нашей общественной литературы народу. Я убедился, в чем может убедиться каждый, что для того, чтобы человеку из русского народа полюбить чтение «Бориса Годунова» Пушкина или историю Соловьева, надо этому человеку перестать быть тем, чем он есть, то есть человеком независимым, удовлетворяющим всем своим человеческим потребностям. Наша литература не прививается и не привьется народу, надеюсь — люди, знающие народ и литературу, не усомнятся в этом... Всякий добросовестный судья, не одер-

жимый верою прогресса, признается, что выгод книгопечатания для народа не было... Но скажут, может быть, признавая мои доводы справедливыми, что прогресс книгопечатания, не принося прямой выгоды народу, содействует его благосостоянию тем, что смягчает нравы общества; что разрешение крепостного вопроса, например, есть только произведение прогресса книгопечатания. На это я отвечу, что смягчение нравов общества еще нужно доказать, что я лично его не вижу и не считаю нужным верить на слово. Я не нахожу, например, чтобы отношения фабриканта к работнику были человечнее отношений помещика к крепостному... Главное же, что я имею сказать против такого аргумента, есть то, что, взяв в пример хотя бы освобождение от крепостного права, я не вижу, чтобы книгопечатание содействовало его прогрессивному разрешению. Ежели бы правительство в этом деле не сказало своего решительного слова, то книгопечатание, без сомнения, разъяснило бы дело совершенно иначе. Мы видели, что бо̀льшая часть органов требовала бы освобождения без земли и приводила бы доводы, столь же кажущиеся разумными, остроумными, саркастическими. Прогресс книгопечатания, как и прогресс электрических телеграфов, есть монополия класса общества, выгодная только для людей этого класса, которые под словом прогресс разумеют свою личную выгоду, вследствие того всегда противоречащую выгоде народа. Мне приятно читать журналы от праздности, я даже интересуюсь Оттоном, королем греческим. Мне приятно написать или издать статейку и получить по телеграфу известие о здоровье моей сестрицы и знать наверное, какой цены я должен ожидать за свою пшеницу. Как в том, так и в другом случае нет ничего предосудительного в удовольствиях, которые я при этом испытываю, и в желаниях, которые я имею, чтобы удобства к такого рода удовольствиям увеличивались, но совершенно несправедливо будет думать, что мои удовольствия совпадают с увеличением благосостояния всего человечества» (Сочинения, т. IV, 192 и след.).

Я не скуплюсь на выписки из IV тома сочинений гр. Толстого как потому, что мне нужна самая точная передача его мыслей, так и потому, что излагаемые мною воззрения гр. Толстого, я уверен, совершенно неизвестны огромному большинству моих читателей. Так

прочно установилась каким-то чудом его репутация как плохого мыслителя, что IV том его сочинений, в котором собраны педагогические статьи, мало кем читается, несмотря на то, что там есть страницы даже в чисто художественном отношении превосходящие, может быть, все написанное гр. Толстым. Между тем, именно в этом томе, следует искать ключа ко всей литературной деятельности нашего знаменитого романиста. Всякий писатель может подвергаться и подвергается крайне разноречивым суждениям, во-первых потому, что судьи обладают различными степенями критической способности, во-вторых потому, что они держатся различного образа мыслей. Но относительно гр. Толстого существует еще третья и поистине удивительная причина: несмотря на всю свою известность, он неизвестен. Будем же изучать его.

Я прошу читателя серьезно вдуматься в душевное состояние писателя, пришедшего к вышеприведенным воззрениям на книгопечатание и литературу, — писателя не ради куска хлеба и не по каким-нибудь случайным обстоятельствам, а такого, как гр. Толстой, то есть писателя по призванию, неудержимо гонимого на литературное поприще избытком творческой силы. Положение истинно трагическое. Гр. Толстой совершенно справедливо говорит, что нет ничего предосудительного в желании написать статейку и получить за нее деньги и известность. Конечно, это времяпровождение само по себе нимало не предосудительно. Но гр. Толстой знает, что этим именно непредосудительным путем «огромные суммы народа перешли в руки» лиц, прикосновенных к литературе и книгопечатанию; что так именно слагается вся литература, эта «искусная эксплуатация, выгодная только для ее участников и невыгодная для народа». Человеку, не напечатавшему во всю жизнь ни одной строки или писательствующему не по внутренней потребности делиться с читателями возникающими в нем мыслями и образами, — легко сказать то, что говорит гр. Толстой. С другой стороны, есть много людей, совершающих ужасные преступления и тем не менее спокойных душой, потому что их действия для них не суть преступления, они не сознают их преступности. Словом, когда сознание и потребности находятся тем или другим способом в равновесии, жить легко. Гр. Тол-

стой, напротив, ясно сознает, что литература есть один из видов эксплуатации народа, и тем не менее участвует в ней и не может не участвовать, потому что как вечному жиду таинственный голос не уставал говорить: иди, иди, иди, так и гр. Толстому внутренний голос, голос его богато одаренной природы не устает говорить: пиши, пиши, пиши! Это столкновение неудержимой потребности с неумолимым сознанием составляет драму, перипетии которой должны быть тщательно изучены каждым желающим получить правильное понятие о литературной деятельности гр. Толстого. Я не намерен трактовать об «Анне Карениной», во-первых потому, что она еще не кончена, во-вторых потому, что об ней надо или много говорить, или не говорить. Скажу только, что в этом романе несравненно поверхностнее, чем в других произведениях гр. Толстого, но, может быть, именно вследствие этой поверхностности, яснее чем где-нибудь, отразились следы совершающейся в душе автора драмы. Спрашивается, как быть такому человеку, как ему жить, как избежать той отравы сознания, которая ежеминутно вторгается в наслаждение удовлетворенной потребности? Без сомнения, он хотя бы инстинктивно должен изыскивать средства покончить внутреннюю душевную драму, спустить занавес, но как это сделать? Я думаю, что если бы в таком положении мог очутиться человек дюжинный, он покончил бы самоубийством или беспробудным пьянством. Человек недюжинный будет, разумеется, искать других выходов, и таких представляется не один. Гр. Толстой испробовал, кажется, их все. Но вместе с тем мы видим целый ряд очень естественных колебаний в самых этих пробах и ряд отклонений от основной (может быть, не вполне сознаваемой самим автором) задачи. Задача эта состоит в том, чтобы, оставаясь писателем, перестать участвовать в «искусной эксплуатации» или по крайней мере как-нибудь вознаградить народ за эту эксплуатацию. Есть для этого прямой путь — стать чисто народным писателем, внести свою лепту в создание литературы, которая могла бы «привиться» народу. Но даже при наличности всех других благоприятных условий, это — дело крайне трудное в техническом отношении. Гр. Толстой испробовал, впрочем, хотя отчасти, и этот путь несколькими рассказами и статейками, вошедшими в «Азбуку». Здесь кстати бу-

дет сделать следующее замечание. Я уже говорил, что взгляды гр. Толстого на различные «явления прогресса», при несомненно глубокой и оригинальной точке зрения, часто слишком просты и, так сказать, прямолинейны для того, чтобы вполне соответствовать сложной и запутанной действительности. Этою излишнею простотою страдает и его взгляд на литературу и книгопечатание. Что теперешняя наша литература, вообще говоря, не прививается и не привьется народу, это верно. Существуют, однако, исключения. Я не буду об них распространяться и укажу только на самого гр. Толстого, который напечатал рассказ «Кавказский пленник» сначала в журнале «Заря», то есть для «общества», а потом в «Азбуке», то есть для народа. Может быть, «Кавказский пленник» и, помнится, еще один рассказ были напечатаны в «Заре» только как образцы рассказов для народа [31]. Но есть и другие этого рода примеры. Наша критика (то есть часть «общества») весьма много хвалила и хулила, вообще обсуждала солдатика Платона Каратаева в «Войне и мире», — роман этот написан, конечно, не для народа, — между тем очень характерный рассказ Каратаева о невинно сосланном на каторгу купце вошел в «Азбуку» под заглавием «Бог правду видит, да не скоро скажет». Во всяком случае, деятельность гр. Толстого как народного писателя поглотила сравнительно ничтожную долю его сил. Нам, «обществу», он дал «Детство и отрочество», «Войну и мир», а народу не дал как писатель, конечно, ничего даже отдаленно похожего на что-нибудь равноценное. Это зависит прежде всего от того, что ему представился другой и тоже прямой путь служения народу, — деятельность педагогическая, к которой его толкнул другой дар природы — «педагогический такт». Этот педагогический такт гр. Толстой и сам знает за собой, да об нем свидетельствует и г. Марков, ссылающийся на свое личное знакомство с ведением дела в школе гр. Толстого. Но о педагогической деятельности гр. Толстого речь пойдет ниже. Однако народным писателем гр. Толстой не сделался, я думаю, не только потому, что нашел в педагогии иной способ отплаты за эксплуатацию, в которой он участвует наравне с другими писателями. Тут есть и другая причина. Круг его умственных интересов и слишком широк и слишком узок для роли народного писателя. С одной стороны, он владеет запасом образов и идей, недоступ-

ных народу по своей высоте и широте. С другой стороны, он, как человек известного слоя общества, слишком близко принимает к сердцу мелкие, узкие радости и тревоги этого слоя, слишком ими занят, чтобы отказаться от поэтического их воспроизведения. Забавы аристократических салонов и бури дамских будуаров, несмотря на все их ничтожество, очевидное для самого графа Толстого, очень его интересуют. Эти интересы — новый элемент совершающейся в его душе драмы — мешают ему не только быть народным писателем, но и идти по другому, косвенному пути к примирению потребности поэтического творчества с сознанием некоторой его греховности. В самом деле, редко кому дано счастие уметь писать для народа, — я называю это счастием хотя бы уже потому, что иметь миллионы читателей приятнее, чем тысячи или сотни, — гр. Толстой может и не обладать нужными для этого силами и способностями. Но раз он уверен, что нация состоит из двух половин и что даже невинные, «непредосудительные» наслаждения одной из них клонятся к невыгоде другой, — что может мешать ему посвятить все свои громадные силы этой громадной теме? Трудно даже себе представить, чтобы какие-нибудь иные темы могли занимать писателя, носящего в душе такую страшную драму, какую носит в своей гр. Толстой: так она глубока и серьезна, так она захватывает самый корень литературной деятельности, так она, казалось бы, должна глушить всякие другие интересы, как глушит другие растения цепкая повилика. И разве это недостаточно высокая цель жизни: напоминать «обществу», что его радости и забавы отнюдь не составляют радостей и забав общечеловеческих; разъяснять «обществу» истинный смысл «явлений прогресса»; будить хоть в некоторых, более восприимчивых натурах сознание и чувство справедливости? И разве на этом обширном поле негде разгуляться поэтическому творчеству? Гр. Толстой много и сделал в этом направлении. Противопоставлением двух означенных половин в «Казаках», севастопольских очерках, во многих местах «Войны и мира», в «Утре помещика» и др. он доставил много хорошей духовной пищи общественному сознанию. Сюда же относятся его педагогические статьи и самое издание журнала «Ясная Поляна», который, будучи продуктом книгопечатания и, следовательно, «искусной

эксплуатации», тем не менее наверное вносил мир в совесть гр. Толстого. Нельзя того же сказать о тщательном изучении и изображении радостей и тревог аристократических салонов и бурь дамских будуаров. Надеюсь, читателю понятно, что эта тема удовлетворяет только потребность творчества гр. Толстого, причем он должен сознавать, что уклоняется от жизненного пути, представляющегося ему правильным, или по крайней мере должен сознавать, что идет путем неправильным. Правда, он тут получает удовлетворение и как человек известного слоя общества, которому, может быть, не чуждо и все человеческое, но в особенности близки интересы, чувства и мысли именно этого слоя. Это — так, но в этом-то и состоит отклонение от пути, признаваемого гр. Толстым правильным, тут-то и начинается его *шуйца,* что опять-таки должно быть ему самому яснее, чем кому-нибудь. В самом деле, — что значит предавать тиснению тончайший и подробнейший анализ различных перипетий взаимной любви Анны Карениной и флигель-адъютанта графа Вронского или истории Наташи Безуховой, née * графини Ростовой, и т. п.? Говоря словами самого гр. Толстого, обнародование во многих тысячах экземпляров анализа, например ощущений графа Вронского при виде переломленного хребта любимой его лошади. само по себе не составляет «предосудительного» поступка. Ему «приятно получить за это деньги и известность», а нам, «обществу», не всему, конечно, а преимущественно светским людям и кавалеристам, очень любопытно посмотреться в превосходное художественное зеркало. Когда дело идет о героях произведений г. Тургенева, колеблющихся между юною и неопытною девою, с одной стороны, и страстным, стремительным демоном в юбке, с другой, о душевном состоянии автора не может быть и разговора: оно прозрачно, как кружева страстного демона и цвет лица юной девы, ибо г. Тургенев не смущен воззрениями гр. Толстого на роль книгопечатания и литературы. Но гр. Толстой имеет эти воззрения. Поэтому ему, должно быть, крайне обидно слышать похвалы людей вроде критиков «Русского вестника», «Русского мира» и «Гражданина», которые уверены, что, как выразился один из них, «литература ничем другим не может

* урожденной *(франц.).— Ред.*

питаться, как интересами образованного круга, потому что они одни только суть истинные национальные интересы в форме сознательной и приуроченной к интересам цивилизации» («Русский вестник», 1874, № 4, статья о «Пугачевцах» гр. Сальяса). Конечно, это только мое предположение, что гр. Толстому обидно слышать эти похвалы, но предположение, кажется, весьма вероятное. Другой из этих пещерных критиков заявил, что герои «Анны Карениной» суть «люди, сохраняющие *среди новых общественных наслоений лучшие, предания культурного общества*»[32]. Эти несчастные не знают, что, по мнению гр. Толстого, «в поколениях работников («новые общественные наслоения») лежит и больше силы и больше сознания правды и добра, чем в поколениях баронов, банкиров, профессоров и лордов» («культурное общество»). Эти несчастные не подозревают, что для гр. Толстого «требования народа от искусства законнее требований испорченного меньшинства так называемого образованного класса»; что для гр. Толстого не то что гр. Сальяс с своими «Пугачевцами», а такие великаны, как Пушкин и Бетховен, не сто́ят песни о «Ваньке-ключничке» и напева «Вниз по матушке по Волге» (Сочинения, т. IV, 380). Эти несчастные не понимают, что то, что им нравится в гр. Толстом, есть только его *шуйца*, печальное уклонение, *невольная* дань «культурному обществу», к которому он принадлежит. Они бы рады были из него левшу сделать, тогда как он, я думаю, был бы счастлив, если бы родился без шуйцы. Повторяю, я только предполагаю, что гр. Толстому, должно быть, обидно слышать похвалы пещерных людей, которые (похвалы) относятся только к его шуйце. Но мне лично всегда бывает обидно за гр. Толстого, когда я вижу усилия, и небезуспешные, пещерных людей замарать его своим нравственным соседством. Обидно не потому, что я сам желал бы стоять рядом с гр. Толстым, хотя, разумеется, и это привлекательно, но потому, что, марая его своим нечистым прикосновением, они отняли у общества чуть не всю его десницу. Почему читающей публике решительно неизвестны истинные воззрения гр. Толстого? Отчего они не коснулись общественного сознания? Много есть тому причин, но одна из них несомненно есть нравственное соседство пещерных людей, холопски, то есть с разными привираниями и умолчаниями, лобызающих шуйцу

гр. Толстого. Я на себе испытал это. Я поздно познакомился с идеями гр. Толстого, потому что меня отгоняли пещерные люди, и был поражен, увидав, что у него нет с ними ничего общего. Полагаю, что это не исключение, а общее правило.

Драма, совершающаяся в душе гр. Толстого, есть тоже моя гипотеза, но гипотеза законная, потому что без нее нет никакой возможности свести концы его литературной деятельности с концами. Гипотеза же эта объясняет мне все.

Члены, употребляя терминологию гр. Толстого, «общества», или, говоря языком пещерных людей, «культурного общества» представляются нашему автору людьми испорченными, исполненными лжи, мелкими даже в лучших проявлениях их духа. Он говорит, например: *«страшно сказать:* я пришел к убеждению, что все, что мы сделали по этим двум отраслям (по музыке и поэзии), все сделано по ложному, исключительному пути, не имеющему значения, не имеющему будущности и ничтожному в сравнении с теми требованиями и даже произведениями тех же искусств, образчики которых мы находим в народе. Я убедился, что лирическое стихотворение, как например: «Я помню чудное мгновенье», произведения музыки, как последняя симфония Бетховена, не так безусловно и всемирно хороши, как песня о «Ваньке-клюшничке» и напев «Вниз по матушке по Волге»; что Пушкин и Бетховен нравятся нам не потому, что в них есть абсолютная красота, но потому, что мы так же испорчены, как Пушкин и Бетховен, потому что Пушкин и Бетховен одинаково льстят нашей уродливой раздражительности и нашей слабости». Несколько раньше в той же статье («Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы») читаем: «Картина Иванова [33] возбудит в народе только удивление пред техническим мастерством, но не возбудит никакого, ни поэтического, ни религиозного, чувства, тогда как это самое поэтическое чувство возбуждено лубочною картинкой Иоанна Новгородского и черта в кувшине. Венера Милосская возбудит только законное отвращение пред наготой, пред наглостью разврата — стыдом женщины. Квартет Бетховена последней эпохи представится неприятным шумом, интересным разве только потому, что один играет на большой дудке, а другой на большой

скрипке. Лучшее произведение нашей поэзии, лирическое стихотворение Пушкина, представится набором слов, а смысл его презренными пустяками. Введите дитя народа в этот мир, вы это можете сделать и постоянно делаете посредством иерархии учебных заведений, академий и художественных классов, он почувствует и прочувствует искренно и картину Иванова, и Венеру Милосскую, и квартет Бетховена, и лирическое стихотворение Пушкина. Но, войдя в этот мир, он будет дышать уже не всеми легкими, уже его болезненно и враждебно будет охватывать свежий воздух, когда ему случится вновь выйти из него».

Я мог бы привести десятки подобных цитат и даже жалею, что литературные приличия и недостаток места мешают мне перепечатать целую треть IV т. сочинений гр. Толстого. Может показаться, что приведенные строки, как и многие другие, опять-таки сближают гр. Толстого с славянофилами: те ведь тоже доказывали, что добро, правда и красота живут только в народе, мы же, цивилизованные люди, со времен Петра питаемся злом, ложью и безобразием. На самом деле, разница между гр. Толстым и славянофилами громадна и здесь. Ему *страшно сказать* то, что он говорит, и ему действительно должно быть страшно, потому что сам он не может отказаться от Иванова и Бетховена и променять картину Иванова на лубочную картинку Иоанна Новгородского и черта в кувшине. Последняя, как он замечает, «замечательна по силе религиозно-поэтического чувства», но «*уродлива*», — удовлетворить его, значит, она не может. Славянофилы были уверены, что они, такие-то, Хомяков или Аксаков, не только поняли величие народных идеалов, но слились или по крайней мере во всякую данную минуту могут слиться с народом во всех своих воззрениях религиозных, поэтических, политических и проч. Гр. Толстой смотрит на дело гораздо глубже, искреннее и правее. Он помнит, что и сам он захвачен волной цивилизации и что нет у него силы уйти от нее, как нет ее у героя «Казаков» Оленина, нет у героя «Анны Карениной» Константина Левина, нет у героя «Утра помещика» Нехлюдова и проч. Частое повторение этого драматического мотива в произведениях гр. Толстого очень характерно, — он, этот мотив, переживается им самим в жизни, в действительности. Часто гр. Тол-

стого ставят рядом с г. Тургеневым и вдвигают его героев в ряд надломленных, бесхарактерных людей, ведущих свое родословное дерево, кажется, с Евгения Онегина. Оно отчасти, может быть, и верно, но гр. Толстой рисует этих людей в такой обстановке и в такие моменты их жизни, которые не приходили в голову ни одному из наших крупных романистов. В этом-то и состоит глубокая оригинальность его как беллетриста. Он не предается фальшивой идеализации удальца, вора и пьяницы Лукашки, которому завидует Оленин, или ямщика Илюшки, по поводу которого Нехлюдов размышляет: зачем я не Илюшка! или того народа, жизнью которого так хочет и так не может жить Константин Левин. Даже в знаменитом Платоне Каратаеве, затасканном нашей критикой, я не вижу фальшивой идеализации, как не вижу ее в признании лубочной картинки уродливою, но полною религиозно-поэтического чувства. Но автор ставит дело так, что во всех этих грубых и невежественных детях народа оказывается нечто достойное зависти людей образованных и тонко развитых. Что это за нечто и почему гр. Толстой стоит на нем так упорно? Я думаю, что устами Нехлюдова, Оленина, Левина и проч. гр. Толстой сам завидует Лукашкам и Илюшкам, потому что у Илюшек и Лукашек светлее, тише в душе, чем у него, гр. Толстого; светлее и тише не только потому, что они — люди грубые и невежественные, а и потому, что они не виноваты, например, перед автором «Войны и мира» и «Анны Карениной», а он перед ними виноват: он участвовал и участвует в «искусной эксплуатации», совершающейся при посредстве книгопечатания, телеграфов, железных дорог и других «явлений прогресса». Фальшивое положение, в котором находится автор «Войны и мира», «Анны Карениной» (не он один, конечно), немыслимо для Лукашек и Илюшек, а это, конечно, должно гарантировать этим грубым и невежественным людям некоторое превосходство над блестящим и тонкоразвитым писателем. С другой стороны, превосходство над ними гр. Толстого тоже не может подлежать сомнению. В чем же дело? Нам ответит сам гр. Толстой словами, сказанными им по отношению к детям, но, очевидно, справедливыми и относительно Лукашек и Илюшек.

Воспитывая, образовывая, развивая или как хотите действуя на ребенка, мы должны иметь и имеем бессо-

знательно одну цель: достигнуть наибольшей гармонии в смысле правды, красоты и добра. Если бы время не шло, если бы ребенок не жил всеми своими сторонами, мы бы спокойно могли достигнуть этой гармонии, добавляя там, где нам кажется недостаточным, и убавляя там, где нам кажется лишним. Но ребенок живет, каждая сторона его существа стремится к развитию, перегоняя одна другую, и большею частью *самое движение вперед этих сторон его существа мы принимаем за цель и содействуем только развитию, а не гармонии развития...* Большею частью воспитатели выпускают из виду, что детский возраст есть первообраз гармонии, и развитие ребенка, которое независимо идет по неизменным законам, принимают за цель... Воспитатели как будто об одном только стараются, как бы не прекратился процесс развития, и если думают о гармонии, то всегда стараются достигнуть ее, приближаясь к неизвестному для нас первообразу в будущем, удаляясь от первообраза в настоящем и прошедшем. Как бы ни неправильно было развитие ребенка, всегда еще остаются в нем первобытные черты гармонии. Еще умеряя, по крайней мере не содействуя развитию, можно надеяться получить хоть некоторое приближение к правильности и гармонии. Но мы так уверены в себе, так мечтательно преданы ложному идеалу взрослого совершенства, так нетерпеливы мы к близким нам неправильностям и так твердо уверены в своей силе исправить их, так мало умеем понимать и ценить первобытную красоту ребенка, что мы скорей, как можно скорей раздуваем, залепляем кидающиеся нам в глаза неправильности, исправляем, воспитываем ребенка... *Идеал наш сзади, а не спереди* (курсив гр. Толстого)... Учить и воспитывать ребенка нельзя и бессмысленно по той простой причине, что ребенок стоит ближе меня, ближе каждого взрослого к тому идеалу гармонии правды, красоты и добра, до которого я в своей гордости хочу возвести его. Сознание этого идеала лежит в нем сильнее, чем во мне. Ему нужен от меня только материал для того, чтобы пополняться гармонически и всесторонне (т. IV, 250).

В этом рассуждении есть очень важный недосмотр, значительно колеблющий все рассуждение, именно недосмотр закона наследственности. Гр. Толстой полагает, что слово Руссо, — человек родится совершенным, —

«есть великое слово и, как камень, останется твердым и истинным». К сожалению, это совсем не верно. Камень давно рассыпался, ибо сын сифилитика родится не совершенным, а сифилитиком, сын идиота имеет много шансов сделаться не совершенством, а слабоумным, сын дряблого барича — не совершенством, а дряблым баричем и проч. Однако известная доля истины все-таки заключается в рассуждении гр. Толстого, потому что сын, например, дряблого барича все-таки имеет возможность развиться правильнее, «гармоничнее» своего отца, и дисгармония его физических и духовных сил не имеет такого резкого, законченного характера, как у взрослого. Я, впрочем, не на это хочу обратить внимание читателя. Пусть он подставит в приведенном рассуждении вместо «взрослого» человека — человека цивилизованного, члена «общества», хоть самого гр. Толстого, а вместо ребенка — народ, и он получит очень точное понятие о воззрениях гр. Толстого на отношение цивилизованных людей к Лукашкам и Илюшкам. Лукашка и Илюшка сравнительно с нами — люди отсталые. Но для гр. Толстого и в этом отношении идеал не впереди нас, а сзади. Г. Марков или иной какой-нибудь яснолобый либерал сочтет себя, конечно, вправе по этому случаю патетически загоготать: так вот куда нас приглашают эти друзья народа! они предлагают нам обратиться в забубенных Лукашек, вместо того чтобы этим самым Лукашкам дать питательную и вкусную духовную пищу! Под маской любви к народу они желают оставить его в состоянии, мало чем отличающемся от состояния дикарей! Но поздно спохватились, господа! Народ сам понимает, что ему нужен свет, и не поддастся на эту удочку! И проч., и проч., и проч., листов приблизительно на пять печатных с площадными остротами и патетическими завываниями. Но все это яснолобый либерал прогогочет совершенно втуне. Втуне пропотеет он над отшлифовкой своего пафоса и остроумия, ибо, несмотря на высокий стиль и благородное, хотя и деланное негодование, все его фразы далеко не стоят истраченной им бумаги, исписанных им чернил и притупленных перьев. Гр. Толстой очень хорошо понимает, что возврата к состоянию Лукашек и Илюшек для нас, людей цивилизованных, нет. Оттого-то он и гонит Оленина из казачьей станицы и не дает душевного покоя Нехлюдову и, без сомнения, благополуч-

но женит Константина Левина на Кити Щербацкой. Понимает гр. Толстой и нежелательность возврата к Лукашкам, даже если бы возврат этот был возможен. Но из этого не следует, чтоб было полезно и справедливо начинять Лукашек и Илюшек тою цивилизацией, которою начинены яснолобые либералы, ибо света не только что в окошке, его довольно много разлито во вселенной. Знает же гр. Толстой, что из ребенка непременно выйдет взрослый человек, но из этого не следует, чтоб ребенок должен был обратиться именно в таких взрослых людей, как, например, г. Марков или г. Цветков. Лукашка и Илюшка составляют для гр. Толстого идеал не в смысле предела, его же не прейдеши, не в смысле высокой *степени* развития, а в смысле высокого *типа* развития, не имевшего до сих пор возможности подняться на высшую ступень. Цель воспитания, говорит гр. Толстой, должна состоять не в развитии, а в гармонии развития. Это справедливо не только относительно воспитания. В обществе и литературе то и дело раздаются требования развития, например, нашей азиатской торговли, или железной промышленности, или сельского хозяйства в России; в любой педагогической книжке слово «развитие» повторяется чуть не чаще, чем буква ъ; один очень тупой актер доказывал как-то при мне, что актрисы женщины неразвитые; я очень хорошо помню, как в шестидесятых годах меня развивали и как я сам развивал других, — тогда это было в большой моде; Писарев доказывал, что Шекспир неразвит, потому что верит в привидения, и что Щедрин неразвит, потому что не занимается популяризацией естественных наук, и проч., и проч., и проч.[34] Во всех этих случаях говорится о развитии как о чем-то вполне ясном и себе довлеющем. Между тем трудно найти понятие, менее определенное и самостоятельное. Я вполне согласен с г. Полетикой и другими заводчиками, что железная промышленность наша должна развиться, я согласен и с гр. Орловым-Давыдовым, что наше сельское хозяйство подлежит развитию. Но наше согласие немедленно прекращается, как только я узнаю *тип* развития, предлагаемый этими учеными людьми. Я говорю: пусть лучше наша железная промышленность, наше сельское хозяйство остаются до поры до времени на низкой степени развития, чем им развиваться дальше, сильнее, но по английскому типу.

Если бы я, профан, публиковал свои собственные идеалы развития сельского хозяйства и железной промышленности, то гг. Полетика и Орлов-Давыдов в свою очередь объявили бы, что *такого* развития они не хотят. Точно так же когда говорят: этот человек неразвит или малоразвит, надо ему помочь развиться, то фраза эта получает определенное содержание только по объяснении предлагаемого типа развития. Конечно, выражение гр. Толстого «гармоническое развитие» тоже требует пояснения. Но он его и дает. Относительно Лукашек и Илюшек он с особенною силою и очень часто упирает на то, что эти люди «сами удовлетворяют своим человеческим потребностям». Из совокупности его воззрений следует заключить, что в этом-то и состоит идеал, находящийся сзади нас. Дайте этому типу подняться на высшую ступень, но не подменивайте его иным типом развития на том только основании, что этот иной тип развит высоко. Так рассуждает гр. Толстой, и я думаю, что воззрения его оправдываются и наукою и справедливостью. Гармоническим развитием наука — и физическая и нравственная, может назвать только полное, разностороннее и равномерное развитие всех сил и способностей. Если же я не сам удовлетворяю своим потребностям, как Лукашка и Илюшка удовлетворяют своим, а пользуюсь чужими услугами, то, значит, некоторые мои силы остаются без работы и гармония моей жизни нарушена, я — человек исковерканный, хотя бы некоторые другие мои силы получили колоссальное развитие. Поэтому гр. Толстой совершенно прав, утверждая, что идеал наш — позади нас. Пусть трудно осуществить его в настоящем и будущем, потому что работа жизни становится все многосложнее и, следовательно, все труднее сохранить или восстановить гармонию сил. Но идеал все-таки поставлен, возможно приближение к нему, которое и есть истинный путь прогресса. У нас, напротив, прогрессом называется вся совокупность отклонений от этого пути.

Итак, гр. Толстой завидует чистоте совести и гармоническому развитию Лукашек и Илюшек. Но он не может завидовать скудости их понятий, многим печальным сторонам их образа жизни, их грубости. Напротив, он желал бы от души поднять их на высшую ступень развития. В силу совершающейся в его душе драмы он

должен считать это даже своей обязанностью. Но может ли он, могут ли цивилизованные люди вообще это сделать? и если могут, то как следует приняться за дело? Гр. Толстой, очевидно, мучительно, болезненно занят этим вопросом. Есть что-то лихорадочное в его приемах, — он то дает одно решение, то берет его назад, то опять к нему возвращается, то боится вмешательства цивилизованных людей, то призывает его, то удаляется в будуары Карениных и Курагиных и старается отыскать в этом мире хоть что-нибудь «гармоническое», то топчет этот мир. Эта лихорадка умственной работы тем поразительнее, что совершается под покровом наружного спокойствия, которое принято называть объективизмом. Лихорадка эта вполне понятна. Ведь все мы люди изломанные, искалеченные, все мы — либо жалкие и наивные эгоисты, воображающие, что наши радости и горести суть радости и горести целого народа, даже всего человечества, либо, как гр. Толстой, чувствуем себя виноватыми и мучимся завистью к чему-то такому, что нам решительно недоступно, что для нас даже и не вполне, не в своем эмпирическом, наличном виде желательно. Против нас стоит мир грубости и невежества, в котором, однако, есть задатки такой красоты, такой правды, такого добра, которые при благоприятных условиях должны затмить нас совсем, да и теперь уже отчасти затмевают. И в этот-то мир, для его-то блага мы должны что-то большое и важное внести, мы-то, виноватые и искалеченные! Должны, потому что нам говорит это совесть, но можем ли? Не напортим ли мы только? Не лучше ли предоставить дело на волю божию, как говорили в старину в судебных решениях?

Тут вытягивается шуйца гр. Толстого. Критика наша достаточно говорила о неприязненном отношении гр. Толстого к историческим лицам, пытающимся действовать на свой страх, по своему крайнему разумению — неприязненном отношении, доходящем до ненависти и презрения, и о его пристрастии к людям смирным и недеятельным, сознающим себя слабыми орудиями целесообразного хода истории. Мне было очень смешно читать «Критический фельетон» в № 5 «Дела», где автор с комическою серьезностью уверяет, что он впервые разоблачает с этой стороны «Войну и мир» [35]. Я не вижу никакой надобности повторять то, что было говорено так

много раз в разных журналах и газетах. Я прибавлю только то, чего наша критика не договорила. Если бы мне пришлось трактовать о философской подкладке «Войны и мира», я бы опровергал ее не от своего имени, а от имени гр. Толстого, заимствуя возражения отчасти из его педагогических статей, а отчасти из «Войны и мира» же. Я бы не стал, например, разбирать, насколько основательно приписывать какой-нибудь разумной, целесообразной силе такую нелепую и недостойную комедию, как кровавое движение народов сначала с запада на восток, а потом с востока на запад. Допустим, что все доводы гр. Толстого в пользу разумности и целесообразности всех подробностей этого измолотившего сотни тысяч человеческих жизней движения — вполне резонны. Но ведь это движение туда и обратно заняло в истории всего несколько лет. Движение европейской цивилизации совершается уже много веков, а гр. Толстой, как мы видели в прошлый раз, превосходно доказал, что это движение нецелесообразно и неразумно, что с ним следует бороться. Если бы каким-нибудь непонятным чудом *один* кровавый эпизод этого многовекового движения и оказался вдруг разумным и целесообразным, то перед таким явлением следует только вложить палец удивления в рот изумления. Стараться же его постигнуть было бы совсем напрасным трудом. Не стал бы я тоже обсуждать уверения гр. Толстого, что Наполеон, Александр, Кутузов были те именно люди, какие только и могли быть выставлены историческими условиями. Я бы просто припомнил кое-что из того, что гр. Толстой говорил г. Маркову в статье «Прогресс и определение образования». Например: «очень, может быть, забавно рассуждать вкривь и вкось о тех исторических условиях, которые заставили Руссо выразиться именно в той форме, в какой он выразился». Или: «историческое воззрение может породить много занимательных разговоров, когда делать нечего, и объяснить то, что всем известно», и т. п. Такая очная ставка гр. Толстого с гр. Толстым же была бы в том отношении полезна, что навела бы на необходимость объяснить эти противоречия. Что умный человек заблуждается, в этом еще нет ничего особенно поразительного: не заблуждаются только не рассуждающие. Но что умный человек так резко противоречит себе, это заслуживает большого внимания, по-

тому что причины, толкающие его к противоречиям, должны непременно быть очень серьезны и очень поучительны. Как уже сказано, для меня все эти причины сводятся к столкновению потребностей гр. Толстого с его сознанием. Подтвердить, однако, эту мысль анализом «Войны и мира» я не берусь. Это потребовало бы слишком много времени и слишком большого труда. К счастью, у гр. Толстого есть одна небольшая, но высокохудожественная повесть, содержащая в сжатом виде все нужные для меня элементы. К счастью, также наша критика, сколько мне по крайней мере известно, не занималась ею. Значит, я не рискую надоесть читателю. Повесть эта называется «Поликушка», напечатана она в III томе сочинений гр. Толстого.

Дворовый Поликей — человек добрый и вообще недурной, но слабый. В числе его слабостей есть страстишка к воровству, которую он приобрел на конном заводе от конюшего, первого вора по всему околотку. Любит он тоже выпить. Последний его подвиг состоял в том, что он в барской конторе украл дрянные стенные часы. Барыня, женщина нервная, чувствительная и бестолковая, «стала его урезонивать, говорила, говорила, причитала, причитала, и о боге, и о добродетели, и о будущей жизни, и о жене, и о детях, и довела его до слез. Барыня сказала:

— Я тебя прощаю, только обещай ты мне никогда вперед этого не делать.

— Век не буду! Провалиться мне, разорвись моя утроба! — говорил Поликей и трогательно плакал. Поликей пришел домой и дома, как теленок, ревел целый день и на печи лежал. С тех пор ни разу ничего не было замечено за Поликеем».

Однако репутация вора ему много вредила, и, когда пришло время рекрутского набора, на него все указывали. Надо было сдавать троих. Относительно двоих из них не было никаких колебаний ни у барыни, ни у мира. Третьим староста предлагал барыне или Поликея, или из семьи Дутлова, старого и не бедного мужика, у которого было два сына и племянник. Староста желал выгородить Дутловых и сдать Поликушку. Барыня жалела и Дутловых, но горой стояла за Поликея. «Одно только скажу тебе, — говорила она, — что Поликея я ни за что не отдам. Когда после этого дела с часами он сам при-

знался мне и плакал и клялся, что он исправится, я долго говорила с ним и видела, что он тронут и искренно раскаивается. («Ну, понесла!» — подумал староста.) С тех пор вот семь месяцев, а он ни разу пьян не был и вел себя прекрасно. Мне его жена говорила, что он другой человек стал. И как же ты хочешь, чтобы я теперь наказала его, когда он исправился? Да и разве это не бесчеловечно отдать человека, у которого пять человек детей и он один? Нет, ты мне лучше не говори про это, Егор». Порешили на Дутловых, и жребий выпал племяннику. Между тем, еще во время разговора со старостой, у бестолковой барыни блеснула блажная мысль послать Поликея в город получить порядочные деньги, «три полтысячи рублев» (на ассигнации), как потом с гордостью говорил Поликушка. Она не думала, разумеется, что рискует, искушая человека; она была вполне уверена, что деньги будут привезены сполна, ибо знание человеческого сердца подсказало ей, что ее красноречие окончательно обратило вора и пьяницу на путь истины. Она, кажется, в своем приказании только и руководствуется, что желанием обнаружить свою силу и проницательность. Сцены тревоги семьи Поликея, когда его позвали к барыне (как думали в первую минуту, для сообщения вести о рекрутчине), и сборов Поликея в дорогу я передавать не стану, как потому, что они мне здесь не нужны, так и потому, что их пришлось бы выписывать целиком, чтобы оценить их мастерство и правдивость. В особенности поразительна жена Поликея, в которой сначала нет, кажется, ничего, кроме отчаяния, а потом, когда Поликей принес известие об удивительном приказании барыни, радость и гордость борются с тревожным опасением, что Поликей не выдержит искуса. Нам нужно отметить только одну подробность: шапка у Поликея оказалась столь безобразно рваная, что надо было ее чинить; жена засовала внутрь выбившиеся из-под покрышки хлопки и зашила кое-как дыру. Поликей, наконец, едет, гордый, счастливый и с твердым решением исполнить поручение свято. И действительно, он благополучно миновал все кабаки и полпивные, получил деньги и поехал домой, приятно мечтая о благодарности и уважении, которые его там ждут. Конверт с деньгами он для верности положил в шапку и, пока не заснул в тележке, неоднократно ощупывал конверт и засовывал

его глубже в шапку. Одно из этих движений погубило его. «Плис на шапке был гнилой, — поясняет рассказчик, — и *именно потому, что накануне Акулина старательно зашила его в прорванном месте, он разлезался с другого конца, и именно то движение, которым Поликей, сняв шапку, думал в темноте засовать глубже под хлопки письмо с деньгами, это самое движение распороло шапку и высунуло конверт одним углом из-под плису*». Словом, Поликей вернулся без денег и повесился. Жена его мыла ребят в ту минуту, когда узнала об этом. Она бросилась к повесившемуся, и в это время один из ребят захлебнулся и умер. Этого уже не могла вытерпеть многострадальная женщина и сошла с ума, причем барыня еще раз блистательно обнаружила свою чувствительность и бестолковость. Я рассказываю, так сказать, бегом, и несчастия семьи Поликушки, сбитые в кучу, могут показаться несколько аляповатыми. Но кто читал или прочтет «Поликушку» в подлиннике, тот этого не скажет. Дело этим не кончается. Старик Дутлов, сдав в городе своего племянника, на обратном пути нашел потерянный Поликеем конверт с деньгами, представил его чувствительной и бестолковой барыне и получил от нее все «три полтысячи» в подарок. «Пускай возьмет все, — нетерпеливо говорила барыня горничной. — Что ты меня не понимаешь? Эти деньги несчастные, никогда не говори мне про них. Пускай возьмет себе этот мужик, что нашел. Иди, ну иди же!» Часть этих денег счастливый Дутлов (тоже мастерская фигура: прижимистый старик, смесь хитрости с искренностью, простоты с торжественностью, типичный великорусский мужик) употребил на наем охотника за своего племянника. Вот как, значит, иногда неожиданно разыгрываются житейские драмы. Цивилизованный человек, чувствительная и бестолковая барыня, самоуверенно решила, что имеет достаточно и ума, и власти, и житейского опыта для того, чтобы облагодетельствовать и даже окружить некоторым почетом семью Поликушки. Вмешательство ее определило также идти в рекруты Дутлову. Но комбинация разных мелких обстоятельств, вроде починенной шапки и нахождения денег именно Дутловым, комбинация, не лишенная, вероятно, некоторой разумности и целесообразности, перевернула все вверх дном. То именно, что гордый, но слабый разум как чувствительной барыни,

так и Поликея и жены его, старался направить к счастию Поликушки, обрушилось страшною тяжестью на всю его семью и раздавило ее. А Дутлову, напротив, выпал самый счастливый билет лотереи.

Если смотреть на «Поликушку» как на анекдот, то есть как на рассказ об единичном, необыкновенном, исключительном, не подлежащем какому-нибудь обобщению случае, то можно, конечно, только сказать: да, очень странное стечение обстоятельств. Но широкий, преимущественно склонный к обобщениям ум гр. Толстого не годится для анекдотов: он их никогда не писал и, я думаю, не будет писать. Совсем у него иначе голова устроена. И в «Поликушке» следует видеть отражение некоторых задушевных общих понятий автора. С точки зрения господствующих о гр. Толстом мнений дело объясняется очень просто: недоверие к человеческому разуму, неспособному понять цели провидения, гордо помышляющему о своих собственных целях и терпящему в конце концов полное поражение. Это — так. Я знаю, что гр. Толстой имеет такие воззрения, я знаю, что в этом направлении он может унизиться (в философском отношении) даже до такой фразы: «не случайно, а целесообразно окружила природа земледельца земледельческими условиями, а горожанина — городскими» (т. IV, 21). Но я не могу только отметить поразительное явление и затем пройти мимо. Я с величайшим недоумением останавливаюсь перед ним и спрашиваю себя: как мог сказать такую плоскость такой человек, как гр. Толстой, который так отчетливо, так глубоко понимает неразумность и нецелесообразность исторического хода событий и так страстно и настойчиво борется с ним, ища при этом опоры в своем разуме и ставя перед собой свои особенные цели? Мне кажется, что я нашел ответ, который и предлагаю читателю. Скажу, однако, что если бы гипотеза, построенная мною для объяснения литературной деятельности гр. Толстого, оказалась даже несостоятельною, но если мне удастся сообщить при этом читателю хоть часть того интереса, который возбуждает во мне этот писатель, так я и тем буду доволен. Потому что он глубоко поучителен даже в своих многочисленных противоречиях. Мне кажется, что корень несчастий, обрушившихся на семью Поликея, заключается для гр. Толстого в чувствительной и бестолковой барыне, в

цивилизованном человеке, слабом и исковерканном, но самоуверенно вмешивающемся в жизнь народа. Наблюдение, чисто теоретические соображения и чувство совести и ответственности привели его к другому заключению: цивилизованный человек обязан действовать, и действовать в известном направлении. Из этого последнего заключения проистекает вся десница гр. Толстого, смелость его мысли, благородство стремлений, энергия деятельности. Но эта нитка ежеминутно грозит оборваться на соображениях о негодности цивилизованного человека: вот и самого гр. Толстого все тянет к миру дамских будуаров. Мысль трусит, стремления замирают, энергия слабеет, и вся надежда возлагается на какое-то туманное целесообразное начало, которое без нас и наперекор нам устроит все по-своему. В этот же психический момент совершаются и другие явления. О пристрастии гр. Толстого к семейному началу наша критика тоже говорила так много, что мне нужно только договорить не договоренное ею. Доводы гр. Толстого в пользу преобладающего, всепоглощающего значения семейного начала, доходящие до апофеоза «сильной и плодовитой самки» Наташи Безуховой (в «Войне и мире» есть прямо логические доводы, кроме логики образов), очень удобно опровергаются, как и некоторые его философско-исторические взгляды, его же собственными соображениями. Я, впрочем, не стану этим заниматься и обращу внимание читателя на следующее любопытное обстоятельство. Замечательно, что, вводя читателей в мир крестьянский, народный, гр. Толстой не предается преувеличенной идеализации семейного начала и даже совсем этой стороны жизни не касается. Этим умолчанием, если его поставить рядом с гимнами «сильной и плодовитой самке» в цивилизованном быту (и чем выше общественный слой, тем сильнее автор поет этот гимн), гр. Толстой как будто говорит: обитателям салонов и будуаров надо бросить мысль о какой бы то ни было политической и общественной деятельности, она им не по плечу; если есть у них семья, так это — лучшее, что у них есть; вне этой сферы они могут только вредить; народ — другое дело. Кроме того, пропаганда всепоглощающего семейного начала в цивилизованном быту представляет гр. Толстому некоторую точку опоры, некоторое оправдание его экскурсиям в мир салонов и бу-

дуаров. Нужно же найти что-нибудь хорошее там, куда его помимо его воли так тянет его шуйца; нужно же противопоставить что-нибудь этим Курагиным и Облонским, Карениным и Вронским. Но где лежит центр тяжести их жизни? Что их больше всего занимает? Разрушение семейного начала. Значит, и противопоставить им можно только семейное начало.

Повторяю, все это гипотеза. Но без нее гр. Толстой для меня — неразрешимая загадка. И если читатель ее примет, то поймет, конечно, что в вопросе о народном образовании, который состоит, собственно, в том, как и что мы, цивилизованные люди, должны и можем передать народу, что в этом вопросе гр. Толстой не мог обойтись без противоречий.

IV

Терпимость резко отличает гр. Толстого от других наших педагогов. Он не делает себе из того или другого способа обучения грамоте любимого конька и не ездит на нем с тем комическим видом Георгия Победоносца, образцом которого мы любовались в статье «Семьи и школы», составленной «по Миропольскому». Гр. Толстой полагает, что все существующие способы обучения грамоте имеют свои достоинства и свои недостатки, что все они могут и должны применяться, смотря по обстоятельствам, то есть смотря по особенностям учеников и учителей. Если гр. Толстой и смеется иногда над тем или другим способом, то только потому, что ему, этому способу, придается кем-либо из педагогов значение всевластного кумира. Тут гр. Толстой сходится, можно сказать, со всеми педагогами — теоретиками и практиками, от Ушинского до какого-нибудь дьячка с «азами», но также и расходится со всеми ими в том смысле, что не творит себе кумира. Терпимость эта не идет, однако, далее обучения грамоте. За этой первой ступенью образования начинается уже полный разлад между гр. Толстым и другими педагогами. Разлад этот находится в ближайшей связи с другой чертой, еще резче выделяющей гр. Толстого из среды наших педагогов.

Г. Евтушевский принимал в прошлом году деятельное участие в устройстве семейных или домашних, не

помню названия, школ, предназначенных для детей известного класса общества — среднего или выше среднего достатка. Вопрос об этих школах разрабатывался, помнится, и в «Семье и школе». С год тому назад барон Корф публиковал в газетах об устроенной им где-то в Швейцарии школе, опять-таки, конечно, для людей среднего и выше среднего достатка. Ввиду детей этого класса пропагандируются и фребелевские сады [36]. Вообще, если вы проследите теоретическую и практическую деятельность наших известнейших педагогов, то есть посмотрите, где и кому они дают уроки, для кого пишут статьи и книги, об чем беседуют в педагогическом обществе, то увидите, что они много, очень много работают для «общества». Гр. Толстой, напротив, как общественный деятель, то есть поскольку его деятельность подлежит нашему суждению, очень мало интересуется образованием и воспитанием высших классов общества. Если ему случалось писать, например, об университетском образовании или о значении классического образования (которое он, мимоходом сказать, решительно отрицает), то только к слову, для разъяснения некоторых теоретических вопросов, поставленных им ради удобнейшего разрешения коренного для него вопроса, — вопроса об образовании народном. Этим сопоставлением я отнюдь не думаю бросить какую-нибудь тень на педагогов: наши дети не менее детей народа нуждаются в образовании. Я только констатирую факт. Факт этот чреват чрезвычайно важными последствиями. Педагог, привыкший к атмосфере семейств среднего и выше среднего достатка и казенных или частных учебных заведений, обеспеченных казенным содержанием или крупной платой учеников, естественно приходит к мысли об образовании идеальном. Как ни неудовлетворительны в разных отношениях наличные учебные заведения и семейная обстановка достаточных людей, но тут имеются большие, часто громадные материальные средства; поэтому педагогу может, хотя слабо, мерцать приятная мысль дать своим ученикам такое образование, которое он считает наилучшим, наиболее соответствующим, как у нас выражаются, «последнему слову науки». Это совершенно в порядке вещей. Но совершенно в порядке вещей и диаметрально противоположный взгляд гр. Толстого. По отношению к народному образованию он считает просто бессмыслен-

ным вопрос: как дать наилучшее образование? Чтобы видеть, что это вопрос действительно бессмысленный, надо взять какой-нибудь резкий пример наилучшего образования. Я, например, полагаю, что наилучшая программа образования дана контовой классификацией наук,[37] и, если бы у меня имелись материальные средства и другие благоприятные условия, я обучал бы своих детей сперва математике (в известной последовательности ее подразделений), потом астрономии, затем физике, химии, биологии и, наконец, наукам общественным. Большее или меньшее приближение к этой программе возможно для людей по средствам, это — «наилучшее образование» (то есть одно из наилучших, потому что другие могут выставить другие программы), но как его дашь народу?

Конечно, если бы вопрос стоял так просто и резко, так ребром, то не могло бы быть никаких пререканий между гр. Толстым и педагогами. Было бы ясно, что они толкуют о совершенно разных вещах. Но дело выходит гораздо сложнее. Педагоги вносят в народное образование привычки мысли, выработанные в совсем иной сфере, но с первого же шага наталкиваются на практическую необходимость сбавить кое-что с требований «последнего слова науки». С другой стороны, и гр. Толстой имеет, как и всякий человек, свои идеалы «наилучшего образования» и не может не желать поднятия уровня требований народа и условий его жизни до этих идеалов. Разница до сих пор выходит, значит, все-таки как будто только количественная. Но она получает характер очень ясного качественного различия, как только вы вглядитесь в отношения обеих спорящих сторон к народу и к идеалам наилучшего образования. Педагоги вполне уверены в безусловных достоинствах своих идеалов и вместе с тем смотрят на народ как на грубую, глупую и невежественную толпу. Применяясь к этой грубости, глупости и невежеству, они делают известные урезки в своих идеалах и, например, вместо ряда наук в известной последовательности предлагают народу какую-то педагогическую окрошку, составленную из бессвязных обрывков разнообразнейших знаний, или низводят наглядное обучение, представляющееся им последним словом науки, до уровня вопросов о полете лошади и количестве ног у ученика. Выходит, и волки сыты, и овцы целы: и

идеалы наилучшего образования сохранены, и сделано снисхождение к глупости мужика. Гр. Толстой находится в ином положении. Не идеализируя мужика, не отрицая ни его грубости, ни его невежества, он видит в нем задатки громадной духовной силы, которой нужно только дать толчок. К идеалам же наилучшего образования, как и вообще к идеалам «общества» цивилизованных людей, он относится, напротив, крайне скептически. На основании изложенных мною воззрений гр. Толстого можно было бы уже a priori * сказать, что он должен отрицательно относиться к деятельности наших педагогов: это ведь только частный случай столкновения «общества» с народом. И надо правду сказать, что трудно было бы найти область мысли и деятельности, по отношению к которой скептицизм гр. Толстого был бы законнее. Благодаря стечению благоприятных для господ педагогов обстоятельств они пользовались до сих пор каким-то странным succés de silence **. Родители и разные казенные и общественные учреждения раскупали их книжки в громадном для России количестве экземпляров; земства различных губерний вызывали их для устройства учительских съездов и чтения лекций; многие из них стяжали себе титул «нашего известного педагога» и проч. Мне известны, правда, случаи разочарования земства в выписанном им из Петербурга патентованном педагоге, а также случаи разочарования родителей в периодических и непериодических педагогических изданиях. Но все подобные недовольства и разочарования как-то мало всплывали наружу, отчасти, может быть, по свойственной русскому человеку привычке к долготерпению и молчанию, отчасти из боязни осрамиться сомнением в ореоле научности и степенности, втихомолку, но прочно окружившем головы «наших известных педагогов». Бывает это, что в обществе появляется человек с репутацией скромности, приличия, степенности, и все привыкают его видеть, и никто не решается заговорить об его нескромностях и неприличиях, и все, бог знает почему, точно условились, смотрят сквозь пальцы на его поведение. Так было и с педагогами, пока гр. Толстой не вторгся с своей критикой. Благодаря его инициативе профаны —

---

* заранее *(лат.)*.— *Ред.*
** тихим успехом *(франц.)*.— *Ред.*

кто старательнее и смелее, а кто (как я, грешный) и впервые — заглянули в творения наших известных педагогов, прислушались к их изустным прениям и увидели, что за внешним обликом учености, за терминологиями, классификациями и перечислениями Шольцев и Шмальцев[38] скрывается нечто микроскопически малое.

Но обратимся к гр. Толстому. В народе лежат задатки громадной духовной силы, которые нуждаются только в толчке. Толчок этот может быть дан только нами, представителями «общества», больше ему неоткуда взяться, а мы даже обязаны его дать. Но он должен быть дан с крайнею осторожностью, чтобы как-нибудь не затоптать или не испортить лежащих в народе зачатков сил, а это тем возможнее, что сами мы — люди помятые, более или менее искалеченные, дорожащие разным вздором. Как же быть? Никогда уму человеческому не представлялся вопрос более важный и тревожный. Он находится в ближайшей связи с вопросами, волнующими мыслящих людей и рабочие массы в Европе. Гр. Толстой, как мы видели, полагает, что, если русский мужик будет прогрессом промышленности и сельского хозяйства согнан с земли, взамен которой ему будет предложена заработная плата, как фабричному или сельскому рабочему, то, как бы ни была высока эта плата, мужик будет обобран; обобрано будет его будущее, он будет лишен экономической самостоятельности. С точки зрения гр. Толстого, вполне разделяемой и мною, такие же опасности для народа предстоят и на пути прогресса образования. Опасности здесь даже больше, потому что не так бросаются в глаза. Тернистый путь промышленного прогресса, его обоюдоострый характер изучен, можно сказать, вполне, и только тупоумие, рутина и своекорыстие отворачиваются на этом пункте от горьких истин. Не то с прогрессом образования. Всякий *способен* понять, что заработная плата, как бы она ни была высока, есть *часть* дохода, даваемого тем или другим производством, а доход с крестьянского земельного надела, как бы он ни был мал и обременен платежами, есть целый доход. Но обыкновенно говорят, что лучше большая часть, чем малое целое, а потому, дескать, показателем роста народного богатства должна быть признана высота заработной платы, а не количество земельных собст-

венников. Это не то что неверное решение вопроса, а неправильная его постановка. Порядок, при котором большинство населения живет заработною платою, и порядок, при котором это большинство состоит из самостоятельных хозяев, принадлежат не к различным *ступеням,* а к различным *типам* развития. Поэтому здесь и сравнивать надо типы развития. Известный тип развития может быть выше другого и все-таки стоять на низшей ступени. Например, имея в виду *степени экономического развития* Англии и России, всякий должен будет отдать преимущество первой. Но это не помешает мне признать Англию низшим (в экономическом отношении) *типом* развития. Это различение типов и ступеней развития весьма важно и могло бы, если бы постоянно имелось в виду, избавить нас от множества недоразумений и бесплодных пререканий. Я прошу читателя приложить его к приведенному ужс мною в прошлый раз утверждению гр. Толстого, что песня «О Ваньке-клюшничке» и напев «Вниз по матушке по Волге» выше любого стихотворения Пушкина и симфонии Бетховена. Без сомнения, в «Ваньке-клюшничке» и «Вниз по матушке по Волге» нет той тонкости и разнообразия отделки, нет даже той *односторонней* глубины мысли и чувства, какими блестят Пушкин и Бетховен, они ниже последних в смысле ступеней развития, но они принадлежат к высшему *типу* развития, находящемуся пока на низкой ступени, но могущему иметь *свой* прогресс. Эту *возможность* развития, более широкого и глубокого, чем каким вы обладаете сами, вы отнимете, если вам удастся подсунуть народу Пушкина вместо «Ваньки-клюшничка» и Бетховена вместо «Вниз по матушке по Волге», вы оберете мужика в духовном отношении, прямо сказать ограбите его. Ограбите даже в том случае, если вам удастся всучить мужику именно такие свои перлы и адаманты, как Пушкин и Бетховен. Но вернее предположить, что народ получит не их, а что-нибудь вроде «последнего слова куплетистики», как рекламировался недавно в газетах какой-то сборник французско-нижегородских каскадных шансонеток.

Я не знаю, хорошо ли я излагаю мысли гр. Толстого, и, не без гордости прибавляю мои, уже не первый год мною развиваемые. Но я рассчитываю на читателя, на его искреннее и серьезное отношение к делу, которое

исправит недостатки моего изложения. Я, впрочем, стараюсь быть как можно понятнее, точнее и хватаюсь с этой целью за всевозможные средства. С тою же целью я сделаю теперь небольшое отступление к вышедшему в прошлом году замечательному труду г. Владимирского-Буданова «Государство и народное образование в России XVIII века»[39]. Я не могу согласиться со многими воззрениями почтенного автора, например с его пристрастно-враждебным отношением к Петру I, об чем, впрочем, говорить не буду, так как это завлекло бы меня слишком далеко. Я не могу, к сожалению, исчерпать даже все те стороны исследования г. Владимирского-Буданова, которые находятся в ближайшей связи с вопросами, поднятыми в обществе статьей гр. Толстого. Главное достоинство труда г. Владимирского-Буданова состоит в том, что он не изолирует вопроса о народном образовании, не отрывает его от сопредельных с ним общественных вопросов. Мы к этому совсем не приучены. У нас рассуждают о звуковом методе, о фребелевских садах, о классическом и реальном образовании и проч. почти исключительно отвлеченно, без отношения к той среде, в которой должны будут действовать звуковой или иной метод обучения грамоте, фребелевские сады и классическое и реальное образование. Такие рассуждения, без сомнения, могут иметь свою цену, но, слыша их, я всегда припоминаю один любопытный исторический пример: одни и те же общие теоретические начала отразились во Франции — первой революцией, а в Германии — прусско-государственной философией Гегеля. Это от того зависело, что эти общие теоретические начала встретили в Германии одну комбинацию общественных сил, а во Франции — совершенно другую, а потому и преломились там и тут в диаметрально противоположном виде. Из этого не следует, разумеется, что отвлеченные рассуждения о том или другом факторе общественной и государственной жизни должны быть совсем исключены из нашего умственного обихода. Напротив, они вполне уместны, пока мы не выходим из области теории; временное выделение одного какого-нибудь фактора из всей совокупности жизненных явлений может в этом случае составить даже превосходный научный прием. Но в вопросах практических необходимо должны быть приняты во внимание те силы и те сочетания сил, с которыми исследуемый

фактор столкнется в действительности. В этом именно отношении ценно произведение г. Владимирского-Буданова, которое я беру на себя смелость рекомендовать особенному вниманию наших педагогов и из которого они извлекут несравненно больше пользы себе и обществу, чем из всех Шольцев и Шмальцев вместе. Разве не поучителен в самом деле для наших гордых педагогов хоть такой пример? Известный Янкович де Мириево представил Екатерине проект народного образования, заслуживший одобрение. До тех пор народное образование было в руках дьячков и велось крайне плохо. С принятием проекта Янковича де Мириево частным лицам воспрещено было производить обучение, если они наперед не изучали нового метода в главном народном училище и не получили установленного свидетельства о дозволении открыть школу из приказа общественного призрения, которому были подчинены все народные школы губернии. Метод и объем обучения, рекомендованные Янковичем де Мириево, а равно и соответственные книги, изданные для народных училищ, представляли тоже «последнее слово науки» того времени и были, относительно говоря, ничем не хуже приемов современной педагогии. Но мужик был уже и тогда груб и невежествен. Он до такой степени упорно отдавал своих детей по-старому дьячкам, что правительство, несмотря на все свое могущество, должно было пойти на сделки. Через несколько лет по открытии нежинского училища смотритель его и городничий получили ордер, начинавшийся так: «Высочайшая воля есть, чтобы юношество обучаемо было по вновь изданным книгам, и на тот конец заведены народные училища с немалым от казны содержанием. Хотя взяты были дети от дьячков и приведены в училище, но пробыли там один день, а потом более месяца никто не являлся. Причиною тому дьячки, кои обучают по старому методу; родители же почитают в том только науку, что дети их в церквах читать могут псалтирь». Затем, рядом с некоторыми репрессивными мерами, ордер предписывал понедельник, вторник и среду до обеда посвящать учению в училище по новым методам, а среду после обеда, четверг, пятницу и субботу отдать на съедение дьячкам! О сильном противодействии приходских школ новым свидетельствует и другой документ, относящийся к новгород-северской школе: «Нельзя

оставить без примечания, что и сие полезнейшее заведение (народное училище), как и всякое другое, имеет упрямого себе соперника — закоренелый обычай: многим и теперь кажется еще, что прежнее трудное и для нежных нервов тягостное букв название удобнее теперешнего и что с старого букваря и часовника обучать детей легче, нежели из книг, изданных для народных училищ». Вот, господа педагоги! Сто лет тому назад ваши предшественники отскакивали с своим последним словом науки от народа, как от стены горох. Прошло сто лет, а вы все еще имеете право жаловаться, что «многим кажется еще (!), что прежнее трудное и для нежных нервов тягостное букв название удобнее теперешнего и что с старого букваря и часовника обучать детей легче, нежели из книг, изданных для народных училищ». Положим, народ груб, глуп и невежествен, но возьмите же хоть часть вины на себя. Прислушайтесь хоть к голосу историка народного образования в России XVIII века, которого изучение предмета привело к такому заключению: «Каково бы ни было достоинство (этого) образования, все же остается верным, что степень сочувствия масс к известным явлениям социального характера должна быть необходимо принимаема меркою для оценки пригодности административных мер».

Для ближайшей цели этой главы моих записок важнее, однако, другая сторона исследования г. Владимирского-Буданова, именно его взгляды на отношение различных форм народного образования к сословным делениям общества. «Несомненно, — говорит автор, — что роскошный цвет образования классических народов есть результат социального строя их, основанного на рабском труде, что блестящие, хотя и бесплодные лепестки средневекового образования, при крайнем невежестве масс запада Европы, есть один из результатов феодальной власти владельцев над сельским населением и промышленной торговой монополии городских общин; чем выше неравенство экономических условий, тем выше неравенство образования на обоих крайних пределах общества, то есть тем оно более блестяще вверху, тем оно ничтожнее внизу. Мало-помалу этот печальный факт стремится перейти в юридическую норму: владеющие классы стремятся утвердить мысль, что низшие слои населения *не должны* приобретать образование, что оно в руках

неимущего есть огонь в руках дитяти». Таково влияние резко сословного строя общества на судьбы народного образования. Но и формы образования в свою очередь влияют на сословный строй общества. Сюда-то и относятся любопытнейшие страницы исследования г. Владимирского-Буданова. Он полагает, что в допетровском обществе влияние сословного строя на распределение степеней образования было весьма ничтожно. Образование, на всех своих ступенях, было в те времена свободное и всесословное и, что особенно важно, не профессиональное, а общее. Принципом образования была «людскость» (Humanität), а не потребности той или другой сословно-профессиональной группы. Это относится не только к элементарному образованию, которое по самой сущности своей не может быть профессиональным (и потому при господстве профессиональной системы просто не имеет места). Правительство и из высшего образования не делало орудия сословий. «Образование, как цель правительственных забот, есть «мудрость», то есть *высшее общее образование,* которое по схеме Крыжанича и привилегии московской академии состоит в полном развитии человеческих сил и способностей, в том, что составляет «едино на потребу», к которому все приложится. Зная, что источник благосостояния церковного и государственного есть мудрость, «ни о чесом же, говорит правительство, тако тщание сотворяем, якоже о изобретении премудрости, с нею же вся благая от бога людем дарствуются». Ни к какой другой сторонней цели государство не направляет этой мудрости; она сама себе составляет цель и высочайшую, чистейшую задачу государства. Средствами для достижения этой мудрости правительство признает следующую систему наук: «благоволим храмы чином академии устроити и во оных хощем семена мудрости, то есть науки гражданские и духовные, наченше от грамматики, пиитики, риторики, диалектики и философии разумительной, естественной и нравной, даже до богословии, учащей вещей божественных и совести очищения постановити». Крыжанич уясняет эту систему; по его схеме знание (scientia) разделяется на духовное и мирское; первое есть богословие; второе состоит из трех составных частей: наук прикладных («механики»), математики и философии. Последняя (согласно с привилегией московской академии) опреде-

ляется как логика, физика и этика. Первая заключает в себе всю филологическую часть человеческого ведения (грамматику, риторику с пиитикой и диалектику). Вторая («философия естественная») заключает все науки естественные. Третья («философия нравная») заключает в себе юридические, экономические и социальные науки, венец которых составляет политика — «царственная мудрость» (IV).

Петру и его преемникам предстояло или идти по тому же пути, только улучшая и расширяя его, то есть снабжая элементарные, приходские школы лучшими учителями, расширяя и уясняя программы среднего и высшего образования и т. д., или, напротив, сойти с этого пути, замкнув образование в известные сословно-профессиональные рамки. Правительство избрало второй выход. Г. Владимирский-Буданов полагает, что «русские сословия, преимущественно же дворянское и духовное, одолжены своею организацией главным образом узаконениям о профессиональном образовании». Два принципа господствуют в нашем законодательстве XVIII века: 1) всякий должен учиться тому, что составляет профессию его отца, 2) отсюда само собою следует, что никто сторонний не может быть допущен к этой профессии. Наисильнейшее приложение принципы эти получили к профессии духовенства, результатом чего и было образование резко обособленного духовного сословия. Г. Владимирский-Буданов, естественно, отдает значительную долю своего исследования этому резкому примеру, подтверждающему его воззрения на влияние образования на сословный строй. Однако он с большим тщанием следит и за другими проявлениями того же принципа. Не говоря уже о дворянстве, которому системою профессионального образования была предоставлена высшая военная и гражданская служба, и о сословии «подьячих», читатель найдет в книге много примеров регламентирования законодательством в сословном смысле даже отдельных частных видов военной и гражданской службы. Так, например, велено было «детей, оставшихся после умерших в службе докторов, штаб-лекарей, подлекарей, аптекарей и прочих аптекарских служителей, не определять на службу ни в какие другие команды, но только в ведомство медицинской канцелярии, где отцы их служили». Дети горнослужащих обучались в горных школах;

дети военных мастеровых обучались так, чтобы «потом могли быть добрыми мастеровыми», дети ладожской команды получали образование в особой, специальной школе, состоявшей при Ладожском канале. Если же дети людей известной профессии оказывались к ней неспособными, то их все-таки стремились удержать как-нибудь вблизи от нее. Например, солдатские дети обучались в гарнизонных школах и предназначались в военную службу. В случае же неспособности, велено их было обучать мастерствам слесарному, кузнечному, столярному, портному «и прочим художествам, какие при армии и полках потребны и по воинскому штату определены». Неспособных детей духовного сословия рекомендовалось обучать иконописному мастерству. Я привожу эти мелкие примеры потому, что в них направление законодательства отразилось яснее, чем в узаконениях, например, о профессиональном образовании дворянства. Таким образом, «людскость», «полное развитие человеческих сил и способностей» перестали существовать как цели образования. Правительство имело в виду исключительно нужды государства, которые приурочило к сословным целям и интересам. Когда вследствие этого профессиональная система получила преобладающее, исключительное значение, образование элементарное оказалось «не в авантаже», во-первых уже потому, что оно есть образование общее, а во-вторых потому, что им должны были пользоваться низшие классы общества, ни к какой специальной государственной службе не приспособленные.

Некоторые достойные внимания поправки к исторической части исследования г. Владимирского-Буданова читатель найдет в рецензии г. Андреевского, напечатанной в I томе «Сборника государственных знаний» [40]. Я совершенно уклоняюсь от беседы об этой стороне воззрений автора и обращаю внимание читателя только на его социологические выводы.

«Человеческая мысль и нравственная деятельность, — говорит автор,— не призваны к исключительному служению государству» (236). И в другом месте: «Профессии, всегда склонные к наследственности, могут не переходить в сословия только при том единственном условии, если выбор их совершается в летах сравнительно зрелых, после предварительного общего образования. Только

общее образование может уяснить для человека его специальные способности и определить его свободную волю в ту или другую сторону практической деятельности. В нем та сила, которая освобождает человека от условий, данных ему извне его происхождением и положением. Поэтому всякому может показаться весьма странным, что тот самый XVIII век, который принес нам образование, был вместе с тем эпохою развития сословий. Секрет разрешается тем, что правительство начала XVIII века не имеет вовсе в виду общего (человеческого, гуманного) образования. Целью его мер по народному образованию было не образование, а государственная служба» (142). При этом следует, однако, заметить, что, по сознанию самого автора, сословия уже существовали в допетровской Руси; не Петр, а XVIII век, так сказать, обострил их. Но, повторяю, конкретные исторические факты, трактуемые г. Владимирским-Будановым, я оставляю совсем в стороне и смотрю только на их общее социологическое значение. Бывают, значит, случаи, когда прогресс образования идет бок о бок с прогрессом общественных неравенств. Очевидно, что явление это возможно и помимо усиленной деятельности законодательства, направленной исключительно в сторону сословно-профессионального образования. Такая деятельность законодательства может усилить и ускорить движение, которое, однако, вполне мыслимо без нее. Сам г. Владимирский-Буданов указывает (141) на организацию у нас городского сословия, «которое несомненно представляет полный образец строгого сословного учреждения, а между тем нимало не подверглось влиянию законов о народном образовании». Он объясняет это тем, что «только так называемые *духовные* (geistliche по немецкой терминологии) профессии удобно переходят в сословия под влиянием законов об изучении и приобретении профессий. Экономические же профессии могут перейти в сословия совершенно независимо от законов об обучении, в силу стремления к корпоративности, присущего самому духу всякой экономической деятельности». К этому следует еще, может быть, прибавить, что резкую границу между «духовными» и «экономическими» профессиями провести очень трудно. Как бы то ни было, посмотрим, что происходит в обществе или государстве, в котором, по каким бы то ни было причинам, господствует сословное начало образования. Мы видим здесь

самую яркую картину борьбы за индивидуальность *. Победа первоначально должна принадлежать высшей индивидуальности — государству. Оно совершенно подчиняет себе, поглощает отдельные единицы. Оно говорит: мне нужны офицеры, солдаты, плотники, священники, подьячие как простые, несамостоятельные органы моей жизни; с этой целью я обращаю все эти профессии в наследственные, ибо ряд поколений, воспитанных, например, в школе Ладожского канала, будет наилучше исполнять то, что, по моим задачам, должно быть на Ладожском канале исполнено. Но по мере того, как этим путем растут и крепнут сословия и сословийца, победа в значительной степени переходит на их сторону. *Они* уже своею борьбою направляют жизнь государства в ту или другую сторону. Государство (так везде было) в известный момент своего развития стремится побороть, поглотить сословия и сословийца разными средствами и, между прочим, изменением системы образования, которое становится всесословным и общедоступным (поскольку это во власти законодательства). Борьба ведется с переменным счастием, склоняясь то на одну, то на другую сторону, а пока паны дерутся, у хохлов чубы болят: низшая индивидуальность, личность в чистом и прямом смысле слова, — человек — в духовном отношении скудеет. Он, правда, развивается, может быть даже весьма сильно и быстро, но все условия его жизни толкают его, как выразился бы гр. Толстой, только к развитию, удаляя от *гармонии развития*. Начало наследственности медицинской профессии положено указами Анны Иоанновны. Представим себе, что план этот получил бы дальнейшее прочное развитие, что способные дети медиков, аптекарей и пр. в целом ряду поколений обучались бы медицине, а малоспособные, как это практиковалось относительно других профессий, пристраивались бы к толчению разных снадобий в аптекарских ступках, к закупориванию склянок, наклеиванию ярлыков и пр., и пр. Медицина при этом порядке едва ли прогрессировала бы, но корпорация, сословие медиков пользовалось бы, вероятно, весьма важным значением и весом в государстве. Однако это значение приобреталось бы на счет «гармонии развития» личностей, составляющих корпорацию. По всей вероятности, те специальные силы и способности, ко-

* См. «Сочинения», т. III, гл. VI, и т. V [41].

торые требуются медицинской профессией, получили бы в этом ряду поколений весьма высокое развитие. Но все-таки были бы в духовном отношении искалечены не только тот малоспособный (к медицине, что не мешало бы ему быть гениальным математиком, поэтом, историком, философом) мальчик, который осужден завязывать до седых волос аптекарские склянки, но даже и наиболее видные члены корпорации. Ибо в них, разумеется, не было бы «полного развития человеческих сил и способностей», об котором мечтал Крыжанич, или, что то же, гармонии развития, на которой настаивает гр. Толстой. Точно так же был бы нравственно искалечен первый, лучший ученик школы ладожской команды, искалечена была бы его будущность, возможность для него полного и всестороннего раскрытия его духовных сил.

До сих пор читатель, без сомнения, со мной согласен, потому что примеры взяты у меня резкие и простые. Но попробуйте мысленно постепенно расширять пределы профессий медиков и ладожской команды. Эти сословийца сложились бы, если бы сложились, совершенно таким же путем и дали бы такие же результаты, как и сословия в общепринятом смысле слова — дворянство, купечество. Разница тут не качественная, а количественная, почему г. Владимирский-Буданов и имеет право рассматривать те и другие вместе. Он настаивает на том, что сословия везде, по крайней мере в значительную долю времени своего развития, имеют характер профессиональных корпораций. Для убеждения в этом, говорит он, достаточно одних названий древних каст Востока и сословий классического и средневекового мира: жрецы, воины, купцы, земледельцы, дедалиды, халкиды, гоплеты, эгикореи, аргадеи, milites и т. д. Так что общие принципы, несомненные для наследственных медиков или наследственных чинов ладожской команды, должны быть верны и по отношению к наследственным жрецам, наследственным воинам и пр. Корпоративность, профессия, наследственность и призвание со стороны государства — вот, по мнению г. Владимирского-Буданова, главные признаки сословий, очевидно одинаково приложимые и к ладожской команде и к каким-нибудь жрецам, воинам и пр. Поэтому, как это на первый взгляд ни странно, но должно признать, что процесс истории, обобравший духовную природу чинов ладожской команды, обобрал и

духовную природу каких-нибудь жрецов или воинов. А впрочем, здесь даже и на первый взгляд нет ничего странного. Не ясно ли, что древний воин, с своей односторонне развитою храбростью, драчливостью, жестокостью, грубостью, весьма далек от гармонии развития? Не ясно ли, что некоторые его способности получили колоссальное развитие в ущерб другим духовным его силам? И не имеем ли мы поэтому права называть его духовную природу если не обобранною, то по крайней мере извращенною? Без сомнения, в новейшее время сословия дышат не таким спертым воздухом, как древние касты. В особенности это должно сказать о так называемом третьем сословии в Европе и о средней руки дворянстве у нас. Однако в большей или меньшей степени они все-таки остаются сословиями. Спрашивается теперь, каково должно быть миросозерцание человека, более или менее сдавленного гранями сословия или какого-нибудь из его разветвлений? Очевидно, это миросозерцание будет не совсем правильное, потому что одностороннее. Оно может быть даже совсем исковерканным. Геккель рассказывает (в generelle Morphologie) [42], к каким результатам привели его занятия гимнастикой. Верхняя часть моей руки, говорит он, до тех пор остававшаяся почти без всякого упражнения, сделалась в каких-нибудь полтора года почти вдвое толще; это громадное развитие мускулов и связанное с ним упражнение представлений воли произвели сильное обратное действие на другие мои представления, а этому, в связи с другими причинами, я обязан тем, что господствовавшие во мне дотоле дуалистические и телеологические заблуждения сменились идеей единства и причинной связи явлений. Этот рассказ знаменитого ученого я не потому привел, что считаю его очень убедительным. Напротив, он произвел на меня несколько комическое впечатление. Но в основании его лежит, я полагаю, несомненная истина. Несомненно по крайней мере то, что миросозерцание людей, у которых в целом ряду поколений «представления воли остаются почти без упражнения», вообще говоря, должно иметь свой специальный характер. Это я говорю о миросозерцании вообще, а тем справедливее это относительно той части миросозерцания, которая ведает понятиями о явлениях общественной жизни. Несомненно также, что миросозерцание это, во-

обще говоря, должно быть тем у́же, чем замкнутее и обособленнее соответствующие слои общества. Г. Владимирский-Буданов указывает на презрение к труду и узко утилитарные понятия русских дворян как на результаты профессиональной системы образования. Я думаю, что явления эти выработались задолго до XVIII века и, следовательно, профессиональной системы образования. Но это все равно. Так или иначе, а это выражения нравственной скудости, обусловленной сословным строем. Их можно бы было привести не одно и не два. Подобные черты нравственной скудости могут быть иногда очень тонки и неуловимы, тем более что они часто тонут в односторонней духовной роскоши. Они могут быть особенно неуловимы теперь, когда сословия все более и более развертываются для сил, прибывающих со стороны, и расплываются в общем понятии цивилизации. Однако черты эти все-таки существуют. У нас, например, часто называют Пушкина общечеловеческим поэтом. Это замечательно неверно. Пушкин есть поэт по преимуществу дворянский, и потому его способен принять близко к сердцу и образованный немец, и образованный француз, и средней руки русский дворянин. Но ни русский купец, ни русский мужик ему большой цены не дадут. Тот круг идей и чувств, который волновал современного ему *среднего* дворянина, Пушкин исчерпал вполне и блистательно. Можно удивляться тонкости его анализа, законченности образов, можно, пожалуй, любоваться, как глубоко залезает он иногда в дворянскую душу, можно, наконец, восхищаться красотою его выражений и стиха, но все это возможно только нам, образованным людям, «обществу». Допустим, что он блистательно разработал все мотивы нашей жизни, чего, однако, допустить нельзя, но он разработал мотивы только *нашей* жизни, жизни известного специального слоя общества, на котором свет не клином сошелся и который не без пятен, потому что ведь и на солнце есть пятна.

Спрашивается, имеем ли мы право думать, что облагодетельствуем народ, привив ему Пушкина и другие наши перлы? Странный вопрос! Разве это не перлы, и разве может идти в какое-нибудь сравнение с ними то, чем пробавляется в своей темной доле народ! Да, очень странный вопрос. Его-то и задает себе так часто гр. Тол-

стой и отвечает отрицательно: нет, не облагодетельствуем. И всякий должен будет сознаться, если только постарается отрешиться хоть временно от привычных понятий, что гр. Толстой глубоко прав. Надо заметить, что народ никогда не был сословием. Он платил подати и периодически выделял из себя единицы для пополнения рядов армии, но никакой дальнейшей специализации в пользу высшей индивидуальности не подлежал, никакой корпорации не составлял и профессиональному образованию не подвергался. Он всегда «сам удовлетворял всем своим человеческим потребностям», тогда как система сословий в том именно и состоит, что потребности одних удовлетворяются другими. Без сомнения, сословная система отразилась и на народе весьма сильно, но при этом его духовная жизнь просто осталась на низшей ступени развития, а не подвергалась развитию одностороннему. Поэтому-то вопрос о народном образовании так сложен и щекотлив. Мы можем здесь идти по двум, совершенно несходным путям: мы можем или просто поднять развитие народа на высшую ступень, не нарушая его гармонии, то есть облегчая расцвет его духовных сил, или, объявив все, чем он живет теперь, дрянью и глупостью, привить ему свои перлы и адаманты. Гр. Толстой решительно избирает первый путь. И весьма любопытно следить, как он в своей педагогической деятельности на каждом шагу допрашивает себя и других: сообщая народу то-то и то-то, не помнем ли мы чего-нибудь из будущих всходов, чего-нибудь, может быть, очень дорогого и высокого? Говорят о самоуверенности графа Толстого, о надменной категоричности тона его рассуждений о народном образовании. Это мнение решительно ни на чем не основано. Напротив, он скорее слишком осторожный и щепетильный скептик. Состояние его духа, как оно сквозит во всех его статьях, напоминает человека, который несет какой-нибудь очень дорогой, тяжелый и ломкий сосуд и тревожно и зорко осматривается, как бы ему не оступиться. Как бы он ни пересаливал в этом отношении, это несравненно лучше, чем развязность гг. Бунаковых, Миропольских, Медниковых и пр., которые — беру аналогическое сравнение — носятся, как бойкие ярославские половые в московских трактирах. Такой половой все свое достоинство полагает в том, чтобы нести чайный прибор с совершенно свое-

образным шиком, чтобы чашки и чайники франтовито дребезжали на подносе, чтобы плечи и руки самого полового ходуном ходили. И то, впрочем, сказать: он не бог знает какой севрский фарфор несет, — и разобьется, так не беда.

Что же мы дадим народу? воспитание? Этого гр. Толстой пуще всего боится.

«Так называемая наука педагогики, — говорит он, — занимается только воспитанием и смотрит на образовывающегося человека как на существо, совершенно подчиненное воспитателю. Только через его посредство образовывающийся получает образовательные или воспитательные впечатления, будут ли эти впечатления: книги, рассказы, требования, запоминания, художественные или телесные упражнения. Весь внешний мир допускается к воздействию на ученика только настолько, насколько воспитатель находит это удобным. Воспитатель старается окружить своего питомца непроницаемою стеной от влияния мира и только сквозь свою научную школьно-воспитательную воронку пропускает то, что считает полезным. Я не говорю о том, что делалось или делается у так называемых отсталых людей, я не воюю с ветряными мельницами, я говорю о том, как понимается и прилагается воспитание у так называемых лучших передовых воспитателей. Везде влияние жизни отстранено от забот педагога, везде школа обстроена кругом китайскою стеной книжной мудрости, сквозь которую пропускается жизненное образовательное влияние только настолько, насколько это нравится воспитателям. Влияние жизни не признается. Так смотрит наука педагогика, потому что признает за собой право знать, что нужно для образования наилучшего человека, и считает возможным устранить от воспитанника всякое вневоспитательное влияние; так поступает и практика воспитания» (т. IV, 120). «Воспитание есть воздействие одного человека на другого, с целью заставить воспитываемого усвоить известные нравственные привычки. Мы говорим: они его воспитали лицемером, разбойником или добрым человеком, спартанцы воспитывали мужественных людей, французы воспитывают односторонних и самодовольных» (128). «Воспитание есть принудительное, насильственное воздействие одного лица на другое, с целью образовать такого человека, который нам кажется хо-

рошим». «Воспитание есть возведенное в принцип стремление к нравственному деспотизму. Воспитание есть, я не скажу, выражение дурной стороны человеческой природы, но явление, доказывающее неразвитость мысли и потому не могущее быть положенным в основание разумной человеческой деятельности — науки. *Воспитание есть стремление одного человека сделать другого таким же, каков он сам. (Стремление бедного отнять богатство у богатого, чувство зависти старого при взгляде на свежую и сильную молодость, — чувство зависти, возведенное в принцип и теорию.) Я убежден, что воспитатель только потому может с таким жаром заниматься воспитанием ребенка, что в основе этого стремления лежит зависть к чистоте ребенка и желание сделать его похожим на себя, то есть больше испорченным»* (124).

Подчеркнутые мною строки особенно характерны для гр. Толстого как педагога, как мыслителя и, наконец, как общественного деятеля. Строки эти взяты из крайне любопытной статьи «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» Статья не отвечает на поставленный в заглавии вопрос, потому что из нее следует вывести только то заключение, что у нас крестьянским ребятам учиться нечему, а мы у них учиться не можем. Дело идет о беллетристических опытах учеников яснополянской школы. Я прямо приведу наиболее поразительное, наиболее способное смутить читателя место статьи: «На другой день я еще не верил тому, что испытал вчера. Мне казалось столь странным, что крестьянский полуграмотный мальчик вдруг проявляет такую сознательную силу художника, какой *на всей своей необъятной высоте развития не может достичь Гете.* Мне казалось столь странным, что я, автор «Детства», заслуживший некоторый успех и признание художественного таланта от русской образованной публики, что я в деле художества не только не могу указать или помочь 11-ти летнему Семке или Федьке, а что едва-едва — и то только в счастливую минуту раздражения — в состоянии следить за ними и понимать их» (227). Я читал по крайней мере один из этих рассказов (хорошенько не припомню) — «Солдаткино житье». Рассказ этот был напечатан в «Ясной Поляне» и потом перепечатан не помню где, в «Азбуке» гр. Толстого или в отдельной книжке, содержавшей несколько таких рассказов [43]. Читал я его уже

предупрежденный статьей гр. Толстого и, признаюсь, все-таки не нашел в нем тех красот, которые видит гр. Толстой. Весьма может быть, что это зависит от слабости или испорченности моего эстетического чутья. Теоретически, по соображению с подходящими фактами других сфер мысли и жизни, я могу, однако, понять возможность указываемого гр. Толстым явления, то есть возможность художественного превосходства Федьки над Гете, несмотря на «необъятную высоту развития» последнего. Могу я это понять потому, что не смешиваю ступеней развития с типами развития. Без сомнения, Федьке «Фауста» не написать и не понять; не понять ему больного, измученного существа Фауста, бросающегося с вершины ненасытимой жажды познания в омут чувственных наслаждений, из которого ему удается выплыть только в аллегорическом виде. Для этого надо самому до известной степени быть Фаустом, самому много переболеть. А какой же Федька — Фауст? Он просто здоровый физически и душевно крестьянский мальчишка. Фауст после длинного ряда похождений, вдоволь намучившись сам и намучивши других, примиряется с жизнью на почве непосредственной практической пользы: он, как известно, в конце концов занимается осушением морского берега. Но этот конец жизни Фауста наступает для Федьки, как только он подрастет. Чуть у него силенки прибавилось, он уже и занимается чем-нибудь вроде осушения морского берега, минуя весь тот круг неудовлетворимых желаний и извращенных чувств, который Фауст проходит только затем, чтобы убедиться в неудовлетворимости своих желаний и извращенности своих чувств. Результат получается довольно странный. Выходит, что как-никак, а высокоразвитый Фауст имеет все резоны завидовать Федьке, которому совсем даром достается чуть не в утробе матери то самое, чего он, высокоразвитый человек, добивается уже стоя одной ногой в гробу. А между тем Фауст — несомненно высокоразвитый человек, а Федька — конечно, человек неразвитый. Кто же из них выше? Когда сравнивают питательность или удобоваримость говядины и свинины, то не спрашивают: что питательнее — фунт говядины или десять фунтов свинины? Это вопрос бессмысленный. Десять фунтов свинины, конечно, содержат в себе больше питательного материала, чем один фунт говядины, но

это все-таки не решает вопроса о питательности того и другого мяса. Надо взять равные количества говядины и свинины. Так и тут. Фауст давит своим развитием Федьку, но это еще ровно ничего не значит. Дайте Федьке возможность подняться на высшую ступень *своего типа* развития, и тогда сравнивайте. А так как возможности этой налицо нет, то можно сравнивать Фауста и Федьку не как ступени развития, а только как типы. А тип развития Федьки должно признать высшим хотя бы уже потому, что Фауст имеет все причины завидовать ему, гармонии его развития, не дающей места тем противоречиям, неудовлетворимым желаниям и извращенным чувствам, которыми полна душа Фауста. Это, без сомнения, должно отразиться и на литературных произведениях Фауста (или Гете) и Федьки. Гр. Толстой говорит о господствующем в произведениях Семки и Федьки чувстве меры, которое он справедливо считает существеннейшим условием художественного произведения. Это чувство меры, очевидно, совершенно не зависит от *высоты* развития. Высокоразвитый Фауст может обладать им в несравненно меньшей степени, чем Федька или Семка, именно потому, что он очень высоко развит в известном одностороннем, более или менее извращенном направлении, а односторонность и чувство меры — понятия враждебные. Представим себе теперь, что Фауст или Гете, или хоть гр. Толстой (большинство мыслящих цивилизованных людей — немножко Фаусты, оттого-то «Фауст» и есть величайшее произведение Гете) займутся воспитанием Федьки или Семки. Если воспитание есть действительно результат желания сделать другого человека себе подобным, то Фауст, конечно, исковеркает Федьку: он заставит его пройти множество совершенно ненужных, но мучительных стадий своего развития. До какой степени гр. Толстой зорко вглядывается в эту грозящую Федькам и Семкам при столкновении их с цивилизованным человеком опасность, это видно из той же статьи «Кому у кого учиться писать». Автор так описывает свое душевное состояние в те минуты, когда он убедился, что Федька — замечательный талант: «Я не могу передать того чувства волнения, радости, страха и почти раскаяния, которые я испытывал в продолжение этого вечера. Я чувствовал, что с этого дня для него раскрылся новый мир наслаждений и страданий — мир

искусства; мне казалось, что я подсмотрел то, чего никто никогда не имеет права видеть — зарождение таинственного цветка поэзии. Мне и страшно и радостно было, как искателю клада, который бы увидал цвет папоротника; радостно мне было потому, что вдруг совершенно неожиданно открылся мне тот философский камень, которого я тщетно искал два года — искусство учить выражению мыслей; страшно потому, что это искусство вызывало новые требования, целый мир желаний, несоответственный среде, в которой жили ученики, как мне казалось в первую минуту» (223). Через две страницы те же мысли повторяются с еще большею силой: «Я оставил урок, потому что был слишком взволнован. «Что с вами? Отчего вы так бледны, вы, верно, нездоровы?» — спросил меня мой товарищ. Действительно, я два-три раза в жизни испытывал столь сильное впечатление, как в этот вечер, и долго не мог дать себе отчета в том, что я испытывал. Мне смутно казалось, что я преступно подсмотрел в стеклянный улей работу пчел, закрытую для взора смертного; мне казалось, что я развратил чистую, первобытную душу крестьянского ребенка. Я смутно чувствовал в себе раскаяние в каком-то святотатстве. Мне вспоминались дети, которых праздные и развратные старики заставляют ломаться и представлять сладострастные картины для разжигания своего усталого, истасканного воображения, и вместе с тем мне было радостно, как радостно должно быть человеку, увидавшему то, чего никто не видал прежде его...»

В этой страстной тираде отразился весь гр. Толстой со всеми своими противоречиями, со всею своею любовью к народу, со всеми своими надеждами и опасениями.

Итак, гр. Толстой решительно отрицает право образованных, цивилизованных людей воспитывать народ. Он совершенно вычеркивает воспитание из задач педагогии, и центр тяжести этого отрицания составляет опасение примять и извратить будущность народа, тот расцвет его сил, который пока лежит только im Werden, в возможности. К этому центру сходятся все его аргументы. Другое дело — образование; его гр. Толстой требует. Образование есть для него совокупность всех жизненных и школьных влияний, «которые развивают человека, дают ему более обширное миросозерцание, дают ему новые сведения» (IV, 122). Воспитание, по гр. Толстому,

составляет часть образования, именно принудительную часть, причем под принуждением разумеется не столько прямое, физическое или полицейское насилие, сколько исключительный, соображенный только с желаниями учителя выбор сообщаемых сведений и приемов передачи.

Народ желает учиться, «общество» желает его учить, а толку все-таки никакого не выходит, народ остается невежественным, необразованным не только у нас, а и в Европе, где на образовании народа сосредоточено и больше усилий и больше материальных средств. Это явление побуждает гр. Толстого пересмотреть основания того образования, которое предлагается народу. Какие это в самом деле основания? Какие имеет основания школа нашего времени учить тому, а не этому; учить так, а не иначе? «Китайского мандарина, не выезжавшего из Пекина, можно заставлять заучивать изречения Конфуция и палками вбивать в детей эти изречения. Можно было делать это и в средние века, *но где же взять в наше время ту силу веры в несомненность своего знания, которая бы могла нам дать право насильно образовывать народ?* Возьмите какую угодно средневековую школу до или после Лютера, возьмите всю ученую литературу средних веков, — какая сила веры и твердо несомненного знания того, что истинно и что ложно, видна в этих людях! Им легко было знать, что греческий язык есть единственное необходимое условие образования, потому что на этом языке был Аристотель, в истине положений которого никто не усомнился несколько веков после. Как было монахам не требовать изучения священного писания, стоявшего на незыблемом основании. Хорошо было Лютеру требовать непременного изучения еврейского языка, когда он твердо знал, что на этом языке сам бог открыл истину людям. Понятно, что, когда критический смысл человечества еще не пробуждался, школа должна была быть догматическая» (IV, 8). Надо заметить, что «пробуждение критического смысла» имеет в устах гр. Толстого совершенно особенное значение. Это не только возникновение сомнений в известных вековых понятиях о явлениях природы, но и возникновение сомнений в справедливости известных явлений жизни общества, возникновение того чувства ответственности, которым так полон сам гр. Толстой

и отсутствие которого в Анне Карениной так охотно берет под свою защиту один из пещерных критиков гр. Толстого («Анна Каренина, во-первых — барыня, во-вторых, будучи барыней, она не сознает в этом обстоятельстве никакой вины с своей стороны и не желает выйти из своего привилегированного положения». «Русский вестник», № 5) [44]. Из этого чувства ответственности вытекает, как мы видели, обязанность помочь обездоленным выбраться на свет божий. Но чувство ответственности до такой степени сильно в гр. Толстом и законность его до такой степени ясно представляется его уму, что он не может допустить, чтобы всякий имел право нести народу в виде образования без разбора все, что только у него есть за душой. Гр. Толстой и себе не дает этого права. Мы видели, как тревожно и пугливо отнесся он к факту разбуженной им в Федьке творческой силы. Он как будто говорит: положим, некоторые понятия представляются мне несомненно истинными, и для моего домашнего обихода они годятся, удовлетворяют меня; но эта несомненность тонет в моем чувстве ответственности; откуда мне взять *такую* силу веры в несомненность своего знания, которая могла бы мне дать право насильно образовывать народ?

Слишком великим делом представляется гр. Толстому народное образование, слишком важным и ответственным, чтобы удовольствоваться обыкновенными гарантиями истинности наших понятий. Истина — это ведь только случай равновесия между потребностью познания и окружающим познаваемым миром. Она изменяется с изменением познающего субъекта и, следовательно, существенно обусловливается всей социальной обстановкой познающих. Вопрос, следовательно, и с этой стороны сводится на социальную почву, что придает новое значение постоянно присутствующему на умственных счетах гр. Толстого опасению дать народу, как он говорит, камень вместо куска хлеба. С этим же опасением в голове приступает он и к пересмотру оснований принудительного образования или воспитания, или замыкания ученика в круг сведений и понятий, который представляется правильным учителю. Основания эти могут быть, по его мнению, подведены под четыре отдела: религиозные, философские, опытные и исторические. Это деление предложено им в статье «О народном образова-

нии» (IV, 5—38). В статье «Воспитание и образование» предлагаются несколько отличные рубрики, но об них потом.

Что касается до образования, имеющего своею основою религию, то гр. Толстой признает за ним, и только за ним, право принуждения. Такое выделение религиозного образования, очевидно, вполне законно, потому что религия имеет дело с предметами веры, а не познания, земные цели подчиняет спасению души и все личные усилия разработать ее догматы отрицает. Но, замечает гр. Толстой, «в наше время, когда образование религиозное составляет только малую часть образования, вопрос о том, какое имеет основание школа принуждать молодое поколение учиться известным образом — остается нерешенным». В статье «Отечественных записок», по поводу которой г. Марков столь либерально сваливает в одну кучу г. Цветкова и гр. Толстого, последний выражается еще определеннее: «Теперь всеми признано, и совершенно справедливо, по моему мнению, что религия не может служить ни содержанием, ни указанием метода образования и что образование имеет своим основанием другие требования».

Затем идут основания философские. Все основатели философских систем более или менее касались задач педагогии и приводили их в связь с своими общими философскими воззрениями. Но при этом задачи педагогии оказываются столь же много- и разнообразными, как и философские системы. Эти разнообразные системы не только сменяют друг друга во времени, но зачастую существовали и существуют бок о бок, не поборая друг друга. Поэтому, даже не рассматривая их, a priori можно сказать, что по крайней мере большинство их не представляет достаточных гарантий правильности выведенных из них педагогических теорий. «Проследив ход истории философии педагогики, вы найдете в ней не критериум образования, но, напротив, одну общую мысль, бессознательно лежащую в основании всех педагогов, несмотря на их частое между собою разногласие, мысль, убеждающую нас в отсутствии этого критериума. Все они, начиная от Платона и до Канта, стремятся к одному — освободить школу от исторических уз, тяготеющих над нею, хотят угадать то, что нужно человеку, и на этих более или менее верно угаданных потребно-

стях строят свою новую школу. Лютер заставляет учить в подлиннике священное писание, а не по комментариям святых отцов. Бэкон заставляет изучать природу из самой природы, а не из книг Аристотеля. Руссо хочет учить жизни из жизни, как он ее понимает, а не из прежде бывших опытов. Каждый шаг философии педагогии вперед состоит только в том, чтобы освобождать школу от мысли обучения молодых поколений тому, что старые поколения считали наукою, к мысли обучения тому, что лежит в потребностях молодых поколений. Одна эта общая и вместе с тем противоречащая себе мысль чувствуется во всей истории педагогики; общая, потому что все требуют большей меры свободы школ, противоречащая, потому что каждый предписывает законы, основанные на своей теории, и тем самым стесняет свободу».

Основания опытные. Может быть, принудительное образование * может сослаться на опыт, показать блестящие результаты, которых оно достигло? Но где же эти блестящие результаты? Конечно, в Европе. Гр. Тол-

---

* Я прошу читателя помнить, что это не то, что у нас называется обязательным обучением. Принудительное образование народа есть замыкание его духовного развития в круг сведений и понятий, избранный по личному вкусу учителя, или общества, или правительства. Что касается до обязательного обучения, которое гр. Толстой вскользь, мимоходом также отрицает, то об нем теперь у нас разговора нет. Замечу только следующее. Обязательное обучение отрицается многими, я полагаю, только потому, что оно налагает на общество обязанность учить (гр. Толстой, конечно, не принадлежит к числу этих многих). Кроме того, следует заметить, что при всей непривлекательности насилия в деле образования (насилия прямого, полицейского) нельзя особенно негодовать против него там, где оно не составляет явления исключительного. Мне пришлось однажды присутствовать при поразительной картине учета волостного старшины. Поразительно здесь было сочетание *обязанности* выборных учитывать плута и даже двух плутов (старшины и писаря) с полнейшею беспомощностью. Я никогда не забуду этой сцены, а это, конечно, еще мелочь. Если бы возможно было снять с народа обязанность платить подати, обязанность нести военную службу и все другие многочисленные обязанности, то обязательное обучение было бы возмутительным и бессмысленным насилием. Теперь же об нем этого сказать нельзя. Я знаю, что гр. Толстой со мной не согласится. Но защита обязательного обучения может и не противоречить отрицанию принудительного образования, как его понимает гр. Толстой. Составьте только для обязательного обучения программу не по своему личному вкусу, а возможно подходящую к требованиям народа. Если дело обойдется при этом без насилия, тем лучше.

стой ссылается на свои личные наблюдения, свидетельствующие, что таких блестящих результатов там нет. Но важнейший из аргументов состоит в том, что новой народной литературы в Европе нет и что десятое поколение нужно так же насильно посылать в школу, как и первое.

Основания исторические. «Существующие школы выработались историческим путем, историческим же путем должны вырабатываться дальше и видоизменяться сообразно требованиям общества и времени; чем дальше мы живем, тем школы делаются лучше и лучше». Гр. Толстой решительно отрицает это улучшение школ. Он находит, что они становятся, напротив, все хуже и хуже; хуже относительно, сравнительно с общим уровнем образования, который достигается в данный исторический момент. Он употребляет очень любопытный прием для проверки прогресса школьного образования. Образование дается не только школой, оно дается и жизнью — развитием торговых сношений, путей сообщения, большей степени свободы личности и участия ее в делах правления, собраниями, музеями, публичными лекциями, литературой и проч. По мере того как эти побочные, внешкольные средства образования развиваются, значение школы падает, она от них отстает. Школы в Париже или Марселе и в каком-нибудь захолустье Франции устроены одинаково, и, однако, народ в Париже и Марселе образованнее, потому что жизнь там поучительнее, чем в захолустье. В прежние времена школа давала все образование, какое было доступно исторической минуте; теперь она дает только ничтожную долю образования, и чем дальше, тем эта доля становится меньше, а главная часть образования получается не из школы, а из жизни. Значит, относительно говоря, школа не улучшается, а ухудшается, значит принудительное образование становится все более незаконным.

В конце концов у принудительного образования нет никаких оснований. «Наше мнимое знание законов добра и зла, и на основании их деятельность на молодое поколение, есть большею частию противодействие развитию нового сознания, не выработанного еще нашим поколением, а вырабатывающегося в молодом поколении; оно есть препятствие, а не пособие образованию» (эта вечная борьба «отцов и детей» довольно часто поми-

нается гр. Толстым как явление действительно поучительное). Эту точку зрения гр. Толстой весьма последовательно проводит по всем ступеням образования. Стоя на ней, он самым решительным образом отрицает теперешнее устройство университетов и гимназий, как заведений, не соображенных с потребностями молодого поколения, с вырабатывающимся в нем «новым сознанием». Столь же решительно отрицает он и нынешнюю организацию народного образования в тесном смысле слова. Известна его ересь: учите народ тому, чему он хочет учиться, критерий образования есть свобода учащегося.

Но куда же денется при этом наука педагогики? Куда денутся Шульцы, и Шмальцы, и Фибли? Они сдадутся в архив, как сданы в архив алхимики, астрологи и многие другие ученые люди. Но с ними будет похоронена наука, образование останется без научного кормила и научного весла! К такого рода возгласам подал отчасти повод сам гр. Толстой несколькими неточными и неправильными выражениями и теми противоречиями, которые согласно моей гипотезе неизбежны и для гр. Толстого. Ну да и заступиться за науку противникам гр. Толстого было лестно: наука вещь хорошая, и в защиту ее можно написать много прекрасных и даже вполне верных, хотя и общеизвестных, фраз. В сущности же, гр. Толстой, несмотря на всю свою непочтительность к Урстам и Фиблям, на деле не только не отрицает науки педагогики, но дает ей вполне ясное, оригинальное и весьма глубокое определение. Я уже его приводил. Образование есть известное отношение двух людей или двух групп людей, стремящихся к равенству познаний: одни стремятся передать знания, другие стремятся их получить. «Задача науки образования есть *только* изучение условий совпадения этих двух стремлений к одной общей цели и указание условий, которые препятствуют этому совпадению» (IV, 36). Несмотря на подчеркнутое мною *только*, по-видимому, суживающее пределы науки, я не знаю определения более полного и широкого, более способного поставить педагогику на действительно научную высоту. Но гр. Толстой не воспользовался всеми выгодами этого истинно блестящего определения. Скажу более, — он ими и не мог воспользоваться вследствие слишком страстного и лихорадочного отношения к делу.

Определение это, по моему мнению, особенно дорого

тем, что обнимает и учителя, и ученика, и образовывающее общество, и образовывающийся народ. В развитии же своих педагогических воззрений гр. Толстой далеко не всегда следит за обеими этими частями своей собственной формулы науки. Он преимущественно имеет в виду стремления ученика, народа. Ну хорошо, народ требует, чтобы его обучали славянскому и русскому языку и арифметике. Эта программа, особенно как ее понимает гр. Толстой, может удовлетворить не только ученика, а и учителя. Ну, а если бы народ требовал какой-нибудь ни с чем не сообразной программы? Гр. Толстой скажет, может быть, что такой программы народ не может потребовать, что требования его хотя и элементарны, но непременно разумны и справедливы. Это, однако, не будет резонным возражением, потому что мы ведь не можем поручиться, что признаваемое нами разумным и справедливым действительно таково: народ заявил требование, и мы должны его выполнить, хотя бы оно, на наш взгляд, и казалось ни с чем не сообразным. В сущности гр. Толстой и сам понимает возможность таких случаев и даже приводит и комментирует некоторые из них. Но вместе с тем он постоянно колеблется, отдавая первое место то требованиям учителя, его идеалам, то требованиям ученика. То вытягивается его десница, поднимается тот сильный, смелый, энергический человек, который решился во имя истины и справедливости, во имя интересов народа померяться со всей историей цивилизации; то вылезает шуйца, тот слабый, нерешительный человек, который заявил о целесообразности, законности кровавого движения народов с запада на восток и обратно, о том, что Наполеон был именно такой негодный человек, какой был нужен для целей провидения, и т. п.

Я приведу примеры десницы и шуйцы.

Я уже говорил, что в статье «Воспитание и образование» гр. Толстой располагает основания принудительного образования несколько иначе, чем они приведены выше. Правда, тут он говорит не об основаниях, а о причинах принудительного образования или воспитания. Но на деле разницы большой не выходит. Будем, однако, и мы говорить о причинах такого явления, как насилие в образовании. Причины эти, по мнению гр. Толстого, лежат: 1) в семействе, 2) в религии, 3) в государст-

ве, 4) в обществе (в тесном смысле, — у нас в кругу чиновников и дворянства). Причины, лежащие в религии, мы уже видели. Причины, лежащие в государстве, гр. Толстой только отмечает как имеющие «неоспоримые оправдания» и проходит мимо. Это очень жаль. Я полагаю, что причины эти не больше и не меньше важны, чем все другие, и никакому исключительному суду не подлежат. Я уже рекомендовал книгу г. Владимирского-Буданова гг. педагогам, а теперь рекомендую ее и гр. Толстому. Правительства столь же мало имеют права, как и все частные лица и учреждения, направлять народное образование к своим исключительным целям. И чем дальше, тем более сознают это сами правительства. Как бы то ни было, но о государственных основаниях принудительного образования гр. Толстой, собственно говоря, просто умалчивает. Остаются причины, лежащие в обществе и в семье. Первые гр. Толстой безусловно отрицает, вторые признает основательными. «Отец и мать, — он говорит, — какие бы они ни были, желают сделать своих детей такими же, как они сами, или по крайней мере такими, какими бы они желали быть сами. Стремление это так естественно, что нельзя возмущаться против него. До тех пор, пока право свободного развития каждой личности не вошло в сознание каждого родителя, нельзя требовать ничего другого. Кроме того, родители более всякого другого будут зависеть от того, чем сделается их сын, так что стремление их воспитать его по-своему может назваться ежели не справедливым, то естественным». Уже из этих строк видно, что гр. Толстой намерен дать сильную поблажку семейному принудительному образованию, потому что ведь аргумент «пока право свободного развития каждой личности не вошло в сознание каждого родителя» и проч., аргумент этот, очевидно, приложим ко всем родам принудительного образования. Пока право свободного развития каждой личности не вошло в сознание каждого педагога, им, пожалуй, тоже нельзя ставить тех требований, которые предъявляет гр. Толстой. Поблажка очевидна, а в дальнейшем изложении она получает весьма солидные размеры. Четвертая причина принудительного образования лежит в потребности *«общества,* того общества в тесном смысле, которое у нас представляется дворянством, чиновничеством и отчасти купечеством. Этому

обществу нужны помощники, потворщики и участники». Я не стану приводить всех аргументов гр. Толстого против принудительного «общественного» образования. Они не всегда справедливы, всегда остроумны и очень часто отличаются замечательною глубиною. Характер их должен уже уясниться читателю из всего предыдущего. Я остановлюсь только на точках враждебного столкновения семейного насилия в образовании с насилием «общественным». Чтобы удобнее проследить все ступени принудительного образования, от элементарной школы до университета, гр. Толстой берет в пример историю образования сына не крестьянина, а небогатого купца или мелкопоместного дворянина. Родители эти, предполагает гр. Толстой, отдали детей в ученье «в надежде сделать из них себе помощников, одному — помочь сделать свое маленькое именьице производительным, другому — помочь повести правильнее и выгоднее торговлю». Но оказывается, что молодые люди, возвращаясь под родительский кров по окончании университетского курса, не только не способны, не могут, не умеют и не хотят оправдывать надежды родителей, но совершенно чужды родной среде, не имеют с ней ничего общего. Это возмущает гр. Толстого. «Посмотрите, — говорит он с укором, — как сын крестьянина приучается быть хозяином, сын дьячка, читая на клиросе, быть дьячком, сын киргиза-скотовода быть скотоводом; он смолоду уже становится в прямые отношения с жизнью, с природой и людьми, смолоду учится плодотворно, работая». Я отнюдь не думаю защищать наличную систему школьного образования. Но если эта система нехороша тем, что замыкает ученика в круг понятий и сведений, избранный личными вкусами воспитателей, то чем же от нее отличается система, при которой сын дьячка уже смолоду обрекается быть дьячком и сын скотовода — скотоводом? Почему стремление купца засадить своего сына в лавку менее деспотично, чем стремление «общества» получить себе «помощников, потворщиков и участников»? По какому праву вы хотите запереть человека в круг идей и чувств его среды, даже не справляясь, какова эта среда? На все эти вопросы я не нахожу ответов у гр. Толстого, да и не могу найти, потому что все его рассуждения о законности семейного принудительного воспитания представляют его шуйцу. Они высказаны в

минуту ослабления мысли и энергии, когда гр. Толстому хочется предоставить так интересующее его дело суду и воле божией, предоставить дело его собственному течению, в надежде, что из этого выйдет все-таки что-нибудь лучшее, чем при нашем вмешательстве. На мои вопросы гр. Толстой потому не может дать удовлетворительных ответов, что эти же вопросы и тем же тоном он задает другим, когда десница пересиливает шуйцу. В той же статье, из которой взяты приведенные рассуждения, я нахожу следующие строки: «Я знаю барышника-дворника, постоянно подлыми путями сбивающего себе копейку, который на мои увещания и подольщения отдать славного 12-тилетнего своего сынишку ко мне в яснополянскую школу, в самодовольную улыбку распуская свою красную рожу, постоянно отвечает одно и то же: «Оно так-то так, ваше сиятельство, да мне нужнее всего прежде напитать его своим духом». И он его везде таскает с собою и хвастается тем, что 12-тилетний сынишка научился обдувать мужиков, ссыпающих отцу пшеницу. Кто не знает отцов, воспитанных в юнкерах и корпусах, считающих только то образование хорошим, которое пропитано тем самым духом, в котором эти отцы сами воспитались» (125). В другой статье («Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы») тот же вопрос затрагивается и решается еще энергичнее. Описывается, между прочим, прогулка гр. Толстого с некоторыми учениками яснополянской школы по лесу ночью. Обстановка, предыдущие занятия (только что читали «Вия» Гоголя), разговоры о разных страшных историях, о Кавказе, о пении, о музыке, все это подняло тон душевного настроения маленького общества. Самый процесс поднятия этого тона описан с изумительным мастерством. Но еще изумительнее сопоставление этого высокого тона со «средой», с тем миром фактической обстановки, в который надо же было, наконец, вернуться из лесу. Я не могу привести здесь всего описания прогулки, но не могу отказать себе в удовольствии выписать по крайней мере вторую его часть — возвращение из лесу. Не забудьте только, что идут люди, полные необыденных чувств и мыслей, настроенные на высокий лад. Идут. И вот что они встречают:

«Мы пошли к деревне. Федька все не пускал моей руки, — теперь, мне казалось, уж из благодарности. Мы

все были так близки в эту ночь, как давно уже не были. Пронька пошел рядом с нами по широкой дороге деревни. «Вишь, огонь еще у Мироновых!» — сказал он. «Я нынче в класс шел, Гаврюха из кабака ехал, — прибавил он, — пья-я-яный, распьяный: лошадь вся в мыле, а он-то ее ожаривает... Я всегда жалею. Право! за что ее бить». — «А надысь батя, — сказал Семка, — пустил свою лошадь из Тулы, она его в сугроб и завела, а он спит, пьяный». — «А Гаврюха так по глазам и хлещет... и так мне жалко стало, — еще раз сказал Пронька: — за что он ее бил? Слез, да и хлещет». Семка вдруг остановился. «Наши уж спят», — сказал он, вглядываясь в окна своей кривой черной избы. «Не пойдете еще?» — «Нет». — «Пра-а-щайте, Л. Н.», — крикнул он вдруг и, как будто с усилием оторвавшись от нас, рысью побежал к дому, поднял щеколду и скрылся. «Так ты и будешь разводить нас — сперва однюго, а потом другого?» — сказал Федька. Мы пошли дальше. У Проньки был огонь, мы заглянули в окно: мать, высокая, красивая, но изнуренная женщина с черными бровями и глазами, сидела за столом и чистила картошку; на средине висела люлька; математик второго класса, другой брат Проньки, стоял у стола и ел картошку с солью. Изба была черная, крошечная, грязная. «Пропасти на тебя нет! — закричала мать на Проньку. — Где был?» Пронька кротко и болезненно улыбнулся, глядя на окошко. Мать догадалась, что он не один, и сейчас переменила выражение на нехорошее, притворное выражение. Остался один Федька. «У нас портные сидят, оттого свет», — сказал он своим смягченным голосом. «Нынешнего вечера прощай, Л. Н.», — прибавил он тихо и нежно и начал стучать кольцом в запертую дверь. «Отоприте», — прозвучал его тонкий голос среди зимней тишины деревни. Ему долго не отворяли. Я заглянул в окно: изба была большая; с печи и лавки виднелись ноги; отец с портными играл в карты, несколько медных денег лежало на столе. Баба, мачеха, сидела у светца и жадно глядела на деньги. Портной, прожженный ерыга, молодой мужик, держал на столе карты, согнутые лубком, и с торжеством глядел на партнера. Отец Федьки, с расстегнутым воротником, весь сморщившись от умственного напряжения и досады, переминал карты и в нерешительности сверху замахивался на них своею рабочею рукой. «Ото-

прите!» — Баба встала и пошла отпирать. «Прощайте! — еще раз повторил Федька, — всегда так давайте ходить».

Я вижу людей честных, добрых, членов благотворительных обществ, которые готовы дать и дают одну сотую своего состояния бедным, которые учредили и учреждают школы и которые, прочтя это, скажут: нехорошо! — и покачают головой. Зачем усиленно развивать их? Зачем давать им чувства и понятия, которые враждебно поставят их к своей среде? Зачем выводить их из своего быта? Я не говорю уже о тех, выдающих себя головой, которые скажут: хорошо будет устройство государства, когда все захотят быть мыслителями и художниками, а работать никто не станет! Эти прямо говорят, что они не любят работать, и потому нужно, чтобы были люди не то что неспособные для другой деятельности, а рабы, которые работали бы за других. Хорошо ли, дурно ли, должно ли выводить их из их среды и т. д. — кто это знает? И кто может вывести их из своей среды? Точно это какое-нибудь механическое дело. Федька не тяготится своим оборванным кафтанишком, но нравственные вопросы и сомнения мучат Федьку, а вы хотите дать ему три рубля, катехизис и историйку о том, как работа и смирение, которых вы сами терпеть не можете, одни полезны для человека. Три рубля ему не нужны, он их найдет, когда они ему понадобятся, а работать научится без вас, так же как дышать; ему нужно то, до чего довела вас ваша жизнь, ваших десять не забитых работой поколений. Вы имели досуг искать, думать, страдать, — дайте же ему то, что вы выстрадали, ему этого одного и нужно; а вы, как египетский жрец, закрываетесь от него таинственной мантией, зарываете в землю талант, данный вам историей. Не бойтесь, человеку ничто человеческое не вредно. Вы сомневаетесь? Отдайтесь чувству, и оно не обманет вас. Поверьте его природе, и вы убедитесь, что он возьмет только то, что заповедала вам передать ему история, что страданиями выработалось в вас» (280 и след.).

Описание прогулки по лесу замечательно во многих отношениях: и по художественности формы (я преимущественно именно этот рассказ имел в виду, когда говорил, что в IV томе есть вещи, даже в чисто художественном отношении превосходящие, может быть, все, написанное гр. Толстым), и по глубине вложенного в эту

форму содержания, и, наконец, для характеристики гр. Толстого. Дело в том, что прогулка в лесу есть единственное в своем роде художественное произведение гр. Толстого. Мир народа и мир «общества» часто сопоставляются им, но, как мы уже видели, всегда с такой стороны, с которой народ оказывается выше общества,— цивилизованные люди или завидуют народу, или, самоуверенно вторгаясь в его жизнь, только портят ее. Эффекта этого гр. Толстой достигает не тем грубым приемом, по которому герои одной среды меряются с пигмеями другой; он не идеализирует мужика, оставляет его и пьяницей и невеждой и не делает из барина карикатуры. Но свет и тень располагаются все-таки так, что барин со всем своим развитием оказывается плох, а если не плох, так в нем по крайней мере по временам вспыхивает страстное желание жить жизнью мужика. В прогулке в лесу те же два мира поставлены иначе и опять-таки без всякого грубого эффекта: крестьянские мальчики, уже подготовленные своим школьным образованием, удаляются на несколько минут в мир идей и чувств, чуждых их среде, и затем возвращаются в мир действительности, к своим пьяным и грубым отцам. Только. Но вы понимаете, что картинка эта в корень подрывает все рассуждения о преимуществах семейного насилия в образовании перед всеми другими видами насилия. А затем и сам гр. Толстой принимается комментировать эту картинку и доказывать, что он был прав, шевеля души Федьки, Семки и Проньки необыденными, несвойственными их среде мыслями.

Мысль, вложенная в прогулку по лесу, в художественной, образной форме у гр. Толстого нигде больше не воспроизводится. Нигде цивилизованный человек не рисуется им со стороны того, чем он может и должен быть полезен народу. «Десять не забитых работой поколений» нигде не представляются гарантией какой бы то ни было высоты. Напротив, они представляются веками порчи и извращения человеческой природы. Потому-то я и назвал прогулку единственным в своем роде художественным произведением гр. Толстого. Однако мысль, вложенная в прогулку, довольно часто разрабатывается в его педагогических статьях. Наконец, на ней построена вся его педагогическая деятельность. Только потому он и учит и пишет, что признает за собой право и обязан-

ность сообщить народу нечто такое, чего ему не хватает. При этом его десница отодвигает все препятствия, какие только попадаются на пути, будь то деспотизм семейства или общества, обстановка той или другой среды, те или другие предрассудки. Но у гр. Толстого есть и шуйца. Она побуждает его, напротив, оставлять препятствия в покое, охранять неприкосновенность установившихся предрассудков и среды в том странном расчете, что «не случайно, а целесообразно окружила природа земледельца земледельческими условиями, горожанина — городскими». Распространите только этот афоризм, на что вы имеете полное логическое право, и вы смело можете утверждать, что не случайно, а целесообразно природа окружила Карениных, Вронских и Облонских теми условиями, которыми они окружены; что не случайно, а целесообразно природа окружила нищего нищенскими условиями и невежду условиями невежества. И вы оправдаете всякий мрак и всякую мерзость, и пещерные люди возликуют, не подозревая, что для них нисколько не благоприятна исходная точка противоречий гр. Толстого, та точка, где его мысль раздваивается. И вот опять поднимается десница гр. Толстого и энергически сметает все, что натворила шуйца. Таково приведенное мною противоречие в оценке принудительного семейного образования. Таковы и другие его, не менее бросающиеся в глаза противоречия. Таковы же и противоречия, указанные г. Марковым.

Я хотел бы, чтобы читатель не только узнал гр. Толстого, а и получил к нему то уважение, которым проникнут я, чтобы читатель не только не обегал IV тома сочинений гр. Толстого, а, напротив, видел бы в нем ключ ко всем произведениям знаменитого писателя и читал бы его с полною уверенностью найти в нем много и много в высокой степени поучительного; чтобы читатель отнюдь не смущался тем печальным обстоятельством, что гр. Толстой как мыслитель опозорен похвалами пещерных людей. Но не достиг ли я скорее противоположного результата разъяснением целого ряда, мало того — целой системы противоречий гр. Толстого? Не подорвал ли я, напротив, в читателе доверие к этому человеку, способному дать противоположные суждения об одном и том же предмете? Я не могу этого думать, потому что все эти противоречивые суждения не подорвали же во

мне доверия и уважения к гр. Толстому как к мыслителю. Дело в том, что противоречия противоречиям рознь. Противоречия писаки, который говорит сегодня одно, а завтра другое, глядя по тому, кто ему платит и обидело или не обидело его то или другое учреждение или лицо; противоречия, вытекающие из небрежности и легкомыслия, и т. п., словом — противоречия, вызванные не внутренним процессом умственной работы, постоянно направленной к одной цели, а сторонними причинами, конечно должны подрывать доверие и уважение. Не таковы противоречия гр. Толстого. Я бы сравнил их с теми, которых можно немало найти у Прудона. Замечу, что по складу ума, а отчасти и по взглядам гр. Толстой вообще напоминает Прудона. Та же страстность отношений к делу, то же стремление к широким обобщениям, та же смелость анализа и, наконец, та же вера в народ и в свободу. Конечно, противоречия Прудона не могут быть уложены в такую правильную систему, какая допускается противоречиями гр. Толстого. Прудон желал положить весь мир, все познаваемое и непознаваемое, и мир планет, и мир человеческих действий, и наши представления о высшем существе к ногам справедливости (justice). Громадность задачи и страстность работы неизбежно приводили к противоречиям, общий характер которых уловить, однако, нельзя. Задача гр. Толстого тоже велика, работа его тоже страстна, но у него есть и еще источник противоречий. Легко было Прудону веровать в народ и требовать от других такой же веры, когда он сам вышел из народа, — он веровал в себя. Такого непосредственного единения между гр. Толстым и народом нет. Легко было Прудону смело констатировать оборотную сторону медали цивилизации, когда эта оборотная сторона непосредственно давила его и близких его. Такого давления гр. Толстой не испытывает. Легко было Прудону говорить, что, выражаясь словами гр. Толстого, «в поколениях работников лежит и больше силы и больше сознания правды и добра, чем в поколениях лордов, баронов, банкиров и профессоров». Прудону было легко говорить это, когда отец его был бочаром, мать кухаркой, а сам он наборщиком; когда он имел право сказать одному легитимисту: «У меня четырнадцать прадедов крестьян, назовите хоть одну фамилию, которая насчитывала бы столько благородных

предков»[45]. Но гр. Толстой находится скорее в положении того легитимиста, который получил этот отпор. Оставьте в стороне вопрос о том, верны или неверны те выводы, к которым пришел Прудон, и те, к которым пришел гр. Толстой. Положим, что и те и другие так же далеки от истины, как пещерные люди от гр. Толстого. Обратите внимание только на следующее обстоятельство: вся обстановка, все условия жизни, начиная с пеленок, гнали Прудона к тем выводам, которые он считал истиной; все условия жизни гр. Толстого, напротив, гнали и гонят его в сторону от того, что он считает истиной. И если он все-таки пришел к ней, то, как бы он себе ни противоречил, вы должны признать, что это — мыслитель честный и сильный, которому довериться можно, которого уважать должно. Самые противоречия такого человека способны вызвать в читателе ряд плодотворных мыслей.

Продолжаю делиться с читателями теми, которые он вызвал во мне.

Любопытнейшее противоречие гр. Толстого состоит в том, что он отрицает не только научный характер той педагогической окрошки, которую стряпают гг. Миропольские и пр., он отрицает науку педагогии в принципе (по крайней мере он говорит такие слова) и в то же время дает лучшее и полнейшее определение «науки образования». Педагогия изучает условия, благоприятствующие и препятствующие совпадению стремлений ученика и учителя к общей цели равенства образования. Таково определение гр. Толстого. Я полагаю, что оно не только верно и полно, но может служить прототипом определений всех социальных наук. Не буду об этом распространяться и обращу только внимание читателя на те специальные выгоды, которые представляет предлагаемая гр. Толстым конструкция педагогии, и которыми сам он не воспользовался. Сам гр. Толстой обращает попеременно исключительное внимание то на один, то на другой элемент, условия совпадения которых должны составить предмет науки. То он кладет все гири на чашку весов образовывающихся и требует, чтобы образовывающий, «общество» слушалось голоса народа и совершенно устранило свои собственные воззрения; то, наоборот, что, впрочем, в крайней, исключительной форме встречается у него реже, предлагает образовывающе-

му действовать на свой страх. Эти колебания, очевидно, вовсе не соответствуют его определению педагогии и обусловливаются чисто личными причинами. Он боится оставить народ на произвол судьбы, но боится и вмешательства цивилизованных людей в его жизнь. Он страстно ищет такой нейтральной почвы, на которой общество и народ могли бы сойтись безобидно. Ему кажется, что он нашел такую почву — в знаниях. Не пытайтесь, часто говорит он, формировать верования, убеждения, характер учащихся, на то вы не имеете ни права, ни уменья, давайте народу знания, больше вам дать нечего. Но это все-таки не решает вопроса, потому что знания должны передаваться в каком-нибудь порядке, в какой-нибудь системе. А не будут ли этот порядок и эта система представлять собою уже нечто большее, чем голое знание? Известное расположение знаний и известная их передача могут уже формировать убеждения и верования.

В «Ясной Поляне» гр. Толстой много писал об том, какие знания и в каком порядке могут сообщаться учащимся в народной школе. Ныне он значительно упростил программу и, повинуясь, как он справедливо говорит, голосу народа, требует для народных школ арифметики и русского и славянского языков. Но с русским языком опять беда, и я удивляюсь, как никто из оппонентов гр. Толстого не обратит на это внимания. Славянская грамота и арифметика не дают произволу учителя никакого простора, но учиться русскому языку значит, между прочим, читать; что же мы дадим народу читать: можно дать Гоголя, можно дать Францыля Венециана [46], рассказы из естественной истории, «Азбуку» гр. Толстого, книжки бар. Корфа, г. Водовозова и пр., и пр. Нужна же какая-нибудь руководящая нить, а с нею вместе поднимается и все, по-видимому, порешенное. Гр. Толстой и сам чувствует, что знания не составляют нужной ему нейтральной почвы и что для того, чтобы найти ее, надо сделать уступку учителю, его идеалам. В много раз упомянутой статье «Воспитание и образование» он говорит: «Но как же, скажут мне, образовывающему не желать посредством своего преподавания произвести известное воспитательное влияние? Стремление это самое естественное, оно лежит в естественной потребности при передаче знания образовывающемуся. Стремление это только придает образовывающему силы

заниматься своим делом, дает ту степень увлечения, которая для него необходима. Отрицать это стремление невозможно, и я об этом никогда не думал; существование его только сильнее доказывает для меня необходимость свободы в деле преподавания. Нельзя запретить человеку, любящему и читающему историю, пытаться передать ученикам то историческое воззрение, которое он имеет, которое он считает полезным, необходимым для развития человека, передать тот метод, который учитель считает лучшим при изучении математики или естественных наук: напротив, это предвидение воспитательной цели поощряет учителя. Но дело в том, что воспитательный элемент науки не может передаваться насильственно. Не могу достаточно обратить внимание читателя на это обстоятельство. Воспитательный элемент, положим в истории, в математике, передается только тогда, когда учитель страстно любит и знает свой предмет; тогда только любовь эта сообщается ученикам и действует на них воспитательно. В противном же случае, то есть когда где-то решено, что такой-то предмет действует воспитательно и одним предписано читать, а другим слушать, преподавание достигает совершенно противоположных целей, то есть не только не воспитывает научно, но отвращает от науки. Говорят, наука носит в себе воспитательный элемент (erziehliches Element), — это справедливо и несправедливо, и в этом положении лежит основная ошибка существующего парадоксального взгляда на воспитание. Наука есть наука и ничего не носит в себе. Воспитательный же элемент лежит в преподавании наук, в любви учителя к своей науке и в любовной передаче ее, в отношении учителя к ученикам. *Хочешь наукой воспитать ученика, люби свою науку и знай ее, и ученики полюбят и тебя и науку, и ты воспитаешь их, но сам не любишь ее, то сколько бы ты ни заставлял учить, наука не произведет воспитательного влияния.* (Курсив гр. Толстого.) И тут опять одно мерило, одно спасенье, опять та же свобода учеников слушать или не слушать учителя, воспринимать его воспитательное влияние, то есть им одним решать, знает ли он и любит ли свою науку» (IV, 167). Последние слова справедливы относительно высшего образования. Университеты, как настаивает на этом гр. Толстой, действительно могут быть устроены так, что студенты будут

иметь право слушать того или другого профессора, ту или другую науку в том или другом объеме, причем университеты будут уже, разумеется, не тем, что они ныне. Но как применить этот принцип к народному образованию? Допустив полнейшее самоуправление в этом деле, вы дадите решающий голос все-таки не ученикам, не Федьке, Семке и Проньке, а их отцам, тем самым отцам, которых ребята встретили после прогулки в лесу. По чисто практическим соображениям требования этих отцов до известной степени непременно должны быть уважены, тем более что на деле, разумеется, не может быть большого разногласия между поколениями отцов и детей в крестьянском быту, они живут медленнее нас. Но при определении границы удовлетворения этих требований, согласно определению педагогии, должна быть выслушана и другая заинтересованная сторона. Любовь учителя к науке и знанию ее, без сомнения, составляют первые и необходимейшие условия совпадения стремлений учителя и ученика. Как же быть, если учитель будет требованиями учеников и их отцов оскорбляем в своем знании и в своей любви к науке? У него опустятся руки, и из хорошего, знающего и преданного делу учителя выйдет небрежный и озлобленный. Я полагаю, что предел законных требований может быть выражен так: никакие отцы, никакие учители, никакие учреждения не имеют права ограничивать образование молодых поколений своими личными целями, делать из них, как выражается гр. Толстой, себе потворщиков, помощников и слуг. Так, например, требования того барышника, который не хотел отдавать сына в школу, а хотел сделать его приказчиком, преданным его, барышника, интересам, требования эти удовлетворению ни в каком случае не подлежат (отсюда одна из причин законности обязательного обучения). Это совершенно соответствует определению педагогии, данному гр. Толстым, равно как и другим его воззрениям. В народе он ценит не его грубость, невежество и предрассудки, а незапятнанную грехом «десяти не забитых работой поколений» совесть и способность самому удовлетворять всем своим нуждам, то есть способность не иметь слуг и не быть ничьим слугой. В «обществе» он ценит не инстинктивное или сознательное стремление обратить народ в своего слугу, а те подлежащие научной проверке знания и комбинации знаний, которые даны ему вековым досугом. Я думаю, что

программа элементарных народных училищ, предложенная гр. Толстым, за ничтожными исключениями, может удовлетворить законным требованиям и учителей и учеников с их отцами. Огромное большинство великороссов (о других не берусь судить), как должно быть известно каждому, по разным причинам ценит именно русскую, славянскую грамоту и арифметику. Думаю, что некоторую пользу могут принести тут и много осмеянные дьячки и отставные солдаты. С этой программой должны быть сообразованы и учительские семинарии и другие рассадники народных учителей, но именно только сообразованы. Для выбора материала для русского чтения нужно несколько больше знаний, чем какими обладают дьячки, священнослужители, отставные солдаты и проч., хотя все эти учителя неоспоримо хороши тем, что дешевы и находятся под рукой. Смущенный трудами наших педагогов и квазинаучным характером их деятельности, гр. Толстой отрицает возможность знать, какие сведения и в каком порядке должны сообщаться ученикам, какие приемы при этом должны употребляться, какое действие должно произвести на ученика то или другое педагогическое явление, словом опять-таки отрицает педагогию. Что Шольцы, Шмальцы и Фибли никому не нужны и менее всего народным учителям — это верно. Что наши известные и известнейшие педагоги в деятельности своей движутся ощупью, наобум, не руководствуясь какими бы то ни было законами педагогических явлений, хотя и много говорят о науке,— это тоже верно. Но верно и то, что законы педагогических явлений уловимы. Сошлюсь на самого гр. Толстого. В своих педагогических статьях он, ссылаясь на опыт и наблюдение, доказывает, что в детях исторический интерес является после художественного и что исторический интерес возбуждается прежде всего познаниями по новой, а не по древней истории (353, 354); что интерес географический возбуждается познаниями естественно-научными и путешествиями (372); что старые воззрения на мир разрушаются прежде всего законами физики и механики, тогда как нас учат сначала физической географии, которая отскакивает как от стены горох (365), и проч., и проч., и проч. Выработка и проверка подобных законов педагогических явлений (ими занят не один гр. Толстой, их изучают и европей-

ские психологи) должны составить предмет науки педагогии и определять порядок материала для чтения в народных школах. Они именно указывают на условия совпадения стремлений ученика и учителя и, следовательно, вполне укладываются в то определение педагогии, которое дал гр. Толстой.

Проект организации школьного дела, предложенный гр. Толстым, я защищать не буду.

Ну что, читатель? Положа руку на сердце, знали вы гр. Толстого, своего любимого писателя? Не прав ли я был, говоря, что, несмотря на всю свою известность, он совершенно неизвестен? Будущий историк русской литературы разберет, в чем тут дело, а дело-то любопытное, будет над чем поработать. В ожидании этого историка я только хотел привлечь внимание читателя на те стороны литературной деятельности гр. Толстого, которые доселе оставались «явлением, пропущенным нашей критикой».

ЖЕСТОКИЙ ТАЛАНТ

(Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского. Томы II и III. СПб. (1882)

> Человек — деспот от природы и любит быть мучителем.
>
> *Достоевский («Игрок»)*

> Тирания есть привычка, обращающаяся в потребность.
>
> *Достоевский («Дядюшкин сон»)*

> Я до того дошел, что иногда теперь думаю, что любовь-то и заключается в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать.
>
> *Достоевский («Записки из подполья»)*

> Странная вещь, эта дружба! Положительно могу сказать, что я на девять десятых стал с ним дружен из злобы.
>
> *Достоевский («Крокодил»)*

I

Опять Достоевский *.

Да, опять Достоевский, и, может быть, это повторится еще не раз. Не то чтобы Достоевский представлял собою один из тех центров русской умственной жизни, к которым критика должна волей-неволей часто возвращаться ввиду бьющего в них общего пульса. Есть люди,

* См. ниже, гл. II «Записок современника» [1].

которые желали бы сделать из него нечто подобное; но, несмотря на старательность этих людей, принимающихся за свое дело с терпением дятла, ничего как-то из их усилий не выходит. Один г. Орест Миллер чего стоит! Он именно подобен дятлу, когда в своих статьях и публичных лекциях, им же несть меры и числа, восхваляет Достоевского, воздает хвалу Достоевскому, восторгается Достоевским, благовестит о Достоевском и восклицает: о Достоевский![2] Правда, этими склонениями и ограничивается роль г. О. Миллера как пропагандиста и комментатора, но все-таки подумайте, сколько тут вложено труда! А где результат? Более стремительный Владимир Соловьев действует наскоком. Мне попалась как-то литографированная речь или лекция г. Соловьева о знаменитом покойнике. Она была построена приблизительно так: в мире политическом данной страной управляет всегда в конце концов один человек; то же самое и в мире нравственном: здесь всегда есть один духовный вождь своего народа; этим единым вождем был для России Достоевский; Достоевский был пророк божий! Я ручаюсь за слова «пророк божий» и за конструкцию этих размышлений, если можно назвать размышлениями переправу по жердочкам и грациозные прыжки с одной жердочки на другую без всякой мысли о том, чтобы как-нибудь укрепить их и связать. Во всяком случае переправа выполнена, г. Соловьев на том берегу и торжественно и победоносно кричит: вот пророк божий![3] Где же результат? Я не только не вижу результата, а и г. Соловьева не вижу, ни его самого, ни провозглашенного им пророка. Какие-то совсем другие люди занимают сцену, а «пророка божия» не поминают в своих молитвах даже те, кто так или иначе хотел примазаться к имени Достоевского на его свежей могиле. Погибе память его с шумом. Шуму было много, это правда, но в сущности шумом все и кончилось. Шум составился из двух течений. Во-первых, всегда есть плакальщики, люди, особенно умиленно настроенные или настраивающие себя, которые, вместо того чтобы серьезно и трезво отнестись к потере, начинают, по простонародному выражению, вопить и причитать: такой-сякой, сухой-немазаный. Это бы еще ничего, конечно, потому что ведь, может быть, покойник и в самом деле такой-сякой. Но надо все-таки же об этом хоть с приблизительною точностью дать себе отчет, а не

разбрасывать сокровища своего умиления, что называется, зря. А то придется по прошествии некоторого времени умиляться по новому поводу, и притом так, что о предыдущем не будет даже помину. Так именно и произошло со многими по случаю смерти Достоевского. Но кроме таких умиленных, которых, собственно, мамка в детстве ушибла, почему с тех пор от них и отдает умилением, а чем и как умиляться — это им безразлично; кроме, говорю, этих, есть еще разные более или менее тонкие политиканы. Такие не зря умиляются, а примазываются к умилению и тоже в грудь себя колотят и тоже ризы свои раздирают, но единственно в тех видах, чтобы «поймать момент». А прошел момент, прошла и нужда. Достоевский в последнее время перед смертью изображал из себя какой-то оплот официальной мощи православного русского государства в связи (не совсем ясной и едва ли самому Достоевскому понятной) с некоторым мистически-народным элементом. Ну, кто пожелал, тот в этих направлениях и примазался к имени крупного художника, в самый момент смерти загоревшемуся таким, казалось, ярким огнем. Прошло несколько времени, и где же вы теперь найдете у гг. Аксакова, Каткова и иных следы их стенаний и разодранных на могиле Достоевского риз? Где те поучения, которые они черпают в трудных случаях из творений столь прославленного учителя? Я, впрочем, отнюдь их в этом не виню. Они виноваты только в том, что раздули или старались раздуть значение талантливого художника до размеров духовного вождя своей страны («пророка божия»). Но если облыжно созданный вождь никуда не ведет их, то это вполне натурально.

Для наглядности припомните, что происходило какой-нибудь месяц тому назад. Умер генерал Скобелев. Умер внезапно, будучи на верху почестей и популярности. Разумеется, явились плакальщики (впереди всех, как водится, г. Гайдебуров в должности церемониймейстера) и политиканы (впереди всех г. Аксаков, расчищая место генералу Черняеву и графу Игнатьеву поближе к траурному катафалку Скобелева). Пройдет несколько времени, и если нашу родину постигнет скорбь войны, все не раз вспомнят «белого генерала», даже те, кто по справедливости считал бестактными и детскими его парижские ораторские опыты:[4] дескать, вот бы тут Скобелева нужно! Или: был бы Скобелев жив, так было бы то-то и то-то!

Конечно, будь белый генерал жив, может быть ему и счастье изменило бы, и разное другое могло случиться, но верно, что в случае войны его имя будет часто поминаться. Укажите же те трудные случаи, в которых сами плакальщики и политиканы, не говоря о простых смертных, вспомнили как бы с верою и надеждою о Достоевском: он бы выручил, он бы научил, показал свет! Ничего подобного не было, а со смерти Достоевского прошло только полтора года или, пожалуй, *уже* полтора года. Это время слишком короткое, чтобы забыть духовного вождя и божия пророка, и слишком продолжительное, чтобы не было случая со скорбным вздохом вспомнить о помощи, которую пророк оказал бы, если бы был жив. А припомните-ка, какие это были полтора года — волосы на голове дыбом встанут![5]

Но бог с ним, с этим вздором о роли Достоевского как духовного вождя русского народа и пророка. Этот вздор стоило отметить, но не стоит заниматься подробным его опровержением. Достоевский просто крупный и оригинальный писатель, достойный тщательного изучения и представляющий огромный литературный интерес. Только так изучать его мы и будем.

Тотчас после смерти Достоевского мы представили читателю беглую характеристику литературной физиономии покойника, предполагая с течением времени возвратиться к более подробному развитию некоторых частностей. Между прочим, было упомянуто, что к тому страстному возвеличению страдания, которым кончил Достоевский, его влекли три причины: уважение к существующему общему порядку, жажда личной проповеди и *жестокость таланта.* Этой последней чертой мы и предлагаем читателю теперь заняться. Второй и третий томы полного собрания сочинений Достоевского представляют для этого прекрасный повод. Здесь собраны небольшие повести и рассказы, из коих некоторые большинство читателей едва ли даже помнят, но которые, однако, для характеристики Достоевского представляют огромный интерес. Во второй том вошли: «Бедные люди», «Двойник», «Господин Прохарчин», «Роман в девяти письмах», «Хозяйка», «Слабое сердце», «Чужая жена и муж под кроватью», «Честный вор», «Елка и свадьба», «Белые ночи», «Неточка Незванова», «Маленький герой»; в третий том «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково

и его обитатели», «Скверный анекдот», «Зимние заметки о летних впечатлениях», «Записки из подполья», «Крокодил или необыкновенное событие в пассаже», «Игрок». Все это вещи весьма различной художественной ценности и весьма различной известности. Кто не знает «Бедных людей»? Ну, а, например, рассказ «Чужая жена и муж под кроватью» едва ли многие читали. И по всей справедливости не читали: рассказ плох. Но для нашей цели этот ничтожный рассказ может оказаться очень полезным и важным. В этих мелочах Достоевский остается все-таки Достоевским со всеми особенными силами и слабостями своего таланта и своего мышления. В них, в этих старых мелочах, можно найти задатки всех последующих образов, картин, идей, художественных и логических приемов Достоевского. И было бы в высшей степени интересно совершить эту операцию вполне, от начала до конца; то есть проследить всю, так сказать, литературную эмбриологию Достоевского. Но этой задачи мы на себя не берем и посмотрим только на те черты повестей и рассказов, вошедших во второй и третий томы, которые оправдывают заглавие предлагаемой статьи: жестокий талант.

Прежде всего надо заметить, что жестокость и мучительство всегда занимали Достоевского, и именно со стороны их привлекательности, со стороны как бы заключающегося в мучительстве сладострастия. По этой части в его мелких повестях и рассказах рассыпано множество иногда чрезвычайно тонких замечаний. Примеры их приведены у нас в эпиграфе. Простая выписка их могла бы наполнить целые страницы; особенно если заимствовать их не из старых только мелочей Достоевского, а и из его позднейших вещей, когда в его творческой фантазии мелькал образ Ставрогина («Бесы»), который «уверял, что не знает различия в красоте между какою-нибудь сладострастною зверскою штукой и каким угодно подвигом, хотя бы жертвою жизнью для человечества, что он нашел в обоих полюсах совпадение красоты, одинаковость наслаждения». Впрочем, и ниже, вовсе не касаясь последних и крупных произведений Достоевского, мы увидим великолепные образчики того понимания и того интереса, которые он вкладывал в свои изображения мучительских поступков и жестоких чувств. Конечно, художник на то и художник, чтобы интересоваться и понимать: ему «звездная книга ясна», с ним «говорит мор-

ская волна»[6]. И хотя в звездной книге едва ли что-нибудь написано о жестокости, мучительстве, злости, да и морская волна о них не говорит; но раз эти вещи существуют и играют важную роль в человеческой жизни, художник должен интересоваться ими и понимать их. *Должен* — это, впрочем, немножко сильно сказано. Платон изгнал из своей идеальной республики поэта, «особенно искусного в подражании и способного принимать множество различных форм». Платон понимал величие такого художника и предлагал украсить его венками и облить благовониями, но вопреки прославленной многосторонности античного духа все-таки выпроваживал его из республики, на основании «несовместности нескольких занятий в одном лице»[7]. Мы, конечно, не потребуем такой узкости и специализации поэтического творчества. Напротив, чем шире художник, чем больше струн души человеческой он затрагивает, тем он нам дороже. Но нельзя же требовать, чтобы поэт с одинаковою силою и правдою изобразил ощущения волка, пожирающего овцу, и овцы, пожираемой волком. Которое-нибудь из этих двух положений ему ближе, интереснее для него, что и должно отозваться на его работе.

Мне попался очень удобный по наглядности пример, и я думаю, что никто в русской литературе не анализировал ощущений волка, пожирающего овцу, с такою тщательностью, глубиною, с такою, можно сказать, любовью, как Достоевский, если только можно в самом деле говорить о любовном отношении к волчьим чувствам. И его очень мало занимали элементарные, грубые сорты волчьих чувств, простой голод например. Нет, он рылся в самой глубокой глубине волчьей души, разыскивая там вещи тонкие, сложные — не простое удовлетворение аппетита, а именно сладострастие злобы и жестокости. Эта специальность Достоевского слишком бросается в глаза, чтобы ее не заметить. Несмотря, однако, на то, что Достоевский дал в сфере этой своей специальности много крупных и ценных вещей, он как бы несколько противоречит другой, обыкновенно усваиваемой деятельности Достоевского черте. Останавливаясь на нашей метафоре, иной скажет, пожалуй, что Достоевский, напротив, с особенною тщательностью занимался исследованием чувств овцы, пожираемой волком: он ведь автор «Мертвого дома», он певец «Униженных и оскорбленных», он так умел

разыскивать лучшие, высшие чувства там, где их существования никто даже не подозревал. Все это справедливо и было еще более справедливо много лет тому назад, когда оценка Достоевского впервые отлилась в ту форму, которая и доныне господствует. Но, принимая в соображение всю литературную карьеру Достоевского, мы должны будем ниже прийти к заключению, что он просто любил травить овцу волком, причем в первую половину деятельности его особенно интересовала овца, а во вторую — волк. Однако тут не было какого-нибудь очень крутого поворота. Достоевский не сжигал того, чему поклонялся, и не поклонялся тому, что сжигал. В нем просто постепенно произошло некоторое перемещение интересов и особенностей таланта: то, что было прежде на втором плане, выступило на первый, и наоборот. Добролюбов был в свое время прав, говоря об относительной слабости таланта Достоевского и о «гуманическом» направлении его художественного чутья [8]. Однако и тогда уже были крупные задатки того большого, но жестокого таланта, который так пышно развернулся впоследствии. Второй и третий томы сочинений Достоевского как нельзя лучше свидетельствуют об этом.

Это целый тщательно содержимый зверинец, целый питомник волков разнообразных пород, владелец которого даже почти не щеголяет своей богатой коллекцией, а тем паче не думает об извлечении из нее прямой выгоды; он так тонко знает свое дело и так любит его, что изучение волчьей натуры представляет для него нечто самодовлеющее; он нарочно дразнит своих зверей, показывает им овцу, кусок кровавого мяса, бьет их хлыстом и каленым железом, чтобы посмотреть на ту или другую подробность их злобы и жестокости — самому посмотреть и, разумеется, публике показать.

II

Начнем с того отделения зверинца, которое называется «Записки из подполья».

Подпольный человек (будем для краткости так называть неизвестное лицо, от имени которого ведутся «Записки из подполья») начинает свои записки некоторыми философскими размышлениями. При этом среди безразличных для нас в настоящую минуту, но не лишенных

блеска и оригинальности мыслей он выматывает из себя перед читателем душу, стараясь дорыться до самого ее дна и показать это дно во всей его грязи и гадости. Разоблачение происходит жестокое и именно в том направлении, чтобы предъявить публике «все изгибы сладострастия» злобы. Это уже само по себе производит впечатление чего-то душного, смрадного, затхлого; истинно, точно в подполье сидишь, или точно какой-нибудь неряха прокаженный снимает перед тобой одну за другой грязные тряпки со своих гноящихся, вонючих язвин. Затем разоблачение постепенно переходит из словесного в фактическое, то есть идет рассказ о некоторых подвигах героя.

Разные мелочные и вздорные обстоятельства, среди которых он не перестает злиться и искать новых и новых поводов для злобы, приводят подпольного человека в веселый дом и оставляют его там ночевать. Здесь он заводит со своей случайной, минутной подругой длинный и мучительный для нее разговор со специальною целью ее поучать. Он ее в первый раз в жизни видит, ничего, собственно говоря, против нее не имеет и иметь не может. Но в нем заговорили волчьи инстинкты. «*Более всего меня увлекала игра*», — вспоминает он. Дело удается не сразу. Волк пробует подойти к намеченной жертве то с той, то с другой стороны, чтобы вернее вонзить зубы. «В тон надо попасть, — мелькнуло во мне, сантиментальностью-то не много возьмешь» ...«пожалуй, и не понимает, — думал я, — да и смешно — мораль» ...«картинками, вот этими картинками-то тебя надо! — подумал я про себя». Так поощрял себя подпольный специалист жестокости и злобы, оглядывая и обхаживая свою жертву. Он начал с рассказа о виденных им похоронах публичной женщины, похоронах печальных, бедных, жалких, какие, дескать, и тебе предстоят; потом заговорил о судьбе публичных женщин вообще, злорадно тыкая в больные места и ища каких-нибудь уже готовых ран, которые было бы удобно бередить. Потом пошли картинки противоположного свойства, розовые картинки семейного счастия, которого слушательница лишена. Между прочим, система мучительства и жестокости вкладывают сюда еще одну лепту, разумеется в соответственной случаю окраске. «В первое-то время, — говорит подпольный человек, — даже и ссоры с мужем хорошо кончаются. Иная сама, чем больше любит, тем больше ссоры с мужем заварива-

ет. Право, я знал такую: «так вот, люблю, дескать, очень и из любви тебя мучаю, а ты чувствуй». Знаешь ли, что из любви нарочно человека можно мучить?» Простому сердцу несчастной слушательницы чужды эти утонченности, но «картинки» ее, видимо, пронимают, и подпольный человек так и сыплет ими, точно хлыстом хлещет ими свою жертву, уже прямо начиная предсказывать ей ее мрачную будущность, и болезнь, и смерть, и похороны, и все это выходит так безотрадно, так мучительно. Жертва пробует сопротивляться, оттолкнуть от себя эти назойливые, непрошенные видения недоступного счастия и неизбежного несчастия. Но подпольный человек увлечен «игрой» и умеет вести ее. Однако так как он только играет в волки и овцы, даже в помышлении не имея «из мрака заблужденья горячим словом убежденья» и т. д., то... Но пусть он сам рассказывает.

«Теперь, достигнув эффекта, я вдруг струсил. Нет, никогда, никогда еще я не был свидетелем такого отчаяния! Она лежала ничком, крепко уткнув лицо в подушку и обхватив ее обеими руками. Ей разрывало грудь. Все молодое тело ее вздрагивало, как в судорогах. Спершиеся в груди рыдания теснили, рвали ее и вдруг воплями, криками вырвались наружу. Тогда еще сильнее приникала она к подушке; ей не хотелось, чтобы кто-нибудь здесь, хотя одна живая душа узнала про ее терзание и слезы. Она кусала подушку, прокусила руку свою в кровь (я видел это потом) или, вцепившись пальцами в свои распутавшиеся косы, так и замирала в усилии, сдерживая дыхание и стискивая зубы».

Этого подпольный человек не ожидал и растерялся, а растерявшись, ни с того ни с сего дал Лизе (так звали публичную женщину) свой адрес и пригласил ее к себе. Понятное дело, что на другой же день подпольный человек стал злиться и на себя и на Лизу. Не за то, что без нужды и цели, а, собственно, ради «игры» измучил ее, а за то, что пригласил к себе. Он утешал себя тем, что, может быть, она и не придет, что ее, «мерзавку», не пустят. Иногда ему приходило в голову самому съездить к ней, «рассказать ей все» и упросить ее не приходить. «Но тут, при этой мысли, во мне поднималась такая злоба, что, кажется, я бы так и раздавил эту «проклятую» Лизу, если бы она возле меня вдруг случилась, оскорбил бы ее, оплевал бы, выгнал бы, ударил бы!» Прошел день, прошел дру-

той. Лиза не шла. Подпольный человек начал было уже успокаиваться, как вдруг на третий день Лиза является и, вдобавок, застает нашего героя в самой неприглядной обстановке и в ссоре, чуть не в драке с лакеем. Он «стоял перед ней убитый, ошельмованный, омерзительно сконфуженный и, кажется, улыбался, всеми силами стараясь запахнуться полами своего лохматого ватного халатишка». После некоторых истерических прелюдий, ломаний и вывертов подпольный человек предложил Лизе чаю, и вот как он об этом вспоминает:

« — Пей чай! — проговорил я злобно. Я злился на себя, но, разумеется, достаться должно было ей. Страшная злоба против нее закипела вдруг в моем сердце; так бы и убил ее, кажется. Чтобы отмстить ей, я поклялся мысленно не говорить с ней во все время ни одного слова. «Она же всему причина», — думал я. Молчание наше продолжалось уже минут пять. Чай стоял на столе, мы до него не дотрагивались: я до того дошел, что нарочно не хотел начинать пить, чтобы этим отяготить ее еще больше, ей же самой начинать было неловко. Несколько раз она с грустным недоумением взглянула на меня. Я упорно молчал. Главный мученик был, конечно, я сам, потому что вполне сознавал всю омерзительную низость моей злобной глупости и в то же время никак не мог удержать себя».

А затем пошли в ход уже настоящие волчьи клыки. Подпольный человек разразился длинным монологом, прямо рассчитанным на то, чтобы вконец заколотить званую, но не желанную гостью; в ту памятную для нее ночь он врал, смеялся над ней, издевался; он приехал, чтобы отомстить одному человеку, а так как этого человека налицо не оказалось, а подвернулась она, то на нее и вылилась его злоба, ему до нее никакого дела не было и нет и т. д., и т. д. Но расчеты подпольного человека оказались неверными, или по крайней мере эффект его монолога оказался совершенно для него неожиданным. Из всей его злобной речи Лиза поняла только, что он несчастлив, бросилась к нему, обняла и зарыдала. Подпольный человек на минуту смутился, но тотчас же в сердце его «вдруг тогда зажглось и вспыхнуло другое чувство — чувство господства и обладания». Подпольный человек поступил со своей гостьей, как с публичной женщиной, грубо, оскорбительно, так что она ощутила

оскорбление, и сунул ей на прощанье в руку пятирублевую бумажку (которую она не взяла — оставила на столе). Он прибавляет в этом месте своего рассказа, что сделал эту жестокость, то есть сунул бумажку, «со злости». Девушка ушла, и тем «Записки из подполья», собственно говоря, и кончаются.

Я очень бегло изложил содержание этой повести, минуя множество чрезвычайно тонких подробностей. Вся повесть представляет какое-то психологическое кружево. Но я думаю, что и из тех грубых очертаний, которыми передана повесть у меня, видно, как глубоко интересовался Достоевский явлениями жестокости, тиранства, мучительства и как пристально он к ним приглядывался. Может быть, самое интересное в «Записках из подполья» — это беспричинность озлобления подпольного человека против Лизы. Вы не видите причин его озлобленности вообще. Человек является на сцену сорокалетним мужчиной, вполне готовым, и что в его жизни так изломало его — остается, говоря слогом Кайданова, покрыто мраком неизвестности. Точно вся его гнусность каким-то самозарождением должна объясняться или даже никакого объяснения не требует. На этот счет в повести есть только общие фразы, лишенные определенного содержания, вроде того, например, что подпольный человек отвык от «живой жизни» и прилепился к жизни «книжной». Но положим, что автор просто так и хотел готового злеца и мучителя изобразить, и во всяком случае это его, автора, дело, а не черта характера подпольного человека. Гораздо любопытнее то обстоятельство, что подпольный человек начинает мучить Лизу в самом деле решительно ни с того ни с сего: просто она под руку подвернулась. Ни причин для злости против нее нет, ни результатов никаких подпольный человек от своего мучительства не предвидит. Он предается своему занятию единственно из любви к искусству, для «игры». С этою ненужною жестокостью мы еще встретимся. А теперь заметим только, что самая постановка картин жестокости в рамки ненужности свидетельствует о цене, которую давал Достоевский этому сюжету. Герой мог бы мучить Лизу с благою целью наведения ее на путь истины; мог бы мстить ей за какую-нибудь обиду, насмешку и т. п. Картина потрясенной души во всех этих случаях была бы налицо. Но Достоевский отверг все внешние, посторонние

мотивы: герой мучит, потому что ему хочется, нравится мучить. Ни причины, ни цели тут нет, да вовсе их, по мысли автора, и не надо, ибо есть жестокость безусловная, жестокость an und für sich *, и она-то интересна.

По этой или по какой другой причине, но довольно трудно сказать, как относится Достоевский к своему герою. В двух-трех заключительных строках он называет его от себя безразличным в нравственном отношении именем «парадоксалиста». Что касается умственного багажа подпольного человека, то здесь можно найти очень различные вещи; между прочим, и такие философские размышления (например, о свободе воли), которые не имеют ровно никакого отношения к жестокости, а также такие, которые очень родственны самому Достоевскому. В «Записках из подполья», например, впервые еще в неясной и вопросительной форме является одна из излюбленнейших мыслей последних лет деятельности Достоевского. Подпольный человек пишет: «И почему вы так твердо, так торжественно уверены, что только одно нормальное и положительное, одним словом, только одно благоденствие человеку выгодно? Не ошибается ли разум-то в выгодах? Ведь, может быть, человек любит не одно благоденствие? Может быть, он ровно настолько же любит страдание? Может быть, страдание ему ровно настолько же и выгодно, как благоденствие? А человек иногда ужасно любит страдание, до страсти — это факт». Если читатель припомнит, как впоследствии Достоевский страстно проповедовал страдание, как он видел в страдании интимнейшее требование духа русского народа; как он возводил в перл создания острог и каторгу; если читатель припомнит все это, то, может быть, удивится, встретив ту же мысль в записках жестокого зверя. Но в том-то и вопрос — зверь ли еще подпольный человек с точки зрения Достоевского. Мнения подпольного человека о самом себе на первый взгляд поражают беспощадностью: всякую, по-видимому, мерзость человек готов рассказать. Но, всматриваясь в эту странную исповедь несколько ближе, вы видите, что подпольный человек очень не прочь не только порисоваться своей беспощадностью к самому себе, а и оправдаться до известной степени. Прежде всего он вовсе не считает себя уродом, человеком исключитель-

* в себе и для себя, то есть самодовлеющее *(нем.)*.— *Ред.*

ным по существу. Он, правда, полагает себя действительно исключительным человеком, но только по смелости мысли и ясности сознания. Он говорит, например: «Что же, собственно, до меня касается, то ведь я только доводил в моей жизни до крайности то, что вы не осмеливались доводить и до половины, да еще трусость свою принимали за благоразумие и тем утешались, обманывая сами себя». В другом месте, пространно толкуя о «наслаждении в зубной боли», подпольный человек утверждает, что *всякий* «образованный человек девятнадцатого столетия» на второй, на третий день зубной боли стонет уже, собственно, не от боли, а от злости. «Стоны его становятся какие-то скверные, пакостно-злые и продолжаются по целым дням и ночам. И ведь знает сам, что никакой себе пользы не принесет стонами; лучше всех знает, что он только напрасно себя и других надрывает и раздражает; знает, что даже и публика, перед которой он старается, и все семейство его уже прислушались к нему с омерзением, не верят ему ни на грош и понимают про себя, что он мог бы иначе, проще стонать, без рулад и без вывертов, а что он только так, со злости, с ехидства балуется. Дескать, «я вас беспокою, сердце вам надрываю, всем в доме спать не даю. Так вот не спите же, чувствуйте и вы каждую минуту, что у меня зубы болят. Я для вас уж теперь не герой, каким прежде хотел казаться, а просто гаденький человек, шенапан. Ну, так пусть же! Я очень рад, что вы меня раскусили. Вам скверно слушать мои подленькие стоны? Ну, так пусть скверно; вот я вам сейчас еще скверней руладу сделаю...» Не понимаете и теперь, господа? Нет, надо, видно, глубоко доразвиться и досознаться, чтобы понять все изгибы этого сладострастия!

Таким образом, разница между подпольным человеком и большинством образованных людей девятнадцатого столетия состоит только в том, что он яснее сознает истекающее из злобы наслаждение, а пользуются-то этим наслаждением все. Такое обобщение значительно смягчает самобичевание подпольного человека. На людях и смерть красна. Не очень уже, значит, скверен подпольный человек, если все таковы; он даже выше остальных, потому что смелее и умнее их. Пусть же кто-нибудь из «образованных людей девятнадцатого столетия» попробует бросить в него камнем.

Кроме этого смягчающего или даже возвышающего обстоятельства, подпольный человек решился бы, может быть, выставить еще одно. Читатель видел, что в числе розовых картин, которыми подпольный человек мучительски ущемлял душу Лизы, был абрис женщины, мучающей своего мужа из любви. А затем следовало обобщение «знаешь ли, что из любви нарочно человека можно мучить?» О себе же подпольный человек прямо говорит: «Любить у меня значило тиранствовать и нравственно превосходствовать. Я всю жизнь не мог даже себе представить иной любви и до того дошел, что иногда теперь думаю, что любовь-то и состоит в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать. Я и в мечтах своих подпольных иначе и не представлял себе любви, как борьбою, начинал ее всегда с ненависти и кончал нравственным покорением, а потом уж и представить себе не мог: что делать с покоренным предметом?» Если разуметь дело так, что вот, дескать, урод, даже любви никогда не ощущавший, то, конечно, нужно много смелости и искренности, чтобы сделать такое заявление. Любовь, кажется, чувство достаточно общедоступное и достаточно само себя вознаграждающее. Чтобы испытать его, не требуется какой-нибудь особенной умственной или нравственной высоты, и, должно быть, в самом деле жалкий, скудный урод тот, на языке которого любовь и тиранство однозначащи или по крайней мере всегда сопутствуют друг другу. Это так. Ну, а если эта кажущаяся скудость мыслей и чувств — совсем не уродство, а только глубина «проникновения» в душу человеческую? Что, если душа, ну, положим, хоть не человека вообще, а только образованного человека девятнадцатого столетия так уж устроена, что любовь и тиранство в ней неизбежно цветут рядом? Простому смертному не понять этого, да мало ли что! Простой смертный любуется на красоту красивого лица, а ученый человек подойдет с микроскопом, да и увидит в этом красивом лице целую сеть очень некрасивых морщин, рытвин и пр. Так же и тут. Тонкие психологи, вроде подпольного человека и самого Достоевского, могут находить в душе такие вещи и такие сочетания вещей, которые нам, простым смертным, совершенно недоступны. И если в самом деле любовь и тиранство растут, цветут и дают плоды рядом, даже переходя друг в друга; если это некоторым

образом закон природы, то опять-таки кто из образованных людей девятнадцатого столетия посмеет бросить камнем в подпольного человека? Камень неизбежно отскочит от него, как от стены горох, и поразит самого метальщика. И, значит, подпольный человек опять оправдан и даже возвеличен. Ведь уж не о себе лично, а в виде общего наблюдения он говорит: «Знаешь ли, что можно из любви нарочно мучить человека?»

Такое скептическое отношение к лучшим или вообще благожелательным чувствам едва ли ограничивается в подпольном человеке одною любовью. Эпиграфом к рассказу о встрече с Лизой (он имеет отдельное заглавие «По поводу мокрого снега») взяты стихи Некрасова: «Когда из мрака заблужденья горячим словом убежденья я душу падшую извлек» и т. д. В устах подпольного человека эти слова — чистейшая ирония, потому что хотя Лиза действительно «стыдом и ужасом полна», «разрешилася слезами, возмущена, потрясена», но этого результата подпольный человек вовсе не имел в виду и, как мы видели, занимался просто «игрой» в волки и овцы. Но недаром же поставлен такой эпиграф, и от скептического ехидства подпольного человека можно ожидать самых обобщенных киваний на Петра: дескать, если бы такой казус с кем-нибудь из вас, господа, произошел, так вы не преминули бы продекламировать стихи Некрасова и иметь при этом чрезвычайно душеспасительный и даже геройский вид, ну, а я знаю, как эти дела делаются, знаю, что если даже действительно вы о спасении падшей души думали, то все-таки тут примешивалось много желания помучить человека, потерзать его; я знаю это и рассказываю про себя откровенно, а вы за высокие чувства прячетесь...

Справедливо это объяснение или нет, но достоверно, что в подпольном человеке каждое проявление жизни осложняется жестокостью и стремлением к мучительству. И не случайное это, конечно, совпадение, что сам Достоевский всегда и везде тщательно разглядывал примесь жестокости и злобы к разным чувствам, на первый взгляд не имеющим с ними ничего общего. В мелких повестях, собранных во втором и третьем томах сочинений Достоевского, рассыпаны зародыши этих противоестественных сочетаний, зародыши, получившие впоследствии дальнейшее развитие.

В «Крокодиле» намечено сочетание дружбы со злобой («странная вещь эта дружба! Положительно могу сказать, что я на девять десятых был с ним дружен из злобы»). Ниже мы встретимся с чрезвычайно своеобразным выражением этого сочетания в «Вечном муже».

В «Игроке» есть некая Полина — странный тип властной до жестокости, взбалмошной, но обаятельной женщины, повторяющийся в Настасье Филипповне — в «Идиоте», и в Грушеньке — в «Братьях Карамазовых». Этот женский тип очень занимал Достоевского, но в разработке его он всю жизнь ни на шаг не подвинулся вперед. Пожалуй, даже первый абрис — Полина — яснее последнего — Грушеньки. Но и Полина напоминает собой какое-то облако, что-то туманное, не сложившееся и не могущее сложиться в вполне определенную форму, вытягивающееся то в одну, то в другую сторону. Между этой Полиной и героем «Игрока» существуют чрезвычайно странные отношения. Она его любит, как оказывается, впрочем уже очень поздно, а между тем третирует, как лакея, и даже хуже, чем лакея. В каждой подробности ее отношений к «Игроку» сквозит «что-то презрительное и ненавистное». Игрок ее тоже любит, и она знает об этом и именно поэтому всячески издевается над ним, приказывает делать разные глупости, мучит намеренною циничностью и пошлостью своих разговоров. Правда, что в ней это, кажется, фатально. По крайней мере в отношении ее наружности встречается одна очень курьезная и характерная черта: «следок ноги у нее узенький и длинный — *мучительный, именно мучительный*». Что же уж тут поделаешь, коли следок ноги мучительный! В свою очередь и герой хорошенько не знает, действительно ли он любит Полину, или, напротив, ненавидит. По одному случаю он записывает: «И еще раз теперь я задал себе вопрос: люблю ли я ее? И еще раз не сумел на него ответить, то есть, лучше сказать, я опять, в сотый раз ответил себе, что я ее ненавижу. Да, она была мне ненавистна. Бывали минуты, что я отдал бы полжизни, чтобы задушить ее! Клянусь, если бы возможно было медленно погрузить в ее грудь острый нож, то я, мне кажется, схватился бы за него с наслаждением. А между тем, клянусь всем, что есть святого, если бы на Шлангенберге, на модном пуанте, она действительно сказала мне: «бросьтесь вниз», то я бы тотчас же бросился, и даже с наслаждением».

В повести «Село Степанчиково и его обитатели» есть вводное лицо, старичок Ежевикин, играющий роль шута, на вид очень добродушный и всем желающий угодить, а в сущности очень ядовитый — прототип целого ряда старых шутов в последующих произведениях Достоевского. Дочь Ежевикина, бедная гувернантка, находящаяся в особенно трудном положении, полагает, что отец представляет из себя шута *для нее*. По ходу повести это предположение очень вероподобно, но сам Достоевский решительно его отрицает. Он говорит, что Ежевикин «корчил из себя шута просто из внутренней потребности, чтобы дать выход накопившейся *злости...*»

Впрочем, в «Селе Степанчикове» есть лица гораздо более интересные, чем злобный старый шут Ежевикин.

III

Владелец села Степанчикова, Егор Ильич Ростанев, отставной гусарский полковник, есть настоящая овца, смирная и благодушная до глупости. Всякий охочий человек может на нем ездить сколько душе угодно, оскорблять его, тиранить, и он же будет считать себя виноватым перед своим тираном и просить у него прощения. Таковы именно его отношения к матери, вдове генеральше, несноснейшей по глупости и наглости женщине, которая, живя на шее у сына и терзая его на всякие манеры, все находит, что он эгоист и недостаточно к ней внимателен. Но тиранство матери совершенно бледнеет перед тем, что терпит полковник Ростанев, да и все обитатели села Степанчикова от некоего Фомы Фомича Опискина. Это чрезвычайно любопытный экземпляр волчьей породы. Объявился он сначала в доме покойника мужа генеральши «в качестве чтеца и мученика», попросту приживальщика, много терпевшего от генеральского издевательства. Но на дамской половине генеральского дома он разыгрывал совершенно другую роль. Генеральша питала к нему какое-то мистическое уважение, которое он поддерживал душеспасительными беседами, снотолкованиями, прорицаниями, хождением к обедне и заутрене и проч. А когда генерал умер и генеральша перебралась к сыну, Фома Опискин стал решительно первым человеком в доме. Из прошлого Фомы с досто-

верностью известно только, что он потерпел неудачу на литературном поприще и потом множество обид от своего генерала. И он, значит, был овцой, по всей вероятности злобной, паршивой и вообще скверной, но во всяком случае униженной и оскорбленной овцой по своему общественному положению. А теперь вдруг получилась возможность разыграться его волчьим инстинктам. «Теперь представьте же себе, — говорит Достоевский, — что может сделаться из Фомы, во всю жизнь угнетенного и забитого и даже, может быть, и в самом деле битого, из Фомы втайне сластолюбивого и самолюбивого, из Фомы — огорченного литератора, из Фомы — шута из насущного хлеба, из Фомы — в душе деспота, несмотря на все предыдущее ничтожество и бессилие, из Фомы — хвастуна, а при удаче нахала, из этого Фомы, вдруг попавшего в честь и славу, возлелеянного и захваленного благодаря идиотке покровительнице и обольщенному, на все согласному покровителю, в дом которого он попал, наконец, после долгих странствований?»

Действительно, можно себе представить, какая оберканалья должна была получиться при таких условиях! А впрочем, если читателю покажется, что подобную каналью представить себе очень уже легко, то он ошибется. Легко-то легко, но не ему, простому, хотя бы чрезвычайно проницательному читателю, не погружавшемуся надолго и по доброй воле во все извилины мрачных лабиринтов пакостной человеческой души. Легко — знатоку и любителю, каков Достоевский. Достоевский, однако, пожелал почему-то на этот раз предъявить своего зверя в несколько комическом освещении — каприз художника, который может всегда вернуться опять и опять к своему сюжету и перепробовать на нем всевозможные освещения. Тем более что комический колорит при этом только сдабривает впечатление, заставляя вас время от времени улыбнуться; но, спустив улыбку с губ, вы тотчас же понимаете, что перед вами во всяком случае злобный тиран и мучитель.

Вот образчик мучительства Фомы Опискина.

— Прежде кто вы были? — говорит, например, Фома, развалясь после сытного обеда в покойном кресле, причем слуга, стоя за креслом, должен был отмахивать от него свежей липовой веткой мух. — На кого похожи вы были до меня? А теперь я заронил в вас искру того не-

бесного огня, который горит теперь в душе вашей. Заронил ли я в вас искру небесного огня или нет? Отвечайте: заронил я в вас искру или нет?

Фома Фомич, по правде, и сам не знал, зачем сделал такой вопрос. Но молчание и смущение дяди (полковника Ростанева) тотчас же его раззадорили. Он, прежде терпеливый и забитый, теперь вспыхивал, как порох, при каждом малейшем противоречии. Молчание дяди показалось ему обидным, и он уже теперь настаивал на ответе.

— Отвечайте же: горит в вас искра или нет?

Дядя мнется, жмется и не знает, что предпринять.

— Позвольте вам заметить, что я жду, — замечает Фома обидчивым голосом.

— Mais répondez donc *, Егорушка, — подхватывает генеральша, пожимая плечами.

— Я спрашиваю: горит в вас эта искра или нет? — снисходительно повторяет Фома, взяв конфетку из бонбоньерки, которая всегда ставится перед ним на столе. Это уже распоряжение генеральши.

— Ей-богу, не знаю, Фома, — отвечает, наконец, дядя, с отчаянием во взорах. — Должно быть, что-нибудь есть в этом роде, и, право, ты уж лучше не спрашивай, а то я совру что-нибудь...

— Хорошо! Так, по-вашему, я так ничтожен, что даже не стою ответа. Вы это хотели сказать? Ну, пусть будет так, пусть я буду ничто.

— Да нет же, Фома, бог с тобой! Ну, когда я это хотел сказать?

— Нет, вы именно это хотели сказать.

— Да клянусь же, что нет!

— Хорошо! пусть буду я лгун! пусть я, по вашему обвинению, нарочно изыскиваю предлога к ссоре; пусть ко всем оскорблениям присоединится и это — я все перенесу...

— Mais, mon fils! ** — вскрикивает испуганная генеральша.

— Фома Фомич! Маменька! — восклицает дядя в отчаянии. — Ей-богу же, я не виноват! Так разве, нечаянно, с языка сорвалось! Ты не смотри на меня, Фома: я ведь глуп, сам чувствую, что глуп».

---

* Но отвечай же *(франц.)*.— *Ред.*

** Но, сын мой *(франц.)*.— *Ред.*

И т. д. Конечно, Фома смешон, мелок и глуп со своими приставаниями; но, чтобы быть жестоким тираном, вовсе не требуется величавой и трагической физиономии. Вообще мучителям делают слишком много чести, представляя их себе непременно какими-то гигантами. Напротив, при кровопийственном комарином жале они обладают большей частью и комариным ростом. Пример — Фома Опискин, жалкое, дрянное ничтожество, которое, однако, может отравить жизнь слишком деликатным или слабым людям своим мелочным, но назойливым и наглым жужжанием. Взвесьте муки, доставляемые каким-нибудь сильным, острым страданием, и сравните их с теми мелочами, что хронически терпит человек, осужденный на сожительство с Фомой Опискиным, и еще неизвестно, которая чашка весов перетянет. Вы видите, что несчастная овца-полковник совершенно забит, запуган тою деревянною пилою, которою Фома неустанно пилит его изо дня в день. Полковник готов дать своему мучителю какой угодно выкуп, унизить себя, назвать дураком, провалиться сквозь землю, вывернуться наизнанку, лишь бы кончилось это словесное пиление. Но Фоме Опискину никакого выкупа не нужно, ему нужна только пища для злобы и мучительства, и это его алкание ненасытно: пусть полковник еще и еще пожмется, повертится, потерзается, и когда мучитель, наконец, устанет, он оставит свою жертву до следующего раза. Только усталость и может положить конец подобному мучительству; усталость, а не сытость, ибо здесь сытости и быть не может. На какие бы уступки жертва ни шла, каждый ее шаг дает только новый повод для терзаний; все равно как каждое движение рыбы на удочке неизбежно терзает ее внутренности. Фома не добивается никакого определенного результата, достижение которого положило бы конец его операции; для него самый процесс мучительства важен, процесс самодовлеющий и, следовательно, сам по себе безостановочный.

Раз полковник предложил Фоме пятнадцать тысяч, чтобы он только убрался тихим манером из дому. Фома разыграл трагическую сцену с этими, как он выразился, «миллионами», расшвырял деньги по комнате, надругался над полковником всласть, заставил его просить у себя прощения и в конце концов не взял денег, но и из дому не ушел. Некто Мизинчиков отзывается об этом случае

так: «Отказался от пятнадцати тысяч, чтобы взять потом тридцать. Впрочем, знаете что: я сомневаюсь, чтобы у Фомы был какой-нибудь расчет. Этот человек непрактический, это тоже в своем роде какой-то поэт. Пятнадцать тысяч... гм! Видите ли, он и взял бы деньги, да не устоял перед соблазном погримасничать, порисоваться». Впоследствии, когда по одному, совершенно особенному случаю полковник, наконец, поступил с своим мучителем физически и буквально вышвырнул его за дверь, Фома смирился. Он даже устроил счастье полковника, конечно со всякими вывертами и ломаниями. Но тем не менее Мизинчиков прав: Фома человек непрактический — ему нужно ненужное.

Трудно, разумеется, положить границу между нужным и ненужным. То, что вовсе не нужно, например, русскому мужику, может быть необходимо английскому лорду, а по прошествии некоторого времени и русский мужик потребует вещей по-теперешнему ненужных. Вообще, кроме прямого удовлетворения самых элементарных потребностей в воздухе, пище, крове, одежде, все теперь нужное было когда-то совсем ненужно. Бывает и наоборот, что потребности упраздняются, нужное отходит в область ненужного. Иногда это дело изменчивой моды, иногда — коренного изменения условий жизни. Но если, таким образом, между нужным и ненужным нельзя установить безусловную границу, то в известном обществе, стоящем на известном уровне, уловить границу условную вовсе уж не так трудно. Запутанность подробностей или пристрастие исследователя могут, конечно, затемнить дело и поставить под сомнение даже такой, например, вопрос, как: нужна ли свобода русской печати, или это ненужная роскошь? Но в принципе тут все-таки никакой трудности нет. Тем более что в крупных по крайней мере вещах условная, историческая граница между нужным и ненужным отмечается обыкновенно или большими общественными непорядками, или присутствием крупных, выдающихся личностей, новаторов, которые ищут чего-то, по общему мнению, ненужного, но долженствующего стать, может быть, завтра же нужным. Не будем спорить о самой механике процесса; не будем говорить о том, отдельные ли выдающиеся личности создают новую потребность, или упраздняют старую, или, наоборот, они своею деятельностью только подводят итог

разрозненным и непродуманным стремлениям массы. Для нас этот вопрос безразличный, который притом же отвлек бы нас далеко в сторону. Так ли, сяк ли, но достоверно, что в больших и в малых делах, в области отвлеченной теории и житейской практики от времени до времени являются особенно требовательные люди, которые не довольствуются нужным, которым нужное даже противно, а дорого и важно ненужное. Для них томительна приевшаяся сфера нужного, того, что всем требуется и без чего никто уже не может жить. Они требуют от жизни если не неизведанного и еще загадочного нового по существу, то по крайней мере какой-нибудь приправы к пресному нужному...

Вы ждете, конечно, разговора о тех представителях человечества, которые ищут новых истин, новых форм справедливости и ценою страшных усилий, страданий, а иногда самой жизни своей переводят их из области ненужного в область нужного, обращают во всеобщую потребность; о тех людях, про которых сказано, что никто в своей земле пророком не бывал; о тех, кого соотечественники и современники далеко не всегда встречают с распростертыми объятиями, а, напротив, слишком часто гонят, чтобы потом, через много лет, потомки задали себе безустанно повторяющийся в истории вопрос: как это можно было гнать и распинать тех людей? И как можно было считать ненужным то, чего они добивались?

Да, эти люди сюда относятся. Но не о них пойдет у нас разговор, потому что нас ждет Фома Опискин, который тоже сюда относится. Не смущайтесь этим сопоставлением «пальца от ноги», по выражению Менения Агриппы[9], с красой и гордостью людского рода. Оно только на первый взгляд кажется оскорбительным для человеческого достоинства. Дело в том, что двери ненужного очень широки и через них входят в жизнь и добро и зло. Римская чернь времен упадка Рима орала: «Хлеба и зрелищ!» Но не всегда же «зрелища» были так же нужны, как хлеб, а тем паче те жестокие, кровавые зрелища, которыми наслаждались выродившиеся римляне. Кто-то когда-то сделал эти зрелища равными насущному хлебу. Кто сделал — сильные ли своим нравственным влиянием, или официальною мощью личности или же сама проголодавшаяся и развращенная чернь, это опять-таки для нас в настоящую минуту безразлично. Но достоверно,

что особенное раздражение нервов, даваемое кровавыми зрелищами, прежде ненужное, стало потребностью и что первые, кто ощутил эту потребность, вводили в жизнь ненужное и были своего рода новаторами, требовательными натурами, не довольствующимися нужным хлебом. Таким образом, не совсем прав король Лир, говоря: «Дай человеку то лишь, без чего не может жить он, — ты его сравняешь с животным». Это правда, но неполная правда, полправды. Другая же половина правды состоит в том, что и ненужное, без чего жить очень и очень можно, обращаясь в нужное, равняет иногда человека с животным. Все дело в свойствах того ненужного, к которому стремятся требовательные натуры, и в степени их влияния на своих соотечественников и современников. Ненужное может быть возвышенно и даже превышать человеческие силы и способности; но оно может быть и низменно до скотства. И в том и в другом случае его может усиливаться ввести в жизнь слабосильное ничтожество и действительно крупная сила. Понятно, какие различные комбинации могут выходить из этих четырех данных.

Возвращаясь к Фоме Опискину, надо будет признать, что он слишком мелок, чтобы положить печать своего образа и подобия на сколько-нибудь значительный круг людей. Но представьте себе, что он обладает какою-нибудь внутреннею силою; представьте себе, например, что он не неудачник-литератор, а обладает, напротив того, большим и оригинальным дарованием, оставаясь в то же время Фомой Опискиным по натуре.

Впрочем, покончим сначала с портретом Фомы, тогда дело будет виднее.

По теперешним условиям нашей жизни курицу к обеду зарезать или быка убить нужно, но мучить при этом быка и курицу, растягивать их агонию, отрубать им предварительно ноги, колесовать — не нужно. Это зрелище уж, конечно, не скрасит вашего обеда, а разве испортит его. Фоме, напротив, важно как раз именно это ненужное. Он нарочно протянет убийство курицы, чтобы опоздать с обедом, все время злиться и с удвоенною жестокостью следить за судорожными вздрагиваниями жертвы. Это стремление к ненужному доходит в Фоме до совершенной глупости, которая была бы сама по себе смешна, если бы от нее не страдали люди. Был, например, в селе Степанчикове дворовый мальчик Фалалей,

очень красивый, очень наивный, глупый и всеобщий баловень, а этого последнего было совершенно достаточно, чтобы Фалалей стал предметом завистливой злобы Фомы. Но главным покровителем Фалалея была сама генеральша, которая наряжала его, как куклу, да и любила, как хорошенькую куклу. Этого препятствия Фома не мог преодолеть напролом, а потому избрал окольный, но верный путь. Он сам пожелал быть благодетелем Фалалея и начал свои благодеяния с обучения мальчугана «нравственности, хорошим манерам и французскому языку». «Как! — говорил Фома. — Он всегда вверху, при своей госпоже, вдруг она, забыв, что он не понимает по-французски, скажет ему, например: донне муа мон мушуар * — он должен и тут найтись и тут услужить!» Но Фалалей оказался глуп на всех диалектах, к книжному же обучению, тем паче французскому, совсем неспособен. Отсюда источник его мучений. Допекал его Фома, допекала и дворня прозвищем «француза». Вдруг Фома узнает, что камердинер полковника, старик Гаврила, осмелился выразить сомнение в пользе французской грамоты. А Фома тому и рад, рад тою злобною радостью, которая хватается за всякий случай приложить к делу особливо ненужное, виртуозное надругательство: в наказание он засадил за французский язык самого Гаврилу. А затем происходит такая, например, сцена. В присутствии целого общества он обращается к старику камердинеру:

— Эй ты, ворона, пошел сюда! Да удостойте подвинуться поближе, Гаврила Игнатьич! Это, вот видите ли, Павел Семеныч, Гаврила; за грубость и в наказание изучает французский диалект. Я, как Орфей, смягчаю здешние нравы, только не песнями, а французским диалектом. Ну, француз мусью шематон — *терпеть не может, когда говорят ему: мусье шематон,* знаешь урок?

— Вытвердил, — отвечал повесив голову Гаврила.

— А парлэ-ву-франсе? **

— Вуй, мусье, же-ле-парль-эн-пе... ***

Разумеется, всеобщий хохот веселой компании; старик обижается; поднимается страшный скандал, за кото-

* подай мне платок *(франц.).— Ред.*

** Вы говорите по-французски? *(франц.).— Ред.*

*** Да, сударь, говорю немного *(франц.).— Ред.*

рым мы уж следить не будем. Нас еще несчастный Фалалей ждет. Обратите только внимание на эту злостную черту: Фома, издеваясь над Гаврилой вообще, не упускает случая всадить ему еще специальную шпильку мусью шематона, чего тот *терпеть не может*. Этого-то Фоме и нужно. Он тщательно изучает, по мере своих сил и способностей, что кому не нравится, именно затем, чтобы, при случае, отточить из собранных материалов ядовитую шпильку.

Так как Фома обучает Фалалея, кроме французского языка, еще нравственности и хорошим манерам, то однажды предъявляет его публике под таким соусом:

— Поди сюда, поди сюда, нелепая душа; поди сюда, идиот, румяная ты рожа!

Фалалей подходит, плача, утирая обеими руками глаза.

— Что ты сказал, когда сожрал свой пирог? повтори при всех!

Фалалей не отвечает и заливается горькими слезами.

— Так я скажу за тебя, коли так. Ты сказал, треснув себя по своему набитому и неприличному брюху: «Натрескался пирога, как Мартын мыла!» — Помилуйте, полковник, разве говорят такими фразами в образованном обществе, а тем более в высшем? Сказал ты это или нет? говори!

— Сказал! — подтверждает Фалалей, всхлипывая.

— Ну, так скажи мне теперь: разве Мартын ест мыло? Где именно ты видел такого Мартына, который ест мыло? Говори же, дай мне понятие об этом феноменальном Мартыне!

Молчание.

— Я тебя спрашиваю, — пристает Фома, — кто именно этот Мартын? Я хочу его видеть, хочу с ним познакомиться. Ну, кто же он? Регистратор, астроном, пошехонец, поэт, каптенармус, дворовый человек — кто-нибудь должен же быть. Отвечай!

— Дво-ро-вый че-ло-век, — отвечает, наконец, Фалалей, продолжая плакать.

— Чей? Чьих господ?

Но Фалалей не умеет сказать — чьих господ. Разумеется, кончается тем, что Фома в сердцах убегает из комнаты и кричит, что его обидели; с генеральшей начинают-

ся припадки, а дядя клянет час своего рождения, просит у всех прощения и всю остальную часть дня ходит на цыпочках в своих собственных комнатах.

На другой же день после истории с Мартыновым мылом Фалалей как ни в чем не бывало, подавая утром Фоме чай, рассказал ему, что видел сон «про белого быка». Фома пришел в ужас, распушил полковника, а Фалалея подверг, кроме того, наказанию — стоянию в углу на коленях. Причину же такого гнева можно усмотреть из следующего реприманда: «Разве ты не можешь, — говорил Фома Фалалею, — разве ты не можешь видеть во сне что-нибудь изящное, нежное, облагороженное, какую-нибудь сцену из хорошего общества, например хоть господ, играющих в карты, или дам, прогуливающихся в прекрасном саду?» Фому белый бык возмущал, как доказательство «грубости, невежества, мужичества вашего неотесанного Фалалея». Фалалей обещал исправиться, но — увы! — и на следующий и на третий день и подряд целую неделю видел во сне все того же белого быка, хотя даже молился на ночь, чтобы его не видать. Соврать же он по глупости и правдивости своей не догадывался. Все в доме трепетало от ярости Фомы, Фалалей даже исхудал, и сердобольные бабы уже спрыснули его с уголька, как вдруг история кончилась сама собой, измором, потому что Фома был отвлечен другими делами.

Довольно, кажется. Мы можем пренебречь другими подвигами Фомы, которых еще много, и все они в том же роде. Фома есть один из любопытнейших экземпляров волчьей породы, в этом не может, конечно, быть никакого сомнения — все его действия и даже слова запечатлены самою свирепою жестокостью. Но вместе с тем он, по верному определению Мизинчикова, непрактический человек и, пожалуй, «в своем роде какой-то поэт» — все его вышеизложенные поступки поражают своею ненужностью. Словами «ненужная жестокость» исчерпывается чуть не вся нравственная физиономия Фомы, и если прибавить сюда безмерное самолюбие при полном ничтожестве, так вот и весь Фома Опискин. Он никакой выгоды из своей жестокости не извлекает, он предается мучительству по непосредственному требованию своей волчьей натуры, что называется, *так*. Он — чистый художник, поэт злости и тиранства без малейшей утилитарной подкладки. И чем вычурнее, необыкновеннее осенивший его го-

лову проект мучительства, тем для него приятнее. Дайте Фоме Опискину внешнюю силу Ивана Грозного или Нерона, и он им не уступит ни на один волос, «удивит мир злодейством». Дайте же ему какую-нибудь внутреннюю силу, произойдут вещи, в некоторых отношениях еще более любопытные.

Представьте себе, как уже выше было сказано, что Фома Опискин не бездарность, потерпевшая фиаско на литературном поприще, а напротив — большой талант. Прежде всего большой талант, конечно, смягчит в Фоме Опискине карикатурно грубые черты физиономии. «Гений и злодейство несовместны», — говорит Пушкин устами своего Моцарта. Это неправда — очень совместны. Но все-таки с крупным талантом несовместны такие дурацкие формы, в какие облекается тиранство Фомы: талант придаст им известное изящество, красоту, привлекательность, так что даже далеко не всякий догадается, что имеет дело с мучителем по призванию натуры. Затем так как перед нами литературный деятель, то мы должны иметь в виду главным образом именно эту его деятельность, а до частной его жизни нам, пожалуй, и никакого дела нет. О подлинном Фоме Опискине, то есть о том, который показывается в зверинце Достоевского, одни полагали, что он высокой и святой жизни человек, другие были совершенно противного мнения. Относительно *нашего* Фомы не может быть даже и разговора на этот счет. Нам только интересно знать, как отразится в крупном литературном таланте ненужная жестокость, освободившись от глупости, грязи и ничтожества Фомы Опискина.

IV

Жестокий талант, который при этом получится, выберет преимущественно темою для своих произведений страдание и будет заставлять страдать и своих действующих лиц и своих читателей. Конечно, это может сделать и самый мягкий, даже приторный талант. Совершенно натурально, что на теме страдания построено многое множество литературных произведений, потому что литература есть только отражение жизни, а в жизни страдания слишком довольно. А раз за обработку этой темы берется настоящий талант, то опять-таки натурально, что

он вызовет у читателя слезы сочувствия или негодования, вообще заставит его перестрадать известное страдательное положение. Но отличительным свойством нашего жестокого таланта будет ненужность причиняемого им страдания, беспричинность его и бесцельность. Наш жестокий талант будет именно вышеупомянутою требовательною натурою, которой нужное совсем ненужно, для которой нужное слишком пресно. Формальным образом на архитектуре романа или повести это отразится непомерными и совершенно нехудожественными длиннотами, вводными сценами, отступлениями во всех тех случаях, когда будет соблазн мучительно пощекотать нервы читателя или подвергнуть жестокому воздействию кого-нибудь из персонажей. При этом внутренняя сторона всех этих отступлений и вводных картин не будет вызываться течением романа, не будет соответствовать жизненной правде, не будет иметь нравственного смысла, не будет шевелить у читателя мысль. Все это условия или требования нужного, и все это жестокий талант презрит и повергнет к подножию ненужного страдания. Просто для того, чтобы помучить какого-нибудь, им самим созданного Сидорова или Петрова (а вместе с ним и читателя), он навалит на него невероятную гору несчастий, заставит совершить самые вычурные преступления и терпеть за них соответственные угрызения совести, проволочит сквозь тысячи бед и оскорблений, самых фантастических, самых невозможных. Житейское, обыденное, нужное он оставит без внимания или уделит ему таковое в самом ничтожном размере. Зато каждый мельчайший штрих, каждую микроскопическую подробность ненужного страдания разовьет с тщательностью виртуоза. Понятное дело, что если бы такую работу представила жестокая бездарность, то, конечно, ничего, кроме насмешки, в вознаграждение не получила бы, потому что тут нарушены все общепризнанные, и основательно общепризнанные, условия литературного творчества. Но ведь мы имеем дело с талантом, а талант имеет привилегию влагать душу живу во все, за что он принимается. Он так предъявит вам свое ненужное, невозможное, неправдоподобное, уродливое, фантастическое, что вы не оторветесь, и не до насмешки вам будет, потому что вы действительно перестрадаете предъявленное вам страдание. Он отуманит вам голову своими образами и картинами, заставит усиленно бить-

ся сердце, и разве в те lucida intervalae *, когда во время самого чтения найдет на вас трезвость, вы спросите себя: и за что он этого Сидорова или Петрова так мучит? За что и меня вместе с ним так мучительно щекочет? За что и зачем? Совсем ведь это не нужно. Ни в каком смысле не нужно? Это какой-то испанский бой быков происходит. Следя с напряженным вниманием за перипетиями этого отвратительного зрелища, я вместе со всеми зрителями ощущаю прилив и отлив различных чувств, я увлечен, я весь превратился в зрение и слух. Но разве нужно, чтобы бык распорол брюхо лошади, посадил на рога пикадора и получил ловкий смертельный удар от матадора?

Разве нужно? В том-то и дело, что нужно, если целая масса людей любуется на эти мерзости; нужно в смысле ощущений, ставших потребностью, хотя никаких иных оправданий они, разумеется, за себя представить не могут. Вернее будет, однако, сказать, что *было* нужно, потому что испанцы, кажется, начинают отставать от этого, как говорится на нашем политическом жаргоне, самобытного развлечения. Но, во всяком случае сравнительно еще очень недавно, все путешественники по Испании описывали восторг и увлечение, с которым публика, со включением прекрасного слабого, нежного пола, аплодировала быку, сажающему на рога пикадора, и матадору, вонзающему шпагу в быка. Было, однако, и в поэтической Испании время, когда бой быков был вещью ненужною, когда он просто даже совсем не значился в числе самобытных испанских удовольствий. Эта потребность привилась не вдруг, как не вдруг теперь упраздняется. Можно поэтому думать, что раздумье, в которое впадают по временам читатели и почитатели жестокого таланта, с течением времени будет постепенно ослабевать и ослабевать, пока, наконец, возбуждение, определяемое ненужною жестокостью автора, станет потребностью, столь же сильною, как испанская потребность в бое быков и римская потребность в зрелищах. Конечно, для такого результата нужно совпадение довольно сложных обстоятельств. Первым делом жестокий талант должен быть действительно большим и оригинальным талантом, способным «глаголом жечь сердца людей». Но и за всем тем он может промелькнуть падучей звездой, если в окру-

* светлые промежутки *(лат.)*.— *Ред.*

жающей и читающей его среде не будет налицо подходящих условий. Если, например, общество будет иметь перед собою какую-нибудь широкую задачу или целый ряд задач, достаточных для поглощения его внимания, то жестокий талант просуществует бесследно, хотя его, разумеется, будут читать. Может быть, спустя долгое время, при совершенно иных условиях жизни, его вспомнят и упьются им до опьянения, особливо если явятся подходящие продолжатели, подражатели, толкователи. Так не раз случалось в истории мысли и творчества. Какой-нибудь Шопенгауэр, например, ум гениальный, в свое время не произвел впечатления, какого заслуживал, а через несколько десятков лет воскрес в Гартмане, мыслителе очень ловком, но разве достойном только развязать ремень у сапога Шопенгауэра. Понятное дело, что если читающий люд окажется на мели, то есть будет сидеть без дела, без настоящего, увлекающего дела, и только заниматься делами да обделывать дела, то жестокий талант примется с распростертыми объятиями: от безделья и то рукоделье. Тут надо, впрочем, оговориться. Дела у людей, собственно говоря, всегда довольно, слишком довольно, и нет такого ни времени, ни племени, перед которыми не стояли бы задачи достаточно широкие, чтобы заниматься ими, а не упиваться боем быков. Для признания такого простого положения совсем не требуется быть узким ригористом и считать, что «печной горшок всего дороже» на свете, ибо «в нем пищу мы себе варим» [10]. Нет, есть вещи несравненно более дорогие, чем печной горшок, но уж наверное это не бой быков. И, однако, несмотря на это постоянное присутствие задач, достойных всецелого внимания общества и даже как раз в пору их особенной настоятельности, жестокий талант может стать героем своего времени, прибежищем для общественного внимания, ищущего куда бы ему приткнуться. Это тогда может случиться, когда общество поставлено к лежащему перед ним делу в такое же отношение, в каком лисица стоит к винограду в басне Крылова. Если дело есть и для всех это ясно, потому что дело выросло из самых недр истории, но посторонние обстоятельства не позволяют его делать, то взбудораженная энергия, не находя себе правильного исхода, обращается к разным низменным ненужностям наркотического свойства. В числе их могут быть и те ощущения, которые даются произведениями

жестокого таланта. При таких условиях читатель покорно, даже с некоторым восторгом пойдет на те ненужные мучения, каким подвергает его вместе со своим Сидоровым или Петровым жестокий талант. Выдуманная и не только выдуманная, а прямо-таки совсем ненужная мука станет потребностью, для удовлетворения которой явится целая фаланга подражателей и продолжателей нашего жестокого таланта. Понятно, что и в самой жизни, в «живой жизни», говоря словами подпольного человека, эта потребность в ненужных мучениях и эта привычка к ним должны отразиться различными трудно определимыми, но уж, разумеется, не хорошими последствиями. Надо помнить, что мучения эти имеют отраженный характер. Не то чтобы в самом деле читателя в три кнута били. Нет, бьют на его глазах Сидорова или Петрова, бьют ни с того ни с сего человека ни в чем не повинного, но бьют вместе с тем так художественно, что читателю становится любо смотреть на это отвратительное зрелище; просто любо, без малейшего участия других чувств и мысли.

Все это я говорю в том предположении, что жестокий талант есть поэт, беллетрист. И, кажется, все это само собой естественно вытекает из основной характеристической черты нашего очищенного и преображенного Фомы Опискина — ненужной жестокости. Гораздо труднее вывести все последствия ненужной жестокости, если формой литературной деятельности ее носителя будет публицистика. Оно, пожалуй, на первый взгляд даже и нетрудно, особенно нам, русским, имеющим в букете своей публицистики такую благоуханную розу, как Катков. В самом деле, что такое классическое детоубийство, столь назойливо проповедуемое на Страстном бульваре в Москве, как не точный сколок с водворения французского языка Фомой Опискиным в селе Степанчикове: вуй, мусью, же ле парль эн-пе — и от этих магических слов нравы смягчаются [11]. Очень похоже, это правда, но все-таки это только родственная черта, а не черта тождественности. Родственных черт можно найти еще довольно много, потому что жестокость Каткова и его склонность к насилию совершенно чрезвычайны. Но в качестве публициста он преследует все-таки известные практические задачи, добивается известных результатов. Мотивы его деятельности, вероятно, очень разнообразны. Тут, на-

до думать, есть и действительное убеждение, и упрямство, и самодурство, и растерянность публициста, много лет пользовавшегося небывалым у нас влиянием и видящего в конце концов, что ничего путного он из своего влияния не сделал. Но так или иначе, по тем или другим побуждениям, а Каткову нужно, например, как Марату, сто тысяч голов — он их и требует; [12] нужно, чтобы, кроме него, в печати никто не смел слова пикнуть — он этого и добивается; нужно, чтобы все читали Гомера и Виргилия в подлиннике — он и пропагандирует. Фоме Опискину никаких таких результатов не надо. Он, вероятно, подал бы руку Каткову и почтил бы его деятельность своим сочувствием и уважением, но ему лично нужен только самый процесс мучительства. Он, например, был бы очень счастлив, если бы имел возможность пилить своей словесной пилой сто тысяч человек изо дня в день, но не до умерщвления, а так, чтобы они неустанно корчились от душевной боли, а он бы их все попиливал, да потыкивал, да поджаривал. Спрашивается: как же вместить эту беспричинность и безрезультатность мучительства в публицистику, имеющую непременно дело с причинами и результатами? Очень трудно вместить, и придется, пожалуй, решить дело так, что чистым публицистом наш жестокий талант совсем и быть не может. Он может по временам делать экскурсии в эту область, но центр тяжести его деятельности должен непременно лежать в художественной сфере, где у поэта, как говорится, своя рука владыка. Вызвал из мрака небытия Сидорова, и тешься над ним сколько душе угодно: художник ведь не обязан предъявлять доводы и аргументы, почему, зачем, за что пьет Сидоров такую горькую чашу. Наконец, область искусства допускает один прием, представляющий переход к публицистике. Стоит только автору вложить одному из действующих лиц свои собственные мысли. И можно, кажется, предвидеть, что жестокий талант будет прибегать к этому приему довольно часто, растягивая притом монологи своего подставного *я* до совершенно нехудожественной длинноты. Оборот для жестокого таланта очень удобный. Темою для его рассуждений в публицистической форме должно остаться все то же ненужное, беспричинное и безрезультатное страдание. Но здесь она должна получить вид уже не безнужно страдающих образов, а вид практического требования. Ну, а как же так-

таки прямо от своего имени требовать мучений для людей? Гораздо удобнее вложить это требование в уста какого-нибудь «парадоксалиста», какого-нибудь эксцентрического человека. А впрочем, мы сейчас увидим, что жестокий талант может в конце концов придумать форму для прямого требования страдания от своего собственного лица, обставляя, разумеется, дело разными кариатидами и другими якобы поддерживающими здание украшениями.

Но читатель, пожалуй, усомнится в самой возможности таких безнужно жестоких людей. Он слыхал, что люди мучают людей из мести, корысти и т. п. И когда страсть отуманит голову, жестокость если не извинительна, то по крайней мере понятна в пылу одури. Но так мучить, ради одной игры фантазии, ради одного художественного созерцания мучений — бывает ли это? К сожалению, несомненно бывает. Об этом свидетельствует история, знающая Ивана Грозного, Нерона и других жрецов чистейшего и утонченнейшего искусства мучительства. Об этом свидетельствует исторический же факт удовольствия, которое иногда в течение целых длинных периодов доставляют людям зверские зрелища. О том же свидетельствуют разные житейские мелочи, если вы захотите к ним приглядеться. Об этом же свидетельствует психологическая наблюдательность такого крупного художника, как Достоевский, который, не говоря о последующих его произведениях, создал хотя бы только подпольного человека и Фому Опискина. Достоевский удостоверяет, что «человек — деспот от природы и любит быть мучителем»; что есть люди, находящие в мучительстве сильнейшее и напряженнейшее наслаждение — сладострастие; что можно с наслаждением мучить не только ненавистного, а и любимого человека. И как же нам не поверить, наконец, этому, ну, хоть не пророку божию — это уж г. Соловьев в забвении чувств хватил, — но во всяком случае чрезвычайно тонкому наблюдателю? Тем более что, независимо от представленных им поэтических образцов ненужной жестокости, Достоевский сам был одним из любопытнейших ее живых образцов. Он был именно тот жестокий талант, о котором сейчас шла речь...

Если бы картонные мечи умиленных плакальщиков, хитроумных политиканов и так себе пустопорожних лю-

дей, уже давно полуизвлеченные из ножен, могли рубить и колоть, то, конечно, я был бы в эту минуту повержен множеством ударов. Как! Достоевский — звезда русской литературы и едва ли не правило веры и образ кротости, уличается в жестокости, да еще совершенно ненужной, сравнивается с таким дрянным ничтожеством, как Фома Опискин! Только узкое пристрастие лагеря, партии может довести до такой дерзости!

В таком роде что-нибудь скажут умиленные плакальщики, хитроумные политиканы и так себе пустопорожние люди, а не скажут, так подумают, с прибавкой, конечно, еще многих и разнообразных нелестных для меня вещей. До этих господ мне решительно никакого дела нет. Но я боюсь, чтобы кто-нибудь из благомыслящих читателей, сбитый с толку елейной репутацией Достоевского, не предъявил не то что этих возражений, потому что какие же это возражения? — а этих попреков. Это было бы огорчительно. Дело в том, что лагерное, партийное отношение к Достоевскому невозможно. Ни к какой определенной партии он не принадлежал, а тем паче не оставил после себя школы. Можно только сказать, что в чисто литературном отношении некоторые наши молодые беллетристы, к сожалению, соблазнились примером Достоевского и пытаются заниматься безнужным мучительством, предполагая, вероятно, что в этом, и только в этом, состоит психологический анализ. Затем, к различным наметившимся у нас политическим партиям Достоевский был одними сторонами ближе, другими дальше и просто не обладал тем, что можно назвать политическим темпераментом. Он был прежде всего художник, радующийся процессу творчества, и потом проповедник, имеющий дело исключительно с личностью и ее судьбами. Политическую же жизнь и ее формы он не то что понимал правильно или неправильно, — это бы еще подлежало обсуждению, а просто не интересовался ими. Совсем они были чужие ему, всеми своими вкусами влекомому к разбирательству интимнейших личных дел и делишек. Оттого, когда под конец разные случайные обстоятельства толкнули его на путь публицистики, ему случалось проговариваться нелепостями, которые казались бы колоссальными, если бы они не были так комичны. То вдруг брякнет, что крепостное право само по себе нисколько не мешает идеально-нравственным отношениям между госпо-

дами и крепостными. То изречет пророчества, что мы возьмем в самом скором времени Константинополь, а турки пойдут торговать халатами и мылом, как будто бы было с татарами после взятия Казани [13]. Понятное дело, что политиканы, мечтающие о возрождении крепостного права в обновленной и юридически совершенно правильной форме, а также пустопорожние люди, желающие прибить свой щит к вратам Цареграда, были рады этой косвенной поддержке со стороны крупного литературного таланта. Понятно также, что люди, имеющие нечто против крепостного права, даже чрезвычайно и по новейшей моде разукрашенного, и полагающие, что мы можем пока обойтись и без Константинополя, не могли с радостным чувством слышать эти пустяки из уст писателя, который пользовался обширною и заслуженною известностью, хотя и совсем по другой части. Изволь еще там разбирай, по какой части: *Достоевский* говорит, и это уже очень и очень важно для многих. Отсюда радость одних и огорчение других. Но никогда ни одни, ни другие не считали мало-мальски серьезно Достоевского политическим деятелем или опорою партии. А потому, повторяю, партийное пристрастие не имеет по отношению к Достоевскому никакого raison d'être *, особливо теперь, после его смерти.

Вся политика и публицистика Достоевского представляет сплошное шатание и сумбур, в котором есть, однако, одна самостоятельная, оригинальная черта: ненужная, беспричинная, безрезультатная жестокость. И если я сопоставлю Достоевского с его же созданием, Фомой Опискиным, то, конечно, очень хорошо понимаю, что первый умен и талантлив, а второй глуп и бездарен. О житейских отношениях Достоевского нам ничего не известно, да, пожалуй, и не надобно знать, ибо мы хотим только видеть, как житейская ненужная жестокость Фомы Опискина отражается в *литературной* деятельности Достоевского.

Начнем с конца, то есть с публицистики, потому что тут дело стоит проще и яснее всего, хотя довольно и трудно, едва ли даже возможно говорить о публицистике Достоевского, не касаясь его беллетристики.

Катков негодует на слабость приговоров суда присяж-

---

* основания *(франц.).— Ред.*

ных и требует «строгих наказаний, острога и каторги». Достоевский тоже негодовал на слабость приговоров суда присяжных и требовал строгих наказаний, острога и каторги. Но разница вот в чем. Негодование и требование Каткова стоят на чисто утилитарной почве: он ратует за расшатанную «дисциплину», требует, чтобы вообще обитатели земли русской, недостаточно «подтянутые», были, наконец, подтянуты в удовлетворительной степени. Достоевский стоял в своем требовании вне всяких утилитарных соображений. Самый вопрос: зачем строгие наказания, острог и каторга? — не существовал для него, хотя ему поневоле приходилось в публицистической своей деятельности вертеться около этого вопроса. Однако и тут он больше сворачивал на другой, собственно говоря, необыкновенно странный вопрос: кто хочет строгих наказаний и проч.? Кто хочет страдания вообще? Понятно, что такая постановка чрезвычайно удобна для человека, не умеющего, не желающего мотивировать свое требование, принужденного почему-нибудь скрывать свои истинные мотивы или, наконец, просто плохо сознающего их. (Последнее случается гораздо чаще, чем, может быть, думает читатель: сплошь и рядом человек всю жизнь не отдает себе отчета в истинных мотивах своей деятельности.) Чрезвычайно удобно вместо всякой аргументации по самому существу дела сослаться на какой-нибудь могущественный в данном случае авторитет: дескать, он, авторитет, хочет. Ну, а авторитету этому можно и собственное хотение подсунуть. Достоевский перепробовал, кажется, все подобные авторитеты. Мы видели, что уже подпольный человек говорит о желании людей страдать, о том, что они «любят до страсти» страдание. Затем, в последующих своих беллетристических произведениях, Достоевский с особенною любовью останавливался на тех отдельных случаях, когда человек в самом деле ищет страдания, пожалуй именно любит его, в искупление когда-то совершенного им греха. С этою целью он заставляет своих действующих лиц совершать вычурные, фантастические преступления или по крайней мере питать того же сорта мысли, чтобы потом они могли страдать, страдать, страдать. Достойно внимания, что человек иногда бывает готов идти на страдание по совершенно иным мотивам, но Достоевский не признавал их законными и если вводил в свои произведения,

то непременно в язвительном тоне. Сейчас мы увидим, в чем тут дело. Во всяком случае, человек сам хочет и любит страдать, а это авторитет в данном случае достаточно высокий; уж если сам хочет страдать, так незачем и рассуждать о причинах и целях страдания, — пусть себе страдает. Но Достоевский не удовольствовался этим авторитетом, основательно, может быть, соображая, что не всякий поверит такой любви человека к страданию. С течением времени он прибавил авторитет самого бога, а затем авторитет русского народа, и около этого последнего столба, собственно, и вертелась вся его политика и публицистика, излагавшаяся от его собственного имени в «Дневнике писателя» и от имени действующих лиц романов: «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы». При ближайшем рассмотрении открылось, видите ли, что не человек вообще любит и хочет страдать, а именно русский человек. Французский, немецкий, турецкий и всякий другой иностранный человек остается по этому пункту даже как бы в сильном подозрении. Коренная же черта русского человека, особливо сохранившаяся в народе, состоит в неудержимом стремлении к страданию. Из этого центра идут в разные стороны радиусы в виде весьма, впрочем, немногочисленных теоретических и практических выводов. Типическим образчиком едва ли не всех их в совокупности может служить такое рассуждение. Адвокаты, прокуроры, судьи и, под влиянием их, присяжные заседатели (а если присяжные принадлежат к так называемой интеллигенции, то и совершенно самостоятельно) в качестве людей, оторвавшихся от национальной почвы, не понимают потребности русского народа в страдании; они оправдывают преступника-мужика, тогда как он сам хотел бы попасть на каторгу и даже преступление-то совершил именно, может быть, затем, чтобы потом пострадать от угрызений совести или в остроге, или на каторге.

Странные, дикие, невозможные размышления, но Достоевский их высказал целиком. И, конечно, одною жестокостью их объяснить нельзя. К жестокости таланта, которою мы теперь заняты и которая, натурально, должна прорезываться главным образом в беллетристике, в настоящем случае прибавлялись еще другие элементы, упомянутые в заметке по поводу смерти Достоевского: уважение к существующему общему порядку и склон-

ность к личной проповеди, вообще к постановке всех вопросов на личную почву. Этих элементов мы теперь касаться не будем и отметим только следующее обстоятельство.

«Человек — деспот от природы и любит быть мучителем», — говорит Достоевский устами «Игрока». «Человек до страсти любит страдание», — говорит тот же Достоевский устами подпольного человека. Мучить или мучиться или и мучить и мучиться вместе — вот, значит, не только судьба человека, а и глубокое требование его природы. Как в экономии природы существуют волки и овцы, так в экономии взаимных людских отношений существуют и должны существовать мучители и мученики. Спрашивается, как же с мучителями-то быть? Как к ним относиться? Вы скажете, может быть, что поступать с ними надо так же, как с волками, то есть просто гнать и бить их. Отнюдь нет. Волки человеку неугодны и неудобны, оттого он их и бьет, а тут сам человек любит быть мучителем и сам же любит страдать — двойное оправдание для существования мучителей. Поэтому общий порядок вещей, создающий мучителей и мучеников, представляет собою нечто священное и неприкосновенное, и Достоевский на разнообразные манеры преследовал всех, кто словом, делом или помышлением посягал на этот неприкосновенный общий порядок. Только в своей речи на пушкинском торжестве Достоевский согласился признать их право на имя русских людей.

Но если общий порядок вещей неприкосновенен, то из этого отнюдь не следует, разумеется, что столь же неприкосновенны отдельные личности мучителей. Нет, тут надо разбирать. Есть формы мучительства грубые, аляповатые, какими, например, пробавляется Фома Опискин. Такое мучительство заслуживает всяческого посмеяния и всяческой кары. Оно и понятно: мало-мальски тонко развитый художник или даже просто человек, обладающий некоторым художественным чутьем, будет, конечно, неприятно оттолкнут подобным безобразием. Но есть и другие формы мучительства, более изящные, более интересные, которыми при случае можно даже пококетничать, открыто заявляя, что я, дескать, люблю помучить людей, но посмотрите-ка, насколько я, в самооплевании и самоунижении своем, все-таки выше простых смертных. О! такого интересного и красивого мучителя можно

взять под свое покровительство: можно назвать его не каким-нибудь бранным словом, которого он вполне заслуживает, а мягким и интересным именем «парадоксалиста»; можно вложить ему свои собственные мысли и, следовательно, как бы даже отождествить его с собой... По крайней мере так любезно поступил Достоевский с подпольным человеком.

V

Пора, однако, нам заглянуть в другие повести и рассказы, вошедшие во второй и третий томы сочинений Достоевского. До сих пор мы наглядно убедились только в том, что Достоевский чрезвычайно интересовался различными проявлениями жестокостей и необыкновенно тонко понимал то странное, дикое, но несомненно сильное наслаждение, которое некоторые люди находят в ненужном мучительстве. Собственно же, образчиков жестокости его таланта еще не видали.

Вот повесть, или «петербургская поэма», как она почему-то называется, — «Двойник».

Жил-был титулярный советник Яков Петрович Голядкин. Обыкновеннейший был человек неопределенной масти и если чем отличался от многих других регистраторов, секретарей и советников, так разве только полным отсутствием каких бы то ни было мажорных качеств и необыкновенным обилием качеств минорных — трусости, мнительности, уступчивости и т. п. На первых же страницах «петербургской поэмы» Голядкин, поднимаясь по лестнице к доктору за медицинским советом, должен «переводить дух и сдерживать биение сердца, имеющего у него привычку биться на всех чужих лестницах». Кроме этой запуганности, с первых же опять-таки страниц повести обнаруживается значительный непорядок в голове Голядкина, так что даже необыкновенное обилие минорных качеств находится, по-видимому, в прямой зависимости от этого непорядка. Повесть оканчивается тем, что Голядкин окончательно свихивается и его увозят в сумасшедший дом. Слабость воли полупомешанного человека прослежена с замечательною тщательностью на множестве мелочей, которые даже утомляют читателя своею скученностью. И утомление это нисколько не смягчается юмористическим тоном, которого автор держится

в рассказе о похождениях своего героя. Напротив, он под конец прибавляет к утомлению еще некоторое изумление. В самом деле, что же тут достойного насмешки, что какой-то несчастный титулярный советник сходит с ума? Положим, он птица не важная, но, по человечеству, все-таки скорее пожалеть можно «господина Голядкина», как неизменно называет его автор. А еще лучше, пожалуй, было бы совсем оставить господина Голядкина в покое. Простой фотограф и тот, работая не по заказу, а по собственному выбору, снимая, например, виды, выбирает местности почему-нибудь характерные, или очень красивые, или в других отношениях замечательные. А тут талантливый художник берет какую-то нимало не интересную букашку — Голядкина, сводит его с ума, да еще при этом издевается над ним.

Но читатель, пожалуй, заметит, что автор совсем не сводит с ума господина Голядкина, господин Голядкин сам сходит с ума под влиянием разных обстоятельств, автор же только рассказывает, каким образом этот процесс дошел до своего апогея.

Нет, это не совсем так и даже совсем не так. История застает господина Голядкина уже в расстроенном виде, благодаря которому он терпит весьма достаточное количество воображаемых оскорблений и огорчений и действительных неприятностей. И те и другие совершенно естественны в жизни человека, страдающего психическою болезнью. Но Достоевскому показалось мало этих неприятностей и оскорблений, вызываемых обыкновенным течением болезни. Он устроил для «господина Голядкина» следующий, совершенно необыкновенный и невероятный сюрприз. После одной неприятности, особенно огорчившей Голядкина, он, возвращаясь ночью домой, встретил своего двойника, который даже вместе с ним к нему на квартиру вошел и на его кровати расположился. Все это пока еще очень просто. Но на другой день, проснувшись, успокоившись, Голядкин отправился на службу и там, к величайшему ужасу своему, встретил уже настоящего, реального своего двойника, в виде новичка-чиновника. Этого только что поступившего чиновника звали, как и нашего героя, Яковом Петровичем Голядкиным; как и герой, он был титулярный советник и по внешности своей как две капли воды походил на героя; вдобавок начальство посадило его за одним столом с героем, как раз

против него! Отсюда новый обильный источник обид, огорчений, неприятностей для господина Голядкина, и без того несчастного, и без того богом убитого. Эти неприятности совсем не входят в бюджет обыкновенного умственного расстройства. Они введены автором искусственно, и спрашивается, зачем? Правде вещей они не соответствуют, потому что обусловливаются таким странным совпадением обстоятельств, которое хотя и удобно для водевиля с переодеванием, но в действительной жизни невероятно. Художественными требованиями их оправдать нельзя, потому что эти два титулярных советника — две капли воды, два Якова Петровича Голядкина, сидящие друг против друга, — грубая пошлость. Нравственного смысла в страданиях господина Голядкина тоже нет никакого. Зачем же понадобился второй господин Голядкин? Единственно затем, чтобы построить для Голядкина второй этаж мучений, вычурных, фантастических, невозможных, и мучительно пощекотать ими нервы читателя. Единственно ради игры фантазии. Единственно по жестокости таланта Достоевского. Как подпольный человек единственно для «игры» и по ненужной жестокости мучит Лизу; как Фома Опискин совершенно бескорыстно, только в силу потребности видеть мучения, терзает все село Степанчиково, так и Достоевский без всякой нужды надбавил господину Голядкину второго Голядкина и вместе с тем высыпал на него целый рог изобилия беспричинных и безрезультатных страданий. В своем роде этот второй Голядкин такое же фантастическое и дикое орудие пытки для «господина» Голядкина первого, какое французские вокабулы составляют для старого Гаврилы и малого Фалалея. Что будете делать: «человек — деспот от природы и любит быть мучителем»! А с другой стороны, человек «до страсти любит страдание». Отчего же титулярному советнику Голядкину не получить лишнюю, сверхсметную порцию страданий?

Вы скажете, может быть, что это невероятное объяснение, потому что у кого же поднимется рука на такую жалкую козявку, как Голядкин? Но в том-то и вопрос, почему выдумываются фантастические терзания для козявки, и без того истерзанной действительным течением жизни. Это во-первых. А во-вторых, не один Голядкин подвергается ненужным терзаниям. Подвергаются им и читатели, или по крайней мере есть расчет на эти отражен-

ные терзания читателей, долженствующих пережить муки господина Голядкина. А читатели — это целый легион. В-третьих, наконец, что ж такое, что козявка? Алексей Петрович («Игрок») замечает: «удовольствие всегда полезно, а дикая беспредельная власть, *хоть над мухой,* ведь это тоже своего рода наслаждение». Вот ради этого-то наслаждения Достоевский своим Голядкиным № 2 и попрал истину, красоту и справедливость, ту знаменитую троицу — le vrai, le beau et le juste *, — с которою носились тридцатые и сороковые годы — годы, между прочим, и Достоевского...

Пойдем дальше и употребим на этот раз прием сравнительный.

Обидно ли будет для памяти Достоевского сравнение с Шекспиром? Я думаю, нет. Оно было бы обидною насмешкою для какой-нибудь бездарности. Но талант такого роста, как Достоевский, не допускает возможности подобной насмешки. Он не Шекспир, конечно, и я не думаю мерить его с Шекспиром. Я хочу только сравнить некоторые художественные приемы того и другого при разработке одной и той же темы.

Вы помните «Отелло». Психологическая драма, образная разработка личной страсти — ревности — не может идти дальше. И если искать тайну этой необыкновенной глубины, то придется увидеть ее именно в отсутствии ненужного мучительства, несмотря на мучительность темы. Раз дан характер и положение Отелло — всё остальное, все мельчайшие подробности его страданий вытекают сами собой. На две стороны драмы желал бы я обратить особое ваше внимание. Во-первых, фабула чрезвычайно проста: под влиянием наговоров Яго родится и растет ревность, «чудовище с зелеными глазами, с насмешкой ядовитой над тем, что пищею ей служит». Дойдя до известного предела, ревность завершается убийством, и так как Дездемона оказывается невинною, то измученный, разбитый Отелло, своими руками разбивший свое счастие, не хочет жить и закалывается. Вот и все. Затем Отелло почти глуп, когда доверяется Яго; Отелло груб, когда ругает и даже бьет Дездемону; Отелло, наконец, безумный убийца, и никто ему не поверит, что он все сделал «из чести» и ничего «из злобы». И, несмот-

* правда, красота и справедливость *(франц.).— Ред.*

ря на все это, вы нигде, на всем протяжении драмы, не заметите руки автора, желающей унизить, придавить героя, доставить ему какую-нибудь скорбь или унижение сверхъестественной в его положении сметы.

Теперь посмотрите, что сделал с этой же темой Достоевский. На мотив «чудовище с зелеными глазами» у него есть две вещи: одна шуточная и очень плохая — «Чужая жена и муж под кроватью», другая — серьезно задуманная, в своем роде превосходно выполненная и для таланта Достоевского в высшей степени характерная — «Вечный муж» *.

Шутка решительно не удавалась Достоевскому. Он был для нее именно слишком жесток, или, если кому это выражение не нравится, в его таланте преобладала трагическая нота. Шуточные вещи он пробовал писать не раз. Но или шутил над тем, что ни в каком смысле шутки не заслуживает («Двойник»), или же шутка напоминала — да позволено мне будет это сравнение — кошачью игру: кошка совершенно незаметно разражается процессом игры и переходит с него на действительное, злобно царапанье и кусанье. Разница, однако, в том, что Достоевскому недоставало грации кошки: он сплошь и рядом вводил в свои шутки грубейшие и отнюдь не грациозные эффекты («Дядюшкин сон», «Крокодил» и др.). «Чужая жена и муж под кроватью» — «происшествие необыкновенное» — принадлежит именно к разряду этих грубых и вовсе не грациозных шуток.

Действие открывается тем, что пожилой «господин в енотах» останавливает на улице вечером молодого «господина в бекеше» расспросами о какой-то даме, которая должна быть где-то поблизости; так не видал ли ее молодой господин в бекеше? Из дальнейшего объяснения оказывается, что господин в енотах ищет свою жену, подозреваемую им в неверности. Но он конфузится сказать это откровенно и плетет какую-то чепуху насчет «чужой жены». Он чрезвычайно взволнован и все говорит о своем «унижении». Еще дальше, и оказывается, что молодой человек есть как раз любовник этой самой «чужой жены», которая, однако, и его надувает, что и обнаружи-

---

* «Вечный муж» не вошел ни во второй, ни в третий томы сочинений Достоевского, но, если не ошибаюсь, вышел недавно отдельно новым изданием [14].

вается. Обнаруживается с такой ясностью, что для мужа не может быть никаких сомнений. Но он все еще хочет «ловить». Случай представляется на другой же день. И муж и жена были в опере. Муж сидел в креслах, жена в ложе с знакомой семьей и какими-то молодыми людьми. Вдруг «на почтенную и обнаженную, то есть отчасти лишенную волос, голову ревнивого, раздраженного Ивана Андреича слетел такой безнравственный предмет, как любовная раздушенная записочка». Иван Андреич тотчас сообразил, что автор этой записочки его жена, а так как в цидулке было назначено свидание тотчас после спектакля, то он и помчался по указанному адресу прямо из театра. Но уже на месте, на самой лестнице, Ивана Андреича обогнал какой-то франт и, как показалось оскорбленному мужу, вбежал в ту самую дверь, которая была обозначена в записочке. Иван Андреич за ним. «Он хотел было постоять перед дверью, благоразумно пообдумать свой шаг, поробеть немного и потом уже решиться на что-нибудь очень решительное». Но в эту минуту загремела подъехавшая к подъезду карета, на лестнице послышались чьи-то тяжелые шаги, Иван Андреич инстинктивно ворвался в дверь, пробежал две темные комнаты и очутился в спальне молодой, прекрасной дамы, совершенно ему незнакомой. А тяжелые шаги, поднявшись по лестнице, все раздавались следом за Иваном Андреичем. «Боже! Это мой муж! — воскликнула дама, всплеснув руками и побледнев белее своего пеньюара». Испуганный Иван Андреич полез под кровать. Но там его ждало новое приключение: там уж сидел какой-то человек, разумеется встретившей его недружелюбно. И вот между прекрасной незнакомкой и ее только что прибывшим мужем начинается семейная беседа, а под кроватью идет усиленная возня, напряженный шепот, взаимные пререкания. Оказывается, что Иван Андреич и его подкроватный сосед оба ошиблись дверью, что им обоим надлежало быть этажом выше, вследствие чего Иван Андреич догадывается, что подкроватный сосед есть любовник его жены: новые вздохи — «за что я так наказан?» Долго бы еще возились под кроватью муж и любовник, но у прекрасной незнакомки, кроме дряхлого мужа, была еще задорная собачонка Амишка. Заслышав возню под кроватью, Амишка бросилась туда с лаем, Иван Андреич из самосохранения задушил ее, прекрасная незна-

комка упала в обморок, подкроватный сосед воспользовался минутой смятения и убежал, а Иван Андреич, быв вытащен из-под кровати, очутился один перед разгневанной незнакомкой и ее не менее разгневанным мужем. Ценою разных унизительных объяснений, просьб, обещаний Ивану Андреичу удалось кое-как успокоить гневных хозяев и получить свободу. Он бежит домой, а там жена, давно приехавшая из театра, встречает его градом упреков за отсутствие и подозрительность. Смущенный Иван Андреич полез было в карман за платком, «затем, что недоставало ни слов, ни мысли, ни духа». И вдруг вытаскивает, вместо платка, труп Амишки, который, в порыве отчаяния, затолкал себе в чужой квартире в карман! Супруга накидывается на него по этому поводу с новыми допросами и упреками...

Я нарочно рассказал подробно эту пустяковину, чтобы читатель мог лучше оценить всю ненужность этого обилия злоключений Ивана Андреича. В два дня столько событий, столкновений, встреч, и все унизительных и мучительных! Но Достоевскому все еще было мало. Он заканчивает рассказ следующими словами: «Здесь мы оставим нашего героя до другого раза, потому что здесь начинается совершенно особое и новое приключение. Когда-нибудь мы доскажем, господа, все эти бедствия и гонения судьбы. Но согласитесь сами, что ревность — страсть непростительная, мало того: даже несчастие!»

Неужели для этого вывода стоило так бить глупого Ивана Андреича, так таскать его за волосы и плевать на него? Неужели это не бой быков, предпринятый единственно из ненужной жестокости? Допустим, что Иван Андреич — бык очень смешной, но тем неуместнее весь этот арсенал направленных против него бед, весь этот персонал раздражающих, колющих и убивающих его бандильеросов, пикадоров и матадоров. (Надо еще заметить, что мучительные для Ивана Андреича разговоры на улице и под кроватью необыкновенно растянуты.) Вспомните опять-таки «Отелло» с немногосложностью его фактического содержания и строгою умеренностью *количества* унижающих и оскорбляющих героя обстоятельств...

Но что же и сравнивать простую шутку, положим и грубую и неудачную, со звездою первой величины?

Повторяю, что я вовсе не думаю мерить Достоевского с Шекспиром, а хочу отметить приемы ненужной жесто-

кости Достоевского. Весьма любопытно, что эти приемы господствуют и в шутке, которая была бы очень похожа на самый заурядный водевиль бездарнейшего поставщика этого рода произведений, если бы не эта растянутость мучений героя и не эта заключительная перспектива дальнейших терзаний Ивана Андреича. Водевиль благодушен и кончается всегда всеобщим успокоением...

Обратимся к «Вечному мужу».

Павел Павлович Трусоцкий, разбирая после смерти горячо любимой жены ее переписку, открывает, что она много лет надувала его, развратничая с разными любовниками, и что единственная его дочь, Лиза, — не его дочь. Жена Трусоцкого была, по отзыву одного из ее любовников, «тип страстный, жестокий и чувственный». «Она любила мучить любовника», но с мужем обращалась внешним образом хорошо, заботилась о нем, только под башмаком держала. После ее смерти Трусоцкий, обогащенный сведениями насчет своего рогатого положения, поехал в Петербург, забрав с собою Лизу. Поехал он хлопотать о перемещении в другую губернию, но сам свое дело затягивал, потому что интимною целью его поездки в Петербург было, по всем видимостям, посмотреть на двух проживающих там любовников жены — Багаутова и Вельчанинова. На них посмотреть и себя им показать, их помучить и самому, глядя на них, помучиться. Надо заметить, что с обоими ими Трусоцкий находился в наилучших приятельских отношениях, а к Вельчанинову питал даже не совсем обыкновенную любовь и уважение. Другой на его месте, правда очень трудном и скверном, подрался бы со своими оскорбителями, выругался, вызвал на дуэль, отомстил как-нибудь, или же, посмотрев на дело более философским взглядом, мог бы оставить свои мучения при себе, постараться всю эту историю забыть и даже, может быть, никогда с теми господами не видаться; вообще, так или иначе, кровавым, как Отелло, или бескровным путем, но поскорее кончить. Но создания Достоевского так просто не поступают, им конец-то, результат-то именно и не нужен, им нужен процесс. Они должны придумать что-нибудь более утонченное, жестокое, вычурное, чем простая месть. А какой процесс им нужен — это явствует из двух основных свойств человеческой природы: 1) человек — деспот от природы и любит быть мучителем, 2) человек до страсти любит страдание.

И вот на этих двух клавишах Трусоцкий и разыгрывает свою пьесу: оскорбителей своих мучит и сам мучится. Впрочем, он ничего в этом смысле не *придумывает,* он просто следует инстинктивным требованиям своей (или вообще человеческой?) души. С Багаутовым он поступает так. В течение трех недель он каждый день заходит к нему, но его там не принимают, потому что Багаутов болен. Наконец, приняли, но приняли уже к покойному — Багаутов умер. Трусоцкий страшно озлоблен. И когда другой любовник его жены, Вельчанинов, спрашивает его, что с ним случилось, завязывается такой разговор:

— Да вот-с, все наш Степан Михайлович чудесит... Багаутов, изящнейший петербургский молодой человек-с, высшего общества-с.

— Не приняли вас опять, что ли?

— Н-нет, именно в этот-то раз и приняли, в первый раз допустили-с и черты созерцал... только у покойника!..

— Что-о-о! Багаутов умер? — ужасно удивился Вельчанинов, хотя, казалось, и нечему было ему-то так удивляться.

— Он-с. Неизменный и шестилетний друг. Еще вчера чуть не в полдень помер, а я и не знал! Я, может, в самую-то эту минуту и заходил тогда наведаться о здоровье. Завтра вынос и погребение, уж в гробике лежит-с. Гроб обит бархатом цвету масака, позумент золотой... от нервной горячки помер-с... Допустили, допустили, созерцал черты! Объявил при входе, что истинным другом считался, потому и допустили. Что ж он со мной изволил теперь сотворить, истинный-то и шестилетний друг, — я вас спрашиваю? *Я, может, единственно для него одного и в Петербург ехал!*

— Да за что же вы на него-то сердитесь? — засмеялся Вельчанинов. — Ведь он не нарочно же умер!

— Да ведь и я сожалея говорю: друг-то драгоценный: ведь он вот что для меня значил-с.

И Павел Павлович вдруг, совсем неожиданно, сделал двумя пальцами рога над своим лысым лбом и тихо, продолжительно захихикал. Он просидел так, с рогами и хихикая, целые полминуты, с каким-то упоением самой ехидной наглости смотря в глаза Вельчанинову. Тот остолбенел, как бы при виде какого-то призрака. Но столбняк его продолжался лишь одно только самое малень-

кое мгновение; насмешливая и до наглости спокойная улыбка неторопливо появилась на его губах.

— Это что же такое означало? — спросил он небрежно, растягивая слова.

— Это означало рога-с, — отрезал Павел Павлович, отнимая, наконец, свои пальцы от лба.

— То есть... ваши рога?

— Мои собственные, благоприобретенные! — ужасно скверно скривился опять Павел Павлович.

. . . .

(Трусоцкий предлагает выпить шампанского.)

— На радость веселой встречи-с, после девятилетней разлуки,— ненужно и неудачно подхихикивал Павел Павлович. — Теперь вы, и один уже только вы, у меня остались истинным другом-с! Нет Степана Михайлыча Багаутова...

— Вы мне вот что скажите: если вы так прямо обвиняете Степана Михайлыча, то ведь вам же, кажется, радость, что обидчик ваш умер: чего ж вы злитесь?

— Какая же радость-с? Почему же радость?

— Я по вашим чувствам сужу.

— Хе, хе, на этот счет вы в моих чувствах ошибаетесь-с, по изречению одного мудреца, «*хорош враг мертвый, но еще лучше живой*», хи-хи.

. . . .

— Слишком понимаю, для чего вам нужен был живой Багаутов, и готов уважить вашу досаду, но...

— А для чего нужен был мне Багаутов, по вашему мнению?

— Это ваше дело.

— Бьюсь об заклад, что вы дуэль подразумевали-с...

— На какой же черт после этого надо было вам живого Багаутова?

— Да хоть бы *только поглядеть на дружка-с...* Вот бы взяли с ним бутылочку, да и выпили вместе.

В конце концов для вящего мучительного самоуслаждения Трусоцкий едет на похороны Багаутова и провожает его труп до могилы. Как видите, человек до страсти любит страдание. Но заметьте, сколько шипящей злобы в добровольческом страдании Трусоцкого; сколько тут искреннего озлобления на Багаутова, своею смертью поставившего точку к мучительному процессу мучительства! Дело в том, что человек не только любит страдание, а

любит и других заставлять страдать, любит быть мучителем. Поэтому за оставшихся жить Лизу и Вельчанинова Трусоцкий принимается с удвоенною энергией. Лизу он мучит сравнительно просто — «щиплет». Но и для нее имеется гастрономия потоньше: Трусоцкий грозит при ней повеситься и объясняет, что повесится «от нее»; ругает ее позорным именем; приводит к себе на ночь, при ней, публичную женщину.

Что касается Вельчанинова, то о характере отношений к нему Трусоцкого можете отчасти судить по вышеприведенному разговору о Багаутове. Павел Павлович все время терзает Вельчанинова разными намеками и прямым рассказом о том, как он узнал о своем рогатом положении; то щекочет его ревность воспоминаниями о других любовниках жены, то будит его совесть соображениями об их старинной дружбе, то держит в напряженном состоянии, намекая, что ему известны отношения Вельчанинова к жене, то отпускает эти вожжи, притворяясь ничего не знающим. Вельчанинов, человек желчный и раздражительный, поддается на все эти удочки и волнуется, смущается, злится. С особенною же стремительностью лезет он на следующую удочку. Трусоцкий, ничего не говоря прямо и даже прикидываясь ничего не знающим, намекает, что Лиза — дочь Вельчанинова. Тот, в страшном волнении, хватается за эту мысль, берет на себя заботы о Лизе; но когда потом бедная девочка умерла, Павел Павлович прямо, и уже без всяких подвохов, объясняет, что отец Лизы не он, Вельчанинов, а хорошо им обоим известный «артиллерии прапорщик»...

В известном лагере, охотно причисляющем Достоевского к «своим», часто раздаются сетования на так называемую отрицательную литературу, что она, дескать, рисует все только мрачные картины и тем обнаруживает свое неуважение к родине, в которой ведь и светло-розового и небесно-голубого очень много. Не будем останавливаться на этой песне, которая еще со времен Гоголя поется глупцами и лицемерами. Но, спрашивается, что же сказать о писателе, берущем чисто индивидуального человека, без внимания к каким бы то ни было общественным изъянам, и в нем, в душе человеческой вообще водружающем такие два знамени, как: 1) человек любит быть мучителем, 2) человек до страсти любит страдание? Не подкоп ли это подо все, что только есть на свете

светло-розового и небесно-голубого? Не подкоп ли это под все лучшие воспоминания и под все надежды на лучшее будущее? Пусть об этом хорошенько подумают лицемеры и глупцы, а мы пока посмотрим на историю Трусоцкого как на частный случай по тем или другим причинам заинтересовавший художника.

Если отрешиться от мысли об общих законах человеческой природы с двух противоположных сторон, требующих для человека мучений; если посмотреть на поведение Трусоцкого, напротив, как на исключительный случай, даже как на уродство, то нельзя не признать «Вечного мужа» произведением чрезвычайно замечательным. Неистовая, но сама себя питающая злоба, не вырывающаяся наружу ни громким криком, ни решительным действием, а только шипящая, ползающая, подкрадывающаяся, разработана превосходно. Это, бесспорно, одна из лучших вещей Достоевского. Однако только до того момента, до которого мы довели свой пересказ. Казалось бы, и Достоевскому можно было кончить на этом моменте, то есть на смерти Лизы и «артиллерии прапорщике». Тип Трусоцкого ясен, в утонченности злобной мести идти дальше некуда. Если бы мы имели дело с человеком вроде Отелло, то есть с человеком, желающим так или иначе свалить бремя со своей души и чем-нибудь кончить, то этот искомый им конец был бы вместе с тем и концом драмы. Трусоцкому никакого конца не нужно, он хотел бы целую вечность поджаривать на медленном огне и Багаутова, и Лизу, и Вельчанинова. Но ведь если идти в этом направлении за Трусоцким, так и повести не пришлось бы никогда кончить. Нельзя же в самом деле без конца тянуть визиты Трусоцкого к Вельчанинову и эти поджаривающие, ядовитые разговоры. Смерть Лизы, в связи с «артиллерии прапорщиком», просто даже в техническом отношении выводит автора из затруднения.

Но, как и всегда, Достоевскому мало тех мучительных сцен, которые определяются естественным ходом вещей и условиями техники искусства. А кроме того, для него слишком еще просты чувства Павла Павловича Трусоцкого. До сих пор мы видели только, что когда-то Вельчанинов был предметом любви и уважения для Трусоцкого. Когда-то ведь и Багаутов был его приятелем, а теперь он только потому жалеет о смерти бывшего приятеля, что эта смерть вырвала у него из рук жертву его

своеобразной мести. Можно бы было думать, что таковы же его отношения и к Вельчанинову. Рассказывая Вельчанинову о смерти Багаутова, Трусоцкий со страстным порывом говорит, что ведь теперь только он, Вельчанинов, остался для него один на свете. Потом в другом подобном же рассказе он в еще более страстном порыве целует руки у Вельчанинова. Все это, конечно, вариации на ту же тему самопитающейся злобы, которая даже любит предмет своей ненависти, как точку исхода неустанно текущей мести. Это противоестественное сочетание, этот, если позволено будет так выразиться, гермафродитизм чувства Достоевский пожелал довести до высшей возможной точки напряжения.

Павел Павлович задумал опять жениться. Случилось это очень скоро после смерти Лизы и всего три месяца после смерти его жены: Достоевский вообще всегда очень торопил своих действующих лиц и любил толкотню событий, загоняя их в невероятном количестве в самые короткие сроки. Задумал Павел Павлович жениться на пятнадцатилетней девочке, еще посещающей гимназию. Свадьба, впрочем, предполагалась через девять месяцев, чтобы вышел годовой срок траура, да и невеста чтобы подросла. В один прекрасный день Трусоцкий неожиданно сообщает об этом своем решении Вельчанинову и, кроме того, просит его ехать немедленно, сейчас же вместе с ним в семейство невесты. Вельчанинов, разумеется, поражен этой просьбой, отказывается с отвращением, но Трусоцкий настаивает, умоляет, с величайшим жаром объясняется в любви, и Вельчанинов, наконец, уступает. Не будем следить за тем, что произошло у Захлебининых (фамилия невесты). Скажем кратко, что невеста терпеть не могла Павла Павловича и что Вельчанинов совершенно нечаянно поспособствовал окончательному разрушению мечты «вечного мужа» о новом семейном очаге. Возникает вопрос: зачем Трусоцкий возил с собой Вельчанинова к невесте? Сам Павел Павлович сначала объясняет, что возил просто как друга, но потом открывает, что хотел «испытать» невесту некоторыми блестящими качествами Вельчанинова. Вельчанинов же приходит в конце концов к тому заключению, что Трусоцкий возил его ради хвастовства и вызова: дескать, ты был любовником моей жены, так вот же тебе, смотри, я опять буду счастлив, и ничего ты тут уж не испортишь! Вельчанинов,

однако, испортил, хотя и совсем нечаянно. Понятно, что злобные чувства к нему Павла Павловича должны усилиться. К удивлению, однако, Павел Павлович в ту же ночь, когда они вернулись от Захлебининых, обнаруживает необыкновенную нежность к Вельчанинову. Тот заболел, и Павел Павлович ухаживал за ним как за родным братом, так что даже растрогал Вельчанинова. Но, успокоив боль Вельчанинова разными припарками, за которыми бегал сам на кухню, Павел Павлович в ту же самую ночь бросился на спящего Вельчанинова с бритвой... Вельчанинов спасся только случаем — вовремя проснулся.

Вельчанинов на другой день размышляет: «Неужели, неужели правда была все то, что этот... сумасшедший натолковал мне вчера о своей любви ко мне, когда задрожал у него подбородок и он стукал в грудь кулаками? Совершенная правда!.. Он слишком достаточно был глуп и благороден для того, чтоб влюбиться в любовника своей жены, в которой он в двадцать лет *ничего* не приметил! Он уважал меня девять лет, чтил память мою и мои «изречения» запомнил — господи, а я-то не ведал ни о чем! Не мог он лгать вчера! Не любил ли он меня вчера, когда изъяснился в любви и сказал: «поквитаетесь»? Да, *со злобы* любил, эта любовь самая сильная...»

В заключение Павел Павлович доставил Вельчанинову письмо, из которого явствовало, что Лиза действительно его, Вельчанинова, дочь, а вовсе не артиллерии прапорщика...

Кажется, теперь-то уж конец, самый окончательный конец? Отнюдь нет. Чрез два года Вельчанинов сталкивается на железной дороге с Павлом Павловичем, который опять женат, ужасно боится, чтобы Вельчанинов к нему не зашел в гости и не испортил его семейного счастия, а между тем состоит под башмаком у жены и не замечает, что уланский офицерик, с которым они разъезжают втроем, есть любовник его жены...

VI

Если бы мы разрешили себе пользоваться для предлагаемой статьи *всеми* сочинениями Достоевского, то задача наша количественно была бы, конечно, труднее. Потребовалось бы гораздо больше времени и места, чтобы

пересмотреть и предъявить читателю хотя бы только крупнейшие из образцов ненужной жестокости в позднейших произведениях Достоевского. Эти позднейшие произведения, начиная с «Преступления и наказания», и особенно самые последние — «Бесы», «Братья Карамазовы» — переполнены ненужною жестокостью через край. Но именно поэтому критическая задача была бы много легче в качественном отношении. В тех старых произведениях Достоевского, с которыми мы имеем дело, по крайней мере во многих из них, еще сильно пробивается струя «гуманического» направления, как назвал его Добролюбов в известной статье «Забитые люди». Теперь мы должны с этой струей считаться, тогда как в позднейших сочинениях Достоевского она постепенно убывает и под конец совершенно иссякает в пустыне слащавых и худосочных сентенций о любви к ближнему. Понятное дело, что подобные сентенции стоят очень дешево — их и Фома Опискин в большом количестве произносил — и выделить их из живой массы художественных образов и картин не представило бы никакого труда. Теперь же нам предстоит операция несколько более сложная.

Кроме того, мы должны еще взглянуть на внешнюю сторону литературной карьеры Достоевского. Говоря о жестоком таланте, который мог бы выработаться из Фомы Опискина, если бы он не был так глуп и груб, мы видели, что степень его успеха и влияния зависит, во-первых, от размера дарования, а во-вторых, от условий среды, а именно главным образом от того, есть у этой среды настоящее насущное дело или нет. Эти два пункта нам и нужно теперь обсудить по отношению к Достоевскому.

В конце концов мы должны обратиться к статье Добролюбова. В этой статье с величайшею тщательностью разработано «гуманическое» направление Достоевского, а кроме того — она надолго определила тон и характер ходячих суждений о певце «униженных и оскорбленных» и, следовательно, может служить как бы показателем степени влияния Достоевского на современников.

«В произведениях г. Достоевского мы находим одну общую черту, более или менее заметную во всем, что он писал: это боль о человеке, который признает себя не в силах или, наконец, даже не вправе быть человеком, настоящим, полным, самостоятельным человеком, самим по себе. «Каждый человек должен быть человеком и отно-

ситься к другим, как человек к человеку» — вот идеал, сложившийся в душе автора помимо всяких условных и парциальных воззрений, по-видимому даже помимо его собственной воли и сознания, как-то á priori, как что-то составляющее часть его собственной натуры». Такова основная мысль статьи Добролюбова, поскольку он занимается собственно Достоевским, а не «забитыми людьми». Надо еще только прибавить оценку художественного дарования Достоевского. В этом отношении Добролюбов ценил его чрезвычайно низко: он прямо объявил его «ниже эстетической критики», находил у него «бедность и неопределенность образов», «необходимость повторять самого себя», «неуменье обработать каждый характер даже настолько, чтобы хоть сообщить ему соответственный способ внешнего выражения», и т. д. и т. д. Читатель видит, что эта оценка диаметрально противоположна нашей. Мы, напротив, признаем за Достоевским огромное художественное дарование и вместе с тем не только не видим в нем «боли» за оскорбленного и униженного человека, а напротив — видим какое-то инстинктивное стремление причинить боль этому униженному и оскорбленному. Если бы эти оценки исходили из двух противоположных литературных лагерей, то легко, конечно, было бы свалить дело на пристрастие, недобросовестность. Вот, например, я помню в «Русском вестнике» чрезвычайно занимательную статью г. Страхова, в которой доказывалось со свойственною этому критику обстоятельностью, что г. Стахеев есть настоящий и большой художник, а Некрасов и Щедрин — так себе, пустопорожнее место [15]. Ну, а если бы мне пришлось проводить такую странную параллель, то... то я бы никогда не стал ее проводить — до такой степени для меня безапелляционно ясно, где именно находится пустопорожнее место. И весьма вероятно, что кто-нибудь из нас, то есть либо г. Страхов, либо я, руководствуемся недобросовестным пристрастием. Но в настоящем случае ничего подобного сказать нельзя, и спрашивается: откуда же эта резкая разница в суждениях о писателе, несомненно ярком?

Дело объясняется очень просто. На первый взгляд даже слишком просто. Статья Добролюбова написана в 1861 году, а у нас теперь 1882 на исходе. Из этого на первый взгляд еще ровно ничего достойного внимания не проистекает, потому что не обязательно же для нас каж-

дые двадцать лет выворачивать наизнанку свои мнения о крупных представителях русской литературы. Напротив, оценка, сделанная рукою такого мастера, как Добролюбов, должна бы, кажется, пережить не двадцать, а хоть двести лет. Это так, конечно. Но дело-то в том, что никакого выворачивания мнений наизнанку тут нет, а есть вот что. «Униженные и оскорбленные» — последнее из произведений Достоевского, бывших в руках у Добролюбова. Не только «Бесы» или «Братья Карамазовы», а и, например, «Записки из подполья», «Вечный муж» были ему неизвестны. Мы же, хотя и не касаемся теперь самых крупных из произведений Достоевского, но все-таки знаем их. Знаем, следовательно, что со времени «Униженных и оскорбленных» талант Достоевского вырос необычайно. Он, правда, до конца дней своих не отделался вполне от указанных Добролюбовым недостатков; некоторые из них с течением времени даже еще более определились, как, например, архитектурное бессилие, неспособность обойтись без длинных отступлений, нарушающих гармонию целого. Несмотря на это, талант Достоевского, если можно так выразиться, отточился, получил блеск и остроту, каких и в помине нет в «Бедных людях» или «Униженных и оскорбленных». Отточился и — ожесточился. Или, может быть, наоборот: ожесточился и отточился. Во всяком случае, с нашей точки зрения, процесс был двойственный, развитие таланта шло рядом с его ожесточением. Дело могло происходить так, что, сознав свою специальную силу художественного мучительства, Достоевский увлекся «игрой», как увлекся ею подпольный человек в эпизоде с Лизой, и чем дальше, тем искуснее стал ущемлять сердца своих героев и читателей. А может быть и так, что жестокий по натуре или по условиям своего воспитания талант, перепробовав себя на разные манеры, попал, наконец, — случайно или руководимый инстинктом, — в свою настоящую сферу, где и развернулся со всем блеском, на какой только был способен. Предлагаю следующий опыт. Возьмите первую повесть Достоевского — «Бедные люди», которая так восторженно была встречена Белинским и к которой, впрочем, уже Добролюбов отнесся несравненно сдержаннее, и сравните с последним романом — «Братья Карамазовы», далеко не лучшим из произведений второго периода. «Бедные люди» проникнуты «гуманическим» направлением; но, чи-

тая их теперь, после всего того, что мы получили от Достоевского, после всего, что мы вообще за последние годы пережили, — вы не найдете в них ни одной высокохудожественной страницы, а местами так даже получите такое приблизительно впечатление, будто вас насильно манной кашей кормят: кушанье, очень любимое детьми, но редко нравящееся взрослым. В «Братьях Карамазовых», напротив, несмотря на инквизиторский характер основной тенденции, несмотря на ненужную жестокость множества подробностей и вводных сцен, картин и образов, несмотря даже на томительную скуку почти всего, что относится к старцу Зосиме и младенцу Алеше, — вы найдете отдельные места необыкновенной яркости и силы. И напрасно я так говорю: *несмотря* на инквизиторский характер, *несмотря* на ненужную жестокость. Скорее, напротив, *благодаря* жестокости, потому что именно в сфере мучительства художественное дарование Достоевского и достигло своей наивысшей силы. Только он портил дело излишеством, пересаливал, слишком уж терзал своих действующих лиц и своих читателей.

Таким образом, с памяти Добролюбова должна быть совершенно снята ошибка слишком низкой оценки таланта Достоевского. Для своего времени эта оценка была очень верна, и если мы теперь видим некоторую ее ошибочность или даже, собственно говоря, неполноту, так только потому, что мы знаем «Вечного мужа», «Преступление и наказание» и проч., которых Добролюбов не знал. Знаем мы и еще кое-что, чего Добролюбов не знал и не мог знать — в двадцать лет много воды утекло, и пусть бы в это время только вода текла!..

Кажется, все это очень просто. Но есть сторона вопроса более сложная и более любопытная. Сказано было, что и в ранних произведениях Достоевского были уже крупные задатки жестокого таланта, и мы видели их образчики. Мы видели также, что «человек — деспот от природы и любит быть мучителем» и что «человек до страсти любит страдание». Как же это Добролюбов не только не заметил этого, а еще утверждал, будто «человек должен быть человеком и относиться к другому как человек к человеку»? Мы в прошлый раз на каждом шагу встречали у героев Достоевского волчьи инстинкты: злость и мучительство, злость простую, злость квалифицированную, в сочетании с любовью, с дружбой. У Добро-

любова же во всей статье есть только два замечания об этом предмете. Во-первых, его поразила обработка характера князя Валковского (в «Униженных и оскорбленных»). «Всматриваясь в изображение этого характера, — говорит Добролюбов, — вы найдете с любовью обрисованное сплошное безобразие, собрание злодейских и цинических черт, но вы не найдете тут человеческого лица. Того примиряющего, разрешающего начала, которое так могуче действует в искусстве, ставя перед вами полного человека и заставляя проглядывать его человеческую природу сквозь все наплывные мерзости, — этого начала нет никаких следов в изображении личности князя. Оттого-то вы не можете ни почувствовать сожаления к этой личности, ни возненавидеть ее тою высшею ненавистью, которая направляется уже не против личности собственно, но против типа, против известного разряда явлений. И ведь хоть бы неудачно, хоть бы как-нибудь попробовал автор заглянуть в душу своего главного героя... Нет ничего, ни попытки, ни намека... Как и что сделало князя таким, как он есть? Что его занимает и волнует серьезно? Чего он боится и чему, наконец, верит? А если ничему не верит, если душа у него совсем вынута, то каким образом и при каких посредствах произошел этот процесс?» Затем, говоря о том, что фигурирующие в повестях Достоевского оскорбленные и униженные люди являются в двух типах — кротком и ожесточенном, Добролюбов замечает о последнем: «Видя, что их право, их законные требования, то, что им свято, с чем они в мир вошли, — попирается и не признается, они хотят разорвать со всем окружающим, сделаться чуждыми всему, быть достаточными самим для себя и ни от кого в мире не попросить и не принять ни услуги, ни братского чувства, ни доброго взгляда. Само собою понятно, что им не удается выдерживать характер, и оттого они вечно недовольны собой, проклинают себя и других, задумывают самоубийство и т. п.».

Вот и все. Как будто Достоевский совсем не тот тонкий знаток и аналитик злобы, мучительства, каким мы его знаем! О собственных же мучительских опытах Достоевского над своими героями и читателями у Добролюбова нет буквально ни одного слова. И едва ли есть возможность объяснить эти пробелы незнакомством критика с позднейшими, характернейшими образчиками творчества Достоевского. Добролюбов во всяком случае

знал «Село Степанчиково» и «Двойника». И вот что, между прочим, мимоходом говорит он о героях этих двух повестей: у Достоевского «есть тип человека, от болезненного развития самолюбия и подозрительности доходящего до чрезвычайных уродств и даже до помешательства, и он дает нам г. Голядкина, Фому Фомича». Таким образом, Фома Фомич, терроризующий обитателей села Степанчикова, и Голядкин, безнужно истерзанный самим Достоевским, оказываются стоящими под одной рубрикой. Спора нет, что оба они могут под эту рубрику уместиться, потому что у обоих действительно до болезненности развиты самолюбие и подозрительность. Но не гораздо ли важнее этого сходства то различие, что один — мучитель, а другой — мученик? Как же это критик отметил такую уж слишком общую, расплывающуюся черту сходства и просмотрел такую специальную, резкую, яркую разницу?

В высшей степени любопытно объяснение, придуманное Добролюбовым для «идеи» «Двойника». Голядкин, видите ли, мучается и сходит с ума «вследствие неудачного разлада бедных остатков его человечности с официальными требованиями его положения». Его оскорбляют, и он к этому уже привык, сам себя готов считать за букашку, но вместе с тем в нем еще копошатся какие-то обрывки мыслей о «правах» и о человеческом достоинстве. «И затем его мысли совершенно расстраиваются: он уже не знает, что же он — вправе или не вправе... Он чувствует только одно, что тут что-то не так, неладно. Хочет он объясниться со всеми врагами и недругами, — все не удается, характера не хватает. И приходит он к idée fixe *, к пункту своего помешательства: что жить на свете можно только интригами, что хорошо на свете только тому, кто хитрит, подличает, других обижает. И вот у него является решимость тоже хитрить, тоже подкопы вести, интриговать. Но где уж ему пускаться на такие штуки? Не так он жил прежде, не так приготовлен, характер у него не такой... И господин Голядкин, вообще наклонный к меланхолии и мечтательности, начинает себя раздражать мрачными предположениями и мечтами, возбуждать себя к несвойственной его характеру деятельности. Он раздвояется, самого себя он видит вдвойне... Он

* навязчивой идее *(франц.)*. — *Ред.*

группирует все подленькое и житейски-ловкое, все гаденькое и успешное, что ему приходит в фантазию; но отчасти практическая робость, отчасти остатки где-то в далеких складках скрытого нравственного чувства препятствуют ему принять все придуманные им пронырства и гадости на себя, и его фантазия создает ему «двойника». Вот основа его помешательства. Не знаю, верно ли я понимаю основную идею «Двойника»; никто, сколько я знаю, в разъяснения ее не хотел забираться далее того, что «герой романа — сумасшедший». Но мне кажется, что если уж для каждого сумасшествия должна быть своя причина, а для сумасшествия, рассказанного талантливым писателем на 170 страницах тем более, то всего естественнее предлагаемое мною объяснение, которое само собой сложилось у меня в голове при *перелистывании* этой повести (*всю ее сплошь я, признаюсь, одолеть не мог*)» *.

Все это чрезвычайно тонко и умно; но если бы Добролюбов имел терпение не перелистывать, а читать «Двойника», то, конечно, отказался бы от своего объяснения. Дело в том, что Голядкин № 2, «двойник», не есть только плод расстроенного воображения Голядкина № 1. Если бы это было так, то объяснение Добролюбова было бы не только умно, а и верно или по крайней мере вероятно, мы имели бы дело просто с особым и чрезвычайно интересным видом умопомешательства. Но Голядкин № 2 есть не только галлюцинация, а и реальное действующее лицо повести. Правда, галлюцинация и реальное лицо в течение повести сплетаются и расплетаются, так что местами даже разобрать нельзя, кто перед вами: живой человек с плотью и кровью или же только создание фантазии больного человека. Однако в повести есть прямые указания на действительное существование Голядкина № 2. Так, например, один из сослуживцев героя, разговаривая с ним, удивляется поразительному сходству двух титулярных советников Яковов Петровичей Голядкиных, сидящих друг против друга за одним столом.

Нельзя, конечно, не удивляться такой странной игре природы, и позволительно даже сомневаться, чтобы это природа играла. Положим, что она бывает иногда очень игрива и, играючи, выпускает из своих недр разные диковинки, но только в пределах своей компетенции, в пре-

---

* Курсив Н. К. Михайловского.— *Ред.*

делах естества. Табель о рангах не ее дело, и титулярных советников не она создает. Историю тоже нельзя обвинять во всех злоключениях «господина Голядкина». История создала табель о рангах и весь тот общий порядок, горячий протест против которого представляет вся статья Добролюбова. Поэтому вините историю, поскольку злоключения Голядкина в самом деле происходят от «неудачного разлада бедных остатков его человечности с официальными требованиями его положения». Пусть из этого разлада проистекает главная струя психического расстройства Голядкина со включением фантастического представления двойника, как это изображено у Добролюбова. Но в живом, реальном двойнике Голядкина, появление которого безмерно увеличило мучения несчастного титулярного советника, не виноваты ни природа, ни история, а виноват исключительно автор. Допустим, что все остальное в повести «Двойник» жизненно и правдиво, что так именно идут дела на грешной земле. Оно, пожалуй, и в самом деле так, в общем, конечно, а не в многочисленных подробностях, полных виртуозной игры на нервах читателя. Пусть же история Голядкина есть история типическая, характерная для большого круга явлений русской ли жизни в частности, или духовной жизни человека вообще. Но согласитесь с тем, что в двух титулярных советниках, которых обоих зовут одними и теми же именами, отчествами и фамилиями, которые как две капли воды друг на друга похожи, которых, наконец, канцелярский фатум усадил друг против друга за одним столом, — согласитесь, что во всем этом нет уже ровно ничего типического. А между тем обстоятельство это играет чрезвычайно важную роль в повести. И ответственность за причитающуюся долю мучений «господина» Голядкина нельзя валить на жизнь, едва ли когда-нибудь создававшую такую комбинацию. Отвечать должен автор, жестокая фантазия которого сделала из до невозможности исключительного случая источник мучений для человека, без того несчастного. И спрашивается, зачем же второй Голядкин понадобился? Я думаю, что этот вопрос совершенно законен, а это уже плохой знак для художественного произведения. Самая возможность его показывает, что тут есть какой-то изъян по части жизненной правды. Художник может и должен иметь свои цели, может и должен их преследовать путем искусства, но вместе с тем его

отношения к читателю должны допускать только один вопрос относительно той или другой подробности произведения, именно вопрос — почему? Например: почему господин Голядкин сошел с ума? Потому-то и потому-то, читайте повесть «Двойник» — и получите полные ответы. Но если в уме читателя возникнет вопрос: зачем? например, зачем явился Голядкин № 2? — так это значит, что для появления этого лица нет никаких удовлетворительных резонов в том уголке жизни, которую повесть «Двойник» изображает. Оно введено автором насильственно, вопреки жизненной правде. Но это еще не беда была бы, а только полбеды, потому что нельзя же требовать от художественного произведения совершенства. Многое пишется наскоро, второпях, а известно, что Достоевский именно всегда так писал, где же тут каждое лыко в строку ставить! Наконец, область искусства допускает, даже в величайших своих созданиях, множество условностей и, следовательно, искусственности. Если, например, иметь в виду только требования жизненной правды во всей их полноте и неумолимости, то видимая зрителями тень отца Гамлета окажется совершенной бессмыслицей. Попробуйте устранить все подобные условности, и во всех отраслях искусства камня на камне не останется. Очень забавны те новаторы «реалисты» и «натуралисты» разных мастей, которые требуют, чтобы художник — поэт, беллетрист, музыкант, живописец — копировал природу; чтобы, например, беллетрист с точностью рассказал, сколько раз в день его герой высморкался; чтобы оперный оркестр гнусящими звуками изображал гнусный характер поющего на сцене злодея, и т. п. Как будто это возможно! У нас, например, одно время музыкальные новаторы, во имя жизненной правды, гнали собственно пение и возводили на пьедестал речитатив. Оно, конечно, в жизни так не бывает, чтобы умирающий человек пел сладкозвучным голосом или чтобы какие-нибудь три заговорщика в самую важную для их дела минуту занимались пением, и притом непременно один басом, другой баритоном, третий тенором. Этого не бывает, но ведь и речитативом тоже никто не говорит в жизни...

Итак, некоторая искусственность или насильственность со стороны автора, в ущерб жизненной правде, может быть допущена. Но если уже она есть, если в уме читателя возник вопрос — зачем, то необходимо приискать

ответ и затем судить произведение, а может быть, и автора, с точки зрения этого ответа. Зачем тень отца Гамлета, будучи галлюцинацией наследника датского престола, разгуливает по сцене, разговаривает, как живое, реальное лицо? Затем, чтобы эта галлюцинация датского принца стала как бы коллективной галлюцинацией зрителей (коллективные галлюцинации — достоверный психический факт), проникнутых сочувствием к несчастному положению принца. Зачем двойник, галлюцинация господина Голядкина, находит себе точную копию в жизни, в лице настоящего, живого Якова Петровича Голядкина № 2? — не знаю, и читатель тоже не знает... Однако благодаря Достоевскому, благодаря его «проникновению» в разные мрачные глубины человеческого духа мы с читателем можем догадываться: Голядкин № 2 насильственно введен в повесть затем же, зачем Фома Опискин вводит французский язык в село Степанчиково, зачем он зовет Гаврилу «мусью шематоном», зачем подпольный человек рисует Лизе мучительно раздражающие «картинки», зачем Трусоцкий сверлит Вельчанинова — для «игры», для жестокой игры на нервах. Если Достоевский не разъяснил нам окончательно эту мрачную сторону человеческой души, вполне достойную и научного исследования и художественного изображения, то все-таки очень много сделал для нашего в этом отношении просвещения. Он дал нам такие живые образчики этого дикого чувства, такие яркие портреты носителей его, что по крайней мере в самом факте специальной мучительской наклонности не может уже быть никакого сомнения. Достоверно, что есть люди, мучающие других людей не из корысти, не ради мести, не потому, чтобы те люди им как-нибудь поперек дороги стояли, а для удовлетворения своей мучительской наклонности. Эта наклонность проявляется и в искусстве, в жестоких талантах, каков сам Достоевский.

Возвращаясь к статье Добролюбова, надо будет все-таки сказать, что одним недосмотром нельзя объяснить ее неполноту или ошибочность. Положим, что он просмотрел истинную роль Голядкина № 2 в повести «Двойник». Но такой проницательный критик мог бы и при этом условии, касающемся, собственно, частности, хотя и очень характерной, уловить тот общий дух мучительства, которым дышит творчество Достоевского. А между тем он

ее не только не уловил, а еще усвоил Достоевскому «гуманическое» направление. Мало того, не заметил или по крайней мере не отметил разницы между мучителем Опискиным и мучеником Голядкиным. И того мало, Добролюбов так скомбинировал картины, сцены, характеристики, образы Достоевского, что из всего этого вышло какое-то не совсем определенное, но во всяком случае отрицательное отношение к тому общему порядку вещей на Руси (тогдашней), который создает униженных и оскорбленных, принижает личность до тупой покорности или какого-то не то жалкого писка, не то безумного бреда, исправляющего должность протеста. В этом, собственно, состоит весь смысл статьи Добролюбова. А между тем уже в «Идиоте» (1868) Достоевский устами одного из действующих лиц резко и определенно выразил одну из своих заветных мыслей, впоследствии много раз им развитую, а именно: кто у нас нападает «на существующие порядки вещей», тот нападает «на самую сущность наших вещей, на самые вещи, а не на один только порядок, не на русские порядки, а на самую Россию»[16].

По-видимому, одно из двух: или Добролюбов грубо ошибался, или Достоевский с течением времени резко изменился. В сущности, однако, не было ни того, ни другого: ни *грубой* ошибки, с одной стороны, ни *резкой* перемены, с другой.

VII

В «Униженных и оскорбленных» Достоевский рассказывает:

«Я прочел им (семейству Ихменевых) мой роман в один присест. Мы начали сейчас после чаю, а просидели до двух часов пополуночи. Старик сначала нахмурился. Он ожидал чего-то невообразимо высокого, такого, чего бы он, пожалуй, и сам не мог понять, но только непременно высокого; а вместо того вдруг такие будни и все такое известное, вот точь-в-точь как то самое, что обыкновенно кругом совершается. И добро бы большой или интересный человек был герой или из исторического что-нибудь, вроде Рославлева или Юрия Милославского; а то выставлен какой-то маленький, забитый и даже глуповатый чиновник, у которого и пуговицы на вицмундире обсыпались, и все это таким простым слогом описано,

ни дать ни взять как мы сами говорим... Страшно! Старушка вопросительно взглядывала на Николая Сергеича и даже немножко надулась, точно чем-то обиделась. «Ну, стоит, право, такой вздор печатать и слушать, да еще и деньги за это дают» — было написано на ее лице. Наташа была вся внимание, с жадностью слушала, не сводила с меня глаз, всматриваясь в мои губы, как я произношу каждое слово, и сама шевелила своими хорошенькими губками. И что ж? Прежде чем я дочел до половины, у всех моих слушателей текли из глаз слезы. Анна Андреевна искренно плакала, от всей души сожалея моего героя и пренаивно желая хоть чем-нибудь помочь ему в его несчастиях, что понял я из ее восклицаний. Старик уже отбросил все мечты о высоком: «С первого шага видно, что далеко кулику до Петрова дня; так себе, просто рассказец; зато сердце захватывает, — говорил он, — зато становится понятно и памятно, что кругом происходит; зато познается, что самый забитый, последний человек есть тоже человек и называется брат мой!» Наташа слушала, плакала и под столом, украдкой, крепко пожимала мою руку. Кончилось чтение. Она встала; щечки ее горели, слезинка стояла в глазах; вдруг она схватила мою руку, поцеловала ее и выбежала вон из комнаты».

Известно, что в «Униженных и оскорбленных», в той части похождений Ивана Петровича, которая касается его литературных занятий, Достоевским введено несколько автобиографических черт: говорится о критике Б. (Белинском), восторженно встретившем первый роман Ивана Петровича, рассказывается примерно содержание «Бедных людей», сообщается манера писания Ивана Петровича, весьма сходная с манерой самого Достоевского, и проч. И можно думать, что Достоевский и сам переживал нечто вроде тех счастливых минут, которые достались Ивану Петровичу в только что приведенном рассказе о чтении первого романа в кругу близких и чутких людей. Конечно, тут дело не в подробностях, созданных авторской фантазией в видах завязки и развязки романа, не в своеобразных, например, отношениях Ивана Петровича к семейству Ихменевых вообще и к Наташе в особенности. Но мы знаем, что Достоевскому была лично знакома та гордая радость, которую должен был испытывать Иван Петрович при виде слез Ихменевых и горячего

поцелуя Наташи. Если в его жизни и не было совершенно аналогичного эпизода, что в сущности и не важно, то эпизод этот образно и вместе с тем как бы схематически изображает прием, оказанный читающим русским людом первому роману Достоевского. В статье Белинского можно найти отражение Наташиного страстного поцелуя и слез сочувствия Ихменевых. Словом, Иван Петрович, Достоевский то ж, на первом же шагу на поприще литературы получил такое трогательное, осязательное и подмывающее одобрение, какое вообще редко достается писателю. Иван Петрович, Достоевский то ж, воочию убедился в мощи своего слова, познал на опыте, что может «глаголом жечь сердца людей». Момент в высшей степени важный в истории всякой не чисто стихийной, а способной к самосознанию силы. В этот момент Достоевский находился в таком же положении, в каком находится женщина, впервые убедившаяся в обаятельной силе своей красоты; в каком находится школяр, в первый раз успешно сразившийся с товарищем и понявший, что он уже не «новичок», который должен терпеть всякие издевательства, а что у него самого кулаки есть; в каком находится трибун после первой речи, которая произвела сильное впечатление; полководец, впервые увидавший, что стройные массы солдат не только формально повинуются ему, двигаясь направо и налево, а встречают его с искренним, неподдельным восторгом. И т. д., и т. д. Я прибавил бы, пожалуй, сравнение с тигренком, впервые после материнского молока лизнувшим крови, но это сравнение идет к делу только в отрицательном смысле. Из тигренка должен вырасти кровожадный тигр по непреложным законам естества, и потому можно любоваться его мощной грацией, можно описывать его, можно убить, но судить его нельзя — суда такого нет; у тигров промеж себя, может быть, и есть подходящий суд, но нам до него дела нет; по-нашему, тигр просто подлежит смертной казни, без суда и следствия. Иначе стоит дело относительно других вышеприведенных примеров. Девушка, сознавшая силу производимого ею обаяния, может направить ее к той или другой, непостыдной или постыдной цели, сообразно которой и подлежит оценке. Из разных комбинаций, какие тут возможны, для нас особенно интересна та, когда целью становится самое средство, орудие, самая, так сказать, игра мускулов красоты. Простите это

несообразное выражение, но, раз оно сорвалось с языка, позвольте уж заодно говорить и о мускулах мысли, о мускулах творчества и т. п. Все это орудия, и напряжение их должно бы представлять только средства для достижения известных целей. Но бывает так, что, по условиям чисто личного свойства или же по условиям обстановки, обладатель силы ставит себе целью самую игру мускулов. В таких случаях из женщины выходит кокетка, беспредметно заигрывающая со всяким мимоходящим и обращающая свою силу в источник мучений; из трибуна и полководца — честолюбцы, способные ради своих прекрасных глаз натворить множество бед и уложить в могилу тысячи людей. Великое дело — первые пробы силы или власти. Можно сказать даже, что вы не знаете человека, пока он не попробовал власти, да до тех пор и сам он едва ли себя знает. Мало ли людей, искренно клянущихся посвятить себя, добравшись до власти, на благо родины или человечества, а потом упивающихся властью для нее самой: дескать, могу расшибить, могу и помиловать. Нет никакого резона утверждать, что в момент своих горячих клятв такой человек был непременно канальей, что он лгал, чтобы расчистить себе путь к тому наслаждению, которое дается властью над так называемыми ближними. Может быть, и лгал и был канальей, но очень может быть, что он просто не знал самого себя, не предвидел обаятельности того наслаждения, которое дастся ему «дикою, беспредельною властью хоть над мухой». Конечно, это уж не первый сорт человека, но он мог все-таки быть вполне искренен в начале своей карьеры.

И вот перед нами писатель, впервые убедившийся в своей силе. Он и прежде сознавал ее в себе, потому что иначе не принялся бы за работу, но сознавал смутно, и не раз горькие сомнения чередовались в его душе с гордыми надеждами. Теперь конец всем этим колебаниям: присутствие силы засвидетельствовано произведенным ею впечатлением. Писатель убедился, что он властный человек и может двигать сердца своих читателей или слушателей. Но как и куда двигать? Перед ним, как перед сказочным богатырем, расстилаются три дороги, с тою, однако, разницей, что ни на одной из них он ни коня не потеряет, ни сам не погибнет. Какие тут потери, какая гибель! Нет, молодая, сознавшая себя сила играючи

преодолеет все препятствия, перелетит через все барьеры и там, где-то в туманной, неведомой дали, водрузит знамя победы! Хорошее время, веселое время...

А дороги-то все-таки предстоят разные, и надо выбирать. Одна из них намечена простодушными восторгами старика Ихменева: «Знаешь, Ваня, это хоть не служба, а все-таки карьера. Прочтут и высокие лица. Вот, ты говорил, Гоголь вспоможение ежегодное получает и за границу послан. А что если бы и ты? а? Или еще рано? Надо еще что-нибудь сочинить? Так сочиняй, брат, сочиняй поскорее! Не засыпай на лаврах. Чего глядеть-то! ...Или вот, например, табакерку дадут... Что ж? На милость ведь нет образца. Поощрить захотят. А кто знает, может и ко двору попадешь; или нет? или еще рано ко двору-то?.. Камергером, конечно, не сделают за то, что роман написал: об этом и думать нечего; а все-таки можно в люди пройти, ну, сделаться каким-нибудь там атташе. За границу могут послать, в Италию, для поправления здоровья или там для усовершенствования в науках, что ли; деньгами помогут».

Конечно, если бы наш богатырь захотел идти по этой дороге, то разные табакерки, вспоможения, камергерские ключи посыпались бы на него, как из рога изобилия. Но он по этому пути не пойдет. Не те времена уж, когда для писателя табакерки были желанны и возможны. Зато тем желаннее и возможнее иной путь, тот самый, за один шаг по которому Наташа страстно припала к руке Ивана Петровича и облила ее слезами умиления и сочувствия. Одобрение, полученное Иваном Петровичем, кроме трогательной осязательности формы, имело и вполне определенное содержание. Оно давалось за «простоту» рассказа, в связи с его «гуманическим» направлением: «Познается, что самый забитый, последний человек есть тоже человек и называется брат мой». Опять и опять так же просто и душевно описывать радости и горести забитого человека; опять и опять будить в душе читателя струны сочувствия к униженному и оскорбленному; пробрать силою своего творчества не только благодушных стариков Ихменевых, не только страстную и благородную Наташу, а и тех, кто забивает забитых; пробить их толстые кожи и добраться до самого их сердца — вот путь, по которому пойдет Иван Петрович.

Заманчивый путь, но и трудный путь. Не потому толь-

ко трудный, что есть на свете внешние препятствия и воздействия или так называемые «независящие обстоятельства», категорически побуждающие молчать, когда хочется говорить, и ехать, когда хочется сидеть дома. Это само собою разумеется. Но избранный Иваном Петровичем путь переполнен иными опасностями, из которых главная состоит в близости и соблазнительности третьей дороги — дороги кокетства в обширном смысле слова, игры мускулов творчества и ненужного мучительства. Она в самом деле очень близка и соблазнительна, эта третья дорога.

Хорошо плачет Наташа! Хорошо видеть плачущею эту ясную девушку при сознании, что ведь это я, Иван Петрович, вызвал эти слезы и вызвал не обидой или оскорблением, а тем, что тронул ее сердце болью за болящего, страданием за страждущего. А если припомнить, что в ясной девушке отражаются и критик Б. и все, что есть мыслящего и чуткого в читающей России, так и подавно хорошо. Очень соблазнительно для пущего эффекта усилить тон, надбавить униженному еще немножко унижения и оскорбленному еще немножко оскорбления: тогда ведь и ясная девушка и все, что в ней для Ивана Петровича олицетворяется, будут еще больше тронуты. Очень это естественное соображение, а между тем отсюда идет наклонная плоскость в сторону отсутствия «простоты», за которую получено одобрение, и присутствия ненужного мучительства, одобрения отнюдь не заслуживающего. С течением времени Иван Петрович со второй дороги может совсем перебраться на третью; первоначальная цель — возбуждение сочувствия к забитому человеку — может постепенно отойти совсем на задний план и уступить свое место тому, что было сначала только средством — игре мускулами творчества. Может, словом, произойти точное воспроизведение двух первых моментов гегелевской формулы диалектического развития: положение перейдет в свое отрицание, сочувствие в мучительство. Разные люди при разных обстоятельствах разно покатятся по этой наклонной плоскости. Как это вышло у Ивана Петровича — нам неизвестно, да и не интересно нисколько. Что же касается самого Достоевского, то он покатился столь быстро, что уже Белинский, при всей своей восторженности от «Бедных людей», должен был назвать последующие произведения

Достоевского «нервической чепухой» («даже сильнее», прибавляет г. Пыпин в известной книге о Белинском)[17]. «Нервическая чепуха» — это ведь именно и значит отсутствие простоты и присутствие ненужного мучительства. Конечно, не так просто, не так вдруг совершилась эта метаморфоза, и первоначально оба течения довольно долго боролись друг с другом. Одолевало то или другое, смотря по обстоятельствам...

Спрашивается, какие же это обстоятельства, какие условия сдерживают или усиливают раскат по вышеозначенной наклонной плоскости? Прежде всего задерживающие или, напротив того, усиливающие условия могут заключаться в прирожденных личных свойствах писателя: «таланты от бога». Жестокость таланта, как и всякая другая жестокость, может быть результатом несчастного сочетания стихийных сил. Если, например, у Полины, жестоко терзающей «игрока», «следок ноги узенький и длинный, мучительный, именно мучительный», то, значит, ей так на роду написано быть мучительницей. В писателе, однако, прирожденная жестокость таланта может сдерживаться другими, отчасти прирожденными же, стихийными, а отчасти разумными элементами. В художнике на первом плане стоит здесь чувство меры, которое у тонко развитых в художественном отношении натур играет примерно такую же всеконтролирующую роль, как так называемый такт у светских людей. Светский человек, будучи, например, большим негодяем, в силу присущего ему такта не обнаружит своего негодяйства. Тот же такт не позволит светскому человеку сделать какую-нибудь неприличную публичную сцену, хотя бы у него в душе целый ад кипел. Так и в художнике, — чувство меры подавляет и контролирует его личные поползновения. У Достоевского это чувство было чрезвычайно слабо. Талант — чрезвычайно неровный: он то потухал до совершенной бесцветности и томительной скуки, то разгорался сильным и ярким огнем, но никогда не знал меры. За исключением «Мертвого дома» и двух-трех мелких рассказов («Белые ночи», «Маленький герой», «Кроткая»), вполне законченных в смысле гармонии и пропорциональности, все остальное, написанное Достоевским, не поражает нас своею нескладностью, растянутостью, безмерностью (если можно так выразиться) только потому, что мы уж очень привыкли к его манере пи-

сания. Мы представили в прошлый раз образчики этой безмерности в виде рога изобилия несчастий и обид, обрушивающихся на героев, в виде толкотни событий, которых у него в один день совершается столько, сколько другому хватило бы на целый год, в виде ненужных надстроек, вставок и отступлений. Если в некоторых из этих случаев чувство меры оказывается бессильным для обуздания жестокости таланта, то оно было столь же бессильно и тогда, когда Достоевский изображал благожелательные чувства. «Бедные люди», например, трудно читать без некоторой тошноты от чрезмерного обилия всяких «маточек» и «голубчиков моих». А в «Униженных и оскорбленных» Иван Петрович столь чрезмерно пылает самоотвержением, что не только безропотно уступает свою Наташу первому встречному шалопаю, а еще играет роль сводни; словом, столь безмерно благороден, что даже гнусен.

Итак, чувство меры, будучи в Достоевском крайне слабо, не могло его сдержать в движении по наклонной плоскости.

Есть еще одно обстоятельство, которое даже при страшной прирожденной и потому трудно устранимой жестокости таланта могло бы спасти Достоевского от ненужного мучительства, а его читателей и действующих лиц от ненужных мучений. Не помню, кто из героев Эжена Сю, будучи от природы в буквальном смысле слова кровожадным человеком, но, попав под влияние некоторого добродетельного и умного руководителя, становится совершенно несчастным человеком. Стихийные силы натуры влекут его к кровопролитию, а влияние добродетельного и умного руководителя не допускает до кровопролития. Наконец, дело разрешается очень просто: добродетельный и умный руководитель поместил кровожадного героя на бойню мясником. Тут герой мог удовлетворять своим жестоким наклонностям, делая вместе с тем общеполезное дело. Это, конечно, не более как грубая иллюстрация к теории Фурье, по которой страсти и наклонности, вложенные в человека природой, как бы они ни были, по-видимому, безобразны, нуждаются только в известном приспособлении, чтобы сослужить обществу полезную службу [18]. Нам здесь нет дела ни до остроумной теории Фурье, ни до грубой иллюстрации Сю. Но она, эта иллюстрация, может быть именно вследствие своей грубости, если не разрешает нашего вопроса, то наглядно

рисует возможность его разрешения. В самом деле пусть злоба, жестокость, мучительство исчезнут с лица земли, и пусть на их могилах пышным цветом расцветает любовь. Чего лучше! Но улита едет, когда-то будет. И доколе нет «на земле мира и в человецех благоволения», самый любвеобильный человек допустит, что возможна и даже обязательна «необузданная, дикая, с лютой подлостью вражда» [19]. А всякая вражда требует иногда людей жестоких (не мучителей, конечно, которые ни для какого дела не нужны). Вот и пусть бы Достоевский взял на себя в этой вражде роль, соответственную его наклонностям и способностям, которые нашли бы себе, таким образом, определенную точку приложения. Все равно как нашли себе таковую кровожадные наклонности героя Сю. Но у героя этого был добродетельный и умный руководитель, столь добродетельный, умный и притом могущественный, что в действительной жизни такого, пожалуй, не встретишь. Да и сомнительно, чтобы Достоевский, сам человек властный, надолго подчинился какому-нибудь личному руководительству. Руководителем для него могло бы стать только что-нибудь бесплотное, идеальное, перед чем самому гордому и властному человеку не стыдно склониться, и вместе с тем такое, чтобы оно не в облаках где-нибудь носилось, а стояло всегда тут, близко, постоянно охватывая собою человека. Люди смирные и слабые могут довольствоваться тою нравственною дисциплиною, которая дается личным руководительством или велениями заоблачных начал. Люди же сильные, властные, сами умеющие так или иначе управлять сердцами людей, не наденут на себя ярма личного руководительства. Знакома им (не всем, конечно) и «с небом гордая вражда». Но властные люди могут — и это не только теоретическое соображение, а и многократный исторический факт — склоняться перед идеальным началом, в создании которого они сами принимали участие, в которое они вложили частицу самих себя, своей мысли, чувства, воли; а таким началом может быть только определенный общественный идеал. Будь такой идеал у Достоевского, он не допустил бы его заниматься ненужным мучительством и беспредметною игрою мускулов творчества, а направил бы его жестокие наклонности в какую-нибудь определенную сторону. Но у Достоевского такого идеала не было...

Говорю не в качестве человека партии. Весьма вероятно, что общественный идеал Достоевского, если бы он у него был, оказался бы чем-нибудь вроде утопии г. Каткова — безотрадной, безбрежной пустыней, где только изредка среди всеобщего безмолвия раздаются крики: «Караул!», «Держи!», «Ура!». С моей скромной личной точки зрения, равно как и с точки зрения того великого бога, которому я молюсь, тут нет ровно ничего хорошего и есть очень много скверного. Но, не говоря уже о том, что Достоевский мог быть и счастливее в выборе своем, даже в этом случае он был бы избавлен от беспредметной «игры» на нервах читателей. Но, повторяю, никакого сколько-нибудь определенного общественного идеала у Достоевского не было. Почему не было? — это вопрос особый и для разрешения довольно трудный. Мы и не будем им заниматься, ввиду отсутствия нужных биографических данных. Нам важен только самый факт. Если же кто в этом факте усомнится или попробует сложить какой-нибудь общественный идеал из тех обломков личной морали славянофильской доктрины, которыми пробавлялся Достоевский, в особенности в последнее время, то такому скептику я предложу вложить персты свои в язвы гвоздиные.

Рассуждая о некоторой теории общественных отношений (по всем видимостям социалистической), подпольный человек, между прочим, пишет:

«Тогда-то — это все вы говорите — наступят новые экономические отношения, совсем уже готовые и тоже вычисленные с математическою точностью, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы, собственно потому, что на них получатся всевозможные ответы. Тогда выстроится хрустальный дворец. Тогда... Ну, одним словом, тогда прилетит птица Каган. Конечно, нам нельзя гарантировать (это уже я теперь говорю), что тогда не будет, например, ужасно скучно (потому что что ж и делать-то, когда все будет расчислено по табличке), зато все будет чрезвычайно благоразумно. Конечно, от скуки чего не выдумаешь! Ведь и золотые булавки от скуки втыкаются *, но это бы все ничего. Скверно то (это опять-таки я говорю), что, чего доброго, пожалуй, и золотым булавкам

* Перед тем шла речь о наслаждении, которое Клеопатра испытывала, втыкая золотые булавки своим невольницам в груди.

тогда обрадуются. Ведь глуп человек, глуп феноменально. То есть он хоть и вовсе не глуп, но уж зато неблагодарен так, что поискать другого, так не найти. Ведь я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливой физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем: «А что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного раза ногой, прахом, единственно с тою целью, чтобы все эти логарифмы отправились к черту и чтобы нам опять по своей глупой воле пожить». Это бы еще ничего, но обидно то, что ведь непременно последователей найдет: так человек устроен. И все это от самой пустейшей причины, об которой бы, кажется, и упоминать не стоит: именно оттого, что человек всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода; хотеть же можно и против собственной выгоды, а иногда *положительно должно* (это уж моя идея). Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хотя бы даже до сумасшествия: вот это-то все и есть та самая пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту. И с чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно выгодного хотения? Человеку надо только *самостоятельного* хотения, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела».

И т. д., и еще несколько страниц такого же затейливого изложения той же незатейливой мысли. Лет за тридцать перед тем как ее изложил подпольный человек (1864), эта мысль, будучи в качестве критики тогдашних социалистических теорий столь же незатейливою, была, однако, до известной степени уместна и даже справедлива. Только одного не приняли в соображение представители либеральной европейской буржуазии, сделавшие из развиваемой подпольным человеком мысли своего любимого конька; а именно того, что эта мысль может быть направлена решительно против всякого обществен-

ного идеала, в том числе и против либерально-буржуазного. А о других прочих и говорить нечего. Нам здесь не приходится, разумеется, рассуждать о том, как и в какой мере возможно примирение личной самостоятельности с каким-либо общественным порядком. Но дело в том, что возражение подпольного человека может быть предъявлено, собственно говоря, только таким субъектом, у которого у самого нет никакого общественного идеала. Если ссылаться на свойства человеческой природы, то надо помнить, что коли человек создал себе какой-нибудь идеал, самый хотя бы мечтательный и нелепый, так уж его такими пустяками из седла не выбьешь, ибо там, в этом мечтательном идеале, все это уже предусмотрено и разрешено. Взять хоть бы ту же утопию бесконечной равнины, на которой раздаются только крики: «Караул!», «Держи!», «Ура!». Кажется, что может быть мечтательнее и нелепее? А попробуйте-ка запугать г. Каткова «джентльменом с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливой физиономией», который вдруг «упрет руки в боки» и предложит все это благополучие «отправить к черту». Нимало не запугаете, потому что для такого джентльмена в утопии есть место и даже не место, а места́ — весьма и не весьма удаленные. В другого рода утопиях джентльмен с ретроградной и насмешливой физиономией тоже предусмотрен. Предполагается именно, что осуществление утопии внесет в жизнь столько света и счастия, что если бы джентльмен и объявился и даже увлек за собой кое-кого, то количество этих увлеченных будет примерно три с половиной человека, которые будут играть роль таких же редкостных уродов, как теперь двухголовые соловьи, очень маленькие карлики и очень большие великаны. Пусть это мечта, но такова уж человеческая природа, что смущаться и других смущать джентльменом с ретроградной и насмешливой физиономией могут только люди, никакого собственного идеала не имеющие. Таков подпольный человек, который в шаблонном либерально-буржуазном возражении сделал только ту странную поправку, что, дескать, не заботьтесь очень о благополучии-то — человек страдать любит. Точно этого добра мало в жизни! Но подпольный человек не просто подпольный человек, а до известной степени сам Достоевский. По крайней мере в ту часть «Записок из подполья», откуда заимствовано нами рас-

суждение насчет джентльмена с ретроградной и насмешливой физиономией, Достоевский несомненно вложил много своего личного, собственного...

Это не доказательство! — перебьет меня читатель. Конечно, не доказательство, а только соображение, основанное на сходстве некоторых теоретических идей Достоевского и подпольного человека и их практических приемов мучительства. Доказательство же могло бы уже просто в том состоять, что Достоевский никогда своего общественного идеала нам не показывал. Но этого мало. Припомните странную мысль Достоевского — странную, но отнюдь не одиноко стоящую в его писаниях, что Коробочка и ее крепостные, оставаясь в том же социальном положении, могли бы явить миру высокий образец взаимных нравственных отношений, если бы были проникнуты истинно христианским духом [20]. Никто не сомневается в возвышенности христианской морали, но в этой выходке сквозит такое страшное презрение ко всякому общественному идеалу или такая почти непостижимая скудость мысли и чувства в этом направлении, что поневоле вспомнишь джентльмена с ретроградной и насмешливой физиономией. На этот раз фантастический джентльмен должен бы был, «уперев руки в боки», сказать: а давайте-ка, господа, столкнем к черту все, что выработано и выстрадано человечеством по части общественных идеалов: не все ли, собственно говоря, равно — крепостное право, теперешний, завтрашний порядок? Все это чепуха, ибо во всяком положении можно быть высоконравственным человеком...

Слабость художественного чувства меры, которое могло бы контролировать проявление жестокого таланта, отсутствие общественного идеала, который мог бы их регулировать, — вот, значит, условия, способствовавшие или сопутствовавшие движению Достоевского по наклонной плоскости от «простоты» к вычурности, от «гуманического» направления к беспричинному и бесцельному мучительству. Чем дальше, тем ярче объявлялась в нем потребность играть на нервах читателя разными страшными чудищами и дух захватывающими диковинками. И, несмотря на всю его по этой части изобретательность, ее все-таки не хватало для удовлетворения его ненасытной потребности: он должен был повторяться. Так, например, в «Вечном муже» Трусоцкий из ненависти к Вельчани-

нову любовно целует у него руки; искренно, с любовью ухаживает за ним за больным, а два-три часа спустя хочет его зарезать бритвой. Казалось бы, в самом богатом собрании «монстров и раритетов» одного такого чудища было бы достаточно. У Достоевского же, не говоря о бесчисленных вариациях на тему любви — ненависти вообще, этот самый эпизод в частности почти буквально повторяется в «Идиоте»: Рогожин братается с князем Мышкиным, меняется с ним крестами и в тот же день бросается на него с ножом. Изображений простой, обыденной типической жизни, которые так тронули сердце Ихменевых, нет и в помине. Напротив, все вычурно, необыкновенно, случайно, чудно̀. Достоевский и сам, наконец, обратил на это внимание. По крайней мере в предисловии к «Братьям Карамазовым» есть, между прочим, следующие строки: «Не только чудак, не всегда частность и обособление, а напротив — бывает так, что он-то, пожалуй, и носит в себе иной раз сердцевину целого, а остальные люди его эпохи, все, каким-нибудь наплывом ветром на время почему-то от него оторвались». Это — попытка оправдаться в выборе чудных, особенных, редкостных людей, положений, чувств. Сказаны эти слова по адресу Алексея Карамазова, который, может быть, и оказался бы таким «сердцевинным» чудаком. Но беда в том, что Алексей Карамазов своей сердцевинности в романе не обнаруживает и сам тонет в целом океане разных необыкновенных людей и положений, которых и сам автор не решается выдавать за сердцевинные. Тут старик Карамазов, развратный до того, что находит наслаждение в любовном сношении с грязной идиоткой Лизаветой Смердящей. Тут Дмитрий Карамазов с целым рядом необыкновенных похождений. Тут мятущаяся, фантастическая Грушенька, эпилептики, отцеубийцы, юродивые, святые, словом — целая кунсткамера. «Чудак» Алеша оказывается самым обыкновенным человеком в этой коллекции чудищ. А читатель знает, что «Братья Карамазовы» отнюдь не составляют в этом смысле исключения. «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» переполнены всякого рода редкостями, исключительными явлениями, чудищами. И если сердца читателей все-таки трогаются и даже в своем роде, может быть, сильнее трогаются, чем в свое время сердца Ихменевых, то во всяком случае на совершенно другой манер; сочувствие к заби-

тым, униженным, оскорбленным заменяется совсем другим отношением к ним. Взять хоть бы тех же рогоносцев Ивана Андреевича и Трусоцкого. Это — истинно несчастные люди, которых жестокая судьба унижает и оскорбляет жестокими руками Достоевского свыше всякой меры и безо всякой с их стороны вины: ничем они не виноваты ни перед женами своими, ни перед их любовниками. Напротив, по крайней мере один из них, Трусоцкий, был весь внимательность и любовь. И тем не менее никакого сочувствия к этим субъектам в читателе родиться не может: один смешон и глуп как пробка, другой низок и отвратительно зол. Тут уж никак нельзя повторить слова старика Ихменева: познается, что самый забитый человек есть тоже человек и называется брат мой. Весь психический процесс, происходящий в душе читателя, сводится к какому-то неопределенному трепетанию нервов, совершенно безучастному и к оскорбленной и к оскорбляющей стороне, но настолько все-таки благодаря таланту автора сильному, чтобы читатель втянулся и некоторое время жил этим беспредметным мучительным трепетанием.

VIII

Ничего этого Добролюбов не застал. Если же и в самых ранних произведениях Достоевского задатки мучительских наклонностей были уже налицо, то, во-первых, это были все-таки только задатки, нечто, относительно говоря, слабое, невыяснившееся. А во-вторых, дух времени, когда довелось работать Добролюбову...

Впрочем, позвольте сначала маленькое отступление.

В «Записках из подполья» есть одна фраза, которая в устах подпольного человека играет роль просто фразы, общего места, но в которую может быть, однако, вложено чрезвычайно важное и обширное содержание. Подпольный человек говорит именно, что он оторвался от «живой жизни» и прилепился к жизни «книжной». Что это такое значит? Возьмем не мрачного «парадоксалиста», кокетничающего своею мерзостью, а настоящего «книжного» и притом хорошего человека. Представьте себе прекрасного юношу, одолеваемого жаждою научных знаний и мечтающего приложить эти добытые усиленным трудом знания к практической жизни на благо

родины. Представьте себе далее, что эта святая для него родина предоставляет ему мирно и безмятежно приобретать знания, а затем настежь отворяет перед ним двери практической жизни: иди и работай. И родина в барышах — у нее лишний работник, имеющий прекрасную цель и владеющий средствами для приближения к ней; и личная судьба юноши устраивается превосходно, «струны натянуты, звени на весь мир», как говорит тургеневский Шубин в «Накануне». К сожалению, это случай очень простой в теории, но довольно редкий на практике. Бывает так, что родина, ослепленная разными тяжелыми обстоятельствами и мутной водой, в которой ловкие люди ловят рыбу, встречает юношу, самое, может быть, дорогое свое детище, с недоверием. Допустим, что она не мешает ему приобретать знания, какие ему угодно и сколько ему угодно (а бывает ведь так, что и этого не бывает). Но предоставляя нашему прекрасному юноше учиться, ослепленная родина оставляет ему только ничтожную щелку для прохода в «живую жизнь» и приложения знаний. Юноша об этом уже на школьной скамье слышит, а затем и воочию самолично убеждается, что его золотые мечты, розовые надежды, голубые идеалы, все эти яркие, блистающие цветы жизни должны «не расцвесть и отцвесть в утре пасмурных дней» [21]. Если эта натура кипучая, которой практическая деятельность в «живой жизни» нужна как рыбе вода, то его ждут многие и разнообразные приключения во всяком случае невеселого свойства, до которых, однако, нам здесь дела нет. Если же это натура, могущая довольствоваться теоретическими сферами, то из него легко может выйти виртуоз в той отрасли знания, которою он занимается. Для этого нужно только, чтобы взамен отрубленной обстоятельствами цели, блага родины, на первый план выступило средство — знание. В самом деле, он занимался, например, философией и с наивностью, свойственною юношам, особливо хорошим, мечтал благодетельствовать родину теми этическими и социологическими выводами, которые он добудет упорным занятием философией. Оказывается, что его родине не нужны его этика и социология; у нее есть свой отверделый кодекс морали, свои отверделые понятия об общественных отношениях, и она ревниво отстраняет все, что может эту отверделость потревожить. Юноша, побившись некоторое время как рыба об лед, прощается со своими практическими иде-

алами и удаляется в область логических, онтологических, диалектических и метафизических тонкостей. Здесь он может свободно строить хотя бы вавилонскую башню, никому не нужную, ни для кого не опасную, никого не радующую. Юноша занимается историей. Он думает вывести собственные оригинальные или проверить чужие исторические законы, с тем чтобы приложить их к судьбам родины и доказать с математическою точностью и ясностью, что в настоящую минуту для родины нужно то-то и то-то. Нет, ослепленная родина не хочет даже и слышать об этих «то-то и то-то», она налагает печать молчания на уста юного историка, и он зарывается в архивы отечественные, а может быть, и иностранные, чтобы добывать там мелкие факты и фактики, упиваться этим познанием исторического сора и навсегда оторваться от «живой жизни»... И т. д. Биолог утонет в безбрежном море видов каких-нибудь насекомых; статистик кинется в омут познания всякого рода чисел. Все это будут виртуозы, оторванные от «живой жизни» или, лучше сказать, отброшенные ею. Одни пустятся в эту виртуозность, в эту игру мускулами мысли после некоторой борьбы и с болью, с душевным надрывом; другие втянутся в нее незаметно, постепенно, может быть с некоторым весельем и чрезвычайно высоким мнением о себе и своей деятельности.

Да не подумает читатель, что я с насмешкою, презрением или другим каким-нибудь видом отрицания отношусь ко всем упомянутым почтенным специальностям. Напротив. Бесспорно, что всякий виртуоз плодит много таких ненужностей, которые во веки веков останутся ненужностями. Но если кто-нибудь хочет познавать всякого рода числа или считать «пески морей, лучи планет» [22], так пусть его. Мне только жаль тех прекрасных юношей, которые совсем не того хотели, вступая в жизнь, и принялись за всякого рода числа и погреблись в архивах только потому, что живая жизнь их от себя оттолкнула. Простительное сожаление, я надеюсь. А ведь это еще все лучшие случаи оторванности от жизни. Бывает много хуже. Бывает так, как, может быть, было с подпольным человеком. Кто его знает! Может быть, сознав свои выдающиеся способности вообще и специальную силу «донимать» людей «картинками», он думал великие дела обломать, мечтал горами ворочать и «донять» дорогую

родину такими «картинками», чтобы она содрогнулась и от всей своей скверны очистилась. Но ослепленная родина не пожелала его услуг, живая жизнь оттолкнула его; может быть, крайне грубо, больно, оскорбительно и бесповоротно оттолкнула. И вот то, что было лишь средством для достижения высокой цели — донимающие картинки, — стало самою целью подпольного человека. Сила-то ведь осталась, она только потеряла первоначально предположенную точку приложения и разбрасывается поэтому зря, без смысла. Увидел подпольный человек несчастную Лизу и давай ее донимать картинками, то есть мучить без причины, без цели, без нужды.

Что касается средств, которые «живая жизнь» пускает в ход, чтобы оторвать от себя работников, то, я полагаю, распространяться о них нечего. Читатель знает, что средств этих много и что они разнообразны. Достоевский испытал на себе самые страшные из них. За невиннейшее участие в деле Петрашевского он испытал все ужасы и весь позор каторги и солдатской лямки [23]. Его били, секли... его, испытавшего уже наслаждение высшей власти, какая только может быть на земле — власти над сердцами людей...

Теперь можно, кажется, обратиться и к «духу времени».

Дух времени в значительной степени характеризуется количеством отверженных и не отверженных живою жизнью работников. Не одни вершины, не только сильные, большие, властные, а и слабые, малые, смирные хотят участвовать в живой жизни, справедливо рассуждая, что тут всем найдется вдоволь работы; и они, а значит все общество может оказаться отверженным живою жизнью или припущенным к ней. Понятное дело, что дух времени будет в первом случае совсем не тот, что во втором, — иные интересы будут у людей, иначе будут они на вещи смотреть. Во времена Добролюбова у нас на этот счет в некотором роде весна была: лед таял, цветы расцветали, весенние птицы весенние песни пели. Говоря без метафор, общество после томительно долгого бездействия получило, наконец, некоторую возможность принять участие в живой жизни [24]. Добролюбов был слишком умен и требователен, чтобы приходить в телячий восторг (как приходили тогда многие) от этого во всяком случае первого, неуверенного, колеблющегося шага. Но и на нем сказал-

ся дух времени. Так, например, хоть в той же статье о забитых людях, несмотря на ее общий грустный и протестующий тон, пробивается оптимистическая струйка, совершенно, конечно, оправдываемая тогдашними обстоятельствами. Кто же в самом деле мог тогда предвидеть, что мрак и хаос наступят так быстро, после того как «солнце встало» и «горячим светом по листам затрепетало»! [25] Тот же оптимизм побуждал часто Добролюбова, как и других, считать побежденным то, что в сущности было вовсе не побеждено, а только съежилось и пригнуло голову. Между прочим, именно как к побежденным, Добролюбов относился к формулам виртуозности: наука для науки, искусство для искусства. Оно и понятно. Живая жизнь, настоящее дело настолько стали общедоступными, а в недалеком будущем развертывались такие широкие перспективы, что казалось, кому же придет охота променять настоящую жизнь на ее отражение, цель на средство; наука и искусство, конечно, сами пойдут на службу к живой жизни. Так оно и было в общем тоне, но вовсе не так в подробностях. Наделяя при случае, мимоходом, пресловутое искусство для искусства каким-нибудь презрительным толчком, Добролюбов относился ко всем разбираемым им крупным явлениям литературы так, как будто и сомнения не могло быть в том, что это продукты сознательного служения живой жизни. Ему и в голову не приходило, что то или другое крупное литературное явление родилось *так,* спроста, как роза цветет, как соловей поет. По этой части происходили даже не лишенные пикантности анекдоты. Так, например, в статье «Когда же настанет настоящий день?» [26] Добролюбов написал несколько прекрасных страниц в ответ на вопрос, почему Инсаров болгарин, а не русский, и почему русский не мог увлечь Елену. При этом предполагалось, что Тургенев намеренно выбрал такого героя, именно в таких-то и таких-то видах. А по прошествии некоторого времени Тургенев откровенно разъяснил, что никаких таких видов у него не было, а что он просто воспроизвел действительное происшествие, героем которого был именно болгарин [27]. Точно так же и относительно Достоевского. Добролюбов и представить себе не мог, чтобы можно было мучить, например, «господина Голядкина» *так,* ни с того ни с сего, ради «игры». Не то чтобы у него для этого не хватало проницательности или критического та-

ланта. Нет, самая возможность такого дикого явления была далека от его мысли. И вот он придумывает для злоключений Голядкина жизненное объяснение, тонкое и умное, которое, однако, никуда не годится. Само собою разумеется, что это нимало не отнимает цены у статьи Добролюбова, потому что и посвящена-то она, собственно говоря, не столько Достоевскому, сколько забитым людям, а забитые люди будут, конечно, поважнее Достоевского...

И в этом отношении, как и во многих других, Добролюбов был настоящим выразителем духа времени. Все читающее общество было как-то бессознательно уверено в невозможности литературы *так*. Оно допускало, разумеется, исключения для разной мелочи и шелухи, но крупный талант представлялся в ту весеннюю пору непременно работником живой жизни, и читатель именно в этом направлении искал объяснения произведениям Тургенева, Островского, Гончарова, Достоевского.

Понятное дело, что при таких условиях Достоевский со своими мучительскими наклонностями и не окрепшим еще талантом не мог играть видной роли. Независимо от относительной слабости дарования аудитория-то была просто неподходящая. Тогдашний читатель, все равно умный или глупый, эстетически развитый или неразвитый, был подобен той пчеле, о которой в немецкой басне рассказывается, будто она высасывает из цветов только сладость, а яд оставляет. Слишком он был занят живою жизнью, чтобы находить наслаждение в беспредметном трепетании нервов, и просто не замечал мучительской стороны огромного дарования Достоевского, пропускал ее мимо ушей.

Совсем другое дело в последний период деятельности Достоевского, особенно под самый конец его жизни. Все сложилось для того, чтобы поднять его популярность до необыкновенной высоты. Правда, он пустился в публицистику и как публицист был просто путаница, которую все так и признали бы путаницей, если бы не политиканство одних и не холопское умиление других. Но зато беллетристический талант его отточился до блеска и остроты ножа. Да и читатель был уже не тот. Не то чтобы сам читатель изменился, а его обстановка — он был оторван от живой жизни. Там, в живой жизни, происходили события огромной важности, небывалых размеров и по-

чти сказочного характера. Но читатель был тут ни при чем. Он был зритель и только и мог что трепетать нервами...

Ну, вот что, читатель. Мы с вами так истрепетались нервами за это тяжелое, страшное время, что о нем надо либо начистоту, по душе говорить, либо совсем не говорить. А чтобы по душе говорить, надо *весны* подождать, чтобы опять лед таял, цветы расцветали, весенние птицы весенние песни пели...

О ТУРГЕНЕВЕ

Литературной критики нет!.. Нет литературной критики!.. Со времен Белинского русская беллетристика осталась без критического руководительства... Критика умерла с Добролюбовым... Последний выдающийся русский критик был Писарев...

Вот сетования, постоянно встречающиеся в разных «литературных обозрениях» и «критических очерках». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что именно авторы критических обозрений, люди, так сказать, специально приставленные к этому самому делу, жалуются на отсутствие критики, относя момент ее исчезновения более или менее далеко, смотря по образу мыслей обозревателя: один не хочет знать Добролюбова и останавливается на Белинском, другой стоит за Добролюбова, третий вспоминает о Писареве; попадаются и такие чудаки, которые считают последним критиком Аполлона Григорьева. Во всяком случае, сами себя эти разные обозреватели и авторы критических очерков в счет не ставят. И, разумеется, очень умно и добросовестно поступают, потому что какие же они в самом деле критики? Если бы они ими действительно были, так незачем бы им было жаловаться на те или другие недостатки современной критики, а тем паче на отсутствие ее, а просто взять да и явить миру образцы истинной критики. Белинский — беру имя, не подлежащее ныне никаким сомнениям, — был ведь в свое время один и не тратил, однако, много времени на печали об том, что он один, а прямо и просто делал свое дело. Ну, и ныне был бы один, например,

г. Чуйко — беру первого попавшегося из толпы обозревателей, потому что ведь все они приблизительно одинакового роста.

Если, однако, даже сами критики говорят, что критики нет, так, значит, ее действительно нет. Почему нет? Этого я не знаю. Может быть, просто потому, что такая уж неурожайная полоса настала, неурожай на людей, способных всесторонне оценить и выяснить беллетристическое произведение. Мудреного ничего нет. Неурожаи всякие бывают. Возьмите хоть того же Белинского и сообразите, что он у нас был один на несколько десятков лет. А может быть, критические таланты и родятся в изобилии, да течение судьбы отвлекает их к другим делам. Может быть, наконец, критики нет потому, что нет на нее спроса со стороны самой беллетристики. Перед Белинским были — легко сказать! — Пушкин, Гоголь, Лермонтов; перед Добролюбовым — Тургенев, Островский, Достоевский. А над чем развернуть свои, может быть, необычайно мощные крылья г. Чуйке или кому другому из обозревателей и авторов критических очерков? Согласитесь, что гг. Авсеенки да Маркевичи, Боборыкины да Летневы едва ли способны дать критической мысли достаточное возбуждение. Говорить об них, конечно, можно, пожалуй даже должно. Но ножу критического анализа тут не над чем отточиться, и очень простительно, если ленивый зевок перебивает работу несчастного обозревателя и рука его еле водит пером по бумаге, или если он отвлекается от прямого своего дела в разные стороны. Жестокие люди эти господа обозреватели, но надо тоже и их судить по человечеству...

Это я, впрочем, может быть, из эгоизма, милостивые государи, прошу вас судить обозревателей по человечеству. Дело в том, что я сам хочу записаться в этот цех и, прося у вас гостеприимства, натурально хочу заручиться и вашей снисходительностью. Я никогда не помышлял о роли критика, и если случалось иногда писать о том или другом явлении в области беллетристики, так только мимоходом и ввиду разных сторонних соображений. Теперь я желал бы заняться этим делом несколько пристальнее, не выходя, однако, из скромной роли обозревателя. Я не буду вам надоедать жалобами на отсутствие литературной критики или на те или другие ее оплошности и недостатки, но не обещаю и критики в ши-

роком значении этого слова. Я буду просто обращать ваше внимание на любопытные явления в области литературного творчества и, по мере сил и способностей, комментировать их. Вот и все.

К сожалению, мне приходится начинать свою летопись отметкой скорбного факта: Тургенев умер...

Смерть эта никого не поразила, потому что давно уже стали появляться в газетах известия о тяжких страданиях маститого художника. Но, никого не поразив, весть о смерти Тургенева всех огорчила, и едва ли найдется хоть один образованный, «интеллигентный» русский человек, который при получении скорбной вести не помянул бы покойника добром за полученные от него художественные наслаждения и толчки работе мысли. Тургенев умер не внезапно — известия о его смерти ждали чуть не со дня на день. Он умер в таком возрасте, в котором европейские писатели и вообще деятели еще ухитряются быть молодыми духом и телом, но до которого редко доживают крупные русские люди, почему-то гораздо скорее изнашивающиеся. Тургенев дал русской литературе все, что мог дать, и какова бы ни была художественная красота его последних произведений, но никто уже не ждал от него чего-нибудь приблизительно равного по значению его старым вещам. Таким образом, все, кажется, сложилось так, чтобы по возможности смягчить утрату, придать ей сглаженные, не режущие и не колющие контуры. И все-таки больно... Слишком многим обязано русское общество этому человеку, чтобы с простою объективностью отнестись к его смерти, какие бы смягчающие обстоятельства ни предъявляли в свое оправдание судьба и законы естества. Но этого мало. Заслуга Тургенева не только в прошлом. Он был нужен и в настоящем, в нашем скудном настоящем.

Тяжело и мрачно было на русской земле в ту пору, когда Тургенев начинал свою литературную деятельность. Это были незабвенные сороковые годы. Мы, только по преданию знающие это время, имеем, однако, печальную возможность судить о нем с полною, так сказать, наглядностью. Как иногда вся жизнь умирающего сосредоточивается в его глазах, так все, что только заслуживает названия человеческой жизни, сосредоточивалось тогда в количественно ничтожной горсти людей мысли. И в числе их был Тургенев. В разные стороны разбре-

лась потом эта горсточка, и некоторые из ее представителей, дожив до того времени, когда опять стало тяжело на русской земле, играли и играют далеко уже не ту роль, какая выпала той горсточке. Кто устал, кто озлобился и даже рассвирепел, кто ударился в мистицизм и юродство, кто просто не понял истинного смысла событий чрезвычайной исторической важности, совершавшихся на Руси с сороковых годов. И Тургеневу случалось впадать в ошибки, порождать недоразумения и самому делаться их жертвою, как он сам с горечью печатно рассказывал, вспоминая литературно-политический эпизод с «Отцами и детьми». Но это были именно недоразумения, и Тургенев сам говорит о том удивлении и отвращении, с которым он, по приезде после «Отцов и детей» из-за границы, встречал любезности разных мракобесов [1]. Недоразумения порождались личными слабостями покойника, которые могут быть тому или другому более или менее досадны и неприятны, но не должны и просто даже не могут заслонить собою его громадные заслуги. Тургенев никогда не был Савлом [2]. Его никогда не было в рядах разношерстной литературной когорты гонителей истины и гасителей света, этой когорты палачей, поигрывающих плетью, шутов, позванивающих бубенчиками дурацкого колпака, и юродивых, самодовольно, напоказ бренчащих веригами. Он всегда оставался верен несколько неопределенным, но светлым идеалам свободы и просвещения, с которыми выступил на литературное поприще. Мимоходом сказать, этой неопределенности и вместе светозарности идеалов Тургенева вполне соответствовали некоторые особенности его несравненного таланта. Это был талант (независимо, конечно, от других его свойств), так сказать, музыкальный, а музыка, как известно, вызывает неопределенные, но хорошие, приятные, светлые волнения. Понятно, что эта музыкальность таланта Тургенева должна была особенно проявляться в мелких вещах, где она не заслонялась для читателя возбуждениями умственного и нравственного характера. Любопытно, что в передаче музыкальных ощущений Тургенев решительно не имеет соперников: состязание «певцов» в «Записках охотника», игра Лемма в «Дворянском гнезде», игра волшебной скрипки в «Песни торжествующей любви» — в своем роде шедевры. Дело тут не в слоге, не в «стиле», по крайней мере не в

нем одном, а в специальной черте самого характера творчества, а эта специальная черта находилась в свою очередь в тесной связи со всем душевным обликом художника, неопределенным, но светлым.

Не принимая активного участия в борьбе со свинцовым мраком, стремящимся облечь нашу родину, не занимая даже никакого определенного места в литературе в этом отношении, Тургенев служил идеалам свободы и просвещения самым, так сказать, фактом своего существования, наличностью своего первостепенного таланта и своей не русской только, а европейской славы. Ни для кого не было тайной, куда направлены симпатии этой красы и гордости русской литературы [3], и из змеиных и жабьих нор не раз раздавались за это зловещие шипения по его адресу. Ни для кого также не было тайной, что покойник был «западник» (он сам себя так называл), но это не мешало ему быть гордостью русской литературы. И вот почему Тургенев был дорог, хотя бы даже ничего более не писал. Вот почему нужно было желать ему еще долго, долго жить. А вместо того он, по странному русскому выражению, сам приказал нам долго жить...

Будем жить...

Вы не ждете от меня, конечно, какой-нибудь оценки или переоценки Тургенева или даже просто какого-нибудь итога в этом смысле. Но вы позволите мне несколько беглых замечаний.

В числе проектов памятника Пушкину был один, если не ошибаюсь Антокольского, такого рода: Пушкин сидит в задумчивой позе на скале, а к нему снизу вереницей поднимаются созданные им образы: Онегин, Татьяна, Мазепа и т. д. Мысль несколько вычурная и для скульптуры не совсем подходящая. Но когда не статую лепишь, а просто думаешь об умершем писателе вроде Тургенева, жизнь которого так бедна внешними событиями и вся наполнена созданием художественных образов, то поневоле рисуется именно такая картина: почивший художник и его создания, больше ничего кругом нет; художник делает смотр своим творениям. Может быть, нечто подобное этому смотру происходило и в действительности, когда умирающий, зная, что смерть уж тут, возле кровати, в минуты отдыха от болей, исповедовался сам себе, сам себе давал отчет в своей деятельности. Во

всяком случае, перед нами-то, при воспоминании о Тургеневе, естественно поднимается вереница всех этих Хорей и Калинычей, Чертопхановых, Недопюскиных, «бурмистров», «певцов», Лаврецких, Рудиных, Инсаровых, Базаровых и т. д. И мы столь же естественно ищем в них отражения духа их создавшего.

Оставим совсем в стороне «Записки охотника», эти маленькие, тонко выписанные акварельные картинки, имеющие свое специальное значение. Надо, однако, заметить, что это специальное значение протеста против крепостного права было впоследствии преувеличено. Многие из этих акварельных картинок (и отнюдь не слабейшие: «Певцы», «Чертопханов и Недопюскин», «Лебедянь», «Свидание» и проч.) вовсе не имеют такого специального характера. Как бы то ни было, но от «Записок охотника» в общем (а их и надо ценить в общем, как цельную картинную галерею) действительно веет протестом не то чтобы именно против крепостного права, а против всей болотности тогдашнего склада помещичьей жизни; протестом, смягченным кровными связями автора с этим бытом и акварельною манерою писания. (В этом последнем отношении любопытно сравнить «Записки охотника» с грубыми красками и топорной работой, но зато и большею выпуклостью «Антона-горемыки» г. Григоровича.) Обратите, пожалуйста, внимание на приемы, которыми выразилась эта отзывчивость Тургенева к болям тогдашнего времени: в «Записках охотника» нет ни одного «нового человека» — ни бурно, хотя и беспредметно протестующего Рудина, ни засосанного болотом, но надрывающегося от внутренней боли «Лишнего человека» [4], ни одного, словом, из представителей нового, по-тогдашнему, наслоения чувств и мыслей. Я потому обращаю на это ваше внимание, что впоследствии за Тургеневым утвердилась репутация какого-то специалиста по части «уловления момента», и именно не просто чуткого художника, а изобразителя «новых людей».

Едва ли существует ходячее мнение о том или другом крупном писателе, которое было бы так распространено и вместе с тем так неверно. Тургенев был и больше этого и меньше, как посмотреть на дело. Он был не только русский, а и европейский, всемирный писатель, каким никогда не будет, например, Гоголь. Со всем своим громадным талантом Гоголь никогда не будет так

близок и родственен, так понятен Европе, потому что его типы чисто русские, тогда как тургеневские типы — общечеловеческие, пожалуй абстрактно психологические. Конечно, люди везде люди, одни и те же страсти их волнуют, одни и те же радости и горя их посещают. Но когда Гоголь рисовал свои образы, он их, так сказать, вырывал с корнем из русской жизни и так их и предъявлял читателю. Тургенев давал своим образам только обстановку русскую и потому для француза, немца, англичанина представлял двойной интерес: тонко разработанный, знакомый, общечеловеческий тип на фоне чужой, своеобразной обстановки [5]. Обстановку эту Тургенев постоянно обновлял, действительно часто заимствуя ее из текущей русской действительности, из «момента» новых наслоений. Отсюда, конечно, и идет странная репутация «ловца момента» и соответственные ожидания и требования, которые никому, кроме Тургенева, не предъявлялись; ни даже, например, Достоевскому в ту последнюю пору, когда некоторые en toutes lettres * называли его «пророком божиим» и провозвестником «нового слова». Весьма естественно, если русское общество, волнуемое разными, трудно утишимыми тревогами, ждет, чтобы умный и талантливый человек, и притом старинный любимец, как-нибудь откликнулся на эти тревоги, подал свой авторитетный голос. Поклонники Достоевского и находили такое удовлетворение хоть бы в «Братьях Карамазовых», в которых, однако, «новых людей» нет, а именно они-то и требовались всегда от Тургенева. Не знаю что именно нашли поклонники Достоевского в «Братьях Карамазовых», но знаю, что художник может откликнуться на тревоги минуты (которая — увы! — может иногда растянуться в целые годы), пальцем не касаясь «новых людей». Порукой в том сам Тургенев в «Записках охотника», не говоря о множестве других примеров. Одно дело скорбеть скорбями родины, тревожиться ее тревогами, пронизывать, пропитывать этими общими скорбями и тревогами свое творчество; и совсем другое дело изображать «новых людей», то есть типичных представителей новых наслоений. Первое достижимо без второго, второе возможно без первого. Конечно, возможно и сочетание этих двух оттенков творчества, но создавать

---

* буквально *(франц.)*.— *Ред.*

из «новых людей» специальность для художника и притом требовать, чтобы он в течение нескольких десятков лет изображал все «новых» и опять «новых» — это, деликатно выражаясь, не умно. И, повторяю, Тургенев вопреки распространенному мнению никогда не удовлетворял этому требованию, хоть, может быть, в глубине души и хотел бы ему удовлетворить.

Чтобы наглядно убедиться в этом, стоит только сравнить, например, «Лишнего человека» и героя «Нови» — Нежданова. Если вы не будете смешивать рамку с самою картиною, костюм с характером лица, в него одетого, обстановку, в которой действует известный тип, с самым этим типом (а такое смешение — последнее дело), то без труда увидите, что «Лишний человек» и Нежданов одно и то же лицо, один и тот же, и притом общечеловеческий, абстрактно психологический, тип. Самое свое задушевное они выражают даже почти одними и теми же словами. А между тем появление «Лишнего человека» отделяется от появления Нежданова тремя десятками лет и являются они в совершенно различных обстановках. Эта разница в обстановке и дает повод думать или по крайней мере говорить, что как «Лишний человек» был новым человеком для своего времени, так и Нежданов новый человек для своего. Между тем это один и тот же тип слабого, раздвоенного «гамлетика, самоеда», как его назвал сам Тургенев; тип общечеловеческий, блестяще развитой в европейской литературе. Вставьте «Лишнего человека» в обстановку русской революции, и получится Нежданов; придайте ему глубины и высоты и вдвиньте в обстановку средневекового искреннего ученого — получится Фауст; сохраняя ту глубину и высоту, поставьте перед ним практическую задачу кровной мести — выйдет Гамлет. Вы не припишете мне, конечно, нелепой мысли, что все эти «вставьте», «поставьте» очень легко выполнить. Напротив, очень трудно. Надо быть чрезвычайно большим художником, чтобы с таким блеском, как это сделал Тургенев, написать несколько новых вариаций на тему, эксплуатированную гигантами творчества.

Тургенев был совершенно из ряду вон выходящий мастер в деле индивидуализации образов. Мало того, что его фигуры стоят перед нами как живые, со всеми мельчайшими особенностями своих личных физиономий. Это мы получаем от каждого крупного художника. Но Тургенев

устраивал иногда настоящие состязания между своими действующими лицами, ставя их в одно и то же положение по отношению к какому-нибудь частному предмету, как бы загоняя их в одно и то же положение и все-таки сохраняя их индивидуальность до мельчайшей черты. Так поступил он, например, в «Первой любви», точно очертив около княжны круг из пяти или шести мужчин, из которых каждый любит по-своему и к каждому из которых и княжна имеет особенный оттенок отношений. Такой же tour de force * устроил он в «Накануне», разместив вокруг Елены Берсенева, Шубина, Инсарова и Курнатовского. Художник меньшего дарования и даже, пожалуй, не меньшего, а не тургеневского, с его тонкостью и кружевной отделкой письма, едва ли вышел бы победителем из этой трудности, да, может быть, и не решился бы на нее покуситься. Если поэт, гусар, доктор и польский граф из окружающих княжну в «Первой любви» несколько отзываются ходячими шаблонами поэта, гусара и т. д., то Берсенев, Шубин, Инсаров, Курнатовский уже несомненно портреты редкого мастерства: портреты, то есть нечто вполне индивидуализированное.

Тем не менее, если оставить в стороне многочисленные второстепенные действующие лица рассказов, повестей и романов Тургенева и сосредоточиться на их «героях», центральных фигурах, то увидите, что, собственно, только два типа особенно занимали Тургенева и постоянно им разрабатывались. В его отношениях к этим типам, в разнице этих отношений сказываются все особенности художественной натуры Тургенева и весь его душевный облик.

В известной статье «Гамлет и Дон-Кихот» Тургенев, очевидно, гораздо более симпатизирует пламенному, хотя и смешному ламанчскому герою, чем сумрачному датскому принцу. Однако обобщать эту симпатию и антипатию можно только с большою осторожностью. Было бы, например, большою ошибкою сказать, что вообще деятельный, решительный, смело берущий на себя ответственность тип (каков Дон-Кихот) дороже и ближе Тургеневу, чем тип колеблющийся, рефлектирующий, не смеющий сделать то, что, по совести, обязан сделать (каков Гамлет). Совсем не эти стороны того и другого

---

* трудный ход *(франц.)*.— *Ред.*

были важны для Тургенева, не их он имел в виду, когда проводил свою параллель между Гамлетом и Дон-Кихотом. Страдания Гамлета и его хромоногая рефлексия были, напротив, очень близки и дороги Тургеневу, но мрачность скептицизма и холод эгоизма убийцы Офелии, Полония и Лаэрта отталкивали добродушного поэта, вскормленного неопределенными, но светлыми идеалами. В Дон-Кихоте же его прельщала отнюдь не цельная твердость характера и готовность действовать на свой страх, а поэтический порыв, стремление куда-то к свету и беззаветная любовь к людям. Если же (что было бы, конечно, крайне односторонне) разуметь под Дон-Кихотом деятельную, решительную натуру, а под Гамлетом созерцательную, колеблющуюся, то отношения Тургенева к обоим этим типам будет как раз обратное тому, которое мы видим в его параллели.

Тургенев был меньше всего родственен решительным, берущим на себя ответственность натурам, но они занимали его, он рисовал их, поневоле отражая в рисунке свою им чуждость. Конечно, он был слишком умен и чуток к художественной правде, чтобы делать из этих антипатичных ему фигур сплошных злодеев, извергов рода человеческого или дураков, точно так же как и любимцев своих он не обращал в рыцарей без пятна и порока. Напротив, он ставил иногда их в унизительнейшие положения, а чужим, неприятным людям предоставлял даже истинный героизм. Но интимные отношения автора к своим созданиям все-таки чувствуются и не просто чувствуются, а могут быть указаны и анализированы.

Когда капризно-поэтический, ребячески милый Шубин делает статуэтку стоящего на задних ногах и готового бодаться барана, удивительно вместе с тем похожего на Инсарова, то в этом выразилось, конечно в преувеличенном, карикатурном виде, собственное отношение Тургенева к герою «Накануне». Несмотря на свою силу, даваемую определенностью жизненной задачи и верою в нее, Инсаров узок, сух, жесток, даже туп, и сама Елена находит в нем много общего с чиновником Курнатовским. Заметьте, что в качестве деятельного участника освобождения болгар Инсаров вовсе не необходимо должен быть таким, каким он вышел из-под пера Тургенева. Он мог бы быть и пламенным, экспансивным энтузиастом, с глубоким поэтическим чутьем, с широкими политиче-

скими планами, красноречивым оратором, как колокол будящим своих порабощенных единоплеменников, и т. п. Но Тургенев пожелал лишить болгарского агитатора всех ярких красок, не дал ему ни одного цветка жизни из своего богатого поэтического букета. Нельзя, разумеется, приставать к художнику с запросами, почему он сделал своего героя таким, а не этаким. Но если мы видим, что у нашего художника решительные люди, смеющие брать на себя ответственность, *всегда* таковы, то это указывает на известную складку в самом художнике. А среди духовных детищ Тургенева Инсаров далеко не одинок в своей прозаической сухости непреклонного, не гнущегося человека. Таков и Базаров. Антипатия Тургенева к этому своему созданию слишком очевидна, чтобы стоило ее доказывать теперь, когда острый полемический момент оценки «Отцов и детей» прошел. Но оставим совсем в стороне всякие догадки о личных симпатиях и антипатиях покойного. Посмотрим на Базарова просто, как он есть сам. Это, во-первых, человек, идущий напролом, без малейших сомнений и колебаний, смело, даже дерзко берущий на себя ответственность за презрение ко многому, по мнению окружающих святому и неприкосновенному, и за все свое «отрицание»; он не боится ни смерти, ни жизни, ни дуэли, которая теоретически в его глазах смешна, ни приступа к неприступной Одинцовой. Это одна сторона фигуры Базарова. Другая состоит в том, что он опять-таки жесток, сух, черств, узок, хотя и умен. Узок он до того, что, например, для него не существует *наука*, а есть только *науки*, то есть специальности; сух до того, что лишен самомалейшей искры поэтического чувства. Словом, опять ни одной яркой краски, ни одного жизненного цветка в этой сильной, но скудной, пустынной натуре. Не про него эти жизненные цветки. Он не только не тяготится их отсутствием, а может быть, даже когда-нибудь в прошедшем насильственно вырывал их из своей души, чтобы не развлекаться по сторонам, чтобы свободно и решительно идти своей дорогой. А уж тем паче презирает он те цветки, которые ему случайно, по дороге в других попадаются: он их топчет с презрением и насмешкой. Базаров в этом отношении вольный или невольный аскет. Вольный, если он намеренно, систематически стер с себя всякие яркие краски, невольный — если уже он такой уродился.

Милостивые государи, вы позволите мне не распространяться о том, что именно на этом пункте выросли те недоразумения по поводу «Отцов и детей», о которых потом с такою горечью вспоминал Тургенев и которых он своими разъяснениями нимало не разъяснил. Он говорил, например, что он почти разделяет убеждения Базарова, за исключением его взглядов на искусство. Но, чтобы недалеко ходить, ссылаюсь для образчика на вышеупомянутое мнение Базарова, что *наука* это вздор, а есть только *науки*. Уж, конечно, широкому, синтетическому уму Тургенева этот взгляд не мог быть симпатичен. Но, повторяю, я не хочу об этом распространяться. Я предлагаю вам стать на совсем другую точку зрения. Дело в том, что совершенно независимо от обстановки, заимствованной из момента борьбы поколений, Базаров есть психологический тип, родственный и Инсарову и некоторым другим персонажам Тургенева в том смысле, что все это люди неколеблющиеся, идущие напролом, берущие на себя ответственность. Рисуя этот сорт людей, Тургенев направлял их деятельность к очень разнообразным целям: то заставлял освобождать угнетенных соплеменников от иноземного ига, как Инсарова в «Накануне», то предоставлял им сферу теоретического отрицания, как Базарову в «Отцах и детях», то пускал в волны русской революции, как Маркелова, Остродумова и прочую «безыменную Русь» в «Нови», то замыкал в сферу любовной фабулы, как Лучинова в «Трех портретах», как Лучкова в «Бретере», то надевал на них мундир чиновника, как на Курнатовского в «Накануне», и еще кое на каких, менее достопримечательных. Как общественному деятелю или просто как человеку известного образа мыслей, эти различные жизненные цели, эти разнообразные направления деятельности решительных героев могли быть симпатичны или антипатичны Тургеневу. Но ему чужд и не люб был самый тип, сама душевная механика этих людей, какие бы цели они ни преследовали. Замечательный в самом деле факт. Казалось бы, для художника как художника должно быть очень соблазнительно расцветить возможно ярко человека неколеблющегося, твердого умом, чувством и волей. Хотя бы уже потому соблазнительно, что этот прием предоставляет писателю ряд совершенно особых художественных эффектов. Кто говорит! на этом пути легко укло-

ниться от реальной правды жизни и впасть в фальшивую идеализацию, что обыкновенно и случается с мелкими художниками, но Тургенев был художественная звезда первой величины; а между тем во всей богатой коллекции его образов вы не найдете ни одного, который, при стойкости и решительности, обладал бы известною долей других цветных достоинств. Все это серо, сухо, не колоритно, как Инсаров и Базаров; подчас просто даже глупо, как «безыменная Русь», подчас грубо и злобно, как Лучков, или, самое большое, красиво злобно, как Лучинов.

Вы, может быть, удивитесь, что грубого бретера Лучкова и бессердечного наглеца Лучинова я ставлю рядом с Инсаровым, Базаровым, Остродумовым, Маркеловым, Курнатовским. Но минута размышления — и вы согласитесь, что это один и тот же абстрактно-психологический тип, вдвинутый в различные обстановки. Лучков убивает неповинного приятеля, а Лучинов еще более невинного и притом совершенно жалкого человека, не моргнувши глазом. Цели, для которых приносятся эти кровавые жертвы, будучи чисто личного характера, и принципы, во имя которых происходят жертвоприношения, мелки, дрянны, низменны. Затем между Лучковым и Лучиновым нет, по-видимому, ничего общего, хоть они оба дуэлисты: один туп и груб как бревно, другой — блестящий «кавалер». Но характерная черта психологического типа состоит не в этих случайных подробностях, определяемых условиями рождения, воспитания, влияний среды, и не в целях деятельности, столь же изменчивых, а в готовности перешагнуть через какое бы то ни было препятствие; в такой вере в свою правоту, которая не допускает даже и тени сомнений и колебаний. Замените теперь эти дрянные цели чистыми и низменные принципы возвышенными, и вы можете получить нечто вроде Инсарова. Что человек при этом остается тот же в своей душевной механике, хотя изменяется в направлении своей деятельности, это видно, например, из известной сцены ратоборства Инсарова с пьяным немцем. Этот пьяный немец ведь не турок, которого надо выгнать из Болгарии, и цели и принципы деятельности Инсарова тут ни при чем. Однако искаженное лицо Инсарова и холодная решительность, с которою он ввергает немца в воду, свидетельствуют, что он смело взял бы на себя ответственность

за увечье и даже смерть этого пьяного немца. По мнению столь компетентного ценителя, как героиня «Накануне» Елена, в Курнатовском и Инсарове есть нечто общее. А вы помните, как взволновала Елену холодная решительность, с которою Курнатовский настаивал на необходимости «раздавить» какую-то группу людей, со включением и невинных ее членов (если не ошибаюсь, разговор шел о взяточниках; вообще, извините, я пишу на память, не имея под рукой сочинений Тургенева). Базаров, обреченный на проживание в теоретических сферах, производит там операцию совершенно параллельную: он всегда готов, без колебаний и сомнений, «раздавить» установившуюся идею, предрассудок, поэтический порыв, не щадя при этом людей. О «безыменной Руси» и говорить нечего.

Тургеневу случалось вводить в портреты этого сорта людей очень некрасивые черты, но, повторяю, он был слишком умен и слишком большой художник, чтобы делать из них всегда и непременно сплошных глупцов или негодяев, как это делают мелкотравчатые живописатели с своими духовными пасынками. Но это были все-таки пасынки Тургенева, и он карал их, как только может карать умный и талантливый художник: в большей или меньшей степени наделял сухостью, черствостью ума или чувства, лишал поэтического ореола. Вас отнюдь не должна смущать в этом отношении якобы поэтическая фигура Инсарова: на него лишь падает отблеск грандиозной задачи освобождения Болгарии; сам же по себе он так же тускл, как те свинцовые пули, которыми он хотел бы осыпать турок.

Вообще скудость, сухость, обделенность дарами природы точно представлялись Тургеневу необходимыми спутниками или даже условиями непреклонной личной силы. И это станет еще явственнее, если мы обратим внимание на его разработку противоположного типа — мягкого, колеблющегося, сомневающегося, несмеющего, не управляющего событиями, а управляемого ими. Тургенев очень много занимался этим типом и создал целую коллекцию его вариантов. В первую пору своей литературной деятельности он изображал этих слабых, раздвоенных людей вне всякой деятельности, только мучительно копающимися в своей душе (Гамлет Щигровского уезда, Лишний человек). В первый раз показал он

их в действии в «Рудине», едва ли не лучшем своем и во всяком случае необыкновенно прекрасном произведении. В Рудине есть много непривлекательных мелких черт (охотно живет на чужой счет, берет деньги взаймы без отдачи), но все они тонут в общей слабости — бесхарактерности, которая ставит Рудина в целый ряд неловких и даже позорных положений. Слово и дело для него совсем разные вещи, он не способен на какой бы то ни было твердый, решительный, определенный шаг и совершенно посрамляется не только Натальей, а и людьми гораздо меньшего калибра. И несмотря на все это, Рудин истинно блестящий образ. Одно время, с легкой руки некоторых критиков, у нас принято было презрительно относиться к «болтовне» Рудина: дескать, дела не делает, а только болтает [6]. Рассуждающие таким образом упускают из виду, что в те печальные времена, когда жил Рудин, не было особенного богатства в выборе «дела» для человека его образа мыслей. Забывают они также, что слово само по себе может быть делом, и как ни велико расстояние между словом и делом для самого Рудина, но по отношению к другим его мощное слово могло быть и действительно было делом. Недаром, наслушавшись его красноречия, Наталья ощутила в себе силы, оказавшиеся не по плечу самому Рудину; недаром перед юным Басистовым разверзались от этого красноречия какие-то неопределенные, но светлые и широкие горизонты. Конечно, если бы этот роскошный дар природы в другие руки, например Инсарову или Базарову, так они не такие дела обделали бы. Но наш художник позаботился, как гласит немецкое изречение, чтобы деревья не доросли до неба. Сильным людям он не дал талантов и вообще блеску, а слабому дал и таланты и поэтический ореол. Смерть Рудина, усугубляя эффектность его фигуры, искупает и разные его слабости. И не только смерть, а уже скорбный рассказ старому приятелю об том, по каким он дорогам мыкался и какие бывают дороги грязные. Много мягкости душевной и теплоты внес сюда наш знаменитый романист, и именно по таким страницам надо ценить глубокую гуманность его натуры.

Замечательно, однако, что эта душевная теплота проявлялась во всей своей полноте только при обрисовке слабых характеров, не влекущих, а влекомых, не управляющих, а управляемых. Таких Тургенев умел обли-

вать мягким, ласкающим светом, даже не прибегая к роскоши даров природы. Вот, например, герой «Вешних вод» Санин. Это самый обыкновенный молодой человек, только молодостью и блистающий. На нем нет, правда, ни мрачных теней, ни свинцовой тусклости, но не числятся за ним и какие-нибудь положительные личные достоинства; ни глубоких дум, ни особенных дарований. Вместе с тем он просто тряпка по характеру. Слабые люди никогда не кончают, все ждут, чтобы кончилось, замечает Тургенев, рассказывая романическую историю Санина. Но Санин ничего и не начинает и не продолжает, у него все как-то помимо него начинается и продолжается. Тряпичность его переходит даже в гнусность, в которой, как ему самому кажется, его уличает даже собака Тарталья, и он с тоской вспоминает о той позорной роли, которую, оставив Джемму, играл при госпоже Полозовой. Но и события в конце концов так располагаются, и таким рыцарем ведет себя по временам Санин, и так много свету и тепла пустил во всю эту обыкновенную историю мастер-художник, что Санин отнюдь не противен, а просто вам его жалко...

Я слишком долго не кончил бы, если бы захотел перебрать все созданные Тургеневым образы слабых людей, и потому вы позволите мне остановиться только на одном еще, на Нежданове. Гамлет Щигровского уезда назвал бы этого юношу своим младшим братом, примеряющим костюм революционера, Шубин назвал бы его «грызуном, гамлетиком, самоедом», Паклин называет его «российским Гамлетом». Гамлетик-Нежданов не только раздвоен, а растроен между любовью к Марианне, стремлением в художественные сферы и избранною им революционною деятельностью. Совокупить как-нибудь все это в одно целое он не может, и все это у него не настоящее, потому что ничему не умеет он отдаться вполне, без мучительно скептического копания в своей душе. Ему естественно кончить самоубийством, потому что порядочному человеку надо или сбросить это бремя, или перестать жить. Только совершенная дрянь может без конца носиться с этой душевной сумятицей и, пожалуй, даже кокетничать ею, что обыкновенно и делают «гамлетизированные поросята», из которых, по законам естества, с течением времени вырастают свиньи [7]. Но Гамлетик-Нежданов больше чем порядочный человек. Он чист в порывах своей натуры и

искренен в своем скептицизме. Притом же, за исключением Марианны, о которой сейчас, Нежданов выше всех видимых окружающих. Говорю «видимых», потому что есть и невидимые, и в этом состоит особенный интерес всей концепции «Нови». Тургеневу по каким-то особым внутренним требованиям его творчества *нужно* было поставить в центре романа именно Нежданова, с его надломленностью, и расположить всех остальных действующих лиц в тени, так, чтобы на него падало как можно больше света. Достигается это двумя способами. Около Нежданова группируется кучка людей сильных волею и цельных верою, но зато необыкновенно скудных в умственном отношении, узких, тусклых, просто даже глупых. На этом сером фоне Нежданов выделяется ярким, красивым пятном. Затем вдали помещается Соломин, рекомендуемый чем-то покрупнее всех этих Маркеловых, Остродумовых, Машуриных, но настолько вдали, что он оказывается как бы в тумане и никоим образом не может заслонить собою Нежданова. Еще дальше, уже вне рамок картины, помещается какой-то Василий Николаевич, вожак, заправляющий всей «безыменной Русью». Он даже не показывается в романе, об нем только говорят. Может быть, он и очень большая величина, может быть даже соединяет личную непреклонность и небоязнь ответственности с выдающимися дарованиями и поэтическим блеском, но ревнивый к своему любимцу Нежданову художник не допускает их до состязания в симпатиях и заинтересованности читателя. Он не хочет рисковать поэтическим ореолом Нежданова. На нем, на этой колеблющейся, не смеющей, не умеющей определиться фигуре хочет он сосредоточить участие и интерес читателя.

Есть, однако, одно лицо, перед которым Тургенев охотно пригибает Нежданова. Это — Марианна. Мужчина, пасующий перед женщиной, оказывающийся ниже ее, один из любимейших мотивов Тургенева. Он его эксплуатировал в «Асе», в «Рудине», в «Дыме», в «Вешних водах», в «Затишье», в «Конце Чертопханова». И если, например, в упомянутом художественном tour de force, в «Первой любви», буйная княжна Зинаида совершенно преклоняется перед одним из пяти или шести мужчин, претендующих на ее благосклонность (перед отцом лица, от имени которого ведется рассказ), преклоняется до унижения, до поцелуя рубца от удара его хлыста, то

остальная-то коллекция вся у ее ног. Да и этот один, стоящий выше ее, почти не показывается читателю. Остается совершенно неизвестным, какими чарами околдовал он буйную княжну. Художник как бы признает свое бессилие изобразить такое редкостное явление. В «Нови» Соломин, выражая одну из самых задушевных мыслей автора, говорит, что *«все* русские женщины дельнее и выше нас, мужчин». *Все* это, конечно, уж через край, сильно сказано, но почти справедливо относительно женских типов, созданных Тургеневым. Он их рисовал с необыкновенною любовью и, так сказать, рыцарскою деликатностью. Даже такая грубо чувственная и хищная натура, как m-me Полозова в «Вешних водах», оказывается, во-первых, сильною, а во-вторых, во многих отношениях симпатичною. Даже такая последняя дрянь, как m-me Лаврецкая в «Дворянском гнезде», сдабривается красотой, умом, талантами и не получает от автора ни одного грубого, хотя и вполне заслуженного ею пинка. Об остальных, или по крайней мере о большинстве остальных, и говорить нечего, это чистейшие, идеальные создания. Пропустите только у себя в памяти героиню «Фауста», Асю, Машу в «Затишье», Лизу в «Дворянском гнезде», Наталью в «Рудине», Елену в «Накануне», Джемму в «Вешних водах», Таню в «Дыме», Одинцову и Катю в «Отцах и детях», Марианну в «Нови»...

Если, однако, репутация Тургенева как ловца моментов русского общественного развития несправедлива вообще, то еще менее справедлива она относительно русских женщин. Я уже не говорю об том, что итальянка Джемма могла бы быть заменена русскою или собой заменить русскую без малейшей перемены во внутренней, душевной жизни. Но относительно женщин Тургенев не прибегал даже к заимствованиям «новых» обстановок из текущей русской действительности (исключение составляют Кукшина в «Отцах и детях», Марианна и Машурина в «Нови»). Припомните, сколько различных «моментов» пережила русская женщина с тех пор, как звезда Тургенева сразу ярко загорелась на горизонте русской литературы. В сороковых годах, под влиянием Жорж Занд, у нас были так называемые «эмансипированные» женщины. Явление это было, правда, не особенно распространенное и, в общем, довольно безобразное, как оно и естественно при миллионах не эмансипиро-

ванных крестьян. Но в отдельных случаях оно могло быть чистым, искренним и вполне заслуживающим поэтического воспроизведения. И если мужчины могли задумываться о гнусности крепостного права и гореть от стыда за него, то почему не могли того же делать женщины, особливо если все русские женщины выше и дельнее нас, мужчин? Но об этом мы ровно ничего не узнаем от Тургенева. Может быть, однако, это вовсе не «момент», то есть недостаточно широкое общественное явление, чтобы стоило крупному художнику его отмечать? Очень может быть. Но вот в шестидесятых годах в среде русских женщин происходит довольно, кажется, широкое и довольно определенное движение, беллетристически изображенное много раз, но все более или менее слабыми, неумелыми руками или даже прямо грязными. Казалось бы, Тургеневу, с его широкими симпатиями, с его чуткостью ко всему, что шевелится в женском сердце, представлялась тут богатейшая жатва. А между тем на все это женское движение он откликнулся одним образом, да и этот образ — Евдокия Кукшина. Не будем говорить, хороша или дурна Кукшина, может ли она быть признана олицетворением общего явления или это частное уродство, но во всяком случае одна ласточка весны не делает. Единственность этой ласточки свидетельствует, что Тургенева занимало тогда совсем не специальное движение русских женщин, не «женский труд», или «женский вопрос», или высшее образование женщин. Он понимал, конечно, все это и, так или иначе, принимал близко к сердцу, но именно *близко* к сердцу, а не настолько, чтобы, переварив в своем сердце и уме, переработать творческим процессом и предъявить в виде поэтических образов. Его другое занимало — мотив психологический и общечеловеческий, если хотите, общеженский. Его занимал тогда, как и прежде и потом, момент возникновения сердечного романа девушки; момент, им до высшей степени облагороженный совершенно особенным, чисто тургеневским способом.

Тургенева часто называют «истинным реалистом», основателем или главою реальной школы в беллетристике и т. п. Все эти реализмы, идеализмы и прочие измы ужасно захватаны и сплошь и рядом люди, о них препирающиеся, разумеют под ними совсем разные вещи. Я не думаю, чтобы поэзия Тургенева исчерпывалась словом

реализм. Если разуметь под реализмом стремление изображать правду жизни, как она есть, так, конечно, Тургенев был реалист. Но дело в том, что жизнь пестра, низкое в ней чередуется с возвышенным, грязное с чистым. Художник может, оставаясь вполне верен правде жизни, выбирать для художественной эксплуатации одни низкие и грязные ее полосы, но точно так же и одни возвышенные и чистые. В последнем случае его назовут, пожалуй, идеалистом и, пожалуй, будут правы. Что касается женщин, Тургенев был именно таким идеалистом: он выбирал свои темы из идеальных полос реальной жизни. Все мы очень хорошо знаем, что есть женщины, способные своею пустотою, мелочностью, злобностью создать настоящий ад для своих близких, что есть женщины и в разных других смыслах вполне дрянные, но их нет в галерее женских типов Тургенева. Он этих сторон реальной правды жизни не трогал или почти не трогал. Девушка полюбила — вот любимейшая и постоянная тема Тургенева. Спокон века эксплуатируется эта тема бесчисленным множеством поэтов, романистов, драматургов. Но Тургенев с своей разработкой ее стоит совершенно особо. Любовь не только не кладет на его героиню какой-нибудь узкой, эгоистической печати, как это часто случается в романах и в жизни, но как бы расширяет ее душу, открывает ей новые, далекие и светлые перспективы. Любимый человек для нее не просто будущий муж или любовник, с которым ее ждет упоение личного счастия; нет, за ним стоит что-то большое и светлое (она хорошенько не знает, что), призывающее к деятельности, к жертве; ей так сладко мечтать об этой жертве, хотя бы пожертвовать пришлось даже жизнью, так хотелось бы на весь мир прозвенеть какими-то новыми, до сих пор не тронутыми еще, но невыразимо звучными струнами души; прозвенеть, а там, пожалуй, пусть струны и оборвутся от полноты напряжения. И оттого-то так безвыходно горько разочарование, например, Маши в «Затишье» или Натальи в «Рудине». В разработку этих переливов приподнятого строя женской души, расширенной и очеловеченной любовью, Тургенев клал все свое редкое мастерство. Он сам был, можно сказать, влюблен в эти свои чудные создания.

Замечательно, однако, что необходимым условием этой влюбленности была именно неопределенная свето-

зарность или светозарная неопределенность идеалов женщины. Женщина особенно близка и дорога Тургеневу, когда, преображенная чудом любви, она находится в состоянии страстного тяготения к чему-то великому и светлому, но неопределенному, далекому, туманному. Как только этот туман рассеивается, как только женщина выбирает определенный путь, так она или перестает совсем интересовать нашего художника, или даже становится для него неприятною. Вот почему он «уловил момент» движения среди русских женщин только одним образом Евдокии Кукшиной. Может быть, рисуя эту безобразницу, он и не погрешил против правды жизни, может быть такие безобразницы и бывали, но во всяком случае здесь Тургенев, даже просто как художник, далеко не тот, что в изображении женщин, не тронутых определенным общественным движением. Там он выбирал исключительно светлые и возвышенные полосы реальной правды жизни, здесь, напротив, исключительно темные и низменные. То же самое видите вы и в «Нови» (мимоходом сказать, одном из самых слабых произведений Тургенева), где он, после долгого перерыва, опять дал героям обстановку «новую», заимствованную из текущей русской действительности, из «момента», в котором, как известно, женщины играли очень видную роль. На этот раз Тургенев дал два женских типа, Марианну и Машурину. Но Марианна это блистающий яркими красками благоуханный цветок, раскрывшийся под влиянием весеннего тепла и света. Эта та же по-тургеневски полюбившая девушка, со всеми обычными, смутно-возвышенными, неопределенно-светлыми атрибутами. Правда, она пытается сделать совершенно определенный шаг по определенному пути «опрощения», но, благодушно комически осветив этот шаг, Тургенев бережно сводит Марианну с определенного пути и удаляет ее куда-то в туман вместе с бледным Соломиным. Совсем иное дело Машурина. Эта уже закоснела в своей определенности, ее не волнуют никакие сомнения и колебания, ничто не может своротить с намеченного пути; она готова принять на себя ответственность за самые решительные действия. Но зато же она и лишена всякого поэтического ореола. Несмотря на все свои добродетели, которые автор подчеркивает даже с излишнею торопливостью, Машурина тускла, даже просто глупа и вдобавок безобразна...

Думали ли вы когда-нибудь об том, что во всей портретной галерее рыцарски деликатного относительно женщин Тургенева только и есть две безобразные женщины: Кукшина да Машурина? Мелочь это, конечно, но очень характерная...

Вы скажете, пожалуй, что я трогаю больные места, которых по отношению к такому покойнику, как Тургенев, не следует трогать; те больные места, которые при его жизни возбуждали более или менее острую полемику и вызывали упреки художнику в дурных намерениях. Нет, милостивые государи, я мог бы говорить об ошибках и слабостях Тургенева, но прежде всего не допускаю мысли об его злонамеренности. Я, напротив, предлагаю вам стать на такую точку зрения, которая объясняет всю литературную деятельность покойного самым характером его творчества и всем его душевным складом. Этому складу была *художественно* враждебна и чужда всякая резкая определенность в образе мыслей, всякая бесповоротная решительность в образе действия. Я подчеркиваю: *художественно* враждебна. Это не значит, что тот образ мыслей или действий были ему враждебны как мыслителю или деятелю; это могло быть, могло и не быть. Но в оригинальном процессе его творчества, тайны которого не разгаданы пока ни психологией, ни физиологией, резкая определенность и неуклонная личная сила ассоциировались всегда и непременно с бесцветностью, с большею или меньшею скудостью природы. Он *не мог* творить иначе, и его так же мало можно судить за это, как больного дальтонизмом за то, что он не умеет различать красный и зеленый цвета. От него можно было только требовать, чтобы, сознав особенный характер своего творчества, он не брался за задачи, при выполнении которых упомянутая ассоциация может привести к тяжелым и неприятным общественным последствиям. Все равно как от больного дальтонизмом можно требовать, чтобы он не служил на железной дороге, где смешение зеленого и красного сигналов ведет к погибели многих жизней...

Столь же фатально слабость, мягкость, расплывчатость, колебательность, неопределенность были художественно симпатичны Тургеневу. Здесь, впрочем, играл важную роль и другой житейский мотив. Все, лично знавшие Тургенева, хоронят теперь не только одно из лучших

украшений русской литературы, а и чрезвычайно доброго человека. Это личное качество отражалось и в его литературной деятельности. Он не мучил своих мучеников-гамлетиков и других слабых, надломленных людей сверх той меры, которая определялась требованиями правды изображения и желанием привлечь к ним участие читателя. Надо также заметить, что хотя он и поэтизировал слабость и неопределенность, но никогда не воздвигал на пьедестал, не заставлял читателя перед ними преклоняться. Напротив, устами Шубина он сказал, что «чуткой душе», Елене, естественно было уйти на чужую сторону с тусклым и непоэтическим болгарином, потому что, дескать, что же она могла найти в наших «гамлетиках, самоедах, грызунах»! И если он заставляет нас восхищаться неопределенностью, то только тогда, когда она, как в его полюбивших девушках, выражается в страстном порыве к деятельности. Вне этого он только художественно-властно требует у читателя снисхождения и жалости к своим детищам — слабым, колеблющимся людям. Но и то при условии их чистоты. Его любимцы, те, к поэтизированию которых его неудержимо влек оригинальный характер творчества, борются сами с собой, мучатся, изнемогают, падают в этой борьбе, сомневаются, колеблются, но никогда не борются с теми светлыми идеалами, которые сам Тургенев пронес неприкосновенными от юности до могилы. Напротив, они, даже истерзавшись сомнениями, иногда и умирают за эти идеалы или из-за них, как умер Рудин, как умер, пожалуй, и Нежданов...

Милостивые государи, позвольте мне кончить следующим замечанием. Все это довольно длинное послание я написал, ни разу не заглянув в сочинения Тургенева, которых, как я уже упоминал, у меня нет под руками. Я мог беседовать с вами о многочисленных героях и героинях Тургенева, как об хороших общих знакомых, очень близких людях, которых мы видели на прошлой неделе или вчера и опять увидим завтра или на будущей неделе. И если бы нужно было свидетельство изобразительной силы Тургенева, так оно состоит просто в том, что каждый образованный русский человек, на минуту сосредоточившись, может вызвать всю вереницу его героев и героинь, и они пройдут как живые, как в том проекте памятника Пушкину...

В эту минуту, впрочем, мне несколько иначе, не так,

как в начале письма, представляется этот фантастический смотр, делаемый поэтом своим созданиям. Не он им делает смотр, а они пришли поклониться его праху. Вот группа полюбивших девушек с рыданиями целует мертвые руки, изобразившие их такими возвышенными чертами. К ним пристроилась и Машурина. Она не целует рук, но она пришла сюда: покойник признал за ней и честность и готовность жертвовать собой, а что до поэтического ореола, а тем более красоты, так ведь она меньше всего об этом думает. Гамлетик-Нежданов, безвольный Санин и другие с стыдливой грустью смотрят на труп того, кто призвал на их несчастные головы столько участия и жалости. Шубин, косясь на сурового и тусклого Инсарова, с нервно подергивающимися от приступа слез губами, дрожащими руками готовит материал для маски, которую он сейчас будет снимать с покойника. В стороне стоит Базаров, с презрительно-жесткой миной поглядывающий на всех. Для него безразлично, какого об нем мнения был покойник, любил он его или нет; он сделал свое дело, стараясь до последней возможности поддержать жизнь в этом теле. И сановные люди «Дыма» и «Нови» пришли: им пояснили, что нельзя не прийти, что того требует приличие, что хоронят общепризнанную русскую и даже европейскую славу. Их шокирует, что тут же вертится какой-то Паклин, что какой-то Остродумов наследил на полу тяжелыми, грязными сапогами, что какой-то Веретьев с очевидными признаками перепоя протискался к самому гробу, но нельзя... И Рудин говорит немножко туманную, но пламенную речь, от музыки которой в юных сердцах Натальи и Басистова загорается огонь любви к правде и свету...

О ВСЕВОЛОДЕ ГАРШИНЕ

В одном из своих писем, относящихся к 1868 году, Тургенев мимоходом говорит о некоторых, в то время еще молодых, наших беллетристах. Он не отрицает их талантливости, но с укором и сожалением спрашивает: «Где же вымысел, сила, воображение, *выдумка* где? Они ничего выдумать не могут и, пожалуй, даже радуются тому: этак мы, полагают они, ближе к правде» [1].

Да, с выдумкой было слабо в ту пору, когда Тургенев писал эти слова, а с той поры стало еще слабее. Около того времени молодые беллетристы еще пробовали себя в «выдумке». Г. Гирс замахнулся «Старой и юной Россией», но, впрочем, так и остался с замахнувшейся рукой, не кончил романа, не довел своей выдумки до конца. Покойный Кущевский написал «Николая Негорева», но больше уж ничего не выдумал. Г-жа Смирнова напечатала несколько романов [2]. А теперь...

Облетели цветы,
Догорели огни... [3]

Будто, однако, в самом деле цветы облетели и огни догорели? «Отжившим и не жившим» [4] не трудно признать этот печальный факт, даже примириться с ним, даже, пожалуй, при известных обстоятельствах, не без некоторого злорадного торжества к нему относиться или по крайней мере подыскивать ему безапелляционные объяснения. В другом письме, позднейшем (1874), Тургенев писал одной даме: «Для предстоящей общественной деятельности не нужно ни особенных талантов, ни даже особенного

ума, ничего крупного, выдающегося, слишком индивидуального; нужно трудолюбие, терпение... Теперь смешно толковать о *героях* или *художниках* труда. Блестящих натур в литературе, вероятно, не проявится»[5]. Когда Тургенев писал эти пессимистические строки, он несомненно уже «отживал» и сам понимал это, но понимал также и тут же прибавлял, что «примириться с этим фактом, с этой серенькой средой, с этой скромною решительностью многие не могут сразу». Еще бы! Если и в маленьких житейских делишках надо семь раз примерить, прежде чем один раз отрезать, так как же возможно в таком огромном деле отрезать «сразу»! Конечно, подумаешь, да и подумаешь прежде, чем признать обязательность такого серенького мрака впереди. И пусть бы еще в других областях деятельности, а как же в беллетристике, в поэзии-то без «цветов и огней»? Ведь это значит, что ее совсем не будет или уже теперь нет. Конечно, если факт будет бесповоротно доказан, то придется его признать хотя бы с болью в сердце. Но надо помнить, что подлежащий доказательству факт не только обиден, но и чрезвычайно сложен и обширен, так что справиться с ним при помощи одних голословных утверждений или прорицаний довольно мудрено.

Несомненно то, что с выдумкой стало слабо. Слово «выдумка» имеет здесь, конечно, чисто условное, почти техническое значение. Выдумка в данном случае не значит ложь, — об отсутствии лжи Тургенев не сетовал бы. Под выдумкой он разумеет создание фабулы, внешних событий, и действительно именно по этой части слаба нынешняя беллетристика. Но, спрашивается, разве выдумка такое уж трудное дело? Бывают писатели совершенно исключительные специалисты по этой части, за которыми не угоняется никакой талант, никакой гений. Таков был, например, Дюма-отец. У него «вымысел», «выдумка» достигали колоссальных размеров. Но, за вычетом подобных исключительных способностей, выдумка есть вещь довольно общедоступная. Мы и в теперешней нашей беллетристике имеем писателей далеко не крупной художественной силы, которые, однако, очень горазды на выдумку. Недавно было заявлено в газетах о предстоящем выходе в свет *двенадцати* томов сочинений покойного Болеслава Маркевича. Этот человек с успехом выдумывал до самой той роковой минуты, когда лег в могилу. Г. Авсеенко соперни-

чал с ним в деле выдумки до тех пор, пока не улегся в «С.-Петербургские ведомости». Г. Боборыкин и посейчас выдумывает сверх всякой меры. Значит, выдумка не такое уже хитрое дело; значит, если целый ряд писателей, между которыми есть таланты, далеко превосходящие гг. Маркевича, Авсеенку, Боборыкина, уклоняющиеся от выдумки, то надо думать, что эти люди действительно уклоняются, а не то что «ничего выдумать *не могут»*. Или если уж непременно нужно это выражение, так не в том смысле, что у них не хватает «силы», — потому что никакой особенной силы тут и не требуется, — а надо понимать дело так, что нечто в них самих или вне их лежащее отодвигает от них выдумку, заставляет их *не хотеть* выдумывать. Это опять же сам Тургенев как будто отчасти понимал, потому что, заявив, что «они ничего выдумать не могут», он прибавляет: «и, пожалуй, даже радуются тому». Бессилию своему никто не радуется.

Беллетристы наши мне ни сватья, ни братья; сам я тоже не беллетрист, и никакое личное чувство мною в данном случае не руководит. Я просто в качестве читателя говорю. Правда, у нас, читателей, есть свои любимцы между писателями, но ведь мы их любим не тою личною любовью, которая сама себе довлеет и не дает и не может давать никому отчета. *Он* любит *ее, она* любит *его* и никому, ни же им самим, не известно, за что. Тут даже самый вопрос «за что» не имеет смысла, потому что сатана может полюбиться пуще ясна сокола. Но писателя, общественного деятеля вообще любят иначе, и именно непременно за что-нибудь. Безотчетное личное чувство играет тут ничтожную роль, если только играет какую-нибудь.

Один из наших любимцев, г. Гаршин, собрал недавно все им написанное и издал в двух маленьких «книжках рассказов» [6]. Воспользуемся этим случаем и постараемся дать себе отчет, за что мы его полюбили.

До какой степени г. Гаршин бывает иногда слаб по части выдумки, видно из следующего мелкого, но характерного обстоятельства. Герой первого его рассказа «Четыре дня» носит фамилию Иванов. Герой рассказа «Из воспоминаний рядового» тоже Иванов. В рассказе «Денщик и офицер» денщика зовут Никитой Ивановым. Герой «Происшествия» называется Иван Иванович Никитин. Довольно-таки неизобретателен г. Гаршин на имена! Точно та пренебрегающая кулинарной «выдумкой» хозяй-

ка, которая заказывает обед на целую неделю зараз: чтобы всю, мол, неделю были щи и котлеты. Именно щи и котлеты: Никита Иванов да Иван Никитин. Правда, попадаются у г. Гаршина и другие имена. Есть еще, например, Стебельков, но фамилия эта повторяется в двух рассказах («Денщик и офицер», «Из воспоминаний рядового Иванова»). Имя Василий Петрович (довольно тоже, кажется, нехитрое имя) фигурирует тоже в двух рассказах — «Трус» и «Встреча»; Надежда Николаевна тоже является два раза — в «Происшествии» и в большом рассказе, для которого автор и заглавия не мог придумать иного, как «Надежда Николаевна». Очень, очень неизобретательно. То ли дело г. Боборыкин, например, который в одну даже какую-нибудь свою повесть может вдвинуть целые святцы от Аввакума до Фомы и от Агапии до Фомаиды. Г. Гаршин не заглядывает, должно быть, в святцы.

Но «что имя? звук пустой!»[7] Посмотрим на содержание произведений г. Гаршина. Впрочем, отметим сначала еще одну внешнюю черту его писаний, а именно некоторый художественный прием, не то чтобы ему одному свойственный, но я не помню, чтобы кто-нибудь другой прибегал к нему так часто. И любопытно, что в приеме этом г. Гаршин все утверждается, как бы постепенно, но решительно приходя к убеждению в его правильности и целесообразности, и достигает в нем все большей определенности и силы.

Рассказ «Происшествие» написан в форме двух чередующихся дневников или записок некоей Надежды Николаевны и влюбленного в нее Ивана Ивановича. Надежда Николаевна записывает в дневник разные свои мысли и впечатления и главным образом обстоятельства встреч с Иваном Ивановичем, а тот в свою очередь ведет дневник своих отношений к Надежде Николаевне. Выходит нечто вроде диалога, с тою разницей, что собеседники не непосредственно обмениваются мыслями и наблюдениями, а записывают все ими пережитое в тетрадки. Но в «Происшествии» прием этот далеко не выдержан во всей своей чистоте, автор постоянно вынужден дополнять собственным рассказом показания действующих лиц. Рассказ «Художники», появившийся позже, написан в той же quasi *-диалогической форме двух дневников Рябинина

* мнимо *(лат.)* — *Ред.*

и Дедова, но от себя автор прибавляет уже гораздо меньше. Наконец, в «Надежде Николаевне» автор самолично нигде не показывается, и весь рассказ (может быть, слишком большой и сложный для того, чтобы называться рассказом) ведется исключительно при помощи параллельных, чередующихся дневников Лопатина и Бессонова. Прием этот, сам по себе вовсе неудобный, искусственный и довольно скучный, г. Гаршину удается, и если «Надежда Николаевна» не может быть названа удачным произведением, так отнюдь не потому, что написана в форме двух чередующихся дневников. Но почему г. Гаршину так полюбился этот неудобный прием? Я думаю, что дело здесь опять-таки в том же уклонении от выдумки. Правда, «Надежда Николаевна», в которой упомянутый прием проведен всего последовательнее и определеннее, вместе с тем есть наиболее «выдуманное» из произведений г. Гаршина, но выдумки потребовалось бы еще больше, если бы не эта форма параллельных дневников. Представьте себе, что вы хотите рассказать, ну хоть «Происшествие» г. Гаршина, то есть то происшествие, которое составляет фабулу этого рассказа, — столкновение падшей женщины и маленького чиновника, оканчивающееся самоубийством последнего. Вы хотите передать происшествие во всех его существенных подробностях, обнять факт со всех сторон или по крайней мере с тех двух сторон, представителями которых являются герой и героиня. И понятно, что, распределяя изложение по дневникам или запискам этих двух сторон, вы облегчаете себе по крайней мере изложение выдумки, избегаете всей той доли вымысла или выдумки, которая потребовалась бы, если бы вы объектировали взаимные отношения героя и героини, если бы вы их непосредственно перед глазами заставили сталкиваться. Пусть вы вложили некоторую выдумку в эти дневники, но это все-таки только дневники, полусырой материал, и нужна бы еще высшая выдумка для окончательной художественной обработки этого материала, но вы для этого, может быть, слишком робки, может быть просто не любите выдумки. Для сравнения возьмите опять хоть г. Боборыкина. Может быть, и ему случалось прибегать к дневникам (я не помню), но в огромном большинстве случаев он поступает с действующими лицами как хороший маркер с бильярдными шарами: отвернет рукав, помелит руку, поерзает кием, и — бац! — шар шаром желтого в сред-

нюю лузу! Он именно так же у себя в области выдумки, как маркер на бильярде. Сценарий, завязка, интрига, развязка до такой степени всегда к его услугам, что ему нет никакой надобности прибегать к окольным путям и к робкому предъявлению полусырого материала. Хорошо ли он его претворит в высшую форму творческой выдумки, это другой вопрос, но претворит наверное и желтого в среднюю сделает...

Но не за то же мы полюбили г. Гаршина, что он потчует нас полусырьем и в изобретательности своей с трудом поднимается выше Никиты Иванова и Ивана Никитина; не за то же, что он хуже гг. Боборыкина, Авсеенки, Маркевича. Конечно, не за это, а должно быть, за то, что он лучше этих господ. Надо заметить, что г. Гаршин не всегда обходится без «выдумки», то есть без изобретения более или менее сложной фабулы, более или менее сложной сети событий, в которых приходится принимать участие его действующим лицам. Напротив, он в этом направлении обнаружил недюжинную силу воображения, но достойно внимания, что лучшие его вещи те, в которых выдумки совсем нет или почти нет.

Мы полюбили г. Гаршина сразу, за первый же его рассказ «Четыре дня», напечатанный в «Отечественных записках», в 1877 году. Помните, с каким огромным интересом прочли мы этот маленький рассказ, в котором раненый человек лежит в поле четыре дня, пока его не нашли санитары, и в котором с раненым за все четыре дня буквально ничего не случается; он даже никого не видал за все это время, кроме трупа турка, им же убитого. И несмотря на эту скудость и даже просто отсутствие фабулы, автор сумел привлечь к себе все симпатии читателей. Наоборот, в последнем произведении г. Гаршина, в «Надежде Николаевне», фабула чрезвычайно сложна: тут и неожиданные встречи, и возрождение падшей женщины, и образ Шарлотты Корде, и два убийства, и проч. А между тем мы с некоторым не совсем приятным недоумением остановились перед этой повестью, несмотря на то, что в ней есть прекрасно написанные фигуры второстепенных действующих лиц (художник Гельфрейх, рисующий только кошек, но достигший в этом роде совершенства, капитан Грум-Скребиций, выдающий себя за «бойца Мехова и Опатова» [8]). Нельзя назвать удачными и другие вторжения г.Гаршина в область выдумки, несмотря на их оригиналь-

ность. Таковы его сказки, кроме «Красного цветка», о котором будет речь особо. Одним словом, уж никак не за выдумку полюбился нам г. Гаршин.

Не раз уже было отмечено влияние гр. Л. Н. Толстого на всю нынешнюю военную беллетристику. Не избег, да и не мог избегнуть этого влияния и г. Гаршин. В его трех-четырех военных рассказах можно найти прямые, непосредственные отражения отдельных сцен и фигур из «Войны и мира» и севастопольских и кавказских рассказов. Такова, например, в «Воспоминаниях рядового» сцена прохождения войск перед государем, весьма близкая к подобной же сцене в «Войне и мире». Такова также фигура зверски жестокого офицера Венцеля, неожиданно заливающегося слезами, как будто вовсе к нему не идущими; фигура несомненно навеянная образом наглого и жестокого Долохова, тоже совсем неожиданно плачущего. Подобные невольные подражания неизбежны, когда перед глазами стоит такой образец, как Толстой, и можно наверное сказать, что они будут встречаться у всякого нравоописателя военного быта. Те или другие сцены, те или другие фигуры Толстого невольно, так сказать, всасываются творческим аппаратом всякого, кого коснулся дух простоты и правдивости, установленный для военной беллетристики камертоном автора «Войны и мира». Но это нисколько не мешает индивидуальности г.Гаршина. Он вносит нечто свое в свои военные рассказы, и это свое нам, может быть, особенно дорого.

Вещи познаются сравнением.

Недавно вышла книга А. В. Верещагина «Дома и на войне» [9], большую часть которой занимают военные воспоминания. Г. Верещагин прост и правдив на редкость. Он не пытается скрыть ни одного своего ощущения, ни одной мысли, ни одного поступка, хотя бы они заведомо не заслуживали Монтионовской премии за добродетель [10]. Случится ли ему струсить или прихвастнуть, мелькнет ли у него мелочно-честолюбивая мысль о «крестишке иль местечке», случится ли ему просто-напросто взять в мирном турецко-болгарском селении лучших лошадей и потом которую подарить, которую продать — все это он рассказывает с величайшею, почти наивною простотою и правдивостью. Но этим не ограничивается ценность

его военных воспоминаний. Он необыкновенный живописец, и, читая его книгу, поневоле часто вспоминаешь его знаменитого брата. Краски у г. Верещагина чрезвычайно яркие, кисть широкая, смелая. Это поистине «блестящий» писатель. И тем не менее если я сейчас сделаю кое-какие параллельные выписки из гг. Верещагина и Гаршина, так единственно затем, чтобы лучше оттенить путем контраста то именно, чем нам, читателям, г. Гаршин люб.

Г.Верещагин отправляется на войну. Он рассказывает об этом так:

«В ту минуту я как-то не сознавал того страшно тяжелого чувства, которое причинял отцу своим отъездом, хотя желание мое участвовать в военных действиях было совершенно естественно. В то время я и не мог очень грустить: новый синий бешмет, черная черкеска с серебряными гозырями, кинжал, шашка, надетые на мне и так сильно обращавшие на себя внимание публики, кроме того, рисовавшиеся в воображении моем военные отличия,— все это сильно развлекало меня и уменьшало горечь разлуки. Прижался я в угол вагона и собрал все силы, чтобы не расплакаться. Слез я стыдился в эту минуту больше всего. «Как! Казак, с виду такой воинственный, в такой страшной шапке, и вдруг расплачется? Что подумают обо мне соседи? Все они так удивленно на меня смотрят и с любопытством разглядывают мою форму!» Невольно отвернулся я к окошку и задумался. Но вот первый свисток, подъезжаем к станции, выхожу — и грусть начинает понемногу рассеиваться. Жандарм на платформе вытягивается передо мной, барыни и барышни с интересом смотрят на меня, все это легонько щекотит мое самолюбие, на сердце становится легче».

Не мешает заметить, что, отправляясь на войну, г. Верещагин не был зеленым юношей, только что соскочившим со школьной скамейки и радующимся мундиру, как красивой штуке, во-первых, и как символу новой, самостоятельной жизни, во-вторых. Нет, он уже служил перед тем, был в отставке и уже отставным поручиком вновь поступил на службу.

На ту же самую войну отправляется один из героев г. Гаршина.

«Вот, наконец, и прощанье. Завтра утром, чуть свет, наша партия отправляется по железной дороге. Мне позволили провести последнюю ночь дома, и я сижу в

своей комнате один в последний раз. В последний раз! Знает ли кто-нибудь, не испытавший такого последнего раза, всю горечь этих двух слов? В последний раз разошлась семья, в последний раз я пришел в эту маленькую комнату и сел к столу, освещенному знакомой низенькой лампой, заваленному книгами и бумагой. Целый месяц я не прикасался к ним. В последний раз я беру в руки и рассматриваю начатую работу. Она оборвалась и лежит мертвая, недоношенная, бессмысленная. Вместо того чтобы кончить ее, ты идешь, с тысячами тебе подобных, на край света, потому что истории понадобились твои физические силы. Об умственных забудь: они никому не нужны. Что до того, что многие годы ты воспитывал их, готовился куда-то применить их? Огромному, неведомому тебе организму, которого ты составляешь ничтожную часть, захотелось отрезать тебя и бросить. И что можешь сделать против такого желания ты,

...ты, палец от ноги?!» [11]

Рассказ, из которого я выписываю эти строки, называется «Трус». Но это название ироническое; человек, так неохотно идущий на войну, оказывается вовсе не трусом и умирает на поле битвы в числе прочих храбрецов.

Раз человек волей или неволей попал на войну, ему приходится не только щеголять синим бешметом и не только умирать. Приходится и других убивать. Случилось это и с г. Верещагиным, и вот как он рассказывает о своем первом убийстве:

«Увидав турка, в первое мгновение я как будто оцепенел от неожиданности и до того забылся, что как сумасшедший начал кричать: «Здесь, здесь, вот он где!». В то же время замахиваюсь на него плетью вместо шашки. Затем, когда уже опомнился, вынул шашку и нанес удар по плечу. А так как рубить человека мне пришлось в первый раз в жизни, к тому же ветви дерева не давали размахнуться, то удар мой вышел слабый, неумелый и едва-едва прорубил на неприятеле толстую синюю куртку. Турок продолжал тяжело дышать и целиться из пистолета, который, вероятно, уже был разряжен. Странное чувство испытывал я, когда наносил удар. Совесть шептала мне: «Брось, оставь, не руби, возьми лучше в плен, срам рубить лежачего». Но другое чувство, более черствое, старалось заглушить первое. Пока я рубил турка, слышу позади себя крики: «Ваше благородие, пожалуйте вперед,

мы с ним уж тут разделаемся!». Смотрю, подскакивают донцы. Я предоставил им распорядиться с турком, а сам поскакал дальше».

Принимал г. Верещагин участие и в текинской экспедиции Скобелева. Перед самым штурмом Геок-Тепе он получил временно самостоятельное назначение — начальника небольшого укрепления, «калы». Вдруг показались текинцы, всего-то, впрочем, пять человек. Поднялась тревога. Дальше пусть рассказывает сам г. Верещагин: «Когда я прибежал на свое место, то уже текинцы скакали в разные стороны; тот же, что был на серой лошади, карьером несся мимо калы, пригнувшись к седлу. Я высовываюсь из-за стены, целю ему в спину, стреляю, — текинец свертывается набок, но затем понемногу опять взбирается на седло и, испуганно озираясь в нашу сторону, продолжает скакать в таком положении, пока не скрылся за дальними деревьями сада. Лицо этого текинца как сейчас у меня перед глазами: бронзового цвета, с черной бородой и блестящими черными глазами. Очень хорошо помню, что, когда увидел я приближающихся текинцев, в особенности когда они подъехали к ручью и стали поить лошадей, сердце мое так сильно запрыгало, так застучало от радости, что я невольно схватился за бок, боясь, что оно выскочит; когда же они у нас ускакали из-под носу, то мною овладела такая тоска, апатия, что я пошел к себе в шалашник, устроенный под фургоном, лег и с горя заснул». Между тем Скобелев возвращался из рекогносцировки, на время которой г. Верещагин назначен был защитником укрепленьица, и дорогой говорил: «Ну, ежели у Верещагина есть убитые или раненые, то его надо немедленно представить к георгиевскому кресту». «Когда я услышал это, — рассказывает г. Верещагин — мне еще более стало досадно за тех пятерых текинцев, которые ускакали у нас из-под носу...»

Еще одна выписка из г. Верещагина, последняя, pour la bonne bouche *. Встречается г. Верещагину фельдфебель охотничьей команды и рассказывает, что он сейчас застрелил текинца. «При этих словах фельдфебель, очень довольный, улыбается, лезет к себе в правый карман шинели и вытаскивает *отрубленное ухо текинца* (курсив мой: у г. Верещагина это напечатано тем же шрифтом, как и

* на закуску *(франц.)*.— *Ред.*

все прочее). Оно было еще совсем мягкое, но уже бледное, холодное. Я никак не ожидал такого наглядного доказательства: *взял в руки ухо, осмотрел его, возвратил назад, похвалил фельдфебеля* (опять же мой курсив) и обещал при первой встрече с генералом доложить о нем. Фельдфебель, радостный, пошел к себе в землянку...»

По приведенным выпискам вы не должны судить о той яркости красок и искусной живописи г. Верещагина, о которой я говорил выше. На этот счет поверьте мне на слово или сами посмотрите. Я выбирал цитаты с другою целью, затем именно, чтобы показать ту наивно грубую точность, с которою г. Верещагин рассказывает вещи поистине ужасные и возмутительные. Конечно, назвался груздем, так и полезай в кузов, пошел на войну, так дерись и убивай. Но рубить неприятельские уши это уж, кажется, роскошь; это, сколько я понимаю, даже с специально военной точки зрения есть действие постыдное и ненужно жестокое, так что фельдфебеля решительно не за что было хвалить. Внутренний смысл этого возмутительного деяния, очевидно, совершенно исчезает для г. Верещагина; зато обратите внимание на холодную точность, с которою он описывает внешнюю сторону этого эпизода: солдат вынул ухо из *правого* кармана... ухо было еще мягкое, но уже бледное и холодное... я взял его в руки, осмотрел, отдал назад...

Полюбуйтесь еще немножко на это страшное, мягкое, но холодное и бледное текинское ухо, вынутое из правого кармана, а потом постарайтесь отодвинуть его от своего воображения настолько, чтобы оно не заслоняло того турка, которого г. Верещагин рубил под деревом. В изображении этого эпизода г. Верещагин тоже не вдается в анализ внутренней, духовной стороны дела, только отмечает борьбу совести с другим, «более черствым голосом», но зато какая опять удивительная точность внешнего описания: так как я рубил человека в первый раз в жизни... притом же ветви мешали... удар пришелся по плечу...

Один из героев г. Гаршина («Четыре дня») тоже убил турка. Это не блестящий брат своего еще более блестящего брата, имеющий золотую саблю за храбрость и состоящий в коротких отношениях со Скобелевым. Это просто какой-то Иванов, «барин Иванов», как его называют солдаты. Но подобно г. Верещагину и он вдруг увидал турка.

«Он был огромный, толстый турок, но я бежал прямо на него, хотя я слаб и худ. Что-то хлопнуло, что-то, как мне показалось огромное, пролетело мимо; в ушах зазвенело. «Это он в меня выстрелил», — подумал я. А он с воплем ужаса прижался спиною к густому кусту боярышника. Можно было обойти куст, но от страха он не помнил ничего и лез на колючие ветви. Одним ударом я вышиб у него ружье, другим воткнул куда-то свой штык. Что-то не то зарычало, не то застонало. Потом я побежал дальше...» Но недалеко побежал Иванов. Он сейчас же и упал, он был ранен. А перед ним лежал убитый им турок. «За что я его убил? — размышляет раненый. — Он лежит здесь, мертвый, окровавленный. Зачем судьба пригнала его сюда? Кто он? Быть может, и у него, как у меня, есть старая мать. Долго она будет по вечерам сидеть у дверей своей мазанки да поглядывать на далекий север: не идет ли ее ненаглядный сын, ее работник и кормилец. А я? И я также... Я бы даже поменялся с ним: он не слышит ничего, не чувствует ни боли от раны, ни смертельной тоски, ни жажды. Штык вошел ему прямо в сердце... Вот на мундире большая черная дыра: вокруг нее кровь. *Это сделал я* (курсив г. Гаршина), я не хотел этого. Я не хотел зла никому, когда шел драться. Мысль о том, что и мне придется убивать людей, как-то уходила от меня. Я представлял себе только, как я буду подставлять *свою* грудь под пули. И я пошел и подставил».

Довольно слагаемых, надо подводить итоги. Вы, впрочем, я думаю, и сами уже их подвели. Я обнаружил бы слишком дурное об вас мнение, да и сам унизился бы в собственных глазах, если бы долго распространялся о разнице между г. Верещагиным и Гаршиным. Притом же, если г. Гаршин (пусть уж он удобства ради самолично отвечает за всех своих «Ивановых») не жалеет, что у него «нет убитых и раненых», потому что иначе он получил бы георгиевский крест, если не ощупывает текинского уха, так это еще не бог знает какая заслуга и не бог знает какое право на нашу симпатию. Г. Верещагин хорошо оттеняет г. Гаршина, но, получив от него что нам требуется, мы можем оставить его в покое и остаться наедине с г. Гаршиным.

Может показаться, что г. Гаршин, то есть сумма раз-

ных Ивановых, есть просто слезливый человек, который не видит ничего дальше своего маленького, спокойного семейного уголка, где старушка мать сидит и маленькая лампа на маленьком столике горит, и не способен подняться на высоту общественных, пожалуй мировых событий, какова война. Это, конечно, не так. Один из Ивановых не хочет идти на войну, вследствие чего неосновательно заподозривается, да и сам себя заподозривает в трусости. Но другой Иванов («Четыре дня») идет на войну по собственной охоте, у него связывается с этой войной «идея», и тем не менее, убив турка, он с испуганным недоумением спрашивает себя: «За что я его убил?» Третий Иванов («Из воспоминаний рядового») рассказывает о походе: «Нас влекла невидимая тайная сила: нет силы большей в человеческой жизни. Каждый отдельно ушел бы домой, но вся масса шла, повинуясь не дисциплине, не сознанию правоты дела, не чувству ненависти к неизвестному врагу, не страху наказания, а тому невидимому и бессознательному, что долго еще будет водить человечество на кровавую бойню, самую крупную причину всевозможных людских бед и страданий». Но тот же Иванов свидетельствует: «Никогда не было во мне такого полного душевного спокойствия, мира с самим собой и кроткого отношения к жизни, как тогда, когда я испытывал эти невзгоды (невзгоды похода) и шел под пули убивать людей. Дико и странно может показаться все это, но я пишу одну правду».

Изо всего этого следуют, мне кажется, такие выводы. Война дело всегда страшное, но пока неизбежное. Как всякое страшное, но неизбежное дело, оно чревато противоречиями. Люди могут с чистою совестью идти на войну во имя идеи, разбуженной войной или возбудившей войну. Но если они не деревянные люди, или пока они не одеревенели от практики и зрелища убийства, они все-таки не могут видеть убитого человека без упрека совести. Однако в огромном большинстве случаев люди идут под пули, убивают людей просто потому, что они «пальцы от ноги», части некоторого огромного целого, которому захотелось «отрезать их и бросить». Тогда страшный вопрос «за что я его убил?» становится еще страшнее, потому что ведь и этот убитый «неприятель», которого я в глаза никогда не видал и которому до меня никакого дела нет, есть тоже «палец от ноги», его также вышвырнуло огром-

ное целое и с непреодолимою силою втянуло в общий поток.

Мы сейчас увидим, какое большое значение для характеристики писаний г. Гаршина имеет цитируемое одним из Ивановых шекспировское выражение: «Ты — палец от ноги». Я прошу вас запомнить его.

Все военные рассказы г. Гаршина кончаются печально: увечьем или смертью, не украшенною ни георгиевскими крестами, ни золотым оружием, ни даже просто каким-нибудь очень большим подвигом. В этом еще нет ничего удивительного. Не всем же подвиги совершать, не всем георгиевские кресты получать, а что касается увечья, печали, воздыхания, равно как и переселения в ту страну, иде же ничего этого нет, то à la guerre comme à la guerre *, и опять же, коли назвался груздем, так полезай в кузов. Но и все другие произведения г. Гаршина оканчиваются более или менее глубоко скорбно; если не смертью, то по крайней мере воздыханием. Правда, нынешняя беллетристика и вообще не склонна к украшению финала розами и лазурью. Благополучное соединение двух любящих сердец, достижение долго преследуемой цели, торжество добродетели и казнь порока, лавры славному и позор бесславному — все это довольно редкие мотивы в теперешней русской беллетристике, и (это стоит отметить) мы встречаемся с ними почти исключительно в переводных романах и повестях. И не то чтобы непременно какой-нибудь злобный дух, летающий над нашей грешною землей, диктовал нашим писателям печальные финалы. Если бы понадобилось разительное опровержение такого предположения, то оно может быть почерпнуто в произведениях того же г. Гаршина. Это писатель необыкновенно мягкий, беззлобный, преисполненный добрых чувств и только с печальным раздумьем, а отнюдь не с бурным негодованием останавливающийся перед злом. Мало того, по мягкости своей он стремится и благодаря его таланту ему удается призывать иногда симпатию читателей к несчастиям и горестям такого рода, которые едва ли заслуживают столько теплого участия. Таков его рассказ «Медведи». Фабула рассказа очень проста, ее даже, можно сказать, нет. Вышло известное распоряжение, которым воспрещалось водить так называемых «уче-

* на войне — по-военному *(франц.)*.— *Ред.*

ных» медведей, которые показывают, как старые бабы ходят, как мальчишки горох воруют и проч. Через пять лет после издания этого закона поводыри медведей, преимущественно цыгане, должны были явиться в определенные сборные пункты вместе со своими зверями и собственноручно перебить их. Этот-то день расстреляния медведей и занимает г. Гаршина. По его мнению, сквозящему во всем рассказе, цыгане, лишившиеся вместе со своими медведями хорошего привычного заработка, должны обратиться для возмещения этой прорехи в бюджете к конокрадству. Можно сомневаться, чтобы это было соображение вполне основательное, но мнение мнением, а дело в том, что г. Гаршин пустил уже слишком поэтическое и слишком жалостное освещение на цыган, на медведей и на весь этот промысел. Рассказ так хорош в художественном отношении и так много вложено в него автором добрых чувств, что увлеченный читатель может, пожалуй, забыть, что ученые медведи представляли грубейшую и жестокую забаву и что в сей юдоли плача есть вещи несравненно более достойные слез, чем расстреляние медведей.

Мне вообще иногда кажется, что г. Гаршин не стальным пером пишет, а каким-то другим, мягким, нежным, ласкающим, — сталь слишком грубый и твердый материал. Но тем интереснее, что такое мягкое, нежное, ласкающее перо каждый рассказ неизменно заканчивает горем, скорбью, смертью или целою философскою перспективою безнадежности. Последнее особенно любопытно и веско. Если с Иваном Никитиным или Никитой Ивановым случилось даже величайшее из несчастий, так ведь это может быть именно только *случилось* в том смысле, что это нечто единичное, обставленное такими и такими-то частными условиями. Другое дело философская перспектива безнадежности. Г. Гаршин, мягкий и беззлобный, почему-то не находит ничего такого, на чем можно было бы отдохнуть душой. Давайте пересмотрим эти не то что мрачные, — к писаниям г. Гаршина это слово не идет, — а безнадежно печальные, безысходно грустные рассказы. Военные оставим в стороне, мы их уже видели.

«Происшествие» — рассказ об том, как влюбился и самоубился Иван Иванович. Влюбился он в Надежду Николаевну, уличную женщину, когда-то знавшую лучшие времена, учившуюся, державшую экзамены, помнящую

Пушкина и Лермонтова и проч. Несчастие толкнуло ее на грязную дорогу, и она завязла в грязи. Иван Иванович предлагает ей свою любовь, свой дом, свою жизнь, но она боится наложить на себя эти правильные узы, ей кажется, что Иван Иванович, несмотря на всю свою любовь, не забудет ее страшного прошлого и что ей нет возврата. Иван Иванович после некоторых, слишком, однако, слабых попыток разубедить ее как будто соглашается с нею, потому что застреливается.

Этот же самый мотив, только в гораздо более сложной и запутанной фабуле, повторяется в «Надежде Николаевне». Эта Надежда Николаевна, как и первая, что фигурирует в «Происшествии», есть кокотка. Ей тоже встречается свежая, искренняя любовь, ее одолевают те же сомнения и колебания, но она уже склоняется к полному возрождению, когда пуля ревнивого бывшего любовника и какое-то особенное оружие того, кто зовет ее к новой жизни, обрывают весь этот роман двумя смертями.

«Встреча». Старые товарищи Василий Петрович и Николай Константинович, давно упустившие друг друга из виду, неожиданно встречаются. Василий Петрович когда-то мечтал «о профессуре, о публицистике, о громком имени», но на все это его не хватило, и он мирится с ролью учителя гимназии. Мирится, но относится к предстоящему ему новому амплуа как безукоризненно честный человек: он будет образцовым учителем, будет сеять семена добра и правды, в надежде что когда-нибудь под старость увидит в своих учениках воплощение собственных юношеских мечтаний. Но тут он встречается с старым товарищем Николаем Константиновичем. Это совсем другого полета птица. Он строит какой-то мол и около этой постройки так искусно греет руки, что при пустом жалованье живет в роскоши даже мало вероятной (у него в квартире есть аквариум, в некоторых отношениях соперничающий с берлинским). Он нисколько не скрывает своей гадости. Напротив, открывает все свои карты и с наглостью человека, теоретически убежденного в правомерности свинства, старается и Василия Петровича обратить в свою веру. Нельзя сказать, чтобы его аргументация отличалась непреодолимой силой, но Василий Петрович парирует его доводы еще слабее. Так что в конце концов хотя и вполне обнаруживается свинство Николая Константиновича, но в сознании читателя в то же время твердо запечатлевает-

ся его бесстыдное и безотрадное пророчество: «Три четверти из твоих воспитанников выйдут такими же, как я, а одна четверть такими, как ты, то есть благонамеренной размазней».

«Художники». Художник Дедов есть представитель чистого искусства. Он любит искусство ради него самого и думает, что вводить в него жгучие житейские мотивы, нарушающие спокойствие духа, значит волочить искусство по грязи. Он думает (странная мысль!), что как в музыке непозволительны диссонансы, режущие ухо, неприятные звуки, так и в живописи, в искусстве вообще нет места неприятным сюжетам. Но он даровит и идет благополучно к дверям, ведущим в храм славы, заказов и олимпийского душевного равновесия. Художник Рябинин не таков. Он, по-видимому, даровитее Дедова, но он не сотворил себе кумира из чистого искусства, его занимают и другие вещи. Натолкнувшись почти случайно на одну сцену из быта заводских рабочих или, вернее, даже на одну фигуру только, он стал ее писать и так много пережил во время этой работы, так вошел в положение своего сюжета, что перестал заниматься живописью, когда кончил картину. Его куда-то в другие места, на другую работу потянуло с непреодолимою силою. На первый раз он поступил в учительскую семинарию. Что с ним дальше было, неизвестно, но автор удостоверяет, что Рябинин «не преуспел»...

Как видите, целый ряд несчастий и целых перспектив безнадежности: добрые намерения остаются намерениями, и то, чему автор по всем видимостям симпатизирует, остается за флагом:

Нет великого Патрокла,
Жив презрительный Терсит! [12]

«Великого», впрочем, г. Гаршин не касается, он берет людей среднего, а иногда даже малого роста — Иванов Ивановичей и Василиев Петровичей, и тем еще раз любопытнее его пессимистическое настроение. «Великому» бывает довольно часто тесно в жизни, и жизнь кладет его на прокрустово ложе и рубит ему ноги в меру длины этого ложа. «Великое» hat man von je gekreuzigt und verbrannt*, хотя, конечно, великому случается и побеждать. Но сред-

* издавна распинали на кресте и сжигали [13] *(нем.).— Ред.*

него роста хорошие люди — отчего бы им-то, с их сравнительно малым размахом и малыми требованиями, не жить, ну хоть не в полное свое удовольствие, но с верою и надеждою? Г. Гаршин не допускает этого или по крайней мере не интересуется случаями благополучного устройства судьбы хороших людей и их победы над злом. Даже поднимаясь в сферы сказочного творчества, он не может или не хочет дать своей фантазии волю работать в эту лазурно-розовую сторону. В сказке «Attalea princeps» гордой и прекрасной пальме удается ее честолюбивая и вольнолюбивая мечта — пробить своей собственной вершиной крышу оранжереи, но зато она замерзла, и ее срубили и выкинули. В сказке «То чего не было» (единственный опыт, так сказать, иронического творчества г. Гаршина) собеседники гибнут под сапожищем кучера Антона. В «Сказке о жабе и розе» роза спасается от злобной и безобразной жабы, но спасается тем, что ее срезывают для утешения умирающего мальчика, и когда мальчик умер, то ее поцеловала молодая девушка, сестра мальчика; «маленькая слезинка упала с ее щеки на цветок, и это было самым лучшим происшествием в жизни розы...»

Но ведь это ужасно! Лучшим происшествием в жизни розы оказывается все-таки то, что ее срезали, хотя бы руками прекрасной девушки для бедного умирающего мальчика! Да ведь жила же роза сама для себя, за свой собственный счет, ведь цвела же она, ведь пел же ей, как гласит маловероятное старинное поэтическое предание, свои песни соловей? И заметьте, что в сказках г. Гаршин покушается уже на «великое»: роза прекрасна, она «царица цветов»; Attalea princeps была сильна и величава. И все-таки скорбь, смерть, конец...

Еще ярче этот пессимизм в сказке «Красный цветок». По форме это, собственно говоря, не сказка, а вполне реальный и даже поражающий своею реальною правдивостью рассказ, — рассказ об том, как один душевнобольной рвал цветы мака; он думал, что в этом «красном цветке» сконцентрировалось все зло, какое только есть в мире, что его непременно надо сорвать и уничтожить, но при этом самому насытиться его ядовитым дыханием и тоже умереть: «он погибнет, умрет, но умрет как честный боец и как первый боец человечества, потому что до сих пор никто не осмеливался бороться разом со всем злом мира».

Он сорвал цветок и умер. «Когда его клали на носилки, попробовали разжать руку и вынуть красный цветок, но рука закоченела, и он унес свой трофей в могилу».

С этим удивительным рассказом вышло не совсем обыкновенное в нашей литературе происшествие: на него обратили внимание специалисты науки. В «Вестнике клинической и судебной психиатрии и невропатологии» профессора Мержеевского г. Сикорский напечатал заметку, в которой признал «Красный цветок» образцовым произведением в смысле необыкновенной точности и верности изображения развития душевной болезни [14]. Мы, читатели, были, конечно, обрадованы и даже как будто польщены таким отзывом специалиста об одном из наших любимцев, тем более что и до него, то есть до отзыва г. Сикорского, чувствовали глубокую правдивость рассказа. Но мы не специалисты, для нас «Красный цветок» не только психиатрический этюд, а вместе с тем все-таки беллетристика и именно сказка, то есть нечто такое, в чем надо искать аллегории, подкладки чего-то большого, общежитейского, не вмещающегося в рамки той или другой специальной науки. Ну, и каков же житейский субстрат «Красного цветка»? Здесь опять г. Гаршин покусился на «великое». Правда, он вставил его в рамку безумной мечты, но на это была его добрая воля, и мы опять отброшены к своей исходной точке: отчего так печально, так безнадежно и безотрадно заканчиваются произведения г. Гаршина?

Вы понимаете истинный смысл и объем этого вопроса. Мы не вправе требовать от художника насилия над своей природой. Пусть он выбирает для поэтического воспроизведения те полосы жизни, которые его больше занимают, потому ли, что они в его глазах значительнее других, или потому, что они как-нибудь родственны самому характеру его творчества. Но если мы заинтересовались самим художником, а тем паче если мы его полюбили, как полюбили г. Гаршина, то с нашей стороны весьма естественно желание добраться до той характерной, лично ему принадлежащей черты его творчества, которая сосредоточивает его художественное внимание на такой-то именно полосе жизни, а не на другой какой-нибудь. И вот, я думаю, мы теперь подошли очень близко к разрешению этого вопроса относительно г. Гаршина. Нам остается перечитать только один еще его рассказ — «Ночь».

Это очень недолгая история — всего одна «ночь», гораздо даже, значит, меньше, чем «четыре дня», но это ночь самоубийства. Какой-то Алексей Петрович, решившись покончить с жизнью, полною лжи и притворства, целую ночь терзает себя мучительным раскапыванием своей души, ища и подчеркивая в ней ложь даже в страшный канун самоубийства. Вдруг раздаются звуки колокола, звонят к заутрене. Ассоциация идей навела на воспоминание об одной сцене из детства. И — «Колокол сделал свое дело: он напомнил запутавшемуся человеку, что есть еще что-то, кроме своего собственного узкого мирка, который его измучил и довел до самоубийства. Неудержимой волной нахлынули на него воспоминания, отрывочные, бессвязные и все как будто совершенно новые для него. В эту ночь он многое уже передумал и многое вспомнил, и воображал, что вспомнил всю свою жизнь, что ясно видел самого себя. Теперь он почувствовал, что в нем есть другая сторона». Ему «захотелось той чистой и простой любви, которую знают только дети да разве очень уж чистые, нетронутые натуры из взрослых... Господи! хоть бы какого-нибудь настоящего, неподдельного чувства, не умирающего внутри моего *я!* Ведь есть же мир!..» Надо «вырвать из сердца этого скверного божка, уродца с огромным брюхом; это отвратительное **Я**, которое, как глист, сосет душу и требует себе все новой пищи. Да откуда же я ее возьму? Ты уже все съел. Все силы, все время были посвящены на служение тебе. То я кормил тебя, то поклонялся тебе; хоть ненавидел тебя, а все-таки поклонялся, принося тебе в жертву все хорошее, что мне было дано». «Он почувствовал теперь, что не все еще пожрано идолом, которому он столько лет поклонялся, что осталась еще любовь и даже самоотвержение, что стоит жить для того, чтобы излить этот остаток. Куда, на какое дело — он не знал, да в ту минуту ему и не нужно было знать, куда снести свою повинную голову. Он вспомнил горе и страдание, какое довелось ему видеть в жизни, настоящее, житейское горе, перед которым все его мучения в одиночку ничего не значили, и понял, что ему нужно идти туда, в это горе, взять на свою долю часть его, и только тогда в душе его настанет мир».

Но недолог был этот переворот в Алексее Петровиче: еще один психический толчок, и он все-таки покончил с собой...

Проповедь любви к ближнему и презрения к узкому эгоизму есть проповедь очень старая по времени и хотя не стареющая по результатам, то есть по слабости результатов, но все-таки очень элементарная. Не ради нее сделал я выписку из «Ночи», а ради некоторого оттенка ее, не совсем заурядного. Алексей Петрович сознает не только свой грех, мелочность и дрянность своей жизни, ее греховную мерзость. Этого было бы слишком мало, ибо это азбучно. Он сознает свое *несчастие;* он сознает, что его «узкий мир» его измучил, что, говоря вульгарным языком, *выгоднее* мучиться общим горем, чем «в одиночку». Это уже несколько оригинальнее, чем простая мораль любви к ближнему. Но героям г. Гаршина доступна и еще высшая оригинальность. Что это такое значит «в одиночку»? Разве у каждого из нас нет или не может быть близких людей, чьи интересы близки нашим, нет семьи, товарищей по профессии, соотечественников и проч.? Все это есть, вероятно, и у Алексея Петровича, и, однако, он находит, что он никого настояще, неподдельно не любит, что те узы, которые его связывают с людьми, ничего не стоят, они ложь, фальшь, он одинок. Художник Рябинин тоже говорит о себе, что он «ходит одинокий среди толпы», что и искусство не налагает никаких таких уз, которые он признал бы правильными. Узы искусства, по-видимому долженствующие связывать художника со всем миром, оставляют его одиноким, мало того, «одиноким в толпе», и ложатся на него только тяжким, ненавистным бременем. Он говорит: «Как локомотиву с открытою паропроводною трубой предстоит одно из двух: катиться по рельсам, пока не истощится пар, или, соскочив с них, превратиться из стройного железно-медного чудовища в груду обломков, так и мне... Я на рельсах; они плотно обхватывают мои колеса, и если я сойду с них, что тогда? Я должен во что бы то ни стало докатиться до станции, несмотря на то, что она, эта станция, представляется мне какой-то черной дырой, в которой ничего не разберешь».

Такой взгляд на художественную деятельность уже и сам по себе может показаться странным, а тем более когда высказывается художником или даже двумя художниками: самим Рябининым и его поэтическим отцом, г. Гаршиным. Мы так привыкли смотреть на работу художника, как на деятельность свободную по преимуществу. А между тем в словах Рябинина заключается глубокий смысл.

Антитеза Рябинина, художник Дедов, не чувствует себя одиноким в толпе и совершенно удовлетворен своею деятельностью. Он, как говорится, приспособился; он рисует ходкий товар, такие именно картины, которые в спросе; он — машина для изготовления живописных произведений; он как будто служит «чистому искусству», и может быть, и сам этому искренно верит на том основании, что ему нравятся красивые сочетания линий и красок. Но на самом-то деле он служит какому-то огромному целому, в состав которого входят люди, делающие ему выраженные или невыраженные заказы. Употребляя метафору Рябинина, можно сказать, что Дедов действительно локомотив с открытой паропроводной трубой и катится по рельсам и докатится по этому, не им сделанному, прямолинейному узкому железному пути до станции, то есть до храма славы и вящих заказов. Рябинину эта самая станция представляется «какой-то черной дырой, в которой ничего не разберешь». Для него жизнь шире и выше искусства. Он не одни красивые комбинации красок и линий любит и потому, натурально, не может сообразоваться в своей деятельности с заказами; ему не все равно как, на какую тему комбинировать линии и краски, для него оскорбительна и ужасна мысль оказаться во власти того подавляющего своей громадностью и сложностью целого, которое осыпает или осыплет его товарища Дедова славой и деньгами, лишь бы он служил ему. Рябинин готов служить, то есть работать, но не этой сложной громаде, в которой «глухарь» (сюжет последней картины Рябинина) должен надрываться и разбивать себе грудь, чтобы наделать чудовищных котлов, а котлы эти создадут средства, на которые, между прочим, будут покупаться картины на «невинные сюжеты»: «полдни», «закаты», «девочка с кошкой» и проч. Рябинин с ужасом отступает перед этим сложным клубком отношений и интересов, раз запутавшись в которой, он должен оказаться безвольным исполнителем заказов. Та специальная форма общения с людьми, в которой Дедов чувствует себя как рыба в воде, претит Рябинину, он «одинок в толпе». Он перестает писать. И вот «облетели цветы, догорели огни», поскольку это зависит от Рябинина...

Не кажется ли вам, что в маленький рассказ «Художники» вложено отражение мыслей и чувств не только самого г. Гаршина, но и других наших молодых беллетри-

стов! Ведь и у Рябинина пропала охота к «выдумке», а вот Дедов, так тот, подобно гг. Авсеенке, Боборыкину, Маркевичу, фабрикует, фабрикует и опять фабрикует «что прикажете». И если такова действительно причина ослабления выдумки, то не кажется ли вам, что надо говорить: «зацветут цветы, загорятся огни»?

Мысль об «одиноком в толпе», о безвольном орудии некоторого огромного сложного целого постоянно преследует г. Гаршина и несомненно составляет источник всего его пессимизма. Несчастье и скорби его героев зависят от того, что все они ищут ближнего, жаждут любви, ищут такой формы общения с людьми, к которой они могли бы прилепиться всей душой без остатка, *всей* душой, а не одной только какой-нибудь стороной души вроде художественного творчества; *всей* душой и, значит, не в качестве специального орудия или инструмента, а в качестве человека, с сохранением всего человеческого достоинства. Все они не находят этих уз и оказываются в положении «пальцев от ноги». Я просил вас запомнить эту метафору шекспировского Менения Агриппы, влагаемую г. Гаршиным в уста «Труса». Она очень характерна. Вы помните, что «Трус» вовсе не трус. Он не опасности или смерти боится, его гнетет мысль, что он «палец от ноги», что нечто, вне его лежащее, наметило ему цель, дало ему соседа справа, соседа слева и вдвинуло в огромный, чуждый ему поток.

Для выражения своей основной мысли г. Гаршин прибегает еще к одной, очень характерной тоже метафоре. Героиня «Происшествия», Надежда Николаевна, публичная женщина, знавшая когда-то лучшие дни, вспоминает в своем дневнике одного из «гостей». Это был болтливый юноша, который прочитал ей наизусть страницу из какой-то философской книжки; там говорилось, что она и ей подобные несчастные создания суть «клапаны общественных страстей». Надежда Николаевна в качестве уличной женщины, конечно, всякие виды видала, но «клапанами» она оскорбилась. «Слова гадкие, — говорит она,— и философ, должно быть, скверный, а хуже всего был этот мальчишка, повторявший эти «клапаны». Но она тут же должна признаться сама себе, что гадкие слова фактически справедливы, что скверный философ и сквернейший мальчишка совершенно правы, — она, «общественное животное», как назвал человека еще Аристотель, есть только

«клапан общественных страстей», орудие, инструмент. Иван Иванович предлагает ей выйти из этого положения, но она уже так плотно обхвачена, что не видит выхода. Та же история, только в более сложном виде, повторяется с другой Надеждой Николаевной.

Доставьте себе удовольствие, перечтите все рассказы Гаршина, и везде или почти везде вы найдете, может быть не так ясно подчеркнутое, но все одно и то же: лучи все той же скорби о том специальном и высшем оскорблении, которое наносится человеческому достоинству превращением человека в те или другие клапаны, в «пальцы от ноги». Вот за эту-то память о человеческом достоинстве и за эту оригинальную, лично Гаршину принадлежащую скорбь мы его и полюбили. Мы хотели бы только видеть его более бодрым, хотели бы устранить преследующие его безнадежные перспективы. И наша, читательская любовь чего-нибудь да стоит в этом отношении. Мы ведь не безотчетною личною любовью любим: из нашей любви г. Гаршин должен почерпнуть веру и надежду...

ЕЩЕ О ГАРШИНЕ И О ДРУГИХ

Я должен вернуться на минуту к г. Гаршину. Он обратил мое внимание на одну ошибку, в которую я впал в прошлом (декабрьском) дневнике, говоря о его рассказе «Ночь». Передавая содержание этого маленького рассказа, я писал, что герой, решившийся на самоубийство, но остановленный на некоторое время напором жизнерадостных чувств, в конце концов, однако, все-таки застрелился. В. М. Гаршин пояснил мне, что я ошибся: Алексей Петрович (герой «Ночи») не застрелился; он умер от бурного прилива нового чувства, физически выразившегося разрывом сердца. Разница, конечно, большая. Я думаю, однако, что не один я ошибался на этот счет, и потому вдвойне спешу поправить свою ошибку. Но постараюсь также несколько оправдаться.

Алексей Петрович, измученный ложью, не только окружающею его со всех сторон, но и в его собственной душе, как он думает, свившею себе прочное пожизненное гнездо, решает покончить с собой и делает все нужные приготовления: достает у приятеля обманным образом револьвер, заряжает его, взводит курок. Перед смертью он оглядывается назад, на свое прошлое, и вспоминает детские годы, когда лжи в его жизни не было. Отчего же не было и чем положительным выражалось это отсутствие лжи? Алексей Петрович добирается до ответа на этот вопрос: была настоящая, подлинная связь с людьми, хоть бы с нищими. И потом опять отрицательные результаты: не было «одиночества в толпе», не сложился еще тот узкий личный мирок, то всепожирающее

и в то же время сиротливое **Я**, в котором он потом погряз. Но не может ли он и теперь расширить свое личное существование, связать себя с общею жизнью, установить прочные и настоящие, не лживые связи с людьми? Два голоса борются в душе Алексея Петровича. Один говорит, что это не нужно и невозможно, другой обнадеживает и зовет к жизни. Алексей Петрович раздумывает:

Нужно «отвергнуть себя», убить свое *я*, бросить на дорогу...

— Какая же польза тебе, безумный? — шептал голос.

Но другой, когда-то робкий и неслышный, прогремел ему в ответ:

— Молчи! Какая же польза будет ему, если он растерзает себя?

Алексей Петрович вскочил на ноги и выпрямился во весь рост. Этот довод привел его в восторг. Такого восторга он никогда еще не испытал ни от жизненного успеха, ни от женской любви. Восторг этот родился в сердце, вырвался из него, хлынул горячей, широкой волной, разлился по всем членам, на мгновение согрел и оживил закоченевшее несчастное существо. Тысячи колоколов торжественно зазвонили. Солнце ослепительно вспыхнуло, осветило весь мир и исчезло . . . .

. . . .

Лампа, выгоревшая в долгую ночь, светила все тусклее и тусклее и, наконец, совсем погасла. Но в комнате уже не было темно; начинался день. Его спокойный серый свет понемногу вливался в комнату и скудно освещал заряженное оружие и письмо с безумными проклятиями, лежавшее на столе, а посреди комнаты — человеческий труп с мирным и счастливым выражением на бледном лице.

Я сделал полную и точную выписку конца «Ночи»: строка точек имеется и в подлиннике, и в ней-то я и прочел новый психический толчок и затем треск и блеск револьвера, момент выстрела. Правда, серый свет утра освещает «заряженное» оружие, но этот единственный намек на то, что выстрела не было, я, каюсь, просмотрел, как, смею думать, большинство читателей г. Гаршина.

Смею думать также, что ошибка моя нисколько не колеблет тех выводов, к которым я пришел относительно писаний г. Гаршина вообще.

Алексей Петрович мог бы сказать о себе, как Фауст: «Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust» *. Два голоса явственно полемизируют в нем. Один, не только ласковый и любящий, но и разумный, удостоверяет, что не все потеряно, что возможна новая жизнь, светлая, широкая, не

---

* Две души живут в моей груди *(нем.)* [1]. — *Ред.*

из-под палки какой-нибудь, а свободно сливающаяся с жизнью других людей. Это потому голос, не только любящий, а и разумный, что удостоверяет, что и «пользы», выгоды нет жить так, как жил Алексей Петрович до сих пор. Другой голос, злой и глупый, утверждает, что все это вздор. Это злой голос, потому что, соблазняя человека, он обрекает его на муки, которых тот и без того принял сверх всякой меры; но вместе с тем это и глупый голос, потому что для Алексея Петровича все равно нет возврата на ту дорогу себялюбивого и сиротливого существования, которую он пробежал всю, вплоть до ее естественного конца — самоубийства. Победа злого и глупого голоса только и могла выразиться самоубийством, и я прочитал эту победу в строке точек г. Гаршина. Оказывается, что я ошибся, победил голос жизни и любви. Казалось бы, тем лучше. Но какою ценою одержана эта победа? Так сильно охвачен Алексей Петрович порывом жизнерадостного чувства, что не выдерживает и умирает. Значит, в конце концов все-таки смерть, и с известной точки зрения такой финал еще безотраднее простого самоубийства.

Все или почти все произведения г. Гаршина представляют художественный комментарий к великому в своей простоте: «не добро быть человеку едину». Я бы не сказал, что это корень его пессимизма, но это почва, из которой корень берет нужные ему элементы. Не вообще страданиями занят наш автор; с его точки зрения отчего бы и не пострадать, но на людях и с людьми, а не в одиночку. Однако и не буквально одиноких ставит перед нами г. Гаршин. Напротив, его одинокие окружены толпой, и все-таки они одиноки, потому что узы, связывающие их с людьми, насильственны, лживы, и они вполне сознают эту лживость и оттого мучатся. Они ищут выхода, то есть таких форм общения с людьми, которые не налагали бы на них ненавистного ярма, не делали бы их «пальцами от ноги», «клапанами», безвольными орудиями сложного целого, все большему дифференцированию которого так радуются разные спенсеровы дети[2]. В этом процессе дифференцирования, или, что то же, превращения человека в орган, орудие, многие чувствуют себя прекрасно. Их не смущает то униженное положение, в котором они находятся, их не тревожит лживость отношений к «ближним», они не чувствуют своего уродства.

Г. Гаршин представил несколько экземпляров и этой породы «приспособившихся», живущих в полное свое удовольствие для своего «я», но это «я» не человека, а «клапана». Таков Дедов в «Художниках», таков инженер Кудряшев во «Встрече». Но положение других героев г. Гаршина совсем иное. Они понимают, в какую пропасть влечет или уже вовлек их стихийный процесс, но все либо беспомощно бьются в той клетке, в которую их загнала судьба, и в конце концов погибают; либо же, как и Надежда Николаевна (в повести, озаглавленной этим именем), и Алексей Петрович, герой «Ночи», видят исход, рвутся к нему, стоят уже на самом корне новой жизни и счастья и все-таки погибают, хотя и от посторонних причин; одна под выстрелом ревнивца, другой от разрыва сердца. Мало того, значит, что люди изнемогают, стоя лицом к лицу с давящею их силою; мало того, что они, бессильно топорщась, все-таки втягиваются зубцами и колесами огромной машины и в ней перемалываются; нет, даже в тех случаях, когда голос крови и разума заглушает собою голос глупый и злой, когда человеческое достоинство готово праздновать победу, посторонние делу обстоятельства точно заговор устраивают, и победы все-таки нет.

Я надеюсь, что г. Гаршин когда-нибудь разрушит эту коалицию стихийного процесса, выражаемого глупыми и злыми голосами, и посторонних делу обстоятельств; что он предъявит нам, наконец, победу истинно человеческого достоинства, хотя бы в возможности, в перспективе. Не потому мне этого хочется, что человеческое достоинство часто торжествует в сей юдоли плача и беззакония, вследствие чего торжество это должно найти себе отражение и в искусстве. Нет, вообще говоря — это торжество пока слишком редкое, но пусть же эта редкость блеснет в творческой фантазии г. Гаршина, хотя бы только как возможность, и разгонит мрачные тучи безнадежности, заволакивающие его горизонт.

Мы вправе ожидать от г. Гаршина многого, потому что в том немногом, что он до сих пор написал, он, как говорят немцы, хватает быка за рога, сознательно выбирает центром своих картин и образов действительный центр действительной жизни. От преследующей его скорби об человеке, превращенном в «палец от ноги» или в «клапан», могут быть проведены радиусы решительно во все

сферы жизни. И если это необыкновенно выгодное и в то же время смелое положение, занятое г. Гаршиным, осталось до сих пор неоцененным по достоинству, так на это есть две причины. Во-первых, слишком тонкая, я бы сказал, кружевная работа г. Гаршина. Я своевременно читал все, что г. Гаршин печатал, а принимаясь в прошлый раз писать об нем, все вновь перечитал с особенною, специальною тщательностью и, однако, впал в вышеприведенную ошибку, потому что просмотрел буквально *одно* слово. Что же мудреного, если читатели, не обязанные читать с такою специальною внимательностью, чувствуют себя охваченными чем-то необыкновенно симпатично-скорбным, но не могут разобраться в произведениях г. Гаршина как следует.

Другая причина некоторой неясности положения г. Гаршина в литературе заключается в обширности руководящей им идеи. Не в том только дело, что он сознательно приложил ее к таким разнообразным и, повидимому, трудно суммируемым общественным положениям, каковы положения солдата, художника, публичной женщины и проч. Нет, так неотступно преследующий его вопрос — кто победит: человеческое достоинство или стихийный процесс, превращающий человека в клапан, — это всем вопросам вопрос. Все наши маленькие житейские драмы, а пожалуй, и водевили, все крупнейшие исторические события укладываются в рамки этого огромного и рокового вопроса. Но именно потому, что этот вопрос до такой степени всеобъемлющ, он, будучи заключен в абстрактную формулу, кажется чем-то холодным и далеким: пролившиеся из-за него в течение веков и теперь льющиеся на севере, юге, востоке и западе слезы и кровь абстрагируются, совлекаются, и в сфере мысли остается только своего рода «красный цветок», который, помните, тоже впитал в себя всю скорбь человечества. Но «красный цветок» — яркий бред безумца, а перед нами краткая, ясная, сухая формула. Воплощаясь в жизни, наряжаясь в разнообразнейшие сложные одежды, отражаясь в близких нам житейских делах и делишках, она бывает подчас трудно узнаваема. И вот почему, между прочим, г. Гаршин редко причисляется к беллетристике с резко определенной тенденцией, к «направленцам», как выразился недавно некто, не имеющий царя в голове. С другой стороны, однако, старательные классификаторы

не относят г. Гаршина и к представителям чистого искусства, которые singen wie der Vogel singt *, кто соловьем, а кто сорокой, кого каким бог голосом наделил. Еще бы!

Я очень благодарен г. Гаршину за то, что, указав мне мою ошибку, он дал вместе с тем повод написать эти слова, хотя я все равно написал бы их по другому поводу. Я отнюдь не хочу преувеличивать значение г. Гаршина — перед ним все еще впереди. Я говорю лишь о величии и обширности идеи, на которую намекал в первой же тетради этого дневника, говоря о жалкой породе спенсеровых детей. Если моему скромному дневнику суждено будет продолжаться, мы увидим, что к этой идее в конце концов, как к высшей инстанции, сводятся все занимающие нас житейские вопросы...

---

* поют, как поет птица *(нем.)* [3]. — *Ред.*

Г. И. УСПЕНСКИЙ КАК ПИСАТЕЛЬ И ЧЕЛОВЕК

I

Глеб Успенский — один из любимейших русских писателей. Кроме огромного и вполне оригинального таланта, который общепризнан, он мил и дорог своему читателю еще чем-то другим, что труднее уловить и указать, чем талант.

Успенский появился на так называемом литературном поприще в шестидесятых годах вместе с некоторыми другими талантливыми молодыми писателями. Явились они как-то вдруг, целым гнездом, и сначала не легко было строго определить индивидуальные особенности каждого из них. Их до известной степени объединяли и содержание их писаний и манера изложения.

Интересовались они больше такими слоями общества, которые мало или вовсе не привлекали к себе творческого внимания беллетристов предыдущего поколения: мужик, рабочий, дьячок, мещанин, мелкий чиновник — вот кто их почти исключительно занимал. Какой-нибудь угодливости этому мелкому люду, какого-нибудь желания прикрасить его и поставить выше излюбленных персонажей предыдущего периода беллетристики не было. Напротив, в такую намеренную идеализацию часто впадали старые беллетристы в тех редких случаях, когда брали свои сюжеты из среды мелкого серого люда. Молодые же беллетристы, о которых идет речь, нередко грешили противоположною крайностью. Вообще же они желали писать просто правду, какою она им в данную минуту представ-

лялась, не руководствуясь никакими посторонними соображениями. Определенная тенденция всей группы состояла только в том, чтобы привлечь внимание общества к таким сферам, которые дотоле едва смели показаться в литературе. Это было как раз вовремя, ввиду результатов Крымской войны и последовавших за ней реформ, долженствовавших коренным образом обновить весь наш общественный строй. Не мудрено, что упомянутая группа беллетристов имела большой успех — она вполне соответствовала житейскому моменту, была костью от кости и плотью от плоти его. Не мудрено также, что общество прощало этой литературе разные ее изъяны. А прощать было что! Во-первых, эта молодежь наносила оскорбление действием всем традиционным, привычным формам беллетристики: недосказанные рассказы, незавершенные сценки, начала без конца и концы без начала, беглые отметки, еле очерченные лица, отсутствие «выдумки», как говорил Тургенев, то есть сколько-нибудь стройной фабулы, и т. д. [1] Это было большою дерзостью, о которой мы по теперешнему времени даже судить не можем, ибо тогдашнее старшее поколение беллетристов, в лице Тургенева, Гончарова, Островского, давало высокие образцы вполне правильного в архитектурном смысле и вполне законченного творчества. Но дерзость литературной молодежи на этом не останавливалась. Уже то могло казаться дерзостью, что центр тяжести литературных интересов передвигался из помещичьих усадеб с аллеями густолиственных кленов, где так поэтически гуляли влюбленные пары при лунном свете; из гостиных, заваленных кипсеками и альбомами, где происходили такие изящные разговоры; из бальных зал, сверкающих обнаженными дамскими плечами, брильянтами, мундирами — в одноглазые мещанские домишки, в кабаки, мужицкие избы, постоялые дворы, комнаты «с небилью». Но все это было еще, пожалуй, что называется, в духе времени, ибо период реформ открывал, казалось, двери новой жизни, и натурально, что в них хлынул разный серый мелкий люд, давая свою окраску и литературе. Но дерзость литературной молодежи не останавливалась и перед оскорблениями самого этого духа времени. Только что освобожденный, только что признанный созревшим для усвоения гражданских прав мужик вдруг являлся в каком-нибудь очерке Николая Успенского или Слепцова совершенным дубиной, стоящим чуть

не на уровне какого-нибудь папуаса [2]. Только что введенная судебная реформа вызывала у Гл. Успенского сцену в окружном суде (в «Разоренье»), которая оканчивалась бессмысленным, хотя невольным издевательством представителей правосудия над несчастной старухой. И все это прощалось, потому что подо всем этим был дух жизни и правды. В воздухе носились радужные надежды и ликования, даже до приторности, и самая эта приторность должна была внушать подозрения и опасения людям проницательным или просто чутким...

Изо всей этой шумной группы молодых беллетристов, начавших свою литературную деятельность в шестидесятых годах, больше всех держался Глеб Успенский. Кое-кто умер на полпути, кое-кто засох живой, кое-кто, наконец, утратил типические черты той группы. И вот что замечательно. Десятки лет работал Успенский, работал в настоящем высоком и вместе тяжелом смысле этого слова, работал под грозой собственной усталости и не менее страшной грозой появления новых читателей, иными условиями воспитанных и потому чужих ему по духу. При этом сам он не только не поступался ни единою из тех типических черт, с которыми пришел в литературу, но еще усугублял их. Прежде он занимался разным мелким городским людом — потом спустился еще ниже, в мужицкую избу, почти не выходил оттуда и подчас бранчиво отстаивал свою позицию. Прежде он писал оборванные, но по крайней мере цельно задуманные очерки, а потом не только продолжал это оскорбление беллетристики действием, но еще допускал в свои писания широкую струю прямо публицистики. Прежде он во имя духа жизни и правды говорил дерзости духу времени, а потом доходил в этом отношении до того, что вызывал грозные окрики: «До чего договорился Глеб Успенский!» [3] И несмотря на эти окрики, впрочем не из тучи гремевшие и все затихавшие, несмотря на очевидные и несомненные изъяны в его литературной манере, симпатии к нему читателей все росли. Из «подающего надежды» он стал ярким, характерным фактом истории русской литературы, навсегда занявшим в ней оригинальное и почетное место.

Бывают совершенно неправильные физиономии, которые, однако, вам больше нравятся, чем писаные красавцы. Бывает и так, что какая-нибудь заведомая неправильность в лице любимого человека, какой-нибудь очевидный

изъян в нем становится особенно дорогим вам именно потому, что это — особенность любимого человека, одна из черт, которые отличают его, дорогого, от всех прочих безразличных или неприятных. Вы отлично понимаете, что это изъян, и на другом лице этот изъян произведет на вас, может быть, даже прямо отталкивающее впечатление, но тут он как-то у места, и объяснение этой уместности лежит частью в вас самих, который любит, частью в общем выражении любимого лица, в котором отразилось то, что вас заставило полюбить.

Тем не менее изъяны остаются изъянами, и, говоря об Успенском, мне с них именно приходится начинать.

Успенский начал свою литературную деятельность отрывками и обрывками и не только не отделался от этой юношеской манеры, но с течением времени точно укрепился в сознании законности и необходимости этого рода литературы. Во «Власти земли» он, между прочим, с такими словами обращается к читателю: «Вы вот все жалуетесь, что нет изящной словесности, все только о мужике пишут. Во-первых, это неправда: вы имеете ежемесячную массу литературных произведений, написанных вовсе не о мужике, и притом весьма изящно. А во-вторых, зачем вы читаете об этом мужике и, главное, зачем вы полагаете, что писания эти надо причислить к изящной словесности? Посмотрите, пожалуйста, повнимательнее в оглавление, и там сказано: «заметки», «отрывки»... Какая же это словесность? Это просто черная работа литературы, а с словесностью, вероятно, надобно покуда повременить».

Таким образом, для Успенского обрывочность его писаний как-то логически связывалась с характером их темы. Но такой логической связи, очевидно, нет. При чем тут, собственно, «мужик», это мы увидим впоследствии. А теперь заметим только, что сам по себе мужик, может быть, и во всех литературах, в том числе и в нашей, действительно бывал предметом воспроизведения в драме, романе, повести, вообще «изящной словесности» в ее законченных формах. Как бы кто ни смотрел на роман Зола: «La terre» * или на драму Толстого: «Власть тьмы», но ведь это во всяком случае не отрывки и очерки. Да и почему бы в самом деле драма, роман, повесть из мужицкого быта невозможны? Очевидно, дело в этом

* «Земля» (*франц.*). — *Ред.*

случае отнюдь не в мужике, а в самом Успенском. И надо же себе объяснить, почему это так выходит, почему человек такого большого таланта и такой искренней вдумчивости не овладел законченностью формы. Казалось бы, законченность эта совсем уж пустое дело при наличности художественного дарования. Посмотрите кругом — и вы увидите, что люди, в которых есть только микроскопические крупицы таланта, а иной раз и тех нет, десятки раз прекрасно справляются сначала с первой главой первой части, потом пишут вторую главу и т. д. и, наконец, твердою рукою подписывают: «Конец такой-то и последней части». Должно быть, это штука не хитрая. Не думаю, чтобы нашелся человек, отрицающий талант Успенского; но возьмем самого в этом отношении строгого и придирчивого судью, какого вы только себе представить можете. Все-таки же он не уравняет его с авторами бесчисленных, вполне законченных романов и повестей, сотнями появляющихся в литературе и тем же числом немедленно погружающихся в море забвения. И, однако, эти авторы могут написать законченное произведение, а Успенский не мог. Любопытно ведь это.

Далее, с какой стати высокодаровитый беллетрист занимается публицистикой? Дело здесь не в формальных подразделениях литературы, не в департаментах каких-нибудь или министерствах, с присвоенными каждому из них особыми мундирами, а в экономии и естественном распределении литературных сил. Публицистикой можем заниматься и мы, лишенные творческой способности. Конечно, было бы очень хорошо, если бы каждый публицист обладал и поэтической силой, которая была бы подспорным средством высокой важности, а каждый художник, я думаю, даже должен быть публицистом в душе. Вообще, чем богаче и разностороннее внутренняя природа писателя и его средства воздействия на общество, тем, разумеется, лучше. Пусть писатель будет одинаково богат и творческою силою и силою логического анализа, пусть он даже предъявляет плоды той или другой силы на бумаге. Мильтон написал «Потерянный рай», но он же написал и «Защиту английского народа»[4]; в нашей литературе автор романа «Кто виноват?» был публицистом и т. д. Подобных примеров можно привести довольно много. Но когда читателю предлагается смешение публицистики с беллетристикой в тех пропорциях, какие усвоил себе

Успенский, то читатель, можно наверное сказать, находится в относительном проигрыше. Назначение логического анализа — разрезать, расчленять живые явления; назначение поэтического творчества, напротив, — воссоздавать их именно в их живой цельности. Оба эти процесса могут иметь место в голове одного и того же богато одаренного писателя, но в исполнении на бумаге, в одном и том же произведении, им очень трудно ужиться рядом, не нанося друг другу ущерба. Последние произведения Успенского имеют, бесспорно, большую цену, что уже видно из того обилия разговоров, которые вызывала почти каждая его статья. Но нельзя все-таки не пожалеть, что он не давал простора своей огромной художественной способности.

Я вовсе не думаю читать наставления, да наставлениями ничего и не поделаешь. Когда писатель намеренно употребляет тот или другой невыгодный для него самого и для читателя прием, то, конечно, можно попытаться убедить его. Но в данном случае никакой намеренности не было, разумеется; просто так выходило, так писалось, полоса такая нашла. Но если бы можно было добраться до подкладки этой полосы, подкладки, может быть неясной самому писателю, то мы имели бы по крайней мере разъясненное явление, а это вовсе не мало.

В предисловиях к первым двум томам первого издания своих сочинений Успенский рассказывает историю своих писаний. Она очень поучительна и многое объясняет как в этих томах, так и во всей последующей литературной деятельности этого писателя.

«Нравы Растеряевой улицы», занимающие значительную часть первого тома, начали печататься в «Современнике» 1866 года. Но «Современник» был как раз в этом году закрыт, и продолжение «Нравов», приготовленное для этого журнала, автор перенес в «Луч» — сборник, изданный редакцией «Русского слова». Дальше пусть рассказывает сам автор: «При этом все, что имело «связь» с очерками, напечатанными в «Современнике», надо было уничтожить, обрезать, выкинуть, для того чтобы «продолжение» имело вид работы отдельной и самостоятельной; вот почему действующие лица были переименованы в других, им «сделана» другая обстановка, и самое название изменено. Затем дальнейшее продолжение той же серии рассказов печаталось в журнале «Женский вестник», так как тогда (1866) почти совершенно не было дру-

гих литературных журналов. Судите поэтому, что должна была претерпеть «Растеряева улица» с своими пьяницами, «сапожниками и мастеровщиной», появляясь в журнале, посвященном *женскому* развитию, *женскому вопросу*. При всем моем глубоком желании, чтобы пьяницы мои вели себя в дамском обществе поприличнее, все они до невозможности пахли водкой и сокрушали меня. Но что же было делать? Я их умыл и приодел, и они стали только хуже, а правды в них меньше. Наконец, очень много материала, приготовленного для «Растеряевой улицы», было разбросано в виде очерков и сценок по всевозможным газетам и листкам».

Примерно то же самое читаем и в предисловии ко второму тому относительно другого, широко задуманного, но разбитого на клочки произведения — «Разорения». Но это только внешняя сторона дела: «обстоятельства чисто личного характера» и неприглядные случайности судьбы. Ими не ограничивается история писания Успенского. Многие «очерки и сценки» из числа тех дребезгов, на которые разбились «Нравы Растеряевой улицы», не вошли в последующие издания. Автор их отверг, презрел, и вот на каком основании: «Все это было продуктом тогдашней литературной бесприютности. Сплоченных литературных кружков, к которым могли бы пристать начинающие писатели, — ничего тогда налицо не было. Все удручало вас и делало одиноким. А между тем общество, вступившее в совершенно новый период жизни, требовало от литературы — и имело на это право — многосложной и внимательной работы. Таким образом, как отсутствие «школы», так и глубокое внутреннее сознание, что «теперь» обновляющая жизнь требует больших дарований и задает им огромные задачи, делали то, что незначительная способность написать «рассказец» или «очерк» ослаблялась внутренним сознанием ненужности этого дела. «Все это не то!» — думалось тогда, и вследствие этого материал обрабатывался плохо, кой-как, появляясь в виде отрывков без начала и конца».

По-видимому, это объяснение отрывочности и оборванности не мирится с приведенными выше из «Власти земли» словами, как бы узаконяющими эту отрывочность в связи с самой темой писаний Успенского. Избрав своим сюжетом мужика, он уверен, что худо ли, хорошо ли, но он делает настоящее дело, то именно, которое особенно

нужно обществу, и во многих местах горячо и прочувствованно доказывает это; *именно поэтому,* думает он, он пишет очерки и отрывки, а не «произведения изящной словесности». В начале своей литературной деятельности он, напротив, сомневался в пользе и надобности того, что он делает, и *именно поэтому* выходили очерки и отрывки. Нет ничего удивительного в том, что писатель теряется в объяснениях причин, по которым деятельность его приняла те или другие формы. Со стороны дело виднее.

Успенский начал писать очень рано, в том почти юношеском возрасте, когда внешние влияния особенно сильно действуют на не окрепшую еще манеру писания и надолго, а иной раз и навсегда, кладут на нее свою печать. Если бы те печальные обстоятельства, о которых рассказывает наш автор в предисловиях, постигли его позже, несколько лет спустя после его выхода на литературное поприще, мы, может быть, имели бы не такого Успенского, не до такой степени отрывочного и незаконченного. Я вовсе не думаю все свалить на внешние условия. Я говорю только, что они сыграли тут важную роль и до известной степени просто *принудили* Успенского выработать прием разбивания некоторого художественного целого вдребезги. Сначала ему было, вероятно, очень трудно совершать эти операции, но затем они вошли в привычку, которая укреплялась и другими «обстоятельствами чисто личного характера». Время появления Успенского в литературе было вообще необыкновенно тяжелое. С него начался тот скорбный лист русской литературы, который и до сих пор не завершался ни окончательною смертью, ни окончательным выздоровлением. Правда, и до этого времени литературе случалось выносить многие и многие тяжести, не помешавшие, однако, образованию так называемой «плеяды», группы блестящих талантов сороковых годов, давших длинный ряд цельных художественных произведений. Но как бы ни были мрачны те времена в целом, а позднее наступили времена в некоторых отношениях еще более тяжкие. Литературные труженики сороковых годов никак уже не страдали тем «одиночеством», на которое жалуется Успенский. Это была целая группа, тесно сплоченная общностью интересов, одинаковостью возраста, развития, общественного положения и т. д. Каждый из них опирался на всех остальных и в живом общении с ними находил

поддержку в трудные минуты сомнений, колебаний, душевной немощи. Если на людях и смерть красна, так жизнь, хотя бы и очень тяжелая, и подавно. Притом же те блестящие беллетристы, за немногими исключениями, вовсе не были литературными тружениками, работниками в настоящем смысле слова. Тогда мог серьезно приниматься к сведению и, вероятно, к исполнению фантастический по нынешнему времени совет Гоголя переписывать «сочинение» семь-восемь раз с значительными промежутками. Литературная профессия, строго говоря, почти не существовала: занимавшиеся литературой «господа», за некоторыми исключениями, имели достаточно досуга, чтобы, набросав свое произведение, поездить по Европе, послушать лекции в германских университетах, искупаться в волнах Гвадалквивира, а потом, с новым запасом сил и обновленными горизонтами, вернуться к произведению для окончательной его отделки или предварительной переделки. Литература как профессия, со всеми розами и шипами профессии, явилась позже, когда всколыхнувшаяся после Крымской войны Россия выдвинула из себя новые, уже чисто литературные силы. Вторгнулись эти новые силы с большим шумом, с светлыми надеждами, широкими замыслами и большою самоуверенностью. Но недолго тянулся этот праздник, и к тому времени, когда юноша Успенский окончил свои «Нравы Растеряевой улицы», от праздника оставалось уже разве только похмелье, а там и великий пост приспел. Тяжесть, особенная, специальная тяжесть положения, состояла в том, что были выдвинуты новые силы, а точки приложения для них были убраны прочь; был накрыт стол, блестевший белизною скатерти и сверканием новой посуды, был возбужден аппетит, а обед-то вдруг куда-то совсем в другое место унесли. Я знаю, что не о едином хлебе живет человек, и не о хлебе говорю. Однако и хлеб — дело не последнее, если его надо зарабатывать и нет возможности не то что семь раз переписать повесть, а даже иной раз просто перечитать написанное, или же нет возможности пристроить задуманную вещь, и приходится делать те вивисекции, которые производил над своими литературными чадами Успенский. Притом же хлеб, в самом прямом и жестком смысле этого страшного слова, в этом случае тесным образом связывался с духовным хлебом, с идеей. Хлеб, заработанный литературным служением

обществу, был именно новой и заманчивой идеей. И не в том только было дело, что тот или другой даровитый юноша голодал на литературном поприще. Нет, в нем была разбужена духовная жажда, и, казалось, все обещало удовлетворение этой жажды, а чаша-то, полная чаша, уже приставленная к губам и дразнящая своею близостью, вдруг и прошла мимо. Такое мучительное ощущение едва ли было знакомо писателям сороковых годов, которые были для этого слишком равномерно и беспросветно отягощены. Например, рассказываемый Успенским трагикомический (я не могу назвать его просто комическим, об этом скажу еще подробнее) эпизод с «Женским вестником» никаким образом не мог иметь места в сороковых годах, потому что и самый «Женский вестник» был тогда немыслим. Специальный орган «женского движения» или «женского вопроса», каким был по задаче этот журнал, сам был продуктом и вместе выражением пробуждения новых сил и розовых надежд. Он не удовлетворял, правда, своему назначению и был вообще плох, но это уже другое дело. Может быть, и плох-то он был потому, что явился, когда розовым мечтаниям «женского движения» пришел конец. Но капризною волею судьбы этот журнал обращается вместе с тем в единственное пристанище для начинающего талантливого юноши, который, однако, для входа в это пристанище должен «умыть и приодеть» своих немытых героев. Из всего этого выходит целая сеть недоразумений, неудобств, основной элемент которой может быть выражен в трех-четырех словах: потребность разбужена, а средства для удовлетворения ее сокращены или совсем удалены. На попытки приспособления к такому непереносному положению вещей и ушла значительная часть деятельности Успенского в ту молодую пору, когда его талант еще складывался, еще не отлился в прочные, неподатливые формы.

Повторяю, я не хочу объяснять всю историю развития какого-нибудь писателя одними внешними условиями. Думаю, что необходимость разбивать широко задуманную вещь вдребезги и потом искусственно придавать им внешний вид законченности должна была самым решительным образом повлиять на манеру писания; но отнюдь не думаю, чтобы дело вполне объяснялось так чисто механически. Тем более что сами эти вивисекции не были простой механической операцией: сам автор указывает на сопро-

вождавшие ее психические моменты — гнетущее чувство нравственного одиночества и неуверенность в своих силах. О, если бы это была простая механика, так мне незачем было бы писать настоящую статью, потому что тогда и Успенский не был бы Успенским. Спрос на законченные формы беллетристики, то есть на роман, повесть, драму, так велик (и это вполне естественно), что мог бы, пожалуй, с течением времени сыграть такую же принудительную роль. А раз это не только механика, нельзя и в объяснении ее довольствоваться механикой. Нужно не только отметить внешнюю манеру письма, но и заглянуть в душу писателя, насколько это возможно.

Читая любую страницу Успенского, вы прежде всего заметите ее содержательность. Тут много недоделанного, недоговоренного, оборванного, много, может быть, с вашей точки зрения неверного, но нет ничего лишнего, Ни длиннейших описаний природы или внешней обстановки, которыми беллетристы часто разбавляют свои произведения, подобно тому как расчетливые или бедные хозяйки разбавляют и без того жидкий чай кипятком; ни непомерного размазывания психологических тонкостей, которыми иногда страдают даже высокоталантливые художники, ни множества вводных и для хода рассказа совершенно излишних лиц, которые толкутся на страницах иных беллетристов совершенно неизвестно для чего. Рассказ Успенского всегда сжат, даже чересчур сжат, почти схематичен; мысли автора, когда он говорит от себя, опять-таки изложены скорей слишком кратко, чем слишком пространно. Это, если позволено будет кулинарное сравнение, очень крепкий бульон, который может приходиться по вкусу одним и не нравиться другим, но уж наверное не разбавлен водой. Успенский есть художник-аскет, отвергнувший всякую роскошь, все не ведущее прямо к намеченной цели.

Очень любопытно, что у Успенского, можно сказать, совсем отсутствует пейзаж. Отсутствует он, например, и у Достоевского; но там ему нет места не только по нерасположению автора к этого рода живописи, а и по чисто техническим соображениям: действие происходит у Достоевского обыкновенно в городе, в комнате и много что на улице. Совсем иначе у Успенского, который имеет дело главным образом с деревней и с дорожными впечатлениями. Казалось бы, здесь на каждом шагу неизбежны

описания того, как «от лунного света зардел небосклон», как «волнуется желтеющая нива» [5], как дождь моросит, гром гремит, стволы берез белеют и т. п. И, однако, Успенский необыкновенно скуден по этой части. Это не значит, чтобы он не чуял природы, не понимал ее красот. Но он аскетически строг в своих требованиях от пейзажа. в «Поэзии земледельческого труда» вкраплен маленький, но очень остроумный разбор известного стихотворения Лермонтова: «Когда волнуется желтеющая нива». Успенскому не нравится это стихотворение, потому что поэт является в нем «случайным знакомцем природы, с которою у него нет кровной связи». Наш автор оскорблен тою изысканностью, с которою в стихотворении собраны и размещены разные лучшие дары природы, и считает себя вправе заподозрить искренность поэта: если бы поэт, приходя в общение с природой, действительно «в небесах видел бога» и «постигал, что такое счастие», то он не стал бы искать в природе непременно «отборных фруктов», вроде «малиновых слив», и т. п., а довольствовался бы более простым, не сочиненным пейзажем. Успенский противопоставляет в этом отношении Лермонтову Кольцова, у которого «и природа и миросозерцание человека, стоящего к ней лицом к лицу, до поразительной прелести неразрывно слиты в одно поэтическое целое». Пейзаж сам по себе, отдельно взятый, как бы он ни был красив, не имеет цены для Успенского: в него должна быть вложена душа художника, его подлинное «миросозерцание», то, что его действительно в данную минуту занимает вообще и в житейских делах в частности. Вот для образца одно из крайне редких у Успенского описаний природы в «Письмах с дороги»: «Кавказский хребет, подходя к Черному морю, как будто смиряется и затихает в своем бунтовстве: довольно он намудрил и напугал человека там, в глубине Кавказа; довольно он там намучил его своими ущельями (какое скучное слово!), скалами, высовывающимися из облаков, ревущими реками и пропастями бездонными. Довольно он надивил, настращал и навосхищал вас там, «в своих местах», теперь—будет! Там, в своих-то местах, он широко развернулся, самому небу доказал, на какие он способен чудеса, теперь же пора и отдохнуть. И, приближаясь к Черному морю, точно к дому, откуда ушел гулять по белу свету, он как будто отдыхает от своих чудовищных подвигов; идет он ровным шагом и тихо улыбается вам,

встречному прохожему, мягкими живописными очертаниями ничем не пугающих гор, живописных долин» и т. д. И сейчас же, непосредственно за этой попыткой нарисовать пейзаж, является «греховодник капитал» в виде нефтепровода, который всю эту очень, впрочем, слегка намеченную красоту разными способами испакостит.

Успенский понимает или, пожалуй, чует, что такого единения с кавказской природой, какое он видит и ценит у Кольцова по отношению к нашей северной природе, у него, Успенского, быть не может. Он — «случайный знакомец этой природы, с которой у него нет кровной связи». Для него вон и самое-то слово «ущелье» — «какое скучное!» А ведь там, на месте-то, конечно, есть люди, которые так же цельно и проникновенно стоят лицом к лицу с этой природой, как у нас Кольцов с своей. Они и пишут ее вполне искренно, без фальшивого набора красот, со вложением души, «миросозерцания». Успенский этого не может, а между тем с его точки зрения это единственный законный фон или рамка — ненужная роскошь, пустяки, которыми не стоит, да и некогда заниматься. И вот если уж поразило его в природе что-нибудь до такой степени, что надо, необходимо надо занести это впечатление на бумагу, так запись выходит, во-первых, очень короткая, беглая, а во-вторых, природа в ней прямо и просто очеловечивается: Кавказский хребет оказывается ни больше ни меньше как огромным и чудовищно сильным человеком, который вышел погулять, да и натворил на гулянье черт знает что, но, возвращаясь домой, отдыхает, успокаивается и тихо улыбается. Однако — и в этом особенная особенность — дома-то его ждет что-то неладное: «греховодник» уже строит свои каверзы. И тут же пейзаж не то что обрывается, а прямо переходит в действие, сливается с картинами каверз греховодника и размышлениями об них.

Я назвал этот прием или эту черту «особенною особенностью» Успенского. Это не lapsus *. Собственно, очеловечение природы — полное очеловечение, а не только отдельные живописные метафоры, заимствованные из человеческой жизни, встречаются изредка у разных писателей. Не выходя из пределов Кавказа, мы можем припомнить великолепный лермонтовский «Спор», где очеловече-

* ошибка *(лат.)*.— *Ред.*

ны Эльбрус и Казбек. Но там вы имеете ряд картин, поражающих блеском и роскошью красок и связанных чисто художественно представлением огромности Казбека. С высоты своих шестнадцати-семнадцати тысяч футов Казбек видит и сонного грузина, льющего в тени чинары пену сладких вин на узорные шальвары, и богом сожженную, безглагольную, недвижимую страну у ног Иерусалима, и вечно чуждый тени желтый Нил, моющий раскаленные ступени царственных могил, и цветные шатры бедуинов, и проч., и проч. Могучая фантазия поэта взлетела на высоту шестнадцати тысяч футов, осмотрела и нам показала, что оттуда видно; и в этом созерцании обширного кругозора, переполненного яркими и пестрыми картинами, нашла себе удовлетворение. Такой изумительной роскоши пейзажа мало найдется во всех литературах всех времен и народов, и потому не было бы ничего достойного примечания в том, что ее нет у Успенского. Можно, наоборот, спросить: у кого она есть? Два-три штриха — и перед нами вид Палестины; еще два-три — Египет... И, однако, силач Лермонтов делает здесь в сущности то же самое, что обыкновенно делают люди гораздо менее сильные и даже совсем бессильные. Из-под яркости и пестроты картин, открывающихся с вершины Казбека, вы еле различаете ту мысль, которою в начале стихотворения Эльбрус пугает своего собрата и которая, пожалуй, очень сродни каверзам «греховодника»: «железная лопата в каменную грудь, добывая медь и злато, врежет страшный путь». У других беллетристов и поэтов пейзаж не поглощает, не заслоняет до такой степени мысль произведения, потому что они лишены такой страшной, всеувлекающей фантазии и не имеют в своем распоряжении таких могучих красок. Но припомните, например, пейзажи Тургенева (над которыми, мимоходом сказать, так злобно и ядовито насмеялся в «Бесах» чуждый пейзажу Достоевский [6]), и вы увидите, что они стоят совсем отдельно, сами по себе, производят и в намерении автора должны производить самостоятельное эстетическое впечатление. Вы можете оторвать, например, длинное «пейзажное» вступление к «Бежину лугу» и увидите, что художник так долго держал вас на лоне природы (буквально с самого раннего утра и до поздней ночи) не потому, что это в каком-нибудь смысле нужно для приготовления читателя к ночной встрече с ребятишка-

ми, — что, собственно, составляет содержание рассказа, — а просто потому, что ему нравится писать пейзаж независимо от всего прочего. И так у всех беллетристов, даже в тех случаях, когда пейзаж находится в гораздо более органической связи с содержанием рассказа, чем вступление к «Бежину лугу» с самым «Бежиным лугом». Более или менее пейзаж везде играет самостоятельную роль, хотя бы в качестве аксессуара или обстановки. У Успенского этого нет ни более, ни менее. Строго говоря, у него нет пейзажа даже в тех случаях, когда он есть, потому что нельзя же назвать пейзажем набросок Кавказского хребта, которому не предоставляется ни места, ни фона, ни рамки, ни аксессуара и который прямо вводится в рассказ в качестве действующего лица.

Таково отношение Успенского не только к пейзажу, но и ко всему, что может урвать часть его внимания и внимания читателей и отклонить его куда-нибудь в сторону от единственного пункта, признаваемого в данную минуту важным и значительным. Возьмите, например, рассказ «Неизлечимый», очень невыдержанный в техническом отношении, но в котором, особенно в начале, есть поистине превосходные страницы. Суть его состоит в непереносных душевных муках некоего дьякона, к которым прикосновенны две женщины — жена дьякона и учительница. Самое содержание рассказа очень характерно для Успенского, но нам пока до него дела нет. Главная задача автора состоит в изображении душевного состояния героя и взаимных отношений его и обеих женщин. Эта задача так всецело овладевает мыслью Успенского, что он не утруждает себя описанием наружности тех женщин. Мы узнаем только, что когда дьякон порешил жениться, то «не понравилось ему у невесты лицо, глаза, но стали нравиться мясистые плечи, шея, белая и толстая». Об учительнице узнаем из рассказа дьякона, что она была «фигурка из себя довольно поджарая, хлябковатая» — и только. Этих скудных данных совершенно достаточно для характеристики животного отношения жениха к невесте и к женщинам вообще, а больше Успенскому ничего не нужно. Голубые или черные глаза были у невесты, белолицая она была или смуглая, курносая или горбоносая, даже вообще красивая или некрасивая — это безразлично: главное в том, что глаза и лицо дьякону не понравились, а понрави-

лись мясистые плечи и белая жирная шея. Все безразличное, не имеющее непосредственного отношения к делу, представляется Успенскому уже лишним, да и не то что представляется лишним, а просто он ничего этого не видит, потому что никуда по сторонам не смотрит. Наметив себе какую-нибудь цель, он торопливо идет к ней, пропуская мимо ушей всякие «звуки сладкие», которые мог бы услышать по дороге, закрывая глаза на всякие пейзажи, и т. п.

Понятно, что это сосредоточение внимания на главном и существенном должно придавать известную силу образам Успенского, но понятно также, что художественная воздержанность, доведенная до степени аскетизма, должна играть немаловажную роль в отрывочности и незаконченности его писаний. В рассказ «Неизлечимый» втиснут богатейший материал для драмы, романа, повести, вообще произведения «изящной словесности». Но ничего подобного не вышло, потому что всякую архитектурную стройность Успенский всегда готов заклать на алтаре занимающей его мысли. Ему не дорога никакая художественная подробность, если она не ведет прямо к цели; он без всякой жалости на нее наступит, смажет ее и сделает это таким приемом, какой попадется под руку: просто умолчит или обойдет словами «от себя» публицистической экскурсией. Сколько мастерства потратил бы другой художник на полное объективирование хотя бы тех же двух женских фигур в «Неизлечимом» и какое действительное мастерство мог бы он при этом обнаружить и сколько эстетического наслаждения доставить читателю. Успенский даже не замахивается на что-нибудь в этом роде. Подобно неофиту в известной бегунской песне, удаляющемуся в пустыню, он отвергает «цветное платье и светлую палату», черная схима ему дороже цветного платья. Расход красок и линий он сокращает до последнего minimum'а, довольствуясь если не схимой, так схемой (простите невольный каламбур), ибо все остальное — лишняя роскошь...

Мы видели, что в предисловии к первому изданию своих сочинений Успенский объясняет необработанность и отрывочность своих писаний неуверенностью в серьезной надобности того дела, которое он делал, — дескать, «все это не то!». А во «Власти земли» он, напротив, вполне уверен, что делает настоящее дело, и, однако,

именно из этой уверенности почерпает некоторое презрение к форме и потому остается при той же необработанности и отрывочности. Досужий человек легко может найти не одно такое противоречие в многочисленных писаниях Успенского. Может он также выхватить из них какую-нибудь страницу и на ней построить собственную вавилонскую башню, за которую, однако, сам Успенский никак не будет ответствен. Но читатель, вдумчивый и отзывчивый, не будет заниматься подобными кляузными делами. Такой читатель увидит и оценит в собрании сочинений Успенского не собрание слов и фраз и даже не только результат тридцатилетней работы, а и самый процесс ее. Работа писателя измеряется не только количеством листов исписанной им бумаги, а и теми «кровью сердца и соком нервов», по выражению Бёрне[7], которые он тратит, влагая их в свой труд. И едва ли найдется много писателей, которые при такой плодовитости расходовали бы столько крови сердца, как Успенский. Он не пишет, не «сочиняет», а живет с пером в руках. Читатель воочию видит, как писатель ищет чего-то — сегодня в русском мужике, завтра в Венере Милосской, сегодня в Сербии, завтра в Новгородской, в Самарской губернии, в Париже, в Лондоне, в Сибири, сегодня в только что прочитанной книге, завтра на крестьянской свадьбе, — ищет, надеется, разочаровывается, опять поднимается, опять ищет, тут же делясь с вами теми житейскими впечатлениями, под которыми сложились его образы, картинки, размышления. И эта наглядная, сквозящая жизненность работы не умаляется с течением времени, а едва ли даже не усиливается. Много раз приходилось мне слышать от Успенского рассказы о том или другом поразившем его случае, о полученном им впечатлении, о навеянной на него мысли, которые тут же, чуть не в тот же самый день записывались на бумагу, а исписанная бумага отправлялась в типографию клочками, по мере того как работа подвигалась вперед. И никогда не пытался я предложить ему подождать, дать впечатлению улечься, отойти от него хоть на малое время, чтобы оно могло отлиться в законченный образ, картину. Я знал, что это было бы совершенно бесполезно, потому что не может он, органически не может, что называется, «вынашивать» свои произведения и «обставлять» их. Они льются из него, как жидкость

из переполненного сосуда. Льются необработанные, но с явственными следами породившей их жизни. Я не говорю, что это хорошо или худо, я говорю только, что так есть. И в этом заключается последняя и, может быть, самая важная причина своеобразной формы писаний Успенского, всех этих отрывков, вдоль и поперек изрезанных публицистикой. Несчастные условия литературы, в которых началась его деятельность и в которых он как бы воспитался, в связи с «обстоятельствами чисто личного характера» имели, конечно, очень большое значение: но сами по себе они едва ли осилили бы из ряду вон выходящую изобразительную способность Успенского и соответственные позывы к творчеству. Да и, наконец, если бы неблагоприятные внешние условия осилили его талант, так он просто погиб бы и во всяком случае не мог бы стать так дорог и близок читателю. Он приучил нас к выработанной им форме полубеллетристических, полупублицистических очерков и отрывков, конечно, не потому, что это форма нескладная, убыточная, а потому, что в ней есть нечто само по себе по крайней мере недурное. И эта сторона нескладной, убыточной формы его писаний определяется не внешними влияниями, а некоторыми коренными свойствами его таланта и даже всего его духовного склада. Таков, во-первых, его художественный аскетизм, возбуждающий его расходовать как можно меньше красок и линий и довольствоваться схимой-схемой вместо приличествующего художнику «цветного платья». Такова, во-вторых, его чрезмерная отзывчивость и связанная с нею лихорадочная торопливость в передаче читателю своих впечатлений и их комбинаций. «Волнуясь и спеша», как выразился Некрасов о Белинском[8], нельзя даже при полном желании отойти от «людей и нравов» (одно из заглавий Успенского) на такое расстояние, чтобы они отлились в законченную художественную форму без явственных следов крови сердца писателя. Брызги крови разве только по какой-нибудь особенно счастливой случайности могут расположиться симметрично или вообще с тою правильностью, какая нужна для законченности формы...

Спрашивается, из-за чего же льется кровь сердца? Из-за чего волнуется этот человек и то мыкается по всему белому свету, то забирается чуть не в пустыню?

Какое это такое дело, ради которого он надел вериги аскета, безжалостно давит в себе все цветное, яркое и не дает воли своему огромному художественному дарованию?

Я, может быть, удивлю вас ответом. Общий принцип, к которому могут быть сведены все волнения Успенского, есть принцип гармонии, равновесия. Я знаю, что это звучит парадоксом: столько тревоги и волнения из-за какого-то отвлеченного начала, холодного и далекого как всякое отвлечение; столько аскетических подвигов и жертвоприношений на алтарь метафизического принципа! Да еще у Успенского, во-первых, наименее уравновешенного из всех крупных русских писателей, а во-вторых, человека, пустившего такие глубокие корни в живую жизнь, жизнь впечатлений, что его оттуда и выдернуть нет никакой возможности! Однако это так. Но понятно, что отвлечение принадлежит мне, критику, а не критикуемому писателю.

II

Несмотря на весь свой аскетизм, на самое щепетильное оберегание себя и читателя от всего лишнего, Успенский все-таки нашел у себя самого кое-что лишнее. Просматривая его сочинения, я не находил в них то отдельной фразы или яркого слова, которое хорошо помню, а то и целой картинки. Эти пропуски интересны. Вычеркнуты главным образом «смешные» вещи. Признаюсь, некоторых из них мне было жалко, потому что они не просто «смешны», а в разных смыслах очень удачны. Но дело не в этом, а в том, что сам автор пожелал для отдельного издания еще более сжаться в своем художественном аскетизме. Я не буду пытаться реставрировать эти пропуски, но мы и без них можем выяснить себе характер «смешного» в Успенском.

Я прошу вас перевернуть несколько страниц назад и перечитать вышеприведенный рассказ о том, как «Нравы Растеряевой улицы» урезывались и прикрашивались для «Женского вестника». Читая эти строки, вы, вероятно, улыбнетесь и во всяком случае усмотрите улыбку на лице самого автора. Между тем в существе вещей вам предъявлена серьезнейшая, глубокая драма. В са-

мом деле, всякому свое дорого, и не трудно себе представить, какие скорбные чувства одолевали молодого писателя, когда он, под напором разных надвигавшихся на него житейских случайностей, приделывал голову и хвост к своему обрывку и умывал своих неумытых героев. Он и теперь с понятною горечью вспоминает, что от этой операции герои «стали только хуже, а правды в них меньше». Нашему брату писателю это драматическое положение автора, конечно, ближе и понятнее, чем читателю; но и он, надо думать, без особенного напряжения фантазии может себе представить, чего стоит отцу калечить свое детище в видах жертвоприношения какому-то нелепому идолу житейских случайностей. И если о себе самом, о своей собственной скорби писатель рассказывает с улыбкой, так улыбка эта получает совсем особенное значение: она должна быть чем-то определяющим, характерным вообще для внутренних отношений писателя.

Действительно. Возьмем для образчика рассказ «Нужда песенки поет» и остановимся на нем немного подольше.

К автору является неизвестный человек и предъявляет бумагу, в которой изложено следующее: «Господин Иванов пиро- и гидротехник, на короткое время прибывший в г. N, честь имеет доложить высокопочтеннейшей публике, что имея искусство в египетской, арабской, эфиопской, индейской, халдейской и других магиях и состоящей из новых фантастических опытов и призраков тайной и натуральной увеселительной магии, что давая оные представления в высокоблагородных домах, по весьма умеренным ценам, с аппаратами и без аппаратов, попурри из мира чудес, кабалистика и чревовещание по весьма сходным ценам: также индийское эскамотирование, гирлянда роз, невозможность в действии, обезглавление головы, носа и других частей тела и проч., и проч., и проч.». Внизу прибавлено: «льстя себя надеждою»... и красовалась подпись: «Пиро- и гидротехник Капитон Иванов».

Смешно, не правда ли? Смешны все эти «чревовещания по сходным ценам» и «обезглавления головы, носа и других частей тела»? Но подождите, дальше будет еще смешнее. Господин Иванов, пиро- и гидротехник, рассказывает автору разные эпизоды из своей жизни.

Передавать их все было бы слишком долго, но один из них я сообщу. Пришло дело так, что Капитону Иванову надо идти в солдаты; нанять за себя «вольника» не на что, — один было попался, да надул. Капитону Иванову, столь искусному в индийском эскамотировании и обезглавлении носа, уж и лоб забрили. А дальше пришло вот что:

«Ревем мы с бабой, как ребята малые: чисто-начисто пропадать приходится... И что ж, вы думаете, вышло? На другой день к вечеру, накануне, значит, быть походу, стало мне легче! Ведь вот чудо-то какое! Легче, легче, и совсем повеселели! «Маша, — говорю, — сем я к господину откупщику схожу, фокусов сыграть, и, может быть, между прочим, господь мне поможет?» Дело было на масленице; надеваю я, для забавы, турецкое челмо и этакой балахон; туркой наряжаюсь. Смотрит на меня супруга и говорит: «Сем, говорит, Иваныч, я и себе челмо надену? Может быть, говорит, господин откупщик сжалятся над нами, когда увидят, что муж и жена одним мастерством живут; может, он и не захочет, говорит, нас разлучить?» — «Матушка моя, говорю, ты в таком теперича положении (она в то время в этаком положении была-с), ты, говорю, в таком положении, для чего тебе натруждать себя?» — «Ну, говорит, заодно! Либо, говорит, жизнь, либо смерть!» Надевает она на себя челмо турецкое, шаль (платок этакой ковровый-с), шаль эту через плечо, по-цыгански. Пошли!.. Идем, идем, да как заплачем оба, в челмах-то этих! Идут люди, глядят на нас и говорят: «С чего это два турка плачут?» Приходим к откупщику. «Как об вас доложить?» — «Иванов, говорю, с супругою». — «Принять». Входим мы в залу — гости... Страсть гостей! Откупщика, Родивон Игнатьича, я знал, и он меня тоже знавал. «А, говорит, ну делай!» Начинаю я делать фокусы, сердце так и стучит: завтра в солдаты! Делаю фокусы, господа смеются, довольны. «А это кто же с тобой?» — Родивон-то Игнатьич говорит. «А это-с, говорю, жена моя, супруга». — «Что же, говорит, и она по этой части?» Я молчу. «Можете вы, душенька?» (у жены спрашивает). «Могу-с», — говорит... (Вижу — белая вся!) «Так пройдитесь, говорит, «По улице мостовой». Маша сейчас голову книзу, руки над головой согнула и

поплыла... Да ведь как-с? Откуда что взялось!.. Барышня по фортопьянам ударила, а она-то плывет, извивается... Ах! замерло у меня сердце! Тут зачали господа трепать в ладоши. «Приотлично, кричат, превосходно! еще! еще!» А она и еще того лучше... Не удержался я, как у меня слезы-то полились, полились, кап, кап... Родивон Игнатьич кричит: «Это что? на масленице-то? у меня в доме?» Я — в ноги... Маша, где плясала, тут на колени и повалилась. «Что, что? Как, как?» Рассказали ему: «Одна надежда на вашу милость!.. Завтра на войну... жена... дети». — «Не робей, говорит. Вот тебе...» И выносит двести серебром! «Поминай на молитве». Чуть я в то время с ума не сошел... Бежим мы по улице ровно угорелые. Люди идут: вот, говорят, турки побежали. Эко у нас, ребята, турок развелось, тьма-тьмущая. Это, говорят, пленные. (А это мы с супругой весь город обегали.) Бежим, земли не слышим... История было случилась на дороге, в другой раз в полицию бы потащил, а тут только шибче побег».

На вопрос автора: в чем состояла «история», пиро- и гидротехник рассказал:

«Так-с, свинство, необразованность... Бежим это мы с женой, как я вам докладывал. Попадаются двое пьяных, прямо против нас уставились. Один подходит ко мне: «В каком вы, говорит, праве турецкие челмы носить?» Я ему шуткой в ответ: «А потому, говорю, как мы турецкого наречия». — «А в какой вы, говорит, земле находитесь, в православной или какой?» — «Мы, говорю, здесь пленные». — «А когда, говорит, вы наши пленные, то...» Да с этими словами ка-а-ак вот в эту самую кость! (Гость показал на собственный висок.) Мы с женой во всю мочь! Ну, вот-с и все!»

Дальнейший рассказ пиро- и гидротехника не менее интересен, но пусть читатель обратится за ним к подлиннику, а с меня достаточно и приведенного. Потому достаточно, что и в этом отрывке с полною ясностью выражается наиболее характерный для Успенского прием художественного творчества. Мне не хочется употреблять избитое, истрепанное, многосмысленное и по тому самому мало говорящее выражение «смех сквозь слезы». Но если эта избитая формула означает способность и склонность с улыбкой рассказать страшную драму, и притом так, что глубина драмы от этого не только

не утрачивает своей силы, а напротив, оттеняется, то я не знаю во всей русской литературе никого, кто бы умел так смеяться сквозь слезы, как Успенский. Нечего говорить, что это не беспредметное зубоскальство, довольствующееся смешными положениями или даже смешными словами: ни одного просто смешного положения вы у Успенского не найдете. Но это и не резкие удары сатирического бича и не капризные, кокетливо-истерические арабески из грусти и веселья, слез и смеха, какие бывают у чисто художественных натур типа Гейне. Это совсем особенное, оригинальное, лично Успенскому принадлежащее сочетание комического и трагического.

Вы видите ряд комических подробностей: пиро- и гидротехника с «чревоувещаниями», «обезглавлениями головы и прочих частей тела», «индийскими эскамотированиями» и проч.; потом еще другие подобные смешные мелочи, которые я краткости ради в своем пересказе пропустил; потом «турецкое челмо» и проч. Но по мере того как эти комические черты скопляются в достаточном количестве, вы чувствуете, что вступаете в круг вещей совсем не смешных и не мелких. Вам становится жутко, вы ощущаете в себе какой-то сложный и все более усложняющийся процесс, достигающий своей предельной точки в тот момент, когда Маша пускается в пляс. В салоне господина откупщика, перед толпой полудиких гостей беременная женщина, наряженная в «турецкое челмо» и в «шаль по-цыгански», пляскою «По улице мостовой» принимает участие в «индийском эскамотировании» для спасения мужа от солдатчины... Необыкновенная сложность этого маленького события особенно замечательна тем, что в нем трагическое положение соткано из комических подробностей. Турецкое челмо очень смешно, возглас: «Приотлично!», которым ободряли Машу откупщик и его гости, тоже смешон, но ведь вы не смеялись, когда Маша плясала. Художник сам проделал над вами нечто вроде «опыта тайной натуральной магии», смешил-смешил и под конец из самых этих смешков выстроил нечто такое, от чего вы чуть не заплакали.

Скажут, может быть, что этот эффект мог бы быть достигнут и другим путем: зачем, собственно, эти комические аксессуары трагического положения? Но дело в том, что вопрос «зачем?» бывает часто относительно

художественного творчества лишен всякого смысла. Другой большой художник, с иным складом творчества, сумел бы иначе поставить дело, довольствуясь, может быть, одним трагическим элементом. Но у Успенского — и в этом состоит характернейшая его, как художника, черта — все эти «челмы» и «невозможности в действии» не только не излишни, а напротив, — необходимы именно потому, что оттеняют драматизм положения. Не только из них таинственным, «магическим» путем сложилась драма, но благодаря им вы с особенною ясностью видите пошлость и дикость той среды, которую призван развлекать пиро- и гидротехник Капитон Иванов. Чтоб пронять ее, Капитон Иванов неизбежно должен был и сам явиться в шутовском виде, и Маша должна была сделать именно то, что она сделала, и именно так, а не иначе. Перед решением явиться в салоне откупщика пиро- и гидротехник исчерпал все обыкновенные ресурсы: просьбы самые трогательные, хлопоты самые энергические. Ничего не вышло. Не вышло бы ничего и тогда, если бы Маша проявила возвышеннейший героизм без «челмы» и не в составе «индийского эскамотирования». Автор ни одним словом не осудил откупщика и все его общество, он даже предоставил откупщику совершить благодеяние, но при небольшом сосредоточении вы можете поистине в ужас прийти от броненосности и толстокожести жителей города N.

Для полной оценки эпизода в салоне откупщика мне бы хотелось припомнить что-нибудь параллельное у других беллетристов. Но не могу ничего вспомнить, кроме эпизода из одной юношеской или даже мальчишеской повести (без названия) Лермонтова[9]. Там красавица Ольга, приемыш некоторого зверообразного помещика, по требованию его пьяных гостей пляшет «русскую». Ольга-красавица пляшет с изумительной грацией; одета она не в челмо какое-нибудь и цыганскую шаль, а в нарочно сшитый шелковый сарафан; дело происходит во времена пугачевщины, отдаленный грохот которой доносится и до Ольги; сама она исполнена неясных, но возвышенных чувств. Словом, ни одной комической черты в рассказ не введено, кругом все мрачно и страшно или возвышенно и прекрасно. И в конце концов никакого участия в красавице Ольге и никакого раздумья о зверообразности тогдашней помещичьей среды не по-

лучается. Получается только то неприятное ощущение, которое всякая фальшь всегда вызывает в мало-мальски чутком человеке. Вы понимаете, что я не Успенского с Лермонтовым сравниваю, да и не великая еще это была бы честь понимать меру вещей лучше, чем ее понимал 15-16-летний мальчик, хотя бы он и назывался Лермонтовым. Но даже мальчишеские произведения таких колоссальных талантов поучительны. Не говорю я также, что комический элемент обязательно нужен для полноты трагического впечатления (хоть это, может быть, до известной степени справедливо). Я только пробую с разных сторон осветить художественные приемы Успенского и проникнуть по возможности в тайну того необыкновенно приятного чувства, которое ощущает читатель в общении с этим писателем. Я совершенно уверен, что если бы Успенский вздумал обставить свой эпизод с Машей на тот манер, как обставлен эпизод с Ольгой у Лермонтова, то вышла бы вещь безобразная, фальшивая, «сочиненная» в зазорном смысле этого слова. Но он этого никогда не сделает и сделать органически не может. Сплошной напыщенный трагизм для него так же недоступен, как и противоположный полюс — беспредметное зубоскальство.

Доведя скопление комических подробностей до того момента, когда из них сама собой сложилась высокая драма, автор спускает читателя с этой трагической высоты по той же лестнице, по которой ввел его туда. Супруги Ивановы вполне счастливы тем, что ломались не даром. Оно и понятно. Дело не только в том, что беда миновала. Пиро- и гидротехник должен питать, кроме того, острое, нежное чувство к героической Маше, а сама она должна чувствовать некоторую вполне законную гордость. Счастье так велико, так полно и сложно, что супруги уж не гонятся за тычком. Какая-то пьяная скотина оборвала шуточную беседу о турецких пленных ударом «вот в эту самую кость»; супруги — ничего, только прытче домой побежали. И читатель после того напряжения скорбного чувства, которое он сейчас только испытал, готов разделить это благодушное презрение супругов Ивановых: он тоже не гонится за тычком и не чувствует ни гнева, ни негодования на пьяную скотину, хотя она занимает свое очень определенное место среди «жестоких нравов нашего города». Не только общеприня-

тый кодекс приличий, но и непосредственное нравственное чувство подсказывает, что лежачего не бьют и пленных не обижают. А пьяная скотина говорит: «Коли вы наши пленные, то вот вам в эту самую кость!» Мерзость великая, но в данную минуту она до такой степени тонет в счастливом возбуждении супругов Ивановых, что сами они ее почти не замечают, а вы опять готовы улыбнуться, отнюдь, однако, не забывая, как не забывает и Капитон Иванов, что это — «свинство, необразованность».

Такова еще одна особенность Успенского. Он рассказывает подчас возмутительные, ужасающие вещи, но почти никогда не возбуждает в читателе гнева или негодования. Грустное раздумье — вот наиболее обыкновенный осадок, остающийся на душе читателя сочинений Успенского. Достигается этот результат разными путями, но он почти всегда налицо. И грусть эта опять-таки не беспредметная, а напротив — с совершенно определенным характером. Иной читатель, может быть, не совсем ясно сознает, отчего это ему показали настоящий фейерверк комических черт и черточек, а ему в конце фейерверка стало грустно; рассказали ему ужасный случай возмутительного насилия, но он не гневается, а опять-таки грустит.

Причины этого выяснятся, я надеюсь, ниже сами собой. А теперь я прошу читателя взять какой-нибудь рассказ Успенского и прочитать его так, как мы вместе только что прочитали рассказ: «Нужда песенки поет», то есть наблюдая за собой, за сменой ощущений и впечатлений, переживаемых при чтении. Почти безразлично, что именно выбрать для этого опыта, но я бы особенно рекомендовал, например, «Неизлечимого», или «Захотел быть умней отца», или «Дохнуть некогда», или «Обстановочку». Эффект будет, я уверен, один и тот же: сначала улыбка, другая, потом смех, иногда почти неудержимый, потом, тотчас вслед за вящим скоплением комических подробностей, более или менее горькое чувство, разрешающееся в конце концов грустным раздумьем. По-видимому, этот результат достигается чисто формальным приемом даровитого художника. Но, принимая в соображение постоянную повторяемость этого приема, принимая в соображение почти неотделимость у Успенского формы и содержания, мы должны предположить, что эта формальная черта имеет свое соответствие в самом

миросозерцании автора, во всем его духовном складе. Забегая вперед, укажу другой случай такого соответствия. Аскетическое отношение Успенского к пейзажу, к физиономиям действующих лиц и т. п. есть дело формы, но она вполне соответствует некоторым аскетическим чертам в самом содержании его писаний. Облекаясь в «черную схиму» как художник, он и как публицист и мыслитель нередко зовет нас вроде как в пустыню. Так и тут. На дне каждого рассказа или очерка Успенского лежит глубокая драма. Из этого, в связи с некоторыми дурно понятыми обобщениями его (об них потом), иные считают себя вправе вывести заключение об его пессимизме. Ничего не может быть ошибочнее. Успенский не прячет ни от себя, ни от людей зла, которое видит на каждом шагу. Но пессимизм, как мрачная философия отчаяния, как уверенность в окончательном торжестве зла, ему совершенно чужд уже просто в силу стихийных свойств его таланта, складывающего драму из комических черт. Для безысходно мрачного взгляда на жизнь слишком велик запас смеха, которым он владеет. То особенное сочетание трагического и комического, которое ему свойственно, дает ему, как бы две точки опоры в пространстве и одинаково гарантирует его и против плоского оптимизма и против ноющего пессимизма. Спрашивается, не есть ли эта счастливая способность видеть вещи одновременно с двух сторон, трагической и комической, эта стихийная гарантия против односторонней роскоши комизма и трагизма — не есть ли она драгоценнейший задаток именно внутренней гармонии, равновесия писателя? Фактический отрицательный ответ, к сожалению, слишком очевиден. Но этим отрицательным ответом нельзя удовлетвориться. Пусть печальные внешние условия помешали гармоническому развитию писателя, пусть этому способствовали некоторые природные его свойства, — сложная штука душа человеческая, и разные, прямо враждебные друг другу течения в ней сталкиваются. Но человек, так счастливо поставленный относительно комического и трагического элементов жизни, должен по крайней мере дорожить гармонией и равновесием, жадно и страстно искать их кругом себя, оскорбляться отсутствием их, радоваться их присутствию. Эта лихорадочная работа будет, может быть, тем интенсивнее, когда в самом-то писателе есть

богатые задатки уравновешенности, но при этом он по собственному мучительному опыту знает, как тяжело отсутствие стройного порядка в душе. Можно думать, что такой счастливый и вместе с тем несчастный писатель именно сюда направит все свои силы, именно здесь будет искать и своего идеала и своей мерки добра и зла. Так оно и есть у Успенского.

Старинное деление (Сен-Симона) исторических эпох на органические и критические[10] может и теперь быть защищаемо. Несомненно, что есть эпохи, в которые все общественные отношения и принципы находятся в органической связи между собой и разные столкновения между людьми и группами людей, хотя бы и очень бурные, не выходят за известные, более или менее строго определенные рамки, общие для всех их. Худы или хороши эти рамки, широки или узки, но живется в них людям сравнительно покойно. Разумею покой душевный, потому что за жизнь, за кусок хлеба людям всегда приходится беспокоиться. И в органические эпохи люди могут подвергаться величайшим насилиям и оскорблениям или подвергать им своих так называемых ближних, но при этом не шевелится совесть насильников и оскорбителей, не возмущается честь насилуемых и оскорбляемых. Общие принципы эпохи допускают, мало того — освещают, такие действия. Припомните для иллюстрации, ну, хоть, например, «Двух помещиков» Тургенева (в «Записках охотника»). Там один помещик, человек очень добрый и любезный, велит высечь на конюшне буфетчика Васю, который «с такими большими бакенбардами ходит», и потом, попивая чай на балконе в прекрасный летний вечер, прислушивается к звукам ударов и с улыбкой приговаривает в такт: «Чюки-чюки-чук, чюки-чюки-чук». А Вася с большими бакенбардами, в свою очередь после экзекуции, с неменьшим спокойствием гуляет по деревне и грызет подсолнухи. На вопрос о порке он отвечает, что этот барин даром не накажет и что такого барина и днем с огнем не сыщешь. Совершилось безобразное дело, но обе стороны по совести и чести признают его законным. Понятно, что в органические эпохи совершаются не только одни безобразия. Напротив, здесь возможны и высокие подвиги самоотвержения и любви. Мало того, вся жизнь иного человека в такие эпохи может быть сплошным подвигом

терпения и преданности, и никто даже этого не заметит, если подвиг не выходит из рамок, определяемых господствующими принципами. Все существующие отношения, в своих общих и коренных частях, находятся в полной гармонии с ходячими нравственными понятиями. Противоречия, существующие в нравственном складе такого общества, могут быть усмотрены со стороны; но для сознания огромного, подавляющего большинства они просто не существуют. Буфетчик Вася с большими бакенбардами подвергается позорному наказанию — уже одно это грамматически правильное предложение заключает в себе, по-видимому, целый ряд непримиримых противоречий: как это можно — пороть человека «с большими бакенбардами»? Как можно пороть человека и в то же время называть его ласкательным и уменьшительным «Вася»? как можно называть Васей, а то и Васькой, человека с большими бакенбардами, который вам не брат, не друг, не сын? Но этого мало. Если, например, этого обесчещенного позорным наказанием Васю сдадут в солдаты, то потребуют от него военных подвигов и смерти за честь родины, и он действительно предъявит эти подвиги и примет смерть с тем спокойным героизмом, который характеризует русского солдата. Но ни Вася с большими бакенбардами, ни его барин, и никто другой не замечают этих противоречий и живут с спокойной совестью и невозмущенной честью.

Может быть, я и ошибаюсь, конечно, но мне кажется, что если бы Успенский получил свое литературное воспитание и начал работать в подобную органическую эпоху, из него вышел бы писатель более спокойный и упорядоченный, и мы имели бы ряд его романов, повестей и проч., и стоял бы он не в стороне от большой дороги беллетристики, а там же, где стоят Тургенев, Толстой, вообще крупные таланты предшествовавшего поколения. Это не значит, конечно, что он примирился бы с тем равновесием, удовлетворился бы тою гармонией фактических отношений и нравственных понятий, какая предъявляется каждой органической эпохой. Напротив, он занялся бы, может быть, и даже по всей вероятности, раскрытием противоречий, открывающихся в той гармонии для взгляда со стороны. Но именно посторонним-то зрителем ему не довелось быть,

и выступать на литературное поприще ему пришлось не в органическую эпоху, а в критическую.

Вот как говорит Успенский о трудных временах 60-х—70-х годов: «Освобождение крестьян, то есть одно только понятие об освобождении, сразу внесло невозможный для расслабленных семей, но великий идеал жизни — жизни, основанной на честном труде, на признании в мужике брата; вся прошлая жизнь была именно полным, беспощаднейшим и бесцеремоннейшим нарушением этого смысла — и вот настала гибель... И в эту минуту явились люди, воспитанные в самой густоте неуважения чужой личности, в самых затхлых, разлагающих понятиях, — например, что не думать легче и лучше, чем думать, что не работать лучше, чем работать, что работать должны мужики, а я выросту большой, женюсь на богатой, поеду за границу и т. д. Этому-то поколению, воспитанному в образцовой школе бессовестности, пришлось лицом к лицу стоять с суровой русской действительностью... Началась с этой минуты на Руси драма; понеслись проклятия, пошли самоубийства, отравы... Послышались и благословения» («На старом пепелище»).

В другом месте, в очерке «Хочешь-не-хочешь», Успенский развивает ту же мысль несколько пространнее, причем выражает уверенность, что «среди такой массы глубоких сердечных страданий несомненно должен родиться могучий талант», который все это изобразит. «Большого художника, с большим, в два обхвата, сердцем ожидает полчище народу, заболевшего новою, светлою мыслью, народа немощного, изувеченного и двигающегося волей-неволей по новой дороге, и несомненно к свету. Сколько тут фигур, прямо легших пластом, отказавшихся идти вперед; сколько тут умирающих и жалобно воющих на каждом шагу; сколько бодрых, смелых, настоящих, сколько злых, оскалившихся от злости зубов! И все это рвущееся с пути, разбешенное, немощное — все это рвется с дороги только потому, что это новая дорога, новая мысль, и злится только потому, что не может и не хочет помириться с новой мыслью. Словом, все это скопище терзается или радуется и смело идет вперед потому только, что надо всем тяготеет одна и та же болезнь сердца, боль вторгнувшейся в это сердце правды, убивающая и мучащая одних и наполняющая душу других несокрушимой силой».

Этими словами хорошо характеризуется то, что Успенский считает центральным пунктом русской жизни в 60-е—70-е годы: «болезнь сердца», «болезнь мысли», «болезнь совести». Но они же хорошо характеризуют и самого писателя — направление его мысли и страстность его отношения к делу. Болезнь сердца, болезнь мысли, болезнь совести, это — нарушенное равновесие духа. Успенский не скорбит об этом нарушении, потому что верит в величие и правоту новой мысли, которая его произвела. Но он скорбит о тех мятущихся душах, которые являются жертвами рокового столкновения старого с новым, скорбит именно об том, что они так много и болезненно мятутся, а мятутся они так потому, что душевное равновесие в них нарушено. Надо бы им подняться на высоту новой мысли всем существом своим и там, на этой высоте, достигнуть нового равновесия. Но они этого не могут. Что-то тянет их книзу, как многопудовая гиря. Le mort saisit le vif * — наследие доброго старого времени не уступает своего места новой мысли. Летописцем или иллюстратором этой мучительной неуравновешенности стал Успенский. Однако не сразу. В его ранних произведениях еще отсутствует специальная «болезнь сердца», совести. Но уже там намечена та почва, на которой она выросла. Оглядываясь теперь назад, мы без труда увидим, что обособляло Глеба Успенского среди той группы молодых талантливых беллетристов, которая разом объявилась в шестидесятых годах. Первоначально мы видим только общую всем им склонность к изображению людей и нравов низших общественных слоев, и Глеб Успенский выделяется лишь своею манерою слагать драму из комических подробностей — манерою, только изредка и слабо проявлявшеюся у Николая Успенского и совершенно отсутствовавшею у Левитова, Слепцова, Решетникова. Но уже в «Разоренье» Успенский, сохраняя типические черты всей группы, специализирует и содержание своих писаний. С этих пор его занимает почти исключительно столкновение «новой мысли» с дореформенным порядком. Для примера остановимся на одной фигуре из этого периода его литературной деятельности.

Чиновник Павел Иванович Печкин (в «Наблюдениях

* Мертвый хватает живого *(франц.).— Ред.*

Михаила Ивановича») ходил себе на службу, строчил разные бумаги, брал взятки, вытягивался перед советником и проделывал все это «с тем же спокойствием, с каким люди убеждаются, что солнце светит, что под ногами земля, а над головой небо; об этом даже и не думают. Павел Иванович делал все это исправно и жил поэтому весьма счастливо до тех пор, пока время не пошатнуло этого миросозерцания. С некоторых пор стало оказываться, что взятка — вещь гнусная и что Павел Иванович — подлец, тогда как он считал себя честным человеком. «Разве я что украл?» — говорил он в подтверждение этого. Начальство, которое прежде только распекало, которое прежде отличалось опытностью и дряхлостью, стало заменяться какими-то щелкоперами, которые носили пестрые брюки, курили в присутствии сигары, не брили бород, выгоняли вон без суда и следствия, не желали видеть доказательство честности в беспорочной пряжке. Все это и множество других либеральных реформ, похожих на снисхождение к пестрым брюкам, вломилось в умственный мир Павла Ивановича и произвело в нем потрясение... Как человек набожный, он возлагал большую надежду на помощь божию, надеясь, что все эти брюки, честности и бороды «прейдут», ибо посылаются в наказание народам за беззакония и блудную жизнь, но в сущности это были только самые легкие удары начинавшегося землетрясения. За бородами пришли времена, когда вдруг мужики перестали давать взятки... Затем пошли новые суды, неповиновение в народе (а в том числе и в кухарке), и все это вместе внесло в душу Павла Ивановича множество самых непримиримых вещей».

В результате получился нелепейший брюзга, у которого неустанно льется с языка «сердитая чушь». Очень смешная фигура, как помнит или как увидит читатель в подлиннике, но только смешная. Драма, по обыкновению, есть и здесь, но она располагается *около* Павла Ивановича, который своей «сердитой чушью» делает жизнь окружающих непереносною. Сам Павел Иванович только смешон; автор не удостоивает вниманием ту все-таки же драму, которая внутри самого этого нелепого брюзги происходит. Он просто отмечает ее, не уделяя ей ни малейшего сострадания: туда, дескать, этому чучеле и дорога. Молодой автор, очевидно, до известной

степени разделял еще не остывшие во время писания «Разоренья» веселые ожидания и розовые надежды русского общества. Оглядываясь теперь на это странное время, можно удивляться той необузданности надежд, тому розовому доверию к будущему, которым мы были тогда переполнены. Казалось, историческая дорога лежала перед нами такою ровною, гладкою скатертью, что только посвистывай да вожжами потрагивай. В ненавистном прошлом не было, кажется, уголка, не оплеванного с полнейшею и бесповоротною искренностью. Все весельем, надеждой дышало. И каждый встречный на улице подходил к вам и говорил:

Я пришел к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало...[11]

Как видно из всего «Разоренья» и в особенности из главной его фигуры — Михаила Ивановича, Успенский отнюдь не был охвачен таким оптимизмом; но все-таки по крайней мере путь к светлому будущему казался настолько ясным, что решительно не стоило придавать серьезное значение каким-нибудь ничтожным мукам ничтожного Печкина, не сумевшего прийти в равновесие с «новой мыслью». Черт с ним!

Позже, в начале семидесятых годов, Успенскому пришлось иначе отнестись к жертвам нарушенного равновесия: пришлось написать вышеприведенные строки о «болезни сердца». Оказалось, что душевное равновесие не так-то легко достигается в житейском море, взбаламученном новою мыслью, и что беспомощно мятутся не одни дряни вроде Павла Ивановича Печкина. В этом удостоверяет вся группа очерков и рассказов, соединенных под общим заглавием: «Новые времена, новые заботы».

Мы все еще в провинциальном городе, где имеют место и «Нравы Растеряевой улицы», и «Разоренье», и другие мелкие рассказы первого периода, а не в деревне, куда нас поведет Успенский потом. Но в этом городе нашего автора занимают уж не вообще нравы и люди, а специальная черта болезни совести. Его поражает прежде всего общая физиономия современного губернского города — «нечто неуклюжее, разношерстное, какая-то куча, свалка явлений, не имеющих друг с другом

никакой связи и, несмотря на это, делающих бесплодные усилия ужиться вместе». Прежде «гармония была во всем полная. Тряпье, дикость, невежество, хрюканье и проч. — все это было пригнано и прилажено все к тому же невежеству, тряпью, хрюканью и дикости и, стало быть, *не могло не только поражать ваш глаз, но даже ни на волос не обижало его.* Теперь не то. Гармония подлинного тряпья нарушена пришествием решительно несовместных с ним явлений. Из превосходного вагона железной дороги пассажир вылезает прямо в лужу грязи, грязи непроходимой, из которой никто не придет вас вынуть, потому что машина прошла в таком месте, где отроду не было ни народу, ни дорог», и т. д.

Я не стану выписывать дальнейшие подробности и обращаю внимание читателя только на то, что глаз художника «обижен» зрелищем нарушенной гармонии; ему «досадна» эта «путаница», хотя он знает, что гармония невежества, тряпья и дикости слагается все-таки из дикости, тряпья и невежества, а следовательно, вовсе не привлекательна и не желательна. Это нечаянно сорвавшееся с пера слово «глаз обижен» очень замечательно. Успенский оскорблен отсутствием гармонии в физиономии губернского города. Тем паче оскорблен он внутреннею, душевною жизнью обитателей этого города, в которой он главною чертою считает «больную совесть», нарушенное новою мыслью равновесие.

Вот, например, порожденный этой жизнью мещанин Б — в (в «Хочешь-не-хочешь»). Он несет «чушь» в своем роде не хуже Павла Ивановича Печкина, но уже не «сердитую» и пустопорожнюю, а покаянную и содержательную. Он вспоминает о блистательности своего положения, когда у него было «панталонов одних летних шесть пар от Корпуса» и когда ему предлагали место на Невском у Пеструхина с жалованием в семьдесят пять рублей. Но ему «тьфу!» на все это. «Места, панталоны... Господи, очисти живота от всего от этого». Его тянет куда-то в высоту, об которой, однако, он ничего путного сказать не может, и решает умереть, и действительно застреливается. Несмотря на смешные подробности монолога Б — ва, вы видите здесь настоящую драму, состоящую в том, что какие-то неизвестные обстоятельства ввели в слабую голову Б — ва массу новых мыслей, не уживающихся с прежним ее содержимым. Он рад бы рекой

разлиться, весь мир залить своим стоном, и ничего из этих неимоверных усилий не выходит: он все вертится около каких-то шести пар летних панталонов от Корпуса, которые сам глубоко презирает. В его мозгу копошится нечто бесконечно высшее, чем все эти летние панталоны и «места», но это нечто бьется, как птица в клетке, ища и не находя выхода, ища и не находя слов для своего выражения. Истинно «тьфу!» все эти панталоны и места. Никто их не презирает в такой степени, как этот самый мещанин Б — в. А между тем они назойливо лезут в голову, нет возможности согнать их с языка, нет возможности добраться сквозь них до того святилища души, где, точно в сказочном ларце за семью печатями, лежит таинственное зерно какой-то высокой мысли, изгнавшей Б — ва из рая душевного равновесия.

Вот Верочка («На старом пепелище»). Она знает «новую мысль» в ее словесных выражениях, знает слова: «труд», «равноправность», «независимость», даже ценит их, но соответственные мысли не могут пробить толстую кору, наслоенную на ее сердце наследием прошлого. А когда, наконец, эти мысли пробились до сердца, Верочка не выдержала и отравилась.

Вот дьякон («Неизлечимый»), спокойно живший с своим «свиным элементом» в душе, пока новая мысль не разрушила этого гармонического существования. Дьякон, вкусив от плода древа познания добра и зла, сознал в себе «свиной элемент», но ничего с ним поделать не может и мучительно раздумывает: «Возможно ли каким-либо манером фундаментально излечить и душу и тело? Тело, например, восстановлять медицинскими специями, а душу одновременно чтением?» И проч. и проч.

Это уж не Павлы Ивановичи Печкины, на которых можно было только плюнуть. Этих людей автор уже дарит своим участием и состраданием, признает их мучениками, а не мучителями, видит драму в них самих, а не около них. Но неужели же так-таки нет просвета? Неужели «новая мысль» бессильна создать новую высшую гармонию на место той «свиной», которую она разрушила, а ветхий человек решительно не способен облечься в нового и расстаться с своим «свиным элементом»? Как бы оно там ни было в действительности, но Успенский слишком «обижен» зрелищем дисгармонии, слишком страдает от него, чтобы не искать хоть какого-

нибудь успокоения оскорбленному глазу. При всей своей беспорядочности и неуравновешенности он слишком богат *задатками* гармонии, чтобы отказываться от мечты найти ее, гармонию, хоть где-нибудь. И он ищет, ищет, доколе не омрачается его разум, а отчасти и с омраченным уже разумом. И я не знаю ничего трогательнее той лихорадочной страстности, тех порывистых усилий мысли, с которыми он совершает эти поиски. Он с грустью раздумывает о судьбе Б — ва, Верочки, дьякона и прочих, заболевших «сердцем», «совестью»; но, как бы ни были мрачны и безотрадны изображаемые им картины, он никого не ведет к отчаянию, к «складыванию ненужных рук на пустой груди». Должна где-нибудь быть эта так желанная гармония — или в настоящей действительности, или в будущем, которое можно, однако, теперь же определить. Но на беду наш автор очень требователен. В рассказе «Прогулка» фигурирует очень либеральный и образованный акцизный чиновник. Он следит за литературой, говорит, что «Один в поле не воин» Шпильгагена [12] — «превосходная штука», одушевленно ведет благороднейший разговор о необходимости народного образования, близко принимает к сердцу интересы европейской политики, неизменно вежлив с низшими, строго исполняет свои обязанности. Словом, это продукт уже, конечно, не дореформенной эпохи. Но вот этот гуманный и вполне современный человек отправляется производить дознание о беспатентной продаже водки. Дорóгой он прихватывает свидетеля солдата и сговаривается с ним, как им накрыть виновника. Дознание произведено, протокол составлен, и все это устроилось так, что присутствующий при этом посторонний молодой человек размышляет: «Как назвать, как определить эту гуманность, образованность, которая повсюду вносит с собой уныние и грусть?.. Вот с измученной совестью сидит на крыльце солдат... Вот вздыхает целая семья, видя перед собою голод... Бабы перестали петь, ушли». — «Да что же это такое?» — спрашивает он чиновника. «Порядок!» — категорически ответил чиновник и продолжал дорогу молча, срывая васильки и собирая из них букет для жены». Не этот «порядок», конечно, может послужить просветом для мечты сердца, жаждущего гармонии. Это даже и не «порядок», несмотря на то, а отчасти, может быть, именно потому, что

чиновник соблюдает при составлении протокола все формы вежливости, а соблазнив солдата на предательство, рвет васильки. Или вот рассказ под названием: «Умерла за направление», в котором благодаря огромности и сложности общественного механизма человек, возымевший очень крупные надежды и планы, постепенно их суживает и приходит, наконец, даже к совершенно неожиданному результату. Рассказчика спрашивают, к чему он это рассказал. Он отвечает: «Как к чему? Да просто так сказал... Потому сказал, что поглядишь, поглядишь, и не знаешь — что такое творится на белом свете! Вот почему. Тоска».

Нельзя ли с тоски-то с этой кинуться в мир фантазии и там, на свой собственный страх и риск, создать приятную фигуру «нового человека», который воспринял бы новую мысль во всем ее объеме и всем существом своим, вообще создать образец высокого, честного, сильного, правдивого и не мирящегося с наследием прошлого, но при этом и неуязвленного больною совестью? — Можно. Это делали многие беллетристы. В литературе нашей существует целая коллекция романов, в которых фигурируют «новые люди» и которые производили в свое время известную сенсацию, но ныне почти забыты. Успенский посвящает этой литературе любопытную страницу в очерке «На старом пепелище». Он вполне признает ее историческую законность. В том обществе, которому казалось, что оно вдруг разорвало всякую связь с своим прошлым, необходимо должен был явиться запрос на изображение совершенно новой жизни и новых людей, и чтобы все в этих людях было добро зело, как в первые дни творения. Взволнованная Крымской войной, затем освобождением крестьян и другими реформами общественная совесть требовала великого, сильного, честного, в противоположность тому постылому прошлому, от которого она только что отвернулась. Романисты удовлетворяли этой потребности. Все это так. «Но, — говорит Успенский, — между этими крайностями, то есть между недавним беспримерным нравственным падением и беспримерною жаждою нового и возвышенного, есть третья черта, черта подлинного состояния общественной души, забытая авторами, и старыми и новыми: эта черта — страдание. Новый автор, рисуя для пробужденной совести образцы, в которые должно бы облечься это пробуж-

дение, но не говоря ни слова о страданиях, о борьбе с самим собой, страданиях и борьбе, которые неизбежно должны были обрушиться на всякого обессиленного нравственно человека, поставленного в необходимость быть нравственно сильным, — автор делал большой промах: он предоставлял измученному представителю толпы биться как рыба об лед и давал полную возможность врагам своих идеалов во все горло хохотать над ошибками, бессилием, недомыслием человека, торопившегося перебраться с одного берега на другой, торопившегося от неправды, бессовестности уйти к совести и правде во всем».

Труден путь общественного обновления. Трудно прилаживаются к новой мысли люди, в течение веков воспитывавшие в себе, по выражению нашего автора, «свиной элемент». Новая мысль «жертв искупительных просит»: она, как женщина, в болезнях родит чад. Даже успехи ее, по крайней мере на первых порах или тотчас после первого розового и не особенно надежного настроения, должны выразиться мучительным сознанием неуравновешенности, больной совести. Чем ярче свет новой мысли, тем, при условии полной искренности, сильнее освещает он потаенные закоулки души, где гнездятся остатки прошлого. Надо вконец истребить в себе эти остатки, и тогда получится новая, высшая гармония взамен разрушенной. Лучше быть недовольным человеком, чем довольной свиньей, как сказал древний мудрец. Раз увидев свет, никто не захочет вернуться к тьме. Раз заболев совестью, мудрено вернуться к прежнему душевному равновесию, еще не обеспокоенному острыми иглами совести; но эти иглы производят боль, и надо искать выхода.

Герой очерка «Хочешь-не-хочешь», некий Петр Васильевич, нашел выход. Казнокрад, буян, развратник, он уже стариком получил «просияние своего ума», как выражается другой герой Успенского. Получил просияние и «покаялся»: отказался от семьи, от всех выгод и удобств своего положения, ушел из дому и, проживая в своей бывшей деревне тайно от жены, которой некогда наделал много неприятностей, и изредка, тайком же, взглядывая на своего сына, стал, как умел, лечить крестьян и, как мог, учить крестьянских ребятишек. Этим путем он достиг душевного равновесия. Каясь за свое

прошлое, он не имел в чем упрекнуть себя в настоящем и спокоен и светел, как дитя. «У меня вот шляпа поярковая, — говорит он, — коровьим составом я ее вымазал, запек в печи — она у меня на двести лет, а там, в ваших-то местах (то есть в «господской» среде), отдай пять да десять... да неведомо сколько другого прячендалу потребуется хоть бы к одной к одеже... Не надо этого... Стыдно! Вот ребятишки иной раз листа бумаги ждут по полугоду, а я буду в лорнет смотреть?»

Так вот как достигается душевное равновесие.

III

«Болезнь сердца», «болезнь мысли», «болезнь совести» — это у Успенского синонимы. Мысль и чувство, безжалостно и неподкупно сверлящие душу, принимают для него почти исключительно форму совести, то есть сознания виновности и жажды соответственного искупления и покаяния. Но совесть — не единственная сила, способная сверлить душу. Человек, охваченный угрызениями совести, стремится наложить на себя эпитимии и всячески урезать свой жизненный бюджет. Для себя ему ничего не нужно. Напротив, заморить грызущего его червяка он только и может лишениями, и потому он не только готов принять всякие оскорбления, даже до мученического венца, а сам ищет их. Препятствия для этой работы совести могут найтись только в самом субъекте, в его «свином элементе», если такой сохранится, а внешняя обстановка с таким человеком ничего не может сделать: для него лично, пожалуй, даже — чем хуже, тем лучше. Взять хоть бы того же Петра Васильевича: чем больше холода и голода на него обрушивается, чем униженнее его положение, тем он светлее душой. Но в таком чистом виде работа совести встречается редко, хотя бывают целые исторические эпохи, ею окрашенные. Обыкновенно же коррективом его является работа чести, которая столь же способна нарушать гармонию «свиного элемента», только с другого конца, и точно так же может стать мотивом глубочайшей драмы. Работа совести и работа чести отнюдь не исключают друг друга. Между ними возможно практическое соглашение, они могут уживаться рядом, пополняя одна другую.

Но они все-таки типически различны. Совесть требует сокращения бюджета личной жизни и потому в крайнем своем развитии успокаивается лишениями, оскорблениями, мучениями; честь, напротив, требует расширения личной жизни и потому не мирится с оскорблениями и бичеваниями. Совесть, как определяющий момент драмы. убивает ее носителя, если он не в силах принизить, урезать себя до известного предела; честь, напротив, убивает героя драмы, если унижения и лишения переходят за известные пределы. Человек уязвленной совести говорит: я виноват, я хуже всех, я недостоин; человек возмущенной чести говорит: передо мной виноваты, я не хуже других, я достоин. Работе совести соответствуют обязанности, работе чести — права. Повторяю, исключительные люди совести, как и исключительные люди чести, составляют большую редкость; обыкновенно мы видим смешение этих двух начал в той или другой пропорции. Но в данную минуту герой драмы может находиться под исключительным влиянием того или другого элемента. И ясно, что болезнь чести имеет полное право стоять рядом с болезнью совести. Ясно, что драма оскорбленной чести может быть столь же сложна, глубока и поучительна, как и драма уязвленной совести.

Успенский, сосредоточив свое внимание на драме совести, почти совсем в стороне оставляет драму чести. Говорю — почти совсем, потому что некоторые намеки в этом направлении у него есть. Самый крупный из них — фигура Михаила Ивановича в «Разоренье». Едет Михаил Иванович в Петербург полный самых радужных надежд, что, добравшись там до сильных людей, он им расскажет, как обижают и притесняют простого человека, который, однако, не хуже других. На железной дороге он приятно поражен в своем настороженном чувстве чести теми «вы», «пожалуйте», «сделайте одолжение», с которыми к нему обращаются. Вместе с случайным дорожным знакомцем, пьяненьким мужиком, они делают разные опыты для удостоверения, что они не хуже других. Все удается: с ними неизменно вежливы, железнодорожные правила применяются к ним совершенно в той же мере, как и к пассажирам «из господ». Но вот на одной из станций Михаил Иванович, обнявшись с мужиком, подходит к буфету с намерением выпить и закусить, подобно прочим.

— Бутенброту! — грозно восклицает мужик, вламываясь в толпу у буфета, но, увидав господ, пугается, снимает шапку и бурчит:

— Дозвольте бутенброту, васкбродие!..

Михаил Иванович обижен таким поведением мужика, и тот сам чувствует свою вину. Это пустяки, конечно, но солнце отражается и в малой капле вод. «Новая мысль» преломилась в головах Михаила Ивановича и его спутника в форме чести, но они не приладились к ней, не привели в равновесие свое прежнее содержание и новую мысль. Отсюда это нелепое «грозное» восклицание мужика и быстро следующая за ним трусость. Этот мотив не разработан в сочинениях Успенского, частью, может быть, по внешним условиям, но частью и по самым свойствам его таланта и его умонастроения. Он часто рисует разных насильников, обидчиков, тиранов, но комические черты в этих рисунках расположены так, что весь этот люд, хотя и много зла делающий, оказывается пустопорожним и ничтожным. Таков, например, Павел Иванович Печкин. Такова в рассказе «Захотел быть умней отца» мрачная фигура злодея отца. По-видимому, это не только мрачная, но и очень большая сила: но всей этой силы только на то и хватило, чтобы загубить сына, что вовсе не трудно было. В сущности какая же это сила? Это что-то злое, мимолетно торжествующее, но ничтожное до смешного, и завтра же, может быть, от него не останется ни праху, ни памяти. Поэтому сына этого смешного и ничтожного злодея Успенский не счел нужным даже показать нам, а между тем драматическое положение этого сына коренится, конечно, не в уязвленной совести, а в оскорбленной чести, которая, таким образом, и остается за кулисами. Сверх того, к анализу именно больной совести, даже в ущерб всему прочему, Успенского влечет родственность его художественного аскетизма с аскетизмом житейским. Сам он суживает свои права как художника до последней возможной степени и отказывается от всякой роскоши красок, линий, образов. Поэтому и в жизни ему симпатичнее или по крайней мере интереснее то восстановление душевного равновесия, которое достигается со стороны совести, то есть при помощи лишений и отказа от всего яркого и цветного. Как бы то ни было, но это большой пробел в деятельно-

сти Успенского. Мы еще встретимся с этим обстоятельством ниже, а теперь, возвращаясь к прерванному разговору о покаявшемся Петре Васильевиче («Хочешь-не-хочешь»), я замечу следующее. Аскетизм Петра Васильевича, на котором отдыхает, наконец, глаз художника, оскорбленный зрелищем неуравновешенности, отнюдь не имеет созерцательного характера. Это не тот аскет, который залезает на столб или удаляется в леса и болота и там, никого не видя, только сокрушается о своих грехах. Он аскет деятельный, постановивший себе задачей служить ближнему делом: он лечит больных и учит ребят. Это важно заметить для дальнейшего.

Как бы ни было успокоительно для глаза, ищущего гармонии, зрелище того душевного равновесия, которого достиг Петр Васильевич, но это во всяком случае исключительное явление. Это, пожалуй, тоже своего рода «новый человек». Правда, указан и назван путь, которым он добрался до своего пьедестала — путь страдания. А все-таки Петр Васильевич на пьедестале стоит, на возвышении, недоступном большинству. Глаз, оскорбляемый неуравновешенностью, может на нем только временно отдохнуть и затем по необходимости должен перейти к явлениям более обыденным и опять оскорбляться и опять искать гармонии.

Успенский отправился с своими поисками в деревню. Это как раз совпало с усиленными литературными толками о народе, в которых Успенский занял совершенно оригинальную позицию. Он ушел в деревню все с той же преследующей его мечтой найти отдых глазу, оскорбленному неурядицей, бестолковостью и противоречивостью явлений жизни. При этом была, очевидно, и надежда, что там, в деревне, где жизнь сравнительно не сложна, где поярковая шляпа, вымазанная коровьим составом, до которой едва дострадался Петр Васильевич, есть вещь вполне обыкновенная; что там легче найти равновесие между нравственными понятиями и фактическим строем жизни, между потребностями и способами их удовлетворения, между словом и делом. Разное, однако, ожидало его там, и он, с свойственною ему нервною торопливостью и искренностью, предавал тиснению все, что он видел, думал, чувствовал. Тут были и разочарования и радости. Не раз сбегал он из деревни то в Европу, чтобы его там «выпрямила» Венера Милосская,

то в ту же Европу, чтобы посмотреть, как живут люди, хорошо ли, худо ли, но вполне сознательною жизнью, то к далеким кавказским сектантам, то к измученным русскою болезнью совести добровольцам в Сербию, но все-таки возвращался все в ту же деревню, и опять искал там, и мучился, и радовался. Так как одно время литературные толки о народе вызвали было в обществе некоторое движение в направлении к деревне, то Успенский и эти попытки сближения с народом ввел в круг своих наблюдений и размышлений. Люди искренней мысли всегда высоко ценили деревенские впечатления Успенского, ибо они, по своей необыкновенной правдивости, всегда заслуживали по крайней мере быть принятыми к сведению при обсуждении живого дела. Но ко всякому живому делу пристраиваются разные узколобые доктринеры и кляузники, стремящиеся омертвить его и тем низвести до своего уровня. Таким не могла нравиться деятельность Успенского, слишком для них живая и смелая. Они решительно терялись — какой, собственно, ярлык на него навесить, а ярлыков собственного изобретения у них было много: не то «народник», не то только «народолюбец», не то еще какой-то и даже «презрительно и высокомерно относится к народу» [13]. Это не было скромное и естественное «недоумение нулей, к какой пристать им единице». Нет, нули, круглые нули комически негодовали, что к ним не пристают действительные величины. Успенский оставался, конечно, все тем же Успенским и шел своей мучительно трудной дорогой. Я не буду следить за всеми перипетиями его поисков идеала в деревне и остановлюсь только на нескольких крупных чертах.

Между прочим, Успенский пришел к парадоксальному, по-видимому, выводу, что в народной среде (а может быть, и не в ней одной) улучшение материального положения не только не ведет к действительному благосостоянию, а напротив, губит людей, опустошая их нравственно, а затем приводя к вящему разоренью. Мысль эта его очень занимает: он развивает ее и в нескольких отдельных очерках (например: «Перестала!», «Взбрело в башку» и проч.), и в единственном своем более или менее законченном произведении «Власть земли», и в статьях: «Без своей воли», «Из разговоров с приятелями», составляющих как бы послесловия к «Власти земли».

Отсюда, на поверхностный взгляд, могут быть сделаны некоторые крайне удивительные заключения, отнюдь не мирящиеся с общим характером деятельности Успенского. Но приглядевшись ближе, увидим прежде всего, что Успенскому не до эффектных парадоксов. Он пристально вглядывается в поразившее его явление, ищет его смысла и производит эту операцию не в кабинете, в тиши которого можно расположить свои наблюдения и выводы в стройную систему, а, так сказать, на людях: вы видите не только результаты работы, а и процесс ее. Об этом, впрочем, уже говорено выше, и если я теперь возвращаюсь к этому обстоятельству, так только для того, чтобы иметь право для объяснения истинного смысла вышеприведенного парадоксального вывода по-своему располагать разные отдельные места сочинений Успенского.

В очерке «Без своей воли» записаны разговоры трех приятелей. Один из них, только вернувшийся из какой-то поездки, передает, между прочим, слышанный им рассказ о том, что народился антихрист. Народился он не у нас, а в «каком-то особом царстве». Вот как будто бы было дело.

Нанялся к некоему князю повар и тотчас же начал всячески угождать и делать добро остальной прислуге. Слухи об его доброте стали распространяться и дошли до самого князя, который полюбил его, а этою любовью повар воспользовался опять-таки на благо разных обращавшихся к нему за помощью бедных, простых людей. Со всех сторон валил к нему черный народ с своим горем и нуждой, и все получали помощь, всем он выхлопатывал у князя кому что нужно. Так дело и теперь стоит: повар все благодетельствует и помогает простому бедному люду. Но лет примерно через двадцать произойдет следующий случай. Надо заметить, что благодетельный повар никогда не снимает с рук белых перчаток. И вот князь созовет к себе в гости «прочих всех китайских и эфиопских князей», и будет им служить повар в белых перчатках. Гости — «князья и разные султаны» — заинтересуются этим и попросят князя-хозяина, чтобы он приказал повару снять белые перчатки. Князь прикажет, но повар дважды откажется исполнить приказание, и только когда князь в третий раз с гневом прикажет, повар с гневом же сорвет белые перчатки. Тогда все князья и султаны увидят, что повар есть

антихрист: на одной руке у него окажется копыто, на другой — когти. Все князья и султаны в ужасе разбегутся, в том числе и хозяин. Народ, помня благодеяния повара, выберет его князем, но вместо ожидаемых милостей он с первого же дня обнаружит необузданную жестокость. В особенности плохо придется тем, у кого руки окажутся «чистыми, нежными, без мозолей, то есть без этих копыт и когтей». Чтобы спастись от гибели, все белоручки начнут хвататься руками за землю, начнут рыть ее и все-таки будут гибнуть. А так как и у мужиков мозоли будут проходить (от хорошей жизни, которую антихрист устроил им, будучи поваром), то вслед за белоручками, уничтоженными по повелению антихриста, станут уничтожать и обелорученных мужиков. Потом начнется пожар земли, воскресение мертвых, страшный суд.

Один из собеседников, выслушав этот рассказ, замечает, что «эту легенду об антихристе он на своем веку слышал несчетное число раз; антихрист всегда является в ней в разных видах, но всегда решительно, во всякой из легенд, он ознаменовывает свое пришествие добрыми делами. Он всегда завоевывает симпатии народа, делая ему приятное, облегчая ему жизнь... Почему же зло, гибель, несчастие и вообще последние дни, кончину мира народ полагает после того, как будут необыкновенно легко исполняться все желания, снимутся все тяготы?»

Признаюсь, я никогда не слыхал такой русской легенды об антихристе. Полагаю, что она не коренного русского происхождения. Она невольно напоминает следующее иранское сказание. После тысячелетнего царствования Иема, в течение которого люди были так счастливы, что не знали даже голода и жажды, на престол вступил нечестный Дахака. Сам Ариман [14] поступил к нему на службу в виде *повара*. Повар этот стал постепенно приучать Дахака к мясной пище. До тех пор люди питались только растительной пищей, а тут стали есть сначала яйца, потом птиц, потом говядину. Дахак был очень доволен гастрономическими нововведениями, но когда однажды повар Ариман поцеловал царя в оба плеча, то из тех мест, куда пришлись поцелуи, выросли две змеи, а повар исчез. Змей отрезали, но они опять выросли, и опять, и опять. Тогда повар вновь появился, но уже в виде врача, и посоветовал кормить змей че-

ловеческим мозгом. И т. д. История кончается благополучно — низвержением Дахака и торжеством добра.

Я не знаю, родственно ли это сказание с легендой об антихристе, приводимой Успенским, фактически. Но они родственны по содержанию; и не только потому, что там и тут воинствующее злое начало — антихрист и Ариман — принимает обличье повара, а и потому, что там и тут повар является источником удовольствия, наслаждения, которое оказывается, однако, пагубным. Но в иранском сказании двусмысленный характер благодеяний злого начала раскрывается яснее. Дело не в благодеяниях вообще, а специально в предоставлении новых наслаждений, дотоле народу неизвестных, причем, может быть, имеет значение и то, что наслаждения эти низшего порядка — гастрономические. Иранское сказание видит торжество зла не в том, что «будет необыкновенно легко, исполнятся все желания, снимутся все тяготы», а в том, что водворится роскошь, люди захотят лишнего, того, что прежде было им даже неизвестно. Это гораздо проще и понятнее, но, может быть, та же мысль лежит и в основании легенды об антихристе, только замаскированная. Если бы это последнее могло быть доказано, то стало бы вместе с тем понятно, что постоянно звучащей в Успенском аскетической струне симпатична легенда об антихристе: в ней ведь та же струна звучит. Но, как уж было замечено выше, близкий сердцу Успенского аскетизм отличается деятельным характером. Он сам слишком впечатлителен и деятелен, чтобы другим рекомендовать и себе позволить спокойное созерцание, хотя бы возможность его и была достигнута отрешением от всего «лишнего» и от всякого греха, с этим «лишним» связанного. А это обстоятельство вносит в аскетическую программу такую огромную поправку, что в известном смысле она даже перестает быть аскетическою.

В очерке «Перестала!» Михайло говорит, что «нам свою мужицкую силу нельзя по ветру распускать, нам нужна запряжка, *чтобы дохнуть некогда было»*. Это Михайло говорит, умудренный горьким опытом и получив «просияние своего ума» от калашницы Артамоновны, которая вновь наладила его разбитую было семейную жизнь. Артамоновна вот как допекала Михайлу и его жену: «Глупый ты, безбожный и безрассудный

балбес! До чего ты довел свою жену и до чего сам себя произвел? Не дурак ли ты? Хотел прожить с женой весь век за самоваром; думал ты, дурак, что будет она тебе *благодарна, ежели ей только чай с сахаром пить, а никакого беспокойства не иметь?* Куда ж она силу-то свою денет, подумал ли ты? Ведь у ней, у жены-то твоей, на четырех баб силы-то хватит, а ты думаешь чаем ее отпоить?.. И этакую-то золотую бабу ты, балбес, думал на всю жизнь оставить без затруднения? *Почему же ты не делаешь ей в жизни затруднения? Ведь она всего хочет, понимаешь ли ты? Ей всего нужно. А ты самоваром хочешь отбояриться?»* Жена Михайлы тоже получает от Артамоновны наставление: «А ты-то, балалайка бесструнная, что думала? Ты бы хоть мужу на портянки холста наткала, так и то бы тебе *потрудней* было, *повеселей.* Ах вы глупые, бессовестные! Задумали без крестьянского хомута век вековать!»

Итак, между словами «потрудней» и «повеселей», выражающими, по-видимому, такие резко отличные понятия, может быть поставлен знак равенства. Итак, на человека должно быть навалено столько работы, чтобы ему «дохнуть некогда» было. Тогда, и только тогда, настанет мир в его душе, но не на почве отречения от радостей жизни; напротив, тут-то и достигнется настоящая радость, и человек, который «всего хочет», которому «все нужно», «все» и получит. Михайло и его жена в очерке «Перестала!» не исключительные какие-нибудь явления. Совершенно как у Михайлы, у Ивана Босых во «Власти земли», расстройство материальное, расстройство семейной жизни и всякое другое пошло «от легкой жизни». Так и народ понимает дело, как видно из легенды об антихристе. Нужен труд, ужасно много труда, так чтоб «дохнуть некогда» было, по выражению Михайлы.

Как раз под этим заглавием: «Дохнуть некогда» — у Успенского есть превосходный очерк, одно из лучших его произведений по яркости фантазии, по богатству юмора, по ясности мысли, по редкой для него художественной законченности. В этом очерке усиленный труд, труд почти каторжный и во всяком случае такой, что «дохнуть некогда», представляется уже в совершенно другом освещении. Он является здесь источником не мира душевного, а напротив, вечной тревоги. Михайло,

Иван Босых и другие подходят к самому краю пропасти или ввергаются в нее «от легкой жизни», и спасение их в труде до предела, «дохнуть некогда». Судебный пристав Апельсинский, исправник Арапкин, смотритель маяка и другие, фигурирующие в очерке «Дохнуть некогда», становятся героями мучительных драм, напротив, именно потому, что заглавие очерка приходится им по шерсти; их гибель именно в *нелегкой* жизни, они уж никак не поставят знака равенства между словами: «потрудней» и «повеселей». Значит, есть труд и труд; труд благотворный для трудящегося и труд губительный; труд, прекращающий мучительную драму всяческого расстройства, и труд — источник этой драмы. Постараемся рассмотреть эти два типа драмы отдельно; постараемся, потому что Успенский сам часто их сопоставляет, не легко обойти эти авторские сопоставления.

В деревне происходят разные непорядки. Это ни для кого не тайна. Благонамеренные люди разных оттенков знают и причины этих непорядков, лежащие в экономических условиях. Знает их и Успенский, знает, конечно, лучше многих рассуждающих об этом предмете. Но его интересует главным образом не эта сторона вопроса. Magenfrage, как сказал бы немец, поднимается для него до степени Seelenfrage, или, как выражается он сам, вопрос «народного брюха» до степени вопроса «народного духа». «Земля» есть не только источник мужицкого пропитания, но и главнейший фактор, определяющий все миросозерцание крестьянина и весь его житейский обиход. «Брак, семья, народная поэзия, суд, общественные работы и т. д., и т. д.» — все стороны народной жизни проникнуты влияниями земледельческого труда. И эта-то «власть земли», как всеопределяющий фактор, устанавливает гармонию в народной жизни, гармонию, до которой нам, разрываемым на части и собственною совестью и внешними условиями своего существования, как до звезды небесной далеко. Из этого не следует, однако, чтобы все было благополучно в народной среде.

Я видел где-то такую карикатуру: лежит мужик, полураздавленный подобием земного шара («земли»), а Успенский изо всех сил толкает этот шар вперед, на мужика, с очевидною целью окончательно его расплюснуть. Карикатура имеет свои условные права, и в данном случае, может быть, она и не вышла за пределы этих

прав. Но надо все-таки понимать, что для Успенского «потрудней» значит «повеселей», по крайней мере в применении к мужику. Не раздавить мужика трудом хочет он, а напротив, предоставить ему весь простор жизни, который, дескать, наилучше обеспечивается земледельческим трудом. Некоторым из своих действующих лиц Успенский разрешает говорить на эту тему вещи с известной точки зрения абстрактно справедливые, но фактически несколько рискованные. В очерке «Овца без стада» один «молодой, необыкновенно талантливый мальчик» с азартом утверждает, что мужик есть счастливейший из людей, потому что он благодаря характеру своего труда живет полною и вполне уравновешенною жизнью. «Участь мужика-крестьянина не только не печальна, но решительно отрадна сравнительно с бесчисленными профессиями, на которые раскололся род человеческий». Мужик делает «все сам» и потому «все сам знает, решительно все... просто-таки все знает, да и шабаш!» И т. д., и т. д. Все это говорит «молодой, необыкновенно талантливый мальчик». Собеседники же находят, что это лишь талантливая «иллюстрация к мужику», что мужик тут «хорошо разрисован», хотя признают, что кое-где, изредка и отдельными чертами, эта «иллюстрация» осуществляется и в действительной жизни. В «Разговорах с приятелями» Протасов утверждает уже не так решительно, как упомянутый «мальчик»: «Уравновешенность духовной и физической деятельности, встречающаяся в нашем крестьянстве, в *счастливых случаях,* в полной чистоте и совершенстве, делает его поистине образцом того, к чему должен стремиться так называемый прогресс». А когда Успенскому, как во «Власти земли», приходится говорить лично от себя, то он выражается еще скромнее и трезвее. Он, например, пишет и подчеркивает: «В строе жизни, повинующейся законам природы, несомненно и особенно пленительна та *правда* (не *справедливость),* которою освещена в ней самая ничтожнейшая жизненная подробность». Успенский знает и от людей не скрывает, что в народной среде совершаются возмутительные по своей жестокости вещи, но они совершаются с чистою, спокойною совестью: «Все они, с точки зрения миросозерцания, воспитанного неизменными законами природы, окажутся неизбежными, а люди, совершившие их, чистыми сердцем как голуби».

Может ли глаз, оскорбленный дисгармоническими явлениями и жаждущий видеть хоть какую-нибудь гармонию, успокоиться на этой, как говорит сам Успенский, «зоологической», «лесной», «звериной» «правде»? Она ведь представляет полную уравновешенность понятий и поступков, в ней нет места «больной совести» и другим болезненным продуктам нарушенной гармонии? Отдохнуть глаз может, но успокоиться — нет. И вот почему: «Так как этот труд весь в зависимости от законов природы, то и жизнь его (мужика) гармонична и полна, но без всякого с его стороны усилия, без всякой *своей* мысли. Вынуть из этой гармонической, но подчиняющейся жизни хоть капельку, хоть песчинку, и уже образуется пустота, которую надо заменить своей человечьей волей, своим человеческим умом, а ведь это как трудно, как мучительно!» («Без своей воли»). Значит, уже тем нехорошо зоологическое, лесное равновесие, что оно неустойчиво. Оно может непоколебимо простоять сотни лет, но может и рухнуть в один день, если из него будет вынута хоть капелька, хоть песчинка. А разных случайностей, способных вынуть эту песчинку, не оберешься. Вот, например, история, рассказанная в очерке «Не случись». Просто весна ранняя встала, «никогда старики такой ранней весны не видывали». Вследствие этого и весенние работы необычно рано кончились, и пришлось перед Петровым днем две недели необычного досуга, которого решительно девать некуда. Разыгрались люди, да в игре-то и убил человек нечаянно родного отца, а потом и острог, и обнищание, и сестра от нищеты «гулять» пошла. Целая огромная драма. Есть и другие случайности, которые уже ни в какой связи с явлениями и законами природы не состоят, а между тем благодаря им «народная масса поминутно выделяет из себя массу хищников, кулаков, мироедов» («Из деревенского дневника»). Благодаря частью этим хищникам, а частью бедам стихийным, вроде сибирской язвы, погиб и Иван Босых во «Власти земли». Сунулся было Иван служить на железную дорогу; и отлично, казалось бы, вышло: тридцать пять рублей в месяц жалованья, а работы мало, да и то «легкой». Но эта-то «легкая жизнь» и вынула песчинку из гармонического мужицкого существования. Там работа тяжелая, но в ней душа участвует: человек делает дело ему близкое, надоб-

ность которого ему совершенно понятна; он живет в своем труде, а не добывает только при помощи его средства к жизни; он связан с этим трудом всем существом своим. Всей этой полноты и гармонии существования Иван Босых не мог, конечно, найти на железной дороге, где он был лишь одним из колес огромного механизма, до целей и смысла которого ему не было никакого дела. Вследствие этого и его собственная жизнь потеряла всякий смысл, он стал пьянствовать, безобразничать, и все от «легкой жизни».

Совокупность подобного рода драм от легкой жизни и приводит к легенде об антихристе и к общему тезису, что в мужицком быту облегчение существования ведет к гибели. Тезис, по-видимому, глубоко пессимистический. Но, поставленный в надлежащие рамки, он не заключает в себе решительно ничего пессимистического. Он только ставит перед нами новый вопрос: как сохранить гармонию мужицкого существования, но вместе с тем поднять зоологическую, лесную правду до степени правды человеческой и тем самым создать равновесие устойчивое? Для этого, очевидно, надо отнюдь не «капельки» и «песчинки» вынимать из лесной правды, а сразу поднять ее на высшую ступень, сохраняя ее гармонический строй. В старину это делали святые угодники. Не отрывая человека от земледельческого труда, не нарушая его многосторонних связей с землей, они, проповедуя истины христианской нравственности, старались поднять зоологическую правду на степень божеской справедливости. Ныне эта высокая обязанность лежит на интеллигенции, ибо и святые угодники были интеллигенцией своего времени. Мы должны их взять за образец для своей деятельности. Они, не нарушая коренных основ земледельческого быта, не боялись внесть в неприготовленную, по-видимому, среду лучшее, высшее, до чего додумалось и дострадалось человечество — христианскую истину. Они не думали, что людям, которые «звериным обычаем живяху», надо «пережить весь смрад развалившегося мира, прежде чем вкусить христианство» — они знали, что «звериному обычаю незачем переживать всевозможные благообразные изменения этого обычая, раз уж есть нечто лучшее, высшее всего этого звериного благообразия. Они взяли то лучшее, что только выстрадало человече-

ское сердце, взяли христианство, и притом в самом строгом, неподслащенном виде». Так и мы должны поступать. Коренные основы земледельческого быта, гармония земледельческого труда должна быть для нас неприкосновенною; но мы должны внести в нее свет разума, свет истины, лучшей, высшей, несомненнейшей, какую мы знаем или можем знать. Но беда в том, что, независимо от недостаточности нашего сходства со святыми угодниками в смысле самоотвержения и преданности идее, мы еще «роемся в каком-то старом национальном и европейском хламе, в европейских и национальных мусорных ямах».

Для пояснения этих последних слов читатель найдет во многих местах сочинений Успенского иллюстрированные размышления о европейской и русской жизни и параллели между ними. Успенский одинаково чужд и национального мистицизма и самохвальства, с одной стороны, и преклонения перед Европой — с другой. Это тоже один из пунктов, перед которым с разными вывертами недоуменно останавливаются узколобые доктринеры и кляузники. Успенский, вместе с многими благомыслящими и любящими свою родину людьми, верит, что в нашей жизни есть задатки великого исторического будущего и великого счастия. Но это только задатки, представляющие случай неустойчивого равновесия и потому требующие оплодотворения сознательной идеей. Предоставленные на волю стихийных исторических сил в качестве «национальных особенностей», они съедят сами себя и разовьются именно в те европейские порядки, которые так презренны и ненавистны мистикам национализма. Это уже и делается теперь, и чем дальше, тем быстрее. Европейские же порядки, полные всякого блеска и красоты, но и глубочайших страданий, должны быть для нас, в смысле руководящих начал, только готовым, даровым резервуаром исторического опыта. Мы имеем полную возможность черпать из этого резервуара без всякого пристрастия в какую бы то ни было сторону, то есть без нелепых восторгов перед всем европейским и без столь же нелепого презрения ко всему европейскому. Нам незачем проделывать весь скорбный и трудный опыт европейской истории, раз уж он там проделан и раз сама европейская мысль, признав ошибки прошлого, додумалась до чего-то лучшего и высшего,

чем наличные европейские порядки. Но эту выстраданную Европой мысль мы должны чтить и именно ею оплодотворить те стихийные задатки величия и счастия, какие у нас имеются. «Смотри в оба» — так можно бы было формулировать эту точку зрения, одинаково свободно относящуюся к европейским и русским порядкам. Смотри в обе стороны, ибо там и тут есть нечто ценное, и смотри в оба, ибо в огромной сложности общественной жизни легко затерять это ценное, что должно быть дороже зеницы ока...

IV

Я стараюсь следить за разбросанною по сочинениям Успенского мыслью независимо от разных случайных ее уклонений. Уклонения эти определяются свойствами впечатлений, получаемых автором. Надо помнить, что он своими боками отдувается за каждый свой идейный шаг. Непосредственные впечатления, то радостные, то мрачные, носят его по волнам житейского моря. При его склонности торопливо, тут же на месте теоретизировать эти впечатления, и именно в направлении их гармоничности или негармоничности, конечно возможны разные ошибки: он иногда радуется тому, что оказывается при ближайшем рассмотрении фикцией или иллюзией, и приходит в отчаяние от того, что вовсе уже не так страшно. Но в общем мысль его всегда удивительно верно направлена к добру и правде. Никогда не впадает он, например, в те заблуждения принципиального характера, которые свойственны многим и многим, бездарным и даровитым, крылатым и бескрылым писателям, уделяющим свое внимание народу. Еще недавно у нас много писалось о народе. До такой степени много, что стали даже раздаваться негодующие голоса, что, дескать, «от мужика в литературе проходу нет». Оценке этого негодования Успенский посвятил очерк «Наконец, нашли виноватого», очень злой и раздраженный. С его точки зрения, народу уделялось не слишком много, а напротив, слишком мало внимания. Если зарождение и распространение «новой мысли» связано с освобождением крестьян, то понятно, что эта новая мысль повелительно требует нарочитого внимания к судьбам народа. Если многомиллионная масса русского

народа несет в себе великие задатки чистой совести и духовной гармонии, то понятно, какой огромный интерес для всякого мыслящего человека лежит в этом пункте. Но, исходя из этих или подобных упований, иные спешили сделать из народа — из конкретного народа, каков он есть сию минуту во всех исторических осложнениях представляемой им идеи — какого-то идола и стукали лбом перед этим идолом. Для умов ленивых и узких это, конечно, легче, чем критически разбираться в сложных явлениях жизни. От такого идолопоклонства Успенский был гарантирован помимо всего прочего уже самою жизненностью своей работы: слишком тяжелы и болезненны были многие вынесенные им из деревни впечатления и слишком смел и правдив был он сам, чтобы сотворить себе кумира. Давая злую отповедь тем, кто жаловался, что в литературе от мужика проходу не стало, он искал и находил в народе и драгоценное зерно и негодную шелуху. Этого мало. Само по себе идолопоклонство просто глупо, но у нас оно одно время вступило в союз с элементами прямо нравственно безобразными.

Между прочим, под покровом толков о народе происходила самая гнусная, самая возмутительная травля на интеллигенцию, а вместе с нею и на просвещение вообще. Точно стая собак накинулась на этого лежачего, и были тут представители, кажется, всех возможных пород, так что странно даже было их видеть соединенными в одну стаю. Дело шло не об наличном составе нашей интеллигенции, не об уличении ее в таких-то и таких-то недостатках и слабостях, каковое уличение естественно предполагало бы призыв к иной, лучшей деятельности. Нет, предполагалось просто упразднение интеллигенции якобы для того, чтобы очистить место мужику, земледельцу. Это не мешало, конечно, господам упразднителям продолжать издавать газеты, писать статьи и книги, вообще делать то самое дело, упразднение которого оказывалось столь необходимым, и это придавало несколько комический характер позорной травле. Как раз около этого времени Успенский, при всем своем увлечении идеалами земледельческого труда, отводил, как мы видели, интеллигенции высокую миссию, такую высокую, что выше пожалуй что и не выдумаешь.

Значит, не в одном земледельческом труде спасение. Есть и еще какие-то виды деятельности, нужные, полезные, ценные и, быть может, столь же способные установить или восстановить душевное равновесие.

В одном провинциальном издании известный путешественник Потанин сообщил, что в некоторых деревнях Вятской губернии принято за правило в тех семьях, где не родилось мальчиков, а одни девочки, некоторых из этих девочек прямо посвящать с раннего детства мужскому труду, причем даже имена таким женщинам-мужчинам даются мужские: Елизавета превращается в Елисейку. Это сведение привлекло к себе внимание Успенского. «Елисейки — это удивительно красивые существа, — говорит он (в «Мечтаниях»). — Елисейка — ни мужчина, ни женщина и в то же время женщина и мужчина вместе, в одном лице — это зерно чего-то вполне совершенного». Совершенство, точнее — *зерно* совершенства, состоит в том, что в Елисейках нет или предположительно не должно быть утрированного развития «женственности» и «мужественности», какое мы видим обыкновенно вокруг себя, а специально женские и специально мужские черты гармонически сливаются в них в одно целое, уравновешивая друг друга. Принимая в соображение некоторые общие взгляды Успенского, можно бы было думать, что эта гармония мужских и женских качеств окажется исключительно принадлежностью крестьянского, земледельческого быта. Однако это не так.

В «Разговорах с приятелями» идет, между прочим, речь об одной картине. На ней изображена девушка в очень простом платье, в пледе, в мужской шапочке, с подстриженными волосами; она идет по улице, только и всего. Но, по словам рассказчика, в ней необыкновенно привлекательны «чисто женские, девичьи черты лица, проникнутые на картине, если можно так выразиться, присутствием юношеской, светлой мысли... Главное, что особенно светло ложится на душу, это то, что прибавившаяся к обыкновенному женскому типу — не знаю, как сказать — мужская черта, черта светлой мысли вообще (результат всей этой беготни с книжками и т. д.) не приклеенная, а органическая... Это-то изящнейшее, не выдуманное и притом реальнейшее слитие девичьих и юношеских черт в одном лице, в одной фигуре, осенен-

ной не женской и не мужской, а «человеческой» мыслью, сразу освещало, осмысливало и шапочку, и плед, и книжку и превращало в новый, народившийся, небывалый и светлый тип».

В очерке «Выпрямила!» читатель найдет восторженные страницы, посвященные статуе Венеры Милосской. В свое время многие были удивлены этими восторгами. И в самом деле, на первый взгляд они, казалось бы, совсем не идут к Успенскому, так аскетически холодно относящемуся к «искусству», к художественности, ко всякой красоте. Успенский, столь сердито, при случае, настаивающий на водворении мужика в литературе, обыкновеннейшего серого мужика, и вдруг — Венера Милосская! Однако Успенский остается и здесь все тем же Успенским и ни на единый волос не изменяет своему всегдашнему, задушевному. Прежде всего он замечает у Венеры Милосской «право, сказать совестно, почти мужицкие завитки волос по углам лба». В отличие от всех других Венер, тут же, в Лувре и в других местах стоящих, Венера Милосская совсем не есть олицетворение «женской прелести». Напротив, художник для создания этой «каменной загадки» «брал то, что для него было нужно, и в мужской и в женской красоте, не думая о поле, а пожалуй, и о возрасте». Венера Милосская есть «человек», идеал человека в смысле гармонического сочетания отдельных человеческих черт, разбросанных ныне как попало и куда попало. Художник хотел познакомить человека «с ощущением счастия быть *человеком,* показать всем нам и обрадовать нас видимою для всех возможностью быть прекрасными». Достойно внимания, что в памяти Тяпушкина («Выпрямила!» есть «отрывок из записок Тяпушкина») образ Венеры Милосской, виденной им за двенадцать лет перед тем, возник не сразу.

Ему предшествовали два как бы подготовительные воспоминания. Во-первых, вспомнилась ему деревенская баба, которую он когда-то видел во время сенокоса. Баба была самая обыкновенная. Но — вся она, вся ее фигура, с подобранной юбкой, голыми ногами, красным повойником на маковке, с этими граблями в руках, которыми она перебрасывала сухое сено справа налево, была так легка, изящна, так жила, а *не работала,* жила в полной гармонии с природой, с солнцем, ветерком, с

этим сеном, со всем ландшафтом, с которыми были слиты и ее тело и ее душа (как я думал), что я долго-долго смотрел на нее, думал и чувствовал только одно: «Как хорошо!»

Затем вспомнилась Тяпушкину другая фигура — фигура девушки строгого, почти монашеского типа».

«Глубокая печаль, печаль *о не своем горе,* которая была начертана на этом лице, на каждом ее малейшем движении, была так гармонически слита с ее личною, собственною ее печалью, до такой степени эти две печали, сливаясь, делали ее *одну,* не давая ни малейшей возможности проникнуть в ее душу, в ее сердце, в ее мысль, даже в сон ее чему-нибудь такому, что могло бы «не подойти», нарушить гармонию самопожертвования, которую она олицетворяла — что, при одном взгляде на нее, всякое «страдание» теряло свои пугающие стороны, делалось простым, легким, успокаивающим и вместо слов: «Как страшно!» — заставляло сказать: «Как хорошо! Как славно!»

Мне кажется, что одно это сопоставление Елисейки, девушки в пледе, Венеры Милосской, бабы на сенокосе, девушки строгого, почти монашеского типа, сопоставление, наполовину самим Успенским сделанное, свидетельствует, что его восторги перед Венерой Милосской не представляют чего-нибудь побочного или случайного. Художник огромного дарования, с огромными задатками вполне гармонического творчества, но разорванный частью внешними условиями, частью собственною впечатлительностью, страстным вмешательством в дела сегодняшнего дня, — он жадно ищет глазами чего-нибудь не разорванного, не источенного болезненными противоречиями, чего-нибудь гармонического. И вот после долгой муки искания — вздох облегчения: «Ах, славно! Ах, хорошо!» Страдания, на которые идет девушка строгого, почти монашеского типа; каторжный труд, на который осуждена Елисейка или баба на сенокосе; лишения и оскорбления, которым может подвергаться девушка в пледе, — все это ничего, все это даже хорошо и весело, потому что сюда вложена вся душа, целиком. «Ах, хорошо! Ах, славно!..» Но без страданий, без лишений и такого труда, чтоб было «дохнуть некогда», это высокое душевное равновесие возможно только в далеком будущем или в качестве слабо мерцающего

идеала, намек на который дает «каменная загадка» Венеры Милосской. Измученный художник с благодарностью склоняется к подножию «каменной загадки» с «почти мужицкими завитками волос в углах лба...» Наверное, никто, кроме Успенского, *так* не восторгался Венерой Милосской.

Но хотя у Венеры Милосской и мужицкие завитки волос, а ясно все-таки, что душевное равновесие, гармония жизни достигается не одним земледельческим трудом. Мы уже имели этому примеры в деятельности святых угодников, в роли, отводимой интеллигенции; видим теперь в девушке с пледом и в девушке строгого, почти монашеского типа. Во всех этих светлых образах есть какая-то аскетическая, если не прямо страдальческая черта, соответствующая тому труду «дохнуть некогда», который сдерживает равновесие в мужицкой жизни. Успенский с особенною любовью останавливается на тех подвигах святых угодников, которые сопряжены с лишениями, унижениями, оскорблениями; светлый образ девушки монашеского типа тоже подернут «страданием». Венера Милосская — та не страдает, но это потому, что она — не живая, а каменная, она — провозвестник и символ будущего, а в настоящем такой нет. В настоящем тернии так или иначе непременно обвивают гармонические явления. Правда, как труд мужика есть не только труд, а и веселье («потрудней — повеселей»), так и страдания девушки монашеского типа не заключают в себе ничего «пугающего», и не «страшно» глядеть на нее, а «хорошо». Но все-таки это страдание...

За последнее время Успенскому случалось, однако, иногда до такой степени воспрянуть духом, что практическое решение «каменной загадки», то есть достижение полной гармонии жизни без единой черты хотя бы и не пугающего страдания, представляется ему совсем не за горами, а где-то очень близко. Замечательно, что эти уже чисто-начисто радостные мысли вызывались в нем не его собственными непосредственными житейскими впечатлениями, а книгами. Так, с почти детскою радостью встретил он брошюру г. Энгельмейера: «Экономическое значение современной техники», обещающую экономическую гармонию как результат дальнейшего развития техники [15]. Так, с тою же радостью приветствовал он книгу г. Тимощенкова: «Борьба с зе-

мельным хищничеством». На статье его, вызванной книгой г. Тимощенкова, нам надо остановиться. В ней очень много странного, об чем я здесь говорить не буду, но много и ценного и во всяком случае очень для Успенского характерного. Характерно уже самое заглавие статьи: «Трудовая жизнь» и «труженичество»[16]. Этими двумя терминами обозначаются те два вида труда, из которых один животворит, а другой губит, один искореняет житейские драмы, другой — нарождает. В фантастическом повествовании г. Тимощенкова Успенского прельстило то, что некоторое крестьянское семейство достигло высшей степени материального благосостояния, буквально миллионных богатств, но при этом — удержалось на той же крестьянской трудовой почве и стало сеять кругом себя добро, вместо того чтобы повторить обыкновенную историю «мужика с деньгами», то есть кулака. Как удалось крестьянскому семейству невинность соблюсти и капитал приобрести, это другой вопрос, которого мы касаться не будем. Но во всяком случае на миллионных богатствах этого семейства, с точки зрения Успенского, нет печати антихриста в смысле вышеприведенной легенды: не зло, а добро проистекло из полного материального благосостояния. Понятна страстность, с которою Успенский ухватился за этот случай, раз он в него поверил... Но для нас в этой статье особенно важно отграничение «трудовой жизни» и «труженичества». Это отграничение вполне примыкает к прежним работам Успенского. Но на этот раз, когда в его уме мелькнула мысль о возможности материального благосостояния без антихристовой печати, он решительно вычеркивает из своей программы всякую аскетическую струю. Если он и прежде несколько подрывал эту струю размышлениями об том, что «потрудней — повеселей», то теперь он уже вот как решительно выражается: «В трудовой жизни важен и нужен вовсе не гнет труда, не тяжесть его, не лишения, с ним сопряженные, ни даже «смирение», которое у нас также еще непонятно зачем пристегивают к понятию о трудовой жизни, а только жизнь, исполненная разнообразнейших впечатлений, жизнь, дающая работу для всей широты требований духовной и физической природы человека. Только поэтому и важна трудовая, народная, земледельческая жизнь и основанный на ней строй народной общественной трудовой жиз-

ни, а вовсе не серые щи, не доски вместо постели, не смирение и унижение и вовсе не то только, что выражается словами: «сам своими руками». Швея, фигурирующая в «Песне о рубашке» Томаса Гуда [17], работает столько же, как и пахарь, фигурирующий в песнях Кольцова, им обоим «дохнуть некогда», но около первой сгустились облака горя, страдания, скорби, а около второго — сколько света, тепла, радости. Он живет «трудовой жизнью», она — «труженица». И этого не надо, то есть труженичества-то, не надо страданий, лишений, скорби, тяготы. Нужна, возможна и уже существует жизнь «вовсю», широкая жизнь, полная наслаждений, хотя и полная труда. Это — жизнь земледельца, «народный быт», которому противопоставляется «культурный быт», где нет настоящей трудовой жизни, а есть только «труженичество»...

А девушка в пледе? а девушка строгого, почти монашеского типа? Разве они земледелием занимаются? А между тем они не «труженицы» в неприятном смысле этого слова, потому что, глядя на них, человек говорит: «Ах, хорошо! Ах, славно!» С другой стороны, хотя земледельческий быт несомненно представляет известные гарантии для гармонического сочетания «разнообразнейших впечатлений» и полноты жизни, но разве уж так резко отличается по существу иной батрак земледелец от швеи Томаса Гуда? Кольцовская формула «слуга и хозяин», как всякому хорошо известно, не есть непременная принадлежность земледельческого быта, ибо и там возможен «пахарь-слуга», нанятый за деньги, совершенно так же как нанята швея, кормилица, ходатай по делам и т. д.

Все они живут своим трудом, но все делают чужое, лично им ненужное дело, в которое они поэтому не могут вложить душу свою, не могут связать с ним свое духовное существование в одно гармоническое целое, так, чтобы ничему «неподходящему» просто места не было. Ясно, что спасение не в земледелии, что, впрочем, сам Успенский очень хорошо знает, как видно из предыдущего изложения. Пусть мужик остается на земле, и великое преступление совершают те, кто так или иначе, прямо или косвенно, гонят его с земли. Пусть садятся на землю те «культурные» люди, которые чувствуют себя для этого призванными и способными. Пусть садятся настояще,

вполне или с тою осторожностью, с какою присел на землю граф Л. Толстой (говорю: «с осторожностью», потому что хотя граф и пашет собственноручно, но неурожай, градобитие, скотский падеж, военная повинность, подати и прочие источники разорения настоящего земледельца не подорвут благосостояния и счастия его и его семьи и не внесут в их жизнь никакой драмы). Пусть в более или менее отдаленном будущем прилив культурных людей на землю достигнет огромных размеров. Но, по крайней мере сейчас, первая стадия упорядочения, уравновешения гармонизации жизни культурных людей должна не в этом состоять.

В «Записках маленького человека» автор, приведя несколько разговоров, случайно услышанных им на пароходе, тоскливо замечает: «Все это надоело мне до такой степени, что я бог знает что бы дал в эту минуту, если бы мне пришлось увидеть что-нибудь настоящее, без подкраски и без фиглярства, какого-нибудь старинного станового, верного искреннему призванию своему бросаться и обдирать каналий, какого-нибудь подлинного шарлатана, полагающего, что с дураков следует хватать рубли за заговор от червей — словом, какое-нибудь подлинное невежество, лишь бы оно считало себя справедливым».

Как видите, это все тот же вздох по гармонии, по равновесию: пусть глазу предстанет что-нибудь гнусное и возмутительное, но пусть оно по крайней мере само себя считает справедливым, так чтобы не было разлада между мыслью и делом, между понятиями и поступками. Если бы, однако, такое равновесие гнусности действительно предстало, то Успенский, конечно, на нем не успокоился бы, во-первых потому, что это — гнусность, а во-вторых потому, что это равновесие неустойчивое: рано или поздно, но «болезнь мысли», «болезнь сердца», «болезнь совести» подточит его. По крайней мере в этом уверен Успенский. И затем должна наступить драма. В очерке «Дохнуть некогда» собрана целая коллекция драм из культурного быта, по обыкновению сложенных из комических подробностей, и я не хочу переизложением или даже только перечислением их ослабить в читателе горькое наслаждение прямого знакомства с этими страницами. Подчеркну только конец пьяной речи следователя, который то называет себя «подлецом», то утверждает, что в нем «бог есть» и что не затем он учился в университете,

чтобы делать бессмысленное и жестокое дело. «Позор, стыд, срам!» — восклицает он и в пьяном азарте требует себе «лаптей», вероятно как искупление и залог новой жизни. Если подвести итог всем глубочайшим драмам, собранным в этом очерке, то окажется, что все они коренятся в одолевающем героев сознании, что они делают ненужное, бессмысленное дело. Они, неоспоримо, живут собственным и крайне тяжелым трудом, им действительно «дохнуть некогда». Но в то время как для Михайлы и его жены (в «Перестала!») эта формула является спасительною, здесь, напротив, около нее-то и густится и кристаллизуется драма. Это натурально: там душа вложена в труд, здесь она находится где-то совсем в стороне и оттуда, со стороны-то, праздная, шлет язвительные укоры за свою праздность. Если бы это были люди не трудом живущие, а какими-нибудь доходами с капитала или рентой, они могли бы, может быть, просто купить пропитание для души в виде разного рода развлечений. Но наши герои — «труженики», им «дохнуть некогда», они всю свою жизнь не живут, а только добывают средства к жизни. Это — те же швеи Томаса Гуда, которым сказано: шей, шей, шей! Спрашивается, как быть этим подлинно несчастным людям, в драматическом положении которых возможны и комические и прямо непривлекательные черты, но несчастие которых подлинно и несомненно? Предложить им всем сейчас же обуться в лапти и пахать было бы и празднословием и издевательством. Читать им наставления о священных обязанностях, о труде и т. п. — по малой мере бесполезно. Справедливо говорит Успенский, что «в этом труженическом кругу, в его мучениях, в его лишениях, муках, болезнях, психических страданиях, преступлениях и заключается современная драма жизни, которую не разрешить нравоучениями». Они бьются как рыба об лед, они не виноваты. А из этой их невинности следуют два весьма важные заключения. Во-первых, не к ним с укором или наставлением надо обращаться, а к строю жизни, который пристегивает людей к ненавистному, ненужному, чужому им делу и не дает пропитания их душе, разбуженной «новой мыслью». А во-вторых, странно, что эти несчастные «труженики» так упорно заболевают все-таки почти исключительно совестью и почти никогда — честью, в смысле той противоположности между работой совести и чести, об ко-

торой говорено выше. Все они перед кем-то виноваты, а перед ними будто бы и никто не виноват. Но перед кем же виновата швея Томаса Гуда?

Иван Босых во «Власти земли» рассказывает, как он на железной дороге «от легкой жизни» дошел до «своевольства» и всякой другой пакости. Наконец, дошло дело до начальства, «да как приехал начальник дистанции, да ка-а-к дал мне (лицо рассказчика вдруг просияло) хо-о-орошего леща, да как начальник эксплуатации надавал мне (детская радость разлилась по лицу его) в загривок, да как в подвижном составе наколотили мне бока — так я, братец ты мой, совершил крестное знамение да точно как из могилы выскочил, воскрес, да по морозу, в чем был, без шапки — домой!» Иван Босых чувствует себя виноватым, его грызет совесть, а больная совесть так или иначе всегда с радостью встречает унижения и оскорбления и в случае отсутствия таковых сама налагает разные эпитимии.

Мы уже видели этому примеры на некоторых героях Успенского. Но ведь случаются и непрошенные, незаслуженные оскорбления, унижения, лишения. Их слишком много на Руси, и, может быть, было бы справедливо взглянуть на драматическое положение Апельсинского и иных именно с этой стороны. Успенский этого не сделал. Может быть, он и взялся бы за эту работу, если бы ему показалось, что «больная честь» достаточно распространилась, чтобы производить такие же глубокие и многосложные эффекты, какие, по его мнению, производит «больная совесть». Эта новая для него задача вполне подходила бы к его общим стремлениям и к обычным его художественным приемам. Возмущенная честь жаждет гармонии, равновесия, как и заболевшая совесть, и, как и она, допускает свойственные Успенскому блестящие комбинации трагического и комического.

V

Все только что прочитанное вами, читатель, было написано в 1888 году и напечатано в виде вступительной статьи к Павленковскому изданию сочинений Успенского. При пересмотре этой статьи для настоящего издания мне пришлось только кое-где изменить настоящее время в прошедшее и сделать соответствующие выкидки. По

существу мне нечего ни изменять ни прибавлять в этой характеристике Успенского как писателя, сделанной пятнадцать лет тому назад: с 1888 года его литературная деятельность пошла уже на ущерб и не дала ничего нового, что могло бы изменить мои взгляды, а в 1891 году он заболел психически и более ничего не писал. В марте 1902 года он умер, и смерть эта не только позволяет, а и обязывает докончить характеристику писателя характеристикой человека, тем более что и человек это был не только не заурядный, а совершенно исключительный. Мне придется, однако, вероятно, не раз возвращаться и к его литературной деятельности, так как писатель и человек в нем неразделимы. В составленной им для Ф. Ф. Павленкова, думавшего издать его биографию, автобиографической записке Успенский сам писал: «Вся моя личная биография, примерно до 1871 года, решительно должна быть оставлена без всякого внимания; вся она была сплошным затруднением «жить и думать» и поглощала множество сил и времени на ее окончательное забвение. Все же, что накоплено мною «собственными средствами» в опустошенную забвением прошлого совесть, все это пересказано в моих книгах, пересказано поспешно, как пришлось, но пересказано все, чем я жил лично. *Таким образом, вся моя новая биография, после забвения старой, пересказана почти изо дня в день в моих книгах. Больше у меня ничего в жизни личной не было и нет»* [18].

Это и верно и неверно. Верно, что в «новой биографии» Успенского его личная жизнь почти совсем покрывалась литературной деятельностью; но его «старая биография», «примерно до 1871 года», отнюдь не подлежит забвению, тем более что и она отразилась в его книгах, да и сам он, при всем желании, забыть ее не мог и, как увидим, уже больной, извлек из нее материалы для своей характеристики, которые выразил, по обыкновению, в яркой, образной форме.

К сожалению, чисто фактические данные и «старой» и «новой» биографии Успенского частью не подлежат в настоящую минуту, по разным причинам, опубликованию, а частью очень скудны и смутны. Смутность начинается с момента рождения Глеба Ивановича. В упомянутой автобиографической записке он пишет, что родился 14 ноября 1840 года, так значится и в известной работе А. М. Скабичевского по истории новейшей русской литера-

туры. Но в июньской книжке «Русского богатства» 1894 года была напечатана статья близкого родственника и товарища детства Успенского, озаглавленная: «Глеб Иванович Успенский» и подписанная псевдонимом «Дм. Васин»[19]. В ней находим следующую поправку: «Г. И. Успенский родился в г. Туле 13 октября 1843 года (а не 14 ноября 1840 года, как сказано в «Истории новейшей литературы» А. М. Скабичевского)». Эту статью своего родственника Успенский читал уже находясь в Колмовской, близ Новгорода, больнице для душевнобольных, которой заведовал тогда Б. Н. Синани. Д-р Синани, знавший Успенского еще до болезни и относившийся к нему с необыкновенною теплотою, вел за время его болезни дневник, который любезно предоставил в мое пользование[20]. В этом высокоинтересном документе, на который мне не раз придется ссылаться, под 5 июля 1894 года читаем: «Относительно дня его рождения, которое, по словам его двоюродного брата, автора заметки, неверно показано у Скабичевского, Гл. Ив. дал следующее объяснение. Родился он действительно не 14 ноября, а 13 октября. Скабичевский введен в ошибку тем, что Гл. Ив. празднует день своего рождения 14 ноября. Стал он это делать ввиду того, что 15 ноября день рождения Михайловского. Он выбрал для себя 14 ноября, чтобы праздновать его вместе с Михайловским, чтобы празднество шло два дня подряд, как бы без перерыва, слитно. Год рождения 1840, а не 1843»[21].

Историю с переносом самим Успенским *дня* его рождения могу подтвердить и я, но относительно *года* прав, кажется, автор заметки, напечатанной в «Русском богатстве»: Глеб Иванович вопреки его собственному показанию в автобиографической записке и в разговоре с Б. Н. Синани родился, кажется, в 1843, а не в 1840 году. Это, впрочем, подробность, не имевшая в глазах Успенского никакого значения, как это видно и из автобиографической записки и из самого факта свободного распоряжения днем рождения. Да это и вообще не важно для биографии, столь бедной внешними событиями и столь богатой внутренним содержанием. Если я, однако, и не собираюсь писать биографию Успенского, то некоторые биографические данные, как убедится читатель ниже, нам установить нужно.

В автобиографической записке Успенский разделяет свою жизнь на несколько периодов, границы которых мож-

но, однако, наметить только приблизительно. Первый период обнимает детство и гимназические годы, до поступления в Московский и потом в Петербургский университеты, примерно до 20-летнего возраста. Период этот рисуется в записке очень неопределенными, но очень мрачными красками. «Вся моя личная жизнь, — пишет Успенский, — вся обстановка моей личной жизни лет до 20 обрекала меня на полное затмение ума, полную гибель, глубочайшую дикость понятий, неразвитость и вообще отделяла от жизни белого света на неизмеримое расстояние. Я помню, что я плакал беспрестанно, но не знал, отчего это происходит. Не помню, чтобы до 20 лет сердце у меня было когда-нибудь на месте». Что-то самому мальчику неясное, только впоследствии уяснившееся, но глубоко оскорбительное и удручающее было в этом периоде его жизни, и его-то он и старался всю жизнь забыть. Только «опустошив от личной биографии душу», мог он начать жить, как он выражается, «собственными средствами», то есть думать и чувствовать на свой страх, независимо от каких-то тяжелых впечатлений детства и ранней юности. Однако, чтобы «опустошить душу» от этих впечатлений, чтобы «истребить в себе все внедренные ими качества», надо было прежде всего на них сосредоточиться, уяснить их себе и затем, как это всегда и впоследствии было у Успенского, немедленно объективировать их в литературной работе. На это ушел второй период, с 1862 по 1868 год. Невесело было и это время. Молодой Успенский, занятый выработкой «собственных средств» или «созиданием собственной своей новой духовной жизни», был совершенно одинок в этом деле. Он свел кое-какие литературные знакомства, но помощи, нравственной поддержки в них не нашел. «Несомненно, — пишет он, — народ это был душевный, добрый и глубокоталантливый; но питейная драма, питейная болезнь, похмелье и вообще расслабленное состояние, известное под названием «после вчерашнего», занимало в их жизни слишком большое место». Притом же, «в годы 1863—1868 все в журнальном мире падало, разрушалось и валилось». В 1868 году основались обновленные «Отечественные записки» [22], но «первые годы в них тоже было мало уюта». В 1871 году Успенский уехал за границу [23], потом поселился в деревне.

На этом моменте оканчивается автобиографическая

записка (мне неизвестно в точности, когда она писана [24]), и в заключении ее читаем: «Подлинная правда жизни повлекла меня к *источнику*, то есть к мужику. По несчастью, я попал в такие места, где *источника* видно не было... Дечьги привозили в эти места, и я видел только, до чего может дойти бездушный мужик при деньгах. Я здесь в течение $1^1/_2$ года не знал ни днем, ни ночью покоя. Тогда меня ругали за то, что я не люблю народ. Я писал о том, какая он свинья, потому что он действительно творил преподлейшие вещи. Но мне нужно было знать *источник* всей этой хитроумной механики народной жизни, о которой я не мог доискаться никакого простого слова и нигде. И вот я из шумной, полупьяной и развратной деревни забрался в леса Новгородской губернии, в усадьбу, где жила только одна крестьянская семья. На моих глазах дикое место стало оживать под сохой пахаря, и вот я тогда в первый раз в жизни увидел действительно *одну подлинную важную черту в основах жизни русского народа* — именно власть земли».

Чтобы понять ту «подлинную правду жизни», о которой здесь говорит Успенский, надо привести еще несколько слов из автобиографической записки. Говоря о том тяжелом и ненавистном прошлом, которое он старался изгнать из своей памяти, он, между прочим, пишет: «Нужно было еще перетерпеть все то разорение невольной неправды, среди которой пришлось жить мне годы детские и юношеские, надо было потратить годы на эти непрестанные похороны людей, среди которых я вырос, которые исчезли со света безропотно, как погибающие среди моря, зная, что никто не может им помочь и спасти, что «не те времена». Самая безропотность погибавших людей, явное сознание, что все, что в них есть и чем они жили, — неправда, и ложь, и беспомощность их, уже одно это прямо убеждало людей моего возраста и обстановки жизни, что из *прошлого* нельзя, и не надо, и невозможно оставить в себе даже самомалейшего воспоминания». И далее: «в опустошенную от личной биографии душу я пускал только то, что во всех смыслах противоречило неправде».

Для людей, хорошо знакомых с сочинениями Успенского, все это не так уж туманно, как может показаться на первый взгляд. Некоторые биографические черты окончательно рассеивают этот туман.

Отец Успенского был из духовного звания (сын Ильского дьякона), но, окончив семинарию, поступил на государственную службу. Старший его брат, Никанор, учился в Московской духовной академии и по окончании курса постригся в монахи. Другой брат, Григорий, также учился в духовной академии и был преподавателем греческого языка в Тульской семинарии; он жестоко пьянствовал и рано умер. Третий брат, Василий, был сельским священником, и о нем ничего более не сообщает г. Дм. Васин, у которого я заимствую эти сведения; но сын Василия, известный талантливый беллетрист, Н. В. Успенский, сильно пил и кончил самоубийством. О четвертом дяде Глеба Ивановича с отцовской стороны скажем особо. Мать Успенского была дочерью управляющего тульскою палатою государственных имуществ Глеба Фомича Соколова. У него были некоторые художественные наклонности (любил музыку, играл на скрипке), заглушенные чиновничьей службой, но переданные по наследству сыновьям: старший, Владимир, был живописец, второй, Макарий, музыкант и композитор, третий, Дмитрий, тоже музыкант и писатель.

Приведя эти данные, к некоторым подробностям которых мы еще возвратимся, г. Дм. Васин замечает: «С раннего детства Глеб Иванович был окружен любовью и нежными заботами родителей. Несмотря на суровые приемы того времени в деле воспитания, он не терпел никаких наказаний как дома, так равно впоследствии в гимназии (тульской), где он учился первое время. Благодаря своим способностям, а отчасти прилежанию, он был первым учеником, и имя его всегда красовалось на так называемой золотой доске». А что касается его «генеалогии», то из нее видно, что «со стороны отца Гл. И — ча являются люди науки, и, напротив, родные матери были поклонниками искусства. Эти — наука и искусство — послужили как бы элементами для воссоздания такого писателя, который на самом деле представляет из себя и художника и глубокого мыслителя».

Можно сомневаться, чтобы семинарское образование, духовная академия, преподавание греческого языка в семинарии составляли элемент науки в точном смысле этого слова. Но перед читателем, при сопоставлении автобиографической записки Успенского с заметкой г. Дм. Васина, естественно должен возникнуть другой, гораздо

более важный вопрос: почему же Успенский с таким ужасом оглядывался на свое прошлое? почему он так старался вычеркнуть из памяти свои детские годы, где все было любовь, нежные заботы, наука, искусство? Материалы для ответа на этот вопрос даются отчасти и г. Васиным, но мы сперва послушаем мнение самого Глеба Ивановича о его «генеалогии».

22 сентября 1892 года, на другой же день после поступления Успенского в Колмовскую больницу, в дневнике д-ра Синани записано:

«Утром, сейчас после завтрака, он самым простым и толковым образом, по собственной инициативе, сообщил мне о своем происхождении. Отец его из духовного звания, мать из рода Соколовых. Семья отца обилует сумасшедшими. Один брат был архимандритом и умер сумасшедшим. Другой брат отца кончил самоубийством. Вообще с отцовской стороны много ненормальностей (и, по-видимому, больному несимпатичных). Со стороны матери все народ даровитый: один был живописцем, другой музыкантом, многие писателями и сотрудничали в «Современнике». По-видимому, симпатии его лежат всецело на стороне материнской линии.

Теперь я перейду к разговору вечернему. Изложить его слова в том порядке и в том бессвязном виде, как он проговорил, я не могу. Я позволю себе систематизировать их. Нужно еще отметить то обстоятельство, что его нужно считать личностью совершенно отличною от людей нашего типа, привыкших думать мыслями. Он производит впечатление такого человека, который только и может мыслить (если можно так выразиться) образами. Эта особенность развита у него в такой степени, что для нас она может казаться почти непонятною и в нормальном его состоянии. Итак, его язык образов я должен буду излагать языком понятий.

С самого его заболевания и до сих пор в его сознании идет борьба между двумя началами: началом справедливости и началом, неясно выражаемым, но противоположным первому. Ему кажется, что его *я* раздвоенное, состоящее из двух личностей, борющихся друг с другом. Первая личность есть *Глеб* (Успенский), вторая личность есть Глеб *Иванович* Успенский, и даже проще и выразительнее *Иванович* (NB. Отец матери назывался Глебом, Иванович от Ивана, значит отца его). Как ни борется

Глеб, но ему очень трудно не только уничтожить, убить Ивановича, но даже устоять против власти его. Со времени его болезни борьба между ними идет ожесточенная. Случалось, что Глеб как будто отвоевывал свое существование, приобретал свою половину, но это оставалось недолго. Иванович снова вторгался в его область, пренебрегая всякими уговорами, всякими условными компромиссами, часто разрушал их и заполонял Глеба. При полном его торжестве больной не только казался себе, но и в действительности являлся в самых несимпатичных, безобразных, отвратительных видах, до буквального образа свиньи, включительно с ее и черепом, и мордою, и хребтом, и ребрами, и даже перестановкой верхних конечностей снаружи внутрь. Так как превращение в свинью является наиболее крайнею формой выражения победы Ивановича, то я об этом и буду говорить главным образом. По-видимому, всякий раз как настроение его ухудшалось и соответственно с этим в сознании его начинали преобладать представления мрачного характера, в его самосознании и самоопределении все более и более преобладала личность Ивановича. Однажды ночью он, наконец, отрекся от самого себя, от Глеба, в пользу Ивановича. Как только он подписал это отречение «от самого себя в свою же пользу», с ним началось превращение в отрицательном направлении. Утром следующего дня он ощущал, как хребет его и ребра стали твердые, крепкие, окостеневшие (оскотинился?) и т. д. Как он ни боролся, но руки его так и тянулись к тому, чтобы срастись с грудью и направиться вперед. Он употреблял неимоверные усилия вернуть их в нормальное положение, хоть сколько-нибудь перетянуть их назад, но когда это ему не удавалось, то тогда-то, по-видимому, и совершал свои насилия над самим собою: старался разбить себе голову, перерезывал себя пополам вдоль всего тела, перерезывал себе горло, огнем жег себя, чувствовал, как он горит. Иногда ему казалось, что он в большей или меньшей степени достигает цели, что если не внутри, то хотя снаружи слезает с него его отрицательное *я*. Бывали случаи, когда сквозь мрак заполняющей и заполнившей его отрицательной его личности пробивался светлый луч в образе то действительных лиц, как Короленко, Вольфсон *, то фантастических образов, как ангел, как мона-

* Женщина-врач, очень уважаемая Успенским.

хиня Маргарита. Бывало, они отстоят Глеба, но потом опять все это рухнет, и Иванович вступает в полное владение. Торжество Ивановича не ограничивалось одним отрицательным превращением его личности в смысле его самооценки, самопонимания, самоопределения. Он совершал чудовищные преступления. Он, например, убил своих детей, свою семью, перетравил их всех до единого стрихнином. Больной прибавляет, что потом каждый раз удивлялся, каким образом он все еще оказывается в живых. При этом припоминает случай, как он у Фрея, при мне (кажется, 1 июля), отнесся к своему сыну, явившемуся к нему на свидание для опровержения его бреда о том, что вся его семья отравлена стрихнином. Он помнит, как он встретил его угрюмо и с неудовольствием по поводу того, что он жив. Вообще замечательно, что в памяти его сохранились все, даже малейшие впечатления из внешнего мира, дошедшие тогда до его сознания. Мало этого, он довольно хорошо помнит свое поведение и даже слова во время самых острых периодов своей болезни. Не совсем ясно припоминает он только детали бредов, отличавшихся крайнею сложностью и быстрою сменою представлений, хотя в то время представления эти отличались такой яркою образностью, что при его рассказе они кажутся похожими на сложные галлюцинации, то есть образы эти им объективировались во вне его. По-видимому, каждое представление у него имеет склонность сопровождаться галлюцинациями (или псевдогаллюцинациями) тех органов чувств, которые играют роль в образовании этих представлений. Этим должно, я думаю, объяснить одновременное существование в его бредах галлюцинаций и зрения, и слуха, и чувствительности, и общего чувства. Он воочию видит какую-нибудь личность, слышит ее слова и в то же время получает и ощущения осязательные и мышечные, как например, в следующем случае: стоит перед ним кто-то (кажется, монахиня Маргарита), приказывает ему вытянуть руки ладонями вверх и дать их оплевать. Больной и видит и чувствует, как ладони его сплошь покрыты толстым слоем плевков. Ему приказывают поднести руки к лицу и обмазать его этой гадостью. Он это исполняет. Подобными путями ему случалось на время воскресить в себе Глеба или совесть, но ненадолго. Вскоре опять вступал в свои права Иванович».

Позже, когда бред Глеба Ивановича принял мистический характер, у д-ра Синани находим такую запись:

«Бред его относительно людей, если его осмыслить, можно изложить следующим образом. Когда говорят: Глеб Иванович Успенский, Александра Васильевна Успенская, Александр Глебович Успенский и т. п., то эти лица являются самыми ординарными субъектами, лицами, ничего не знающими, ничего почти не стоящими, обладающими всевозможными несовершенствами. Назвавши их обычными их именами, отчествами и фамилиями, их лишают всяких высших духовных качеств. Если же их называют только их именами, то они освобождаются от всяких качеств, присущих отдельным индивидуумам, свойственным обыкновенным человеческим существам; тогда они являются носителями высоких духовных качеств, характеризующих тех святых, которые носят эти имена, и не только одного какого-нибудь святого, но и всех вообще великих людей под теми же именами».

О мистическом бреде Успенского у нас еще будет речь. Теперь для нас важно подчеркнуть его отделение личного имени от отчества и его отрицательное отношение к последнему, доходящее до упорной борьбы между светлым Глебом и представителем мрака и зла — Ивановичем. Читатель видит, что весь ужас «генеалогии» или первых глав биографии Успенского, от которого до 20 лет у него «сердце было не на месте» и который он старался с корнем вырвать из своей памяти, всплыл-таки в нем в мучительных формах бреда. Но я думаю, что и раньше он был мучеником той «больной совести», которую он изобразил в своих писаниях такими яркими чертами и которая в бреду приняла форму мучительной борьбы Глеба с Ивановичем, лично ему принадлежащего, «собственными средствами» выработанного духовного начала с полученным по наследству.

Как ни фантастична мысль Успенского, но в ее фантастической оболочке заключено зерно истины. Без сомнения, влияние среды и наследственности огромно и непременно должно быть принято во внимание во всякой критико-биографической работе. Но прием, обращающий писателя, как и вообще человека, в какую-то бесплотную математическую точку — центр перекрещивающихся влияний наследственности и среды, выкуривает из него весь личный аромат, все, чем он отличается от других людей,

находящихся под тем же влиянием, и что он часто сознательно противопоставляет этим влияниям. Можно, пожалуй, возразить, что условия наследственности и среды лишь в очень редких, даже исключительных случаях могут быть для разных людей более или менее одинаковы. Уже одна разница в возрасте родителей старших и младших детей создает различные условия зачатия и утробной жизни, а следовательно, и различную наследственность. Условия среды точно так же меняются, и иногда очень резко: родители богатеют или беднеют, переходят из одного общественного слоя в другой и т. д., в зависимости от чего изменяются и условия воспитания детей. Но мы никогда не будем в состоянии проникнуть в эти таинственные узлы сложных комбинаций и свести к ним индивидуальные особенности данного лица. Как бы ни углублялся наш анализ влияний наследственности и среды, всегда останется нечто такое, что мы должны признать личной красотой или безобразием, личной заслугой или грехом человека. И ввиду освещения, данного самим Успенским своей «генеалогии», надо признать, что по наследству он получил вместе с художественным талантом зачатки психической неуравновешенности и «свиного элемента», как выражается дьякон в рассказе «Неизлечимый», что и суммируется отчеством «Иванович»; лично же ему, Глебу, принадлежит упорная борьба с этим свиным элементом и страстная жажда душевного равновесия, гармонии как в себе самом, так и в окружающей жизни. В этих страстных поисках равновесия и в этой борьбе — будем говорить с «Ивановичем» — состоит, если можно так выразиться, основной фон всей биографии Успенского, начиная с детского или раннего юношеского возраста, когда он «беспрестанно плакал, не зная, отчего это происходит», продолжая всею его литературною деятельностью и кончая тяжелым временем помраченного сознания. Психическая болезнь не прекратила ни этих поисков, ни этой борьбы; она только, как увидим, нарисовала новые и страшные узоры на этом фоне, а исчез он только вместе с жизнью Успенского. Здесь лежит центральная точка и жизни и писаний, и, уяснив ее себе, нельзя не любоваться удивительною цельностью этой, по-видимому, столь беспорядочной натуры.

Но в чем же ближайшим образом состоят те удручающие и оскорбительные впечатления детства и юности,

которые зажгли в Успенском такую ненависть к «Ивановичу»? Уже из непосредственных показаний г. Васина видно, что не все только любовь да заботы, наука да искусство были около впечатлительного мальчика. Но этого мало. Когда Успенский принялся «истреблять в себе все внедренные прошлым качества», он должен был, как уже сказано, сосредоточить на этом прошлом свое внимание и по свойству своей натуры тотчас объективировать его в своих писаниях. И г. Васин сообщает, что многое в разных произведениях Успенского представляет собою именно такое объективирование впечатлений раннего детства.

В очерке «На старом пепелище» есть, между прочим, такое воспоминание: «Морозное утро; я еду в гимназию, еду веселый, довольный: я знаю, что мне не поставят единицы, не оставят без обеда, не тронут пальцем... Там (то есть дома) родные уже позаботились, чтобы ничего этого не было... Даже так позаботились, что учителя явно несправедливо становят мне отличные отметки». Г. Васин говорит, что это личное воспоминание Успенского, но прибавляет, что оно верно «разве только отчасти»: хорошие отметки получал Успенский просто потому, что хорошо учился. «Подачки же гимназическому начальству, — продолжал он, — давались единственно для того, чтобы к ученику относились справедливо, чего могло и не быть». Далее оказывается, однако, что подачки — пивом, чаем, сахаром, яблоками, деньгами — имели целью не только торжество справедливости, они и от розги спасали: «За единицы обыкновенно пороли по субботам розгами, но нам, давальщикам приношений, ставили вместо единицы два с минусом и оставляли без обеда, до 6 часов». Маленькому Глебу было, вероятно, просто приятно обходиться без неприятностей, постигавших некоторых его товарищей, и он пользовался созданным родительскими заботами и любовью привилегированным положением «без борьбы, без думы роковой»; и только впоследствии, придя в возраст и оглядываясь на свое прошлое, он и эту черту засчитал этому прошлому в пассиве. Но и тогда было что-то, что заставляло его беспрестанно плакать, как он говорит не только в довольно бессвязной автобиографической записке, а и в превосходной лирической страничке по адресу родных мест в том же очерке «На старом пепелище»:

«Отчего это не сказали вы мне ни одного слова о том, что

мне надо идти стоять за вас горой, что мне надо иметь руки железные, сердце лютое и око недреманное? Отчего вы, бедняги мои, старались всегда «укачать» меня, заговорить меня веселыми словами, когда я плакал от бессознательной тоски; говорили мне: «не думай!», вместо того чтобы разбудить, сказать: думай, брат, за нас, потому наших сил нету больше!.. Убаюканный вами, я спокойно спал и не знал, что в темные осенние и зимние ночи, когда на дворе хлещет дождь или воет вьюга, вы поедом ели, ни в чем не повинные, друг друга, и проклинали свою адскую жизнь. Зачем ничего же этого вы мне не сказали?» и т. д.

За любовь и заботы Успенский платил любовью и жалостью, но уже в очень раннем возрасте чуял и над этой любовью и заботой и вообще вокруг себя какую-то «неправду», которая лежала во всем порядке вещей, составляла их общую основу, прорываясь иногда наружу и для ребенка, если не понятными, то во всяком случае тяжелыми эпизодами. Вот, например, Семен Иванович Толоконников в «Нравах Растеряевой улицы» (он же Богоборцев в «Делах и знакомствах»). По словам г. Васина, в этом образе «прекрасно обрисован» младший из дядей Успенского с отцовской стороны, Семен. Любопытно, что Успенский старательно отмечает, что Толоконников «каким-то чудом избежал пьянства», что его в этом отношении «спасала любовь к курам, к бойцовым петухам, кулачным боям». Очевидно, эта черта в его среде более или менее редкая, но зато Толоконников такой грубый самодур, способен так издеваться над всеми, кто попадет в зависимость от него, и с такою виртуозностью это проделывает, что сколько-нибудь чуткий юноша должен был больно уколоться о совокупность этих впечатлений. Или вот еще некоторые эпизоды из жизни Птицыных в «Наблюдениях Михаила Ивановича» и Калашниковых в очерке «На старом пепелище», именно некоторые только эпизоды, ибо, как говорит г. Васин, сюда введено многое, не имеющее ничего общего с подлинными семейными воспоминаниями автора. К таковым принадлежат, по-видимому, в «Наблюдениях Михаила Ивановича» смерть Вани — смерть дяди Успенского, Михаила Глебовича, а в «Старом пепелище» портрет главы семейства, деда Соколова. Судя по этому портрету, верность которого в общих чертах подтверждает и г. Васин, Соколов был че-

стнейший и преданнейший своей службе чиновник, в этом отношении редкий для своего времени тип. Но вместе с тем это был деспот, под железной волей которого должно было гнуться все окружающее. Выше всего на свете ставя интересы «казны» и затем свою волю, как верного их служителя, он презирал и топтал всякое проявление личности в своей жене, в детях, во всех, кого достигала его властная рука.

«У ребенка проявляется стремление к живописи, к музыке — чепуха и вздор, который нужно вырвать теперь же с корнем: ребенок этот должен вырасти чиновником, таким же беспримерным и безответным, как и отец, — в этом высшая цель жизни, в этом вся заслуга человека перед богом и перед родиной... Дочь хочет выйти замуж за человека, который ей понравился, но этот человек не служит, — и браку этому не бывать! ее сам отец выдаст за того, кого он полюбит за исполнительность и за какие-нибудь другие, тоже выгодные для казенного интереса качества... И так было во всем». «Личность была до того подавлена в этой семье, что в поколении внуков * заметна была даже боязнь чего-либо мало-мальски самостоятельного. Заметно было даже как бы предпочтение ко всему «ненастоящему перед подлинным и правдивым».

Все «подлинное и правдивое» угасало в этой с течением времени непомерно разросшейся семье двумя путями. С одной стороны, в молодых поколениях насильственно глушились их личные наклонности и способности; они обречены были или на непосильную борьбу (жертвой такой непосильной борьбы и был талантливый дядя Успенского, Михаил, — он же скрипач и композитор Ваня), или на укрывательство, лицемерие. С другой стороны, в родню к лично безупречному служаке, главе семейства, пристраивались и вообще около него ютились люди далеко не первого сорта; для этого им нужно было только искусно носить маску блюстителя «казенного интереса». В конце концов под крылом честного чиновника, кроме разбитых жизней, образовалась стая казнокрадов и взяточников. «Бедный старик, глава семьи, только под конец жизни увидел (и умер от этого), что, кроме зла, он не делал ничего».

* А Глеб Иванович был одним из этих внуков.

«Поколение, которое росло в этой среде, должно было дышать ложью, привыкать лгать на каждом своем движении, помышлении, взгляде, считать уменье поступать не по правде, не по-настоящему за уменье жить, то есть именно за правду, за настоящую задачу жизни». «Нажива, материальное благополучие, в буквальном смысле этого слова, только одно и было действительно настоящее, непритворное жизненное побуждение в этой массе лжи, и поколение внуков непременно должно было по инстинкту угадать эту настоящую черту, всосать ее с молоком матери. Жажда грубых животных наслаждений поэтому ключом кипела в глубине этих притворно-благочестивых семей. Скотские (не соврем, употребив это выражение) побуждения пробуждались в детях рано и в сильнейшей степени. Но под давлением двойного деспотизма — зависимости от власти главы дома и зависимости от необходимости постоянно лицемерить — эти грубые, дикие животные побуждения глубоко таились на дне даже самых юных детских душ этой громадной семьи, разъедая эту душу жаждой, жаждой грубого наслаждения — душу, в которой не было уже почти возможности жаждать правды, любви к ближнему, так как все это было уже запугано в матерях и попрано примером отцов, женившихся из расчета».

Мы уже видели, что произошло от столкновения этой действительности с идеалами, засветившимися в момент освобождения, как благодаря этому столкновению «раздались на Руси проклятия и благословения», как зародилась «болезнь совести». Очевидно, Глеб Иванович и сам был захвачен этой драмой, пережил ее на самом себе, мало того — переживал ее всю свою жизнь, почти буквально до могилы. Будучи одним из «внуков», он мучительно искал в себе наследственной «неправды», того, что он называл впоследствии «расколотостью между гуманством мыслей и дармоедством поступков» и что еще позже обрекло «Глеба» на борьбу с «Ивановичем».

VI

Старые устои разваливались и развалились; гармония «свиного элемента» дала множество трещин, и совесть настойчиво заговорила о неправой жизни, и этот настой-

чивый голос больно отзывался в душах. Не все и не сразу находили путь жизни, сколько-нибудь удовлетворяющий требованиям разбуженной совести, не все даже ясно понимали, что творится в их головах и сердцах! В числе их были пьянствующие таланты, о которых говорит Успенский в автобиографической записке и с которыми судьба свела его во второй период его жизни — 1862—1868 годах. С верхами литературы и общественной жизни, где процесс обновления происходит сознательно, он был в то время мало знаком. Из этих талантливых, но беспутных и пьяных людей он поминает в автобиографической записке только Павла Якушкина, как бы для образца. Поминает он его добродушно, шутливо и, самое большее, брюзгливо. Так же поминает он, бывало, в разговорах Левитова и других. Иное дело его двоюродный брат, Николай Успенский. Глеб Иванович иной раз прямо с дрожью говорил мне о своей былой близости с этим утопленным в водке талантом. И когда этот действительно крупный и в начале своей деятельности много обещавший, но нравственно заживо погибший талант покончил в 1889 году самоубийством, Глеб Иванович писал мне: «Сегодня я положительно не мог сомкнуть глаз всю ночь под влиянием самых мрачных воспоминаний о Николае Успенском. Сейчас (10 часов) меня одолевает сон, и если я засну и просплю панихиду, — вы на меня не сердитесь. Писать я ничего о нем не буду. Это значило бы вспомнить всю подлость прошлого, которое я всячески боялся вспоминать. Зачем это теперь возобновлять? Я и так едва жив».

Николай Успенский был вдвойне неприятен Глебу Ивановичу — и по воспоминаниям о детских годах, и по воспоминаниям о том времени, когда он был одинок и беспомощен среди пьянствующих талантов. И здесь я должен коснуться одного неприятного и щекотливого пункта.

Тотчас после смерти Успенского в одной газете был рассказан такой анекдот. Крамской написал портрет Успенского. Выставку, на которой появился этот портрет, посетил и Глеб Иванович. Здесь к нему подошел какой-то водочный заводчик С. и, отрекомендовавшись большим почитателем его произведений, заявил, что он только что купил его портрет. Когда Успенский узнал, с кем он имеет дело, он спросил заводчика-мецената, где он в свою

очередь может купить его портрет, хотя бы фотографический. Тот удивился: «Что это вам вздумалось?» — «Да я тоже большой почитатель ваших произведений»,— отвечал Успенский. Соль этого анекдота заключается в намеке на злоупотребление покойного писателя спиртными напитками. Но сочинитель анекдота, очевидно, не имеет понятия о духовном облике Успенского, если предполагает возможным для него такое пошлое остроумие, да еще в беседе с незнакомым человеком. Притом же обстановка анекдота сплошной вздор: единственный портрет Успенского, бывший на выставке, писан не Крамским, а Ярошенко, и не водочный заводчик С. купил его, а известная харьковская деятельница по народному образованию X. Д. Алчевская.

Таким образом, анекдот этот есть просто выдумка. Но мне не раз случалось слышать мнение; что Успенский сильно пил и что психическая болезнь его была результатом злоупотребления алкоголем. Я никогда не мог с этим согласиться. Отнюдь и не утверждаю, что он был безгрешен в этом отношении. Не говоря о моральной стороне дела, — ибо не знаю, много ли найдется в том кругу, в котором он вращался, людей, имеющих право суда в этом отношении, — я думаю, во-первых, что слухи о его грехе сильно преувеличены (в покаянном настроении он сам способствовал этому преувеличению), а во-вторых, грех этот был не столько причиною, сколько следствием того нервного расстройства, которое окончилось психическою болезнью. Вот что писал однажды Успенский г-же N, предоставившей в мое пользование коллекцию его писем: [25] «Не могу забыть, как я безобразно вел себя у вас, — напился! Могло ли это быть прежде, чтобы именно *у вас, у вас-то* я позволил себе это? а теперь вот позволил, стало быть что-то во мне пропало, и, стало быть, я стал пропадать». Выражения «безобразно вел себя» и «напился» несомненно сильно преувеличены. Из того же письма к г-же N видно, что, будучи у нее в гостях, он «прорицал в пьяном виде о литературе и о дамах, которых надо удержать в пределах серьезного интереса», — вести подобные разговоры не значит «вести себя безобразно». «Безобразно» пьяным я не видал Глеба Ивановича никогда. Богатая и блестящая, но от рождения неуравновешенная натура, Успенский мог быть спасен от печального конца только исключительно благо-

приятными условиями жизни, какие вообще редки и каких не выпало на его долю. Болезнь подкралась к нему с чрезвычайною постепенностью. Можно, конечно, с точностью указать время, когда его пришлось поместить в больницу, но едва ли можно даже с приблизительно такою же точностью сказать, когда болезнь началась. Быть может, она давно уже вила себе в нем гнездо, когда мы, близкие к нему люди, видели в нем только человека очень нервного и очень оригинального.

Вот его письмо ко мне от 18 февраля 1891 года: «С великим бы удовольствием поел я блинов, если бы не одно чрезвычайно важное обстоятельство: вчера ко мне приехал в 1 час дня д-р Шершевский (кажется, по желанию Манассеина узнать мою болезнь), выстукал, выслушал меня и, словом, докопался до самой сути болезни (мозг!) и начал правильное лечение. До следующего воскресенья никаких блинов не полагается, а в следующее воскресенье он опять приедет и обследует меня... (неразборчиво) но буду повиноваться, потому что дело мое стало совсем скверное. Прочитайте прилагаемое письмо и порадуйтесь. Я рад, что читатель поступил со мной строго, и это на меня подействовало благодетельно. Остаюсь лишенный блинов, печальный Г. У.» (в письме, о котором здесь пишет Успенский, какой-то читатель упрекает его за то, что он напечатал свой рассказ в «Неделе», где в то время «осмеивал лучшие идеалы лучших людей некто, подписавшийся псевдонимом «Единица»[26]). Как видите, письмо самое обыкновенное, а между тем врач уже определил болезнь мозга. Неуравновешенность свою Успенский получил, вероятно, по наследству, тяжелые условия жизни создали почву для ее расцвета...

Надо, однако, признать, что условия эти были особенно тяжелы именно для такого человека, как Успенский, что многое рисовалось ему в гораздо более мрачном виде, чем было в действительности. В своих литературных воспоминаниях я рассказал о своей первой встрече с Успенским в 1868 году, о той оригинально убогой обстановке, в которой я его застал, а также о его тогдашней заразительной веселости и обаятельной живости его рассказов и вообще его беседы. Он был тогда уже известным писателем, и нет ничего удивительного в том, что молодой человек, полный надежд и сил, вдобавок одинокий — женат он еще не был — и, следова-

тельно, свободный от многих забот, прекрасно чувствует себя в фантастически скудной обстановке и весело смеется и заражает смехом окружающих. Но ведь мы видели, как мрачны воспоминания Успенского о детстве и юношестве, как одинок и беспомощен был он в среде пьянствующих талантов; знаем далее, из предисловий к первым двум изданиям его сочинений, как он страдал от необходимости раздирать на клочки и урезывать свои произведения. Все это как будто не вяжется с ярким смехом и веселым остроумием. Но дело в том, что молодость, конечно, брала свое. Мы не имеем ни права, ни основания не верить настойчивому показанию Успенского о пролитых им в детстве и юности беспредметных, безотчетных слезах, но, разумеется, не мало было в ту пору и смеха, и веселья, затертых впоследствии в его воспоминаниях. Да и позже его долго спасал неистощимый, казалось, запас юмора, отпущенный ему природою. Я сравнил бы его с необыкновенно чувствительным термометром, в котором каждое малейшее повышение или понижение температуры немедленно отражается соответственным повышением и понижением уровня ртути. В начале шестидесятых годов, когда он поступил в университет, для него, как и для всех нас, тогдашних молодых людей, было много поводов для радости и подъема духа. Выколачивая из себя «Ивановича», вырабатывая «собственные средства», он благодаря своей впечатлительности должен был, конечно, особенно бодро и весело дышать тем воздухом «правды», который, казалось, составит нашу всегдашнюю атмосферу. Если тяжки и оскорбительны были воспоминания, то надежда сверкала всеми цветами радуги. Обстоятельства изменились, да и в личной жизни Успенского наступали разные осложнения. Температура еще не раз поднималась и падала, и колебания эти отражались на чутком термометре, но, в общем, веселье, радость, смех шли на убыль. Временами в нем как-то вдруг воскресал тот жизнерадостный молодой человек, каким я его видел в первый раз, но так же вдруг и погасал. Вот, например, одно из его писем к В. М. Соболевскому (редактору «Русских ведомостей»), относящееся к 1886 году.

«Милый В. М. В четыре часа ночи, по дороге в Одессу, остановился пароход в Ялте. Есть у меня тут два дня хороших воспоминаний, и я поехал на берег. Пробегал

часа два в сумасшедшем веселье, один. Погода благоприятная, и все славно и хорошо. Купил цветов, посылаю их вам лоскутики (?); плохо я чувствовал себя на Кавказе, — теперь как будто лучше. Давно не имею писем и с нетерпением жду Одессы. Ах, дорогой, милый! Теперь ничего не пишу, кроме того, что я рад. Нашлите цветочков Михайловскому. Ваш Г. У.».

В записке этой характерны и эта способность к «сумасшедшему» веселью наедине с природой и это желание сделать и других участниками своей радости. Однажды я тоже получил от него в конверте несколько «цветочков» — с Кавказа, причем изливались восторги от красот долины Риона и рекомендовалось такому-то отдать один из «цветочков», а такому-то дать только «понюхать». Но это жизнерадостное настроение посещало его все реже и реже, и даже в минуты веселья звенела в нем мрачная струна заботы и тревоги. Но неподражаемым мастером рассказов и вообще обаятельным собеседником он оставался всегда. Трудно выразить словами, что именно обаятельного было в его беседе. Назвать его человеком красноречивым отнюдь нельзя, искрящегося остроумия у него тоже не было. Случалось, что увлекаясь какою-нибудь мыслью далеко за пределы логической возможности, он говорил вещи, с которыми никаким образом нельзя было согласиться. И тем не менее слушать его было настоящим художественным наслаждением, не говоря уже о поучительности его беседы, благодаря его всегда оригинальной точке зрения.

Боюсь, что, упоминая о мастерстве его рассказов, я навожу читателей на параллель с покойным Горбуновым. Ничего подобного! И мало того: есть и не профессиональные рассказчики, славящиеся разговорным мастерством, способные десятки раз буква в букву, интонация в интонацию повторить один и тот же рассказ, сказать одну и ту же речь, выразить одну и ту же мысль; Успенский был на это решительно неспособен, он просто не мог повторяться. Разница еще в том, что подобные мастера устной беседы любят красоваться своим искусством и говорить в большом обществе. Успенский же развертывался только сам-друг или в среде близких, своих людей, а в большом и незнакомом обществе обыкновенно увядал. Для него было истинным мучением обращать на себя внимание, даже выходить на эстраду на

литературных вечерах. Я помню уморительную сцену на литературном вечере в Москве, в доме В. А. Морозовой. Зал вмещал всего каких-нибудь 200—300 человек, и все это были горячие поклонники Глеба Ивановича (вечер имел частный характер). Его встретили градом аплодисментов, а он, претерпев их, раскрыл книгу и постоял несколько секунд молча, потом закрыл книгу и молча же сошел с эстрады. Или, например, вот как он описывал мне в письме из Парижа один литературный вечер, в котором он должен был, по первоначальному плану, принимать участие:

«Тут был литературно-музыкальный вечер в «салонах» m-me Вьярдо. Кроткий Николай Степанович (Курочкин) вдруг превратился в льва, когда читал свои стихи. Вот человек, который менее всего может изобразить на лице своем гнев. А надо было изобразить. Я взглянул на него из-за двери, когда он читал, — и ужаснулся. Н. С. ощетинился на общество и кричал что-то очень сердито. Тургенев прочел мой рассказ «Ходоки», и прочел превосходно. Я не присутствовал на чтении, но присутствовал на приготовлении к чтению. Тургенев прорепетировал этот рассказ раз 7—8, изучил, где каким голосом, как и что до мельчайших подробностей. Ох, и фокусники же эти сороковые годы! У m-me Вьярдо голосу нет, но уменье петь действительно поражает. Публика была блестящая, и посланник Орлов улыбался Николаю Степановичу благосклонно, когда тот проклинал в своих стихотворениях человечество.

«— Где вы были? — в *необыкновенной* тревоге (все это совершалось с ужасно озабоченным видом и с действительной тревогой) обратился ко мне Иван Сергеевич,— вы имели успех! вас зовет публика! Где вы пропали? Я вас хотел вывести! Ведь вас звала публика! и т. д.

«Вычеркните это! А то княгиня Т. будет недовольна!» — «А Мерена можно оставить?» — «О, это оставьте». — Вообще оставляли всякое свинство, а вычеркивали «неприятное».

Надо заметить, что большое общество, толпу, Глеб Иванович любил, но под условием быть самому в ней незаметным, не обращать на себя внимания. Г-же N он писал из Перми в 1884 году: «До чего трудно жить на свете, имея «известность», — просто ужасно: слова не добьешься человеческого, все говорят как с литератором.

Чаю нельзя напиться, как хочется: сесть, положивши ноги на стол, сказать вздор — невозможно. Все надо умное, отчего и выходит одна глупость». А с дороги в Пермь он ей же писал: «Не можете ли вы прислать мне в Пермь до востребования телеграмму такого содержания: «С П. можете видеться», если это возможно... Между Екатеринбургом и Тюменью есть одно село в 7 верст, и если мимо этого села идет строящаяся железная дорога, то я у П. попросил бы только записку к кому-нибудь из служащих самого низшего разряда, чтобы мне пожить в этом селе день, два, три. А то все будут пялить глаза».

Глеб Иванович ошибался, думая, что на него «пялят глаза» и ищут общения с ним только потому, что он литератор. Конечно, и это было, особенно ввиду его популярности, — мимоходом сказать, он и этой популярностью временной тяготился, вследствие чего, как известно, и подписывался одно время под своими очерками псевдонимом «Г. Иванов». Он привлекал к себе внимание и людей, не знавших, с кем они имеют дело. Как-то мы ехали с ним из Москвы — он до своего Чудова, я до Петербурга. В том же вагоне ехал какой-то пожилой офицер. Он долго прислушивался к нашему разговору, пересаживался все ближе и ближе, улыбался и, наконец, не выдержал: решительно пересел рядом, вмешавшись в разговор каким-то замечанием. Мы уже подъезжали к Чудову, и незнакомец, узнав, что Успенский сойдет на этой станции, спросил, где же он тут живет. Успенский указал в окно на чуть видную церковь деревни Сябринцы, где он жил, а из дальнейшего разговора оказалось, что семья его теперь в Петербурге и он будет жить некоторое время совсем один. Это поразило незнакомца, он задумался и, когда мы, простившись с Глебом Ивановичем, поехали дальше, в Петербург, сказал мне: «Я все думаю: как этакий человек живет один... все представляю себе занесенный снегом домишко, и в нем этакий человек!» Остальную дорогу мы вяло перекидывались незначительными фразами, и, только прощаясь со мной в петербургском вокзале, незнакомец спросил, кто был так поразивший его случайный сосед по вагону. При этом оказалось, что имя писателя Успенского ему незнакомо,— это был человек совершенно чуждый литературе. И не один такой случай я знаю, конечно, не всегда с таким концом. Случалось, что дорожные спутники (а он, как

сейчас увидим, постоянно был в разъездах), как-нибудь узнав, с кем они имеют дело, тем восторженнее и любовнее относились к нему. У нас, близких к нему людей, выработалось даже шуточное прозвище для его многочисленных, не дававших ему проходу поклонников и поклонниц: мы называли их «Глеб-гвардией».

Когда Успенский заболел, литературный фонд, не раз и прежде выручавший его из трудного положения, стал высылать на его надобности в больницу, где он находился, известную сумму ежемесячно. Сумма эта была очень невелика, но она шла исключительно на некоторые мелкие личные нужды покойного, на табак и т. п. Материальных забот не он главным образом требовал, а его семья (жена и шестеро малолетних детей), оставшаяся с его болезнью без всяких средств. Честь поддержки этой семьи до того момента, когда дети станут на ноги, взял на себя кружок друзей. С этой целью собран был из единовременных и периодических взносов особый «капитал семьи Успенского», хранившийся в литературном фонде, но совершенно от него независимый, при помощи которого задача и была благополучно выполнена. Первоначально план поддержки был рассчитан на шесть лет, но прилив данников любви и уважения к Успенскому оказался достаточным, чтобы расширить задачу еще на два года; и трогательно было видеть в списке этих добровольных данников, рядом с тысячными вкладчиками, вкладчиков грошовых.

Любопытно также отношение к Успенскому врачей, которым он естественно доставлял много беспокойства и неприятностей. Он был в трех больницах: очень недолго у д-ра Фрея в Петербурге, потом в Новгородской Колмовской больнице, которою заведовал д-р Синани, и, наконец, в Новознаменской, находившейся под управлением д-ра Реформатского. Как бережно и любовно относился к нему Б. Н. Синани, это читатель уже видел и еще увидит из дневника доктора. А д-р Реформатский, перешедший из Новознаменской больницы на другое место незадолго до смерти Успенского, говорил мне, что ему особенно тяжело было расставаться с Глебом Ивановичем, хотя и трудно приходилось иной раз с ним ладить.

Любовь, которую Успенский возбуждал во всех, кто приходил с ним в соприкосновение, осложнялась, с одной стороны, почтением к его блестящему таланту и высоким

нравственным качествам, а с другой — чувством жалости. Людям прямолинейным или мало наблюдавшим жизнь может показаться неестественным, невозможным такое сочетание жалости, предполагающей отношение сильного к слабому, здорового к больному, старшего к младшему, вообще отношение сверху вниз — с почтением, предназначающим, наоборот, отношение снизу вверх. Но жизнь много сложнее тех рамок, в которые ее поневоле втискивает наша бедная терминология, и я уверен, что сочетание жалости и почтения знакомо всем, кто имел счастие сколько-нибудь близко знать Успенского. Это было счастие, как всякое общение с богатою натурою, и притом редкое счастие, потому что всякая оригинальность есть редкость, а в Успенском каждый вершок был оригинален, как в короле Лире каждый вершок — король. Оригинален был ход его мысли, оригинальна форма его писаний, оригинален язык, письменный и устный, оригинальны его отношения к людям и весь склад его жизни.

Почтения заслуживала в нем прежде всего эта неустанная и тяжелая борьба «Глеба» с «Ивановичем» и со всем, что в окружающем мире родственно последнему. Об этом мы уже говорили и еще будем говорить. Что же касается жалости, то начать хотя бы с его полной практической беспомощности и беспорядочности. Он был большой искусник в теоретическом построении практических планов, — всегда у него было все обдумано до мельчайших подробностей. Он и другим, в том числе и мне, случалось, давал истинно превосходные советы, как устроить дела в том или другом отношении, но его собственные дела были всегда и во всех отношениях плохи, и превосходно обдуманные планы разбивались при самом приступе к их исполнению: выходила «ахинея» и «чепуха», как он мне однажды писал.

Редакции журналов и газет, в которых он участвовал, всегда высоко ценили его сотрудничество, сочинения его издавались не раз, а между тем, постоянно работая, он постоянно же и нуждался; нуждался всегда, сейчас, сию минуту, не думая о будущем. Этим, конечно, пользовались ловкие люди, как ни старались оберечь его близкие к нему. Вот, например, сохранившаяся в его бумагах записка Некрасова:

«Глеб Иванович, по документам вашим я убедился,

что ваши сочинения могут быть выручены от Базунова: то же думает Унковский. Мы уговорились с ним пересмотреть еще вместе эти документы, позвать Базунова, устыдить его и взять от него записку. Но вот в чем дело: вы не так поняли ту роль, которую я могу взять на себя в качестве издателя: я не желаю *покупать* у вас ваши сочинения, я думал издать их на свой счет, выручить свои деньги и затем остальной доход предоставить автору. Если вам это неудобно и вы можете найти для себя условия более подходящие, то не стесняйтесь. Деньгами наличными я в сие время беден».

Очевидно, план практического, но доброжелательного Некрасова был выгоден для Успенского, но результатов этого плана пришлось бы ждать, а деньги нужны сию минуту, чтобы заткнуть глотку какому-нибудь ростовщику; и Успенский предпочел остаться в тисках Базунова, может быть прибавившего благодаря настояниям Некрасова и Унковского грош к тем двум грошам, за которые он купил издание. Не таковы, разумеется, были мотивы его позднейших издателей, И. М. Сибирякова и Ф. Ф. Павленкова. Напротив, в их действиях, насколько они мне известны, видна даже какая-то излишняя опека и заботливость о будущем Успенского и его семьи. Но, не говоря уже о том, что опека эта своей цели не достигла, она была обставлена столь сложно и запутанно, что я никогда не мог понять ее сути, как, впрочем, и вообще финансовых планов Глеба Ивановича. Его письма к редактору-издателю «Русских ведомостей» переполнены тонко и чрезвычайно точно разработанными планами погашения авансов (за эту тонкость и точность Салтыков называл его «министром финансов»), но из тех же писем видно, что едва ли хоть один из них был приведен в исполнение и не отменялся через короткое время другим, столь же обстоятельным и сложным. С деньгами он вообще совершенно не умел обращаться и, когда они у него были, швырял их во все стороны совершенно, как говорится, зря. Если слова «презренный металл» имели когда-нибудь для кого-нибудь буквальное значение, так это именно для Успенского. В старые годы я собирал для своих детей с педагогическими целями разные коллекции: в том числе была коллекция древних и иностранных монет. Увидев ее у меня однажды, Глеб Иванович даже в ужас пришел: как! деньги детям! Он полагал, что персидские

монеты времен Сассанидов или китайские медяки с дырками посредине, представляющие собой все-таки «презренный металл», должны дурно повлиять на детей...

Беспорядочность и практическая беспомощность ставили иногда Успенского в истинно трагические положения, хоть в то же время его блестящие планы выхода из затруднений не могли не производить комического эффекта. Тем более что его беспорядочность проявлялась не только в денежных делах. Так, в своих непрестанных разъездах он то и дело забывал или терял нужные ему вещи, которые, впрочем, тут же оказывались, пожалуй, и совсем ненужными. Прожив однажды с месяц вместе с ним в Кисловодске, я получил потом письмо, в котором было, между прочим, следующее: «Одеяло осталось мое, — прошу М. П. взять его к себе, и когда поедет, то пусть возьмет или просто подарит старику (дворнику). А вот папиросник я забыл, кажется, в жестяной коробке. Его вы уж возьмите, пожалуйста, и пусть он будет у вас». Забыв в квартире В. М. Соболевского бумажник, он пишет: «Бумажник мой не бросайте на столе, там есть разные секретцы, — нехорошо, если кто прочитает». В Нижнем-Новгороде с его багажом приключилась раз какая-то очень сложная история, из которой он выпутывался в письме к В. Г. Короленко так: «Сегодня послал я вам доверенность на получение моего хоботья, но, кажется, переврал адрес. Написал: Больничная, д. *Пенской,* а надобно, кажется, Панковой. Посылаю это письмо наудачу, без всякого адреса, а просто в Нижний, вам. Хоботье мое пусть лежит у вас столько, сколько оно захочет».

Все это смешно, но надо помнить, что все это проделывает вечно трепещущий, мучающийся и возвышенно настроенный человек.

Чтобы оценить, во что обходилась Успенскому его внутренняя жизнь, надо принять в соображение его «обнаженные нервы», — я не знаю никого, к кому это, изобретенное кем-то из наших ломающихся декадентов выражение так подходило бы [27]. Одно из самых ранних его писем к жене (1868) содержит в себе, вперемежку с разными ласковыми словами, такие сообщения и восклицания: «Вдруг сию минуту (11 часов ночи) хлынул страшный дождь, до ужаса страшный, просто ужас, ужас. Я боюсь тушить свечу... Молния! Смерть моя, и гром.

Ужас... Ей-богу, я умру!» Он боялся собак, лошадей, крутых спусков с гор, во время купанья кричал, входя в воду, и т. п. Обобщить все это простым словом «трусость», однако, нельзя. Во-первых, он боялся не только за себя. Ездить с ним на извозчике бывало иногда истинным мученьем, пополам со смехом. Опасности чудились ему постоянно, и не только для себя, но и для других: едущий впереди седок, пересекающий конку в добрых трех саженях от нее, приводил его в волнение: сейчас попадет под конку! Затем, в нем проявлялись иногда черты, которые уж никак не мирятся с трусостью. Один наш общий приятель рассказывал мне, как однажды в Париже, на его глазах и отчасти из-за него, разгневанный грубостью полицейского сержанта Глеб Иванович схватил его за шиворот и уже замахнулся палкой; история кончилась благополучно благодаря вмешательству стоявших поблизости французов, узнавших, что сержант имеет дело с иностранцами. Обыкновенно деликатный и кроткий («зачем я буду будить в человеке свинью?» — говорил он в объяснение своей даже чрезмерной деликатности), он иногда способен был на резкие вспышки, в которых потом всегда каялся. Однажды он буквально выгнал от себя некоего г. П., в котором свинья проснулась уже слишком явственно. Через несколько дней после этого он писал мне: «Кажется, я окончательно скоро исчезну с лица земли. Целые дни не могу встать с постели. Оттого и к вам не иду. П. прислал мне письмо, но я его не читал. Я так болен, что боюсь, если он меня огорчит, — совсем не буду в состоянии работать». Решившись, наконец, распечатать письмо, он остался доволен его содержанием, и дело кончилось миром. Вообще в применении к нему мудрено говорить о трусости или смелости. Все дело было в обнаженных нервах, которые разно, в ту или другую сторону, но всегда сильно реагировали на впечатления.

VII

После закрытия в 1884 году «Отечественных записок» я некоторое время не работал для печати, — никуда не тянуло. Глеб Иванович очень сетовал на меня за это. Однажды, в ответ на его упреки, я сказал: «Я готовлю большой, многотомный труд и скоро напечатаю». Он

очень обрадовался: «Ну вот, это превосходно! А о чем?» — «Есть, видите ли, «анекдоты о Суворове», «анекдоты о Петре Великом» и т. п., а я хочу написать «анекдоты о Глебе Успенском»... Глеб Иванович огорчился...

Разумеется, я шутил и никаких «анекдотов о Глебе Успенском» писать не собирался. Но такое произведение, хоть и не многотомное, вполне возможно и представило бы немалый интерес. Для понимания людей, в такой мере оригинальных, как Успенский, анекдот есть очень важное подспорье, и я приведу здесь кое-что из запаса своей памяти.

Начну со случая, свидетелем которого сам я не был. Рассказал мне его участник происшествия, ныне также уже покойный, Н. В. Максимов, и Глеб Иванович конфузливо подтвердил верность рассказа. И поистине было чего конфузиться... Некто, скажем Z, сошел с ума. Помешался он на том, что он сын и наследник, помнится, шведского короля и должен получить откуда-то миллион. Пришлось, наконец, отправить его в больницу. И вот под предлогом, что ему предстоит получить сейчас шведские миллионы, его посадили в карету в сопровождении Успенского и Максимова. Дорогой Z оживленно развивал свой пунктик и строил разные великолепные планы. Успенский слушал, слушал и, наконец, не выдержал неправды, которую должен был поддерживать. «Господин! — взволнованно сказал он. — Вас совсем не за наследством везут, а в сумасшедший дом...» Можно себе представить, что после этого не легко было доставить больного в больницу...

Нечто подобное было на моих глазах в одном частном доме, во время опытов известного гипнотизера Фельдмана. Г. Фельдман привез с собой молодого человека, чрезвычайно легко поддававшегося его внушениям, но никому в собравшемся обществе не известного. Это обстоятельство вызывало некоторое недоверие к блестящему успеху опытов. В числе присутствующих оказался студент, не раз подвергавшийся гипнозу, и его стали просить принять участие в опытах. Он долго отказывался, но, наконец, согласился, под условием, однако, чтобы над ним были произведены самые элементарные опыты и держали его в состоянии гипноза недолго. Ему это было обещано, но обещание не было исполнено. Г. Фельдмана соблазнила мысль составить из него и молодого

человека, привезенного им с собой, группу. И мы присутствовали при воспроизведении сказания о Грозном царе и посланце Курбского, Шибанове, затем при совместной борьбе обоих молодых людей с какими-то дикими зверями в Индии. Об участии студента в этих представлениях решено было от него скрыть. Но, по окончании опытов, Глеб Иванович, следивший за ними с большим волнением и, видимо, неприязненно относившийся к гипнотизеру, опять-таки не выдержал и открыл студенту истину. Произошло неприятное объяснение...

Как-то летом мы с Успенским отправились прокатиться по Неве на пароходе. Погода была чудесная, и мы порешили пообедать на Крестовском острове и тем же путем вернуться в город. Но, не доезжая до Крестовского, я вдруг почувствовал себя дурно, со мной случился сердечный припадок, и я попросил Глеба Ивановича выйти на ближайшей пристани, где и прилег на землю. Стоя надо мной и с ужасом глядя на мое, вероятно, очень побледневшее и вообще сильно изменившееся лицо, Успенский вдруг сказал: «Н. К.! вы умрете!» Это было так неожиданно, что, несмотря на мучительную боль, я не мог не улыбнуться. Припадок продолжался несколько минут, и мы на следующем же пароходе доехали до Крестовского, весело пообедали и благополучно вернулись домой. Но, будь на моем месте человек мнительный, ему было бы, надо думать, не весело...

Все три рассказанных случая произошли не помню в точности когда именно, но во всяком случае задолго до болезни Глеба Ивановича. Все это проделывал обыкновенный, здоровый, нормальный Успенский. Теоретически он, конечно, не хуже каждого из нас понимал, что по малой мере неудобно так-таки прямо в лицо говорить больному человеку, что он сейчас умрет, или сумасшедшему, что его везут не туда, куда он согласился и хочет ехать, а в больницу для душевнобольных. Если бы он знал, что не выдержит принятой на себя относительно Z роли, он и не поехал бы его провожать. Но, соглашаясь принять участие в невинном и необходимом обмане несчастного Z, он не предвидел того впечатления, которое произведет эта поездка на него самого. А впечатление было таково: несчастного, больного человека обманывают, обманом везут в печальное, мрачное место, может быть вечного заключения. И впечатление это было столь

сильно, что заглушило все соображения, кроме одного: надо открыть этому человеку глаза, надо сказать ему правду. То же и относительно загипнотизированного студента, которого не только обманули, но над которым, по мнению Успенского, произвели еще оскорбительное издевательство. Но, говоря: *надо* сказать правду, *надо* открыть глаза, я выражаюсь неточно. Слово *надо* предполагает некоторый деятельный, хотя бы и очень короткий процесс логического рассуждения, окончившийся определенным решением. В действительности же правда в обоих этих эпизодах сказалась сама собой, неожиданно для самого Успенского, как своего рода рефлекс. Это особенно ясно в случае с моим припадком. Глеб Иванович ошибся в оценке моего состояния, но в данную минуту моя близкая смерть была для него несомненной истиной, и эта истина *выскочила* из него без всякой мысли о том, как подействует она на меня.

Как и всем нам, живущим в сложной сети условностей, Успенскому приходилось, конечно, не раз и не два таить правду про себя или же прямо говорить неправду. Но это всегда его мучило. Я не раз слышал от него и горькие и гневные сетования по поводу той или другой житейской подробности этого рода. А когда что-нибудь производило на него особенно сильное впечатление, правда рвалась из него с неудержимою силою, помимо всяких сторонних соображений, всяких условностей; он органически не мог удержать ее в себе. Но и это сопровождалось подчас жестокой мукой. Если в рассказанных мною анекдотах он доставил или мог доставить ненужные страдания другим, то и сам в то же время страдал за этого несчастного больного, за этого обманутого студента, за этого якобы умирающего приятеля и, может быть, сильнее, чем они сами. Это делало его человеком не от мира сего, совершенно неприспособленным к практической жизни, и отчасти предопределило его мрачный конец. Но это же его свойство сообщает исключительную ценность его писаниям. Он не то что *не хотел* написать неправду, — это слишком мало, — он *не мог*, органически, по коренным свойствам своей природы не мог написать ее.

Успенского часто называли и называют тенденциозным писателем, разумея под тенденциозностью сознательную подгонку явлений жизни под требования той или

другой доктрины. Ничего не может быть нелепее этого эпитета в приложении к Успенскому. Никакая доктрина, никакая теория не могла его связать пред лицом правды. Оттого-то его очерки и являлись так часто неожиданными для разных закоренелых доктринеров. В своей автобиографической записке он говорит о той брани, которою были встречены его первые очерки деревенской жизни. «Тогда меня ругали за то, — пишет он, — что я не люблю народ. Я писал о том, какая он свинья, потому что он действительно творил преподлейшие вещи». На него тогда накинулись прямолинейные доктринеры народничества, не оценившие той боли сердца, с которою он писал, и не понявшие условности его выводов. Они даже как будто с ужасом восклицали: «До чего договорился Глеб Успенский!» Затем он нашел во «власти земли», как он выражается, «источник всей неразумной механики народной жизни». И опять прямолинейные доктринеры, на этот раз марксизма, — правда, несколько позже, когда Успенский был уже болен и не мог постоять за себя, — не оценили его страстной жажды «правды» и не поняли условности его выводов. В его изображении «земледельческих идеалов» они нашли «чудовищные тирады», «непостижимый бред», апофеоз «крепостничества»... [28]

Внимательный читатель — а Успенского надо читать внимательно — без большого труда выяснит себе из самых его произведений всю грубость этих ошибок. Но мы подойдем к этому выяснению ниже попутно — путем пересмотра писем Успенского к разным лицам, предоставившим их в мое пользование, за что я приношу им искреннюю благодарность.

Прежде всего бросается в глаза, если можно так выразиться, географическая пестрота этой в целом обширной корреспонденции. Письма писаны из Петербурга, Константинополя, Перми, Козлова, Одессы, «мызы Лядно», Казани, Софии, Москвы, Ялты, Рязани, Чудова, Кисловодска, Воронежа, Нижнего-Новгорода, Новороссийска, Калуги, Парижа, Ростова, Липецка, на «самолетском» пароходе «Сильфида». И только случайно имеющиеся у меня письма ограничиваются этими местами: могли быть еще из Самары и Лондона, из Томска и Белграда. (Я не нашел в своем собственном собрании несколько писем, содержание и даже некоторые характерные выражения которых хорошо помню.) Надо заметить,

что многие письма не помечены ни местами, ни временем отправления, но о месте можно узнать из содержания письма, а о времени часто приходится только догадываться по разным сторонним соображениям. Понятно, что при таких условиях нелегко ориентироваться в корреспонденции. Затруднение это было бы еще значительнее, если бы я думал писать биографию Успенского. Но я не берусь за эту задачу и даже, по обстоятельствам, и из писем-то не рассчитываю извлечь все для такой биографии важное.

Уже из простого перечисления мест, откуда писались письма Успенского, видно, что ему почему-то не сиделось на месте. И эта непоседливость, это вечное стремление куда-то все в новые и новые места в высокой степени интересна.

Он писал мне из Парижа: «Господи, что за ахинея идет в моей жизни, что за чепуха! Я пять лет стремился поездить по Дону и пробраться в Соловецкий, а мне надо сидеть в Париже! Нечего сказать, по моим вкусам устроилось все!» Письмо, из которого я беру эти строки, относится еще к середине 70-х годов, а чем дальше, тем сильнее тянуло Успенского с места на место. Но почему «надо» жить в Париже, когда хочется поездить по Дону и побывать в Соловецком?

В. М. Соболевскому он писал откуда-то из-под Одессы: «Как бы хорошо было тут около Одессы, — славно в этих местах пожить месяц. Сколько ужасно интересного: менониты [29], колонисты, немцы, штундисты, казаки! Все это до чрезвычайности ново, любопытно. Я чуть-чуть видел и говорил, а поверите ли, не расстался бы с здешними местами: так много в каждом уголке своего — веры, порядков, взглядов, общественных отношений, типов и т. д. Но надо ехать в Ростов, потом во Владикавказ и там утвердиться на 1 месяц, а затем домой... Я не печалюсь, хорошо себя чувствую, покойно, и много для меня чрезвычайно нового. Ах, сколько нового на Руси! Не тужите, не скучайте, не думайте о себе печально, — интересней думать о том, как живут люди. Я всегда исцеляюсь этим».

Опять *надо* ехать в Ростов, когда хочется пожить около Одессы. Почему *надо?*

Вот две его записки ко мне: «Можете представить — приехал в Петербург в 10 часов ночи, переночевал, а на

другой день в 2 часа уехал опять домой, никого и ничего не видя! Вот в каком я убийственном душевном состоянии. Не знаю, что делать, ей-богу». (Без даты.) «Был на несколько часов в Петербурге, и там меня осенила такая ужасная тоска вдруг, как обухом пришибла, что я не решился зайти к вам, просто боялся омрачить вас, и тотчас опять уехал в Чудово за работу. Страшновато что-то мне по временам». (Помечено 31-м августа 1888 г.)

Вот отрывки из писем к В. М. Соболевскому: 1) «Ехать мне оказывается опять делом невозможным — нет денег. Хотел я опять сесть за работу и написать последний большой очерк «Концов», но положительно заело меня глубокое горе. Все дела только что кончились в Петербурге, только что я выбрался из этого кипучего котла со свадьбами, и шахами, и смрадом, и оказывается, что мне нет возможности никуда поехать. Писать я положительно не в состоянии. Ведь нынешний год истиранил меня, и истиранил на много лет. Уехать надобно... Да надо и работать. Сидеть в этом смертельно надоевшем Чудове или в литературных петербургских кружках...— положительно мне невмоготу. Мне надобно вновь внимательно видеть жизнь... Мих<айловский> на днях будет в Москве, Кр<ивенко> уехал в Сибирь, Яр<ошенко> в Париже — я только обречен иссыхать в обстановке, которая только меня пугает, и сам должен производить на всех тяжелое впечатление... Если бы можно было числа до 10 (и то ужасно долго) получить 300 р., я бы немедленно уехал в Череповец, где меня ждут, чтобы рассказать всю историю закрытия земства... Если бы это можно было сделать... я прямо из Петербурга, не заезжая в Чудово, прямо сел бы на шлиссельбургский пароход». (Без даты.) 2) «Не знаю, куда мне ехать: за границу или в Сибирь к переселенцам и с переселенцами? А так «отдыхать», зря — не могу, тоска смертная. В Сибирь любопытно, но мрачно, чертова яма, холод, и вообще я поустал от мужика, его бороды, лаптей и вообще всего этого голодного и холодного. Больно смотреть, и голова отказывается мучиться об этом, просто утомилась. А за границу тоже не знаю, будет ли толк». (Помечено 17-м мая 1888 г.) 3) «Главное, что я необыкновенно утомлен духом моим. Видите, как плетусь? Только в Казани, но это потому, что устал ужасно; в Нижнем два

дня не мог встать с постели. Может быть, и хорошо это. Теперь в Казани я уже мог сесть за работу, а завтра, 9-го, еду в Пермь. Меня пока берет раздумье — ехать ли туда? Соблазнительнейшие вещи прочитал я сегодня в газетах о Семеновском уезде, и меня туда тянет неумолимо. Эта поездка была бы мне по душе более, чем в чертову Сибирь. До чего-нибудь решительного я должен непременно додуматься в самом скором времени и завтра должен решить: куда я еду?..» (Без даты.)

О мотивах поездки в Череповец, о которой упоминается в первом из этих трех отрывков, есть еще иносказательное упоминание в одном из писем к М. И. Петрункевичу, очень для Успенского характерном вообще: «Надобно мне хоть немного побыть с людьми, и вот о чем я прошу вас, милый М. И.: у вас в Твери несомненно много таких знакомых чинов и «членов», которые обязаны *разъезжать* по губер. суд. след., статистики, податн. инспект., чинов. Крестьян. банка. Не согласится ли кто-нибудь в которую-нибудь (хоть на 3-4 дня) поездку? Писать я ничего не буду, но, во-первых, буду с людьми,— это мне нужно, а во-вторых, у меня лично нет причин и оснований забраться в деревню: кого я там увижу и как отвечу, зачем приехал? Теперь я еду в Череповец с археологическою целью «раскопки» того кургана, под которым схоронен труп Черепов. зем. с боевыми доспехами. Туда меня зовут, расскажут и дадут документы по этому делу, но я долго там быть не могу... и, таким образом, к 1-му, даже двумя-тремя днями раньше, я буду уже в Рыбинске. В моем распоряжении еще весь июль — и вот этот-то месяц я бы хотел пошляться *с кем-нибудь*... поехать в какие-нибудь места Тв. губ. (решительно все равно, хотя с суд. след. я бы поехал с особ. удов.). Известите меня коротенькой записочкой в Рыбинск до востребования, так, чтобы, приехав из Череповца, я знал свою участь. Ни малейшего от меня беспокойства тому, кто будет не прочь взять меня в свою телегу, не будет; я охотно приму обязанности писаря».

А вот отрывок из письма к г-же N, объясняющий, как и чем кончилась, может быть, эта самая поездка (год на письме не показан):

«Чудово. 10 июля. Дорогая N! Вот где я очутился вместо Сибири-то! И вышло это так: в Перми я занимался моими книгами и чувствовал некоторую скуку,

но один эпизод заставил меня призадуматься, как говорится, крепко. Как-то утром слышу я какой-то отдаленный звук, будто бубенчики звенят или, как в Ленкорани, караван идет с колокольчиками, далеко-далеко. Дальше, больше. Выглянул в окно (окно у меня было на 1-м этаже), гляжу — из-под горы идет серая, бесконечная масса арестантов. Скоро все они поравнялись с моим окном, и я полчаса стоял и смотрел на эту закованную толпу: все знакомые лица, и мужики, и господа, и воры, и политические, и бабы, и все, все наше, из нутра русской земли, — человек не менее 1500, — все это валило в Сибирь из этой России. И меня так потянуло вслед за ними, как никогда в жизни не тянуло ни в Париж, ни на Кавказ, ни в какие бы то ни было места, где виды хороши, а нравы еще того превосходней. Ведь эти люди — отборный продукт тех русских условий жизни, той путаницы, тоски, мертвечины, трусости или отчаянной смелости, среди которых живем мы, не сосланные, томимся, скучаем, мучимся, пьем чай с вареньем от скуки, врем и лжем и опять мучимся: все *эти*, от воров до политических, *не выдержали* этой жизни, их тащат в новые места. И мне *охотой*, а не на цепи захотелось необузданно идти на новые места, мне также не подходит «жить» (а не бороться) с людьми, с которыми (и которым) приходится много лгать, бесплодно, бесцельно, и изживать русский теперешний век — бесцветно, неинтересно, безвкусно и неумно... В Екатеринбурге меня еще больше одолела жажда ехать дальше в новые места. Отчего переселяются только мужики, а интеллигенцию тащат на цепи? И нам надо бросать добровольно запутанные, тяжкие, ненужные отношения, хотя бы они и были старые, привычные, и искать и мест и людей, с которыми можно чувствовать себя искренней и сильней. И тут-то вот я и остановился: так много на меня пахнуло нового и светлого, что я совершенно стал забывать мою работу, которую думал делать в дороге; она мне стала казаться ненужной, а между тем не работать было нельзя, — надо устраивать сына в гимназию, платить плотникам (они перестроили дом отлично) и т. д. А писать мое *старое* там тоже нельзя; и вот я решил воротиться тотчас домой, устроить семью на всю зиму, покончить с писанием, изданием и т. д. и в августе, после 15, а может, и раньше, уехать в Сибирь до весны».

Психологическая подкладка постоянных рассказов Успенского, я думаю, уже несколько выясняется этими письмами. Мы видели: ему тяжело «жить с людьми, с которыми и которым *приходится много лгать»* и *«надо* бросать добровольно запутанные, тяжкие, ненужные отношения, хотя бы они были и старые и привычные, и искать мест и людей, с которыми можно *чувствовать себя искренней и сильней»*. И еще: «не тужите, не скучайте, не думайте о себе печально,— интересней думать о том, как живут люди, я *всегда исцеляюсь этим»*. И вот почему его манит на Дон, в Соловецкий, к новороссийским менонитам, колонистам и проч., в Череповец, где он рассчитывает лично узнать обстоятельства, при которых произошло закрытие земства, в Семеновский уезд, о котором он по дороге узнал «соблазнительнейшие вещи», к переселенцам,— вообще на «новые места», и в Париж, и в Сибирь, и в Болгарию, и в Лондон, и в Сербию. И вот почему он часто, уже двинувшись из своего Чудова, не знал — куда ехать? Глаза разбегались...

Но в этом безбрежном житейском море была маленькая горсточка людей, которая требовала особенного его внимания, перед которою он до болезненности чувствовал свою ответственность: семья. Его категорический императив — *«надо»,* так часто, к его великому горю, разрешавшийся «ахинеей» и «чепухой», но никогда в нем не замолкавший, в значительной степени обусловливался его отношением к жене и детям. Случаи, когда категорический императив, вытекая из других источников, враждебно сталкивался с тем, что *надо* ради семьи, доставляли ему величайшие мучения. Необыкновенно трогательны его письма из Парижа о сыне-первенце. «Я думаю,— писал он мне,— написать рассказ «Царь в дому»— ребенок. Это народное выражение о первом ребенке, и действительно только эту власть я и согласен признавать за законную». Его письма этого времени переполнены подробностями о том, как Саша начинает ходить, говорить и т. п. И никогда не забуду той детски счастливой улыбки, с которой он, по возвращении из Парижа, показывая мне фотографическую карточку мальчика, сам любовался на нее. В одну из своих поездок он просил меня: «Пожалуйста, заезжайте на святой неделе в Чудово. Приезжайте туда со всеми вашими

гостями, не покидайте их, и ребят привозите. Нельзя же их покидать. Я буду знать, что у нас дома все-таки праздник, и мне будет легче на душе...»

Но, по другим соображениям или мотивам, все-таки *надо* ехать, ехать и опять ехать, иной раз даже не зная куда. Надо искать место, где можно чувствовать себя искренней и сильней, надо исцеляться интересом к тому, как живут люди. Он очень дорожил этим целительным средством и очень боялся, чтобы оно не утратило для него своих целебных свойств. «Я, кажется, уже при усилии теперь не могу восстановить в себе потребности быть внимательным к людям, а это была потребность»,— писал он мне однажды. Но это были напрасные опасения. «Потребность быть внимательным к людям» никогда в нем не угасала, и в том же письме есть следующие характерные строки: «Очень, очень плохо у меня на душе с самого первого дня выезда из Чудова, и вот отчего мне нечего вам написать. Соболевскому, впрочем, я пишу, что мне хорошо, но это единственно чтобы ободрить его, что есть кому-то хорошо на свете, так как ему-то уже что-то очень томно и скучно. И А. В. я пишу иногда в том же роде».

Характерны здесь эти высшие степени внимания к людям — бережное к ним отношение, желание устранить поводы для горьких мыслей. Чужое горе, чужую беду Глеб Иванович всегда принимал близко к сердцу.

Вскоре после закрытия «Отечественных записок» он гневно и вместе с тем трогательно писал мне по поводу одного литературного эпизода, которому я вовсе и не думал придавать значение: «Я прочитал фельетон Б<уренина>. Начинается нечто глубоко подлое. Если принять к сердцу, то надо бить... по щеке. Но избави господи, если вы примете к сердцу эти хитрые замыслы вовлечь вас в беду; какая-то шайка образовалась разбойничья. Совершенно прекратить с ней всякие разговоры — самое лучшее и единственное. Я не хотел вас огорчать и не писал вам об этом фельетоне, но если вы его не прочитаете и будете отвечать хотя бы С<уворину>, как все-таки человеку... то будет просто бог знает что и вас расстроит до невозможности. Необходимо просто уйти, плюнув им всем в рыло особой статьей в «Русских ведомостях», и раз навсегда... Это вольные казаки, разбойники — шайка, одним словом. Никакой тут литера-

туры нет. Так именно и надо сказать, что это не писатели. Прочитать надо, но не надо огорчаться; начинается чертово, омутовое дело, шабаш ведьм,— не ходите туда; надо дунуть и плюнуть, и пусть они безобразничают как угодно. Не огорчайтесь же, дорогой Н. К.» [30].

В октябре 1886 года, когда я, участвуя в редакции «Северного вестника», ждал от него из Чудова обещанной рукописи, я получил вместо нее письмо из Рязани: «Нежданно-негаданно пришлось бросить работу и уехать по одному делу. Уж, стало быть, что-нибудь есть, больше я не знаю что сказать, и до моего возвращения о моем отъезде не говорите никому и *никого* (буквально) не спрашивайте. Я глубоко огорчен, что надул «Сев. вестник», но я искуплю в ноябре и декабре. Не было возможности даже зайти к вам. Пишу в вокзале в Москве, через час еду дальше. Итак, знайте, пожалуйста, что если бы не серьезное дело, я бы не бросил работы и всех своих дел». Потом я узнал секрет этой неожиданной поездки: Глеб Иванович ездил за тысячу верст для улажения недоразумений, возникших в семье одного ныне уже умершего, горячо любимого им приятеля.

Около этого же времени, несколько раньше, он писал мне из Новороссийска:

«Я хочу сказать о N. Бывает ли она... И допустите ли вы, чтобы она познакомилась с .... Я бы не допустил, и, пожалуйста, не допустите этого. Вам пришлю кой-какие письма Z, и вы увидите, что это самая канальская и пустопорожняя душа. NN я не знаю, но думаю, что и в ней кой-что есть такое, что имеет не беспорочное зачатие. Так вот, как эта капелла прицепится к N да втянет ее в свой бабий танец, то это будет худо. Я, право, не знаю, но как только... так мне стало страшно за N. Я писал ей, чтобы она боялась ласковых слов... Работать работай и не покидай нас, но что касается ежели барыни задумают впутать ее в лянтрик (l'intrigue *), так чтобы лупила их наотмашь» [31].

И действительно, он писал по этому поводу г-же N.: «Боюсь я этих проклятых баб: очень они ехидны, плутоваты, очень бабы и бесконечно опытны только в одном ехидстве, плутоватости, подвохах, пронырствах и всяких ядовитых каракулях, вращающихся около амура, и только

---

* интрига *(франц.)*.— *Ред.*

амура, в котором к тому же никто из них ничего не смыслит и вне которого, однако, для них нет ровно ничего святого и даже любопытного. Черт их знает что это за порода! Когда я был у вас и прорицал в пьяном виде о литературе и о дамах, которых надо удержать в пределах серьезного интереса,— я не мог *думать,* чтобы они были такие ехидные... И вот я прошу вас: будьте мудры, яко змия! Пожалуйста!»

Надо заметить, что если я вовсе не придал значения тому литературному эпизоду, по поводу которого Успенский так взволнованно убеждал меня не огорчаться, то и дамы, от которых он предостерегал г-жу N, отнюдь не были для нее опасны. Но преувеличение опасностей было одною из особенностей, и если стереть в только что приведенных письмах следы этой его личной особенности, то что же удивительного в том, что человек волнуется из-за близких ему людей? Это элементарно. Да, но Успенскому были близки не только собственная семья и кружок приятелей. Ему поистине ничто человеческое не было чуждо. Письма его, рядом с изложением его финансовых и других бедствий и планами их устранения, переполнены заботами и хлопотами о других.

Вот, например, несколько строк из письма его ко мне: «Какое ужасное положение!.. Я прошу Павленкова оставить вам мои 250 рублей. Не знаю, кто и когда будет в Петербурге, но кто бы ни был эти дни,— из этих моих денег, наверно, устроится сколько-нибудь».

В двух письмах к М. П. Ярошенко он «на коленях просит» ее помочь одному находившемуся временно в затруднении издателю. В письме к М. И. Петрункевичу *убедительно* (подчеркнуто) просит устроить одного больного в больнице для душевнобольных, притом *сейчас, немедленно.* И т. д. и т. д.

А вот ряд его писем к В. М. Соболевскому в несколько ином роде:

«В. М.! Очень мелким шрифтом печатаете о переселенцах и пожертвованиях. Надобно привлекать к этому делу публику. Посмотрите-ка, как поступают К. и С. Поповы, чтобы публика видела слово **чай**, а когда дойдет до переселенцев, то печатается такими бактериями-буквами, что совсем не увидишь (получено 1 р. А. З., от К. Б. 50 коп.). Попов такими буквами не напечатает своего объявления, а то и он пойдет в переселенцы. Уж

на что несчастны кухарки и «человек ищет места», а и то публика может сказать, взглянув на объявление: «Эко кухарок-то!» А переселенцы и незаметны совсем. Я вот знаю тысячу докторов от сифилиса, а мне вовсе их знать не надо. Знаю Кнопа, Бутенопа, Эрдмансдорфера, мыло Тридас, Брокар, знаю, что скончалась Мазуркина, Болванкина и Лоханкина, — а переселенцы? поступило в Р. В. 1 р. 50 коп.»

«Удивляюсь, что о таких вещах, каким посвящена передовая статья 20 октября, так мало уделяется места! Просто поразительно! Сделайте милость для общества всего русского,— поручите кому-нибудь составить компиляцию для фельетона о последних английских выборах... Если уж об этаких явлениях можно говорить раз в год в 20 строках, тогда что же есть интересного на белом свете? Если вы не сделаете этого и не составите подробной компиляции фельетона на 3, бог с вами! Не буду я вас тогда любить!»

«Что это вы не сделаете извлечения из письма Карла Маркса, напечатанного в «Юридическом вестнике» в октябре [32]. Это письмо к Михайловскому *. Маркс выражает обиду, что Михайловский *позволил* себе (курсив, как и ниже, Успенского) заподозрить его в том, что он, Маркс, считает «железные законы развития капитализма» неизбежными для наций, не имеющих ничего похожего в истории с европейскими. Вот что он пишет про себя: *«Чтобы судить со знанием дела об экономическом развитии современной России, я выучился по-русски* и затем, в течение долгих лет, изучал официальные и другие издания, имеющие отношение к этому предмету. *Я пришел к такому выводу: если Россия будет продолжать идти по тому же пути, по которому она шла с 1861 г., то она лишится самого прекрасного случая, какой когда-либо предоставляла народу история, чтобы избежать всех перипетий капиталистического строя».* Ведь это смертный приговор! Положительно необходимо вам перепечатать это в сокращении. Вот тут-то и *было* наше *дело* — да сплыло. Теперь одни — *самохвалы* — из ста-

* Письмо это, часто называемое у нас письмом к Михайловскому, адресовано совсем не ко мне; это видно уже из того, что Маркс говорит в нем обо мне в третьем лице. Вероятно, он предполагал напечатать его в «Отечественных записках» в виде письма в редакцию.

тистических данных извлекают одни прелести жизни народной, великое будущее, выбрасывая всю мерзость запустения, а другие — Марксы-*карлики,* выбрасывают из этих же данных все, что еще живо оригинальностью, конечно, случайно, и повелевают покоиться всем «перипетиям». А таких слов, великих и простых, какие говорит Маркс и какие требуют огромного дела, мы не говорим и поэтому дела не делаем никакого. Как это письмо меня тронуло!»

Задумывая, очевидно, в это же время новый ряд очерков, Успенский сообщает В. М. Соболевскому, что их будет три. Первый займется вопросом: «Что будет?» («не «что делать?», не «как жить на свете?» — «этому уж не время»,— прибавляет Успенский в скобках). «Второй будет называться — «Что будет с фабрикой?». Третий — «Что будет с бабой?». Во втором «будут собраны все обещания «марксистов» о тех *превосходнейших временах,* до которых *должна* дожить фабрика». В третьем будут представлены доказательства, что баба есть человек, который, «никоим образом не пропадет без мужика и все сделает и просуществует на белом свете одна и с детьми. Как и почему капитализм должен ее *(пока!)* в порошок растереть».

«Я, право, устал. *Но не в этой устали дело* (курсив везде Успенского): дело в том, что я *теперь* поглощен хорошею мыслью, которая во мне хорошо сложилась, *подобрала и вобрала в себя* множество явлений, которые *сразу* выяснились, улеглись в порядке. Подобно «Власти земли», то есть условий трудовой народной жизни, ее зла и благообразия, мне теперь хочется до страсти писать ряд очерков: «Власть капитала». Два фельетона, которые вы напечатали, это только образчик того, что меня теперь занимает. Так вот мне и не хочется теперь мучить свою голову, отрываясь от этой *любимой мысли* для нелюбимых, для работы из-за нужды. Если «Власть капитала» — название неподходящее, то я назову: «Очерки влияний капитала». Влияния эти определенны, неотразимы, ощущаются в жизни неминуемыми явлениями. Теперь эти явления изображают цифрами,— у меня же будут цифры и дроби превращены в людей... Уверен, что ужасность их (этих явлений) будет понята читателями, когда статистические дроби придут к ним в виде людей — изуродованных и искалеченных».

План этот остался невыполненным, Успенский только приступил к нему («Живые цифры»). Это с ним не раз случалось не только в последнее время, когда усталость все больше и больше одолевала его, а и гораздо раньше, в молодую пору пробуждения, а затем и расцвета его таланта. В предисловиях к первому и второму томам его сочинений первого издания и к первому тому павленковского издания он сам отчасти рассказал, как и почему это случалось. Всегда так или иначе дело было в разладе между категорическим императивом *надо* и либо его собственною неуравновешенностью, либо разными внешними обстоятельствами, обрывавшимися «ахинеей» и «чепухой». Между прочим, его в половине семидесятых годов очень занимала мысль о романе или повести, которую он уже принялся было писать, которой и заглавие было придумано («Удалой добрый молодец»), но которой он так и не написал...

Оригинал героя этого романа очень увлекал Успенского. Он писал мне:

«Повесть, которую пишу,— автобиография, не моя личная, а нечто вроде Л<опатина>. Чего только он не видал на своем веку. Его метало из губернаторских чиновников в острог на Кавказ, с Кавказа в Италию, прямо к битве под Ментоной, к Герцену, потом в Сибирь на три года, потом на Ангару, по которой он плыл тысячу верст, потом в Шенкурск, в Лондон, в Цюрих, в Париж. Он видел все и вся. Это целая поэма. Он знает в совершенстве три языка, умеет говорить с членом парламента, с частным приставом, с мужиком, умеет сам притвориться и частным приставом, и мужиком, и неучем, и в то же время может войти сейчас на кафедру и начать о чем угодно вполне интересную лекцию. Это изумительная натура. Я и думать не могу охватить все это, но уголок я постараюсь взять в свою власть...»

Этот Л. был одним из тех явлений, на которых отдыхала душа Успенского,— одним из тех, с которыми он чувствовал себя «искренней и сильней».

Но мутные волны повседневной жизни скоро смывали подобные «выпрямляющие», живительные впечатления, которых так жаждала душа Успенского. А кроме того, случалось ему, конечно, и ошибаться, ожидая найти чистое золото там, где на деле оказывалась грязь. Вот,

например, что он писал В. М. Соболевскому после поездки в Болгарию:

«Только несколько дней, когда я чувствую себя немного по-человечески. Болгарская поездка измучила меня нравственно до ужасной степени. Никогда в жизни не был я в таком глубоком отчаянии, положительно не знал — что тут делать, то есть что думать! Всякая русская грязь, подлость... вся ложь полуславянофильства, такая, как теперь в моде, — все это здесь восстало передо мною в подлинном виде, ошеломило меня, все мне припомнило, всю жизнь, все жертвы, все лганье, которое постепенно вкрадывалось в душу страха ради иудейского, все уступки совести, вплоть до последнего слова непротивления злу. Словом, положительно я задохнулся и изнемог *от этого всего,* что здесь на меня нахлынуло вдруг сразу. Не знаю и не уверен, чтобы вы нашли возможным печатать такие письма, как прилагаемое. Но из него вы можете иметь понятие о красоте и приятности здешних впечатлений. Писать дипломатические письма, из которых ничего не известно, я не могу... Много, много в нас, русских, лжи въелось и вообще *ничего радующего!* Нехорошо, нескладно, неприятно, творится здесь дело *неведомое буквально* и ничего не обещающее в будущем. Хорошие слова — свобода, равенство — нечем наполнить ни нам, ни им. Все это здесь мыльные пузыри, которые когда лопаются, то пахнут гадко. Я стараюсь быть елико возможно беспристрастным, о Болгарии будет на основании болгарской прессы радикального лагеря, и вы увидите, как много уже в ней шарлатанства. Все это не второй, а сто второй сорт. Другое дело — народ. Он-то, его житье-бытье и обличитель всей этой скверности... Словом, не знаю, не знаю. Я буду писать, но, кроме глубочайшей скорби, ничего на душе нет от этой работы...» [33]

Измученный подобными впечатлениями и всякого рода житейской «ахинеей» и «чепухой», Глеб Иванович подумывал иногда усесться на месте, поступить на службу — на железную дорогу, в земство и т. п., имея постоянный заработок, работать в литературе спокойно, не разрывая свои произведения на клочки. Но это или совсем не удавалось ему, или удавалось очень ненадолго. Дольше всего, кажется, он *служил* заведующим сельской ссудо-сберегательной кассой в Самарской губернии. По-видимому, он этой службой был доволен,— по крайней

мере с точки зрения собранного им там материала для литературной обработки. Иначе вышло с другой его пробой служебной деятельности. 11 сентября (все равно какого года) он даже с некоторым торжеством извещал меня: «Сижу в *должности»*, а письмо от 1 февраля следующего года начинается словами: «Места у меня больше нет». И вот мотивы, изложенные в письме от 14 марта: «Место... я должен был бросить, и как ни скверно это в материальном отношении, но решительно не раскаиваюсь: подлые концессионеры глотают миллионы во имя разных шарлатанских проектов, а во сколько же раз подлее интеллигенция, которая не за миллионы, а за два двугривенных осуществляет эти разбойничьи проекты на деле там, в глубине страны? Громадные челюсти концессионеров ничего бы не сделали, ничего бы не проглотили, если бы им не помогали эти острые двухдвугривенные зубы, которые там, в глубине-то России, в глуши, пережевывают не повинного ни в чем обывателя. Я не могу быть в числе этих зубов; если бы мне было хоть мало-мальски покойно, я бы, может быть, и не так был чувствителен ко всему этому и, понимая, считал бы себя скотиной, но жалованье получал бы аккуратно. Но при том раздражении, которое временами (как в последний приезд в Петербург) достигает поистине глубочайшей невыносимости, я не могу не принимать этих скверных впечатлений с особенною чувствительностью. Место надо было бросать: все, там служащие, знают, что они делают разбойничье дело (будьте в этом уверены), но все знают, чем оправдать свое положение... а вот зачем литератор-то (каждый думает из них) тоже макает свое рыло в эти лужи награбленных денег — это уже нехорошо. «Пишет одно, а делает другое». Вот почему нужно было бросить их в ту самую минуту, как только стала понятна вся подлецкая механика их дела».

Так метался этот великомученик правды. Под правдой они разумели не только истину, вследствие чего хотели доподлинно, путем непосредственного наблюдения знать, как живут люди на востоке и западе, на севере и юге, а и отсутствие внутреннего разлада в человеке. Не тиши и глади жаждали они, «ища по свету, где оскорбленному есть чувству уголок». Его и вид страдания, горя, печали (как в «девушке строгого, почти монашеского типа» в «Записках Тяпушкина») радовал, если

их носитель не допускал в свою душу ничего «неподходящего», то есть если его «размышления» и «поступки» находились в полном соответствии. Но не всегда находил он полное удовлетворение в такой гармонии мнений, чувств и поступков. Так, в «Больной совести» он призадумывается, что, собственно, лучше — добродушие ли нашего солдатика Кудиныча, который, несмотря на это добродушие, в войнах с разными народами перебил много, по его собственному сознанию, «хороших» людей, или, например, свирепая жестокость, с которою версальские воины расправлялись после франко-прусской войны с парижскими коммунарами. Он сначала иронически похваливает Кудиныча и проч., но затем как будто склоняется на сторону свирепых версальских убийц, потому что они поступали по совести, сами считали свои деяния справедливыми, потому что не было в них разлада между размышлениями и поступками. Но *эта* гармония, конечно, не удовлетворяет его, как удовлетворяет гармония всего существа девушки строгого, почти монашеского типа. В «Записках маленького человека» Успенский, наслушавшись разговоров «расколотых надвое» людей, говорит: «Все это надоело мне до такой степени, что я бог знает что бы дал в эту минуту, если бы мне пришлось увидеть что-нибудь настоящее, без подкраски и без фиглярства: какого-нибудь старинного станового, верного искреннему призванию своему бросаться и обдирать каналий, какого-нибудь подлинного шарлатана, полагающего, что с дураков следует хватать рубли за заговор от червей,— словом, какое-нибудь подлинное невежество — *лишь бы оно считало себя справедливым»*. Из этого не следует, однако, что старинный становой, подлинный шарлатан и подлинное невежество были для Успенского сами по себе привлекательны.

Успенский питал *условное* почтение ко всякой гармонии и *безусловное* отвращение ко *всякой* «расколотости». Этого-то и не поняла марксистская критика в его изображении «земледельческих идеалов»...

И вот представьте себе этого человека с обнаженными нервами переживающим бред избиения всей семьи и всех друзей или собственного превращения в свинью. А между тем все эти ужасы, и еще большие, представляли собою только фантастически комбинированные и преувеличенные волнения, переживавшиеся Успенским и в здоровом

состоянии. В корне Глеб Иванович и больной оставался тем же Глебом Ивановичем, каким мы его знали здоровым,— все так же возвышенно настроенным, все так же занятым борьбой со злом и мраком, которая теперь только вся обратилась внутрь его собственной души, наконец даже все так же талантливым, потому что некоторые из его безумных фантазий поражают своей оригинальной красотой.

Дневник д-ра Синани переполнен медицинскими подробностями, между которыми есть и физически нечистоплотные и в других отношениях неудобоназываемые. И, несмотря на это, читая дневник, вы все время находитесь в некоторой возвышенной сфере, обволакивающей, проникающей собою и преобразующей грязные подробности,— они растворяются в ее чистоте.

Читатель обратил, может быть, внимание на поминающуюся в дневнике монахиню Маргариту, которая помогала несчастному в борьбе с «Ивановичем». Эта монахиня Маргарита играла вообще большую роль в его бредовых идеях. В дневник занесена, между прочим, следующая его запись: «Выход. Все колокола (сегодня воскресенье) прозвонили мне: Во время оно Глеб Иванович Успенский был вознесен на небеса во вселенную и был он здесь в образе монахини Маргариты в братском союзе с иноком рабом божиим Глебом. Вселенная в небесах я видел (дальше неразборчиво). А теперь он сидит за столом совсем...» На этом запись обрывается. Об этой монахине Маргарите он и мне много раз рассказывал, очень картинно описывая ее появление. Она посещала его еще в больнице д-ра Фрея, принося с собой утешение и ободрение. Никакой монахини Маргариты он, кажется, не знал; по крайней мере я раньше никогда не слыхал от него этого имени. Это было чистейшее создание его больной фантазии. Несмотря на живописное изображение ее появления, наружности ее я так и не знаю; знаю только, что в ней были собраны и как-то спаяны все лучшие стороны всех лучших известных ему женщин, причем он перечислял их поименно.

Надо заметить, что в здоровом состоянии Успенский был совершенно равнодушен к религиозным вопросам. Не то чтобы он не верил в бытие божие или в истинность христианских догматов или сомневался в них, — просто он не останавливался на этих предметах. Неко-

торых св. русских угодников он высоко чтил за то, что они «зоологическую правду» народной жизни старались поднять до высоты христианской морали. Особенно ему нравилась народная легенда о св. Николае Чудотворце и св. Касьяне; первый явился к богу в грязной и изорванной одежде, потому что проводил время в труде, и за это бог предоставил ему много праздников в году; Касьян же предстал в новом и блестящем наряде, и за это ему дан только один праздник в четыре года. Все это не имело никакого отношения к религиозным догматам и обрядам. Но в больнице (в Колмовской уже) его охватило мистически-религиозное настроение, а затем он стал исполнять и церковные обряды. Дело началось на почве все той же внутренней борьбы с «Ивановичем».

Временами Глебу Ивановичу становилось лучше. В дневнике д-ра Синани встречается, например, такая запись: «Продолжает писать. Читает, по-видимому, очень толково. Отзывы о писателях и т. д. отличаются обстоятельностью, уверенностью, знанием дела. Вообще производит впечатление крайне отрадное. Что-то будет? Неужели Глеб Иванович поразит нас и поправится настолько, что будет даже писать по-прежнему? Я боюсь даже мечтать об этом». Но, очевидно, доктор мечтал, и оптимистический взгляд, хотя и очень редко, подсказывался не только объективными данными, а и любовным отношением врача к больному. Как бы то ни было, но больному становилось временами настолько лучше, что он ездил, с провожатыми конечно, в Новгород, посещал там знакомых, бывал на земских собраниях, отпускался к себе в Чудово, откуда делал довольно большие экскурсии, ездил и в Петербург. В большинстве случаев дальние поездки оканчивались худо. Вот несколько записей д-ра Синани:

«24/IV (1893). Глеб Иванович сегодня отправился пешком в Чудово в сопровождении Степанова».

«29/IV. Вернулся со мной обратно».

«5/V. Выписался в Чудово. Сопровождает его Степанов».

«9/VI. Сегодня пришлось привезти его обратно в Колмово. Жизнь в семье оказалась для него крайне неблагоприятною. С первых же дней совместной жизни с женой он разочаровался в одном из сильно занимавших его желаний... Под влиянием отчаяния он 11 мая сильно

размозжил себе мягкие части темени камнем. Когда я приехал к нему, он сожалел, что он так поступил, объяснил свой поступок кратковременным сумасшествием и при этом, как бы в объяснение мотивов, приведших его в это состояние, проговорил следующую фразу: «Что же? Писатель я не писатель, отец я не отец — семью мою содержат другие, а не я, муж я не муж; никому я не нужен, а только в тягость». Чем дальше, тем больше было поводов для разочарований. Появились угрюмость, молчаливость, неудовлетворенность, досада на себя и на окружающих, раздражительность. Появились дерганье себя за бороду, бормотанье про себя фраз вроде следующих: «три тысячи в год», «Сашечка приедет», «пошел вон» и т. п., шушуканье, выдыхание вроде свиста, встряхивание головой и т. п. насильственные движения, царапанье раны. Наконец, стал себе наносить сильные удары по голове, по вискам, стремление размозжить себе голову палкою. Несколько дней тому назад еще можно было слышать такие фразы в его бормотанье: «Сашечка приедет», «надо жить», рядом со словами: «пошел вон». Раздражительность дошла до того, что он стал покрикивать на окружающих, гнать вон жену и детей. Аффекты гнева все усиливались, бил себя, угрожал убить себя, убить наиболее близких ему членов семьи, раз они чем-нибудь ему противоречили. Сон стал плох, все требовал sulfonat'а, который, однако, мало ему помогал. То и дело угощал себя пощечинами. Уже он не слушался и меня. При мне сделал страшную сцену своей семье, гнал жену вон за то, что она вызвала меня, нагнал ужас на домашних; когда я объявил ему, что я его возьму обратно в Колмово, то он закричал и на меня и, наконец, стал гнать вон и меня, угрожая убить и меня, и детей, и себя. Само собой разумеется, что себе он наносил при этом отчаянные пощечины. Состояние его дома можно характеризовать в кратких словах таким образом: сознание ясное, бредовых идей незаметно, насильственные представления, насильственные действия, крайняя раздражительность, наклонность к аффектам гнева, переходящим сейчас же в нежность, ласку, самообвинение, но на очень короткое время; стремление к самоувечению, самобичеванию, недовольство собою, не исключающее досады на других, не исключающее протеста против других за неисполнение его желаний, угрозы им и даже готовность

оскорбить их не только словами, но и действием. Замечательная память!»

Однако в эту же июньскую поездку, а именно после прогулки из Чудова в Грузино, у него был момент необыкновенного блаженства, который он потом часто вспоминал. Б. Н. Синани записывает:

«Воскресают воспоминания преимущественно тех сцен, которые доставляли ему чувство блаженства, восторга, например Маргарита, но особенно состояние того вечера после Грузина. Вернулся он тогда из Грузина с мрачными мыслями. Но вот ночью он стал испытывать удивительное явление превращения во всем теле. По всему телу стало разливаться, начиная с ног, как электрический ток, что-то хорошее, теплое. Он весь преобразился, он чувствовал себя счастливым, он воскрес, он чувствовал себя так, как никогда за все свои пятьдесят лет. Он был совершенно чист, без пятнышка, совсем святой. Он должен был сохранить это состояние навсегда, *навеки*. Он должен был встать и пойти к жене, но он этого почему-то не сделал. Продолжал лежать, и вот он стал чувствовать, как у него то там, то здесь потрескивает череп, настроение ухудшается, в голову забираются мрачные мысли. Трещал-трещал череп и дотрещался до того, что на следующее утро он стал разбивать его. Он не должен был этого делать, не должен был предаваться отчаянию по случаю прохождения того удивительного состояния. Он ошибочно думал, что это состояние исчезло совсем. Оно не исчезло. Оно осталось в нем. Доказательство хоть то, что он вспоминает, и воспоминание вызывает в нем теперь то же состояние. Он верит, что будет испытывать это состояние все чаще и больше и что в конце концов оно в нем укрепится, и он окажется окончательно и навсегда *воскресшим* и как человек и как писатель. И будет он *чистым, святым,* будет писать».

Кроме постоянного, упорного сосредоточения мысли на необходимости и обязанности «окончательно воскреснуть», Глеб Иванович употреблял и некоторые механические приемы для достижения этой цели. Между прочим, за время болезни у него развилась странная привычка постоянно что-то шептать про себя. Д-ру Синани он однажды объяснил, что при этом он «ведет борьбу с тьмою, не совсем еще исчезнувшею из его головы». «В те моменты, когда он кажется окружающим стран-

ным, он ведет борьбу, он содействует упрочению своего воскресения, счастия. Когда другим кажется, что он свистит, дует и т. п., он делает свое дело в пользу искоренения дурного, мрачного, темного (точно определить не может) тем, что шепчет: «Честью и совестью». А когда он вскидывает голову, он как бы отмахивается от мрачного и шепчет: «Счастие». «Теперь он убежден, что хорошее в нем не погибло, что оно восторжествует окончательно. «Добросовестность, говорит, никогда не исчезала у меня окончательно». Будет так, что в нем останутся только честь, совесть, любовь, счастие и т. п., и он будет писать. По-видимому, он как бы то и дело производит над собою эксперименты самовнушения». Однако иногда он прибегал и к более грубым средствам: колотил себя по голове с целью выбить оттуда дурные мысли...

А затем его бредовые идеи окрасились мистическим цветом. Вот одно из его писем к жене: «Уверяю тебя, дорогая моя, горячая любовь к богу с каждой минутой охватывает меня все больше и больше. Величайшее счастье жить на белом свете, светлое далекое будущее обрадует всех, кто меня любит, кто возлагает на меня большие надежды. А я люблю всех и воскресаю в любви ко всем страждущим и обремененным», и т. д. Д-ру Синани он говорил в это время, что «воскрес в любви к богу. Бога,— читаем далее в дневнике,— понимает в пантеистическом смысле и примешивает к нему любовь и бесконечность не то как атрибуты, не то как синонимы. Выходит поэтическое, довольно стройное миросозерцание, мало похожее на величавый слабоумный бред паралитика. Говоря о бесконечности, о мирах и т. п., прибавляет, что все это у него в голове, в голове его вселенная со звездами», и т. п. Еще далее он стал «ангелом господним всемогущим», стали ангелами и святыми все близкие к нему, и, даже пылая негодованием на Б. Н. Синани, он писал ему в такой форме: «Ангелу господню Борису. Позвольте просить вас написать мне, какая власть руководит вами надо мной, всемогущим ангелом-хранителем,— по власти господа бога или по вашему своеволию? Ангел господен Глеб».

Надо, однако, иметь в виду следующую оговорку дневника: «Слова: гений, ангел, даже бог и т. п. эпитеты, приписываемые им себе и близким ему лицам, во-

все не должны быть понимаемы как грубый бред вообще и как бред величия в частности. Сегодня, между прочим, он употребил слово «бог» в применении к крестьянину, причем, по обыкновению, не мог обойтись без того, чтобы не назвать крестьянина по фамилии (Угланов). Общий смысл его фантазии следующий: люди сотворены так, что в них заложены все основания к всестороннему совершенствованию, к высокому развитию их духовных (умственных, нравственных и эстетических) способностей до такой степени, что они могут подняться до степени ангелов и даже выше. Когда люди свободны от влияния насилия, порока земного, они способны быстро развиваться духовно, подниматься все выше и выше к небесам, все больше и больше уподобляться высшим небесным существам, принимать (духовно) все высшие и высшие размеры. В то же время организация их (духовная) становится все сложнее, утонченнее, нежнее, чувствительнее. Для того чтобы удержаться на достигнутой высоте, необходимо, чтобы ничем не нарушалась полнейшая гармония в их организации, необходимо, чтобы их нисколько не касалось влияние земного, порочного, насильственного. Чуть их коснулось что-нибудь низменное, они сразу начинают быстро терять свои небесные качества и принимают грубые формы и размеры земных существ, обыкновенных людей. Называя те или другие лица, приписывая им те или другие эпитеты, он, как видно, имеет в виду не конкретное их состояние в данную минуту, а их потенциальную способность».

В этой мистически расцвеченной фантазии нетрудно усмотреть тот идеал, который манил к себе Глеба Ивановича и в здравом состоянии, приближение к которому он видел в укладе мужицкой жизни, в Венере Милосской, в «девушке почти монашеского типа» и осуществления которого в самом себе он так страстно желал. Оно наступило, наконец, это осуществление, но уже в безумной фантазии. Да и то фантазия эта не раз разбивалась о страшные видения, в которых все близкие являлись или злодеями, разбойниками, развратниками, преступниками, или жертвами злодейств и преступлений; и сам он оказывался злодеем, разбойником (под некоторыми записками он так и подписывался: «Разбойник»), который убил или погубил, ограбил и т. п. всю свою семью, «зарезал свой ум, свою душу»...

Но да идут мимо нас эти ужасы, доводившие страдальца до последних пределов отчаяния. Мне хочется вспомнить в заключение Успенского счастливым, — насколько может быть счастлив несчастный, то есть в красивой, поднимающей больной дух фантазии.

Это было в один из его приездов из Колмова в Петербург. Он заезжал ко мне почти каждый день, а кроме того, я в этот же приезд видел его дважды в больших собраниях, где он непременно хотел быть, несмотря на убеждения не ездить, — на одном студенческом вечере в дворянском собрании и на большом обеде в ресторане (боюсь ошибиться, но, помнится, это был юбилей А. М. Скабичевского). На вечере молодежь, давно не видавшая своего любимца или даже только по писаниям знавшая его, окружила его густой стеной. Всегда застенчивый, тут он был особенно смущен, но вместе с тем приятно взволнован, взволнован так сильно, что его пришлось скоро увести. На обеде или, точнее, после обеда, когда встали из-за стола и разбились по кучкам, волнение его достигло высшей степени, сначала он что-то шептал, а потом стал громко и возбужденно говорить о том, что все присутствующие — ангелы, и опять пришлось увести его. Ко мне он приезжал обыкновенно вечером и долго рассказывал о том, что с ним происходит и что еще будет происходить. Говорил, например, что видит на потолке или сквозь потолок звезды, и когда я спрашивал, отчего же я-то их не вижу, да и никто, кроме него, не видит, он отвечал: «Мне это дано». — «Почему же, Глеб Иванович, вам дано, а мне не дано, и такому-то, и такому-то не дано?» — «Потому что я много пережил, чего никто не переживал, ведь вы знаете, я сумасшедшим был». И затем шел художественный рассказ о монахине Маргарите, которая являлась к нему с утешением и поддержкой. Иногда разговор начинался с какой-нибудь текущей житейской темы или с воспоминания о ком-нибудь или о чем-нибудь, но быстро переходил к тем же звездам, видимым сквозь потолок, или к другим предметам, которые ему «дано» видеть и ощущать. Так, он много раз возвращался к своей способности летать. Он утверждал, что ему «дано» дышать не так, как дышим все мы, легкими: он дышит всем телом, у него и ноги наполнены воздухом, и ему ничего не стоит подняться за облака и «быстро-быстро» долететь

до любой звезды. На выражение сомнения он отвечал все тем же «мне дано», и дано именно за пережитые им страдания. Свою способность летать он намерен был пустить в ход на благо всего человечества, и, говоря об этом, он рисовал грандиозную картину: когда настанет время, он, видимо для всех, поднимется на воздух и облетит вокруг земного шара, и этот подвиг так поразит людей, что все насильники и злодеи устыдятся, а все униженные и оскорбленные воспрянут духом, и на земле наступит царствие божие... В промежутках разговора он что-то шептал, но я не мог разобрать ни одного слова. Прощаясь, он всегда обещал скоро опять приехать, потому что ему еще много надо мне рассказать, но рассказывал опять то же самое с легкими вариациями. У него я избегал бывать, чтобы не попасть как-нибудь не вовремя, а когда случалось, то слышал те же речи или, например, такие: возьмет, бывало, на руки своего младшего сына и предлагает мне убедиться, что в нем нет веса, потому что он — ангел... Ничто земное, низменное для него не существовало, он был весь в высших слоях духовной атмосферы и был счастлив — ненадолго...

ЩЕДРИН

I

ОТНОШЕНИЕ К ЛИТЕРАТУРЕ

Почти ребенком Салтыков писал стихи; двадцати двух лет он напечатал свою первую повесть «Запутанное дело», за которую поплатился несколькими годами невольной службы в Вятке[1]. Затем вне писательской деятельности он жил подобно большинству образованных русских людей, то есть опять-таки служил, писал или подписывал отношения и предписания, подвигался вверх по лестнице табели о рангах, хозяйничал в деревне, бывал, конечно, в обществе, беседовал с дамами, играл в карты и т. д. Но во всех этих очень обыкновенных житейских положениях его как-то трудно себе представить. Мне, по крайней мере знавшему Салтыкова в последние двадцать лет его жизни, он представляется, вне литературы и литературных отношений, чем-то вроде рыбы, вытащенной из воды: беспомощно и неумело бьется рыба на берегу, и все ее существо проникнуто одной инстинктивной тоской тяготения к родной стихии, без которой ей не жить. Такою родною стихией была для Салтыкова литература. Тяготел он к ней всем существом своим, почти стихийно, как бы из чувства самосохранения. Именно так мучительно бьется и тоскует рыба, вытащенная из воды: нельзя ей остаться на берегу — уснет. Перелетные птицы тоже так тянут осенью в теплые края:

нельзя им остаться на нашем севере — замерзнут. Лично для Салтыкова самая жизнь, наконец, со всеми ее красками и звуками, получила интерес только в качестве возможности литературной работы и в качестве материала, подлежащего литературной обработке. Он и сам сознавал непреоборимо стихийный характер своей любви к литературе. В «Письмах к тетеньке» он писал:

«Этот уголок (литература) мне особенно дорог, потому что на нем с детства были сосредоточены все мои упования, и она в свою очередь дала мне гораздо больше того, что я достоин был получить. Весь жизненный процесс этого замкнутого, по воле судеб, мира был моим личным жизненным процессом; его незащищенность — моей незащищенностью; его замученность — моей замученностью; наконец, его кратковременные и редкие ликования — моими ликованиями. Это чувство отождествления личной жизни с жизнью излюбленного дела так сильно и принимает с годами такие размеры, что заслоняет от глаза даже широкую, не знающую берегов жизнь».

В «Приключении с Крамольниковым», этой «сказке-элегии», изображающей нравственное состояние самого Салтыкова после закрытия «Отечественных записок», герой печального приключения характеризуется так:

«Крамольников был коренной пошехонский литератор, у которого не было никакой иной привязанности, кроме читателя, никакой иной радости, кроме общения с читателем... В этой привязанности к отвлеченной личности было что-то исключительное, до болезненности страстное. Целые десятки лет она одна питала его и с каждым годом делалась все больше и больше настоятельною. Наконец, пришла старость, и все блага жизни, кроме одного, высшего и существеннейшего, окончательно сделались для него безразличными и ненужными... Все разнообразие жизни представляется фиктивным; весь интерес ее сосредоточивается в одной светящей точке».

Такая специализация жизни, такое сведение всего ее пестрого шума к одной хотя бы и действительно светящей точке грозили бы очень печальными следствиями, если бы дело шло о ком-нибудь другом, а не о Салтыкове. Как бы ни было велико значение литературы, но она есть только одна из функций жизни, и если она заслоняет собою то целое, которому призвана служить, то это противоестественно, — до такой степени противоесте-

ственно, что в конце концов даже просто невозможно. Знаменитые формулы «наука для науки» и «искусство для искусства» были порождением этого стремления заслониться от жизни щитами самодовлеющих специальных функций. Формулы эти очень торжественно провозглашались, очень яростно защищались, но практически едва ли когда-нибудь осуществлялись в сколько-нибудь широких размерах. Гордо священнодействуя у своих алтарей, служители чистого искусства и чистой науки находятся во власти недоразумения, которое отчасти даже забавно: они воссылают свои фимиамы куда-то ужасно высоко, к небесам небес, а ветром эти фимиамы отбивает все-таки на землю, и вдыхает их всякий, кто может оплатить продукты чистой науки и чистого искусства и воспользоваться ими либо просто для развлечения, либо для своих практических целей. А ведь цели эти не всегда возвышенны, руки у этих развлекающихся и пользующихся не всегда чисты: бывают в грязи, бывают и в крови... Таким образом, при всем величественном презрении к нашей бедной земле, к нашим маленьким земным делам служители чистой мысли и чистого воображения все-таки не выбиваются из круга земных дел и отношений. Да иначе и быть не может: «всяк земнородный» в конце концов непременно на земле останется, к каким бы ухищрениям ни прибегал и как бы ни старался перепрыгнуть через свою земнородную природу, — такой уж ему предел положен. Разница только в том, что можно сознательно оставаться на земле, стараясь о доведении земных дел до возможного для них совершенства, а можно вырвать из жизни один маленький клочок, одну «светящую точку» и, сотворив себе из нее кумира, отмести остальное, как презрения достойное, но в то же время бессознательно послужить худшему из этого остального.

Великое личное счастие Салтыкова и великое счастие русской литературы состояло в том, что рядом со стихийным, почти инстинктивным тяготением к литературе как профессии в нем жило сознание огромного значения литературы, а следовательно, и лежащей на ней ответственности. Он часто говорил о счастии, которое ему давала литературная деятельность, несмотря на тернии, попадавшиеся на его пути. Литература была для него та «она», которую поэты и поэтики неотступно преследуют

своими признаниями, хотя «она» не всегда дарит своих поклонников лаской и улыбкой, а оказывается подчас и очень жестокой; но самые муки, претерпеваемые от «нее», от милой сердцу и желанной, только еще более затягивают узы любви, только сдабривают и оттеняют общее чувство счастия. Маленький писатель Пимен, такими трогательными чертами изображенный в рассказе «Похороны», говорил, что на его памятнике (если таковой будет на его могиле поставлен) надо надписать: «Литература осветила ему жизнь, но она же напоила ядом его сердце». Великому писателю Щедрину памятник будет поставлен, и на нем можно бы было то же слово, да иначе молвить: «Литература напоила ядом его сердце, но она же осветила ему жизнь». Какие бы невзгоды ни постигали Салтыкова на жизненном и, в частности, на литературном пути, он был все-таки счастлив; счастлив сознанием того, что его излюбленное дело, мало того — дело, без которого он жить не может, как рыба без воды, есть вместе с тем великое, всеобъемлющее и, как он иногда говорит, «вечное» дело. Его «муза» лишь очень изредка выбивалась из-под строжайшего контроля сознания, под которым он ее постоянно держал. Он не доверял своему огромному таланту, мало того — даже не верил в него. Никогда не полагаясь на «вдохновение», он работал постоянно и упорно, иногда по нескольку раз переписывая и переделывая свои рукописи, и в разговоре я не раз слыхал от него, что он будто бы только упорным трудом и берет. *В неверии* своем он был, конечно, неправ, это слишком ясно, но его *недоверие* к стихийной силе таланта имело для русской литературы чрезвычайно благотворные следствия. Именно потому, что его несравненный талант выходил далеко из ряда вон и имеет мало соперников во всемирной литературе, именно поэтому он мог бы наделать больших бед, если бы его не обуздывало сознание. Давно сказано, что быстроногий, попав на ложную дорогу, дальше убежит по ней, чем тихоход; большая и быстрая река натворит в разливе больше несчастий, чем ничтожная и вялая речонка. Любопытно, что в «Благонамеренных речах», а помнится, и еще где-то, Щедрин выводит на сцену как бы самого себя в виде литератора и влагает самым глупым из своих действующих лиц (преимущественно «дамочкам») такие обращения к нему: «Ведь

вы по смешной части!», или: «Я намеднись что-то ваше читала! так хохотала! так хохотала!» Сатирика, очевидно, оскорбляла мысль о том, что какая-нибудь глупая Марья Потапьевна или еще более глупая Нонночка найдут в его писаниях веселое развлечение для себя. Это и теперь может, конечно, случиться, и тут, собственно, нет ничего оскорбительного, хотя увеселять Марью Потапьевну и Нонночку не особенно лестно и приятно. Но если бы Салтыков вздумал служить «искусству для искусства» и распустил свой искрометный заразительный юмор по ветру, не сдерживая его определенной, сознательно выработанной программой, мы имели бы не Щедрина, каким теперь его знаем, не великого будильника, а именно только блестящего писателя «по смешной части». Его писаниями увеселялись бы те, кому и без того живется весело, и увеселялись бы, может быть, на счет и в ущерб тех, кому живется слишком горько. К счастью, щедринская единственная «светящая точка» не имела ничего общего с двусмысленным искусством для искусства. Это не был кумир, ревниво требующий исключительного поклонения, это была действительно «светящая точка», единственная в том смысле, что по обстоятельствам жизни сатирика в ней, и только в ней, сосредоточивались все лучи жизни. В своей страстной привязанности к литературе Салтыков дошел постепенно до того, что все явления жизни — крупные и мелкие, трагические и комические, яркие и бледные, возвышенные и отвратительные — оказались ничтожными в сравнении с литературой и получили для него интерес только в своем литературном отражении. Это было бы уродство, если бы он в то же время не требовал от литературы, чтобы она в свою очередь отражала в себе все явления жизни. При этом условии его восторженные рассуждения о литературе являются только оригинальными комментариями к евангельскому тезису: «В начале бе Слово».

В «Круглом годе» несколько скучающих в Ницце русских людей придумывают развлечение: составляют из себя «комиссию об искоренении» сначала «всего», а потом специально литературы, ибо при ближайшем рассмотрении оказалось, что «ничто не будет надлежащим образом искоренено, покуда не будет искоренена литература». Когда один из членов комиссии предложил «одну часть произведений литературы сжечь рукою па-

лача, а другую потопить в реке, литераторов же водворить в уездный город Мезень» — автор не выдержал и произнес защитительную речь, в которой, между прочим, читаем:

«Милостивые государи! Вам, конечно, небезызвестно выражение: scripta manent *. Я же, под личною за сие ответственностью, присовокупляю: semper manent, in saecula saeculorum! ** Да, господа, литература не умрет! Не умрет во веки веков!.. Все, что мы видим вокруг нас, все в свое время обратится частью в развалины, частью в навоз, — одна литература вечно останется целою и непоколебленною. Одна литература изъята из законов тления, она одна не признает смерти. Несмотря ни на что, она вечно будет жить и в памятниках прошлого, и в памятниках настоящего, и в памятниках будущего. Не найдется такого момента в истории человечества, при котором можно бы было с уверенностью сказать: вот момент, когда литература была упразднена. Не было таких моментов, нет и не будет. Ибо ничто так не соприкасается с идеею о вечности, ничто так не поясняет ее, как представление о литературе».

В том же «Круглом годе» племянник Феденька Неугодов сообщает автору о своих служебных успехах и, между прочим, о том, что он заседает в комиссии «о мерах, которые надо принять на случай могущего быть светопреставления». Автор осведомляется, не предстоят ли в том числе какие-нибудь мероприятия по адресу литературы. Феденька отвечает: «В настоящую минуту могу сказать вам только одно: решено предложить г. Майкову написать, на случай светопреставления, гимн». В дальнейшем разговоре сведение это дает автору повод для следующего замечания: «Даже комиссия на случай могущего быть светопреставления — и та прежде всего сочла нужным открыть это торжество гимном. Почему она так поступила? А потому просто, что благодаря гимну смягчатся чересчур суровые тоны торжества, и затем — кто же знает? — быть может, и самое светопреставление будет отменено». Но и независимо от этого отдаленного события автор всеми возможными способами старается убедить сурового Феденьку Неугодова, что гнать литературу не годится, что она даже ему,

---

* написанное остается *(лат.)*.— *Ред.*

** навсегда остается, на веки веков! *(лат.)* — *Ред.*

Феденьке, необходима. «Даже дамочки отвернутся от тебя, — говорит он, — ибо и они понимают, что неприлично и скучно по целым часам только жестикулировать, но надо по временам и поговорить. И поговорить не о лишении прав состояния, а о Дюма-фисе, о Бело, о Монтепене, то есть все-таки о литературе... Квартира, в которой ты живешь, пиджак, который надет на твоих плечах, чай, который ты сию минуту пьешь, булка, которую ты ешь, — все, все идет оттуда. Если бы не было литературы, этого единственного сборного пункта, в котором мысль человеческая может оставить прочный след, ты ходил бы теперь на четвереньках обросший шерстью, лакал бы болотную воду, питался бы сырыми злаками и акридами...» И далее: «Я страстно и исключительно предан литературе; нет для меня образа достолюбезнее, похвальнее, дороже образа, представляемого литературой; я признаю литературу всецело, со всеми уклонениями и осложнениями, даже с московскими кликушами»[2].

Не чересчур ли уж это? Не безумно ли слепа та любовь к литературе, которая обнимает даже «московских кликуш» и литературные сюжеты для разговора с «дамочками» в свободное от жестикуляций время? Есть ведь в литературе своего рода волки и овцы, и нельзя же любить единовременно и овцу и волка, — чем-нибудь да надо пожертвовать. Есть литература, зовущая к истине, к подвигу, к идеалу, и есть литература пасквиля, доноса, лжи, скоморошества, издевательства над честью и совестью. Салтыков на себе испытал всю низкую злобу, на которую способна эта последняя. И не ему бы, кажется, как лично претерпевшему и как свидетелю многих чужих претерпений, простирать любящие объятия к литературе вообще.

Дело объясняется очень просто. «Осложнения и уклонения», вроде «московских кликуш» и прочего печального или позорного отребья литературы, «порою бывают мучительны, но ведь они пройдут, исчезнут, растают, и, наверное, одни только усилия честной мысли останутся незыблемыми». «Таково мое глубокое убеждение, — прибавляет сатирик,— не будь у меня этого убеждения, этой веры в литературу, в ее животворящую мощь, мне было бы больно жить». Салтыков желает, чтобы вся жизнь, во всех ее подробностях, со всеми ее мучительствами и мучениями, возвышенностями и низменностями, радо-

стями и печалями, отражалась в «светящей точке» литературы. Чтобы было все равно как в сказке: на небе солнце — и в тереме солнце, на небе месяц — и в тереме месяц. Пусть все, что пресмыкается и летает, смеется и плачет, торжествует и терпит поражение в жизни, — пусть все это отражается в литературном зеркале. «Литература имеет право допускать заблуждения, потому что она же сама и поправляет их». Но никто, никакая посторонняя сила не должна сюда вмешиваться, бросая свой меч Бренна на ту или другую чашку весов [3], оказывая покровительство одним элементам литературы и насильственно подавляя другие. Без этого постороннего вмешательства все само собой перемелется, и животворящая мощь литературы вынесет из свободной борьбы мнений только чистое, светлое, а вся муть осядет на дно житейского моря и пропадет там пропадом. Туда ей и дорога, а не то чтобы в самом деле сами по себе московские кликуши и литературные сюжеты для игривых собеседований с «дамочками» представляли что-нибудь ценное. При полной свободе печати вред, приносимый ими, был бы ничтожен, — они растаяли бы в лучах правды, яко тает воск от лица огня, потому что в конце концов не могут они выдержать открытую, прямую борьбу с «усилиями честной мысли». Если бы же они и сохранились частью, то лишь в качестве Сенькиной шапки, в качестве подлинного выражения аппетитов известной части общества. Они были бы даже полезны этою подлинностью выражения совершенно определенных житейских течений и настроений. Истина не манна небесная, питавшая евреев в пустыне. Она не готовая с неба людям сваливается, а достигается трудными путями всестороннего исследования, и на путях этих нельзя обойтись без заблуждений. Но истина и заблуждение должны быть поставлены лицом к лицу, без посторонних покровителей, хотя бы и истины, без посторонних препятствий, хотя бы и заблуждению.

Так объясняются странные на первый взгляд указания Салтыкова на заслуги Бело и признания в любви к московским кликушам. Область литературы была для него до такой степени священна, что самым ненавистным ему элементам он предоставляет как бы право убежища в ней. Такое право убежища признавалось в старые годы за храмами, куда мог правомерно укрыться самый отъ-

явленный и уличенный преступник. По мнению Салтыкова, раз человек выступил на литературное поприще, он уже тем самым становится неприкосновенным и подлежит лишь литературному же суду и расправе. Салтыкову казалось непререкаемо ясным, что на опубликование, путем печати, неверных фактов можно и должно отвечать только опровержением и опубликованием фактов верных; на неправильную аргументацию — аргументацией правильной; на литературное нападение — литературной же защитой. Он был в этом отношении радикальнейшим из радикалов. В 1880 году он был за границей, лечился и писал в «Отечественные записки» статьи, озаглавленные «За рубежом». Мимоходом сказать, мне, заведовавшему тогда редакцией «Отечественных записок», приходилось подчас туго от той нетерпеливой настойчивости, с которою Салтыков требовал сведений о той или другой статье, о цензурных опасностях, о том, когда выйдет наша книжка, и т. п. Он и за границей был полон своим любимым делом; мыслью и сердцем жил в редакции. Недаром он писал в «За рубежом»: «Легко сказать: позабудь, что в Петербурге существует цензурное ведомство, и затем возьми одр твой и гряди; но выполнить этот совет на практике, право, не легко». Так вот в этом самом 1880 году шли довольно оживленные толки о предстоящей замене административного воздействия на литературу воздействием судебным. Салтыков отнюдь не радовался этой замене. Газетные толки о ней он отметил в «За рубежом» несколькими ворчливыми страницами на ту тему, что чем же, собственно, «судебные скорпионы» лучше «скорпионов административных»? [4]

Литература неприкосновенна, но зато она честно исполняет свои обязанности, зовет общество к добру и правде, карает зло и неправду... Таков был идеал Салтыкова,— идеал, слишком удаленный от действительности. Этот разлад действительности с идеалом и был тем ядом, которым литература напоила сердце сатирика, хотя литература же осветила его жизнь.

Салтыков очень интересовался историей новейшей русской литературы и часто, в разных своих сочинениях, задавал себе мучительный вопрос, — отчего все это так странно и печально и срамно вышло? Исходным пунктом его размышлений были обыкновенно сороковые годы. Ли-

тература того времени отнюдь не была его идеалом хотя бы уже потому, что она была связана по рукам и по ногам. Были в ней и такие изъяны, которые стояли вне прямых отношений со связанностью. Тем не менее ей удалось, как говорит Салтыков в «Круглом годе», «отыскать известные идеалы добра и истины, благодаря которым она не задохлась; она же создала те человечные предания, ту честную брезгливость, которые выделили ее из общего строя жизни и дали возможность выйти незапятнанною из-под ига всевозможных давлений». Две черты особенно характерны для литературы сороковых годов. Во-первых, это была литература серьезно убежденная; во-вторых, она не имела доступа к практической жизни. Ныне убежденность исчезла, влечение к идеалам стинуло, традиция литературной брезгливости оборвалась, и вместе с тем литература вступила в общение с жизнью, с практическою злобою дня. Есть ли какая-нибудь причинная связь между серьезною убежденностью литературы сороковых годов и ее изолированностью между нынешним оскудением идеалов и общением литературы с практическою жизнью? Салтыков решительно отвечает: нет. «Изолированность, — говорит он, — конечно, имеет свою красивую, а отчасти и полезную сторону, потому что она ставит литературу в положение жены цезаря, которой не должно касаться даже подозрение в податливости, но было бы в высшей степени неестественно и даже оскорбительно, если б эта же самая изолированность сделалась бессрочною и составила бы окончательную цель существования литературы». Общение с жизнью «всегда было и всегда будет целью всех стремлений литературы». Оно само по себе не могло бы ни умалить идеалов литературы, ни, тем менее, упразднить их. Напротив, идеалы могли бы найти здесь для себя лишь поправку, опору и развитие, а никак не смерть. Но — «на деле как-то совершенно неожиданно вышло, что жизнь поступилась литературе не существенными своими интересами, не тем внутренним содержанием, которое составляет источник ее радостей и горестей, а только бесчисленной массой пустяков. И в то же время сделалось ясным, что старинный афоризм «не твое дело» настолько заматерел и въелся во все закоулки жизни, что слабым рукам оказалось совершенно не под силу бороться с ним. И, таким образом, в конце концов оказа-

лось, что литература искала общения с жизнью, а обрела общение с пустяками, — какая неожиданность может быть горше и чувствительнее этой?»

И в рассказе «Похороны» Салтыков со вздохом вспоминает то время, когда «была замкнутость, явление, конечно, не особенно плодотворное, но охранявшее литературный декорум и положившее начало некоторым литературным преданиям, на которые не без пользы можно ссылаться и ныне».

В «Письмах к тетеньке» Салтыков опять возвращается к этой терзающей его теме. На этот раз он сравнивает литературу сороковых годов со сказочной царевной, которая «была заключена в неприступном чертоге и только дремала, окутанная сновидениями». «Но в основе этих сновидений, — продолжает он, — лежало «человечное», так что ежели литература не принимала деятельного участия в негодованиях и протестах жизни, то не участвовала и в ее торжествах. Вот почему и «замаранность» была в то время явлением исключительным, ибо где же и как могла «замараться» царевна, дремлющая в волшебных чертогах?» Она пыталась временами выглянуть из своего очарованного замка, выйти из сферы возбуждения благородных чувств вообще, но тотчас же получала щелчок и вновь удалялась в волшебные чертоги. А когда выход в жизнь был ей, наконец, предоставлен, она, замученная и заподозренная, столкнулась с хлынувшей в литературу «улицей», и перевес оказался не на ее стороне. Литература в наше время, по-видимому, чрезвычайно оживлена, но в сущности это вовсе не литература, «это только шум и гвалт взбудораженной улицы, это нестройный хор обострившихся вожделений, в котором главная нота по какому-то горькому фатализму принадлежит подозрительности, сыску и бесшабашному озлоблению». «Дело в том, что везде, в целом мире, улица представляет собой только материал для литературы, а у нас, напротив, она господствует над литературой. Во всех видах господствует: и в виде частной инициативы, частного насилия, и в виде непререкаемо-возбраняющей силы».

В «Пестрых письмах» отметчик и корреспондент, а также трактирный завсегдатай Подхалимов, рассказывая автору о позорных нравах, господствующих в его газете, нахально замечает: «Печать-то ведь сила? Так ли

отче?» Эти слова поражают автора. Он вспоминает, что где-то когда-то он слыхал эти самые слова, но не в этой обстановке и не из уст Подхалимова. Да, он слыхал эти слова, верил в них, гордился их смыслом, но «никогда, никогда, даже в самые черные дни, не мог себе представить, чтобы сила печати могла осуществиться в тех поразительных формах, в каких узнал ее здесь, в эту минуту! Каким образом это случилось? Какое злое волшебство передало эту силу в руки Подхалимовых!» Размышляя о причинах этого зловолшебного явления, Салтыков приходит к такому заключению. В ту достопамятную пору, когда литературе были не то чтобы уже настежь отворены, но все-таки приотворены двери в практическую жизнь, разные литературные направления оказались слишком несходными, чтобы прийти к какому-нибудь соглашению. Это и понятно, пока речь идет о соглашении по существу. «Но дело в том, что, в пылу споров по существу, утрачено было из виду, что печать и сама по себе, в качестве общественной силы, требует ограждения, для всех мнений и партий одинаково обязательного». Соглашения по этому пункту не состоялось, общего литературного дела не оказалось. Мало того: «в самом непродолжительном времени состоялись вероломства, предательства, отступничества, в сопровождении целой свиты легкомыслий, свидетельствовавших о полном отсутствии дисциплины». Слова «печать», «литература» утратили всякий объединяющий смысл, а вместе с тем неизбежно должно было пасть и общественное значение литературы.

Итак, та единственная точка, которая освещала и грела Салтыкова сызмалетства и до седых волос и до могилы, оказалась бессильною, поруганною. Он никогда не терял уверенности, что это пройдет, как сон, как тяжелый кошмар, и светящая точка разгорится и все осветит и согреет. Но действительность все-таки обдавала его ужасом и отвращением. Чтобы оценить всю глубину этого ужаса и этого отвращения, надо помнить, что мы имеем дело с человеком, совершенно исключительно преданным литературе, для которого в ней вся жизнь сосредоточилась. И в довершение ужаса литература, в том высоком смысле, как ее понимал Салтыков, гибла благодаря, в значительной степени, собственным своим порождениям. Это было как бы матереубийство. В самом храме лите-

ратуры, в котором так благоговейно молился Салтыков и чистоту которого он так оберегал, раздавались дикие окрики: «Мошенники пера, разбойники печати!»[5] Салтыков справедливо говорил, что если эти, в сущности совершенно бессмысленные, но вполне постыдные слова появились в литературе, так, значит, и подлинно в ней завелись мошенники пера и разбойники печати. Действительно, кто, кроме таковых, осмелится сказать эти слова, клеймя ими не шантаж, не пасквиль, не клевету, а «образ мыслей»?

Об этих изменниках общему литературному делу Салтыков говорил часто. но говорил как публицист и ни разу не воссоздал эту позорную фигуру как художник, что охотно делал с другими литературными типами. Он точно боялся, что у него не хватит красок для художественного воплощения объекта его особенного, преимущественного негодования. Слишком это негодование было сильно, и охваченный им художник не мог объективировать волновавшее его явление во всей его жизненной цельности. Но он подходил к этой задаче. Такова удивительная сказка «Христова ночь», в которой воскресший бог благословляет всю природу, благословляет людей, пострадавших от неправды, указывает путь спасения всем. творящим неправду, — всем, кроме предателя Иуды...

Если, однако, Салтыков скорбел об отсутствии или распадении общего литературного дела, так из этого не следует, чтобы он исключал из своих симпатий только изменников общему делу печати. Если бы эти изменники не были изменниками, то есть не прибегали бы к приемам, не имеющим ничего общего с литературной полемикой, они были бы в глазах Салтыкова все-таки врагами. И не одни они. Напрасно стараются уверить, что Салтыков стоял вне партий. Его великий талант поднимал его над всеми нашими партиями, но умом и сердцем он принадлежал вполне, детально определенному направлению. Утверждать противное, значит забывать не только такие частные факты, как полемика Салтыкова со «Старейшей Всероссийской Пенкоснимательницей»[6], но и тот общий факт, что он был редактором журнала с совершенно определенной физиономией. Мне кажется, что с точки зрения самого покойника нельзя нанести его тени большего оскорбления, как это забвение его редакторской деятельности. Он очень дорожил ею. Я помню то глубо-

кое огорчение, которое причинило ему закрытие «Отечественных записок». Огорчен он был не только фактом закрытия, который обрывал его любимую деятельность и заставлял его идти писать, как он выражался, «в чужое место»; он огорчался и формой, в которую был облечен прискорбный факт, — формой, до известной степени как бы выделявшей лично редактора из общей беды журнала. Говорят, будто он часто расходился со «своими». Неправда, со своим журналом он никогда не расходился. Но он держался того мнения, что «довольно странно представить себе Белинского, от времени до времени понюхивающего с Булгариным табачок» («Похороны»). Многие из тех, кто хотел бы ныне посчитаться с великим покойником хоть «свойством», если не родством, получали от него в свое время хорошие щелчки; но он их никогда и не считал «своими».

Без сомнения, условия русской печати не особенно благоприятствуют образованию определенных литературных партий и направлений. Салтыков понимал это и скорбел, что вполне соответствует его требованию, чтобы в литературе отражались все оттенки жизни. В «Мелочах жизни» он сопоставляет европейское газетное дело с русским. В Европе дело поставлено так: «Правильна или неправильна идея, полезно или вредно направление, которому служит данная газета, это вопрос особый; но несомненно, что и идея и направление существуют, что они высказываются в каждой строке журнала, не смешиваясь ни с какими другими идеями и направлениями. Издатель знает, что он издает; подписчик знает, на что он подписывается». У нас, конечно, должно бы было быть то же самое, потому что это нормальный порядок. Но, по обстоятельствам, наши газеты распределяются только по двум категориям: ликующих и трепещущих. «Содержание для первых представляет веселая диффамация и всех сортов балагурство, иногда, впрочем, заменяемые благонамеренным бешенством; содержанием для последних служит агонизирующая тоска ввиду завтрашнего дня и ежедневная разработка шкурного вопроса». Затем рисуются соответственные типы газетчиков: Иван Непомнящий и Ахбедный. В конце концов оба они равно погрязают в «мелочах жизни». Но Непомнящий погрязает с веселием, потому что за душой у него нет никакой идеи, никакого направления, — он просто кувыркается и сам

не знает, откуда и зачем он появился на арене газетной деятельности; зато он знает, что прочно приладился к данным условиям и что ничто не грозит ему ни завтра, ни послезавтра. Ахбедный, напротив, очень хорошо знает, зачем он явился в литературу, но вынужден ежедневно дрожать над вопросом: «Пройдет или не пройдет?».

«Русский читатель, защити!» — вырывается у Салтыкова в рассказе «Похороны». А в «Мелочах жизни» он делает маленький смотр русским читателям. Есть «читатель-ненавистник», есть «солидный читатель», есть «читатель-простец». На всех на них плоха надежда. Есть, наконец, «читатель-друг». Есть он, Салтыков в этом не сомневается, но этот читатель заробел, затерялся в толпе, и между ним и писателем нет постоянного непосредственного общения. Временами общение становится возможным. «Такие минуты, — говорит сатирик, — самые счастливые, которые испытывает убежденный писатель на трудном пути своем». Но «покуда мнения читателя-друга не будут приниматься в расчет на весах общественного сознания с тою же обязательностью, как и мнения прочих читательских категорий, до тех пор вопрос об удрученном положении убежденного писателя останется открытым».

У Салтыкова было много читателей-друзей. Пускай же они памятуют, как любовно относился к ним суровый сатирик, как размягчалось его сердце при мысли о них. В союзе убежденного писателя с читателем-другом он видел залог торжества литературы — конечно, не той литературы, которая в своем злобном предательстве или беспутном скоморошестве уподобляется нечистоплотному и неразумному животному басни, подрывавшему корни дуба, лишь бы сейчас наглотаться желудей. Животное это достигает своей цели, — наедается желудями, но вместе с тем печатное слово лишается того уважения и влияния, которые ему приличествуют.

Да возродится же, хоть в память Салтыкова, союз убежденных писателей с читателями-друзьями...

II

ВЕРА В БУДУЩЕЕ

Когда на могиле Салтыкова пели «вечную память», то многим, вероятно, приходило в голову, что вот в данном случае это слово не минется, что это не просто со-

ставная часть обряда, для всех покойников одинакового, а точная формула подлинного и несомненного факта. Ничто не вечно под луною, прейдет и сама земля, и солнце когда-нибудь погаснет, а потому говорить о чьей бы то ни было вечной памяти мы можем только в условном смысле. Но достоверно, что, пока не перестанет звучать русская речь, Салтыков не забудется. А до этого во всяком случае так далеко, так далеко, что мы в своей человеческой ограниченности смело можем называть это вечною памятью. Недаром Салтыков, будучи литератором до мозга костей, находил, как мы видели, что ничто так не соприкасается с идеей о вечности, как представление о литературе. Недаром он постоянно думал о будущем и о суде потомства.

Мне кажется, что может быть установлено известное соответствие, известная пропорциональность между тою долею внимания, которую человек уделяет будущему, и тою долею внимания, которою его в свою очередь отдаривает будущее, между его заботами о потомстве и степенью его долговечности в памяти потомства. В этой пропорциональности нет ничего мистического. Она объясняется очень просто. Человек, не заглядывающий в будущее дальше завтрашнего дня, разве только случайно и в виде исключения, под влиянием какого-нибудь аффекта совершит нечто такое, что могло бы увековечить его имя. Вообще же говоря, ему нет резона строить вековечное здание, и натурально, что, не оставив после себя никаких следов, он на следующий же после смерти день забывается. Такой человек фатально обречен на пустяки, не имеющие никакой цены в глазах следующих поколений. Всегда жертвуя будущим для настоящей минуты, он может, конечно, провести эту минуту очень приятно,— хорошо поесть и попить, вывернуться, не разбирая средств, из трудного положения, достигнуть степеней известных и т. д.; но следующая же минута может в прах разнести этот приятный карточный домик и посрамить его строителя, а после смерти ничего, кроме праха, от него не останется. Может быть, конечно, причина и следствие должны в этом случае поменяться местами. Может быть, человек минуты именно потому и не заглядывает в сколько-нибудь отдаленное будущее, что не способен создать что-нибудь вековечное, но известная пропорциональность здесь все-таки есть. Есть она и в противополож-

ном случае, когда человек упорно, пристально вглядывается в будущее, болеет или радуется за него, видит в нем и наследника и судью настоящей минуты. Будущее, бесконечно большее, чем та точка настоящего, в которой он находится, естественно налагает на него высокие и трудные обязательства и фатально побуждает к деятельности, которой предстоит «вечная память». Опять-таки, может быть, и здесь надо переставить следствие на место причины и обратно: может быть, только те и способны заглядывать в более или менее отдаленное будущее, кому отпущены силы совершать великие, вековечные дела. Так ли, сяк ли, но большой человек не довольствуется настоящим, — ему тесно в нем, его тянет к будущему, и он достигает вечной памяти. Он человек вечности.

Мне скажут: а Тамерланы с Аттилами? А Нероны с Калигулами и разные другие изверги человечества? Да, этим гарантирована вечная память, и пройдут еще и еще века, а имена их не померкнут в потомстве, хотя они, по всей вероятности, не особенно обеспокоивали себя мыслями о будущем. Но, во-первых, для такого оборота дела нужно огромное, из ряда вон выходящее злодейство, а во-вторых, и эти, а иногда и не столь крупные злодеи хотя и поступают в ведение истории, но с минусом, заклейменные знаком отрицания. И если человеку минуты совершенно наплевать на суд потомства и истории, то человек вечности с трудом может представить себе что-нибудь ужаснее налагаемого историей клейма отвержения. Человек вечности и в настоящем живет не только этим настоящим, а также и грядущими событиями и после смерти живет своим наследством в среде оставшихся жить. Само собою разумеется, что между человеком вечности и человеком минуты есть множество переходных ступеней, сообразно которым длится всеми воспеваемая, но не всеми получаемая «вечная память». Тамерланы же и Калигулы остаются в памяти потомства лишь в качестве чудищ, ничего не внесших в общее дело человечества, никаких положительных следов на земле не оставивших.

Однажды, по некоторому особенному случаю, мы разговорились с Салтыковым о картине Каульбаха «Каталаунская битва» или «Сражение с гуннами», — не помню, как она называется [7]. На этой картине, внизу, на земле,

гунны дерутся с римлянами и их союзниками, а вверху, на небе, души погибших в сражении продолжают яростную битву. Салтыкову очень нравилась эта мысль о загробном продолжении земной битвы. В нем, в его личности эта мысль получила свое осуществление: он умер, но живет и продолжает свою битву жизни, мне кажется, именно потому, что он при жизни много жил будущим. Он много думал о потомстве, и потомство отдаривает его вечной памятью.

В самом деле, я не знаю писателя, которого мысль о будущем, как о наследнике и судье настоящего, посещала бы так часто, как Щедрина. И это удивительно хорошо дополняет и поясняет его мысль о родственности литературы с вечностью. Хотел ли он показать ничтожество какого-нибудь беспардонного писаки, вроде Ивана Непомнящего или Подхалимова, — он говорил: этот человек не понимает, что scripta manent (одно из любимейших изречений Салтыкова), да его scripta и в самом деле сгинут («Газетчик»). Вспоминались ли ему наиболее прославившиеся гонители света и правды, он писал: «Пронеслись они бесплодным, иссушающим ветром по лицу земли; разоряли, преследовали по пятам, душили и, наконец, сами задохлись в судорогах снедавшей их угрюмости. И даже могилы их стоят забытыми, потому что всякий спешит скорей пройти мимо, чтобы не вспоминать кошмара, который неразлучен с памятью об них» («Круглый год»). Заходит ли речь о Балалайкине, Глумов, alter ego * Щедрина, говорит: «Балалайкин — имярек — не попадет в историю. С него достаточно и того, что он где-нибудь в конце тома, в ученых примечаниях фигурировать будет. Но Балалайкины вообще, Балалайкины — их же имена ты, господи, веси! — те краеугольный камень составят. А от них пойдет мораль и на заманиловцев, проплеванцев, погорелковцев. Потому что кто же виноват, что о них никаких свидетельств нет, кроме ревизских сказок? Вот и скажет историк: на основании таких-то и таких-то данных я имею право заключить, что сия эпоха была эпохой распутства всеобщего!» («В среде умеренности и аккуратности», «На досуге»). Ренегату Салтыков обещает совсем особого рода памятник, но все-таки памятник, в загробное воздаяние ему и

---

* двойнике *(лат.)*. — *Ред.*

в поучение потомству. Он думает, что, вообще говоря, хотя ренегатов слегка и балуют, но внутренно все-таки презирают. «Ренегат, прочно утвердившийся на высоте, — редкость; но и такому обыкновенно по смерти втыкают в могилу осиновый кол» («Письма к тетеньке»). В другом месте сатирик говорит «о тех архиябедниках, которые, при посредстве печатного станка, всю Россию опутали своею подкупною кляузою и на могилу которых потомство вместо монумента уготовает осиновый кол» («Пошехонские рассказы»). Иуде Искариоту он придумывает страшную казнь. Воскресший Иисус обрекает предателя на вечную мучительную жизнь перед глазами бесчисленных поколений: «Живи, проклятый, и будь для грядущих поколений свидетельством той бесконечной казни, которая ожидает предательство» («Христова ночь»).

Везде — мысль о загробном суде, о суде грядущих поколений. Полное немедленное забвение и бессмертное клеймо позора — вот крайности того уложения о наказаниях, которым руководствуется история. Салтыков утверждал, что нужно быть или совсем безумным, или совсем бессовестным, чтобы не понимать, что попасть в историю с нехорошим прозвищем «вещь далеко не лестная» («В среде умеренности», «Господа Молчалины»). Но таких совсем безумных или совсем бессовестных во всяком случае очень много на белом свете — хоть пруд пруди... Мысль о будущем есть привилегия избранных, привилегия, конечно, драгоценная, так как она раздвигает естественные пределы личной жизни в сторону грядущих веков, но и настолько тягостная, что ее могут вместить лишь сильные и чистые. Не только не бояться суда потомства, но искать его, тяготеть к нему — это доступно лишь тем, кому в самом деле нечего бояться и чью память потомство благодарно хранит. Многие, слишком многие согласны совсем не попасть в историю ни с хорошим, ни с дурным прозвищем и пройти свое земное поприще изо дня в день, лишь бы были удовлетворены их маленькие эфемерные вожделения, их маленькие тщеславия, маленькие злости. Их не испугаешь ни клеймом истории, ни тем, что они совсем не будут жить в потомстве. А между тем у Салтыкова можно встретить даже такое определение: «жить, *то есть* оградить будущее идущих за нами поколений» («Письма к тетеньке»). Это уже слишком, конечно. Это определение просто сор-

валось у сатирика, и сам он отлично понимал, что всякий имеет право жить за свой личный счет, хотя бы уже по тому элементарному соображению, что если поколение за поколением будет все жить только для следующего поколения, так никто и никогда жить не будет. Но даже оставляя в стороне этот случайный lapsus, хотя и находящийся в тесной связи с мыслью, постоянно занимавшею Щедрина, может показаться наивною его угроза разным проходимцам и негодяям: смотрите, мол, коли так будете продолжать, так не попадете в историю, или же потомство отметит вас клеймом отвержения! «Эка беда, нашел чем пугать! — могли бы ответить негодяи и просто люди минуты. — Ведь нас не будет!» Действительно, их не будет, а широкие горизонты общечеловеческой солидарности на всем протяжении истории им совершенно чужды, абракадабра какая-то. И поистине гласом вопиющего в пустыне были бы в этой среде угрозы историческим забвением или исторической карой.

Но Салтыков нашел, как ему по крайней мере казалось, ахилесову пяту и у людей минуты, даже у негодяев и проходимцев. Он указал им страшную кару в потомстве, но не за гробом, а при жизни — в детях.

«Я уверен, — говорит Щедрин, — что если бы Шешковский мог предвидеть, что на страницах «Русской старины» будут время от времени появляться анекдоты о его подвигах, то он от многого воздержался бы... Имей Шешковский хоть смутное представление о силе исторических обличений, он сказал бы себе: «Черт возьми! у меня есть сын, у меня могут быть внуки и правнуки — каково им будет читать в «Русской старине» рассказы о «малороссийском борще» (деликатная замена слова «розги») или об особой конструкции кресле, в которое я для пользы службы (то есть для наказания на теле) имею обыкновение сажать своих пациентов! Ведь я думал, что все это останется шито и крыто, и вдруг... Нет, лучше практику эту оставить!» («Господа Молчалины».)

Это все-таки еще пока указание на трудно воспринимаемую историческую перспективу, но уже выступают на сцену дети, собственные дети злодействующего Шешковского, а не только туманная масса потомства вообще. В тех же «Господах Молчалиных» дело подвигается вперед. Речь идет об очень обыкновенном в нашей жизни «двоегласии»: человек устраивается так, что его лич-

ная жизнь и его профессия не только не имеют между собою ничего общего, но во многих отошениях совсем расходятся, а между тем обе эти струи текут себе в душе человека параллельно, не нарушая своим двоегласием его спокойствия. Иллюстрация к этому приводится такая. Жила-была танцовщица, известная танцовщица, женщина уже пожилая, вполне добродетельная и отличная мать семейства. Совершив весь дневной круг забот о детях, она отправлялась вечером в театр и там, как ей надлежало по ее профессии, «всенародно показывала свои атуры». Дети ничего этого не подозревали, — в театр их не пускали. Но вот в один прекрасный вечер сын танцовщицы, гимназист, соблазнился запретным плодом и тайком отправился в театр и видит: «Какая-то роскошная женщина, впереди всех, на самом юру, покрытая вместо платья прозрачной тряпочкой, совсем, совсем нагая, стоит на одной ноге, а другою, протянутою до уровня плеча, медленно, медленно выделывает круг. Затем, вглядываясь в эту женщину пристально, он узнал в ней свою мать...» — Рассказ обрывается этим многоточием, автор не сообщает, что воспоследовало за неожиданным открытием гимназиста. Это только цветочки драмы, ягодки — впереди.

Профессия господина Молчалина в точности неизвестна; автор говорит только, что ему, автору (отнюдь не самому Молчалину), она несимпатична. Некоторый намек на ее характер дает следующая, поразительная по силе кисти сцена:

«Я видел однажды Молчалина, который возвратившись домой с обагренными бессознательным преступлением руками, преспокойно принялся этими самыми руками разрезывать пирог с капустой.

— Алексей Степанович! — воскликнул я в ужасе. — Вспомните, ведь у вас руки...

— Я вымыл-с, — ответил он мне совсем просто, доканчивая разрезывать пирог».

Окровавленные руки не мешают Молчалину не только пирог с капустой разрезать; они не мешают ему также быть истинно добродушным человеком, прекрасным семьянином и, в частности, нежно любящим отцом. Такова сила двоегласия и жизни изо дня в день, без заглядывания в будущее. Детей у Молчалина много, и он счастлив ими. Но долго ли это счастье останется неруши-

мым? Уже появляются признаки какой-то таинственной грозы. Старший сын, студент-медик, и старшая дочь выражают подчас мысли, резко бьющие Молчалина по уху, и в свою очередь нетерпимо относятся к некоторым мнениям отца. Он и дети уже как будто перестают понимать друг друга, какая-то рознь между ними легла. А что будет дальше? Сам Молчалин начинает задумываться: «А ну, как Павел-то Алексеич мой как ни на есть недоглядит за собой?» — то есть пойдет не по проторенной молчалинской дорожке и, что называется, «попадется»? Автор смотрит дальше отца и провидит не только то горе, которое молодой Молчалин нанесет старику Молчалину, если «недоглядит за собой». Он спрашивает себя: «Как отнесутся Молчалины-дети к деятельности Молчалиных-отцов? Отвернутся ли от нее с суровою неумолимостью бесповоротного убеждения, или же, более мягкосердечные, подарят ей смягчающие обстоятельства... только смягчающие обстоятельства? В том и другом случае разве это не казнь?» Салтыков думает, что «тут, именно тут и таится зерно той заправской русской драмы, которой доднесь никак не могла выродить из себя русская жизнь. Итак, настоящая, захватывающая дух драма найдена... Но кто же воспроизведет ее и когда?»

Щедрин сам попытался воспроизвести эту драму в превосходном рассказе «Больное место». Только попытался, только приподнял один угол занавеси, за которою сама жизнь уже давно и актеров разместила и неоднократные репетиции им делала. Виною такой воздержности Салтыкова был, конечно, не недостаток желания с его стороны, а прежде всего щекотливость самой темы. Щекотливость разносторонняя. И так как обработка темы, во всей ее обширности, оказывалась неудобною, то с тем малым, что он решился эксплуатировать, Салтыков поступил с особенною обдуманностью. Герой «Больного места» Разумов есть, собственно говоря, тот же Молчалин, таким же упорным трудом и смирением пробившийся на некоторую высоту административной лестницы, с такими же окровавленными бессознательным преступлением руками и в то же время лично добродушный, прекрасный семьянин и в особенности любящий отец. Служил Разумов всегда «по сущей совести» и может говорить о себе: «Мухи не обидел!» Тем не менее ему приходилось совершать дела столь жестокие, что однажды

одна обездоленная мать крикнула ему на улице: «Сатана! сатана! сатана!» Разумов был оскорблен, но не мстил матери, потому что понимал материнские чувства. Есть у него сын Степа, единственный и тем более дорогой. Старику Разумову пришлось выйти в отставку и поселиться в провинции, а сын остался в Петербурге доканчивать свое образование. Он приезжал к родителям только на летние каникулы, сперва гимназистом, а потом студентом. Сын был во всех отношениях утешением родителей: учился хорошо, сердце имел нежное, отца и мать любил не менее, чем они его. Все превосходно, все элементы семейного счастия налицо. Но, как и в истории Молчалина, понемногу скапливаются грозовые тучи, подбирается на седую голову Разумова кара за бессознательно совершенные злодеяния. Сначала пробегает какое-то отчуждение. — Степа охотнее проводит время с своей молодой родственницей Аннушкой, чем со стариками родителями. Замечает старик, что Степа начинает держаться такого образа мыслей, который не имеет ничего общего с тем, что им, стариком, руководило всю жизнь. Дальше — больше. Однажды Разумов, в присутствии Степы и Аннушки, разговорился на тему служебных воспоминаний: как трудно было ладить с начальством, как именно он, а не кто другой, провел такое-то и такое-то мероприятие. Должно быть, эти мероприятия были из тех, о которые кровавятся руки Молчалиных и Разумовых, потому что среди рассказов старика вдруг с шумом отодвинулись от стола два стула: «Это были стулья, на которых сидели Степа и Аннушка. Оба разом молча встали и направились в другую комнату». Старик понял, в чем дело, и потребовал объяснения. Сын сначала говорит, что он, на месте отца, не вспоминал бы «этого», то есть того прошлого, за которое, между прочим, обездоленная мать обругала его сатаной. Но затем молодой человек, нежный и любящий, просит только о прекращении разговора и обещает никогда больше ничем не выражать своих чувств и мыслей на этот счет. Старик, однако, все понял. «Он думал, что сын утеха, а вышло, что он — просияние»; просияние и казнь. Загрустил старик, перебирая все свое прошлое, а будущее готовило ему новый, последний сюрприз. Невдолге пришло от сына из Петербурга письмо, в котором сын прощался с отцом: он решился на самоубийство. Мотивировал он свой посту-

пок так: «Есть вещи, которые заставляют меня глубоко страдать и о которых говорят при мне, нимало не стесняясь. Иные с похвалою, другие — более нежели с порицанием. И то и другое несносно. Когда я оскорбляюсь, то мне возражают, что это до меня не касается и что стоит только «совсем порвать», чтобы относиться к этого рода вещам с такою же объективностью, с какою относятся к ним и другие. Но я не могу, я слишком слаб, слишком люблю» и т. д. Юноша слишком любит отца, чтобы совсем отвернуться от него, но вместе с тем слишком оскорблен всяким напоминанием о позорном прошлом этого отца — и умирает...

О таланте Салтыкова, об его размерах и свойствах у нас речь еще впереди будет, и потому я не останавливаюсь на художественных красотах «Больного места» — одного из лучших произведений Щедрина. Мой сухой пересказ его фабулы не может, конечно, дать никакого понятия об этой небольшой вещи как о художественном произведении. Я хотел только обратить внимание читателя на ту обстановку, в которую автор вдвинул одну из своих излюбленнейших мыслей. Старик Разумов вовсе не злодей сам по себе, он только человек минуты, исполняющий «по сущей совести» то, что считает своим долгом, и не вглядывающийся в мрачные глубины этого долга. Степа опять же не какой-нибудь заносчивый молодой человек, склонный смотреть сверху вниз на отца; это не Базаров, грубо, пренебрежительно третирующий своих стариков, и не молодой Кирсанов, покровительственно подсовывающий отцу «Stoff und Kraft» * Бюхнера вместо Пушкина, это — нежная, скромная, любящая, преданная душа. И все-таки грозный суд потомства тяжелой карой обрушился на седую голову Разумова...

С «бесшабашным советником» Удавом случилось нечто подобное. «У Удава было три сына. Один сын пропал, другой — попался, третий остался цел и выражается о братьях: так им, подлецам, и надо! Удав предполагал, что под старость у него будут три утешения, а на поверку вышло одно. Да и относительно этого последнего утешения он начинает задумываться, подлинно ли оно утешение, а не египетская казнь» («Письма к тетеньке»). Эту историю Салтыков рассказывает вкратце, бегло, ничем не при-

---

* «Материю и силу» *(нем.)*.— *Ред.*

крывая и не украшая ее голый фактический остов. То ли ему показалась недостаточно интересной казнь такого совсем уже отпетого человека, как бесшабашный советник Удав; то ли он усомнился в самом факте казни, — может быть, ведь с Удава все это как с гуся вода скатывается? Может быть, он, подобно своему «последнему утешению», готов сказать: так им, подлецам, и надо! Хотя автор и выражает надежду, что «Удав — авторитет в своей сфере, а потому очень возможно, что и другой, на него глядя, задумается», но это еще вилами по воде писано. Из многих семейных историй, рассказанных Салтыковым, припомним хоть «Непочтительного Короната» («Благонамеренные речи»). Можно ли ожидать, чтобы кузина Машенька, предназначившая Коронату, как она выражается, «юридистическую часть» и затем решительно отказывающаяся от него, когда он избирает себе медицинскую часть, — можно ли ожидать, чтобы эта милая дама пережила при каких бы то ни было обстоятельствах скорби, подобные скорбям старика Разумова? Конечно, нет. Кузина Машенька прочно устроилась в своей твердыне благонамеренных речей: «как христианка и мать, я не могу позволить», «у меня есть правила» и проч. И если в случае какой-либо беды с Коронатом она не скажет: так ему, подлецу, и надо! — то только потому, что она вообще таких грубых слов не говорит. А когда Коронат узнает, что за ее благонамеренными речами скрывается кулацко-кабацкая действительность, так она и ухом не поведет. Да Коронат, по всей вероятности, очень хорошо знает, но это его вовсе не трогает. Словом, здесь нет элементов драмы, которую Салтыков называет заправской русской драмой. Весьма возможно, что этих элементов не было бы и в жизни Шешковского, даже в том случае, если бы сын его был знаком с содержанием анекдотов, печатаемых в «Русской старине». Вообще эта драма возможна, очевидно, только при наличности тех уз нежной любви, какие связывают семью Разумовых, вопреки всему остальному, всей прочей розни. Свою мечту о разбуженной судом потомства совести сатирик построил на элементарном, почти животном чувстве родительской любви. И казалось бы, именно по своей элементарности этот базис должен быть и достаточно широк и достаточно прочен. Но, как выясняется из показаний самого Салтыкова и в «Благонамеренных речах», «Господах Головлевых», «Господах

ташкентцах», «Пошехонской старине», наша семья не может составить собою такой базис. К ней, вообще говоря, мудрено привить лозунг: «Перед детьми стыдно». «Просияние» старика Разумова, при всем своем действительно дух захватывающем драматизме, должно быть признано явлением более или менее исключительным.

Но зато на этой почве возможна и другая драма, которой Щедрин не предвидел, если не считать предвидением легкий намек, брошенный в «Письмах к тетеньке» отношениями дяди Григория Семеновича и Сенечки. Намек этот слишком слаб в сравнении с тем, что мог бы дать на эту тему Салтыков, если бы остановился на ней пристальнее.

Мысль о «заправской русской драме», о суде потомства в лице детей занимала Щедрина в 70-х годах, когда жизнь давала обильные материалы для такой постановки вопроса об отцах и детях. С тех пор утекло много воды. Недавно было во всеуслышание выражено мнение, что для учащейся молодежи гораздо лучше заниматься азартной игрой на тотализаторе при скачках, чем политикой. Заявлено это было не случайно как-нибудь, не с полемического разбега, а в виде серьезного аргумента в защиту тотализатора, который, дескать, дает заработок учащейся молодежи и отвлекает ее от политики. Этот поразительный аргумент, которым, надо думать, не замедлят воспользоваться и игорные дома, в высшей степени характерен. Характерно уже и то, что в логическом прыжке от политики к тотализатору минуется вся область искусства и науки, казалось бы, обязательная для учащейся молодежи. Но это только подробность. Весь аргумент, во всей своей «целокупности», так и просится в рамку щедринских «Благонамеренных речей». И если мы дошли до того, что такие «трезвенные» слова возглашаются всенародно, путем печати, то, значит, мы уже давно к ним подходим: вдруг, ни с того ни с сего, этакое не говорится, оно подготовляется долгим развращением мысли и чувства. Представьте же себе молодежь, испытавшую на себе это долгое подготовление, воспитавшуюся в нем. Салтыков, устами бывшего штатного смотрителя чухломских училищ титулярного советника Филоверитова, предложил некоторый проект в видах «необходимости оглушения в смысле временного усыпления чувства». По этому проекту надлежит «приучить молодых

людей к чтению сонников, или к ежедневному рассмотрению девицы Гандон, или же занять их исключительно вытверживанием азбуки в том первоначальном виде, в каком оную изобрел Таут» («Дневник провинциала в Петербурге»). Тотализатор, кажется, перещеголял эту якобы карикатуру, а он действительность. Что же мудреного, если наши «оглушенные» дети, дышащие этим зараженным воздухом, осудят нас не за какие-нибудь жестокости и подлости, а за наши «бредни», за то, например, что мы не в тотализаторе искали себе заработка и не занимались ежедневным рассматриванием девицы Гандон? И тогда может возникнуть драма даже более потрясающая, чем та, которая подкосила старика Разумова. Разумов во всяком случае признавал и не мог не признавать своего сына честным человеком; сын был для него, правда, источником тяжелой драмы, но вместе с тем и «просиянием» и «утехой». А мы? Подумать страшно...

Будем надеяться, что эта горчайшая из чаш минует нас; будем стараться, чтобы она нас миновала. Так поступал бы по крайней мере Салтыков, то есть надеялся бы и старался.

Мелкие люди не думают о будущем совсем, крупные — думают много, причем это будущее представляется им или мрачным, или светлым. Натуры созерцательные склонны к мрачному взгляду на будущее, натуры деятельные — верят в будущее. Это понятно: всякий крупный человек сознает или по крайней мере чувствует в себе силу повлиять на ход жизни, а следовательно, и на будущее. Но созерцательная натура не желает пускать эту силу в ход, не имеет внутри себя никакого стимула для такого воздействия на жизнь; деятельная же, напротив, стремится к воздействию, а таящаяся в ней сила дает ей уверенность, что ее идеалы достижимы. Созерцательная натура мыслит, то есть взвешивает причины и следствия, и, натыкаясь мыслью на зло, просто включает его в цепь причинности и признает его историческую законность. Деятельная натура этим не ограничивается и сама, собственной персоной вторгается в исторический ход вещей в качестве причины.

Салтыков был деятельная натура. По его мнению, «здоровая традиция всякой литературы, претендующей на воспитательное значение, заключается в подготовлении почвы будущего... Не успокаиваясь на тех формах, кото-

рые уже выработала история, провидеть иные, которые хотя еще не составляют наличного достояния человека, но тем не менее не противоречат его природе и, следовательно, рано или поздно могут сделаться его достоянием, — в этом заключается высшая задача литературы, сознающей свою деятельность плодотворною. Литература провидит законы будущего, воспроизводит образ будущего человека» («Итоги»). В своих неустанных заботах о будущем Салтыков не держался, конечно, философии Панглоса[8], утверждавшего, что все идет к лучшему в сем наилучшем из миров. Напротив, он безбоязненно констатировал всяческое зло нашей жизни, исследовал его причины и указывал следствия, насколько хватал его глаз. В этом даже состояла его специальность, но и за всем тем он верил в будущее, в конечное торжество света над мраком. Когда он видел, что литература не исполняет возлагаемых на нее самою ее сущностью обязанностей, он объяснял себе причины этого прискорбного положения вещей; он понимал, что в современной литературе «*должна* господствовать публицистика подсиживания, сыска и клеветы». Он, однако, не мирился с этим и спрашивал свою тетеньку, отчего же это нельзя примириться с тем, что исторически законно? И сам же отвечал: «Оттого, милая тетенька, что все мы, яко человеки, не только мыслим, но и живем», то есть действуем и сами можем оказаться причиною известного ряда явлений.

Любопытно то в высшей степени оригинальное представление, которое Щедрин имел о духе зла, сатане. Это совсем не что-нибудь могучее и в этой мощи обаятельное, хотя бы и злое: «Воплощенное бесстрастное неразумие — вот настоящий сатана» («Больное место»). Эта же мысль получает дальнейшее развитие в поразительном фельетоне «Властитель дум», который с обидною расточительностью вкраплен в «Современную идиллию» и приписан перу «корреспондента».

«Что такое сатана? Это грандиознейший, презреннейший и ограниченнейший негодяй, который не может различать ни добра, ни зла, ни правды, ни лжи, ни общего, ни частного и которому ясны только чисто личные и притом ближайшие интересы. Поэтому его называют врагом рода человеческого, пакостником, клеветником. И по той же причине место действия ему отводят под землей, в темном месте, в аду... Он ищет утопить в позоре не толь-

ко себя лично, но и все живущее, не только настоящее, но и будущее».

Но будущее постоит за себя. И хоть много зла может натворить сатана, но справиться с ним все-таки можно, — это ведь только презреннейший и ограниченнейший негодяй!

«Не надо думать, что общество когда-нибудь погибнет под гнетом уныния и что оно вынуждено будет воспринять хлевные принципы в свои нравы. Надо гнать прочь эту мысль даже в том случае, ежели она выступает вперед назойливо и доказательно. Надо всечасно говорить себе: нет, этому нельзя статься! не может быть, чтобы бунтующий хлев покорил себе вселенную! Не следует забывать, что хлевные принципы обязаны своим торжеством лишь совершенно исключительным обстоятельствам, которым общество ни в каком случае не причастно. Но ведь должна же когда-нибудь настоящая, правильная жизнь вступить в свои права. И она вступит» («Письма к тетеньке»).

Можно бы было составить из сочинений Салтыкова целую хрестоматию веры в будущее, но я ограничусь еще только одной ссылкой на две-три страницы, озаглавленные «Гиена» (в «Сказках»). Этот маленький набросок любопытен как свидетельство того, что даже всякая случайная мелочь наводила Щедрина на его любимую мысль. По-видимому, ему просто попалась под руку книга Брема, развернутая на описании нравов гиены. Он немедленно приспособил это описание, во-первых, к литературным делам, а во-вторых, его поразила возможность приручения, покорения человеком такого дикого и скверного животного, как гиена. Он говорит, что затем только и рассказал про гиену, чтобы наглядным образом показать, что «человеческое» всегда и неизбежно должно восторжествовать над «гиенским». А затем следует превосходная лирическая страничка на эту тему: «Человеческое никогда окончательно не погибало, но и под пеплом, которым временно засыпало его «гиенское», продолжало гореть. И впредь оно не погибнет и не перестанет гореть — никогда! Ибо для того, чтобы оно восторжествовало, необходимо только одно: осветить сердца и умы сознанием, что «гиенство» вовсе не обладает теми вол-

шебными чарами, которые приписывает ему безумный и злой предрассудок».

Сатана ли, гиена ли — зло может натворить много бед, может временами доводить до уныния и даже отчаяния, но в конце концов оно не непреоборимо с точки зрения человека, по себе знающего меру человеческой силы и полного жажды деятельности. Пусть сам он просто физически слаб и хил и не так воспитан жизнью, чтобы в открытую бороться со злом,— он вручает свою веру в будущее самому этому будущему в лице «детей». Вы помните, как кончается рассказ «Пропала совесть». Совесть, всеми отталкиваемая и швыряемая, попадает, наконец, в сердце «маленького русского дитяти». «И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нем большая совесть. И исчезнут тогда все неправды, коварства и насилия, потому что совесть будет не робкая и захочет распоряжаться всем сама».

Среди крайне немногочисленных положительных, симпатичных автору образов в писаниях Щедрина одно из самых видных мест занимает юноша, стремящийся к добру и правде. Таков в «Больном месте» Степа. Таков в «Благонамеренных речах» Коронат. Он является мимоходом, но вполне ясен благодаря ясности отношения к нему автора. Автор отечески добродушно подтрунивает над его резкостью, над его презрением к общепринятым приличиям, но вместе с тем не только любит, а и уважает его. Таков, далее, в «Мелочах жизни» Чудинов. Он приехал в Петербург учиться, затем «он начал понимать, что за учением может стоять целый разнообразный строй отношений; что существует общество, родная страна, дело, подвиг». Но тут его подкосила чахотка, и ему надо уезжать из Петербурга. Дверь ученья для него уже закрыта, но он как-нибудь доберется до дома, отдохнет, выправится и непременно выполнит ту задачу, которая в последнее время начала волновать его. Смерть не дала ему прикоснуться к этой задаче, и прославленный своей насмешливостью и суровостью Щедрин плачет в последней строке рассказа: «Умер человек, искавший света и обревший смерть». Сюда же относится Юленька, внучка Ивана Михайловича в «Дворянской хандре». Молодая девушка, которую дед зовет «мудрой», горячо убеждает двух стариков: «Заря опять придет, и не только заря, но

и солнце! Есть добрые, не падающие духом! есть! И они увидят солнце, увидят, увидят, увидят!»

Это — вера самого Салтыкова. Действенная вера, ибо Салтыков не думал, что стихийный исторический процесс сам собой одолеет сатану и приведет все к наилучшему концу без усилий с нашей стороны. Эту-то действенную веру он и завещал молодым силам. Оправдают ли они его надежды?

III

ОТНОШЕНИЕ К НАРОДУ

Едва ли найдется много слов, которые подвергались бы такой трепке, какая выпала у нас недавно на долю слова «народ». Разумею семидесятые и самое начало восьмидесятых годов. Потом это измученное слово куда-то кануло и чуть не совсем из обращения вышло. А казалось, такое необходимое, неизбежное слово было... И серьезные люди были им заняты и веселонравные. Некоторые уверяли даже, что оно, равно как и самый предмет, им обозначаемый, уж слишком много места в литературе занимает: от мужика, дескать, проходу нет, из-за него все высшие задачи духа, а также и увеселительная сторона жизни забываются. Тут и горячие теоретические споры были и беллетристика соответственная, а одно время «народ» забрался было так высоко («выше сферы своей, словно пролетарий какой», сказал бы образованный гоголевский приказчик), что даже в области общей практики поднялось знамя «народной политики». Нельзя сказать, чтобы все сердца были этим обрадованы и обнадежены, но уличная литература проворно пристроилась к новому знамени, хотя, впрочем, столь же проворно от него отхлынула, когда явились другие знамена. А потом и пошел «народ», как ключ ко дну, и пустил ему вдогонку некоторый легкомысленный писатель презрительное «culte du peuple» *.

Дело, впрочем, не в судьбе слова «народ», а в той позиции, которую занимал по отношению к нему Салтыков. Позиция эта была очень сложная, как оно и должно было быть, ввиду сложности самого предмета. И если

* культ народа *(франц.)*. — *Ред.*

бы во время трепки, задаваемой слову «народ», все трепавшие принимали в соображение эту сложность, если бы некоторые из них не валили в одну кучу народ-нацию, народ-толпу, народ-простонародье, народ—рабочих людей, то получились бы, надо думать, некоторые более осязательные результаты, чем те, какие имеются теперь.

В начале восьмидесятых годов некто Кунц усердно рекламировал изобретенные им кушетки, чрезвычайно удобные для исполнения на них телесного наказания. Выдумал ли Кунц, кроме того, порох — неизвестно, но специальные кушетки для сечения, кажется, не обогатили Кунца: ни начальство, ни частная инициатива не оценили этого благодетельного изобретения. Салтыков по этому случаю писал: «Я все-таки рад, что кушетки эти изобрел Кунц, а не Иванов. Почему рад, я и сам объяснить не могу, но мне кажется, что если б это изобретение принадлежало Иванову, то каторги ему за него было бы мало. А Кунцу как раз впору» («Недоконченные беседы»). Что же это такое значит? Почему такая очевидно любовная строгость к Иванову и такая презрительная снисходительность к Кунцу? Родители, воспитатели, учителя говорят старшему сыну или первому ученику: тебе-то уж стыдно, ты ведь не то что вот этот маленький или вот этот последний ученик! И это понятно. Но разве Кунц маленький или последний, а Иванов старший или первый? Конечно, нет. Наоборот, Кунц и старше и по успехам выше стоит. За Кунцем прочная вековая культура числится, а Иванов чуть что не новорожденный. Совершенно поэтому несправедливо казнить его каторгой за то самое, что Кунцу впору. Если так рассудить, что Кунц, предлагая свои усовершенствованные кушетки русскому начальству и русской частной инициативе, все-таки по крайней мере хоть на чужие ему русские спины покушался, а Иванов не имел бы за себя этого оправдания, то на первый взгляд это как будто и похоже на аргумент. Но только на первый взгляд. Прежде всего Кунц ни на что не покушался. Он не пропагандировал розги, а просто говорил: вы употребляете розги, так вот вам усовершенствование. Но если бы и в самом деле речь шла о пропаганде розог, так неужто же идея братства народов так мало подвинулась к своему осуществлению, что, например, русскому русские спины огорчать не

годится, а испанские или немецкие ничего, можно? Нельзя, конечно, сказать, чтобы идея братства народов очень подвинулась вперед в наши дни всеобщего приготовления к всеобщей драке, но, что касается Салтыкова, я уверен, что он не похвалил бы Иванова за покушение и на испанские спины. И, что всего замечательнее, сатирик и сам не может объяснить, почему он рад, что кушетку для сечения выдумал Кунц, а не Иванов. Некоторое объяснение можно, пожалуй, почерпнуть из знаменитого диалога «мальчика в штанах» и «мальчика без штанов» («За рубежом»). Немецкий мальчик в штанах благовоспитан, во всяком случае благовоспитаннее русского мальчика без штанов; он справедливо хвалится и лучшим питанием, чем какое получает его собеседник, и добрыми нравами, и наукой, и свободными учреждениями. Ничего равносильного мальчик без штанов с своей стороны предъявить не может. Однако и он, наконец, уловляет мальчика в штанах. Из дальнейшего разговора оказывается, что мальчик в штанах продал за грош свою душу черту, то есть г. Гехту, а душа мальчика без штанов хотя тоже принадлежит черту, то есть г. Колупаеву, но отдана ему даром, без всякого контракта, а следовательно, пожалуй, может быть и назад взята. Автор с своей стороны находит, что, как ни велики блага цивилизации, которыми пользуется немецкий мальчик, но не настолько они все-таки ценны, чтобы за них можно было продать душу. В приложении к специальным кушеткам для порки, я думаю, это значит вот что: нехорошая вещь порка, но еще хуже, если люди сюда душу кладут и не о прекращении нехорошего дела думают, а ломают себе головы над разными его тонкостями и усовершенствованными приспособлениями; пусть уж порка остается, доколе ей жить суждено, в своем первобытном, неусовершенствованном виде! А так как Кунц вообще черту душу продал, то ему, пожалуй, впору этими усовершенствованиями заниматься; Иванову же этого не полагается.

Эта мысль, наверное, входила в состав радости Щедрина, что не Иванов, а Кунц выдумал кушетку. Однако по возвращении из «за рубежа» он встретил «мальчика без штанов» облаченным не только в штаны, а и в полную красивую форму железнодорожного артельщика, причем оказалось, что он теперь уж «по контракту» у

г. Разуваева. Это одно уже если не колеблет нашего объяснения, то свидетельствует о его неполноте и односторонности.

Вообще надо сказать, как ни обширна, как ни сложна писательская деятельность Салтыкова, но главные ее исходные точки чрезвычайно просты, до такой степени просты, что даже почти не поддаются логическим операциям. Мы уже видели этому примеры. Его тяготение к литературе в основании своем не есть результат какихнибудь логических соображений, это просто инстинкт, элементарное чувство самосохранения, и он сам не мог бы его объяснить: кто ж его знает? просто тянет. Он любит литературу прежде всего, как говорится, нутром и притом литературу вообще, всю, литературу an sich und für sich. Но затем появляется на сцену контролирующее и направляющее сознание, сознание до такой степени сильное и всегда бодрствующее, что не допускает его ни до малейших уклонений от намеченного литературного пути и дает ему возможность до тонкости разобраться в чужих путях и уклонениях. То же самое мы видели и в его вере в будущее. В основании своем это опять-таки нечто сырое, непосредственное, почти физиологическое. Он верит в будущее просто потому, что он уродился крупной и деятельной натурой, в которой живут и силы и стремление повлиять на ход вещей; в качестве таковой он не может не верить в будущее помимо всяких логических доводов. Но опять-таки выступает контролирующее сознание и не только не допускает его до каких-нибудь слащавостей (которых не чужд, например, даже Гоголь), но дает возможность пророчески ясно видеть то зло, которое должно перейти из настоящего в ближайшие этапы будущего. Это необыкновенно счастливое сочетание могучей непосредственности, богатого сырья, с одной стороны, и силы неусыпно бодрствующего сознания, с другой, составляет, мне кажется, основную черту всей литературной физиономии Салтыкова. Она-то и придавала особенную твердость, особенную вескость и устойчивость всему, что он делал. В Салтыкове все непосредственно, все стихийно в своей исходной точке, все установилось «без размышленья, без борьбы, без думы роковой», но только в исходной точке, а в дальнейшем развитии подвергалось строжайшему контролю сознания. Это, как я уже заметил в первом очерке, отражалось и

на самой технике его работы: яркие образы, оригинальные обороты речи, блестящие и совершенно неожиданные сравнения возникали в его мозгу с чрезвычайной быстротой, вы могли за этим следить в простом разговоре с ним, но писал он упорно и много труда вкладывал в свои писания. Может быть, здесь же следует искать основания того доверия, которое он питал к непосредственному чувству родительской любви, каковое чувство должно было способствовать просиянию совести.

Та же самая черта сказывается в занимающем нас теперь вопросе. Салтыков сам признается, что не может объяснить, почему он рад, что кушетку для порки выдумал Кунц, а не Иванов. Кто же ее знает?! Просто потому, что он любит Иванова, и ему было бы обидно, если бы любимый человек занимался скверным и унизительным делом усовершенствования порки, а Кунц, пожалуй, бог с ним, потому чужой он ему. Салтыков понимал односторонность такого взгляда, если тут можно говорить о взгляде, а не просто о безотчетном тяготении, — понимал и сам подтрунивал; но понимал также, что ничего с этим не поделаешь, ввиду тех «внутренних нитей, которые с самого рождения связывают нас с массами и которые проходят потом неизменно через все наше существование» («Письма о провинции»). Кунц, конечно, такой же человек, как и Иванов, может быть даже лучше его, а все-таки Иванова, хоть бы он даже с вполне неумытым рылом ходил, не отдерешь от сердца. И не только самого Иванова, его чад и домочадцев, а и всю его, может быть, очень убогую физическую и нравственную обстановку, весь тот хотя бы очень унылый пейзаж, среди которого он проводит свою жизнь. Еще в «Губернских очерках» есть прочувствованные страницы на эту тему. Например:

«Я люблю эту бедную природу, *может быть,* потому, что какова она ни есть, она все-таки принадлежит мне; она сроднилась со мной точно так же, как и я сжился с ней; она лелеяла мою молодость; она была свидетельницей первых тревог моего сердца, и с тех пор ей принадлежит лучшая часть меня самого. Перенесите меня в Швейцарию, в Индию, в Бразилию, окружите какою хотите роскошною природою, накиньте на эту природу какое хотите прозрачное и синее небо — я все-таки везде найду милые серенькие тоны моей родины, потому что

я всюду и всегда ношу их в моем сердце, потому что душа моя хранит их, как лучшее свое достояние».

Это писано давно, когда Салтыков еще не выработал того яркого, блещущего неожиданными искрами языка, каким он писал впоследствии. Но те же мысли или чувства рассыпаны и в позднейших сочинениях, между прочим и в «За рубежом». Напомню только образ старого чимпандзе в берлинском зоологическом саду. Сквозь юмор, которым сверкает описание старой обезьяны, «оторванной от дорогих интересов родины и посаженной за решетку», слышится настоящая, глубокая тоска по родине. Чимпандзе был, может быть, у себя в родных лесах исправником и теперь там за ним «числится тридцать тысяч неисполненных начальственных предписаний и девяносто тысяч (по числу населяющих его округ чимпандзе) непроизведенных обысков!» И у исправника, и у тех чимпандзе, у которых он производит обыски, и у прочих членов этого обезьяньего народа есть на родине собственная, привычная им атмосфера, насыщенная общими им нравами, привычками, говором, даже разумом. Все это дорого и близко сердцу. Так же дорого и близко сердцу Щедрина все сонмище Ивановых, весь русский народ. Это совершенно непосредственная любовь, не поддающаяся логическому анализу, потому что Салтыков был настоящий, коренной русский человек, не происхождением только, а всем складом, и просто естеством тянулся туда, «где русский дух, где Русью пахнет». Как и все исходные точки Салтыкова, это тяготение не подлежит никакому вменению: ни вины его тут нет, ни заслуги. Вина или заслуга начинаются с того момента, когда наступает работа сознания.

Любовь к России, к русским людям, к русскому народу сплошь и рядом представляет собою нечто вроде крышки от Пандорина ящика, которую стоит только приподнять, чтобы из ящика хлынули пошлость, наглость, ложь, лицемерие, беспардонное самохвальство[9]. И не всякий даже искренно охваченный тою стихийною привязанностью к русским людям, которая жила в Салтыкове, благополучно сводит концы с концами в том на вид простом, а в сущности очень сложном предмете, который называется русский народ. Иной совершенно искренно ухватится за какую-нибудь подробность, вроде сарафана или сапогов навыпуск, и до такой степени ослепится ими,

что и не заметит, как тем временем расплывутся куда-то подлинно важные черты народной жизни. А о лжецах нечего и говорить. Те очень рады, когда можно замутить воду и потом наловить в ней рыбы. Мутить же воду в данном случае чрезвычайно легко. Стоит только, воздымая руки к небу или бия себя в грудь, погромче кричать: мы русские!.. русский народ!.. историческая задача русского народа... Ан, смотришь, русский солдатик под эти возгласы пошел на войну на картонных подошвах, а разница между картонными и кожаными подошвами осталась в тех самых руках, которые воздымались к небу. Потом опять: мы русские!.. русский народ!.. Ан и опять что-нибудь перепадет: каких-нибудь жидов или немцёв уберут, и на их место кричащие сядут, и хотя будут делать то же самое, что делали убранные жиды и немцы или даже превзойдут их, но зато будут по-русски в бане по субботам париться, по воскресеньям русские пироги с капустой есть и отборными русскими скверными словами ругаться. И патриотические сердца возрадуются.

Собственно, о патриотизме Салтыкова мы будем говорить, когда дойдет очередь до «Благонамеренных речей». Здесь я замечу только, во-первых, что, по мнению Салтыкова, если еврей говорит «дурака шашу», то это совершенно равнозначительно русскому «дурака сосу» («Недоконченные беседы»). Во-вторых, Салтыков утверждает: «Идея, согревающая патриотизм, — это идея общего блага. Какими бы тесными пределами мы ни ограничивали действие этой идеи (хотя бы даже пространством княжества Монако), все-таки это единственное звено, которое приобщает нас к известной среде и заставляет нас радоваться такими радостями и страдать такими страданиями, которые во многих случаях могут затрогивать нас лишь самым отдаленным образом. Воспитательное значение патриотизма громадно: это школа, в которой человек развивается к восприятию идеи о человечестве» («Сила событий»).

Как бы то ни было, «но русский дух» родственно мил Салтыкову. И вот почему он рад, что Кунц, а не Иванов изобрел кушетку для порки. Но Иванов не всегда так безупречен, и в таких случаях сатирик бывает огорчен. Поводов для огорчения Иванов доставляет много, и из этого множества возьмем на первый раз такой. Отчего, спрашивает Салтыков, путешествующий англичанин везде

носит свой родной тип, со всеми его слабыми и сильными сторонами, и ничего своего не утаивает, а русский «гулящий человек» за границей всячески лебезит, притворяется, от своего открещивается и даже готов при случае оклеветать свое отечество? Русский мужик, однако, «является самим собой, то есть простым, непринужденным, и точно так же (как англичанину) не придет ему в голову стыдиться того, что он русский» («Русские гулящие люди за границей»). Таким образом, в многомиллионной массе Ивановых оказывается какая-то щель, резко отделяющая «гулящих» Ивановых от Иванова-мужика. Щель эта глубокая, потому что не о пустяках каких-нибудь идет речь, не о сапогах в штаны или штанах в сапоги, а о выдающейся черте душевного склада. А «гулящие люди», надо заметить, не ничтожная какая-нибудь горсть, которую и во внимание не стоит брать. Правда, относительное число их не может быть велико, но, должно быть, они представляют собою некоторую значительную силу, потому что, как рассказывает сатирик, «в России они ездят на перекладных и колотят по зубам ямщиков» («за границей они пересаживаются в вагон и не знают, как и перед кем излить свою благодарную душу»). Читатель видит, что мы находимся не в сегодняшнем дне, потому что кто же теперь ямщиков по зубам колотит, да и на перекладных-то кто ездит? Но для нашей цели это безразлично, мы только стараемся разобраться в мыслях Салтыкова. Вся масса Ивановых, первоначально как будто равно дорогих сердцу сатирика, раскалывается на две группы, и в первой из них, меньшей числом, но сильной значением, оказываются такие нравственные изъяны, что положение человека, связанного с ними непосредственными, кровными узами, весьма усложняется. Узы остаются, все равно как Авель и Каин, несмотря ни на что, остаются братьями, сыновья, надругавшиеся над Ноем, остаются его детьми [10]. Это — свои, и ничего тут не поделаешь. Но тем больнее чувствуется безобразие «гулящих людей», тем сильнее возбуждаемое ими негодование. Зато на другой группе, на мужике, глаз сатирика отдыхает.

Обыкновенно думают, что это деление всего русского народа на собственно народ и отколовшиеся от него высшие правящие классы есть и открытие и отличительная черта славянофилов, причем, дескать, они, именно

они и одни они, отдавали свои симпатии народу в тесном смысле слова. Это далеко не верно. Тот же Салтыков, будучи немногим моложе основателей славянофильства, принадлежа во всяком случае одной с ними эпохе развития, но никогда не испытав на себе их влияния, совершенно самостоятельно отмечает факт, составляющий будто бы их открытие, и столь же самостоятельно выражает свои симпатии народу. И это не случайно брошенная мысль, она всегда жила в Салтыкове, равно как и во многих других писателях отнюдь не славянофильского лагеря. Добролюбов, считающийся отъявленным западником и во всяком случае не имеющий ничего общего с славянофильством (я полагаю, что в его время умные люди уже вполне эмансипировались как от западничества, так и от славянофильства), с полным сочувствием отметил эту тенденцию, явственно проходящую через все «Губернские очерки»[11]. Действительно, стоит только сравнить очерки, озаглавленные «Общая картина», «Отставной солдат Пименов», «Пахомовна», с теми, в которых фигурируют крупные и мелкие чиновники, помещики, крутогорский бомонд, чтобы убедиться в ярко выраженной симпатии Салтыкова к народу. Как справедливо указал Добролюбов, он не вносит никакой фальшивой идеализации в свои изображения народных типов. Народ у него является со всеми своими недостатками, грубостью, невежеством, но вы чувствуете, что автор прав, говоря, что он находится «под обаятельным влиянием юной и свежей народной силы» («Отставной солдат Пименов»). Тот же мотив слышится и в «Невинных рассказах» («Святочный рассказ», «Развеселое житье»), где автор «ощущает, что в сердце его таится невидимая, но горячая струя, которая без ведома для него самого приобщает его к первоначальным и вечно бьющим источникам народной жизни».

Времена «Губернских очерков» и «Невинных рассказов» я назвал бы периодом бессознательного отношения Салтыкова к народу. Чиновничество и помещики сразу отделились для него в особую от собственно народа группу. И не мудрено: он видел крепостное право и Крымскую войну. Но затем он бесхитростно и правдиво рассказывал виденное и слышанное им в народной среде, не теоретизировал ни в каком направлении, не пытался анализировать ни свои чувства, ни предмет, их возбуждав-

ший. Он просто любовался поэтическою цельностью веры какого-нибудь отставного солдата Пименова и других богомольцев и странников или отчаянною и опять-таки поэтическою удалью героя «Развеселого житья». Это любованье осложнялось лишь скорбью о том гнете, под тяжестью которого изнывает народ («Святочный рассказ», «Миша и Ваня»). Но скорбь эта, казалось тогда, должна вскорости потерять всякий raison d'être *. Весеннее солнце всходило над русской землей — вековые кучи снега и льда таяли, и «Русский вестник», где печатались «Губернские очерки», шел во главе того весенне-радостного движения, которому он же потом доставил мрачные осенние дни. Казалось, вот-вот наступит на земле мир и в человецех благоволение, а потому и скорбь о народных бедствиях не могла приковывать к себе слишком пристальное внимание и очень отвлекать от непосредственного любования картинами народной жизни. Весна кончилась, да и Салтыков вырос, его могучая сила сознания вступила в свои права и обязанности.

Защищая литературу и главным образом «Отечественные записки» от упреков в переполнении мужиком, Салтыков говорил Феденьке Неугодову: «Скажу тебе по секрету, мне и самому литература наша по временам кажется в этом отношении несколько однообразною и через край переполненною мужиком. Ведь и я... да, брат, я тоже не чужд соловьев и роз... que diable!» ** («Круглый год»). И это правда. Конечно, «соловьи и розы» как будто не совсем идут к суровому облику нашего сатирика. Но несомненны все-таки его художественные инстинкты, сказавшиеся и в том любовании картинами народной жизни, которое мы видим и в «Богомольцах, странниках и проезжих», и в «Святочном рассказе», и в «Развеселом житье». Там положительно есть и соловьи и розы. Художнику отказаться от них нелегко. Но, продолжает Щедрин объяснять Феденьке Неугодову: «присмотревшись к делу пристальнее, приходится согласиться, что иначе оно не может быть. Мужик — герой современности, это верно. И не со вчерашнего дня так повелось, а давненько-таки, с конца сороковых годов. Ты, разумеется, не был очевидцем «начал», но я не только помню, но даже лично

* смысл *(франц.).— Ред.*

** черт возьми! *(франц.).— Ред.*

присутствовал при них. Я помню «Деревню», помню «Антона Горемыку», помню так живо, как будто все это совершилось вчера. Это был первый благотворный весенний дождь, первые хорошие человечные слезы, и с легкой руки Григоровича мысль об том, что существует мужик-человек, прочно залегла и в русской литературе и в русском обществе. А с половины пятидесятых годов эта мысль сделалась уже господствующею в русской жизни. Все, что ни есть в России мыслящего и интеллигентного, отлично поняло, что, куда бы ни обратились взоры, везде они встретятся с проблемой о мужике».

Да, но тогда мужик был главным образом почти исключительно человек, подлежащий освобождению. Эта, бесспорно, огромная сторона его существования заслоняла в нем для литературы и общества все остальное. Много благотворных, как много, впрочем, и злых и дрянных мыслей было пущено в оборот, но какие бы обширные горизонты они ни обнимали, их источник и их устье составлял все-таки человек, подлежащий освобождению. И вот этот человек освобожден. Покончилась ли вместе с тем «проблема о мужике»? Салтыков этого не думает. И не только потому, что, как спрашивает поэт, «народ освобожден, но счастлив ли народ»? [12] Дело не в счастье или несчастье народа, то есть не в нем одном. Народ представляется Салтыкову огромною загадкою огромного теоретического интереса и огромной практической важности. Загадка эта поистине не дает ему покоя. Он пробовал воплощать ее в образы. Такова, например, «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Рассказав эту повесть, Щедрин точно и сам с недоумением останавливается перед ее моралью. Как это так вышло, что мужик, будучи неизвестно с чего и по какому праву разбужен и обруган генералами, сейчас же полез на дерево, нарвал им по десятку самых спелых яблоков, а себе взял одно, кислое? Как так вышло, что и дальше он их кормил, поил, наконец доставил в Большую Подьяческую, где они кучу денег загребли, а ему «выслали рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!» А вышло именно так. Силища, очевидно, страшная, а помыкать ею так легко; работа египетская, а за двадцать спелых яблоков приходится одно кислое. То же самое недоумение и в «Сне в летнюю ночь». Под впечатлением прекрасно удавшегося юбилея в честь департаментского

помощника экзекутора сатирик видит сон. В селе Бескормицыне учитель Крамольников и священник Воссияющий затеяли, в видах благотворного воздействия на крестьян, а также и просто в видах справедливости, устроить пятидесятилетний юбилей в честь крестьянина Мосеича: ровно пятьдесят лет тому назад Мосеич женился и тем самым возложил на себя рабочее тягло. По свидетельству священника, сельских начальников и прочих односельчан, Мосеич прожил эти пятьдесят лет безукоризненно: работал в поте лица, подати своевременно вносил, храм божий посещал, семьянин был прекрасный. На юбилее учитель Крамольников произносит длинную и горячую речь на тему о великих трудах русского крестьянина. Речь эта очень замечательна даже помимо юбилея. Но Крамольникову не пришлось кончить речь. Он только что перешел к «вопросу о том, какие радости, какие удобства и льготы купил себе русский крестьянин ценою стольких опасностей и непосильных трудов?» — как сон автора вследствие некоторого постороннего явления «принял резко хаотический характер».

«Ташкентство, — говорит Салтыков, — пленяет меня не столько богатством внутреннего своего содержания, сколько тем, что за ним неизбежно скрывается «человек, питающийся лебедой». Этот человек — явление очень любопытное в том отношении, что он не только не знает, но, по-видимому, и не желает сытости. Стоит он, скучившись в каком-то безобразном муравейнике, и до того съежился и присмирел там, что никто даже не интересуется знать, что это за масса такая, которая как будто колышется и живет, но из которой в то же время не выходит ни единого живого звука» («Господа ташкентцы»). За границей перед Щедриным «воочию метался тот повинный работе человек, который, выбиваясь из сил, надрываясь и проливая кровавый пот, в награду за свою вечную страду получит кусок мякинного хлеба. Есть что-то мучительно-загадочное в этом сопоставлении мякинного хлеба и вечной страды» («За рубежом»).

В одной из сказок народ изображен в виде «Коняги». Жил-был Конь, и у него было два сына: Коняга и Пустопляс. Пустопляс был сын вежливый и чувствительный, Коняга — неотесанный и бесчувственный. И определил, наконец, Конь каждому из сыновей его долю: Коняге — солому, Пустоплясу — овес. Много времени прошло, взду-

малось пресыщенному благополучием Пустоплясу посмотреть, как его братец живет. Пришел, смотрит и удивляется: бьют Конягу чем ни попадя, кормят соломой, с утра до ночи Коняга в поле работает, а все жив. Стали Пустоплясы рассуждать, отчего это Коняга живет, когда ему, по всем соображениям, давно помереть надо. Один говорит, что это от здравого смысла, другой — что это в Коняге «жизнь духа и дух жизни» действуют, третий приписывает чудо душевному равновесию, четвертый — привычке. Так и остался вопрос нерешенным.

Эта нерешенность «проблемы о мужике» или, как его также называет Салтыков, «человеке, питающемся лебедой», «человеке, повинном работе», «внекультурном человеке», чрезвычайно беспокоит сатирика, из чего видно, что не одни пустоплясы этим делом заняты. Салтыков и сам это очень хорошо знает. В «Письмах о провинции» есть следующие, в высшей степени замечательные строки:

«Есть что-то фаталистическое в том, что мы все заветные, светлые думы наши посвящаем именно этой забитой, малосмысленной и подчас жестокой толпе, что самый великий мыслитель, которого мысль, по-видимому, не может иметь ничего общего с мыслью толпы, именно ей отдает лучшую часть своей деятельности. Да, тут есть своего рода фатализм, но не в том смысле, в каком обыкновенно клеймят этим словом какое-нибудь положение, которое не хотят или не могут объяснить, а фатализм, объясняемый тою общечеловеческою основой, которая именно и составляет соединительное звено между неразвитою толпой и наиболее развитою отдельною человеческою личностью. История показывает, что те люди, которых мы не без основания называем лучшими, всегда с особенною любовью обращались к толпе, и что только те политические и общественные акты получали действительное значение, которые имели в виду толпу».

В словах этих указано действительно любопытное явление, и мы увидим в свое время, что Салтыков делает любопытные тоже выводы из него. Спора нет, ходят около толпы и пустоплясы, ходят иногда с видом людей, горячо и самостоятельно убежденных, так что могут даже кое-кого в обман ввести. Одни из них делают это тогда, когда толпа попадает в моду (это бывает) или вообще когда это, по обстоятельствам времени и места, в каком-нибудь отношении выгодно. Такие во всякую

данную минуту готовы переменить одну песню на другую, даже без всяких переходных моментов. Перемены эти они совершают с легким сердцем, не чувствуя никакой ответственности и не принимая в соображение последствий. Так, недавно еще они натравливали «народ» на «интеллигенцию», но им ничего не стоит и другую песню запеть. О таких Салтыков говорил: «Сегодня они злобно сеют смуту, а завтра, ежели смута примет беспокойные для них размеры, они будут с тою же холодною злобой кричать: «Пали!» («За рубежом»). Но есть и другого рода пустоплясы, практически не столь отвратительные, но в своем роде не менее вредные хотя бы тем, что они компрометируют дело и сводят его к пустякам и вздору. Мысли их всегда сбиваются на холодную, узкую и тупую доктрину. Слова говорятся громкие и запальчивые, но на них нет следа искренней и живой работы мысли. Такие пустоплясы могут целую жизнь вертеться на каком-нибудь кабалистическом сочетании слов, вроде «духа жизни и жизни духа», и с полнейшим, торжественным самоудовлетворением переливать из пустого в порожнее. Или же, упершись лбом в какое-нибудь решение, присасываются к нему, как устрица к скале, и боятся оглянуться по сторонам, как бы новые факты или новые точки зрения не повредили принятого решения и через это не причинили им, пустоплясам, беспокойства. Это иногда принимается за твердость убеждений, тогда как это просто безучастность и трусость мысли. Настоящего, подлинного интереса к толпе нет и в этих пустоплясах, да и мысль их, дряблая и вялая, не выдерживает сколько-нибудь необычного напряжения и сколько-нибудь сложной работы, а потому труслива и склонна к самообману. Не таково положение тех лучших людей, о которых говорит Салтыков. Беспокойство — их естественный удел. Конечно, и они, как все люди, ищут спокойствия, но они понимают, что по дешевым ценам его достать нельзя, то есть им-то нельзя. Они безбоязненно следят за всеми разветвлениями занимающего их вопроса, какие бы горькие и трудные перспективы перед ними ни открывались. Обмануть себя словом или изворотом мысли они не могут, да и не хотят. К числу этих лучших людей принадлежал и Салтыков. При добром желании, из его сочинений можно понадергать, по-видимому, самых разнородных и даже противоречивых выражений, отзывов,

суждений, образов, картин на тему «проблемы о мужике»: рядом с любовным словом найдется жесткое, рядом с угнетающей картиной — светлая. И это разнообразие может привести узколобого доктринера в ужас. На самом же деле это разнообразие, свидетельствующее лишь о сложности изучаемого круга явлений и о том упорстве, с которым мысль Салтыкова возвращалась к «проблеме», о той искренности, с которою он относился к делу, может быть очень легко сведено к вполне определенному единству.

IV

ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ

В статье о Глебе Успенском мне пришлось провести маленькую параллель между честью и совестью, причем я старался по возможности точно определить, что именно я разумею под этими словами, употребляющимися обыкновенно в довольно неопределенном смысле. Параллель эта не понравилась покойному О. Ф. Миллеру. В своей книжке об Успенском он выразил мнение, что слово «честь» и самое понятие о ней тут совсем излишни. Дескать, слово «честь» слишком пахнет феодализмом, рыцарством, оно есть только попытка перевести на наш язык слово honneur «со всеми барскими и светскими принадлежностями этого термина». Не в обиду будь сказано доброму покойнику, но он прибегнул в данном случае к никуда не годному критическому или полемическому приему. Если писатель употребляет какое-нибудь слово в известном, определенном смысле, то нельзя подсовывать под него другой смысл и затем обсуждать этот подсунутый смысл, оставляя, таким образом, без рассмотрения именно то, что хотел сказать автор. Делаю здесь это замечание потому, что без различения чести и совести мне было бы трудно разобраться в некоторых взглядах Салтыкова, а между тем, может быть, многие склонны разуметь честь исключительно в смысле «барских и светских принадлежностей этого термина». Я иначе понимаю честь в ее противоположении с совестью.

Прошу читателя припомнить две сказки Щедрина: «Бедный волк» и «Баран непомнящий».

После многих лет душегубства и разбоя в некотором

волке произошел нравственный переворот. Сначала медведь пристыдил, что этакая, дескать, жизнь, какую волк ведет, жизнь, вся наполненная убийством и мыслью об убийстве, позорна, и он, медведь, на месте волка смерть за благо почитал бы. Медвежьи доводы волк, однако, отпарировал тем, что он в своей натуре не волен: хорошо медведю рассуждать, когда он может и овсом и медом баловаться, да еще целую зиму спит и только лапу сосет, а волк круглый год, каждый день, каждый час вынужден помышлять о мясе. Но среди дальнейшего разбоя попался раз волку ягненок, который так особенно жалостно рыдал — блеял — и так наивно-настойчиво просился к «маме», как еще не случалось слышать волку. Вспомнились ему тут кстати медведевы слова насчет позора жизни убийцы, для которого смерть должна казаться благом, и отпустил он ягненка, да с тех пор и заскучал. Волку нельзя без убийства прожить, а между тем весь лес кругом, всеми звериными голосами кричит: «Проклятый! душегуб! живорез!» И крики эти правдой отзываются в волчьем сердце; чувствует он, что как там ни толкуй, а проклинать его многие имеют право, что он в самом деле живорез. Тоска от этой непривычной и неразрешимой думы довела его, наконец, до того, что он стал звать смерть. И когда явились охотники, он так прямо на них и пошел: «Вот она, смерть-избавительница!»

Жил-был баран. Хороший, породистый был баран и все свои бараньи обязанности как следует исправлял. Но вдруг с ним что-то стряслось. Увидал он сон, содержание которого запомнить не мог, но который оставил в нем после себя какую-то тревогу, не то горькую, не то сладостную. Сон повторялся и все-таки не запоминался, а только пуще тревожил. Стал баран с тоски чахнуть, и корм и овцы потеряли для него всякий интерес, а между тем лицо его становилось все осмысленнее и осмысленнее, так что хоть и не барану, так и то впору. Точно перед ним какие-то новые перспективы расстилались, точно ему что-то широкое и заманчивое грезилось. Однажды ночью наступил момент просияния. Баран опять увидал свой сон и на этот раз запомнил и понял. Он вскочил, из груди его вырвалось потрясающее блеяние, он весь ушел в созерцание сладостной тайны сна, но не выдержал этого зрелища и рухнул на землю мерт-

вый. Старый овчар объяснил дело так: «Стало быть, вольного барана во сне увидал, увидеть-то во сне увидал, а сообразить настоящим манером не мог. Вот он сначала затосковал, а со временем и издох. Все равно как из нашего брата бывает...»

В волке проснулась совесть и измучила его до готовности покончить с жизнью. Баран стал такою же жертвою проснувшейся чести. Ясно, полагаю, что здесь о каких-нибудь «барских и светских» ингредиентах не может быть речи. Совесть есть сознание виновности, преступности. Принимаясь за свою щемящую работу, она ставит перед человеком образы замученных, оскорбленных, притесненных им, картины совершенных им насилий, обманов, звучит у него над ухом стонами, упреками, жалобами и, плотно обступив всем этим, требует искупительной жертвы. Жертвы эти приносятся разными людьми на разный манер, но во всяком случае это должна быть жертва, лишение и прежде всего, конечно, отказ от того склада жизни, против которого протестует совесть. И если человек, несмотря на все побуждения совести, не может от него отказаться, не может переломить свою натуру или привычку, он должен принести в жертву свою жизнь, кончить так, как кончил волк. Только смертью утоляются в таком человеке угрызения совести. Честь, напротив, есть сознание напрасно претерпенных обид и оскорблений. Человеку проснувшейся чести не в чем винить себя: он ни перед кем не виноват, а перед ним, может быть, и есть виноватые. Проснувшаяся честь терзает его картинами вынесенного им срама и насилия, и для утоления этих терзаний нужны не лишения какие-нибудь, не жертвы, а напротив, простор всем сдавленным дотоле силам, удовлетворение всех притиснутых насилием или обманом запросов души. Если, однако, этот простор и это удовлетворение по обстоятельствам недостижимы, человек проснувшейся чести опять-таки должен принести себя в жертву. Он мог терпеть и жаться, пока сознание не осветило для него унизительности этого положения, но сознательно выносить его он не может, подобно «барану непомнящему», повидавшему «вольного барана», но чувствующему, что это только видение, которому не осуществиться, он должен умереть.

Эти две драмы, с таким именно смертельным исхо-

дом, не составляют заурядного явления, но все-таки бывают и в действительной жизни. Само собою разумеется, однако, что в большинстве случаев драмы, обусловленные пробуждением чести или совести, отличаются более мягким характером. Во-первых, совесть и честь не всегда бывают так неумолимо строги, какими они оказались для бедного волка и барана непомнящего; здесь возможны разные компромиссы и половинчатые сделки. Во-вторых, и положение героев драмы не всегда так безвыходно, как положение бедного волка и непомнящего барана, которые действительно только смертью могут быть избавлены от мучений; для других возможны другие исходы или по крайней мере попытки исхода. Есть, наконец, огромное число людей, в которых совесть и честь совсем никогда не пробуждаются.

«Пою похвалу силе и презрение к слабости». Так начинается глава «Хищники» в «Признаках времени». Сатирик не выдерживает, однако, этой программы: не выходит у него ни похвалы силе, ни презрения к слабости. Оказывается, что сила, то есть тот сорт силы, который составляет предмет его внимания и наблюдения, имеет склонность ломать настежь отворенные двери и брать приступом крепости, никаким гарнизоном не защищаемые; ее представители суть «рыцари безнаказанной оплеухи». Они никогда не рискуют вступать в сколько-нибудь равную борьбу, но зато горе тем, кто не сопротивляется, кто сам подставляет шею под их удары! Тут они остервеняются и, натешившись вволю, требуют еще, чтобы поруганная, избитая слабость имела довольный вид и «благодарила за науку». Такой двусмысленной силе пожалуй что и не за что петь похвалу, потому что она даже и не сила. С другой стороны, мудрено питать презрение к той слабости, которая сама лезет в петлю. Это до такой степени противоестественно и ни с чем не сообразно, что может только вызывать вопрос: «сквозь какое наслоение горечей, недоумений и нравственных противоречий нужно было пройти, чтобы получить в результате чудовищную бессмыслицу, дающую право гражданства косвенному самоубийству?». Таким образом, вместо похвалы силе и презрения к слабости получается лишь недоумение по поводу их взаимных отношений. Недоумение осложняется смутным чувством стыда, но за кого при этом стыдно — автор затрудняется

решить. Он находит тут даже этимологические затруднения. «Станешь придумывать, — говорит он, — каким именем назвать эти странные отношения, вследствие которых ломать отворенную дверь признается более уместным и целесообразным, нежели ломать дверь замкнутую на запор, и не придумаешь... И застыдишься...»

Я думаю, что силе, выбирающей для разгрома отворенную дверь, силе, не только давящей слабость, а еще издевающейся над ней и требующей благодарных ликований «за науку», приличествует название бессовестной силы. Слабость же не просто погибающая под давлением силы, а покорно подставляющая ей шею и даже извлекающая иногда из этой покорности некоторые эфемерные выгоды мерою в вершок, может быть названа бесчестною слабостью. Салтыков нигде не употребляет этих выражений, но самые отношения, ими определяемые, его очень занимали. Кроме вышеупомянутых «Бедного волка» и «Барана непомнящего», на разных вариациях этого мотива построены и многие другие его экскурсии в область животного эпоса. Припомним некоторые наиболее выразительные. В «Самоотверженном зайце» волк мучительски издевается над зайцем: сажает его под куст и велит там ждать смерти, а сам с волчихой и волчатами мимо похаживает, посмеивается да приговаривает: «А может быть... ха-ха... я тебя и помилую!» Словом, это полное воплощение совершенно бессовестной силы, и в качестве такового, натурально возбуждает омерзение. Что же касается жертвы волчьего насильничества и издевательства, то какой-то толчок в процессе творчества не допустил сатирика воплотить в ней с такою же обнаженностью бесчестную слабость. Готовность, с которою самоотверженный заяц сам идет навстречу мучительским замыслам волка, конечно не свидетельствует о присутствии в нем чести, но вместе с тем он действительно самоотверженно, ценою собственной погибели, спасает другого зайца, и это скрашивает его фигуру. В «Карасе-идеалисте» жертва еще симпатичнее, потому что и слаб-то карась только физически, дух же его бодр; зато щука опять-таки воплощенная бессовестная сила. (Таковы же отношения в диалоге Свиньи с Правдой в «За рубежом».) В «Здравомысленном зайце» сатирик уже сурово относится к жертве бессовестной силы. Жертва эта, конечно, возбуждает жалость, но все-таки

это уже несомненно бесчестная слабость, старающаяся льстить своей жестокой мучительнице, угождать ей и охотно соглашающаяся принять участие в предложенной лисою мучительской игре, лишь бы еще хоть несколько минут протянуть свою жалкую жизнь.

Я не буду следить за Салтыковым во всех случаях, где он рисует пробуждение совести или чести и взаимные отношения бессовестной силы и бесчестной слабости. Ограничимся тою группою этих явлений, которая соприкасается с «проблемой о мужике».

Из крутогорских салонов и канцелярий «Губернские очерки» переносят нас прямо в среду странников и богомольцев. Вот отставной солдат Пименов. Он пробирается пешечком к Святой горе, но уж и раньше немало исходил по святым местам. Бывал и в пустыне. Он знает, что в пустыню разное людей толкает, между прочим и греховное, но есть, однако, «и такие, которые истинно от страстей мирских в пустыню бегут и ни о чем больше не думают, как бы душу свою спасти». Эти «дотоле плоть в себе умерщвляют, что она у них прозрачна и суха соделывается, так что видом только плоть, а существом и похожего на нее нет». Пименыч рассказывает про одного такого великого постника, что он прежде был разбойником, да вдруг с чего-то заскучал и «все душегубства его непрестанно пред глазами его объявлялись и всюду за ним преследовали». Он и ушел в пустыню. На вопрос, не скрывался ли он там от наказания, Пименыч отвечал: «Если человек сам свое прежнее непотребство восчувствовал, так навряд и палач его столь наказать может, сколько он сам себя изнурит и накажет. Наказание, ваше благородие, не спасает, а собственная своя воля спасает». Какие грехи искупает своим странничеством сам Пименыч, неизвестно, но он находит полное успокоение и, между прочим, рассказывает так: «Идешь этта временем жаркиим, по лесочкам прохладныим, пташка божия тебе песенку поет, ветерочки мягкие главу остужают, листочки звуками тихими в ушах шелестят... и столько становится для тебя радостно и незаботно, что даже плакать можно». Любопытно, что тем же эпическим языком рассказывает и герой «Развеселого житья»: «Хорошо ведь у нас в лесу бывает. Летом, как сойдет это снег, ровно все кругом тебя заговорит. Зацветут это цветы-цветики, прилетит птичка малино-

вочка, застучит дятел, закукует кукушечка, муравьи в земле закопошутся — и не вышел бы! Травка малая под сосной зябет, и та словно родная тебе. А начнет этта лес гудеть, особливо об ночь — и ветру не чуть, и верха не больно чтобы шаталися, — а гудёт! Так гудёт, что даже земля многие десятки верст ровно стонет. Столь это хорошо, что даже сердце в тебе взыграет!» Несмотря, однако, на то, что Пименыч и герой «Развеселого житья» говорят одним и тем же языком, а местами даже почти одними и теми же словами, они люди совершенно различных категорий. Пименыч есть явно человек проснувшейся совести, которому удается то, что не удалось «бедному волку»: переломить себя, совлечь с себя ветхого Адама и заглушить угрызения совести лишениями, скитальчеством, изможденением плоти. Иван (так зовут героя «Развеселого житья») есть, напротив, человек пробудившейся чести. Положим, что он просто разбойник, но, усвояя ему начало чести в нашем, условном смысле этого слова, — я не становлюсь в противоречие с Салтыковым. Та часть «Губернских очерков», которая носит подзаглавие «В остроге», открывается размышлением о том, что привело в острог его обитателей: «Постепенно ли, с юных лет развращаемая и, наконец, до отупения развращенная воля, или просто жгучее чувство личности, долго не признаваемое, долго сдерживаемое в разъедающей борьбе с самим собой и, наконец, разорвавшее все преграды и, как вышедшая из берегов река, унесшее в своем стремлении все — даже бедного своего обладателя?» Это жгучее чувство личности и есть проснувшаяся честь, и таков именно герой «Развеселого житья». Он — дворовый человек, не стерпевший обид и притеснений помещика и бежавший в лес, где уже ему пожалуй что и нечего больше делать было, как отдаться «развеселому житью». Правда, может быть, в тех же самых лесах бродит Пименыч, не только не разбойничая, а спасая свою душу. Но Ивану не в чем каяться, а значит, не с чего и вериги надевать, он называет себя «замученным, бесталанным, бессчастным, сиротой — сиротским сыном». Может быть, он встретится как-нибудь в лесу с Пименычем и тот сумеет разбудить в нем совесть, и станет он постом и молитвой искупать свои разбои, но пока что он еще полон своею, частью с бою взятой, частью украденной вольною волей и ни в чем ином

успокоения найти не может. Есть, правда, еще один выход, тот, который выбрали его соседи по «Невинным рассказам», малютки Миша и Ваня. Но этот выход не по нем. Миша и Ваня тоже не стерпели насильств своей барыни (может, им своего рода «вольный баран» приснился) и зарезались, в том расчете, что на том свете расскажут богу все: «Как нас Катерина Афанасьевна мучила, как нам жить тошнехонько стало, как нас деньденьской всё били... всё-то били, всё-то тиранили!»

Так пробуждаются в народной среде совесть и честь. Пробуждение совершается в атмосфере невежества, преступления и отчаяния, но и за всем тем светится своеобразным поэтическим светом. Им-то и любовался Салтыков в период «Губернских очерков» и «Невинных рассказов». И Пименыч и другие странники и богомольцы рассказывают много вздора, но критически относиться к этому вздору и в голову Салтыкову не приходит; он негодует на станционного писаря, который, в своей писарской образованности, перебивает рассказ Пименыча скептическими замечаниями. Пусть все, что рассказывает Пименыч, вздор, но не вздор его наивная вера в этот вздор, не вздор то искреннее чувство, которое неудержимо толкает Пименыча к подвигу искупления грехов. Художник не анализирует, а только любуется красотою данного положения. То же и с Иваном из «Развеселого житья».

Так было, повторяю, в период «Губернских очерков» и «Невинных рассказов». Позже Салтыков вышел из сферы безмятежного художественного созерцания народной жизни, и перед ним встала во всей своей глубине и обширности «проблема о мужике». Прежде всего его поразило то, как отражаются на народной жизни взаимные отношения бессовестной силы и бесчестной слабости. В самом приступе к «Сатирам в прозе» он рассказывает и подробно анализирует следующее происшествие, которого сам он был очевидцем. Дело было на реке. Начальство распорядилось, чтобы ни одна из плывущих по реке барок и лодок не смела переплывать за паромный ход, пока не свалит весь народ. В распоряжении этом не было никакой надобности, потому что, покуда машина нагружается, сотни лодок успели бы переплыть по ту сторону паромного хода. Тем не менее вся река замерла. Но одна лодка, наконец, соскучилась и двину-

лась. Начальство тотчас откомандировало «своего дантиста для преследования и наказания ослушника».

«Преследуемый, как только завидел дантиста, не пустился наутек, как можно бы было ожидать, но показал решимость духа изумительную, то есть перестал грести и, сложив весла, ожидал. Мне показалось даже, что он заранее и инстинктивно дал своему телу наклонное положение, как бы защищаясь только от смертного боя. Ну, натурально, дантист орлом налетел, и через минуту воздух огласился воплями раздирающими, воплями, выворачивающими наизнанку человеческие внутренности. А толпа была весела, толпа развратно и подло хохотала. «Хорошень его! Хорошень его! — неистово гудела тысячеустая.— Накладывай ему! накладывай! вот так!» — вторила она мерному хлопанью кулаков. Только один нашелся честный старик, который не вытерпел и прошептал: «Разбойники!» Но и тот, заметив, что я расслышал невольный его вздох, как-то изменился в лице и стал робко пробираться сквозь толпу на ту сторону парома».

Таков голый факт, остановивший на себе внимание сатирика. Он начинает его разбирать. Почему человек, преследуемый дантистом, даже не попытался бежать, а сложил весла? Потому, что он верит в вечное, неотразимое торжество силы, и одного появления силы достаточно, чтобы он поступил подобно кролику, сваливающемуся в пасть боа. Почему же он, однако, не убоявшись возмездия, поплыл куда не велено было? Потому, что ему из практики известно, что сила не всегда дерется, а иногда и улыбается; он рассчитывал на случайность. Для чего он придал своему телу наклонное положение, охраняя голову от ударов? Для того, что его хотели только прибить, а не убить. Он не дорожит жизнью в качестве «блага, одному ему принадлежащего, блага, которым никто посторонний не имеет права располагать по своему произволу»; он только привык жить. Он не пойдет открыто навстречу смерти, но встретит ее равнодушно, когда она сама придет к нему. Он будет «охать да взывать к батюшкам и матушкам, но защищаться не станет ни под каким видом». Ну, а толпа? «Отчего ее не прорвало при виде этой гнусной расправы с одним из своей среды?» Очевидно, она не доросла до «сознания, что нельзя наказывать не только смертным, но и никаким боем, и не только такое преступление, как

нарушение бессмысленного приказания паромного унтер-офицера, но и всякое другое преступление, хотя бы оно было во сто раз тяжеле и хотя бы отданное приказание было не бессмысленно». Во всей рассказанной истории утешителен только один факт — старик, который вздохнул: «Разбойники!» Но и он сейчас же струсил и стушевался.

В «Письмах из провинции» несколько подобных же фактов подвергаются такому же разбору. Но мы краткости ради удовольствуемся приведенным.

Мы, очевидно, очень далеко отошли от поэтических образов Пименыча и Ивана. Они остаются такими же светлыми, неприкосновенными с своей пробужденной совестью и честью; происшествие на реке не кладет на них ни малейшей тени. Скорее от них падает мрачная тень на бесчестную слабость жертвы произвола паромного унтер-офицера и в особенности толпы, которая не только не возмутилась зрелищем избиения, но еще «развратно и подло» приняла пассивное участие в нем сочувственными криками. К разным проявлениям и разветвлениям этой стороны народной жизни Салтыковым было обращено немало жестких слов. И он имел право говорить эти жесткие слова не только в качестве сатирика, по самой задаче своей гневно или с насмешкой подчеркивающего теневые стороны жизни. Не говоря о праве всякого человека называть кошку кошкой и низость низостью, Салтыковым руководила в настоящем случае та «ненавидящая любовь», которая в самой себе почерпает вящее право строгого суждения. Не холодная злоба пустопорожнего человека и не дешевое презрение карлика, сидящего на плечах великана, слышатся в его жестких словах по адресу народа, а глубокая скорбь и постоянная дума о выходе из того положения, которое вызывает жесткие слова. Есть люди, у которых на языке мед, а в сердце лед. Такие, в своем стремлении говорить комплименты народу (когда он в моде), готовы закрывать глаза перед фактами вроде вышеприведенного. Но не может этого сделать человек, которого такой факт ударил по сердцу и которому поэтому действительно нужна истина, чтобы по мере сил способствовать устранению подобных фактов. Закрывая перед ними глаза, мы способствуем, напротив, их неприкосновенности, да самих себя мажем по губам, —

только и всего. Салтыкову, с восторгом ощущавшему, что «в его сердце таится невидимая, но горячая струя, которая, без ведома для него самого, приобщает его к первоначальным и вечно бьющим источникам народной жизни» («Святочный рассказ»); Салтыкову, окружившему смерть Миши и Вани ореолом великомученичества, отдыхавшему от пустоты и дрянности крутогорских салонов и канцелярий на пробужденной совести Пименыча и пробужденной чести Ивана, — Салтыкову обиднее и больнее, чем кому-нибудь, видеть на этом самом месте бесчестную слабость. Обида и боль выражались жесткими словами.

Существует или, вернее, существовало мнение, что кульминационный пункт этой жесткости составляет «История одного города», в которой, дескать, Щедрин, не довольствуясь настоящим, проник в глубь истории и там потщился опозорить самые корни народной жизни. Мнение это, и прежде, конечно, неосновательное, надо теперь считать окончательно сданным в архив за негодностью, ввиду письма Салтыкова к г. Пыпину, написанному еще в 1871 году, но опубликованному только теперь («Вестник Европы», 1889, № 6). Огорченный отзывом «Вестника Европы» об «Истории одного города», Салтыков в частном письме к г. Пыпину разъяснил свои истинные намерения. «Историческая сатира вовсе не была для меня целью, — писал Щедрин, — а только формой». В числе других форм он воспользовался и этой, тем более что, по его мнению, «те же самые основы жизни, которые существовали в XVIII веке, существуют и теперь». Далее Салтыков делает указание, чрезвычайно важное для характеристики его отношения к народу: «В слове «народ» надо отличать два понятия: народ исторический и народ, представляющий собою известную идею...[13]. Первому, выносящему на своих плечах Бородавкиных, Бурчеевых и т. п., я действительно сочувствовать не могу. Второму я всегда сочувствовал, и все мои сочинения полны этим сочувствием».

Салтыков отлично понимал то, что многим дается лишь с трудом или даже вовсе не дается, а именно что конкретные явления жизни сплошь и рядом представляют собою такой конгломерат добра и зла, который никоим образом нельзя целиком вставить в рамку одного какого-нибудь принципа. Ввиду таких сложных явлений мысля-

щий человек должен произвести операцию отвлечения, выделить из них то, что соответствует известному принципу, и поставить совершенно особо от того, что ему не соответствует или даже прямо противоречит. Так Салтыков и делал. Я уже упоминал о «Сне в летнюю ночь» и о горячей речи Крамольникова на юбилее Мосеича. Это profession de foi * самого Салтыкова. Он говорит о трудовой «лепте русского крестьянского малютки», которая «святее и умилительнее» лепты вдовицы; «о скромном беспримерном геройстве русской крестьянки, никогда не прекращающемся, не ослабевающем»; о «сплошной страде», составляющей жизнь русского крестьянина. Труд — вот тот элемент народной жизни, для возвеличения которого Салтыков не останавливается перед превосходною степенью самых ярких эпитетов. Сатирик обращается в панегириста. Но скорбный это выходит панегирик. Светлых нот торжества в нем не слышится. Речь Крамольникова кончается слезами:

«О господа! Я — человек уже в летах, и мне стыдно плакать, но я чувствую, что слезы неудержимо подступают к глазам моим! Они грозят прервать мою речь в самом начале ее, ибо передо мною стоит еще вопрос громадной важности, которого я до сих пор не коснулся, — вопрос о том, какие радости, какие удобства и льготы купил себе русский крестьянин ценою стольких опасностей и непосильных трудов?»

Вопрос остается без ответа, потому что как раз на этом месте юбилей Мосеича обрывается посторонним обстоятельством. Но ответ известен из других произведений Салтыкова: никаких радостей, никаких удобств и льгот. Как это вышло? почему? Эти дальнейшие вопросы, как мы уже видели, постоянно занимали Салтыкова и стояли перед ним в виде какой-то чудовищной загадки. А тут еще сцены вроде вышеприведенной, у парома. Казалось бы, человек труда равно гарантирован против превращения как в бессовестную силу, так и в бесчестную слабость. Ему не нужно ни насильничество, ни претерпение насилия, он сам себе довлеет и может не иметь никакого ни пассивного, ни активного отношения к зависимости. Так оно и есть в принципе, в отвлечении. Но тут-то и является на сцену «исторический народ»,

---

* исповедание веры (*франц.*).— *Ред.*

то есть те наслоения, которые история наложила на принцип труда и его представителей. И, может быть, тот же самый Мосеич, на юбилее которого Крамольников говорил свою горячую речь, играл ту или другую роль в происшествии у парома.

Русский мужик «беден всеми видами бедности, какие только можно себе представить»... Но это еще было бы делом, сравнительно легко поправимым, если бы он сознавал свою бедность, а этого-то сознания ему и не хватает. Или в более обобщенной форме: «Человек массы мало того что страдает, он, сверх того, имеет самое слабое сознание этого страдания; он смотрит на него как на прирожденный грех, с которым не остается ничего другого делать, как только нести его, насколько хватит сил». Не мудрено, что при этом условии «толпа до сих пор сумела выработать из себя только слепое орудие, при помощи которого могут свободно проявлять себя в мире всевозможные темные силы». Как ни возмутительны, однако, подчас проистекающие отсюда проявления бесчестной слабости, Салтыков слишком хорошо видит ее причины и слишком высоко ценит другие стороны русского мужика, чтобы презрительно, но совершенно бесплодно «обзывать мужика мужиком». Вместо этого малоостроумного занятия он советует «дать себе труд изобразить наши собственные историографские наезды против этого самого мужика». Мы видели ту бережность, с которою Щедрин относится к жертвам бессовестной силы в своем животном эпосе; ту неохоту, с которой он рисует бесчестную слабость, везде стараясь скрасить ее какой-нибудь комбинацией добрых чувств. В сфере канцелярий, редакций, салонов, трактиров он так не церемонится. Достаточно припомнить фигуру Очищенного в «Современной идиллии». Этот «злокачественный старик» был прежде помещиком и судился за злоупотребление помещичьей властью. Значит, в начале своей истории он был рыцарем безнаказанной оплеухи, представителем бессовестной силы, а кончает он тем, что носит на щеке своей таксу бесчестия и только и ждет, чтобы его кто-нибудь сильный изувечил или по крайней мере обругал. В отношениях Салтыкова к народу нет и следа такого безжалостного презрения. Он утверждает, что «вся наша умственная деятельность в этом случае должна быть обращена не к обвинениям, а

исключительно к тому, чтобы отыскать для масс выход из той глубокой бессознательности, которая равно вредна для них, как и для нас» («Письма из провинции»). Сам чувствуя эту особливую нежность и бережность, он спрашивает: «Почему представление о толпе, несмотря на явную ее жестокость, дикость и неразвитость, имеет для нас нечто заманчивое и симпатичное?» Резоны для этого оказываются очень веские. Не говоря о тех, если можно так выразиться, красотах народной жизни, которые обусловливаются трудовым началом, для разных происходящих в ней возмутительных вещей есть сильно смягчающие обстоятельства. Если «исторический народ» в том или другом отношении нехорош, то за оправданием его недалеко ходить, оно заключается в прилагательном «исторический». Тяжелый наследственный опыт воспитал ту безучастность к чужому горю, которую мы часто можем наблюдать в народной жизни, и то раболепное отношение к силе, которое встречается еще чаще. Притом же эта жестокость и это преклонение перед силой не представляют собою чего-нибудь вполне сознательного: мальчик без штанов не продал душу черту, а отдал ее даром. Поэтому здесь нет и не может быть места обвинениям, а есть место только скорби за печальное настоящее и заботам о лучшем будущем. Затем в качестве мотива любовного отношения к народу выступает та «фатальная» связь людей мысли с народом, о которой я уже говорил в прошлой главе. Факт, указанный Салтыковым, заслуживает самого серьезного внимания. История действительно показывает, что «те люди, которых мы не без основания называем лучшими, всегда с особенною любовью обращались к толпе и что только те политические и общественные акты получали действительное значение, которые имели в виду толпу». Комментарии Салтыкова к этому факту чрезвычайно оригинальны.

«Тут, в этом служении толпе, имеется даже очень ясный эгоистический расчет, ибо, как бы мы ни были развиты и обеспечены, мы все-таки до тех пор не получим возможности быть нравственно покойными и мирно наслаждаться нашим развитием, покуда все, что нас окружает, не придет хотя в некоторое с нами равновесие относительно материального и духовного благосостояния. Человек нуждается в обществе себе подобных совсем

не по капризу, а потому, что природа его по преимуществу общительная. Следовательно, стоя на недосягаемой высоте, он тем сильнее почувствует свое одиночество, чем забитее и безответнее будет масса, которой чуждается его гордая мысль».

Притом же, «мы не можем считать себя водворенными в мире законности, пока представление о законности не имеет в понятиях масс никакого определенного смысла. Мы не имеем основания считать себя обеспеченными от неожиданностей, покуда эти неожиданности будут иметь в массах своих добровольные и всегда готовые к услугам орудия».

По всем этим соображениям Салтыков настаивал на сближении с народом, причем оговорился, что сближение это не должно быть ни славянофильским мистицизмом, ни ласкательством предрассудкам и дикости потому только, что они родились в народе. На первый раз он рекомендовал «просто изучение народных нужд и представлений, сложившихся более или менее своеобразно, но все-таки принадлежащих несомненно взрослому человеку».

Так писал Щедрин в «Письмах из провинции» в 1868 году. Двенадцать лет спустя он опять заговорил о сближении или единении с народом в «За рубежом», но уже, по-видимому, в совсем другом тоне. Он считал это единение невозможным. Однако здесь нет противоречия с вышеприведенным, как видно из следующих слов сатирика:

«*Бывают исторические минуты,* когда массы преисполняются угрюмостью и недоверием, когда они сами непостижимо упорствуют, оставаясь во тьме и в недугах. Не потому упорствуют, чтобы не понимали света и исцелений, а потому, что источник этих благ заподозрен ими. В такие минуты к этому валяющемуся во тьме и недугах миру нельзя подойти иначе, как предварительно погрузившись в ту же самую тьму и болея тою же самою проказой, которая грозит его истребить».

Такою тягостною, мрачною историческою минутой было то время, когда писалось «За рубежом»...

Мне остается сделать еще одно замечание. Под «толпой» Салтыков не всегда разумел народ. В «Литературном положении» («Признаки времени») говорится о «толпе», гуляющей по Невскому проспекту и праздно-

словящей на тему об упадке нравственности «в простом классе». Характерная черта и этой цивилизованной толпы состоит в том, что «торжество силы еще отнюдь не утратило в ее глазах решительного своего влияния». Это та же бесчестная слабость...

V

БЛАГОНАМЕРЕННЫЕ РЕЧИ

Задача сатиры состоит в бичевании или осмеивании уклонений действительности от идеала. Понятно, что не только характер и, так сказать, объем сатиры, но и ее объекты и направление должны изменяться соответственно личному элементу, вносимому писателем в те идеалы, с высоты которых он расценивает явления действительной жизни. История литературы знает сатириков, метавших в своих современников громы с точки зрения общих моральных истин, знает и таких, которые были людьми вполне определенных политических партий, самых крайних в обе стороны. Аристофан и Салтыков могли бы жить в одно и то же время, но их сатирические удары обрушивались бы на совершенно разные предметы. Есть, однако, область, в отношениях к которой сходятся сатирики всех времен и народов, всех темпераментов и оттенков мысли. Это — область уклонений действительности от того, что *сама она* признает на словах идеалом, область розни между словом и делом, между благонамеренными речами и предосудительными поступками. Тут уже поистине difficile est satiram non scribere *, каков бы ни был образ мыслей сатирика. Конечно, повинную голову не сечет и сатирический меч, откровенное покаянное признание в слабости характера, не дозволяющей уравнять дело с словом, обезоруживает сатирика. Но едва ли найдется во всей истории литературы хоть один какой-нибудь сатирик, который равнодушно прошел мимо обычной психологической связи между нравственной теорией и безнравственной практикой, — мимо лицемерия. Если моралист вроде Ларошфуко может щегольнуть утешительным парадоксом, по которому ли-

---

* трудно не написать сатиру (*лат.*).— *Ред.*

цемерие есть свидетельство уважения к добродетели, втайне питаемого пороком, то для сатирика не может быть ничего ненавистнее лицемерия. По Салтыкову, «даже отец Лжи, который думал, что нет в мире той подлости, которой бы он не произошел, и тот глаза вытаращил», когда увидал Лицемерие («Добродетели и Пороки»). Лицемерие есть по преимуществу объект сатиры. Ему нет оправдания в какой-нибудь ошибке мысли, в каком-нибудь заблуждении, которое может рассеяться перед светочем истины. Верно или неверно понимает лицемер вещи, это вопрос особый, но он во всяком случае расходится с своим собственным пониманием вещей и практикует как раз противное тому, что сам исповедует и чего от других требует. Лицемер ненавистен или по крайней мере должен быть ненавистен не только тем, кто несогласен с его образом мыслей, но и своим собственным единомышленникам, если, конечно, они сами не лицемеры: он ведь компрометирует их знамя и приносит ему подчас больше вреда и позора, чем самые лютые враги. Открытое, таким образом, для сатирических ударов со всех сторон лицемерие манит к себе сатирика еще сверх того чрезвычайным разнообразием своих форм и проявлений. Маску лицемерия способны надевать и злоба, и разврат, и предательство, и продажность, и клевета, и насильничество, всяческая низость и гнусность, облекаясь в такие именно формы соответственных добродетелей, которые, на словах по крайней мере, особенно ценятся в данном обществе. Поэтому, сосредоточив свое внимание даже исключительно на лицемерии, сатирик может предъявить очень полную картину современных ему нравов, держась в то же время почвы тонкого психологического анализа. Такая многосторонняя заманчивость задачи всегда привлекала к этому пункту крупные сатирические силы, и всякий вновь выступающий сатирик рискует впасть в подражание либо создать нечто очень слабое по сравнению с высокими образцами, раньше вложенными в сокровищницу всемирной литературы. Салтыков с честью вышел из этой трудности. Его коллекция лицемеров вполне оригинальна и не побледнеет от сопоставления с лучшими произведениями этого рода европейских писателей.

Но прежде чем говорить о характере и размерах

щедринского творчества в этом направлении, надо сделать небольшое побочное замечание. Говорят, что Салтыков повторяется, и справедливо говорят. В «Письмах к тетеньке» он сам признает фактическую справедливость этого упрека, но объясняет при этом, что, занятый исключительно злобами дня, он по необходимости зависит от них, а они, вот уже тридцать лет, повторяются с удручающим однообразием. Объяснение это кажется мне недостаточным. Во-первых, хотя наши злобы дня действительно довольно однообразны, но на протяжении тридцати лет в них все-таки неоднократно обнаруживалось движение то вперед, то вспять, что и самим Салтыковым своевременно отмечалось. Во-вторых, хотя объяснение Салтыкова до известной степени справедливо, но есть и другие резоны, по которым он повторялся и не мог не повторяться. Вообще мудрено ожидать, чтобы не повторялся человек, без малого полвека, можно сказать, не выпускавший пера из рук и всю эту половину столетия не ожидавший ветра, чтобы, подобно флюгеру, повернуться направо или налево, а неуклонно шедший по одному и тому же пути. Притом же Салтыков был журналист, то есть не просто писатель, более или менее спокойно вынашивающий свое произведение в голове и сердце, а писатель, повинный спешной и срочной работе. Это положение совсем особенное, специальные шипы и розы которого трудно даже усвоить человеку, не побывавшему в этой шкуре. Между прочим, бывает так: известная мысль, известный образ, целая группа образов, только что возникнув, заносятся на бумагу, затем журналист, влекомый волной текущих событий, переходит к другим мыслям и образам, а те, первоначальные, продолжают тем временем развиваться, зреть, иногда даже без ведома самого автора, и, наконец, вновь переступают порог сознания и опять настойчиво просятся на бумагу. В произведениях Салтыкова этот процесс можно наблюдать очень часто. Наконец, и еще один резон для повторений заключается в том исключительно видном положении, которое Щедрин занимал в журналистике: ему приходилось с полемическими целями возвращаться к сказанному, защищать его, вновь мотивировать, подводить итоги и т. д.

Образчиком обоего рода повторений, то есть и таких, которые вызваны самим процессом творчества, совер-

шающегося частью в недрах бессознательного, и таких, которые обусловлены полемическими целями, может служить история «Благонамеренных речей». Так озаглавлена группа очерков, печатавшихся в «Отечественных записках» в половине семидесятых годов. Но уже гораздо раньше, в «Признаках времени», находим зародыш «Благонамеренных речей» в виде наброска или чего-то вроде отметки в памятной книжке, а затем в позднейших произведениях в изобилии рассыпаны новые вариации на эту тему, то полемические, как в «Круглом годе», то дополнительные, как в «Убежище Монрепо», то достигающие вполне самостоятельного значения, как в «Современной идиллии», и огромной художественной ценности, как в выделенных из «Благонамеренных речей» «Господах Головлевых».

В «Признаках времени» («Сенечкин яд») сатирик пытается определить, что такое «благонамеренность», но затрудняется дать это определение, хотя утверждает, что может безошибочно отличить благонамеренного человека от неблагонамеренного. Благонамеренному человеку не возбраняется воровать платки из карманов, он не затруднится съесть у Доминика три пирожка, а буфетчику сказать, что съел один, он может проводить время «на балах у гостеприимных принцесс вольного города Гамбурга» и вообще совершать всякие действия, обыкновенно считающиеся предосудительными. Но вместе с тем он должен иметь «хороший образ мыслей». Отличительный признак хорошего образа мыслей есть невинность. «Невинность же есть отчасти отсутствие всякого образа мыслей, отчасти же отсутствие того смысла, который дает возможность различить добро от зла». Далее Щедрин уклоняется уже в сторону, именно в сторону тогдашних литературных пререканий, но в приведенных словах заключается в зародыше основная мысль всех «Благонамеренных речей». Конечно, контуры этого зародыша еще слишком мягки, недостаточно рельефно обрисовываются; оригинальная и плодотворная мысль еще только блеснула, не уяснив самому автору всех своих разветвлений. В фактах, обнимаемых этою мыслью, не было недостатка и в ту пору, как видно уже из того, что впоследствии Салтыков вставил в «Благонамеренные речи» очерк, посвященный еще более раннему времени,— времени Крымской войны («Тяжелый год»). Но факты

эти лежали пока под спудом, не оплодотворенные творческой силой, в ожидании «Благонамеренных речей».

«Благонамеренные речи», то есть тот сборник, который Салтыков сам так озаглавил, рисуют нам ряд отдельных эпизодов из обширной картины умственной смуты по поводу потрясения «основ». Кругом раздаются громкие речи о неприкосновенности собственности, о священном характере семьи, о незыблемости государства; речи, можно сказать, ультраблагонамеренные и, должно быть, нужные, потому что если бы все обстояло благополучно, так с чего же и кричать? Вглядываясь в современные нравы, сатирик открывает, что принципам собственности, семьи и государства действительно наносятся чувствительные удары. Дело, однако, не в преступниках, предусмотренных законом и караемых судом. Таковые всегда были, а потому наличность их, вообще говоря, не составляет характерной для какого-нибудь определенного времени черты. Да если, по обстоятельствам, размеры, характер и число преступлений и могут войти в состав признаков данного времени, так на них есть и другие управы, кроме сатиры. Совсем иное дело, когда, например, «мошенничество является одною из форм общежития», установившеюся, никого не возмущающею; когда оно облекается в непроницаемые для суда формы, а общественное мнение негодует не на мошенников и грабителей, а на ограбленных: дураки, дескать, так им и надо, — на то и щука в море, чтобы карась не дремал! Беглый очерк этого странного порядка вещей Салтыков делает в главе «В дороге», которая представляет как бы прелюдию к «Благонамеренным речам» и в которой слово «дурак» везде является синонимом ограбленного или обманутого, а грабители и мошенники оказываются просто умными, ловкими, а иногда даже «прекраснейшими людьми». «Основы» терпят при этом явный ущерб, но удивительным образом этого не замечают. А еще удивительнее, что именно отсюда-то главным образом и гремят благонамеренные речи. Может ли это быть? Может ли вор вопиять о неприкосновенности собственности, или прелюбодей о священном характере семьи, или поставщик гнилых подошв на отечественную армию о любви к отечеству и народной гордости? Оказывается, может, так что и сам не подавится своей благонамеренной речью, и другие эту речь не

оборвут. Благонамеренность его речей свидетельствует о хорошем образе мыслей, а хороший образ мыслей, как открыл сатирик еще в «Признаках времени», отлично уживается с предосудительными поступками. Но там, в «Признаках времени», эти поступки не шли дальше утайки двух съеденных пирожков, времяпровождения у гостеприимных гамбургских принцесс да иносказательного воровства платков из карманов. В «Благонамеренных речах» картина нравов раздвигается далеко за эти скромные пределы, вместе с чем мысль сатирика становится несравненно глубже и яснее.

Мы начнем свой обзор с самого легкого, скажем прямо наименее серьезного из очерков, вошедших в состав «Благонамеренных речей», с того, который озаглавлен: «Еще переписка». Это — переписка матери, сорокалетней женщины, с сыном, только что выпущенным из школы офицером. В первом же письме сын рассказывает матери о своих амурных похождениях, причем обнаруживает необыкновенную выработанность принципов и необыкновенные познания во всем, что касается веселой artis amandi *. Он пускается в подробности о преимуществах блондинок перед брюнетками, о достодолжном развитии женских форм и т. д. Отца он называет butor **. Мать отвечает ему в том же стиле, то есть мужа тоже называет butor и жалуется на ужас житья с этим butor'ом, а затем и с своей стороны излагает ту же науку любви. Она по этой части человек опытный: ее «любил» сам седанский герой [14] — и это составляет «славное воспоминание ее жизни». Если тон писем сына отдает казармой или даже конским заводом, то письма матери газированы разными тонкостями, о которых, однако, сын справедливо пишет: «Могу тебя уверить, что мои открытые, ничем не замаскированные слова и действия все-таки во сто крат нравственнее, нежели паскудные apergus politiques, historiques et littéraires ***, которыми вы, женщины, занимаетесь... entre deux baisers ****. Благословляя (в буквальном смысле слова) сына на адюльтер и даже на два зараз, эта

* науки любви *(лат.)*.— *Ред.*
** болван *(франц.)*.— *Ред.*
*** политические, исторические и литературные взгляды *(франц.)*.— *Ред.*
**** между двумя поцелуями *(франц.)*.— *Ред.*

женщина в то же время пишет: «Религия — это наше сокровище, мой друг! Без религии мы — путники, колеблемые ветром сомнений, как говорит le père Basile *, очень миленький молодой попик, который недавно определен в наш приход». Она крадет у мужа две тысячи рублей и бежит «будто бы для свидания с Базеном, я же наверное знаю (пишет butor), что для канканов в Closeries des lilas» **. Однако за несколько дней до этого бегства она сообщает сыну среди разных пикантных поучений по амурной части: «Я ни в чем не могу найти утешения, кроме религии! Знаешь ли, иногда мне кажется, что у меня выросли крылья и что я лечу высоко-высоко над этим дурным миром!» Рассказывая сыну, какими способами можно довести женщину до падения (une jolie chûte) ***, она советует ему не брезгать «сюбверсивными **** идеями». «Конечно, — говорит она, — я никогда не позволила бы тебе сделаться на самом деле поклонником сюбверсивных идей, но в смысле экспозиции, как aperçu de morale ***** — это один из лучших sujets de conversation ******. Консервативные идеи страдают большим недостатком: им никак нельзя придать тот лоск великодушия, который зажигает симпатию в сердцах».

Паскудные отношения матери и сына, изображенные в очерке «Еще переписка», составляют сравнительно бледный сколок с тех же отношений в «Ташкентцах приготовительного класса» («Параллель первая»). Там мать и сын с полною откровенностью рассказывают друг другу свои prouesses *******. Он цинически сообщает comment cela lui est venu ********, она, несколько более вуалируя свою исповедь, рассказывает о своих любовниках, из которых один француз, сотрудник Journal pour rire, Charivari и Figaro *********, был и талантлив, и красив, и храбр, et avec ça adorant le trône, la patrie et

* отец Василий *(франц.)*.— *Ред.*

** «Сиреневых беседках» — увеселительном заведении *(франц.)*. — *Ред.*

*** красивого падения *(франц.)*. — *Ред.*

**** разрушительными *(франц.)*.— *Ред.*

***** нравственный взгляд *(франц.)*.— *Ред.*

****** предметов разговора *(франц.)*.— *Ред.*

******* подвиги *(франц.)*.— *Ред.*

******** как это с ним произошло *(франц.)*. — *Ред.*

********* Юмористической газеты, «Шаривари» и «Фигаро» *(франц.)*. — *Ред.*

la sainte église catholique *. Сообразно этому, маменька, обмениваясь с сынком разными гнусностями, в то же время наставляет его в любви к отечеству: «La patrie — vous devez la porter dans votre coeur» **. А прежде всего — дворянский долг, а потом нашу прекрасную православную религию. Без этих трех вещей что мы такое? Мы путники или, лучше сказать, пловцы...» Но сынок сам вполне владеет этими благонамеренными речами. Всласть наговорившись мерзостей на тему: nous aimons, nous follichonons, nous buvons sec ***, он без передышки продолжает: «Я консерватор; я человек порядка. Et en outre je suis légitimiste! L'ordre, la patrie et notre sainte réligion orthodoxevoici mon programme à moi» ****. В училище юноша не особенно, разумеется, прилежит к наукам, но зато основательно изучает разных Берт и Альфонсин, а кончив курс, становится в позу и торжественно произносит: «А теперь, messieurs... поборемся!» Это он собирается бороться с врагами порядка, отечества и религии...

Как уже сказано, «Еще переписка» отнюдь не принадлежит к числу значительнейших глав «Благонамеренных речей», но мысль и прием сатирика выражаются все-таки в ней вполне ясно. Разврат, доходящий до цинических объяснений матери с сыном, и легкомысленно кощунственные толки о sainte église catholique и о notre sainte église orthodoxe *****; ужас перед «сюбверсивными» идеями, торжественное объявление им войны и эксплуатация этих самых сюбверсивных идей с целями покорения дамских сердец; седанский герой, Базен (а также Морни, Персиньи и проч.) и notre chére patrie ******* это какая-то ни с чем не сообразная окрошка, в которой голова совершенно не ведает того, что лопочет язык, и в которой даже лицемерие, по-видимому,

---

* и вместе с тем обожал трон, отечество и святую католическую церковь *(франц.).— Ред.*

** Отечество — вы должны его носить в вашем сердце *(франц.).— Ред.*

*** мы любим, мы шалим, мы пьем мертвую *(франц.). — Ред.*

**** И, кроме того, я — сторонник законной власти! Порядок, отечество и наша святая православная вера — вот моя программа! *(франц.) — Ред.*

***** о святой католической церкви и о нашей святой православной церкви *(франц.).— Ред.*

****** наше дорогое отечество *(франц.). — Ред.*

ни при чем. Салтыков и сам колебался относительно того, как следует квалифицировать этот сброд точно в чехарду играющих слов, мыслей и чувств. В его портретной галерее лицемеров самое видное место если не по общественному значению, то по тонкости и тщательности отделки, занимает Иудушка Головлев. И об нем он говорит так:

«Не надо думать, что Иудушка был лицемер в смысле, например, Тартюфа или любого современного французского буржуа, соловьем рассыпающегося по части общественных основ. Нет, *ежели он и был лицемер,* то лицемер чисто русского пошиба, то есть просто человек, лишенный всякого нравственного мерила и не знающий иной истины, кроме той, которая значится в азбучных прописях. Он был невежествен без границ, сутяга, лгун, пустослов и, в довершение всего, боялся черта. Все это такие отрицательные качества, которые отнюдь не могут дать прочного материала для действительного лицемерия».

Колебания эти Салтыков разрешает иногда термином «бессознательное лицемерие». Худо ли, хорошо ли придумано это название, но самое явление, им обозначенное, чрезвычайно любопытно и составляет, можно сказать, открытие Салтыкова. Во всяком случае, оно никогда и никем не было изучаемо так глубоко, так пристально, как им. Отличительную черту этого бессознательного лицемерия составляет какая-то удивительная плоскодонность и наивность, которая приближает его к формуле добра и зла, данной одним бушменом: добро — украсть чужую жену, зло — когда у меня мою украдут. Этот первобытный философ и не пытается свести концы с концами в своем нравственном мировоззрении. Он совершенно серьезно, с чистою совестью разрешает себе делать то самое, за что негодует на других. В этом же роде поступают герои «Благонамеренных речей». По преданию, авгуры не могли смотреть друг на друга без смеха, потому что каждый из них отлично сознавал, что такое он сам и его товарищи. Герои «Благонамеренных речей» даже не улыбнутся при подобных обстоятельствах; они даже наедине сами с собой продолжают нанизывать все те же благонамеренные слова на другие благонамеренные слова и были бы искренно удивлены, если бы их назвали лицемерами. Такая наивность могла бы

даже обезоружить сатирика или превратить его в относительно спокойного бытописателя-юмориста, если бы эти бессознательные лицемеры не оказывались благодаря обстоятельствам времени весьма заметными факторами общественной жизни. Прекрасная дама, в голове которой Базен и notre chére patrie, любовники и сюбверсивные идеи играют в чехарду, легко и грациозно прыгая друг через друга, — эта прекрасная дама сама по себе представляет только психологический курьез. Курьез может, конечно, быть очень противен, но может быть и просто забавен: убежала себе барыня к Базену, и господь с ней. Другое дело ее достойный сынок, который выступает уже в качестве воинствующего элемента. Весь начиненный разными гнусностями, невежественный и развращенный до мозга костей, каждым своим шагом попирающий всяческие «основы», он объявляет, однако, войну каким-то врагам этих самых основ, и — кто знает? — может быть, на его долю выпадет широкая практическая деятельность в этом направлении. Он будет требовать драконовских мероприятий в ограждение святости семьи и в то же время растлевать и попирать эту самую семью всеми возможными способами, и при этом ему и в голову не придет, что тут есть какое-то противоречие. Столь же слабый сознанием, как тот бушмен, он только в своих непосредственных элементарных ощущениях может искать мерила добра и зла: добро — украсть, зло — быть обокраденным. Он знает слова: семья, собственность, отечество, слыхал, что это все принципы, подлежащие бережному отношению, но самого себя, свои собственные вожделения никак не может, даже теоретически, вдвинуть в эти рамки: слишком для этого сильны его аппетиты и слишком слабо сознание. Повторяю, гулящая бабенка, настроенная на этот лад, представляет главным образом только психологический интерес, хотя и она может зла натворить около себя много. Что чисто психологическая сторона бессознательного лицемерия не всегда так скудна трагическим значением, как в случае прекрасной дамы, обкрадывающей своего мужа для бегства к Базену, об этом свидетельствует поразительный образ Иудушки Головлева. Сугубое значение получает бессознательный лицемер, если, оставаясь любопытным психологическим феноменом, он вместе с тем становится общественным деятелем.

Чтобы извлечь из «Благонамеренных речей» и примыкающих к ним произведений Салтыкова все ценное, что они могут дать читателю, надо различать эти две стороны дела, то есть, во-первых, психологию лицемерия и, во-вторых, те условия, которые предоставляют ему широкий простор, пышный расцвет и влияние на жизнь. Различение это важно и для оценки Салтыкова как художника. Некоторые даже очень благосклонные критики, вполне признавая высокий талант и огромное значение Салтыкова, склонны умалять долговечность созданных им образов, потому, дескать, что образы эти слишком отдают тревогами современной жизни, слишком, если можно так выразиться, обросли обстоятельствами времени и места. В этом смысле проводились, например, параллели между мольеровским Тартюфом и некоторыми щедринскими лицемерами, не в пользу последних, хотя и с оговорками. Мне кажется, что это просто ошибка перспективы. Глядя на Тартюфа с расстояния в три с лишком столетия, мы, естественно, не так ясно чувствуем в нем биение пульса тогдашней жизни, как это неизбежно выходит относительно произведений Салтыкова. Но во Франции XVII века Тартюф был так же животрепещущ, так же отражал в себе обстоятельства времени и места, и это не только не сократило его жизнь в потомстве, но, напротив, именно гарантировало ему долговечность, придав этому образу подлинную, живую плоть и кровь. Так всегда бывает с действительно крупными произведениями. Только надменная мелюзга норовит воспарить от тревог современной жизни в безвоздушные пространства; зато же и пропадают пропадом ее мертвенно-бледные и мертвенно-холодные творения. Есть, конечно, и такая мелюзга, которая с комическою ретивостью копошится в интересах минуты, вершка и золотника, и продукты этого копошенья тоже пропадают пропадом. Это зависит, во-первых, от умения мелюзги выбирать из всей современной жизни именно вершки, минуты и золотники, а во-вторых, просто от бездарности. Мольер не думал удаляться из современной ему жизни и рисовать какого-то абстрактного лицемера. Недаром Тартюф вызывал целые бури среди современников, что не мешает ему, однако, и посейчас сохранять для нас художественный интерес. Если, однако, мы отрешимся от предрассудка, подсказываемого тем фактом, что Мольер уже триста

лет занимает место в храме славы, а Салтыков вступил в него на наших глазах, то сравнение между Тартюфом и Иудушкой Головлевым как художественными образами окажется далеко не в пользу первого. «Господа Головлевы» страдают длиннотами и отступлениями, от которых «Тартюф» до известной степени застрахован уже своею драматическою формой. Но, собственно, психология Тартюфа крайне элементарна и груба по сравнению с тою тонкостью, глубиною, выдержанностью, которыми блещет Иудушка.

Это произведение не сразу, однако, далось Салтыкову. «Благонамеренные речи» печатались в «Отечественных записках» с конца 1872 по 1876 год включительно, вперемежку с «Дневником провинциала», «Помпадурами», «Экскурсиями в область умеренности и аккуратности», отдельными очерками вроде «Сна в летнюю ночь». Это была обыкновенная манера писания Салтыкова. Его отдых состоял в том, что, не кончивши одной серии статей, он принимался за другую, третью, возвращаясь через несколько времени опять к первой. В конце 1875 года между прочими главами «Благонамеренных речей» появилась глава «Семейный суд», которая и составила начало «Господ Головлевых». Но, выпустив в 1876 году «Благонамеренные речи» отдельным изданием, Щедрин не включил в него глав, посвященных семейству Головлевых, и только в 1880 году напечатал «последний эпизод из Головлевской хроники», озаглавленный в журнале «Решение», а в отдельном издании — «Расчет».

Очевидно, Щедрин первоначально сам не подозревал, во что разрастутся эпизоды из семейной хроники Головлевых, но затем прилепился к ним с исключительным интересом и работал над ними с особенною обдуманностью. И не мудрено: «Господами Головлевыми» резюмируется вся психологическая сторона «Благонамеренных речей» и сродных им произведений Салтыкова.

Я не буду говорить о превосходных портретах, размещенных вокруг центральной фигуры Иудушки, — об Арине Петровне, ее муже, братьях Иудушки, его племянницах, о Евпраксеюшке. Не буду припоминать и всю историю самого Иудушки. С нас достаточно одного какого-нибудь яркого эпизода.

Евпраксеюшка беременна. В душе Иудушки поднимается нечто похожее на угрызения совести: налицо

факт, слишком уж явно изобличающий внутреннюю ложь всей его жизни. Были, правда, и прежде факты, довольно-таки в этом смысле выразительные, как например, погибель обоих его сыновей, — погибель, которую он мог легко предотвратить, но не предотвратил, а даже приуготовил. Там он вышел сух из воды, то есть не дрогнул сердцем благодаря своему умению нанизывать одно благонамеренное, но совершенно праздное слово на другое, столь же благонамеренное и столь же праздное. А теперь как быть? Получив первое известие, он сгоряча не успел даже солгать, так что в неприятном факте никто сомневаться не может. Он, так аккуратно зажигающий лампадки перед образами, так преданный посту и молитве, наконец так всем надоевший благочестивыми размышлениями, — прелюбодей! Да еще по точному расчету милого друга-маменьки — «под постный день!». Не следует, однако, думать, чтобы Иудушка в самом деле мучился настоящими угрызениями совести. Нет, застигнутый врасплох и ввиду уличающей непререкаемости факта, он только не сразу находит те сочетания слов, которые в предыдущих щекотливых случаях его жизни счастливо затуманивали всякую разницу между добром и злом. Только бы ему эти слова найти, эти благонамеренные речи, а там уже все пойдет как по маслу, — он и сам успокоится, и людям будет прямо в глаза, не смущаясь, смотреть, и богу на молитве скажет, что он, Иудушка, «не яко же сей мытарь». Он, наконец, находит искомое, и вся тревога сбегает с него как с гуся вода. Быстро одна за другой следующие сцены появления новорожденного на свет, а потом и в кабинете Иудушки, разговор Иудушки с Улитой, потом со священниками, потом опять с Улитой, отправки младенца в воспитательный дом принадлежат к числу перлов щедринского творчества, и не щедринского только: едва ли найдется во всемирной литературе много равных им по глубине, яркости и страшному, но здоровому реализму.

То явление, которое Салтыков называет бессознательным лицемерием, исчерпано здесь вполне. Иудушка Головлев — близкий духовный родственник той гулящей бабенки, что произносит благонамеренные речи даже не в антракте между двумя адюльтерами, а прямо во время адюльтера. Временами он не менее ее забавен комиче-

скою несуразностью и неуместностью своих речей. Но вместе с тем с ним поистине страшно, как в упор объявляет ему Аннинька и повторяет за ней Евпраксеюшка, как чувствует и читатель и, очевидно, сам автор. Страшен этот человек не какою-нибудь своей силой, как страшен, например, тот же Тартюф своею практической ловкостью, умением приноравливаться, красноречием: Иудушка просто пустомеля и бездельник, всем надоевший, всем противный, и никакого Оргона, никакой г-жи Пернель ему никогда обворожить не удастся [15]. Он страшен именно своею слабостью — слабостью сознания, цепляющегося за слова без всякого понимания их смысла. Сосредоточенный исключительно на своих непосредственных ощущениях, которые не умеет комбинировать в идеи и понятия, он делит все явления жизни на приятные и неприятные ему и других рубрик не знает. Он — исправленный и дополненный вариант того бушмена, который отлично знает, что быть обокраденным — зло, потому что от этого у него нечто убудет, но в то же время думает, что украсть — добро, потому что от этого нечто прибудет. Первую половину этой формулы Иудушка расцвечивает всеми красками благонамеренных речей: призывает и бога и властей охранять его от зла, но сам воровать он может. Он совершит любую гнусность не моргнув глазом, и все окружающие инстинктивно чувствуют это, но в то же время благодаря отсутствию всякой логики в его умственной чехарде никак не могут предугадать, какая именно гнусность выскочит из-под его бесконечных слюноточивых благонамеренных речей. Это еще усиливает распространяемый им кругом себя страх.

Трудно цитировать «Господ Головлевых», потому что не знаешь, что выбрать в этом удивительном произведении. Но попробую все-таки сделать одну выписку.

Племянница Аннинька, наскучив благонамеренною канителью Иудушки, собирается уезжать. Он ее удерживает, приглашая если не совсем остаться, так хоть съездить к бабеньке на могилку отслужить панихидку...

«Порфирий Владимирович остановился и замолчал. Некоторое время он семенил ногами на одном месте и то взглядывал на Анниньку, то опускал глаза. Очевидно, он решался и не решался что-то высказать.

— Постой-ка, я тебе что-то покажу! — наконец, ре-

шился он и, вынув из кармана свернутый лист бумаги, подал его Аннипьке. — На-тко, прочти!

Аннинька прочла: «Сегодня я молился и просил боженьку, чтобы он оставил мне мою Анниньку. И боженька мне сказал: возьми Анниньку за полненькую тальицу и прижми ее к своему сердцу».

— Так, что ли? — спросил он, слегка побледнев.

— Фу, дядя! Какие гадости! — отвечала она, растерянно смотря на него.

Порфирий Владимирович побледнел еще больше и, произнеся сквозь зубы: «Видно, гусаров нам нужно!» — перекрестился и, шаркая туфлями, вышел из комнаты. Через четверть часа он, однако, возвратился как ни в чем не бывало и уже шутил с Аннинькой».

Много зла и гибели распустил кругом себя Иудушка, но это зло и гибель ограничивались преимущественно ближайшим домашним и семейным кругом. Общественным деятелем он не был и не мог быть по своему скудоумию, пустословию и прирожденному бездельничеству. Правда, в мечтах своих он с болезненною ясностью представляет себе, как он всем за что-то мстит и всех для чего-то грабит. Но это были праздные фантастические мечты, которым не суждено было воплотиться в действительности. В конце концов Иудушка сам испугался облегшей его со всех сторон мертвой пустыни и не выдержал этого страшного одиночества. Никто ему ничего не доверял, не поручал, никто не пробовал воспользоваться его услугами или опереться на него. Но что было бы, если бы при той же неспособности различать добро и зло, при том же бессознательном лицемерии он благодаря обстоятельствам стал «столпом» и деятелем?

Ответ найдем в тех же «Благонамеренных речах».

VI

ЕЩЕ О БЛАГОНАМЕРЕННЫХ РЕЧАХ

Бессознательное лицемерие и «благонамеренные речи», понятые во всей их широте, исчерпывают собою добрую половину сатиры Салтыкова. Он преследовал их и смехом, и пафосом, и художественными и публицистическими средствами. Он был поистине неистощим в вариациях на эту тему, в чем ему, конечно, помогала сама

жизнь, в изобилии предоставляя подходящие сюжеты. Кузина Машенька, капитан Терпибедов, отец Арсений, семья Головлевых, Дерунов, Разуваев, Груздев, Николай Батищев и мать его, Проказнин и мать его, Удодов и проч. и проч.[16] — в этой длинной галерее не знаешь чему удивляться: выдержанности ли той духовной черты, которая ставит все эти фигуры за одну скобку, или художественной индивидуализации каждой из них, искусству ли, с которым комбинируются факты бессознательного лицемерия и благонамеренные речи, или проницательности сатирика, технике или мысли? Вы видите, что бессознательное лицемерие положительно не дает покою сатирику, мучит его и как психологическая загадка, и как художественная задача, и как общественный вопрос. Техническая ловкость, с которою, например, в небольшом очерке «Переписка» собрана целая коллекция разнообразных проявлений бессознательного лицемерия, может навести на мысль о виртуозности. Но это не виртуозность, не та уверенность и почти механичность, с какими виртуоз комбинирует звуки, краски, слова для достижения эффекта. Салтыков относится к своим лицемерам вопросительно и почти с недоумением: может ли этакое быть? Как объяснить такое чудовищное явление? Каковы его причины и следствия? Эти-то вопросы и заставляли его вновь и вновь приниматься за ту же задачу, и вместе с тем сообщали его работе характер необыкновенной жизненности. Нет возможности, да едва ли есть и надобность перебирать здесь весь длинный ряд щедринских лицемеров. Мы ограничимся немногим. Но сперва напомним ту общую черту, которая их объединяет. Напомним частью их собственными словами.

В «Переписке» Батищев сообщает матери речь, с которою к нему обратился один подлежащий его воздействию преступный человек.

«Вы фарисеи и лицемеры! Вы, как Исав, готовы за горшок чечевицы продать все так называемые основы ваши! Вы говорите о святости вашего суда, а сами между тем на каждом шагу делаете из него или львиный ров, или сиренскую прелесть! Вы указываете на брак как на основу вашего гнилого общества, а сами прелюбодействуете! Вы распинаетесь за собственность, а сами крадете! Вы со слезами на глазах разглагольствуете о любви к отечеству, а сами сапоги с бумажными

подметками ратникам ставите! И крадете, и убиваете, и клянетесь лживо, и жрете Ваалу».

«Милая маменька! — прибавляет от себя Батищев. — Как хотите, а тут есть доля правды». В свою очередь и милая маменька готова согласиться с этим; однако, пишет она, «хорошо по воскресеньям в церкви проповеди на этот счет слушать (да и то не каждое воскресенье, мой друг!), но ежели каждый день будут тебя костить, то под конец оно и многонько покажется».

Этою перепискою хорошо подчеркивается та наивность, с которою истинные потрясатели основ восстают на защиту этих самых основ. Они готовы при случае даже признать справедливость упрека в лицемерии, но тотчас же вновь погружаются в пучину благонамеренных речей и плавают там как рыба в воде...

Владимир Онуфриевич Удодов («Тяжелый год»), управляющий палатой государственных имуществ, при счастливой внешности обладает еще красноречием; красноречие же свое, равно как и свою деятельность вообще, направляет ко благу народа. Миссию свою он видит в посредничестве между государством и народом: «Надобно, чтобы народ беспрестанно был лицом к лицу с государством, чтобы последнее, так сказать, проникло в самое сердце его». Народ — дитя, доброе и смышленое, но все-таки дитя, неспособное подняться в своих обобщениях выше волости или уезда; идея государства для него слишком отвлеченна, и его надо еще приучать к ней. С особенным красноречием говорил Удодов об отечестве: «Отечество — это что-то таинственное, необъяснимое, но в то же время затрогивающее все фибры человеческого сердца». Трепака он не может равнодушно видеть, а слушая «Не белы снеги» — плачет. Дело было во время Крымской войны. Явился манифест об ополчении; с губернского захолустья, где происходит действие рассказа, требовалось до двадцати тысяч ратников. Перед губернскими людьми развернулась обширная перспектива деятельности по части сукна, холста, кожи, полушубков, обозных лошадей, провианта и проч. Все заволновалось. Говорились пламенные речи на тему о любви к отечеству и народной гордости и в то же время «бессознательно, но тем не менее беспощадно отечество продавалось всюду и за всякую цену. Продавалось и за грош и за более крупный куш; продавалось и за

карточным столом и за пьяными тостами подписных обедов; продавалось и в домашних кружках, устроенных с целью наилучшей организации ополчения, и при звоне колоколов, при возгласах, призывавших победу и одоление». Над всем этим гамом как бы господствует приятная фигура Удодова. «Тяжкие испытания, мой друг, наступают для России!» — с грустью восклицает он. «За веру! помнить, ребята! С железом в руке... С богом», — напутствует он партию ополченцев. «Держится голубчик-то наш (то есть Севастополь), не сдается! Нахимов! Лазарев! Тотлебен! Герои! Урра!» — кричит он, с лихорадочною поспешностью распечатывая газеты. Вместе с тем Удодов после упорной борьбы добился того, что вся хозяйственная часть по устройству ополчения возложена на него. Сообщая об этом приятелю, он шутливо прибавляет: «Ну, вы, конечно, уверены, что я своего кармана не забуду». Приятель, конечно, уверен, что это шутка, а Удодов между тем и в самом деле своего кармана не забыл, без всяких шуток, да так не забыл, что даже испытанные в деле грабежа ахнули. «Да, — рассуждает по этому случаю некий Погудин, —*какая-нибудь тайна тут есть:* «Не белы снеги» запоют — слушать без слез не может, а обдирать народ — это вольным духом, сейчас».

«Какая-нибудь тайна тут есть» — это характерно. Мы привыкли думать, что большим людям все представляется яснее, чем людям дюжинным. И это, разумеется, справедливо, с ограничениями, однако. Бывает и так, что большому человеку представляются загадочными и таинственными такие явления, в которых дюжинные люди не видят ровно ничего вопросительного. Зависит это прежде всего от разницы в степени пытливости ума. Дюжинный человек, смолоду свыкаясь с каким-нибудь сложным явлением, не вдумывается в него, и оттого оно ему кажется просто, а большой человек заглянет в его глубину и обширность — и призадумается. Но и, кроме того, есть вещи, которые большой человек трудно постигает именно потому, что он большой. Сюда относятся разные ухищрения низости, которые мелкой душе гораздо ближе, родственнее и потому яснее и понятнее, чем душе возвышенной. Конокрады-патриоты были для Салтыкова трудно постижимой загадкой, к разрешению которой он много раз пытался подойти. В очерке «В погоню за

идеалами» он ведет, между прочим, речь о тех же трудных для России временах Крымской войны:

«И что же, в это самое время находились люди, которые ставили ополченцам сапоги с картонными подметками, продавали в свою пользу волов, пожертвованных на мясную порцию для нижних чинов, снабжали солдат кремневыми ружьями, в которых вместо кремня была вставлена выкрашенная чурочка, и т. д. И в то же время эти люди не только не имели злодейского вида, но и сами себя не считали злодеями. Они пили, ели, провозглашали тосты, устраивали фестивали и даже очень искренно молились в церквах о ниспослании победы и одолении тем самым ратникам, которых сейчас спустили по морозцу на картонных подошвах. Ужели можно предположить, что, поступая таким образом, эти люди понимали, что они обездоливают и продают то самое государство, которое их приютило, поставило под защиту своих законов и даже дало средства нажиться? Нет, предположить это — значило бы допустить в людях такую нравственную одичалость, которая сделала бы немыслимым существование человеческого общества».

Я не знаю ничего трогательнее этих усилий великого писателя понять низость и того упорства, с которым он искал объяснения ей, всячески в то же время уклоняясь от опасности найти это объяснение в ней самой, в нравственной извращенности человеческой природы. Да, это была опасность для него. Этот сатирик, про которого глупые и бесстыжие люди говорят, что он не оставил кругом себя ничего неоплеванным, глубоко верил в нравственную красоту человеческой природы *. Он не верил и не хотел верить в злодейство, хотя конкретные факты злодейства предъявлял во всей их обнаженности. Это может показаться наивным, но это во всяком случае наивность возвышенной души, полной веры в человека, упрекать которую в плевательной специальности поистине глупо и бесстыдно.

---

* Это напоминает мне одну очень характерную фразу Салтыкова, которую мне едва ли придется утилизировать где-нибудь в тексте. Рассказывая про добрую старушку Пелагею Ивановну («Христос воскрес!» в «Губернских очерках»), он замечает, что смолоду она, верно, была красавицею, во-первых, потому, что и теперь следы красоты видны, а во-вторых, потому, что «женщина с истинно добрым сердцем, по мнению моему, должна, непременно должна быть красавицею».

Мы не в первый раз видим Салтыкова в положении человека, осмелившегося подойти к сфинксу. Мы видели его в глубоком раздумье перед «проблемой о мужике», перед «мучительно-загадочным сопоставлением мякинного хлеба и вечной страды». Теперь опять сфинксы, только другого рода, настоящие сфинксы, несообразно составленные из львиного туловища и человеческой головы и, как то греческое чудовище, порождение стоглавого гиганта и змеи, задают прохожим загадки. Пробовали прохожие — и не отгадывали, и пожирал их сфинкс. Но вот явился Эдип и отгадал, и бросился сфинкс в море. Был ли Щедрин Эдипом сфинкса лицемерия?

Если немыслима та степень «нравственной одичалости», которая нужна для обкрадывания казны и народа под звуки патриотических речей, то почему же, однако, патриоты времен Крымской войны могли «искренно молиться в церквах о ниспослании победы и одолении тем самым ратникам, которых сейчас спустили по морозцу на картонных подошвах»? Ведь это же в самом деле сфинкс с львиным туловищем и человеческой головой. Салтыков решает загадку так: «Скорее всего упомянутые казнокрады оттого так действовали, что не имели никакого понятия ни о ключах от храма гроба господня, ни об устьях Дуная, которыми разрешился вопрос об ключах [17], ни об отношении этих вопросов к русскому государству. Они действовали совершенно простодушно». Как ни странно на первый взгляд это объяснение, но оно не из тех, относительно которых можно довольствоваться первым взглядом, тем более что Салтыков возвращался к нему очень часто. Между прочим, развитию этой мысли почти целиком посвящена статья «Сила событий» (в «Признаках времени»). Статья эта написана под свежим впечатлением разгрома Франции Германией — разгрома, тяжело отдавшегося в сердцах многих мыслящих русских людей, в том числе и Салтыкова, который с ранней юности высоко ценил заслуги Франции перед человечеством. Скорбь и обида за Францию, «раздавленную пятой лихтенштейнца» [18], выдвинули перед Салтыковым все того же сфинкса лицемерия вообще и в частности лицемерного патриотизма, насажденного во Франции наполеоновским режимом. К слову сказать, кличка «бонапартист» была в устах Салтыкова одною из самых презрительных. Он называл бонапартистом «всякого, кто смешивает выражение «отечество» с выражением «ва-

ше превосходительство» и даже отдает предпочтение последнему перед первым» («За рубежом»). По мнению Салтыкова, три вопроса огромной практической важности не только поставлены, а и разрешены событиями франко-германской войны. Во-первых, вопрос об отношении к идее патриотизма казнокрадов и других паразитов. Во-вторых, вопрос об отношении к идее патриотизма людей необразованных и неразвитых. В-третьих, вопрос об отношении к идее патриотизма людей, не принимающих участия в делах своей страны. Общий вывод тот, что патриотизм бессознательный ненадежен и отнюдь не ведет к тем великим целям, которым патриотизм должен служить. А цели эти, по Салтыкову, действительно велики. Во-первых, как мы видели уже раньше, патриотизм есть единственное звено, которое приобщает нас к известной среде и заставляет нас радоваться такими радостями и страдать такими страданиями, которые нас лично затрагивают очень мало. Патриотизм раздвигает наше личное существование и приготовляет к восприятию идеи человечества. Во-вторых, «нет презрения тяжеле того презрения, которым пользуется человек от своих соотечественников». А потому идея отечества одним внушает мысль о подвиге, а других по крайней мере предостерегает от множества гнусностей. «Есть еще другая идея, в том же смысле плодотворная, — это идея о суде потомства; но так как она непосредственного действия не оказывает, то и доступна лишь людям, не чуждым обобщений» («Убежище Монрепо»). Если читатель припомнит то высокое и страшное значение, которое Салтыков придавал суду потомства, о чем у нас шла речь во втором из предлагаемых очерков, то он оценит и роль патриотизма, который сатирик ставит рядом с судом потомства. Лично Салтыков был истинный патриот в том высоком смысле, который он сам придавал этому слову. Он любил Россию в качестве просто русского человека, с молоком матери всосавшего стихийную привязанность к русскому облику и говору, к русской песне и сказке, к русскому нраву и обычаю. Не меньше Удодова чувствовал он прелесть песни «Не белы снеги». Но, как всегда и во всем, эту стихийную силу любви безотчетной он подвергал контролю сознания и видел в этом сознательном элементе то Эдипово слово, от которого сфинкс должен броситься в море. В наполеоновской Франции дела ему представлялись так, что управление страной захватила в свои руки

шайка паразитов, ни об чем, кроме приятного времяпровождения, не думавших и, в видах безостановочного продолжения этой приятности, державших население вне сознательной связи с интересами страны. Это были «не только хищники, но и глупые люди, которых способно было застать врасплох всякое обстоятельство, не имеющее ближайшего отношения к процессу питания». Они думали увековечить свое владычество, внедряя в души населения дисциплину под фирмой патриотизма, и дело кончилось бедой и позором не только для них, — об этом никто не заплачет, — а и для всей страны.

Дальнейшие выводы, которые отсюда следуют, ясны сами по себе, и на них излишне останавливаться; я же обращаю внимание читателя на щедринскую разгадку загадки сфинкса. Разгадка эта заключается в слове бессознательность. Щедрин не мог допустить мысли, чтобы Удодовы и прочая сволочь, грабившая казну и народ под гром патриотических речей и севастопольских пушек, понимали, что они делают. Не ведают, что творят, думал он, и в этом неведении искал объяснения злодейству. Щедрин не принадлежал к числу тех узких моралистов, которые неустанно твердят какой-нибудь глагол в повелительном наклонении, не соображая условий, при которых исполнение проповедуемой заповеди может быть просто невозможно. Он говорил, и горячо, красноречиво говорил: любите свое отечество; но вместе с тем указывал и ту обстановку, при которой любовь к отечеству только и может выбиться из лицемерной или ненадежной фразы в сферу подлинной жизни. Эта обстановка — сознательное участие в делах, касающихся отечества. Если бы при этой обстановке все-таки оказалась налицо горсть закоренелых хищников и паразитов, пользующихся всякой раной на теле отечества, чтобы присосаться к ней и пить кровь, отводя от раны окровавленный рот только для произнесения благонамеренных речей, то по крайней мере всякий знал бы, чего стоят эти благонамеренные речи: никого бы они не вводили в обман.

Дело именно в обмане. Сознательно или бессознательно лицемерит человек, но он во всяком случае вводит или хоть пытается ввести присутствующих в заблуждение. Если ты хищник или проходимец, так и называйся хищником и проходимцем, а не патриотом или «столпом»...

После Иудушки Головлева «столп» Дерунов — самая

значительная фигура во всей серии «Благонамеренных речей». Кроме присущего обоим бессознательного лицемерия, общего между этими двумя крупными образами мало. Иудушка — мрачный, одинокий бездельник, постепенно покрывающийся плесенью в своей мурье; Дерунов — спокойный, веселый делец, все шире и шире раздвигающий круг своей жизни. Этому различию соответствует и различие общественного положения: Иудушка представляет собою последний отпрыск выродившейся помещичьей семьи, а Дерунов, напротив, есть один из родоначальников нового общественного наслоения, так что заплесневелость Иудушки и жизнерадостность Дерунова являются как бы эмблемами. Иудушка только в праздных мечтаниях на бумаге высчитывает, как, кого и насколько мог бы он ограбить при помощи купли и продажи, штрафов и процентов, а у Дерунова все это въявь кипит. Любопытно заметить, что образ Дерунова и родственных ему Антошки Стрелова, Разуваева и прочих «чумазых» намечен опять-таки еще в «Признаках времени», в главе «Наш savoir vivre» * Этот наш *savoir vivre* есть, собственно говоря, просто мошенничество, более или менее закутанное благонамеренными речами. Сатирик замечает, что принцип *savoir vivre* очень туго прививается к меньшой братии, но зато если уже выдастся из этой среды подходящий субъект, так всякого за пояс заткнет. Помаленьку да полегоньку он сначала ближайшую округу объегоривает, а потом распространяет свои сети все дальше и становится, наконец, знаменитым в качестве «мужичка-финансиста», с исключительною ловкостью и жестокостью осуществляющего планы всеобщего ограбления. Такова именно история Дерунова. Его первые шаги к лестному титулу мужичка-финансиста — неизвестны. Разуваев — тот в основу своего благополучия благосклонность корнетши Отлетаевой положил; Антошка, впоследствии Антон Валерьянович Стрелов, сначала стрелой по базару носился, а потом поднялся при помощи плутовства, благосклонности любовницы генерала Утробина-старшего и подложных векселей генерала Утробина-младшего. Трактирщик в «Охранителях» соблазнил жену купца, вместе с ней его дурманом опоил и с того в гору пошел, и т. д. Что же касается Дерунова, то о его первых шагах к «засилию» имеется только одно его собствен-

---

* уменье жить *(франц.).— Ред.*

ное показание: почитал он своего родителя, а брат его родителя не почитал, за что и был лишен наследства, целиком доставшегося почтительному сыну. В детских воспоминаниях автора Дерунов фигурирует удачливым и ловким прасолом и хозяином постоялого двора. Но, собственно, рассказ застает его уже на гораздо высшей ступени: у него уже четверть уезда земли в руках, скот он скупает целыми табунами, фабрику миткалевую завел, винокуренные заводы арендует, палаты каменные себе выстроил. Слава его настолько гремит, что его уже в акционерные предприятия втягивают, но этого он еще опасается. Живет Дерунов с большой семьей: жена, два сына, сноха, четверо внучат, да еще дочь есть — та на стороне живет с мужем, с полковником. Одним из сыновей, женатым, Дерунов очень недоволен, даже в смирительный дом его за непочтение сажал; зато снохой не нахвалится, да и вообще в семье счастлив. «Теперича мне хоть какую угодно принцессу предоставь, — разве я ее на мою Анну Ивановну променяю? Спаси господи! В семью-то придешь — ровно в раю очутишься. Право! Благодать, тишина; всякий при своем месте — истинный рай земной!» Дерунов — человек и по внешности благообразный и благодушный, всеми почитаемый. Однако кое-какие подробности его беседы смущают автора. Автор хочет продать свое имение, и Дерунов, пользуясь обстоятельствами, теснит его несообразно малой ценой. Это — во-первых. А во-вторых, про свои коммерческие операции Дерунов рассказывает, между прочим, так: «Хлебом нонче за первый сорт торговать. Насчет податей строго стало, выкупные требуют, ну и везут. Иному и самому нужно, а он от нужды везет. Очень эта операция нонче выгодная. И скот скупать хорошо, коли ко времю. Вот в марте кормы-то повыберутся, да и недоимки понуждать начнут, — тут только не плошай! За бесценок целые табуны покупаем, да на винокуренных заводах на барду ставим. Хороший барыш бывает» — и т. д. Во время этих наивно или нагло откровенных рассказов благолепного старца является его сын, ездивший скупать хлеб у крестьян. Он рассказывает, что давал мужикам шесть гривен за пуд, а они заупрямились и повезли хлеб в другое место, а в этом другом месте опять же никого, кроме деруновских приказчиков, нет, — ну и пришлось отдать еще дешевле, по полтиннику. Дерунов одобряет, что мужиков проучили за упрямство, но прибавляет:

«— Однако это, брат, в наших местах новость. Скажи пожалуй, стачку затеяли! Да за стачки-то нонче знаешь как! Что же ты исправнику не шепнул?

— Ничего, папенька, покамест еще своими мерами справляемся-с.

— Ну ладно. И то сказать, окромя нас и покупщиков-то здесь солидных нет. Испугать вздумали! Нет, брат, ростом не вышли! Бунтовать не позволено!

— Истинный, папенька, бунт был. Просто, как есть, стали все за одно, и шабаш. Вы, говорят, из всего уезда кровь пьете. Даже смешно-с.

— Никогда прежде бунтов не бывало, а нынче, смотри-ко, бунты начались.

— Да какой же это бунт, Осип Иванович? — вступился я.

— А по-твоему, барин, не бунт? Мне для чего хлеб-то нужен? Сам, что ли, экую махину съем? В амбаре, что ли, я его гноить буду? В казну, сударь, в казну я его ставлю! Армию, сударь, хлебом продовольствую! А ну как у меня из-за них, курицыных сынов, хлеба-то не будет? Помирать, что ли, армии-то? По твоему это не бунт?»

Этот неожиданный оборот разговора, в связи с другими подобными же благонамеренными речами Дерунова, заставляет автора призадуматься: есть ли Дерунов действительно «столп», или он, напротив, принадлежит к числу «самых злых и отъявленных отрицателей собственности, семейного союза и других основ?» По-видимому, здесь нет места никаким таким сомнениям. Дерунов богатый собственник и уже по одному этому чтит собственность; он держит в порядке семью и, следовательно, чтит семейный союз; он заботится об армии, жертвует на «общеполезное устройство», его грудь украшена медалями — значит, он чтит союз государственный. *«Но понимает ли он сам, что он «поборник»? Не говорит ли в этом случае одно его нутро, без всякого участия в том его сознания?»* Будь это сознание налицо, Дерунову пришлось бы, может быть, одно из двух: либо прекратить свои благонамеренные речи, либо изменить характер своей деятельности. Потому что как же связать уважение к принципу собственности с желанием даже при помощи исправника получить чужую собственность за несообразную цену? По крайней мере автору, после его свидания с благолепным старцем, приснился такой сон. Видит он станового пристава, полу-

чившего высшее образование и имеющего диплом доктора философии. Сидит будто этот становой и пишет: «Проявился в моем стане купец 1-й гильдии Осип Иванов Дерунов, который собственности не чтит и в действиях своих по сему предмету представляется небезопасным. Искусственными мерами понижает он на базарах цену на хлеб и тем вынуждает местных крестьян сбывать свои продукты за бесценок. И даже на днях, встретив чемезовского помещика (имярек), наглыми и бесстыжими способами вынуждал оного продать ему свое имение за самую ничтожную цену. А потому благоволит вышнее начальство оного Дерунова из подведомственного мне стана извлечь и поступить с ним по законам, водворив в места более отдаленные и безопасные». Это был сон, а проснувшись, автор с достоверностью узнает, что Дерунов, сверх того, и снохач. Благолепный старец, так красноречиво говоривший о прелестях семейной жизни («истинный рай земной!»), отнял жену у собственного сына...

Очерк «Превращение» рисует Дерунова на еще высшей степени великолепия. Он уже бросил непосредственное кровопийство, предоставив эту черную работу сыну и приказчикам, а сам занялся «отвлеченным» грабежом, высшими финансовыми операциями, при которых не слыхать протестов в виде стонов, оханий, проклятий, «бунтов» и которые, однако, дают рубль и два рубля на рубль в такие сроки, в какие непосредственное кровопийство дает на рубль гривенник. Сверх того, Дерунов, еще бодрый и крепкий старик, рвет цветы наслаждения: ездит в Петербург, задает лукулловские пиры, носит бриллиантовые запонки и открыто живет с красавицей снохой.

Чурилин («Кандидат в столпы»), Стрелов («Отец и сын»), Хрисашка Полушкин («Опять в дороге»), затем Груздев, Разуваев («Убежище Монрепо») — все это разновидности деруновского типа. В «Предостережении» сатирик подвел им итог кличкой «чумазые». Это такие же бессознательные лицемеры, как Иудушка Головлев, кузина Машенька, Батищев и мать его, Проказнин и мать его и множество других действующих лиц сатир Салтыкова. Все это люди, отлично помнящие десять заповедей, но исключительно в буквальной форме их повелительного наклонения, то есть в форме обращения ко второму лицу: *ты* не укради, *ты* не убей, *ты* не прелюбы сотвори. А затем от степени изворотливости даже не ума их, а только языка

зависит удача или неудача достижения истинной цели их жизни: сбросить с себя лично узду этих самых заповедей. Но «чумазые» выделяются из всего персонала лицемеров своим общественным положением. Они пробились снизу вверх. Они новые люди в истории. В дореформенную эпоху они были возможны разве в виде редких исключений и во всяком случае никакого нового течения внести в жизнь не могли. Бывали случаи, что благодаря счастливому стечению обстоятельств «мужичок» пролезал наверх, но он становился при этом таким же барином, как и прирожденные баре, растворялся в барском слое: заводил себе непомерную дворню, в теплые края путешествовать ездил, бросал деньги направо и налево, а при случае и книжки читал и библиотеки, музеи, школы заводил. «Чумазые», как новый дирижирующий слой, стали возможны только с тех пор, как «порвалась цепь великая, порвалась, раскачалася — одним концом по барину, другим по мужику». Не потому, разумеется, они стали возможны, что порвалась великая постыдная цепь, а благодаря обстоятельствам, сопровождавшим это событие. Неумелый барин и обремененный мужик — вот два источника, из которых и на счет которых «чумазые» черпают свою силу. Дерунов уловляет и чемезовского барина, пользуясь его беспомощностью, и крестьян, выжидая момент, когда кормы повыберутся и недоимки понуждать начнут. Разуваев опутывает владельца Монрепо и мужику спуску не дает, памятуя, что «йен достанит».

В финансовом девизе Разуваева лежит ключ к уразумению разницы между тем обездолением, которому мог подвергать мужика барин, и тем, которое зависит от алчности чумазых. Барин мог проиграть свою Маниловку или Заманиловку в карты, мог променять крестьянскую семью на пару борзых собак, мог совершать всякие безобразия и жестокости, но он не мог не знать и не принимать в соображение той границы материального обездоления, за которою «йен» уже ничего не «достанит». А если бы он и перевел обитателей своей Маниловки за эту границу, то, во-первых, это отозвалось бы на нем самом; а во-вторых, дальше своих владений он был не в силах распространять разорение. Сфера же деятельности чумазых, можно сказать, беспредельна; для них «йен» всегда «достанит», потому что если этот «йен» даже с голоду умрет, так на его место совершенно такой же свежий «йен» явится; да

и сам чумазый, опустошив Маниловку, может свободно перенестись в другую Маниловку, третью и т. д., без конца. Кроме того, надо помнить, что барин все-таки был не чужд наук и искусств, он иногда слушал Грановского и читал Белинского, был способен предаваться «мечтаниям», конечно в большинстве случаев платоническим и праздным. Чумазый же на вопрос: что есть истина? — твердо и неукоснительно отвечает: «распивочно и на вынос!» Чумазый, как мы видели на примере Дерунова, может подняться очень высоко, начисто вымыться и надеть бриллиантовые запонки, так что сюда относятся вообще «кабатчики, железнодорожники, менялы и прочие мироедских дел мастера». Чумазые — это наш tiers-état *. Но в отличие от европейской буржуазии, на знамени которой значатся слова просвещение и свобода, Дерунов ставит себе девизом: «насчет вина свободно, а насчет чтениев строго», и этим изречением стремится окрасить все окружающее. В этом ему существенную помощь оказывают благонамеренные речи.

Мы видели приемы, которыми Дерунов настигает мужика: ловит момент бескормицы и взыскания недоимок, а если и за всем тем мужик не берет шести гривен за пуд, то Дерунов называет это стачкой и бунтом и готов прибегнуть к содействию властей, потому он армию хлебом снабжает, а не умирать же армии из-за них, курицыных сынов! Этот залп благонамеренных речей за счет властей и армии есть ultima ratio **. Так и с «господами». Понуждая чемезовского барина продать имение задешево, Дерунов пугает его судьбой кандауровского барина, которого «чуть-чуть не увезли», потому что он «чтениями» занимался. В очерке «Опять в дороге» Хрисашка Полушкин с братьей доносами выживают помещика Ощирина; доносы, конечно, состоят из благонамеренных речей: в церковь Ощирин не ходит, так это истинным сынам церкви обидно показалось, а какой же Хрисашка сын церкви, когда он вор и прелюбодей? Владельца Монрепо Разуваев с Ковыряевым выкуривают всеми возможными способами — и наглым нахрапом, и уговорами, и, наконец, угрозой политического доноса. Никаких политических грехов за владельцем Монрепо нет, но в конце концов он не выдерживает

* наше третье сословие *(франц.)*. — *Ред.*
** последний довод *(лат.)*. — *Ред.*

этого всестороннего натиска и продает Разуваеву Монрепо: finis * Монрепо.

Такова сила «благонамеренных речей»... Вот три человека, в прошлом которых есть убийство, воровство, лжесвидетельство, прелюбодейство — словом, нарушение чуть не всех десяти заповедей, — являются в качестве добровольцев-охранителей государственного порядка и религии («Охранители»). Они «извещают» исправника о преступной деятельности помещиков Анпетова и Парначева. Исправник, хорошо знакомый с биографиями всех трех доносчиков, отказывается дать ход их извещениям, потому что в действиях Анпетова и Парначева не оказывается состава преступления (один сам землю пашет, а другой хлопочет о школах, трезвости и сыроварении). Однако исправник все-таки пользуется услугами известителей и, кажется, не может не пользоваться, потому что в противном случае они, чего доброго, его самого обвинят в неуважении к «основам». Обвинят не моргнув глазом, ни на секунду не дрогнув совестью, хотя они-то и есть настоящие разрушители основ. Эти три доносчика настолько глупы и невежественны, что формулируют свои извещения так: «Коммуны делает, пролетариат проповедует, прокламацию распущает, все, словом сказать, весь яд! Главнейше же путям провидения не покоряется: дождь, например, не от бога, а от облаков». Но благонамеренные речи отнюдь не всегда отливаются в такие безграмотные и бессмысленные формы. Напротив, они поддаются более или менее благообразной, в техническом смысле, обработке и складываются в целые литературные течения, от чего, однако, нимало не изменяется их суть. Суть же в том, что на защиту основ поднимаются разрушители основ, сохраняя при этом столь полную ясность духа, что не знаешь даже, чему ее приписать — безграничной ли наглости, или младенческой наивности. Во всяком случае, этот странный маскарад, где все без церемонии валится с больной головы на здоровую; где возможна «притча о мерзавце, на доброй стезе стоящем» («Письма к тетеньке»); где «разбойниками печати» ругаются именно те, кому этот титул приличествует; где уличенные развратники кричат о святости семейного начала; где казнокрады заподозривают Щед-

* конец *(лат.)*. — *Ред.*

риных в недостатке патриотизма, — маскарад этот внушил сатирику ядовитую мысль, которую он, впрочем, облек в комическую форму «Современной идиллии».

Одурманенные хором благонамеренных речей, герои «Современной идиллии» припоминают свое прошлое: чего-чего там только не было — «и восторг по поводу упразднения крепостного права, и признательность сердца по случаю введения земских учреждений, и светлые надежды, возбужденные опубликованием новых судебных уставов, и торжество, вызванное упразднением предварительной цензуры, с оставлением ее лишь для тех, кто, по человеческой немощи, не может вместить бесцензурности». С точки зрения Терпибедовых и Грациановых, Разуваевых и Очищенных, все это такие преступления, которые вопиют о торжественном и блестящем искуплении. И вот герои «Современной идиллии» спешат сделаться «участниками преступлений, в надежде что общий уголовный кодекс защитит их от притязаний кодекса уголовно-политического». Они стремятся уподобиться Терпибедовым и Грациановым, погружаются в пучину низости, мерзости, грязи, совершают ряд постыдных и прямо преступных деяний и, наконец, достигают своей цели: Терпибедовы, Грациановы, Разуваевы и весь сонм лицемеров признают их людьми благонамеренными. Но тут является на сцену «Стыд»...

VII

УМЕРЕННОСТЬ И АККУРАТНОСТЬ

«В основе современной жизни лежит почти исключительно мелочь... Ах, эти мелочи! Как чесоточный зудень, впиваются они в организм человека, и точат, и жгут его... Мелочи, мелочи, мелочи, заполонили всю жизнь».

Так вздыхал Салтыков в одном из своих последних произведений, разумея при этом не только русскую, а и европейскую жизнь. Понятно, однако, что наибольшее внимание он уделяет нашей жизни. В том сравнительно небольшом произведении, из которого взяты приведенные слова («Мелочи жизни»), сделан смотр разным положениям русских людей. Перед читателем проходят: «Хозяйственный мужичок», сельский священник, помещик,

«мироеды», группа «молодых людей», группа «читателей», группа «девушек», группа, поставленная за общую скобку заглавия «В сфере сеяния» (газетчик, адвокат, земский деятель, праздношатающийся), затем отдельные фигуры «Портного Гришки», «Счастливца», «Имярека». По задаче это несколько напоминает некрасовское «Кому на Руси жить хорошо». Но поэт не успел ответить на свой вопрос, а ответ Салтыкова налицо. Ответ грустный, именно грустный. Всякий другой эпитет, хотя бы даже справедливый по существу дела, был бы все-таки неуместен, ввиду того тона, которым этот ответ проникнут. В смысле господствующего тона «Мелочи жизни», может быть, самое цельное из произведений Салтыкова, если брать их так, как он их писал, — целыми сериями. В «Мелочах жизни» нет той смены спокойного рассуждения и изображения взрывами заразительного смеха, а этого смеха негодованием, которую мы видим и в «Губернских очерках», и в «Помпадурах», и в «Господах ташкентцах», и в «Благонамеренных речах», и в «Пошехонских рассказах», и в «Письмах к тетеньке», и т. д. В этом отношении рядом с «Мелочами жизни» может быть поставлена только «Пошехонская старина», но об ней у нас пойдет речь особо. В «Мелочах жизни» сатирик является как бы уставшим смеяться и негодовать. Он может только грустить. Грустит он о том, что мелочи заполонили всю жизнь, что все, куда ни взглянешь, да и сам он, сатирик, затянуты тиной мелочей, в которой даже, по-видимому, наиболее счастливые почерпают только тусклую, серую жизнь изо дня в день, без намека на настоящее счастье, без манящего просвета в будущее. О какой-нибудь утрировке или о тенденциозном подборе фактов здесь не может быть и речи. Салтыков выбирает для своего обзора отнюдь не худшие положения. Совсем даже напротив. Так, из крестьянской жизни он берет не какую-нибудь голь перекатную, раздавленную нуждой и горем, а «хозяйственного мужичка», разумного, честного, у которого дом, по-крестьянски, полная чаша. И, однако, сделав добросовестный обзор его жизни, автор приходит к грустному вопросу: «С какой стороны подойти к этому разумному мужику? Каким образом уверить его, что не о хлебе едином жив бывает человек?» Мелочи, тягучие, липкие мелочи, опутывающие всю жизнь хозяйственного мужичка, не дают ему

подняться выше «хлеба единого», обрезывают его душе крылья, да и в сфере ежедневных интересов он все-таки не спокоен. Хорошо он живет, полная чаша его дом, но под старость, когда ему приходится передать бразды правления большаку сыну, он видит, что дело его жизни начинает вразброд идти. «Умру, все растащут!» — думается старику, и болит — ах, болит его хозяйственное сердце!» А уйти от этой боли некуда, — весь он тут, в этих мелочах. Вот сельский священник: хороший поп, и никаких особенных, экстренных несчастий судьба ему не посылает. Тем не менее жизнь его есть не что иное, как «сказка об изнурительном жизнестроительстве», и резюмируется словами: «Горькое начало, горькое существование, горький конец». Но вот, пропуская несколько фигур, наталкиваемся на исключительного удачника. Газетчик Иван Непомнящий устроился блистательно: обладая вместо убеждений и знаний лишь бойким пером и наглостью, он в изобилии пожинает деньги там, где сеет вздор, сплетни, гаерство. Он задает роскошные обеды, держит при своей особе «льстеца», «рассказчика сцен» и «разорившегося жуира», собирается купить в Италии замок Лампопо с принадлежащим к нему княжеским титулом — словом, может сказать себе: пей, ешь и веселись. Он и пьет и ест, но не веселится. И его жизнь слагается из удручающих мелочей изо дня в день, так что он начинает, наконец, ненавидеть свою газету, а бросить ее не может...

Таково ли действительно положение Ивана Непомнящего, в самом ли деле он удручен мелочами жизни, или, напротив, душа его ничего иного не просит, до этого нам дела нет. Мы говорим о настроении Салтыкова, об его собственном отношении к мелочам жизни. Они представлялись ему чем-то ужасным и вместе унизительным, каким-то засасывающим болотом, выбраться из которого не легко, даже при полном сознании, что погружаешься во что-то грязное, липкое и зловонное. Салтыков очень хорошо знал, что есть люди, способные довольствоваться мелочами. Вот, например, помещик Лобков «совершенно доволен, что его со всех сторон обступили мелочи, — ни дыхнуть, ни подумать ни о чем не дают; ценою этого он сыт и здоров, а больше ему ничего и не требуется». Или «Ангелочек», или «Полковницкая дочь» (обе из группы «Девушек»), да мало ли их, малым довольных. Как бы,

однако, они ни были по-своему счастливы, со стороны на них можно посмотреть разно. Можно, памятуя изречение: «Лучше быть недовольным человеком, чем довольной свиньей», негодовать на узколобие или черствость, необходимые для благополучного погружения в мелочи жизни; можно осмеять рыцарей вершка и золотника. Но можно и пожалеть их. Ангелочек, полковницкая дочь, Лобков, Иван Непомнящий и проч. — все это люди малые, но все же они люди. Могли бы ведь и они, при других условиях, вкусить от настоящей жизни, взять с нее все, что она способна дать человеку, а они, бедные, даже не подозревают о существовании тех подчас мучительных, а подчас и радостных и во всяком случае расширяющих личное существование тревог, которые дают высшие проявления жизни. Что уж это за жизнь без любовного участия к чьей бы то ни было чужой жизни, без мечты, без жажды подвига, без подъема к какому бы то ни было небу... жалкая, сиротская, нищенская жизнь!

На этой именно точке грустной жалости стоит Щедрин в «Мелочах жизни». Он ни на кого не сердится, никого не осмеивает, — он жалеет, и в этой его жалости находят себе одинаковый приют и всеми безжалостно поруганный портной Гришка, и великолепный газетчик, и бездушный Ангелочек, счастливо превращающийся в княгиню Сампантре, и оставшаяся «Христовой невестой» Ольга Васильевна. Очень это различные люди, и очень различны их положения, но они одинаково засосаны мелочами. Это не надменный укор человека, взобравшегося на пьедестал. Автор и самого себя чувствует опутанным сетью мелочей. На краю могилы «он чувствует, что сердце его горит и что он пришел к цели поисков всей жизни, что только теперь его мысль установилась на стезе правды... Он простирает руки, ищет отклика, он жаждет идти, возглашать... И сознает, что сзади у него повис ворох крох и мелочей, а впереди — ничего, кроме одиночества и оброшенности» («Имярек»).

Очерк «Имярек» произвел в свое время сильное впечатление, как личная исповедь знаменитого автора. Он получал много писем. Одно из них пришло в моем присутствии, и Салтыков, жалуясь на слабость зрения, просил меня прочитать его. Я никогда не забуду этой сцены: слушая письмо, Салтыков, по обыкновению, вор-

чал и в то же время плакал... Автор письма называл его «святым стариком», доказывал, что не крохи и мелочи у него в прошлом, что не одинок он и не может быть одинок, что русское общество не может забыть его заслуги, как бы ни умалял их размеры он сам. Письмо было хорошее, звучало искренностью, и если автору его попадутся на глаза эти строки, пусть он примет от меня благодарность за те минуты умиления, которые он доставил больному и мнительному старику. Корреспондент был настоящий «читатель-друг», общение с которым Салтыков, как мы видели, считал драгоценным для каждого убежденного писателя. Но письмо было не просто утешительно, в нем была правда. Конечно, только мнительность и болезнь могли внушить Салтыкову мысль, «что сзади у него повис ворох крох и мелочей, а впереди — ничего, кроме одиночества и оброшенности». Все относительно. Ядовитые мелочи не пощадили и Салтыкова, и в его жизнь и деятельность они внесли свою долю горькой отравы. Но сделанного им, разумеется, слишком достаточно для того, чтобы не предаваться скорби Имярека. Хотя бы уже потому, что в его деятельности широкая полоса была отдана именно борьбе с мелочами жизни. До конца дней своих не уставал он звать нас в тот мир идеала и действенной веры в будущее, который только и может спасти от губительной цепкости мелочей. Вглядываясь в безнадежно серые тоны нашей жизни, воспроизведенные им коснеющею рукою в предсмертной страничке «Забытых слов», он боялся: «Кто знает, может быть, недалеко время, когда самые скромные ссылки на идеалы будущего будут возбуждать только ничем не стесняющийся смех («Пошехонская старина»). Увы! это время уже наступило, слова: «вера в будущее», «идеалы» — уже возбуждают смех, столько же наглый, сколько и глупый. А впрочем, rira bien qui rira le dernier... *

К торжеству мелочей Салтыков не всегда относился только с грустью, как в последние годы своей жизни. Раньше он встречал его то бурным негодованием, то беспощадным смехом.

В сказке «Добродетели и Пороки» парламентером от Добродетелей во враждебный лагерь Пороков в конце концов отправляется Лицемерие. Но сначала Добродете-

---

* хорошо смеется тот, кто смеется последним *(франц.).— Ред.*

ли отправили было «двух бобылок — Умеренность и Аккуратность». Выбор этот они сделали по указанию Опыта, который посоветовал: «Отыщите такое сокровище, которое и Добродетели бы уважало, да и от Пороков было бы не прочь». Умеренность и Аккуратность вполне соответствовали этим требованиям, потому что, с одной стороны, в добродетельских селениях жили, а с другой — торговали корчевным вином и потихоньку Пороки у себя принимали. Однако миссия Умеренности и Аккуратности не удалась. Пришли они в лагерь Пороков и начали канитель разводить: «Помаленьку-то покойнее, а потихоньку вернее», — ну, их и прогнали.

Умеренность и Аккуратность несомненно живут в добродетельских селениях и питаются теми самыми мелочами, которые, по Салтыкову, калечат жизнь человеческую. Понятно, что большого благоволения к этим почтенным качествам сатирик не мог чувствовать. И действительно, еще в самом раннем своем произведении, в «Запутанном деле», он с совершенно недвусмысленною неприязнию относится к той программе умеренности и аккуратности, которою отец героя снабжает отъезжающего в Петербург сына. Это можно бы было, пожалуй, поставить на счет молодости. Салтыкову было всего двадцать два года, когда он писал «Запутанное дело»; ну, а в эти благодатные годы умеренность и аккуратность натурально претят: «то кровь кипит, то сил избыток». Надо быть Молчалиным, чтобы посвятить себя культу умеренности и аккуратности à la fleur de l'âge *. Потом, когда цветы отцветут, когда уходят бурку крутые горки, — другое дело. Суровая житейская практика поукротит молодой задор, поубавит молодых сил, мелочи жизни сделают свое дело, и умудренный человек сожжет все, чему поклонялся, поклонится всему, что сожигал. С улыбкой, — и хорошо еще если с улыбкой, а не со стыдом или зубовным скрежетом, — будет он вспоминать золотые сны молодости и предъявит ту самую программу умеренности и аккуратности, которую когда-то гордо и пылко браковал. Ах, это очень обыкновенная история, — до такой степени обыкновенная, что когда я вижу юношу, с негодованием рвущего знамя умеренности и аккуратности, я поневоле вспоминаю примеры происхо-

* в цвете лет *(франц.).— Ред.*

дивших на моих глазах превращений и думаю: надолго ли этого задора хватит? Горькие думы, но еще горше видеть молодость без ее естественных атрибутов, а это бывает. Салтыков держался на этот счет вполне определенного мнения. Он писал: «Кто в двадцать лет не желал и не стремился к общему возрождению, про того трудно даже сказать, что у него было когда-нибудь сердце, способное сочувствовать и сострадать». Отсюда его особенная ненависть к молодым ташкентцам всякого рода: пусть бы уж старики ташкентствовали, если эта чаша не может миновать нас совсем.

Как бы то ни было, но с Салтыковым лично не произошло на всем протяжении его жизни никакого превращения по части умеренности и аккуратности. Как он выступил на литературное поприще с презрением к этим бобылкам, живущим «на задворках добродетельских селений», так и в могилу сошел без уважения к ним. Он всегда понимал губительную цепкость мелочей и их засасывающую силу. Поэтому он сравнительно благодушно отнесся даже к Молчалину («В среде умеренности и аккуратности»), несмотря на все его «уступочки» и «обстановочки». Правда, как мы видели, он пригрозил ему страшной карой сыновнего суда, но это уже, собственно, за то, что Молчалин был способен окровавленными руками пирог с капустой резать. Это ведь уж в самом деле слишком. Но затем Молчалин просто маленький, слабый человек, сам сознающий свое ничтожество, и вы ясно видите, что сатирик по-человечеству сочувствует его горестям и трудным положениям. Иное дело, когда представители умеренности и аккуратности воображают, что они-то и суть настоящие большие корабли, которым предстоит большое плавание, когда они, гордо закинув голову и воинственно потрясая мечом, набрасываются на все, что не отмечено клеймом умеренности и аккуратности. Этим Салтыков не давал пощады. В сущности он только требовал, чтобы всякий сверчок знал свой шесток, чтобы вещи назывались их подлинными именами: вершок — вершком, аршин — аршином, и, кажется, требование это нельзя назвать чрезмерным или несправедливым. А между тем за это за самое он претерпел нападок, может быть, больше, чем за какую бы то ни было другую струю своей деятельности.

Полемика, происходившая в начале семидесятых годов между «Отечественными записками» и «С.-Петербургскими ведомостями», нынешнему поколению читателей совершенно чужая. Благодаря разным неожиданностям, подрывающим преемственность нашего литературного развития, нынешним читателям не только трудно проникнуться интимной, живой подкладкой той полемики, но едва ли многие даже просто помнят и знают ее [19]. К этому надо еще прибавить неполноту документов, относящихся к делу: сочинения Салтыкова налицо, со всею их полемическою резкостью, а кому же нужда или охота разыскивать старые номера «С.-Петербургских ведомостей»? Они были и быльем поросли. Ознакомиться с ними не трудятся, по-видимому, даже те, для кого это, по обстоятельствам, обязательно.

Один, вообще говоря, очень благосклонный критик делает по поводу упомянутой полемики упрек сатирику в «преувеличении», «несправедливости» и «ошибке» [20]. Не возражая против щедринской оценки «пенкоснимательства» вообще, он находит несправедливость и ошибку в приурочении его «к одному лицу и к одной газете». Этот упрек прежде всего фактически несправедлив. Под «Старейшей Всероссийской Пенкоснимательницей», конечно, разумеются «С.-Петербургские ведомости», но рядом с ними у Щедрина фигурируют и другие органы печати, например журнал «Вестник Пенкоснимания», еженедельное издание «Обыватель Пенкоснимающий», газета «Истинный Российский Пенкосниматель». Что же касается «одного лица», то Менандр Прелестнов, к которому только и может относиться эта аллюзия, пользуется даже некоторым сочувствием сатирика. Менандр Прелестнов видал лучшие времена литературы и помнит их. В минуту откровенной беседы он говорит автору: «Ну, скажи на милость, разве Белинский, Грановский, ну, Добролюбов, Писарев, что ли... разве писали они что-нибудь подобное той слюноточивой канители, которая в настоящее время носит название передовых статей?.. Ты заметил ли, что этот Нескладин нагородил?» («Дневник провинциала в Петербурге».) Менандр Прелестнов — центральная фигура картины, но он не инициатор пенкоснимания, а скорее жертва его, не принципиальный его поборник, а только попуститель, да и то поневоле. Временами по крайней мере он отлично сознает, чего стоят принципы

пенкоснимательства и его представители, орудующие в «Старейшей Российской Пенкоснимательнице».

Далее, упомянутый критик говорит, что Салтыков потратил в этой полемике «слишком много слишком тяжелых снарядов», но о том, какие снаряды пускались в ход пенкоснимателями, не говорит ни единого слова. Это придает всей истории неверное освещение. Полемика «Отечественных записок» с «С.-Петербургскими ведомостями» была не поединком Салтыкова с Менандром Прелестновым, а борьбою двух направлений, и в этой борьбе не одна же только сторона тратила «снаряды». Здесь, конечно, не место припоминать подробности полемики, но всякий, кто пожелает справиться в подлинных документах, увидит, что в «Отечественные записки», от которых Салтыков никогда себя не отделял, и лично самого Салтыкова летели из лагеря пенкоснимателей снаряды, начиненные всем порохом, какого только у них хватало. Что не они порох выдумали, это правда, но это уже другой разговор.

Дело именно в том, что пенкоснимательство занимало в ту пору воинствующее положение. Конечно, уже самые его принципы не могли быть симпатичны сатирику. «Наше время — не время широких задач»; [21] «с одной стороны, надо признаться, но и с другой стороны — нельзя не сознаться», — это не могло быть по душе человеку, которому умеренность и аккуратность рисовались в виде бобылок, живущих на задворках добродетельских селений. Если этому влиянию и этому аккуратно-умеренному погружению в мелочи жизни предается какой-нибудь Молчалин, так, пожалуй, и бог с ним, тем более что он выше сферы своей не лезет, жар-птицы из себя не изображает и никогда не забывает пословицы, предписывающей протягивать ножки по одежке. Но литература! Литература, идея которой, по Салтыкову, граничит с вечностью!.. Какое такое может быть время, что литература не найдет в нем широких задач? Что задачи могут по характеру своему изменяться, переходя от теории к практике и обратно и в каждой из этих областей от одной группы вопросов к другой, — это верно. Что внешние обстоятельства могут насильственно сузить сферу деятельности литературы — это, к сожалению, опять-таки бесспорно. Но чтобы литература сама накладывала на себя руки и возводила узость задач в руководящий

принцип, — этого Салтыков, в своем благоговейном отношении к роли литературы, ни понять, ни простить не мог. И пусть бы эта самоубийственная литература по крайней мере сознавала глубину своего ничтожества и позора, пусть бы она клевала выеденные яйца и прочие мелочи жизни, краснея от стыда или хоть только со скромным видом, приличествующим бобылкам, которые на задворках добродетельских селений живут. А то ведь она что говорит? Она говорит: мы соль земли! а вы, говорит, которые о широких горизонтах хлопочете, празднословы, неспособные подняться на высоту научного понимания задач времени. Нескладин отстаивает «проект упразднения» против «проекта уничтожения». Автор «Дневника провинциала» осмеливается ему заметить, что это, кажется, одно и то же и что «сердце отказывается верить»... Нескладин надменно перебивает: «А так как я имею дело с фактами, а не с тревогами сердца, то и не могу ничего сказать вам в утешение!» Неуважай-Корыто, по поводу какого-то Чурилки, тоже с величественною сухостью отрезывает: «Ну-с, на этот счет наша наука никаких утешений преподать вам не может!» Наука! Они ведь серьезно думали, что это наука, а отстаивание «проекта упразднения» против «проекта уничтожения» — либерализм. Что касается либерализма, то дальнейшие превращения многих деятельнейших пенкоснимателей уже сами по себе свидетельствуют, в какой мере был прав Салтыков, не давая этому либерализму той цены, которую тот сам запрашивал.

Умеренность и аккуратность сами по себе отнюдь не постыдные какие-нибудь качества. Притом же есть такие сферы жизни и такие положения, в которых они решительно необходимы. Но им приличествует скромность. Грибоедовский Молчалин боится «свое суждение иметь». Его и Софья-то полюбила за то, что он «враг дерзости, всегда застенчив и несмел». Да и не одна Софья. Сам Щедрин оценил скромность Молчалина и сообразно этому внес в грибоедовский образ некоторые любопытные поправки. Щедринский Молчалин решительно отрицает приписанные ему Грибоедовым амурные шашни с Софьей. Он рассказывает дело так: «Я в ту пору на флейте игрывал, — ну, Софья Павловна и приглашала меня, собственно, на предмет аккомпанемента... Однажды точно что после игры ручку изволила дать мне поце-

ловать, однако я так благороден на этот счет был, что тогда же им доложил, что в ихнем звании и милости следует расточать с рассуждением». С Лизой у него шашни действительно были, — ну, Софья Павловна и рассердилась, что «такой пассаж — и возле самых ее апартаментов». Этим объясняется знаменитая сцена после бала. Чацкий впоследствии сам сознался, что погорячился; он таки женился на Софье Павловне, и оба они всегда благоволили к Молчалину, а Софья, кроме того, и детей у него всех крестила. На зубок новорожденному она всегда двадцать пять полуимпериалов дарит. «А я,— рассказывает Молчалин, — не будь прост, сейчас к Юнкеру, да внутреннего займа с выигрышами билетец-с! Может быть, когда-нибудь на наше счастье тысчонок двадцать пять — об двухстах-то уж мы не думаем — и выпадет!» («В среде умеренности и аккуратности».) В этой щедринской переделке Молчалин выходит гораздо симпатичнее, чем у Грибоедова; а эта сравнительная привлекательность зависит от того, что переделанный Молчалин искреннее и последовательнее в своей умеренности и аккуратности: он скромен, он знает свой шесток.

Своей переделкой Молчалина Салтыков показал, что он может очень мягко относиться к умеренности и аккуратности, когда они украшаются скромностью. Как всякий истинно большой человек, Щедрин не презирал ни маленьких людей, ни маленьких дел, но под тем условием, чтобы они не маскировались большими людьми и большими делами. С этой точки зрения надо смотреть и на статью «Новый Нарцис или влюбленный в себя», наделавшую в свое время много шума и вызвавшую много нареканий на автора. Либеральные критики негодовали на сатирика за нападки на «наши молодые земские учреждения». Что Салтыков разделил надежды всех благомыслящих русских людей на земское самоуправление, это, не говоря о прочем, видно уже из «Писем о провинции» (в особенности седьмого и восьмого письма). Но, говорил он, «чтобы ответить на эти ожидания мало-мальски достойным образом, надлежало, чтобы земство с самого начала поняло свои задачи в самом широком смысле. Сужение задач вообще плохая школа для вновь выступающих учреждений». Из этого, как и вообще из «Писем о провинции», явствует, что Салтыков понимал роль земских учреждений много

выше и шире, чем те, кто напустился на «Нарциса». Он очень хорошо понимал настоятельность задач, волнующих умы героев «Нарциса»: вопроса о заготовлении нижнего белья для больных гражданского ведомства, вопроса о полуде рукомойников, вопроса о становом приставе, дозволяющем себе ездить на трех лошадях вместо двух, и т. д. Все это, бесспорно, важно и нужно уладить. Но ведь не в этом же все дело, и во всяком случае все это еще не составляет резона для великолепных разговоров о «новых путях», «твердых упованиях», «светлых надеждах», «великом будущем» и проч. Будьте умеренны и аккуратны, поскольку это действительно необходимо, но не погружайтесь исключительно в мелочи и подробности; если же вы только умеренностью и аккуратностью блистать хотите и никакой обширности вместить не можете, так будьте по крайней мере скромны, не сотрясайте воздуха трубными звуками, своею громогласностью отнюдь не соответствующими делам вашим. Вот, собственно говоря, вся мораль «Нарциса».

Читатель видит, что мораль эта в своем общем выражении вполне примыкает к морали «Благонамеренных речей». Там ведь тоже требовалось уравнение слова с делом: не воруй, а ежели ты вор, так не изображай собою столпа, поддерживающего принцип собственности; не развратничай, а ежели ты развратник, так не разглагольствуй о святости семейного начала; не грабь казну и народ, а ежели ты казнокрад, так не блистай патриотизмом. И там и тут сатирик преследует маскарадное поведение. Разница, однако, в том, что ораторы благонамеренных речей замаскированы «столпами» и, в случае грамотности, охотно говорят о себе: мы консерваторы. Ораторы же умеренности и аккуратности склонны, напротив, называть себя либералами. Положение сатирика среди этих двух маскарадов было необыкновенно трудное. С одной стороны, «столпы» говорят так много и таких азартных благонамеренных речей, что около них сгустилась атмосфера относительной неприкосновенности. Всякую попытку совлечь с них маскарадный костюм они истолковывают в смысле посягательства на те принципы, которым они якобы служат, и этот фортель им слишком часто удается. С другой стороны, рыцари умеренности и аккуратности столь же ни к селу ни к городу вопиют об оскорблениях, якобы наносимых принципам свободы, просвещения, «на-

шим молодым учреждениям», когда речь идет вовсе не об этих прекрасных вещах, а только о том, что умеренность и аккуратность на задворках добродетельских селений живут.

Маленькая подробность. Изо всех очерков, вошедших в состав сборника «Мелочи жизни», только два снабжены эпиграфами, и это как бы подчеркивает их значение. Над очерком «Имярек» стоит: «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?» Это понятно, если припомнить, что «Имярек» есть личная исповедь автора: удрученный болезнью и житейскими невзгодами сатирик с преувеличенною мнительностью не видит в своей жизни ничего, кроме поля, усеянного мертвыми костями... Другой очерк, снабженный эпиграфом, называется «Чудинов». Эпиграф гласит: «Нет, вздумал странствовать один из них, лететь». Я уже упоминал об этом очерке в главе «Вера в будущее». Чудинов «вздумал лететь», а безжалостная судьба подкосила ему крылья прежде, чем он успел их расправить. Автор нашел неудобным дать Чудинову подняться на воздух и прикончил его не теми опасностями и трудностями, которые грозили ему в самом процессе полета, а просто чахоткой. Остается факт сочувствия автора к самому намерению «лететь» из мира мелочей жизни в область идеала и подвига. Защита того, что рыцари умеренности и аккуратности презрительно обзывают «мечтами» и «фантазиями», составляла как бы задачу жизни Салтыкова. Он очень часто к ней возвращался и, между прочим, утверждал, что самые фантастические мечтатели — это именно те, кто, зарывшись в мелочи, вопиет из их глубины против «мечтаний». Устами Крамольникова Салтыков спрашивал: «Да разве это не самое грубое, не самое противоестественное мечтание: человека, одаренного даром слова, — заставить молчать? человека, одаренного способностью мыслить, — заставить не мыслить?» И далее: «Одни видят высшую задачу человеческой деятельности в содействии к разрешению вопросов всестороннего человеческого развития и эту задачу называют делом; другие, напротив, не признавая неизбежности человеческого развития, ту же самую задачу называют мечтанием, фразой... Рассудите уж сами, кому в данном случае более приличествует кличка мечтателей» («Пошехонские рассказы»).

По мнению Салтыкова, «одна из характеристических

черт пенкоснимательства — это враждебное отношение к так называемым утопиям. Не то чтобы пенкосниматели прямо враждовали, а так, галдят. Всякий пенкосниматель есть человек не только ограниченный, но и совершенно лишенный воображения; человек, который самою природой осужден на хладное пережевывание первоначальных, так сказать, обнаженных истин... Пенкосниматель не только свободен от всех мечтаний, но даже горд этой свободой. Он не понимает, что утопия точно так же служит цивилизации, как и самое конкретное научное открытие. Он уткнулся в забор и ни о чем другом, кроме забора, не хочет знать» («Дневник провинциала»).

Крылатая мысль Салтыкова никогда не могла успокоиться на тех заборах, в которых доктринеры умеренности и аккуратности видят предел, его же не прейдеши. Любопытны его автобиографические показания в «За рубежом». Он рассказывает там, что, только что оставив школьную скамью, он примкнул к западникам. «Но не к большинству западников, а к тому безвестному кружку, который инстинктивно прилепился к Франции. *Разумеется,* не к Франции Луи-Филиппа и Гизо, а к Франции Сен-Симона, Кабэ, Фурье, Луи-Блана и в особенности Жорж-Занда. Оттуда лилась на нас вера в человечество». Рассказывая далее об интересе, с которым молодежь следила за тогдашними французскими событиями, он пишет: «Можно ли было, имея в груди молодое сердце, не пленяться этою неистощимостью жизненного творчества, которое вдобавок отнюдь не соглашалось сосредоточиться в определенных границах, а рвалось захватить все дальше и дальше?» Эту любовь к Франции и этот живой интерес к ее судьбам Салтыков сохранил навсегда. Статья «Сила событий», можно сказать, брызжет скорбным сочувствием к Франции, раздавленной «пятой лихтенштейнца», и ненавистью как к этому умеренному и аккуратному лихтенштейнцу, так и к позорному игу Наполеона, приготовившему поражение Франции. Но и за всем тем сатирик остается полон веры в «гальского петуха» [22], ибо не может так-таки совсем погаснуть «пламя, согревавшее историю человечества». Эта неискоренимая вера в творческую силу Франции, как небо от земли, далека от заурядного западничества, составляющего один из параграфов кодекса политической умеренности и аккуратности.

Исторические заслуги Европы Салтыков ценил, конеч-

но, не меньше, чем наши чистокровные, умеренные и аккуратные западники. Для национального самохвальства он слишком ясно видел и слишком близко к сердцу принимал наши многочисленные язвы и грехи, для мистической стороны славянофильского учения он слишком любил свет, ясность, подлинную жизнь; а для узкого, доктринерского западничества он слишком любил простор. Не «Европа» и, в частности, не «Франция» была для него тем магическим словом, которое окрыляло его сердце надеждой и верой. Его симпатией пользовалось лишь совершенно определенное течение европейской жизни, получившее особенно яркое выражение во Франции, в которой, однако, тут же рядом существуют и совсем другие течения. Если Салтыков был далек от разговоров о «гниении Запада», то, с другой стороны, никто и никогда не мог бы его упрекнуть в «преклонении перед Европой». Имевшая когда-то свой смысл, но уже давно исчерпанная тяжба славянофильства с западничеством всегда была для него чужим делом по той простой причине, что Европа никогда не представлялась ему чем-нибудь целостным и однородным, заслуживающим обобщенного почитания или порицания. Движение — вот единственная общая черта, которую Салтыков склонен усвоивать европейской жизни вообще. Говоря о несовершенстве политических и общественных форм, выработанных Западною Европой, он замечает: «Но здесь важна не та или другая степень несовершенства, а то, что Европа не примирилась с этим несовершенством, не покончила с процессом создания и не сложила рук в чаянии, что счастие само свалится когда-нибудь с неба». («Господа ташкентцы».) Салтыков знал, однако, что и движение, неустанность творческого процесса жизни не есть все-таки безусловно необходимый атрибут европейской истории на всем ее протяжении. Не далеко ходить: «Современному французскому буржуа ни героизм, ни идеалы уже не под силу. Он слишком отяжелел, чтобы не пугаться при одной мысли о личном самоотвержении, и слишком удовлетворен, чтобы нуждаться в расширении горизонтов. Он давно уже понял, что горизонты могут быть расширены лишь в ущерб ему» («За рубежом»). А так как именно этот самый буржуа управляет современной Францией, то страна, озарившая молодость Салтыкова лучами нравственного света, носит теперь на себе клеймо «безыдейной сытости» и духовной неподвижности. Но

это не может тянуться без конца. «Ясно, что идет какая-то знаменательная внутренняя работа, что народились новые подземные ключи, которые кипят и клокочут с очевидною решимостью пробиться наружу. Исконное течение жизни все больше и больше заглушается этим подземным гудением; трудная пора еще не наступила, но близость ее признается уже всеми» («Мелочи жизни»).

«Безыдейная сытость» современного французского буржуа отразилась, между прочим, и на беллетристике, которая «для того чтобы скрыть свою низменность, не без наглости подняла знамя реализма». Слово это знакомо и нам, русским. «Но, — говорит Салтыков, — размеры нашего реализма несколько иные, нежели у современной школы французских реалистов. Мы включаем в эту область *всего* человека, со *всем* разнообразием его определений и действительности; французы же главным образом интересуются торсом человека и изо всего разнообразия его определений с наибольшим рачением останавливаются на его физической правоспособности и на любовных подвигах. С этой точки зрения Виктор Гюго, например, представляется в глазах Зола чуть не гороховым шутом» («За рубежом»).

Зола, как известно, провел и в русскую литературу свое предприятие — свергнуть Виктора Гюго и Жорж Занда с их поэтических престолов. Кое-кто и у нас видел в этом предприятии какое-то трезвенное слово, нужную и полезную борьбу с чем-то ненужным и вредным [23]. Зола делал это малодостойное дело во имя трезвости, умеренности, аккуратности, а так как он обнаруживал при этом еще совершенно пустопорожнюю надменность, то понятно негодование Салтыкова. Тем более понятно, что, по словам нашего сатирика, из старой французской литературы «лилась на нас вера в человечество». Зола, при всем своем таланте, которого Щедрин не отрицал, не преувеличивая, однако, его размеров, был в его глазах все-таки нечто вроде пенкоснимателя, то есть человека, который под той или другой благовидной маской (наука, либерализм, реализм) норовит подрезать человечеству крылья, отнять у него право мечты и идеала и засадить за умеренное и аккуратное пережевывание мелочей жизни.

VIII

СОЮЗЫ

До сих пор мне всего один раз пришлось цитировать последнее произведение Салтыкова — «Пошехонскую старину»; а именно в подтверждение того, что на краю могилы он был столь же горячим защитником «мечты», руководящих идеалов, как и в первые годы своей литературной деятельности. Это не единственная черта, свято донесенная им до конца дней и отразившаяся в «Пошехонской старине».

Салтыков оговаривается, что «Пошехонская старина» не есть автобиография. Он не отрицает присутствия в ней автобиографического элемента, но говорит, что туда допущено и кое-что им лично не пережитое, а частью и просто фантазия. Но во всяком случае в основании этого произведения лежат подлинные факты, если не всегда автобиографические, то все-таки виденные, слышанные, вообще наблюденные автором в детстве. Дело в том, что Салтыкова в последние годы его жизни посетила старческая память, при которой образы и картины далекого прошлого встают как живые, во всех своих мельчайших подробностях, и иногда в ущерб недавно минувшему. Заканчивая «Пошехонскую старину», Салтыков писал: «Масса образов и фактов, *которую пришлось вызвать,* подействовала настолько подавляющим образом, что явилось невольное утомление». Подчеркнутое выражение неточно. Салтыкову ничего не пришлось вызывать, — воспоминания детства помимо его воли всплыли на поверхность сознания и овладели им с такою силой, что едва ли мог бы он приняться за что-нибудь другое, не свалив предварительно хоть часть этого груза на бумагу. Но, как и в других подобных случаях, отмеченных нами раньше, Салтыков не пассивно отдался напору стихийной силы воспоминаний. Хлынувшие на него далекие первые житейские впечатления овладели им настолько, что вытеснили всякий другой фактический материал и не позволяли ему оперировать над чем бы то ни было, кроме них. Но он не просто записывал свои воспоминания в хронологическом или каком другом порядке. Он комбинировал их в художественные образы и картины, он творил и творил, как всегда, при свете нравственных

убеждений, непоколебимо сохранившихся в нем до самой смерти. Таким образом, в «Пошехонской старине» мы имеем, если можно так выразиться, зараз и корни и плоды жизни сатирика, — яркость первых впечатлений детства и бесповоротную законченность идей умирающего человека.

«Пошехонская старина» имеет задачей воспроизведение крепостного быта. Фабула крепостного права завершилась, говорит Салтыков. Но, «кроме фабулы, в этом трагическом прошлом было нечто еще, что далеко не поросло быльем. Фабула исчезла, но в характерах образовалась известная складка, в жизнь проникли известные привычки». Действительно, хотя клеймо крепостного права по необходимости стирается течением истории, но что оно далеко не стерлось и по сие время, об этом свидетельствуют всенародно заявляемые вожделения так называемой консервативной печати. Собственно говоря, ей менее всего приличествует название консервативной, потому что она не охранением занимается, а, напротив, исключительно проектами ломки того здания нашей гражданственности, во главу угла которого легло освобождение многомиллионной крестьянской массы. Если же она что и стремится в самом деле охранять, так разве именно только ту «складку» и те «привычки», которые остались жить и по окончании фабулы крепостного права. А потому и самая фабула имеет для нас отнюдь не исторический только интерес. Прошли те времена наивного ликования, когда такой во всяком случае чуткий человек, как Писарев, мог серьезно упрекать Салтыкова за то, что он, *спустя два года* после отмены крепостного права, пишет рассказы из крепостного быта, — устарелая, дескать, тема! Увы, скоро сказка сказывается, а дело не скоро делается. Салтыков писал: «Я вырос на лоне крепостного права, вскормлен молоком крепостной кормилицы, воспитан крепостными мамками и, наконец, обучен грамоте крепостным грамотеем. Все ужасы этой вековой кабалы я видел в их наготе» («Мелочи жизни»). Когда без остатка вымрут поколения, которые могут сказать о себе эти страшные слова, так и то, может быть, еще будет давать себя знать «известная складка», составляющая и ныне наследие крепостного права. В чем же Салтыков полагал эту складку?

Отстаивая право человечества на «мечту» от посяга-

тельств, с одной стороны, ораторов благонамеренных речей и их пособников, а с другой — представителей умеренности и аккуратности, Салтыков, конечно, не рекомендовал самоуслаждения праздной фантазии. Он для этого слишком хорошо знал и любил жизнь. В «Мелочах жизни» есть страничка (в V главе 1-й части), посвященная «старинным утопистам»,— тем самым, под непосредственным влиянием которых сложились первые убеждения Салтыкова,— в особенности Фурье. Решительно защищая общие основания «утопий», Салтыков признает, однако, естественность и законность претерпенного ими фиаско именно потому, что они старались уловить, регламентировать своего рода мелочи жизни будущего, и все это оказалось праздной фантазией. Но, повторяю, общие основания и тенденцию «утопий» он всегда высоко ценил. Помню, между прочим, что когда я еще совсем молодым человеком начал писать в «Отечественных записках», то Салтыков чуть ли не в первом же разговоре предложил мне написать статью о французских социальных системах, — он находил необходимым напомнить их русскому обществу (я уклонился от этой работы). Во всяком случае та «мечта», о правах которой Салтыков хлопотал, имела ярко социальный характер, хотя в подробностях и не вполне определенный. Это была мечта о тесном единении людей, об общественном союзе. А между тем в разных произведениях Щедрина, в особенности в «Благонамеренных речах», можно найти много выражений резко подчеркнутого иронического, или презрительного, или даже озлобленного отношения к «союзам»: Дерунов — «рьяный и упорный поборник всевозможных союзов»; «союзы опутали современного человека» и т. п. Дело, конечно, объясняется очень просто тем, что «союзы», поборниками которых являются Деруновы и которые вызывают отрицательное отношение сатирика, очень отличаются от тех, которые составляют его заветную мечту, его идеал. Это так. Но любопытно было бы определить наиболее общие черты тех и других союзов, в каковых общих чертах должны заключаться указания на причины такого или иного отношения к ним сатирика.

Крепостное право санкционировало известный союз барина и мужика. Что это был за союз, мы узнаем из «Пошехонской старины». Автор отнюдь не задавался

мыслью рассказать непременно какие-нибудь ужасы. Напротив, вот, например, «тетенька-сластена» — добрая, мягкая, и всем у нее хорошо, и дворня веселая, ласковая. Или вот в доме самого рассказчика умирает староста Федот, нелицемерно преданный мужик, и суровая помещица ухаживает за умирающим, искренно горюет. Правда, автор не дает высокой цены этим добрым проявлениям союза, но ведь они и в самом деле недорого стоят, да и не этими двусмысленными идиллиями была главным образом отмечена пошехонская старина. Не ими, но, пожалуй, и не зверствами, которые в каждом данном случае могли быть и не быть. За характерной чертой основного пошехонского союза незачем далеко ходить, — она заключается в самом его названии. Черта эта — крепость одного человека другому, подневольность и неизбывность.

Сатир-скиталец (одна из лучших фигур «Пошехонской старины») сам по себе не особенно претерпел от страшного союза, хотя, конечно, по крайней мере виды видал в достаточном количестве. Он враг союза, враг принципиальный, союз представляется ему греховным, но грех лежит не на господах, а на рабах: «мы прежде вольные были, а потом сами свою волю продали; из-за денег господам в кабалу продались; за это нас судить будут». На том свете будет этот суд, а потому единственная мечта Сатира состоит в том, чтобы предстать пред богом не в рабском состоянии. Но ущемленная сознанием греха мысль Сатира не может придумать иного выхода из союза, иного пути освобождения, как принятие «ангельского чина». Больной, он отпрашивается у помещицы в монахи, но не успевает поступить и умирает рабом. Автор имел, однако, жалость послать ему предсмертный сон, в котором исполняется его желание, так что Сатир умирает якобы «иноком Серапионом». Сатир-скиталец умер во сне, и автор не мог знать его сновидения. Это — добавка фантазии, добавка жалостливая, любовная, и самое присутствие ее свидетельствует о подлинности Сатира-скитальца и о том впечатлении, которое он произвел на автора в детстве. В этом и в других подобных впечатлениях надо искать корня интереса Щедрина к той смутной работе народной души, о которой мы говорили в главе «Честь и совесть».

Сатиру-скитальцу ненавистный греховный союз пред-

ставляется столь неразрывным, что нечего и думать об его прекращении на земле, и хорошо бы хоть к божьему-то престолу явиться не в рабском виде. Наличность союза слишком несомненна, слишком осязательна и так или иначе дает себя знать на всех путях жизни обеих сторон. Особенно интересны отражения ее на других союзах и прежде всего на союзе семейном.

С «бессчастной Матренкой» случился грех — забеременела. Не было тут ни любви, ни выбора: бессчастная Матренка была одною из представительниц «сборища подъяремных зверей, которые и вожделеют, как звери». Барыня очень разгневалась, но Матренке опять пришла пора, и она опять забеременела. Тогда барыня решила выдать Матренку замуж за самого что ни на есть «гаденка» из дальней деревни. Между Матренкой и гаденком происходит ряд страшных сцен; гаденок не хочет жениться на Матренке, Матренка не хочет выходить за гаденка. Но воля барыни непреклонна, а потому Матренке остается только один способ уклониться от предлагаемого ей семейного союза — уклониться от самой жизни; она и кончает самоубийством.

Не красен был семейный союз и в господской семье. Рассказав некоторые подробности отношений, существовавших между родителями и детьми, Щедрин предвидит скептические замечания читателей и говорит: «Что описываемое мною похоже на ад, об этом я не спорю; но в то же время утверждаю, что этот ад не вымышлен мною». Эти детские впечатления (особенно некоторые подробности вроде разделения детей на «любимчиков» и «постылых», материнских угроз Суздаль-монастырем и т. п.) вошли потом в состав многих произведений Салтыкова, каковы: «Господа Головлевы», «Семейное счастье», «Кузина Машенька», «Непочтительный Коронат» и проч. Но в памяти Салтыкова восстают еще гораздо более трагические сцены и положения по части семейного союза. Ради краткости мы остановимся только на одном случае, представляющем тот особенный интерес, что семейный союз оказывается в нем осложненным другими элементами.

Тетенька Анфиса Порфирьевна вышла замуж за некоего Савельцева, человека нравного, крутого, необузданного, который ее бьет, издевается над ней, и все это тетенька терпит, с затаенною злобою выжидая случая,

когда и на ее улицу выпадет праздник. Отец Савельцева умирает. Вступая во владение имением и людьми, Савельцев первым делом засекает до смерти любовницу отца, выпытывая у нее, где деньги. К этому уголовному делу присасываются приказные пиявки и сосут, сосут, сосут, пока, наконец, тетенька Анфиса Порфирьевна не придумывает выхода: она предлагает мужу умереть. Не взаправду умереть, конечно. Как раз кстати умирает мужик, которого и хоронят под видом Савельцева, с подобающей помпой, а Савельцев остается жить под видом крепостного своей жены. Вместе с тем для тетеньки Анфисы Порфирьевны наступает час отмщения за все перенесенные ею от мужа обиды и муки; она расплачивается сторицею и вдобавок поселяет у себя своего незаконного сына, прижитого неизвестно от кого еще до брака, и вдвоем с ним жестоко надругается над «покойничком», который вытолкнут из семейного союза, а в союзе крепостном перечислен из господ в рабы. Все знают эту историю, никто Савельцева иначе как «покойничком» не называет; представители закона, правосудия и благочиния, то есть государственного союза, тоже знают, но смотрят сквозь пальцы, что, впрочем, недешево обходится тетеньке Анфисе Порфирьевне. Тем временем своим порядком идут всяческие тиранства над крестьянами. Тут есть сцена, несомненно прямо с натуры списанная очевидцем, да и рассказана она как личное впечатление автора, тогда еще ребенка: крепостная девчонка Наташка стоит на навозной куче, с завороченными назад и привязанными к столбу руками; жара, с навозной кучи поднимаются мухи и облепляют глаза и рот девчонки... за исполнением казни присматривает «покойничек»...

В истории тетеньки Анфисы Порфирьевны мы имеем поистине чудовищный переплет трех союзов. К этому надо еще прибавить замечание Салтыкова, что в пошехонской старине об обществе не было и помину: «смешивали любовь к отечеству с выполнением распоряжений правительства и даже просто начальства». Но и начальство разнствовало во славе, так что иное начальство было кому начальство, а кому просто пустяки. Становой пристав был, конечно, начальство для разной мелкой сошки, а иногда и не только для нее. Тетенька Анфиса Порфирьевна, пользуясь его покровительством в деле

«покойничка», не могла не видеть в нем начальства. А предводитель Струнников, человек властный и ни в каких таких уголовных историях не замешанный, третирует этого официального представителя государственного союза с возмутительною развязностью: он издевается над ним совершенно так же, как и над всяким другим бессильным человеком.

Мы не будем, однако, перебирать весь фактический материал, собранный в «Пошехонской старине». Это в разных смыслах трудно. Приведенного, я полагаю, достаточно, чтобы видеть, сквозь какую призму преломлялись перед глазами умирающего Салтыкова лучи далеких детских впечатлений, в каком отношении находятся плоды его жизни к ее корням. Там, вдали, на заре жизни, видятся сатирику не просто семья Затрапезных, не просто «тетеньки-сестрицы», тетенька-сластена, дедушка Павел Борисович, предводитель Струнников, бессчастная Матренка, буфетчик Конон, Сатир-скиталец и проч., и проч., и проч. Салтыков не пассивно, как фотографический аппарат, воспринимает это нашествие пошехонских воспоминаний, вызванное стихийным процессом старческой памяти. Он встречает его сознательно выработанными идейными рамками, в которых и велением которых группируются хлынувшие из недр прошедшего образы. Группируются они в разные «союзы», причем оказывается, что все эти союзы чрезвычайно крепки, до неразрывности, но крепки не внутреннею своею сущностью, не волею и сознанием участников, а исключительно только внешнею санкцией. Это обстоятельство создавало в так называемое доброе старое время целый ряд безысходных противоречий, которые и составляют идейное содержание «Пошехонской старины».

Первое и самое, разумеется, наглядное противоречие состоит в том, что союзы доброго старого времени не только не удовлетворяют цели всякого союза — облегчению и расширению личного существования. но, напротив, составляют источник всевозможных мучений, лишений, тесноты и грязи жизни. Может показаться, что сюда не подходит основной и всеопределяющий союз пошехонской старины — крепостное право: рабы, разумеется, претерпевали, но облегчение их личного существования вовсе не входило в задачи союза, а другая сторона, господа, несомненно почерпали такое облегчение

из союза и жили припеваючи. Не раз высказывалась мысль, что блестящие явления литературы тридцатых и сороковых годов были результатом тех готовых хлебов, которые давало крепостное право. Между прочим, и Салтыков воспитался, по его собственному выражению, «на лоне эстетических преданий и материальной обеспеченности». Таким образом, господа почерпали в крепостном союзе возможность не только сладко есть и мягко спать, плодиться и множиться, но и предаваться высшим задачам духа — науке, философии, художественному творчеству. Это мысль до известной степени верная. Нынешнему Пушкину или Салтыкову, Герцену или Тургеневу приходится, может быть, еще гимназистом разбрасываться и надрывать силы в беготне по урокам, тогда как в старые годы, укрытый от непосредственной борьбы за существование, он мог всецело отдаваться работе духа. Но, оставляя даже совсем в стороне вопрос о тех даровитых людях негосподского происхождения, которые бесследно затирались крепостным правом, надо иметь в виду, что Пушкины и Салтыковы были каплями в море Затрапезных, Струнниковых, Савельцевых и прочих персонажей «Пошехонской старины». Досуг обеспечивался крепостным союзом, но было что-то такое в этом союзе, что побуждало наполнять досуг отнюдь не высшими задачами духа. Правдивый рассказ Салтыкова рисует нам помещичью жизнь изумительно скудною и низменною. Ренан утверждает, что «пот многих позволяет немногим вести благородную жизнь» [24]. В «Пошехонской старине» мы этого не видим: многие действительно обливаются потом, но немногие ведут жизнь поистине неблагородную, и крепостной союз не только не оказывает им в этом отношении никакой помощи, а даже совсем напротив того. Самая обеспеченность вела только к тусклой, тупой жизни изо дня в день, при полнейшем отсутствии всяких высших интересов.

Это не могло не отражаться и на других союзах, из которых было вытравлено всякое содержание, так что оставалась только одна форма, но форма крепкая, неразрывная, и в ней человеческие существа бились как птицы в клетке. Нечего и говорить о семейном союзе в рабской среде, где Матренку с гаденком сводили, как животных. Но и семейные союзы Затрапезных или Савельцевых не имеют ничего общего с идеальными по-

строениями церкви и гражданского закона. Это «ад», а не союз. Это поприще всяческих злобных чувств, то затаенных, то открытых, глядя по тому, на чьей стороне сила. Сегодня Савельцев тиранит свою жену, даже не сознавая что он делает, и жена покоряется, терпит, не ищет выхода, а только ждет случая, когда ей самой удастся стать в положение столь же бессовестной силы и встретить столь же бесчестную слабость. Ни Савельцев, ни тетенька Анфиса Порфирьевна решительно никакой радости, никакого облегчения жизненной тяготы друг от друга не получают, напротив — составляют друг для друга источник непрестанных мучений, а между тем связаны неразрывным союзом; по крайней мере им в голову не приходит возможность его разорвать, потому что высшие проявления духовной жизни — сознание и воля — в них совершенно не воспитаны и в союзе никакого участия не принимают.

Есть анекдот об испанце, который попал в какую-то северную, очень холодную страну. На него напали собаки; он схватил камень, чтобы швырнуть им в собак, но камень примерз, так что его нельзя было отодрать. Тогда испанец сказал: «О, удивительная страна, где камни привязывают, а собак пускают бегать!» Это восклицание могло бы служить девизом всех союзов пошехонской старины. Под их покровом совершалось много насилий и вообще зла, но защиту в них трудно было найти. Они не защитили тетеньку Анфису Порфирьевну от тиранства Савельцева, но помогли ей превратить его в «покойничка» и в свою очередь тиранствовать над ним.

Таков смысл «Пошехонской старины». Но здесь же лежит центр тяжести всех произведений Салтыкова, всей его многолетней и многосложной работы, ибо, повторяю, в «Пошехонской старине» мы имеем единовременно и корни и плоды жизни сатирика. Начать с того, что «известная складка», оставшаяся в качестве наследия крепостного права в русском обществе, и доселе состоит именно в тяготении к подневольным и бессознательным союзам, которые, фигурально выражаясь, камни привязывают, а собак пускают бегать. Салтыков с необыкновенною проницательностью открывал эту складку под разными, иногда очень благообразными формами и настойчиво преследовал ее, не стесняясь повторениями. С другой стороны, заветную «мечту» Салтыкова, в ее

общем выражении, составляет вольный и сознательный союз, споспешествующий широкому и всестороннему развитию личности, пробуждению всех ее сил и способностей, удовлетворению всех ее потребностей. По своей специальности сатирика Салтыков не мог отдаваться прямому, положительному развитию этого идеала, но тем сильнее и значительнее была его *облеченная в художественную форму критика общественных явлений с точки зрения идеального союза.* Подчеркиваю эти слова, потому что ими, мне кажется, резюмируется вся деятельность Салтыкова.

В мою задачу, приближающуюся уже к концу, не входит пересмотр всех произведений Салтыкова. Я хотел только наметить главные пункты его работы, притом преимущественно такие, которые при жизни сатирика возбуждали, а отчасти и до сих пор возбуждают недоразумения. Кое-что, занимающее в щедринской сатире очень видное место, но не нуждающееся в комментариях или разъяснениях, я обошел; кое-что осветил, вероятно, недостаточно. Попробуем теперь оглянуться назад, с целью пересмотреть и кое в чем дополнить предыдущие очерки при свете выше подчеркнутой общей формулы.

Идеал Салтыкова был слишком возвышен, чтобы можно было думать о немедленном и полном его осуществлении. Это далекий и в подробностях не совсем даже ясный пункт, достижение которого будет стоить многого труда, борьбы, жертв, но который может и должен сейчас руководить нами, освещая наш труд, борьбу и жертвы. Это светлая точка, маяк, определяющий направление нашей деятельности, а затем возникает вопрос о ближайших станциях в этом направлении. Салтыков начал свою литературную деятельность в один из самых глухих периодов русской истории, но возобновил ее, напротив, в пору вящей напряженности общественной жизни, когда страшный урок Крымской войны воочию показал, чего стоят союзы, которые камни привязывают, а собак пускают бегать. «Губернские очерки» оканчиваются видением: перед автором проходит похоронная процессия: то «прошлые времена хоронят!» Это восклицание хорошо характеризует тогдашнее настроение сатирика. Понятно, что он, сам видавший и «покойничка», и девчонку Наташку, привязанную к столбу на навозной куче, и всю прочую пошехонскую старину, должен был встретить ве-

ликий день 19 февраля 1861 года как праздникам праздник и торжество из торжеств. Вспоминая об этом дне в «Письмах о провинции», он говорит: «Всему этому беспутному, бессознательному и ненужному злодейству, всем этим подвигам тьмы и бессмысленного варварства положило бесповоротный конец 19-е февраля. Как бы ни были обширны наши притязания к жизни, мы не можем не удивляться великости этого подвига. Разом освободить из плена египетского целые массы людей, разом заставить умолкнуть те скорбные стоны, которые раздавались из края в край по всему лицу России, — такое дело способно вдохнуть энтузиазм беспредельный!» Энтузиазм этот, столь естественный для человека, лично видевшего ужасы крепостного права, в Салтыкове осложнялся еще тою верою в будущее, которою он был окрылен от природы. Если рухнул вековой порядок, казавшийся неизбывным, если оказалось возможным то, что считалось невозможной и преступной мечтой, так законны и дальнейшие перспективы. Салтыков не мог сказать, подобно Симеону: «Ныне отпущаеши раба твоего, яко видеста очи мои спасение» [25]. Он был для этого слишком силен и деятелен и потому должен был, напротив, сказать: «ныне призываеши». Он спрашивал: «Давно ли называлось мальчишеством, карбонарством, вольтерьянством все то добро, которое ныне воочию совершается? И нельзя ли отсюда прийти к заключению, что и то, что ныне называется мальчишеством, нигилизмом и другими более или менее поносительными именами, будет когда-нибудь называться добром?» («Сенечкин яд».)

Уже самые эти вопросы показывают, что не все были в ту пору единодушны на Руси. Действительно, всяческие подкапывания под дело реформ начались очень рано и многого достигли. С точки зрения Салтыкова, дело реформ состояло в устранении подневольных и бессознательных союзов. Не о том шла речь, чтобы на земле, отягченной вековою наследственностью греха, немедленно же водворилась райская жизнь, мир и в человецах благоволение, а только о том, чтобы эта грешная земля поottаяла, чтобы хоть камни-то, нужные для обороны, не были прикованы морозом. Земские учреждения, гласный суд, народная школа, свобода печати составляли естественное дополнение к основной, крестьянской реформе. Необходимость этих шагов была заявлена самим

правительством и сознана всею благомыслящею частью русского общества, в том числе и Салтыковым. Все эти реформы имели целью приобщить жизнь личности к жизни общественной, дать русскому человеку возможность сознательного и вольного участия в общественных делах; тем самым вносилось живое содержание во всякого рода «союзы», за исключением тех, конечно, которые такового и выдержать не могли. Несмотря, однако, на это, энтузиазм, о котором говорит Салтыков, покинул его, и ум его постепенно обозлялся. Теперь это уже прошлые времена, в свою очередь похороненные, а потому к ним можно относиться спокойно. Но тогда мудрено было спокойно смотреть на то, как дело реформы, при самом даже своем возникновении, подтачивалось руками, заматерелыми в практике подневольных и бессознательных союзов. Критика всех относящихся сюда явлений нашей общественной жизни и составила задачу Салтыкова.

Разбираясь в огромной массе не только образов и картин, а и мыслей, пущенных Салтыковым в обращение, мы увидим, что элементы, противоборствующие поступательному ходу русской истории, как он рисовался самому Щедрину, распределяются по двум большим отделам. Мы их наметили в главах о благонамеренных речах и об умеренности и аккуратности.

Дерунов есть «рьяный и упорный поборник всевозможных союзов», но именно подневольных и бессознательных союзов, которые бы ему, Дерунову, развязывали руки, а прочим — связывали. Его экономическая программа, конечно не его языком выраженная, гласит так: «Необходимо дать пошехонскому поту такое применение, благодаря которому он лился бы столь же изобильно, как при крепостном праве, и в то же время назывался бы «вольным» пошехонским «потом» («Пошехонские рассказы»). Семейный союз Дерунов чтит, но сам — снохач. Союз государственный он тоже чтит, но с тем, чтобы исправник признал бунтовщиками крестьян, которые не отдают хлеба по шести гривен. И, однако, Дерунов — «столп». Не один Дерунов так устроился, даже не одни «чумазые», потому что вот и кузина Машенька и другие нечумазого чина люди то же самое практикуют. Есть у них и пособники, во-первых, среди «озорников» и «помпадуров», которые, впрочем, видя в себе персонификацию «союзов», практикуют и за свой собственный

счет. Сатирик отказывается признать их «поборниками государственного союза за то только, что они видят в государстве пирог, к которому ловкие люди могут во всякое время подходить и закусывать» («Круглый год»). Есть пособники и в литературе. Эти, может быть, самые страшные. Беря под свою защиту всякие подневольные и бессознательные союзы и практикуя в деле этой защиты полную свободу, они требуют, чтобы все с ними не согласно мыслящие были поставлены в положение тех примерзших камней, которыми несчастный испанец так и не мог воспользоваться для самообороны. Вся эта разношерстная стая, пополняемая при случае переметными сумами вроде адвокатов Балалайкиных и газетчиков Иванов Непомнящих, набрасывается на всякое дело и на всякого человека, имеющих в виду настоящий союз, заслуживающий действительно этого названия. Будущий историк русского общества найдет у Салтыкова драгоценнейшие указания по этой части, и не только указания, а и готовые выводы.

Но хором благонамеренных речей не исчерпываются элементы, тормозящие историю. Уже в «Литераторах-обывателях» Щедрин, может быть, даже с чрезмерною жесткостью отнесся к тем крохоборам, которые носятся со всякою мелочью, как с писаной торбой. Жесткость была в этом случае потому чрезмерна, что литераторы-обыватели во всяком случае свидетельствовали своим существованием о некотором оживлении провинции. Сатирик сам заметил: «Времена созрели, и как бы ни была мало искусна песня Корытникова, он не может не петь. Выдьте весною на улицу, прислушайтесь, какой концерт задают там воробьи!.. Подобно сему и Корытников, объятый весенним чувством, поет возрождение природы, поет красоту гласности и самоуправления, поет взволнованность своих собственных чувств». Справедливая сторона насмешки, обращенной к литераторам-обывателям, состояла в указании на самодовольную узкость их кругозора, фальшиво раздуваемую фразами вроде: «в наше время, когда, казалось бы, воровство преследуется повсюду», в «наше время, когда привычки законности мало-помалу проникают во все административные трущобы» и т. п. Но если литераторы-обыватели ликовали по пустякам, то они все-таки не возводили крохоборства в принцип. Это суждено было сделать гораздо позже

пенкоснимателям, провозгласившим, что «наше время не время широких задач». Пенкосниматель не то что оратор благонамеренных речей, — он «никогда не промолвится, что крепостной труд лучше свободного или что гласное судопроизводство хуже судопроизводства при закрытых дверях; нет, никогда, ибо склады либерализма известны ему в точности». На деле же «вам говорят о благодеяниях свободного труда, но в то же время приурочивают его действие к такой бесконечно малой сфере, что в сущности выходит лишь замаскированный крепостной труд; вам повествуют о выгодах гласного суда, а на поверку выходит, что речь сводится к рекламам в пользу такого-то адвоката или судьи» («Дневник провинциала»). Может быть, даже не кто иной, как именно пенкосниматель, помог Дерунову формулировать вышеприведенную экономическую программу насчет «вольного пошехонского пота». По крайней мере на это имеются указания в параллели между хищником и пенкоснимателем, которою заканчивается «Дневник провинциала»: «Хищник проводит принцип хищничества в жизни, пенкосниматель возводит его в догмат и сочиняет правила на предмет наилучшего производства хищничества». Благодаря возвышенности той точки, на которой стоял Салтыков в своей критике явлений нашей общественной жизни, его нельзя было ни подкупить, ни испугать какими бы то ни было ходячими формулами, кличками, словами «жупелами». К числу таких жупелов принадлежит либерализм, к которому Салтыков, естественно, тяготел многими своими сторонами; но он понимал, что бывают случаи, когда «либерализм есть своего рода дойная корова» («Дневник провинциала»), и с искусством опытного анатома-практика вскрывал эту корову. Так и поступил он с пенкоснимателями, щеголявшими либерализмом. Пенкоснимательство уже по самому существу своей умеренности и аккуратности понижало или стремилось понизить уровень требований жизни и тем самым задержать жизнь в смысле приближения к щедринскому идеалу. А кроме того оказалось, что умеренность и аккуратность не только на задворках добродетельских селений живут, но и корчемным вином торгуют и потихоньку пороки у себя принимают.

La critique est aisée et l'art est difficile * — гласит

* Критика легка, искусство трудно *(франц.)*.— *Ред.*

старое изречение. Старое, но далеко не вполне верное, хотя бы уже потому, что существует l'art de critique *. Есть критика талантливая и бездарная, проницательная и подслеповатая, убедительная и неубедительная. Но этого мало. Есть критика, исходящая из пустого места, но есть и такая, которая не только имеет в своем основании совершенно определенные положительные идеалы, но и самым процессом своим делает положительное, творческое дело. Такова была щедринская критика явлений нашей общественной жизни, и нельзя, конечно, сказать, чтобы это было легкое дело. Я говорю не о художественной форме, в которую эта критика большею частью облекалась, — это само собой, — а об ее содержании. Трудно обнять всю огромность щедринского дела, всю ту критическую энциклопедию русской жизни, которая заключена в его произведениях, и всем вышесказанным еще далеко не исчерпывается эта полная чаша. Читатель, я полагаю, однако, и сам ориентируется во многом, нами не затронутом, если будет помнить тот идеал вольного и сознательного союза, который всегда руководил сатириком. Конечно, он не сочинял проектов общественного устройства или переустройства, но своею беспощадною критикой он делал великое положительное дело: будил сознание русского общества, каковое сознание составляет первое условие для приближения к идеалу. Будил он его прежде всего глубоким анализом форм и содержания разных «союзов». Пусть помпадуры и столпы, патриоты-казнокрады и пенкосниматели, ташкентцы и пошехонцы, Балалайкины и Иваны Непомнящие делают свое дело, — сатирик не может им в этом воспрепятствовать, — но пусть они по крайней мере не маскируются поборниками «союзов», из которых они же вытравляют всякое содержание, защитниками «основ», которые они же разрушают. В этом отношении сатира Салтыкова, конечно, достигла своей цели: мы, третьи лица, зрители, благодаря Салтыкову хорошо изучили этот иногда комический, иногда чудовищный маскарад. Но задача сатирика на этом не кончается. В основе всех бессознательных и подневольных союзов лежит сочетание бессовестной силы и бесчестной слабости (см. гл. IV). Наличность этих двух элементов составляет необходимое усло-

* искусство критики *(франц.)*.— *Ред.*

вие для мирного, спокойного, цветущего существования подневольных и бессознательных союзов, в том ли юридически нормированном виде, в каком их рисует «Пошехонская старина», или в каком другом, замаскированном. Салтыкову надлежало поэтому будить совесть в силе и честь в слабости. Он это и делал, то грозя судом истории и потомства, то клеймя позором художественного воспроизведения, то обливая ядом насмешки, то поднимаясь на высоту неподражаемого лиризма. Но каких результатов достиг он в этом направлении — это, конечно, вопрос.

IX

ЖЕНСКИЙ ВОПРОС

Трудно оторваться от Щедрина. Трудно, во-первых, в силу того исключительного интереса, который представляет его оригинальная литературная физиономия; трудно, во-вторых, еще и потому, что все боишься, как бы не породить каких-нибудь недоразумений, ввиду обширности и сложности щедринского дела.

Возьмем какой-нибудь частный случай, достаточно значительный для того, чтобы на нем можно было проверить если не все вышесказанное, то хоть наиболее выдающиеся пункты нашего анализа. Результаты, к которым мы придем, пригодятся и для других частных случаев. Я выбираю таким пробным камнем так называемый женский вопрос, отчасти просто потому, что надо же что-нибудь выбрать, а отчасти и по другим причинам.

Много по женскому вопросу писано, так что он кажется и без Салтыкова достаточно выясненным со всех возможных точек зрения. Сколько в самом деле на эту тему чернил пролито, сколько горячих слов сказано, сколько литературных схваток! Весьма немалой величины зал потребовался бы для вмещения всех книг и статей о женском образовании, о женском труде, о положении женщин, о подчиненности женщин, о женщинах, за женщин, против женщин, особенно если прибавить к ним романы, повести, драмы, стихотворения, в которых тот же женский вопрос трактуется при помощи образов и картин. Однако Салтыкова не вредно выслушать и в этом деле.

В народной среде женский вопрос поставлен чрезвычайно просто и весь исчерпывается в речи учителя Крамольникова на юбилее Мосеича («Сон в летнюю ночь»). Тут не может быть речи ни о *женском* образовании, потому что в нем столь же нуждаются и мужчины, ни о *женском* труде, потому что его не меньше, чем мужского. Провозглашая тост «за улучшение участи русской крестьянской женщины, охранительницы, устроительницы русской крестьянской семьи», Крамольников имел в виду одно: чтобы мужики перестали обижать баб. Во всем остальном нет существенной разницы между положением мужчин и положением женщин, а стало быть, нет и почвы для возникновения специального женского вопроса. Крамольников говорит мужикам, собравшимся чествовать Мосеича: «Часть тех тяжелых вериг, которые выпали на долю русской крестьянки, идет от вас самих, господа. Я знаю, что в этом факте виноваты не столько вы сами, сколько ваше горе, ваша нужда, но я знаю также, что одинаковость горя и равная степень нужды должны бы послужить поводом для круговой поруки несчастия, а не для притеснения одних несчастных посредством других. Пора бы подумать об этом, господа! Пора сказать: мы несчастны, следовательно наша обязанность подать друг другу руку, а не раздирать друг друга». Таким образом, женский вопрос здесь сам собой расплывается в общей «проблеме о мужике», и если осуществление доброго пожелания Крамольникова представляет трудности, то самая постановка женского вопроса в народной среде донельзя проста.

Обратимся в другие сферы, совершенно противоположные, где женщину не только не бьют, но где она, напротив того, является предметом поклонения, почти культа, где ее окружают особенною атмосферою, насыщенною лестью, лаской, почетом, фимиамом сердец, ароматом цветов, блеском бриллиантов, где женщине не житье, а масленица. Конечно, не в этой душистой и сверкающей атмосфере зарождается женский вопрос, но материал для его постановки доставляется ею в изобилии, и Салтыков этим материалом не брезговал. «Дамочки», «куколки», «ангелочки» не раз останавливали на себе внимание сурового сатирика, и несмотря на то, что портреты этих странных видоизменений человеческого типа разбросаны в разных его произведениях как бы

мимоходом, он, очевидно, дал себе труд изучить их с большою пристальностью. Об этом свидетельствует и повторяемость портретов и чрезвычайно тонкая отделка некоторых подробностей. Душа «куколки» — штука, разумеется, несложная, но все-таки это не машинка какая-нибудь, а душа, хотя, может быть, «видом малая и не бессмертная», как выражается в «Истории одного города» учитель каллиграфии Линкин, разумея, впрочем, не человеческую, а лягушечью душу. Изучить эту несложную душу тем труднее, что она проявляется разного рода внезапностями, предвидеть которые невозможно, если придерживаться обыкновенной логики. Все здесь внезапно: суждения, чувства, поступки. Салтыков изучил, однако, «куколку» так, как едва ли это удалось даже тем из наших писателей, которые сделали себе из мира женских отношений своего рода специальность.

Мы уже имели случай остановиться на двух экземплярах этой породы: m-me Персианова в «Ташкентцах» и m-me Проказнина в «Благонамеренных речах» («Еще переписка»). Обе эти милые дамочки наставляют своих юных, но уже многообещающих сыновей, с одной стороны, в преданности религии, отечеству, дворянскому долгу и прочим «основам», а с другой — в искусстве побеждать женские сердца и совершать адюльтер. Сами «куколки» по этой последней части не пропускают случая. Как хорошенькие, ярко расцвеченные бабочки, они перепархивают с цветка на цветок, если только позволительно сравнение непрекрасной половины человеческого рода с цветами. Куколки охотно посвящают взрослых сыновей в тайны своих prouesses *, дабы еще раз хоть мысленно пережить поэму любви. И юный, но уже многообещающий сын одобряет свою «petite mère» **, которая и до сих пор, несмотря на годы, столь не праздно проведенные, «est jolie à croquer» ***. Бесстыдный сын говорит это бесстыдной матери в глаза, и оба остаются друг другом очень довольны, да и кругом все довольны. Конечно, когда парижские приключения de la belle princesse Persianoff **** получают уже слишком громкую и скандалезную известность, «свет» шокируется, но имен-

* подвигов *(франц.)*.— *Ред.*
** маменьку *(франц.)*.— *Ред.*
*** чертовски хороша *(франц.)*.— *Ред.*
**** прелестной княгини Персиановой *(франц.)*.— *Ред.*

но только потому, что уж слишком громко и скандалезно. А до этого предела вот какие требования и советы выслушивает куколка. Вышла она замуж почти девочкой и осьмнадцати лет родила уже сына. По этому случаю «ma tante» * говорит ей о священном чувстве матери и о том, что «для мальчика главное в религиозном чувстве и в твердых нравственных правилах». А дядя Павел Борисович в свою очередь наставляет молодую мать насчет воспитания сына: «Il faut que ce soit un galant homme»... ** Чтобы женщина была для него святыня! Чтобы он любил покорять, но при этом умел всегда сохранять вид побежденного!» Умирает у куколки муж. Ma tante опять наставляет: «Потеря твоя велика, но даже и в самом страшном горе у нас всегда есть верное пристанище — это религия!» А дядя Павел Борисович с своей стороны присовокупляет: «Я очень понимаю всю важность твоей потери, mais ce n'est pas une raison pour maigrir, mon enfant ***. Вспомни, что ты женщина и что у тебя есть обязанности перед светом. Смотри же у меня не худей, а не то я рассержусь и не буду любить мою куколку». Куколка погоревала, погоревала, да и уехала за границу, оставив сына на попечении ma tante и дяди Павла Борисовича. «Ma tante согласилась заменить ему мать и взяла на себя насаждение в его сердце правил нравственности и религии. Mon oncle **** поручился за другую сторону воспитания, то есть за хорошие манеры и искусство побеждать, сохраняя вид побежденного». Ну, куколка как сумела, так и сочетала принципы ma tante и дяди Павла Борисовича...

Такова же примерно история m-me Проказниной. Обе эти фигурки иллюстрируют собой «семейный союз». Изо всего союза, так тщательно оберегаемого на словах в качестве одной из основ, сохранились только дружеские отношения между матерью и сыном, но — боже! — какие это паскудные, ужасающие отношения... M-me Неугодова в «Круглом годе» тоже куколка («нет ни руки, ни ноги, ни носа, ни рта, а ручка, ножка, носик, ротик»), но у нее

* тетенька *(франц.)*.— *Ред.*

** нужно, чтобы он был изящным молодым человеком *(франц.)*.— *Ред.*

*** но это не повод для того, чтобы худеть, дитя мое *(франц.)*.— *Ред.*

**** Дяденька *(франц.)*.— *Ред.*

с сыном нет таких бесстыдных откровенностей. У нее другое. Она, проживая за границей, требует, чтобы сын продавал одно за другим их имения, потому что ей, куколке, за границей денег много нужно, а когда сын указал ей перспективу печального исхода, она ответила ему таким письмом: «Я мать и знаю, что есть закон, который меня защитит. Закон сей велит детям почитать родителей и покоить оных, последним же дает право непочтительных детей заключать в смирительные и иные заведения», и т. д. Письмо это, как оно уже и по слогу видно, писано под чужую диктовку. Но и при личном свидании с автором куколка Неугодова говорит: «Я просто попрошу, чтобы его посадили в смирительный дом, покуда он не раскается». Автор прибавляет: «Я взглянул на нее, думая, не прочту ли что-нибудь на ее лице. И что ж? — ничего! куколка, ну просто куколка — и ничего больше». Автор замечает, что «это у них, должно быть, врожденное, то есть у русских культурных маменек вообще. Я помню, покойница матушка уж на что, кажется, любила меня, а рассердится бывало, сейчас: я тебя в Суздаль-монастырь упеку! Тогда еще Суздаль-монастырь родителей утешал, а теперь, со смягчением нравов, смирительный дом явился». «Суздаль-монастырь» действительно часто срывается с языка маменек, изображенных в «Семейном счастии», «Кузине Машеньке», «Господах Головлевых», «Пошехонской старине». Но их мы теперь не тронем, потому что то не куколки. Вот кузина Надежда Гавриловна («Письмо к тетеньке») — та по крайней мере очень приближается к куколкам, хотя прозвище, данное ей родственниками, есть не куколка, а «индюшка». Это следует заключить из того, что она сына не Суздалем-монастырем пугает, а смирительным домом, а также из следующей ее исповеди. «Индюшка» убеждает автора бросить сатиру и «описывать про любовь».

«Как это... ну, вообще, что обыкновенно с девушками случается... Разумеется, не нужно mettre les points sur les i *, а так... Зачем так уж прямо... как будто мы не поймем. Не беспокойтесь, пожалуйста! так поймем, что и понять лучше нельзя... Вот маменька-покойница тоже все думала, что я в девушках ничего не по-

---

* ставить точки над и *(франц.).— Ред.*

нимала, а я однажды ей вдруг все... до последней ниточки!.. Что в самом деле, за что они нас притесняют? Думают, коли девица, так и не должна ничего знать... скажите на милость! Конечно, я потом, замужем, еще более развилась, но и в девицах... Нет, я в этом случае на стороне женского вопроса стою! Но именно только в одном этом случае, parce que la famille... tu comprends, la famille! tout est là! * Семейство — это... А все эти женские курсы, эти акушерки, астрономки, телеграфистки, землемерши, tout ce fatras» **...

Таким образом, куколки в конце концов очень стоят за семейный союз вообще и в частности за право родителей сажать непочтительных детей в смирительный дом, но они отнюдь не хотят, чтобы этот союз «притеснял» их в деле амурных похождений; в этом случае они объявляют себя на стороне «женского вопроса», но, конечно, только в этом...

С куколки, по части теории и логики, взятки — гладки. Что с нее в самом деле возьмешь, коли для нее в области умственных упражнений существуют только sujets de conversation? *** Не ее совсем дело теоретизировать, она просто практикует. Но есть теоретики кукольного положения, к которым и надо обратиться за разъяснением. Таков Тебеньков в очерке «По части женского вопроса» (в «Благонамеренных речах»). К счастью, Тебеньков речист и откровенен. Прежде всего, что такое женский вопрос, которого куколке и хочется и не хочется? Тебеньков отвечает обстоятельно. «Женщина — это святыня, которой не должен касаться ни один нечистый помысел! Вот мой женский вопрос-с! И мужчина и женщина это, так сказать, двоица; это, как говорит поэт, Лад и Лада, которым суждено друг друга взаимно восполнять. Они гуляют в тенистой роще и слушают пение соловья. Они бегают друг за другом, ловят друг друга и, наконец, устают. Лада склоняет томно головку и говорит: rèposons nous! **** Лад же отвечает: ce que femme veut, Dieu le veut! ***** и ведет ее под сень дерев...

---

* потому что семейство... ты понимаешь, семейство! Это все! *(франц.)*.— *Ред.*

** вся эта дрянь *(франц.)*.— *Ред.*

*** предметы разговоров *(франц.)*.— *Ред.*

**** отдохнем *(франц.)*.— *Ред.*

***** чего хочет женщина, того хочет бог! *(франц.)*.— *Ред.*

A mon avis toute la question est là!» * Итак, весь женский вопрос состоит в том, чтобы Лада могла беспрепятственно проводить время с Ладом под сенью дерев, и этот вопрос вполне разрешен. Тебеньков утверждает, что «ежели известные формы общежития становятся слишком узкими, то весьма естественно, что является желание расширить их. Не об этом спор: это всеми давно признано, подписано и решено. Но как расширить эти формы — вот в чем весь вопрос?» Тебеньков указывает на princesse de P., baronne de K. **, Катерину Михайловну и других прелестных дам, которые разрешили этот вопрос «совершенно и определенно, и к полному своему удовольствию». Они разрешают его практически, каждая сама для себя, не воздвигая никаких принципов и не требуя вмешательства закона. Тебеньков решительно стоит «за святость семейных уз», но «не делаться же княгине монахиней из-за того только, чтобы князь Лев Кириллович имел удовольствие свободно надевать на голову свой ночной колпак!» Княгиня просто делает «экскурсию в область запретного», совершенно позволительную, даже необходимую и нимало не колеблющую общественного здания. Таким образом, дело идет прекрасно, само в себе находя нужные поправки. Ему грозят, однако, две большие опасности, которые необходимо предотвратить. Во-первых, «представь себе, что вдруг *все* сказали бы, что запретного нет, — ведь это было бы новое нашествие печенегов! Ведь они подвергли бы дома наши разграблению, они осквернили бы наших жен и дев, они уничтожили бы все памятники цивилизации!» В этом именно, а не в каком другом смысле надо разуметь святость семейного и других союзов: «Свойства этой азбуки таковы, что для меня лично, — говорит Тебеньков, — она может служить только ограждением от печенежских набегов; с какой же стати я буду настаивать на ее упразднении?» Против частных же и негласных экскурсий в область запретного Тебеньков не только ничего не имеет, но считает их даже необходимыми. Таким образом, все учение о семейном союзе (а равно и о других) распадается на эзотерическую и экзотерическую части: первая доступна

* По-моему, в этом весь вопрос! *(франц.)*.— *Ред.*
** Княгиню де П., баронессу де К. *(франц.)*. — *Ред.*

лишь немногим посвященным, и беда, если *все* «печенеги» проникнут в эту тайну! Этого ни в каком случае допустить нельзя. Другую опасность для правильного разрешения вопроса Тебеньков видит в тех женщинах и девушках, которые стремятся к образованию и труду. Он видит в этих стремлениях «поругание над женскою стыдливостью, над целомудрием женского чувства, над этим милым неведением, ce je ne sais quoi, cette saveur de l'innocence *, которое душистым ореолом окружает женщину». Женщина «есть живой фимиам, живая молитва человека к богу», «святыня, благоухание, кристалл» и пр. И на этакую-то священную штуку замахиваются сами женщины! «Они хотят извратить характер женщины. Представь себе, что они достигнут своей цели, что все женщины вдруг разбредутся по академиям, университетам, по окружным судам... что тогда будет? Où sera le plaisir de la vie? ** Что станется с нами, с тобой, со мной, которые не можем существовать без того, чтобы не баловать женщину?» Тебеньков готов разрешить дамам даже слушание лекций в медицинской академии, но с тем, чтобы это был один из jolis caprice de femme ***, а не то чтобы взаправду. «Женщина, и в особенности хорошенькая, имеет право быть капризною, это ее привилегия. Если она может *вдруг* пожелать парюру в двадцать тысяч, то почему же *вдруг* не пожелать ей посетить медицинскую академию? И вот она желает, но желает так мило, что достоинство женщины нимало не терпит от этого. Напротив, тут-то именно, в этом оригинальном желании, и выступает та женственность, которую мы, мужчины, так ценим. La baronne de K., слушающая г. Сеченова, — можно ли вообразить quelque chose de plus gracieux, de plus piquant!» **** И затем Тебеньков рисует веселую картинку, как Лады в сопровождении Ладов едут на тройках слушать лекции Сеченова, а потом к Дороту или в другой какой-нибудь кабачок.

Надо отдать справедливость Тебенькову: разные

* этой тайной прелестью, этим ароматом невинности (*франц.*).— *Ред.*

** Где будет радость жизни? (*франц.*).— *Ред.*

*** изящных капризов женщины (*франц.*).— *Ред.*

**** что-либо более очаровательное, более пикантное (*франц.*).— *Ред.*

внезапности куколок он сложил в нечто вроде системы. Но это значит отдать справедливость сатирику, который с такою ясностью изложил истинный смысл всего кукольного женского вопроса. Благоуханный и сверкающий мир Лад с его воинствующими теоретиками едва ли часто видел столь правдивое и столь близко к его лицу поставленное зеркало. Тут и комментировать нечего, ибо все ясно и не упущено из виду ни одной черты, характерной для ораторов благонамеренных речей в деле женского вопроса. Куколки и их теоретики, конечно, не могут питать за это к Салтыкову признательности. Но женщины, настоящие женщины, а не тебеньковские «святыни» и «кристаллы», должны признать, что на нескольких страницах очерка «По части женского вопроса» сконцентрировано много данных для доказательства того, что женский вопрос есть действительно вопрос, то есть нечто подлежащее разрешению. Положительных доказательств здесь нет, но аргументация противников вскрыта до самой ее интимной подкладки. Ясно, что во всех рассуждениях о достоинстве женщины, страдающем от вступления ее в сферу труда и образованности, нет ничего, кроме лицемерия. Достоинство женщины! Скажите пожалуйста, какие Шиллеры! Тебеньков говорит шлифованным языком светских салонов, но это уж такая его манера, выработанная долгой канцелярско-салонной практикой, и в сущности он вовсе не скрывает своего мнения насчет того, где именно зимуют раки. Чтобы окончательно убедить собеседника, он приглашает его пройтись в три часа по Невскому. Они идут и слышат разные уже и по форме откровенные разговоры молодых и немолодых людей по части женского вопроса. Выходит довольно-таки гнусно. Тебеньков, торжествуя, говорит: «А ты еще сомневался, что женский вопрос решен! Давно, mon cher! * Еще Прекрасная Елена, уж та порешила с ним!» [26]

Указание на «Прекрасную Елену» не лишено некоторого серьезного значения. Была ли Елена прототипом баронессы К., княгини П., m-me Персиановой, m-me Проказниной и прочих куколок, или она оставила своего Менелая по причинам, не имеющим ничего общего с кукольной психологией, но во всяком случае легенда

* мой дорогой *(франц.)*.— *Ред*

приписывает ей тот факел, который возжег троянскую войну. Это напоминает нам, что женский вопрос не всегда можно изолировать, что и то простейшее его решение, которое проповедует Тебеньков, затрагивает интересы не только Лада и Лады. Если бы куколки могли понимать, что «живой фимиам», «святыня», «кристалл» и прочие лестные к ним обращения суть только псевдонимы вещей далеко не лестных, то они, вероятно, оскорбились бы и стали бы искать выхода из положения, столь возвышенного на вид и столь в сущности унизительного. И уж, конечно, не хватило бы у них духу бросить камень в тех, кто ищет выхода. Но куколки ничего понимать не могут. Ну и бог бы с ними. Но ведь они не на необитаемом острове живут, не где-нибудь вне общей жизни. У них есть мужья, которые, надо думать, не всегда похожи на Тебенькова и князя Льва Кириллыча; есть дети, которые опять-таки не всегда похожи на юных, но уже многообещающих сыновей m-me Персиановой и m-me Проказниной. Какие страшные драмы могут разыгрываться вокруг этих легкокрылых созданий! какую массу зла могут они натворить в своем веселом порхании! Семейный союз, как его понимают куколки, есть именно такой, который камни привязывает, а собак пускает бегать. Куколки твердо стоят за свое право сажать непочтительных детей в смирительный дом, — это право гарантировано союзом: «Я мать!» Столь же твердо будут они при случае произносить слова: «Я жена!» Найдутся и другие приятные права, гарантируемые союзом. Поэтому общий пересмотр оснований союза отнюдь не желателен с точки зрения куколок и их теоретиков: камни должны, непременно должны быть привязаны. Но собаки непременно должны бегать, то есть не собаки, конечно, а миленькие, хорошенькие бабочки должны непременно порхать и потому в союз должны быть внесены известные практические поправки в смысле экскурсий в область запретного. Этого хотят не только сами бабочки, но и Тебеньковы, потому что им нужно «баловать» бабочку. Понятно, что Тебеньковы при случае всю эту механику заведут с другого конца и торжественно воскликнут: «Я отец!», «Я муж!», то есть прибегнут под защиту того же союза и прибегнут именно тогда, когда им захочется выпустить собак и привязать камни. И опять

драмы, опять терзания... Неужели же это в самом деле «союз», а не страшная клетка, в которой беспорядочно и драчливо бьются человеческие существа? Неужели преступна мечта о замене этой клетки настоящим союзом, вольным и сознательным, в котором человеческое достоинство не тонуло бы ни в волнах кружев и бархата, ни в смирительном доме, в котором Лады мужского и Лады женского пола действительно помогали бы друг другу нести бремя жизни и общением увеличивать ее радости? Тебеньковы решительно отвечают: да, преступна...

Как ни унизительно в сущности положение куколки и как ни чревато оно опасностями в случае, ежели механика союза направится в неблагоприятном для нее смысле, но и это завидное для многих положение отнюдь не всем доступно. Для этого нужны, во-первых, муж, во-вторых, средства, мужнины или родительские. Положение женщин, хотя бы и наклонных к кукольному существованию и обладающих соответственными дарованиями, но которым бабушка не поворожила насчет мужа и средств, входит очень существенным элементом в состав женского вопроса. Салтыков и его не оставил без внимания. Но мы на этом не будем останавливаться и обратимся к другой стороне вопроса.

Тебеньков — либерал. Он уже давно «проектировал все те идеи, которыми теперь наш общий друг Менандр Прелестнов волнует умы в «Старейшей Русской Пенкоснимательнице». Но, собственно, относительно женского вопроса он не вполне держится пенкоснимательского образа мыслей. По части семейного союза пенкосниматели мямлют, конечно, свои обыкновенные припевы: «наше время не время широких задач», «можно не соглашаться, но должно признаться» и т. д., и тут найдутся у них точки соприкосновения с Тебеньковым. Однако они горячо стоят за право женщин на труд и образование, каковое право представляется Тебенькову чем-то вконец извращающим женскую природу. «Горячо» — это, впрочем, слишком сильно сказано, потому что к пенкоснимателям вообще относится то, что сказано в апокалипсисе ангелу Лаодикийской церкви: «Знаю твои дела: ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч!» Пенкосниматели, может быть, не оскорбились бы зрелищем прелестных Лад, которым вдруг захотелось в медицинскую академию и которые отправляются на

тройках слушать лекцию Сеченова. Они не прочь и от некоторых игривостей в тебеньковском вкусе, потому что «ежели известные формы общежития становятся слишком узкими, то весьма естественно, что является желание расширить их», но нельзя же, однако, допустить нашествия печенегов... Однако азбуку женского вопроса пенкосниматели знают удовлетворительно. Они всегда порадуются, если женщинам откроется доступ к какой-нибудь профессии, дотоле недоступной, или если их допустят в какой-нибудь храм просвящения. Они обстоятельно укажут благие последствия такого расширения сферы женского труда и женского образования. И они будут, конечно, правы. Чем в самом деле как не трудом и знанием, может быть прекращено позорное существование куколок, которые ведь нужны только Тебеньковым и только в качестве хорошеньких и непременно невежественных, пустопорожних и бездельничающих игрушек? Чем, как не трудом и знанием, может быть гарантирован даже просто хлеб насущный множеству женщин, которым бабушка не поворожила насчет готовых хлебов? Наконец, если мы, мужчины, полагаем свое достоинство в расширении умственных горизонтов, в просвещенном служении родине или человечеству, в пропитании трудами рук своих, то ведь женщина тоже человек, и мы не имеем никакого права запирать у нее перед носом двери, ведущие туда, где мы, на словах по крайней мере, испытываем столько высоких духовных наслаждений. Мало того: суживая сферу деятельности женщины до последней степени, обрекая ее на роль исключительно спутника планеты-мужчины, надо признать, что лучше же иметь спутника, способного войти в ваши интересы и воспитать ваших детей. Правда, вот дети... Женщине предписано законом природы в болезнях родити чада. Но, не говоря уже о тех женщинах, которые по той или другой причине обречены на бездетность, почему этот аргумент остается у нас в кармане, когда дело идет об актрисах, балеринах, акробатках, наездницах, певицах и прочих представительницах профессий эстрады, сцены, цирка? Они ведь тоже женщины и тоже по закону природы должны в болезнях родити чада, но мы не вопим, однако, по этому поводу о потрясении основ...

Все это известно и переизвестно. До такой степени, что как-то даже странно и оскорбительно писать. Ведь

это же азбука. Есть истины несомненные, ясные как белый день, которые, однако, стыдно повторять, а тем более доказывать и развивать именно потому, что они несомненны и как белый день ясны. Но бывают времена, когда общественная мысль до такой степени засоряется разными мутными течениями, что проповедь элементарных истин становится необходимою. Как тут быть писателю, памятующему свои обязанности, но обладающему чувством собственного достоинства? Странно, смешно, оскорбительно положение Галилея таблицы умножения или Колумба «кратких начатков». Школьный учитель может из года в год заниматься изложением первоначальных арифметических и грамматических понятий и делать это с чистою совестью и с сознанием исполненного долга. Таков действительно его долг, — он имеет дело с мальцами, впервые слышащими проповедуемые им истины. Писатель же обращается к обществу, в умственном багаже которого уже давным-давно заключаются всякого рода краткие начатки. И не мудрено, что у писателя не повертывается язык повторять, что дважды два — четыре. Для этого нужно большое мужество, может быть не меньше того, каким должны обладать провозвестники новых истин, впервые озаряющих умственные горизонты человечества. Мужество провозвестников новых истин с избытком оплачивается гордым сознанием этой новизны и радостью творчества. Блеск новой истины, к которому еще не привык глаз современников или соотечественников, блеском же отражается и на личной судьбе ее носителей. Пусть судьба эта бывает переполнена страданиями, но ведь и есть из-за чего страдать. Не современниками, так потомством, не своими, так чужими (если правда, что никто в своей земле пророком не бывал), а будет оценена новая истина, станут люди удивляться, — как это без нее жить можно было, и добром и благословением помянут имена тех, кто ее внес. А ни с чем не сравнимое счастье творчества, создания или открытия новой истины, оригинального образа?! Разумеется, все относительно и дело не в абсолютной новизне. Я хочу только сказать, что для повторения задов требуется иногда не меньше мужества, чем для движения вперед. Если уже почему-нибудь понадобилось доказывать, что дважды два — четыре, что просвещение полезно, что земля обращается вокруг солнца, так, значит, эти довольно древние истины так основатель-

но забыты, что должны встретить какие-то значительные препятствия, какое-то противодействие, как бы новые, потому что в противном случае их незачем было бы и тревожить. А между тем проповедь их может доставить не какое-нибудь внутреннее удовлетворение, а напротив того — только горечь и обиду.

Салтыков никогда не обладал мужеством пропагандиста «кратких начатков». Он относился к этим начаткам с брезгливою нетерпеливостью. Так и относительно женского вопроса. Он довольствовался в этом отношении анализом аргументации противников и оригинальным освещением разных форм семейного союза. При этом сам собой возникал вопрос о настоятельной необходимости женского образования и труда, но необходимость эта представлялась Щедрину столь непререкаемо ясною, столь азбучно несомненною, что уж не на ней надо было настаивать, а на чем-то другом.

Уже в «Письмах о провинции» Салтыков иронически отнесся к некоторым формам женской образованности. Там сопоставлены два женских мира: жены, дочери и племянницы «историографов» и жены, дочери и племянницы «пришельцев» или «пионеров».

«Тогда как жены историографов отличаются неслыханным великолепием одежд, необычайными размерами шлейфов и белизною и округлостью бюстов; жены пришельцев, напротив, представляются слегка ощипанными и даже как бы не совсем кормленными... Сколько сытые блистают телами и шлейфами, столько голодные пленяют основательностью и либеральною умеренностью своих суждений. Тогда как первые беседуют о различии любви и дружбы и о других предметах, решительно не приносящих никакой пользы для отечества, последние повествуют о гражданской честности и непреоборимой верности. Случается даже слышать весьма удачные суждения по следственной части и по части судебных ошибок... Но... приходится сознаться, что шармы телесные решительно подавляют и, вероятно, долго еще будут подавлять шармы умственные. Оттого ли, что мы, провинциалы, не умеем еще относиться как следует к нетленным красотам ума и сердца, или оттого, что в самых сих красотах скрывается некоторый изъян, как бы то ни было, но взоры наши охотнее обращаются в ту сторону, где блестит тленная красота».

Судейские и следовательские жены, сестры, племянницы отбросили специально дамские темы разговоров, обрезали себе шлейфы и щеголяют либеральною умеренностью и основательностью суждений по следственной части и по части судебных ошибок. Чего бы, кажется, лучше? Пенкосниматель должен прийти в полный восторг. А Салтыков что-то хмурится, на какой-то изъян в нетленных красотах ума и сердца намекает. Намек этот брошен в первом письме о провинции в 1868 году, и только в 1873 году, в вышеупомянутом очерке «По части женского вопроса», сатирик вернулся к нему опять-таки в виде намека, хотя и гораздо более ясного.

Судейские и следовательские жены, сестры, племянницы, блестящие умственными шармами, не самостоятельные светила; они заимствуют свой свет от мужей, братьев, дядьев. Не их имеет в виду Тебеньков, когда говорит об извращении женской природы, а «утописток телеграфистики и стенографистики», как он выражается. Конечно, он и в этом случае предпочел бы телесные шармы, шлейфы и специально дамское щебетанье, но просто речь не о судейшах и следовательшах зашла. Автор и Тебеньков были на вечере, где происходили такие разговоры: «Хоть бы позволили в медико-хирургическую академию, — восклицают одни. — Хоть бы позволили университетские курсы слушать! — отзываются другие. — Не доказали ли телеграфистки? — убеждают третьи. — Наконец, кассирши на железных дорогах, наборщицы в типографиях, сиделицы в магазинах, все это не доказывает ли? — допрашивают четвертые. И в заключение — склонение: Суслова, Сусловой, Суслову, о Суслова! и т. д.». В тоне, которым передаются эти разговоры, ясно слышится свойственная Салтыкову нетерпеливая брезгливость к кратким начаткам. Затем автор защищает «утописток стенографистики и телеграфистики», но через всю эту защиту проходит ироническая нота: «Скажите, какой вред может произойти от того, что в Петербурге, а может быть, и в Москве явится довольно компактная масса женщин, скромных, почтительных, усердных и блюдущих казенный интерес? Женщин, которые, встречаясь друг с другом, вместо того, чтобы восклицать: «Boujour, chère mignonne! *

* Здравствуйте, дорогая малютка! *(франц.)*.— *Ред.*

Какое вчера на princesse N платье было!» — будут говорить: «А что, mesdames, не составить ли нам компанию для защиты мясниковского дела?» Какая опасность может предстоять для общества от того, что женщины желают учиться, стремятся посещать медико-хирургическую академию, слушать университетские курсы? Допустим даже самый невыгодный исход этого дела: что они *ничему* не научатся и потеряют время *задаром,* все-таки спрашивается: кому от этого вред? Кто пострадает от того, что они задаром проведут свое и без того даровое время? Как ни повертывайте эти вопросы, с какими иезуитскими приемами ни подходите к ним, а ответ все-таки будет один: нет, ни опасности, ни вреда не предвидится никаких».

Далее сатирик говорит, что если бы от него зависело разрешение этого вопроса, то он непременно «позволил бы». Он думает, что это было бы с его стороны только актом политической мудрости, в интересах тех самых «основ», которые выдвигаются как препятствие для осуществления женских стремлений учиться и работать. Во-первых, тем самым прекратились бы шум и недовольство, а во-вторых, может быть, среди женщин, «которым *позволено»,* и найдутся настоящие опоры существующего строя, настоящие «столбы». И почему бы в самом деле нет? Ведь женщины желают, чтобы им «позволено было быть столбами наравне с мужчинами». Нет, на месте начальства я позволил бы, повторяет Щедрин. «Разумеется, — прибавляет он, — если бы меня спросили, достигнется ли через это «дозволение» разрешение так называемого «женского вопроса», я ответил бы: не знаю, ибо это не мое дело. Если бы меня спросили, подвинется ли хоть на волос вопрос мужской, тот извечный вопрос об общечеловеческих идеалах, который держит в тревоге человечество, я ответил бы: опять-таки это не мое дело».

Кажется, ясно. С точки зрения сатирика, предоставление женщинам права учиться и работать есть дело элементарной справедливости, и только тебеньковское лицемерие может восставать против этого права. Осуществление его должно принести многие благие последствия, поскольку нынешние драмы семейного союза зависят от женской пустоты, невежества, безделья. Но сатирик отказывается радоваться тому, что все суще-

ствующие профессии будут комплектоваться безразлично мужчинами и женщинами. Собственно, от этого не произойдет никакого изменения в общем ходе житейских порядков, кроме разве усиления конкуренции, то есть отбора способнейших к исполнению существующих профессий. Тут нет никакой опасности для «основ», но нет и повода для радости с точки зрения сатирика, ибо все, что есть в нашей жизни подневольного и бессознательного, таковым и останется, и мелочи жизни от этого нимало не покрупнеют.

Поясню эту мысль иллюстрациями. Я помню, что в одной либеральной газете, в подтверждение того, что женщина не уступает мужчине в способностях, были приведены сведения о какой-то американской сыщице, обнаружившей в своей деятельности много ума, ловкости, энергии, знаний. Да, увлечение «женским вопросом», обнаженным от всяких сторонних соображений, доходило у нас до этого. Между тем чему тут, собственно, радоваться? Американский государственный союз нуждается в сыщиках, которых и выбирает главным образом между мужчинами, но согласен взять и женщину, если она обнаружит достаточные способности! Только и всего. В «Недоконченных беседах» Салтыков посвящает одну главу делу Кронеберга, судившегося за истязание дочери. Между прочим, сатирик очень возмущается показанием одной весьма известной женщины-врача, каковое показание клонилось к признанию за подсудимым права совершить то, что он совершил. Салтыкову не вспомнились тогда его соображения насчет женщин «столпов», а это недурная иллюстрация: женщина-врач не хуже всякого мужчины оказывает косвенную поддержку семейному союзу, достигающему до пределов истязания отцом дочери. В чем же опасность для «основ»? Но в чем и радость с точки зрения Салтыкова?

Салтыков был не из любезников. Le beau sexe * ни тленными, ни нетленными своими шармами не мог подкупить его критику явлений общественной жизни. Суров был покойник. Но тем ценнее слова сочувствия, любви и надежды, с которыми он, случалось, и к женщинам обращался. В «Мелочах жизни» есть целый ряд

---

* Прекрасный пол *(франц.)*.— *Ред.*

женских фигур; «ангелочек», «Христова невеста», «полковницкая дочь», «сельская учительница», жена Черезова, затертых то просто дрянными, то презренными и подлыми мелочами. И обо всех об них, за исключением разве «ангелочка», болит сердце автора. Почему болит? В семье Черезовых жена работает не меньше мужа, и, значит, вопрос о «женском труде» разрешен, да и живут супруги Черезовы дружно, друг другу помогая, друг друга уважая и любя. Но... «Может быть, при других обстоятельствах, при иной школе, сердце их раскрылось бы и для других идеалов, но труд без содержания, труд, направленный исключительно к целям самосохранения, окончательно заглушил в них всякие зачатки высших стремлений».

Однако не вечно это торжество мелочей, безжалостно калечащих и мужскую и женскую жизнь одинаково. Сатирик в этом уверен, и достойно внимания, что веру эту он предоставляет выразить именно женщине — Юленьке в «Дворянской хандре». Юленька предсказывает, что не вечно ночь будет, что солнце взойдет... Автор рассказывает: «Я оглянулся и умилился. Глаза Юленьки горели, лицо ее было все как в лучах; даже в голосе слышались мощные, звонкие ноты».

Да будет же по слову хорошей девушки!

X

ХУДОЖНИК

Как умел и как мог, я постарался если не исчерпать содержание писаний Салтыкова, то хоть помочь читателю разобраться в огромном литературном наследстве, которое Щедрин оставил русскому обществу. Условия русской печати совсем не таковы, чтобы это могло быть теперь же сделано с надлежащею полнотою и ясностью. Говорю это не в оправдание пробелов и других недостатков моей работы, поскольку они зависят от моего уменья или неуменья. Во всяком случае, я мог бы еще и еще продолжать эти очерки, — Салтыков дает для этого достаточно материала, — но чего-нибудь существенного прибавить не могу. Остается только поговорить о том, *как* Щедрин делал свое дело. Его критика

явлений общественной жизни была облечена в оригинальную художественную форму. Так вот об этой форме.

Прошу читателя припомнить кое-что из сказанного в первой и третьей главе об основной черте всей литературной физиономии Салтыкова. Мы видели, что черта эта состоит в необыкновенно счастливом сочетании могучей непосредственности, богатого сырья, с одной стороны, и силы неусыпно бодрствующего сознания — с другой. Талант Салтыкова был громаден, но он не доверял этой громадной стихийной силе и держал ее под строгим контролем сознания. Он склонен был даже умалять размеры своего таланта, приписывая свой успех и значение в литературе исключительно упорному труду. Надо заметить, что и вообще таланту Салтыков не давал той цены, какая ему обыкновенно дается. Лучше, чем кто-нибудь, понимал он, что талант есть великая сила, и был очень тонким ценителем в этом отношении. Но работник, человек сознания и воли возмущался в нем против каких бы то ни было привилегий таланта, против поклонения этому случайному подарку природы или капризной судьбы. Иногда слово «талантливый» было у него чуть-чуть что не бранным или по крайней мере ничего лестного в себе не заключающим. В «Губернских очерках» есть четыре портрета, собранных под одно общее заглавие «Талантливые натуры». Заглавие это отнюдь не ироническое: Корепанов, Лузгин, Буеракин и Горехвостов действительно талантливые натуры, но не в хвалу им написаны эти портреты. Господам ташкентцам сатирик усвоивает, в числе прочих качеств, «талантливость». Не раз и при других случаях он столь же пренебрежительно отзывался о талантливости. В «Письмах к тетеньке» он, устами дяди Григория Семеновича, дает такое определение: «Талантливость все равно что пустая бутылка, — какое содержание в нее вольешь, то она и вместит». Сила таланта, как и всякая другая стихийная сила, получала для Салтыкова значение только по тому направлению, которое она принимала под влиянием человеческого сознания и воли. Этой печати сознания и воли Салтыков, как мы видели, требовал от всех проявлений жизни. Честь и совесть, пробуждения которых он так страстно желал, суть формы сознания, притом формы, обязывающие к

действию, то есть к напряжению воли. Общественный союз, составлявший его идеал, отмечен тою же печатью сознания и воли. Сознание и воля, высшие способности человеческого духа, должны царить над всем миром, над всеми силами природы и истории, подчиняя их себе в качестве служебных орудий, обрабатывая их, как сырой материал, наконец, если нельзя иначе, претерпевая их гнет, но так, как терпит гордый пленник тюрьму, как носил свои цепи Прометей, то есть все-таки не подчиняясь. Мне чтить тебя? за что? спрашивает гетевский Прометей (ich dich ehren? Wofür?) [27]. С таким вопросом обратился бы Салтыков к любой стихийной силе, в том числе и к таланту, если бы он потребовал почтения к себе. Талант, случайная комбинация наследственности и приспособления в момент зачатия, не есть заслуга. Продукт слепых сил, он и сам есть только даровой, незаработанный придаток личной силы, получающий свое значение, великое или презренное, только от того направления, которое ему дают сознание и воля. Не талант должен владеть человеком, увлекая его помимо воли и сознания, а наоборот, человек должен владеть своим талантом. К так называемому «вдохновению» Салтыков относился очень скептически. Он не сказал бы, подобно Гете, что гений есть терпение [28], — чему, мимоходом сказать, и сам Гете едва ли верил, — но во всяком случае талант сам по себе был для него только пустая бутылка, которую надо еще наполнить, и, смотря по тому, чем она наполнена, такая ей и цена.

Когда плебей презрительно отзывается о знатности происхождения и негодует на преимущества, связанные с таким происхождением, то всегда найдутся дешевые скептики, которые объяснят этот протест завистью: дескать, сам не может щегольнуть родословным древом, ну и ворчит. Мудрено было бы пустить в ход это подозрение применительно к взглядам Салтыкова на талантливость. Огромный талант Салтыкова стоит вне всяких сомнений, кажется, для самых отъявленных его врагов. С этой стороны слышатся даже иногда фарисейские сожаления, что такое значительное дарование тратилось на дело, господам критикам неугодное. Едва ли не самый злостный критик, и тот нашелся вынужденным признать за Салтыковым по крайней мере «несомненный талант глумления и нахальства». Бедный сердитый критик! Он

ничего не понимает. Странным образом, однако, подобные замечания трогали Салтыкова, как это видно из часто попадающихся у него не то что оправданий, а по крайней мере упоминаний о «балагурстве», писательстве «по смешной части», «смехе для смеха», «глумлении». Упреки эти столь бессмысленны, что Салтыков смело мог бы проходить мимо них, как слон мимо лающей моськи. В самом деле, припомните хоть только группы Разумова и сына («Больное место») и Молчалина и сына («В среде умеренности»). Над кем бы, кажется, и глумиться сатирику, если не над этими стариками, руки которых обагрены бессознательным преступлением и которые, как курица, высидевшая утят, не имеют с своими детьми ничего общего, кроме связи рождения. Пусть бессознательно, а не как истые злодеи, но этот Разумов и этот Молчалин загубили на своем веку немало молодых жизней. Недаром одна из матерей обозвала Разумова «сатаной». И вот теперь, когда на них самих надвигается та беда, которую они кругом себя сеяли, как легко, как, не скажу законно, но по крайней мере естественно было бы злорадное торжество. Но ни единой черты глумления не позволил себе сатирик. Перед вами одна из самых страшных драм, какие только могут быть созданы фантазией и действительностью, и, ввиду глубины ее, стушевывается политическая, если можно так выразиться, вражда автора к старикам Разумову и Молчалину.

«Разумов думал, что сын — утеха, а вышло, что он просияние. Каким-то проклятым образом переплелись эти два совсем несовместные понятия, и нет возможности распутать их. И утеха и просияние — какой ад. Ах нет, нет. Утеха, утеха, утеха! Слышишь ли ты это, Степа? Подсказывает ли тебе сердце, что, какое бы громадное несчастие ни придавило тебя, это же самое несчастие во сто крат, в тысячу крат тяжелейшим молотом придавит беспомощную голову твоего отца! Нет у этого отца ни настоящего, ни будущего, нет даже прошлого, но ведь и в этом человеке-обрывке трепещет сердце... Тобой полно это сердце, тобой, одним тобой!»

Я опять напоминаю читателю, что с точки зрения Салтыкова Разумов есть злодей, хотя и бессознательный. Но во имя лютой скорби, переживаемой этим злодеем, великий художник, ни в чем не изменяя себе,

своим убеждениям, срастается с его душой и шаг за шагом переживает вместе с ним всю драму. Это «глумление», «балагурство»?! Если бы Салтыков написал в этом роде только «Больное место», так и то упрек в балагурстве был бы бессмысленнейшей из клевет, которая сама собой обрушивается позором на головы клеветников. А сверкающая слезами речь Крамольникова в «Сне в летнюю ночь»? А трагическая фигура Иудушки и в особенности конец его и «племяннушки» Аннииньки? Надо быть очень веселым человеком, чтобы читать эти страницы без содрогания, и очень неумным человеком, чтобы увидать тут глумление. А «Мелочи жизни», насквозь проникнутые грустью о погибающих в проклятом болоте человеческих жизнях? А «Христова ночь» и другие сказки? А страстные речи в честь и в защиту литературы, которые мы видели в первой главе?

Талант Салтыкова представляет собою сумму очень многих и очень разнородных слагаемых. Бывают таланты яркие, сильные, но, так сказать, одноцветные. Талант Салтыкова я бы назвал радужным, и переливы этой блистательной радуги составляют столько же прекрасное, сколько и редкое в литературе зрелище. Что касается формы в смысле рубрик, на которые теория делит художественные произведения, то Салтыков обращался с ними вполне бесцеремонно, подчиняя их основной струе своего творчества. Можно бы было, например, сказать, судя по «Драматическим сценам» в «Губернских очерках» и «Недавним комедиям» в «Сатирах в прозе», что драматическая форма не давалась Щедрину. Может быть, оно так и есть в самом деле. Может быть, Щедрин органически не мог настолько отодвинуть свое личное чувство за кулисы, насколько это требуется самыми условиями драмы. Но он и не смотрел никогда на «сцены» «Губернских очерков» и «комедии» «Сатир в прозе» как на драматические произведения; да и никто на них так не смотрит. Еще бы к диалогу «мальчика в штанах» и «мальчика без штанов», или к разговору Свиньи с Правдой, или к «Драме в кашинском окружном суде» (в «Современной идиллии») предъявлять требования, каким должно удовлетворять драматическое произведение! Эти quasi-драматические наброски удовлетворяют совсем другим требованиям, художественным же, но стоящим вне всякой связи с делением

словесности на роды и виды. Салтыков утилизировал все эти роды и виды, но тасовал их, как колоду карт, то, например, в «Современной идиллии», перебивая комический рассказ страстным стихотворением в прозе «Властитель дум», то иллюстрируя публицистику диалогом «Свиньи с Правдой», то, наоборот, обрывая художественный рассказ публицистической экскурсией, то неожиданно вводя струю сказочной фантастики в реальнейшее из реальных описаний. Припомним для образчика, маленькую, всего в несколько строк, но истинно поразительную сцену, которую я уже приводил в главе «Вера в будущее». Молчалин, возвратившись с обагренными бессознательным преступлением руками домой, этими самыми руками спокойно режет пирог с капустой; автор указывает ему на руки; «я вымыл-с», — отвечает Молчалин. Это смелое до дерзости сочетание аллегорической и страшной крови на руках Молчалина с реальным и будничным пирогом с капустой даже, может быть, не останавливает на себе с первого раза внимания читателя. Мысль не запинается об эту наглядную несообразность, так ярко и сжато характеризующую Молчалина. Перед нами результат — живой портрет, более того — живой тип, и мы не спрашиваем себя в тот момент о приемах и способах, которыми этот результат достигнут. А если, анализируя свое впечатление, оглянемся на них, на эти способы и приемы, то уже, конечно, не попрекнем автора за их наглядную несообразность. Нельзя, напротив, не залюбоваться этими мощными скачками от действительности, вмещающейся в пироге с капустой, к фантазии, обагряющей руки Молчалина, от комических подробностей жития Молчалина к не сознаваемому им самим ужасу его обычных занятий. В этом и в других подобных случаях изумительна в особенности легкость, с которою талант Салтыкова, презирая препоны утвержденных форм словесности, переходит от одной из них к другой, от беспощадного реализма к вершинам фантазии, от ядовитой насмешки к страстной лирике. Вы не видите при этом никаких усилий автора, никаких следов натуги, старания; это чисто стихийное, самопроизвольное радужное сверкание таланта, резко выделяющее Салтыкова из среды наших больших писателей. При всех своих разнообразных достоинствах, ни один из них не облада-

ет тою специальною силою и гибкостью таланта, которою обусловливается эта черта. Формалисты назовут ее, может быть, распущенностью, беспорядочностью, невыдержанностью стиля. Ну и бог с ними.

Есть во всяком случае у Салтыкова и такие произведения, которые даже самый узколобый из формалистов найдет безупречными в смысле выдержанности стиля. Таковы, скажем для примера, очерки, вошедшие в состав «Мелочей жизни», таково «Больное место», почти все сказки, такова, за вычетом некоторых отступлений, Головлевская хроника. Все это — перлы в своем роде, поражающие яркою жизненностью образов, смелостью и спокойною уверенностью общих очертаний и вместе с тем тонкостью отделки подробностей. Что касается последних, то я напомню только пейзажи в «Коняге» и в «Христовой ночи». По основным задачам всей своей деятельности, целиком посвященной общественной жизни, Салтыков не мог придавать пейзажу того значения, которое он имеет для романистов и поэтов. И тем не менее перечтите «Конягу» и «Христову ночь», и вы увидите, что имеющиеся там пейзажи должны быть поставлены рядом с лучшими произведениями этого рода. Перехожу к перлу из перлов — к «Господам Головлевым».

Фигура Иудушки, совмещающая в себе столько комических черт и в то же время полная глубокого трагизма, принадлежит к числу тех, которые живут века. Вы ясно видите этого словоточивого «кровопивушку», слышите его голос, ощущаете неприятность его прикосновения и, вместе с его сыном, племянницей, Евпраксеюшкой, милым другом маменькой, брезгливо и страшливо содрогаетесь. Но удивительное дело: вы понимаете, что Анкинька должна была бежать от той невыносимой скуки и страха, которые распространяет вокруг себя Иудушка, и могла вернуться под его постылый кров только вконец одуренная пьяною жизнью; вы понимаете, что и сын Иудушки, и Евпраксеюшка, и милый друг маменька должны сторониться от общения с ним; вы чувствуете, наконец, что и сами вы, встретившись с этой фигурой в жизни, ни на единую минуту не пожелали бы продолжить эту встречу. А вот в художественном воспроизведении вы от Иудушки оторваться не можете, хотя и переживаете с другими действующими лицами

их тоску и страх. В этом и состоит чудесная тайна истинно художественного произведения: властная воля великого художника пленила вас, приковала ваше внимание к явлению, мимо которого вы, свободный от чар гениального творчества, постарались бы пробежать как можно скорее. Эффект этот достигается иногда и совершенно заурядными писателями, но, во-первых, в совсем другом круге читателей, а во-вторых, не силою таланта, а чисто внешним образом, нагромождением кричащих подробностей в самой фабуле. Тут мы имеем дело не с чарованием искусства, а с тою странною притягательною силою, которую для многих людей имеют кровь, опасность, уголовщина, с тою странною силою, которая сгоняет толпы зрителей на головоломные представления акробатов, бои быков, на уличные драки и площадные скандалы. Любители этого рода зрелищ найдут «Господ Головлевых» слишком пресным произведением. Тут и фабулы-то почти никакой нет. Пожалуй, есть она в виде материала, зародыша, и заурядный писатель мог бы извлечь много головокружительных эффектов, например, из трагической развязки жизни обоих сыновей Иудушки, но у Щедрина обе эти развязки происходят за кулисами. С другой стороны, самые потрясающие страницы Головлевский хроники посвящены необыкновенно простым, в смысле обыденности, вещам. Рождение незаконного сына и отправка его в воспитательный дом, — господи! да ведь это каждый день совершается, не попадая даже в полицейскую хронику наравне с кражей, пожаром, падением из третьего этажа и проч. Дрянной старикашка пьет с племянницей из ярмарочных певиц водку, — что может быть ничтожнее такого сюжета? Многие из наших чрезвычайно бойких романистов пройдут мимо этих тем с полнейшим презрением, и они будут до известной степени правы, потому что им в самом деле ничего не сделать из таких заурядных явлений. Можно, кажется, установить такую общую формулу, допускающую, конечно, исключения: заурядному таланту нужна исключительная фабула, исключительный талант довольствуется заурядной фабулой.

Я сказал, что формула эта допускает исключения: мне вспомнился Достоевский. Это был могучий тоже талант, тоже обладавший чарующею силою приковывать внимание читателя к явлениям, от которых, казалось

бы, надо бежать зажмуря глаза. А между тем он всегда норовил эксплуатировать исключительные фабулы: кровавые сцены, безумные герои, напряженные положения.

В статье «Лучше поздно, чем никогда», написанной чисто pro domo sua *, наш известный романист Гончаров делает мимоходом следующее сопоставление Достоевского и Салтыкова. Оба ищут правду жизни — «один в глубокой, никому, кроме его, не достигаемой пучине людских зол, другой в мутном потоке мелькающих перед ним безобразий. Один содрогается и стонет сам, — содрогается от ужаса и боли его читатель, точно так же как этот читатель злобно хохочет с автором над какой-нибудь «современной идиллией» или внезапно побледнеет перед образом «Иудушки». Мне не совсем ясны смысл и цель этого сопоставления, но, сколько я понимаю, в нем заключаются ценные намеки на характер разницы между обоими писателями. В характеристике Салтыкова (если можно назвать характеристикой несколько вскользь брошенных слов) отмечены два источника или две формы художественного воздействия на читателя: смех и ужас, причем определительно указаны и цели воздействия: смех именно над «современной идиллией», ужас именно перед Иудушкой. В характеристике же Достоевского имеется указание только на одну форму воздействия: «содрогание и стон, ужас и боль», притом так, что в этой форме заключается уже как будто и самодовлеющая цель: стон для стона, боль для боли. Я отнюдь не утверждаю, что г. Гончаров хотел именно это сказать, но так сказалось, и хорошо, тонко сказалось. В способах околдования читателей Салтыков был, конечно, без сравнения разнообразнее Достоевского. Смех решительно не давался Достоевскому, да он и крайне редко пытался смеяться или смешить, а когда пытался, так выходило болезненно, тяжело; тогда как Салтыков был полным хозяином в этой области, легко и свободно настраивая читателя на все мельчайшие оттенки смеха, от добродушно веселой улыбки до «злобного хохота». В трагической области, по-видимому, пальма первенства должна быть, наоборот, предоставлена Достоевскому. Однако это только по-видимому и в весьма условном смысле. Достоевский действительно

* о себе самом *(лат.)*.— *Ред.*

приковывал внимание читателя к явлениям ужасным и отвратительным, приковывал с страшною силою, так что, при всем желании сбросить с себя иго навеваемых им мучительных впечатлений, отделаться от них трудно. Но вопрос, во-первых, в средствах, которыми это достигалось, а во-вторых, в целях, ради которых читатель подвергался этому мучительскому искусу. По расчету д-ра Чижа, высоко ценящего психиатрическое чутье Достоевского, четверть всего числа его действующих лиц поражена душевными болезнями;[29] припадки эпилепсии и приступы бешенства происходят на глазах читателей; затем убийства, покушения на убийство, самоубийства, можно сказать, переполняют романы и повести Достоевского; рассказываются они длинно, подробно, мучительно подробно и длинно: удары, выстрелы, стоны, кровяные пятна — целый арсенал кричащих эффектов. Ничего подобного у Салтыкова. Припомните, например, щедринских самоубийц, которых довольно много. Убивают себя сын Иудушки и молодой Разумов; но на сцене самоубийства нет, имеются только известия о совершившемся факте. Иудушка тоже кончает самоубийством, но очень любопытно, что и он и Матренка бессчастная в «Пошехонской старине» замерзают, — самоубийство выходит по крайней мере бескровное. Смерть сельской учительницы в «Мелочах жизни» изображена в двух строках: «Она дошла до середины мостков, переброшенных через плотину, и бросилась головой вперед на понырный мост». Портной Гришка бросается с колокольни. Но даже слова «бросился» нет в описании этого страшного финала горькой жизни.

«Он невольно перекрестился и поклонился на все стороны.

Никто ничего не слыхал. Но минут через десять, когда служба кончилась, дьячок, выходя из церкви, встретил на пути своем препятствие.

— На человека наткнулся! — крикнул он. — Ишь пьяница, растянулся! — Стали тормошить «пьяницу» — не встает. Принесли фонари и опознали Гришку.

— Ах, расподлая твоя душа! — крикнул кто-то в собравшейся толпе».

Не только ни одной капли крови и ни одного стона нет в этом описании, не только слова «бросился», но даже простого многоточия в замену его. Это в высшей

степени характерно для той бережности, с которою Салтыков относился к нервам читателя. Сцены вроде двойного убийства, совершаемого Раскольниковым в «Преступлении и наказании», или убийства Шатова в «Бесах» и проч. и проч. — все эти разлитые по сочинениям Достоевского лужи крови, все эти стоны и предсмертные хрипения, искаженные предсмертной судорогой лица решительно немыслимы у Салтыкова. Не потому, что великий писатель не мог, а потому, что не хотел, или, пожалуй, до такой степени не хотел, что даже и не мог. Во всяком случае он явно намеренно обходил тот арсенал внешних, кричащих эффектов, из которого Достоевский черпал свои ресурсы; без них умел он потрясать читателя и с чарующей силой приковывать его к трагедии в семье Разумовых, к ужасающей фигуре Иудушки Головлева и проч. Обстоятельство это свидетельствует не только о чрезвычайной мощи таланта, не нуждающегося в побочных сильных средствах, а и о характерном для Салтыкова всегдашнем контроле сознания. Несмотря на свою резкую тенденциозность, Достоевский никогда не мог, да и не хотел, отказывать себе в жестоком удовольствии беспредметной игры на нервах читателей именно ради самой этой игры. Прочтите, например, в «Братьях Карамазовых» все, что касается несчастного мальчика Илюшечки. Девять десятых этой эпизодической вставки не имеют никакого отношения ни к фабуле романа, ни к его задаче. Они не нужны в романе, но они удовлетворяют некоторой общей и всегдашней потребности самого Достоевского. Проповедник совершенно особенного, болезненного наслаждения — наслаждения страдания (Wonne des Leides, сказал бы немец), он и в произведениях своих безмерно обдавал своих читателей этим наслаждением. Нельзя без волнения читать ни в каком смысле не нужные и все-таки потрясающие злоключения Илюшечки. Вы перечтете их и раз, и два, и три все с тем же волнением, с тем же подступом невольных слез к горлу, но это своеобразное состояние нервов так и останется состоянием нервов, не разрешаясь в какую-нибудь определенную мысль или чувство, в котором вы могли бы дать себе ясный и полный отчет. И в этом нет ничего удивительного: автор и хотел только художественно помучить нас и сам помучиться жестоким творчеством. Такая зада-

ча — Салтыкову чужая до дикости. Если он властно заставляет вас, по выражению г. Гончарова, «внезапно побледнеть перед образом Иудушки», так это отнюдь не для того только, чтобы вы побледнели. И вы действительно не только бледнеете; но беспредметно волнуетесь. Вы перечитываете сцену рождения незаконного ребенка и отправки его в воспитательный дом, хорошо зная, что вновь и вновь испытаете чувство праведного гнева на этого бессовестного ханжу. Затем в сценах пьянства с Аннинькой и решения Иудушки уничтожить себя (самой сцены самоубийства, собственно говоря, нет) вы, руководимый автором, с чувством почти радостного удовлетворения открываете и в этом железном попе с каменной просвирой следы человечности, совести. Да, праведен был гнев ваш, праведно и наказание, наложенное Иудушкой на себя: нельзя жить этому человеку, если в нем заискрилась совесть. При этом ни разу не шевельнется тоскливый вопрос, невольно преследующий вас при чтении злоключений Илюшечки (и многого другого у Достоевского): ах, зачем! зачем он и его, и меня, и себя мучит?! При этом, далее, ни единой лишней усугубляющей краски, направленной к специальному ущемлению или щекотанию нервов. Повторяю: самоубийство Иудушки, во-первых, бескровное и беззвучное, а во-вторых, его подробности не рассказаны. Проповедник торжества сознания и воли, Салтыков сдерживал и направлял свой талант этими высшими силами духа и их же будил в читателе, возможно быстро и бережно проходя низшую, подготовительную ступень нервного волнения.

Таков же был и смех Салтыкова. В 1883 году появились в «Отечественных записках» «Пошехонские рассказы»; их «первый вечер» огорчил многих искреннейших почитателей сатирика. Нельзя было не хохотать над этим сборником частью скабрезных, частью просто смехотворных анекдотов, но разве это дело Щедрина, учителя, вождя, от которого привыкли ждать веского и вещего слова?! Уже самое это огорчение свидетельствует, что беспредметный смех был столь же чужой Салтыкову, как и беспредметный трагизм. Пуская в обращение «Пошехонские рассказы», он очень хорошо знал, что он делает. Он снабдил их двумя презрительными эпиграфами: «По Сеньке шапка» и «Андроны едут»,

а во «втором вечере» пояснил: пишу «для того, чтобы исправить мою репутацию. Сначала эту задачу выполню, а потом и совсем брошу. Я знаю, что задача эта не весьма умная, но ведь глупые дела бывают вроде поветрия. Глупые фасоны вышли, вот и все. Но ежели глупые фасоны застрянут на неопределенное время, тогда, разумеется, придется совсем бросить и бежать куда глаза глядят». Дело ясное. Разгневанный и оскорбленный тогдашним состоянием русского общества, сатирик бросил ему шапку по Сеньке: серьезное слово убеждения и призыва отскакивает от вас как от стены горох, вам вздору нужно, — нате, получайте! Но уже во втором вечере сатирик сам не выдержал этой программы беспредметного смеха, а оканчиваются «Пошехонские рассказы» глубоко прочувствованной картиной похорон Ивана Рыжего, убитого одурелою толпой по подстрекательству Мазилки и Скоморохова... Можно бы было найти и другие случаи, когда смех Салтыкова прорывался без осложнений гнева и печали и без удержу. Но случаи эти крайне редки, и с нас достаточно первого вечера «Пошехонских рассказов», чтобы судить, что было бы, если бы Салтыков действительно пускал в ход свою способность смеха с тою необузданностью, какую ему приписывают глупые и бесстыжие люди. О, как бы мы хохотали! — мы, вы, они... Но, памятуя высокие обязанности литературы и лежащую на ней ответственность, сатирик не пожелал этого повального веселья, не пожелал быть писателем «по смешной части».

Он понимал цену смеха и отнюдь не отказывался от него. «Что же такое, если и карикатура? — спрашивает он в «Письмах к тетеньке». — Карикатура так карикатура — большая беда! Не все же стоять, упершись лбом в стену; надо когда-нибудь и улыбнуться. Есть в человеческом сердце эта потребность улыбки, есть. Даже измученный и ошеломленный человек и тот ощущает ее». Салтыков знал, во-первых, что есть явления, в которых, как и везде, можно найти смешные стороны и над которыми, однако, по их незащищенности от разных других воздействий, смеяться грешно, «жутко», как он выражается в «Дневнике провинциала». Во-вторых, у него была строго обдуманная, чрезвычайно оригинальная и блистательно им оправданная теория карикатуры.

В «Недоконченных беседах» по поводу модных в то время газетных разговоров о «расхищении власти» Салтыков писал: «О выводах или о пожеланиях нет и в помине. Людям, более или менее подозрительным, может показаться, что вот-вот сорвется с языка что-нибудь решительное, вроде «закрепощения» или восстановления старой судебной волокиты, — отнюдь не бывало! Даже этих немудрых слов нет». Вот эти-то недоговоренные слова, эти-то выводы и пожелания, еще смутные, но, может быть, завтра же имеющие объявиться в полной законченности, и составляют функцию щедринской карикатуры. Он сам подробно развивает эту мысль в «Помпадурах и помпадуршах». Рассказав про удивительные приключения Феденьки Кротикова, сатирик сам забегает вперед вопроса — не слишком ли это фантастично, преувеличенно, карикатурно, и решительно отвечает: нет.

«Я согласен, что в действительности Феденька многого не делал и не говорил из того, что я заставил его делать и говорить, но я утверждаю, что он *несомненно все это думал* (курсив Салтыкова) и, следовательно, сделал бы или сказал бы, если бы умел или смел. Этого для меня вполне достаточно, чтобы признать за моим рассказом полную реальность, совершенно чуждую всякой фантастичности... Небывальщина гораздо чаще встречается в действительности, нежели в литературе. Литературе слишком присуще чувство меры и приличия, чтобы она могла взять на себя задачу с точностью воспроизвести карикатуру действительности... Многие из Феденькиных бредней до того фантастичны, что он сам старается скрыть их, но я ловлю его на полуслове, я пользуюсь всяким темным намеком, всяким минутным излиянием и с помощью ряда усилий вступаю твердою ногою в храмину той другой, не обыденной, а скрытой действительности, которая одна и представляет верное мерило для всесторонней оценки человека. Не знаю, в какой степени усилия мои увенчаются успехом, но убежден, что прием мой во всяком случае должен быть признан правильным. Говорят о карикатуре и преувеличениях, но нужно только осмотреться кругом, чтобы обвинение это пало само собой. Не останавливайтесь на настоящей минуте, но прозревайте в будущее. Тогда вы получите целую картину волшебств, которых,

быть может, еще нет в действительности, но которые несомненно придут».

Эти замечательные строки (я привел их в сокращении) бросают интересное освещение на всю деятельность Салтыкова и дают драгоценные указания критике. И письменная критика и в особенности устная, которой Салтыков подвергался больше, чем кто-нибудь, так как почти каждое его произведение возбуждало в обществе говор, давно заметила следующее обстоятельство. Некоторые, совершенно, по-видимому, фантастические положения, придуманные щедринской сатирой, над которыми мы смеялись, как над карикатурами, по прошествии известного времени оказывались точным отражением действительности. Случалось иногда так, точно Салтыков был как бы сатирическим лидером ненавистной ему партии мрака, его карикатуры точно задавали тон известной части литературы и соответственной части общества; они, эти карикатуры, развивались по прошествии некоторого времени всерьез, как нечто в самом деле желательное, спасительное, обязательное. Укажу для примера на проект «централизации» отставного корнета Толстолобова в «Дневнике провинциала» и на «проект обновления» Стрелова в «Пестрых письмах». Один из них написан лет пятнадцать тому назад, другой — лет пять. Написаны они на смех; перечтите их и скажите: фантастика ли это? карикатура ли? Из только что приведенного объяснения самого Салтыкова видно, что эти совпадения карикатуры с действительностью отнюдь не были делом капризной случайности. Не нуждаются эти предвидения и в каких-нибудь мистических объяснениях. Салтыков сам открыл нам их секрет. Он прислушивался, присматривался, «ловил на полуслове, пользовался всяким темным намеком, всяким минутным излиянием». Результат достигался, следовательно, упорной, сознательной работой, вполне определенным приемом исследования.

Понятно, что в других руках этот же самый прием не дал бы тех же самых результатов. Иной может годы прислушиваться и присматриваться и все-таки ничего не высмотреть и не выслушать, а иному достаточно вершка, чтобы угадать сажень. Это дело таланта и именно чуткости. Чуткость Салтыкова была поистине изумительна. Она особенно била в глаза в последние

годы его жизни, когда он жил, как монах в келье, отрезанный от всего мира, и все-таки чуял приливы и отливы этого мира. Мне уже случилось однажды сравнить его с чрезвычайно чувствительным барометром, который, будучи заперт в четырех стенах, тем не менее отзывается на перемены в состоянии атмосферы. Но и в этом случае Салтыков не был ни тем рабом, лукавым и ленивым, который зарыл свой талант в землю, ни тем себялюбивым счастливцем, который, гордясь своими случайными преимуществами, щеголяет ими с единственною целью поразить, ослепить: он работал, направлял свою чуткость, как и вообще свой талант, к вполне определенной, сознательно выработанной цели.

Выше, говоря о свойственном Салтыкову радужном сверкании таланта, я называл это сверкание чисто стихийным, самопроизвольным. Но самопроизвольный не значит самодовлеющий. Дозволяя себе художественные дерзости вроде перетасовки утвержденных форм словесности и полного смешения фантазии и действительности, Салтыков знал, что он делает, и в каждой своей строчке мог бы дать отчет и себе и другим. Все свое высокое дарование отдавал он на службу делу света и правды и зорко следил за этой своей стихийной силой, чтобы она как-нибудь не уклонилась от намеченной цели. Ему так легко было бы нарисовать, например (один пример из сотни), картину изувеченного трупа Гришки-портного, плавающего в луже крови, разбитого черепа, разбрызганных мозгов, нечеловеческих стонов. Его творческая сила нашла бы здесь себе работу, удовлетворение. Но эта страшная картина слишком сосредоточила бы на себе внимание читателя, слишком взволновала бы его в ущерб сочувствию к несчастному Гришке и негодованию на загубившие его подлости. И великий писатель обошел эту картину. Ему, может быть, еще легче было бы смешить нас без удержу, смешить до упаду, но великий писатель не пожелал этого: он обуздал свой смех систематической программой. Менее могучий талант едва ли мог бы даже выдержать такое неустанно зоркое самонаблюдение и самообуздание, такой контроль сознания и воли. Салтыков выдержал.

Слава таланту! Конечно, слава. Но вящая слава человеку, работнику, служителю света и правды!

XI

ПАМЯТИ ЩЕДРИНА*

Все на свете стареется, изнашивается и наконец умирает, уступая место новой, молодой жизни. Таков закон естества, неизбежный и неумолимый, как бы ни возмущалось против него наше чувство. Да и не всегда ведь оно возмущается. Смерть не страшна и не печальна, а именно только естественна, когда она составляет условие обновленной жизни, когда умирает то, что успело уже износиться и только давит собою новые ростки жизни. Такой смерти вполне приличествует эпитет «естественная», и с нею сравнительно легко мирится даже личное горе людей, близких к покойнику. Щедрин умер в этом смысле не естественною смертью. Давно больной телом, он не изжил своих духовных сил, не одряхлел ни талантом, ни убеждением, и не только не отнимал своим существованием места у новой жизни, а напротив, лишь о расчищении его и думал.

Тяжело было бывать у Щедрина в последние месяцы его жизни. Больное тело явно шло к концу, а это и само по себе производило удручающее впечатление и, кроме того, отражалось на душевном состоянии больного мрачною мнительностью. Однако страшные физические страдания отравляли только, так сказать, интимную, личную сторону его духовной жизни: ему казалось, что его забыли, что предпринятое им перед самою смертью издание его сочинений не будет иметь успеха, и т. п. и все это преувеличенно волновало и раздражало его. Но в то же время он иногда с почти юношеским увлечением говорил о новых планах литературных работ. Трудно поверить, что такое сильное и вместе художественно-прекрасное произведение, как «Пошехонская старина», написано среди постоянных физических страданий. Но еще труднее представить себе, что, только что окончив «Пошехонскую старину» и уже стоя одной ногой в гробу, Щедрин мечтал о новой большой работе, которая

* Глава эта написана и напечатана в «Русских ведомостях» тотчас после смерти Салтыкова. Я не хотел ее перепечатывать, ввиду ее характера наброска, вызванного первым впечатлением известия о смерти сатирика Но в ней содержатся кое-какие черты, которые мне не удалось потом развить.

должна была называться «Забытые слова». Он предчувствовал, что «Пошехонская старина» будет его лебединою песнью, и с свойственною ему особенною, добродушно-сердитою манерой отталкивал всякие слова утешения и надежды. Но творческая работа этого изумительно одаренного духа не прекращалась, можно сказать, до самой смерти. «Были, знаете, слова, — говорил он мне незадолго до смерти, и кто из знавших Щедрина не припомнит при этом его басистого голоса и добродушно-сердитых глаз, устремленных прямо в глаза собеседника, — были, знаете, слова: ну, совесть, отечество, человечество... другие там еще... А теперь потрудитесь-ка их поискать! Надо же напомнить...» Таково должно было быть содержание «Забытых слов».

Творческая сила Щедрина обнаружилась очень рано. Начал он, собственно, поэзией, стихами и подавал в этом направлении большие надежды. В Александровском лицее, где воспитывался Щедрин, со времен Пушкина чуть не на каждом курсе школа искала преемника великому поэту, и Щедрин был один из этих предполагаемых преемников. Но скоро он выбрал другой литературный путь, с которого никогда не сворачивал, на котором и умер с «Забытыми словами» в мечте. Так называемого «искусства для искусства» Щедрин не допускал; он считал его праздным вздором или вздорным празднословием, хотя сам, будучи великим художником, высоко ценил художественные достоинства и в чужих произведениях. Обрекая свою творческую силу на служение обществу и известным нравственно-политическим идеалам, он понимал эту служебную роль так высоко, что, по народному выражению, шапка свалилась бы с головы тех маленьких жрецов чистого искусства, которые вздумали бы взглянуть на эту высоту. Большому кораблю — большое плавание, а маленькая лодочка и в пруду погуляет. Пусть мелочь тратит то малое, что ей богом отпущено, на воспевание звездочек и цветочков, ландышей и кудрей, пурпурного заката и столь же пурпурного восхода. А Щедрины пусть напоминают нам забытые слова: совесть, честь, отечество, человечество. Всякому свое. И кто знает, какого, может быть, первоклассного художественного произведения недополучили мы с Щедрина в этих «Забытых словах»! Талантом

и убеждением этот человек был так силен, что болезнь и возраст ничем не отражались на его произведениях. Напротив, он только рос и крепнул. Сравните «Губернские очерки», имевшие такое огромное значение в литературе и сами по себе представляющие большую ценность, с «Пошехонской стариной», написанной на склоне дней, и вы увидите, что никакого склона дней в литературном отношении тут нет, а есть, напротив, подъем. Щедрин и прежде бывал сильно болен, так что опасались за его жизнь; бывали и в его литературной деятельности как бы периоды утомления. Но он вдруг стряхивал с себя и хворь и утомление и являлся в неожиданно обновленном виде. Теперь, только что получив известие о смерти Щедрина и наскоро набрасывая эту заметку, я не могу охватить сразу все подробности его долгой и плодовитой литературной деятельности. Напомню только «Господ Головлевых», «За рубежом», «Сказки», «Мелочи жизни». Все эти произведения в разное время развертывали перед изумленными читателями новые стороны таланта Щедрина, который был, кажется, неиссякаем. «Забытые слова» могли бы быть таким же сюрпризом. Нам не пришлось его получить, а он был возможен. Вот почему мысль так трудно мирится с этой смертью: не износился еще человек, не изжил отпущенного на его долю запаса силы, и дай бог иному в юношеских годах начинать свою сознательную жизнь так, как ее кончал в старости Щедрин, с верой в совесть, честь, отечество, человечество, с желанием постоять за эти великие, но — увы! — в самом деле почти забытые слова... И в это-то трудное, смутное, тусклое время забвения одним борцом стало меньше... И каким борцом! Если бы Щедрин даже не написал своих «Забытых слов», а просто бы только жил, существовал, так и то было бы посветлее на Руси. Оставалась бы все-таки возможность ожидания, оставалась бы надежда — пускай тщетная, — что вот-вот «ударит по сердцам с неведомою силой» привычное властное слово. Утешительно было бы даже просто сознание, что еще жив человек, который так высоко нес знамя литературы, что никакие брызги грязи не долетали до него и не запятнали его...

Этих брызгов грязи было много. Знаменоносцем нельзя быть без риска привлечь к себе много злобного внима-

ния. А Щедрин и по натуре был не из тех людей, которые могут всю жизнь прожить припеваючи, не нажив ни одного врага. Для этого в нем было слишком мало и кроткости, и практичности, и желания нравиться. Врагов у него было много, притом подчас вполне бессовестных, не стеснявшихся в выборе оружия. В частной жизни он был безупречен с точки зрения самой придирчивой морали, а с тех пор как я его помню (с 1870 года), он, если можно так выразиться, сообщался с жизнью только через окно литературы. Весь преданный своему делу, поглощенный, кроме чисто литературной работы, еще непомерным обилием невиданного, черного редакторского труда, он жил как монах, чуждый «миру» с его соблазнами. Тем не менее у него были враги и как у писателя, и как у редактора журнала, и, наконец, как у человека.

Однажды в редакции «Отечественных записок» я был свидетелем такой сцены. Элегантно одетая дама просила Щедрина о чем-то, чего он не считал возможным сделать: не то принять доставленную ею рукопись, не то ускорить ее напечатание, не помню. «Будьте любезны, Михаил Евграфович», — просила дама. «Сударыня, — отвечал Михаил Евграфович, — быть любезным совершенно не моя специальность». Это была правда. Любезность отнюдь не составляла его специальности. Он часто был грубоват, резок, раздражителен, несдержан в выражениях. В одном из напечатанных писем Тургенева есть замечание, что, дескать, у Салтыкова и наружность и голос самой природой уж так устроены, чтобы ругаться [30]. Действительно, внешность Щедрина еще усиливала впечатление его грубоватой манеры: резкая перпендикулярная складка между бровей на прекрасном, открытом и высоком лбу, сильно выпуклые, как бы выпяченные глаза, сурово и как-то непреклонно смотревшие прямо в глаза собеседнику, грубый голос, угрюмый вид. Но иногда это суровое лицо все освещалось такою почти детски-добродушною улыбкой, что даже люди мало знавшие Щедрина, но попадавшие под свет этой улыбки, понимали, какая наивная и добрая душа кроется под его угрюмой внешностью. О тех, кто его близко знал, нечего и говорить. Он не мог не поворчать в разговоре с кем бы то ни было, и под конец его жизни эта воркотня была иногда тяжела, но все

знали все-таки, что это только воркотня и что в конце концов она ничем не отзовется на деле и действительных отношениях.

Кроме добродушия, эту ворчливость и грубоватость много скрашивало еще то обстоятельство, что Щедрин проявлял ее совершенно равномерно по отношению ко всем. Это уже потому не был «генеральский» тон, как утверждали некоторые обиженные, что применялся не только к тем, кто так или иначе зависел от Щедрина, а и к тем, от кого он сам зависел. Раз слушатели какого-то высшего заведения пришли просить его участвовать в литературном вечере. Он сурово отвечал: «А вот посидите немножко да подождите, пока я закашляю; тогда и увидите, могу ли я публично читать». Один из министров внутренних дел созвал однажды к себе редакторов газет и журналов для предъявления им своих требований от литературы. Окончив официальную речь, министр обратился к Щедрину с любезною шуткой: «Под каким вы меня соусом подадите теперь публике, Михаил Евграфович?» — «Нам не до соусов, ваше высокопревосходительство, не до соусов, не до соусов», —отвечал сатирик, постепенно возвышая свой бас и угрюмо отходя в сторону[31]. Всегда и со всеми любезность была совершенно не его специальностью. Но это был истинно добрый человек, всегда готовый помочь нуждающемуся словом и делом. Мелких же чувств мстительности, подозрительности, соперничества в нем не было даже самых слабых следов. Понятно, как все это должно было отражаться на его редакторской деятельности.

Меня всегда поражало трудолюбие Щедрина. Он и сам им гордился. Он утверждал даже, что его литературная слава достигнута не талантом, который, дескать, вовсе не велик, а упорным трудом. В одном разговоре о воспитании детей он уверял меня, что более или менее талантливым писателем может стать всякий, — надо только смолоду приучить мальчика правильно и упорно работать; «конечно, если он не идиот и не математик», прибавил он, разумея, кажется, противоположность между определенною специальною способностью и полным отсутствием всяких способностей. И в том и в другом случае, значит, ничего не поделаешь, а в этих пределах все доступно труду. Разумеется, роль труда в своей собственной литературной деятельности Щедрин непомерно

преувеличивал. Его редкое трудолюбие не только не способствовало его славе художника или сатирика, а напротив, отвлекало его силы в сторону журнальной техники. Чтение и исправление рукописей и корректур, всегда отнимающее много времени, у Щедрина отнимало его больше, чем у кого-нибудь. Он вел в «Отечественных записках», кроме общей редакции в качестве ответственного редактора, еще специально беллетристический отдел, и если вообще принимал близко к сердцу интересы журнала, то в свой специальный беллетристический отдел поистине всю душу свою клал. Всякий вновь появлявшийся в журнале беллетрист, первоначально, может быть, несколько обескураженный резкою и суровою манерою редактора, встречал в нем на деле доброжелательнейшего, усерднейшего покровителя и советника, даже расточительно тратившего свой труд и время на чужие произведения. Помню, например, такой случай. Молодой талантливый писатель Котелянский (я могу его назвать, он умер) прислал повесть «Чиншевики». Щедрин решил ее напечатать, но по исправлении и сокращении. И вот что он, между прочим, сделал: вытравил на всем протяжении повести одно из действующих лиц целиком, со всеми его довольно сложными отношениями к другим оставшимся действующим лицам. Котелянский сам говорил мне потом, что он очень благодарен Щедрину за эту операцию, которая скрасила повесть, но удивляется, как он ухитрился это сделать [32]. И действительно, всякий мало-мальски знакомый с редакторским делом поймет, какого труда и внимания стоит подобная операция. Вообще Щедрин был образцовым редактором. Я был несколько лет одним из ближайших его сотрудников по ведению журнала, и хотя дело не всегда обходилось без недоразумений и пререканий, но ни единой капли горечи не осталось в моих воспоминаниях об этом сотрудничестве, и не иначе как с удовольствием и чувством глубокого уважения к Щедрину думаю я о том счастливом времени. Несмотря на свою резкость и раздражительность, Щедрин владел той тайной внутреннего равновесия, которая гарантирует редактора и от беспринципной распущенности, превращающей журнал в простой сборник более или менее интересных или неинтересных статей, и от ненужного мелочного вмешательства в ведение самостоятельных отделов. Единство и

цельность журнала даже в мелких подробностях слагались как будто сами собой. В согласии с основными чертами своего открытого, благородного характера и своей отзывчивости на «житейские волнения» Щедрин ненавидел ложь, в чем бы она ни состояла, и сухой доктринерский формализм. Правдивое и живое отношение к делу — вот главное, чего он лично требовал от сотрудников и без чего мудрено было попасть в «Отечественные записки». При обширном и тонком уме Щедрина, при его чуткости эта формула «правдивого и живого отношения» обнимала очень многое, и не мудрено, что руководимый им журнал постепенно выработал себе такую цельность и определенность физиономии, какая не часто встречается в истории русской журналистики. Конечно, она могла нравиться одним и не нравиться другим...

Собственная писательская физиономия Щедрина тоже нравилась одним и не нравилась другим. Он имел восторженных поклонников, но имел и врагов, злобных, мстительных. Такова участь всякого превышающего средний рост человека, но в положении Щедрина были свои особенности. Его великий талант и его значение как литературного деятеля едва ли не с первых же его литературных шагов стали вне всякого спора и сомнения, а затем обратились в общее место, которое даже повторять странно. Правда, кое-кто из оскорбленных его личною резкостью или его строгою, но и ответственною деятельностью как редактора «Отечественных записок» бессильными, трясущимися от злобы руками замахивался и на его талант. Помню одну забавную статью в «Русском вестнике», в которой серьезнейшим образом доказывалось, что Щедрин (и Некрасов) не может идти, по таланту, ни в какое сравнение с... г. Стахеевым[33]. Помню разные полемические упражнения газетных рецензентов, представляющих собою двойную анатомическую игру природы: отсутствие мозга и сердца при наличности рук, которые могут держать перо, макать его в чернила и потом водить им по бумаге. Этой мелочи Щедрин даже не замечал, как слон той моськи, которая на него лаяла. Были враги покрупнее. Были такие, которые понимали, что прать против рожна глупо, и не только не отрицали таланта Щедрина, но именно в этом таланте видели сугубую опасность для чего-то будто бы

ими охраняемого. Эти очень волновали покойного и многого добились.

Была пущена в ход и усердно эксплуатировалась нелепая клевета, что Щедрин ненавидит и презирает Россию, не верит в нее, желает ей всякого зла и погибели, в доказательство чего указывалось на исключительно мрачные краски его сатирической палитры. Если бы «патриот своего отечества» и «мерзавец своей жизни» не слились у нас в какой-то конгломерат шутовской пошлости и злодейского предательства, если бы слово «патриот» не было так захватано грязными руками, я сказал бы, что Щедрин был великий патриот. Здесь не место, да и слишком много времени потребовалось бы подвергать сколько-нибудь систематическому критическому анализу сочинения Щедрина в их художественном и общественном значении. Я просто пишу беглую заметку, и читатели не вправе требовать от меня многого.

Щедрин, бесспорно, не любил многого в России (а кто любит все в России? не те ли, кто не любит великого русского писателя, ныне лежащего в гробу?). Не любил, между прочим, и даже в особенности, того фальшивого, иногда слащавого, иногда, напротив, злобного течения, которое как бы захватило в свои руки монополию патриотизма. Этому ненавистному для Щедрина течению часто от него доставалось, его мощное слово не раз посрамляло его представителей. Так, одно время представители эти усвоили себе кличку «культурных людей» и очень носились с нею. Тогда Щедрин начал в «Отечественных записках» ряд очерков под заглавием «Культурные люди», но не успел даже их кончить (так они и остались неконченными в журнале и до сих пор не перепечатывались в отдельном издании; в полное собрание сочинений, однако, войдут), не успел даже кончить, как гордую кличку «культурные люди», точно траву косой, скосило. «Культурные люди» устыдились посрамленной Щедриным клички, — до такой степени устыдились, что кличка так навеки и погибла, и, может быть, многие из читателей даже не помнят ее. А знаменитая «торжествующая свинья»?! Но если Щедрин неустанно клеймил лживое течение, самозванно усвоившее себе имя патриотизма, то только слепой или именно урод, лишенный мозга и сердца, мог не видеть той горячей, трогательной и заразительной любви к отечеству и к отечественному

«мальчику без штанов» («За рубежом»), которая сквозила из-под его едкой сатиры.

Возьмем сравнительно безобидную область — область литературы. Раз Щедрин спросил меня, какое из его произведений я считаю наиболее удачным. Я затруднился ответить, как затруднился бы и сейчас выбрать какой-нибудь цветок из этого огромного и роскошного букета. «По-моему, «Похороны» лучше всего, я их вчера пересматривал; право, хорошо», — сказал Щедрин. Я хорошо помнил «Похороны», небольшой и действительно прекрасный рассказ, который, однако, трудно поставить в ряду произведений Щедрина в первую голову. Это рассказ о похоронах бедного, маленького писателя, о постигавших его при жизни невзгодах, о трудностях и радостях его положения. Рассказ проникнут тихою, хотя и улыбающеюся грустью и тем своеобразным лиризмом, который в последний период деятельности Щедрина все чаще и чаще пробивался в его произведениях. Этот-то задушевный тон рассказа и подкупал самого автора. Он глубоко любил русскую литературу и интересовался судьбами самых даже маленьких и невидных ее служителей. Мерзости представителей печати, которых он награждал ударами своего сатирического бича, не мешали ему верить в русскую литературу, именно как в русскую, желать ей расцвета, свободы, почета. Недаром он и в завещании сыну написал трогательные и по праву гордые слова: «Паче всего люби родную литературу и звание литератора предпочитай всякому другому». Не касаясь прочих сторон этого предсмертного пожелания, я спрашиваю: кто же был истинный патриот, кто больше любил свое отечество и больше верил в таящиеся в нем силы, — тот ли, кто завещал своему сыну любить «родную литературу», или те «патриоты своего отечества», которые с пеной у рта требуют для этой родной литературы узды и кнута?

Великая скорбь посетила Россию, еще бóльшая — русскую литературу и нас, русских литераторов. Почтим же память Щедрина не только словами и слезами, а и делом: постараемся сравняться с ним — конечно, не талантом; постараемся работать так, чтобы, подобно ему, иметь перед лицом смерти право гордиться своим званием литератора и завещать эту гордость потомству...

ОБ ОТЦАХ И ДЕТЯХ И О Г. ЧЕХОВЕ

Между Н. В. Шелгуновым (в «Русской мысли») и газетой «Неделя» все еще тянется полемика, на которую я когда-то обратил внимание читателей «Русских ведомостей» [1]. Из мартовской книжки «Русской мысли» я узнал, что, по мнению «Недели», изложенному почтенною газетою в статье «Отцы и дети нашего времени», полемика эта «является только одним из эпизодов в тех бесконечных пререканиях, которые всегда ведут между собою отцы и дети». Дети — это «Неделя»... От «детей» мы привыкли ждать молодости, свежести, силы, даже некоторой бурности, а потому встретить в роли «дити» почтенного редактора «Недели» г. Гайдебурова как будто и неожиданно немножко. Приглядываясь, однако, к «детям», представляемым «Неделей», мы не найдем тут ничего странного или удивительного. В той же мартовской книжке «Русской мысли» приведена следующая выписка из статьи «Недели», громко озаглавленной («Неделя» вообще любит громкие заглавия) «Новое литературное поколение». «Новое поколение (80-х годов) родилось скептиком, и идеалы отцов и дедов оказались над ним бессильными. Оно не чувствует ненависти и презрения к обыденной человеческой жизни, не признает обязанности быть героем, не верит в возможность идеальных людей. Все эти идеалы — сухие, логические произведения индивидуальной мысли, и для нового поколения осталась только действительность, в которой ему суждено жить и которую оно потому и признало. Оно приняло свою судьбу спокойно и безропотно, оно проникло сознанием, что все в жизни вытекает из одного и того же источника — приро-

ды, все являет собою одну и ту же тайну бытия и возвращается к пантеистическому миросозерцанию».

Таковы современные «дети». Не мудрено, что г. Гайдебуров, «родившийся», может быть, и не «скептиком» и фигурирующий в литературе лет тридцать с лишком, находит себе место среди этих старообразных детей. Вообще дело, очевидно, не в возрасте, и это очень удобно. Как только вы увидели человека, для которого «осталась только действительность» и который этим вполне доволен, так и знайте, что это «дитя», «новое поколение». Странные дети, можно сказать небывалые дети, но если они сами себя так называют, так и господь с ними. И я могу с чистою совестью сказать: «О дети, дети, как опасны ваши лета!» Хотя дело и не в возрасте. Нынешние дети или, собственно, те, которые так сами себя называют в «Неделе», не щеголяют обычными свойствами молодости; нет, они старше, солиднее своих отцов и дедов, а потому не стоят перед ними и опасности, обычно грозящие молодости, — опасности страстного увлечения, риска, горячей веры и надежды. Но та самоуверенность, которая в настоящей молодости является лишь естественным показателем избытка силы, не искушенной опытом, в них, в этих современных «детях», чревата иными опасностями. Полагая, что только и света что в окошке, гордо отрезывая себя от идеалов отцов и дедов, даже от всяких идеалов, вполне довольствуясь «действительностью», эти люди обрекают себя на жизнь тусклую из тусклых. Они сознают это и не боятся: им как раз по плечу эта жизнь. Но в прежнее время они в этом не сознались бы публично, потому что ведь в самом деле стыдно, а ныне они заявляют свою тусклость всенародно. Они считают себя солью земли, которой мешает только какая-нибудь горсточка «отцов», оберегающих былые идеалы, а все остальное, дескать, с ними, готово признать их своими выразителями и вождями; они — «новое литературное поколение»... По существу дела, это только смешно. Возражая «Неделе», г. Шелгунов справедливо говорит, что ссылка на тургеневскую формулу «отцов и детей» не имеет в данном случае никакого смысла. Современные «дети», то есть опять-таки те, которые сами себя так называют в «Неделе», открещиваясь от идеалов отцов и дедов, не блистают ни талантами, ни знаниями, ни оригинальностью физиономии, ни даже численностью. Они представ-

ляют собою нечто вроде тусклого туманного пятна, расплывающегося в общем фоне той апатии, бессодержательности, того отсутствия всякого присутствия, которое характеризует теперешнее трудное время вообще. Они только вторят течению реакции против идеалов недавнего прошлого, ничего нового и положительного им не противопоставляя и не обладая двусмысленным мужеством и последовательностью открытых реакционеров. Но трудное время пройдет, потому что это именно только вопрос трудного времени — может быть, и долгого, а может быть, совсем не долгого; волна реакции отхлынет, и я не поздравляю тех раков, которые останутся на мели. Вообще эти «дети» — явление до такой степени мизерное, что, может быть, г. Шелгунов делает даже ошибку, уделяя им столько внимания. Но отметить его все-таки следует и именно в его связи с общим настроением минуты.

«Для нас существует только действительность, в которой нам суждено жить»; «идеалы отцов и дедов над нами бессильны» — эти подлежащие, сказуемые, определения и дополнения можно встретить не в одной «Неделе», а и в таких местах, где отнюдь не гоняются за наименованием «детей». Это то же самое «наше время не время широких задач», которое когда-то громил и осмеивал Щедрин как нечто постыдное [2], а ныне оно расползлось и осложнилось наклонностью к оплеванию многого из того, что еще недавно было общепризнано дорогим. Чем же это дорогое заменяется ныне?

Недавно я прочитал в одной большой газете неоднократное заявление, что «Островский устарел» [3]. Известие это меня очень заинтересовало. Я полагал, что Островский принадлежит к числу писателей, которые не стареют или по крайней мере живут так долго, что об их устарелости можно говорить только в том случае, если на смену им явилось что-нибудь особенно яркое и крупное. Должно быть, подумал я, наша драматическая литература сделала гигантские шаги после Островского, и надо мне с этой литературой познакомиться. Но это оказалось делом не легким. Драмы Островского, равно как и некоторых других «отцов», как например, Писемского, Потехина, печатались в свое время в журналах. Ныне этого нет совсем, и когда я, наконец, достал несколько литографированных драматических произведений, имевших наибольший успех в прошлый театральный сезон, я понял,

почему они литографированы, а не напечатаны в журналах! Как ни далеко отошли наши теперешние журналы от недавних преданий, но это все-таки литература, а те драматические произведения, которые я прочитал, не имеют ничего общего с литературой. Это истинно «детские» произведения и по форме и по содержанию. Время, породившее эти малости, любующееся на них (повторяю, я читал пьесы, имевшие наибольший успех, то есть чаще всего дававшиеся), может считать себя несчастным временем. И к этому, как ко всякому сознанному несчастию, можно, даже должно, отнестись с сочувствием. Как в самом деле не пожалеть этих бедных актеров, обреченных изображать не живых людей, а каких-то говорящих кукол и произносить речи либо совершенно бессмысленные, либо наполненные азбучною моралью; как не пожалеть и зрителей и самих авторов, выступающих с детскими вещами? Но если при этом говорят, что «Островский устарел», так уж это не сожаления, а смеха достойно.

Я хотел было предложить вам пересмотреть вместе со мной те пять-шесть новейших драматических произведений, с которыми я познакомился, но откладываю это до другого раза. Факт отсутствия драматической литературы во всяком случае налицо, и никто, я полагаю, с этим спорить не станет. А если бы «Неделя» или кто другой, довольный ходом дел вообще и «новым литературным поколением» в частности, и пожелал спорить, то я спросил бы: отчего же вы не печатаете этих прекрасных драм и комедий? Откладывая на неопределенное время беседу о новейшей драматической quasi-литературе, я лишаю себя большого развлечения, потому что тут есть над чем посмеяться, хотя есть и погоревать об чем. Но с этим торопиться нечего, ввиду непререкаемости факта исчезновения драматической литературы. Ну, и пусть радуются этому факту те, для кого «осталась только действительность, в которой им суждено жить и которую они потому и признали».

Любопытнее, может быть, было бы пересмотреть критиков, публицистов, поэтов «действительности». Но я пока и от этого уклонюсь. Передо мной лежит маленькая книжка, имеющая близкое отношение к нашей теме, и на ней-то я и сосредоточусь на этот раз. Книжка эта — новый, только что вышедший сборник рассказов г. Чехова под заглавием «Хмурые люди».

Признаться сказать, я начал читать книжку с конца, заинтересовавшись оригинальным заглавием последнего рассказа — «Шампанское», потом прочитал в беспорядке остальное, намеренно откладывая под конец самый большой рассказ — «Скучная история»; откладывал потому, что боялся того неприятного впечатления, которое рассчитывал получить от этого рассказа, а почему рассчитывал получить неприятность, сейчас скажу. В рассказе «Шампанское» я остановился на следующих хорошеньких строчках: «Два облачка уже отошли от луны и стояли поодаль с таким видом, как будто шептались об чем-то таком, чего не должна знать луна. Легкий ветерок пробежал по степи, неся глухой шум ушедшего поезда». В рассказе «Почта» опять хорошенькие строки в том же вкусе: «Колокольчик что-то прозвякал бубенчикам, бубенчики ласково ответили ему. Тарантас взвизгнул, тронулся, колокольчик заплакал, бубенчики засмеялись». Или вот еще, в рассказе «Холодная кровь»: «Старик встает и вместе со своей длинной тенью осторожно спускается из вагона в потемки». Как это в самом деле мило, и таких милых штришков много разбросано в книжке, как, впрочем, и всегда в рассказах г. Чехова. Все у него живет: облака тайком от луны шепчутся, колокольчики плачут, бубенчики смеются, тень вместе с человеком из вагона выходит. Это своего рода, пожалуй, пантеистическая черта очень способствует красоте рассказа и свидетельствует о поэтическом настроении автора. Но, странное дело, несмотря на готовность автора оживить всю природу, все неживое и одухотворить все неодушевленное, от книжки его жизнью все-таки не веет. И это отнюдь не потому, что он взялся изобразить «Хмурых людей». Заглавие это совсем не соответствует содержанию сборника и выбрано совершенно произвольно. Есть в сборнике и действительно хмурые люди, но есть такие, которых этот эпитет вовсе не характеризует. В каком смысле может быть назван хмурым человеком, например, купец Авдеев («Беда»), который выпивает, закусывает икрой и попадает в тюрьму, а потом в Сибирь за то, что подписывал, не читая, какие-то банковые отчеты? Нет, не в хмурых людях тут дело, а может быть, именно в том, что г. Чехову все едино — что человек, что его тень, что колокольчик, что самоубийца.

Г. Чехов пока единственный действительно талантли-

вый беллетрист из того литературного поколения, которое может сказать о себе, что для него «существует только действительность, в которой ему суждено жить» и что «идеалы отцов и дедов над ними бессильны». И я не знаю зрелища печальнее, чем этот даром пропадающий талант. Бог с ними, с этими старообразными «детьми», упражняющимися в критике и публицистике: их бездарность равняется их душевной черствости, и едва ли что-нибудь яркое вышло бы из них и при лучших условиях. Но г. Чехов талантлив. Он мог бы и светить и греть, если бы не та несчастная «действительность, в которой суждено жить». Возьмите любого из талантливых «отцов» и «дедов», то есть писателей, сложившихся в умственной атмосфере сороковых или шестидесятых годов. Начните с вершин, вроде Салтыкова, Островского, Достоевского, Тургенева, и кончите — ну хоть г. Лейкиным, тридцатилетний юбилей которого празднуется на днях. Какие это все определенные, законченные физиономии и как определенны их взаимные отношения с читателем! Я помянул г. Лейкина, талант которого отнюдь не из крупных и который вдобавок потратил свое дарование на 7 000 (так пишут в газетах) пустяковых рассказов. Однако и он имеет свой определенный круг читателей, которых смешит или трогает. Немножко надоедливы все эти «разделюции» (вместо «резолюции»), «насыпь еще лампадочку» (вместо «налей еще рюмку»), «к подножию ног твоих» и т. п. Но есть среда, где все это нужно, где г. Лейкин всегда равно желанный и дорогой гость. Тем паче надо это сказать о вершинах. «Писатель пописывает, а читатель почитывает», — эта горькая фраза Салтыкова [4] вовсе не справедлива по отношению к нему и его сверстникам. Их произведения читатель не только почитывал, — он спорил об них, умилялся или негодовал, ловил мысль, горел чувством — словом, жил ими. Между писателями и читателями была постоянная связь, может быть не столь прочная, как было бы желательно, но несомненная, живая. Повторяю, такая связь существует даже для г. Лейкина, а для неизмеримо более талантливого и серьезного г. Чехова ее нет. Он действительно пописывает, а читатель его почитывает. Г. Чехов и сам не живет в своих произведениях, а так себе, гуляет мимо жизни и, гуляючи, ухватит то одно, то другое. Почему именно это, а не то? почему то, а не другое?

Выбор тем г. Чехова поражает своею случайностью. Везут по железной дороге быков в столицу на убой. Г. Чехов заинтересовывается этим и пишет рассказ под названием «Холодная кровь», хотя даже понять трудно, при чем тут «холодная кровь». Фигурирует, правда, в рассказе один очень хладнокровный человек (сын грузоотправителя), но он вовсе не составляет центра рассказа, да и вообще в нем никакого центра нет, просто не за что ухватиться. Почту везут, по дороге тарантас встряхивает, почтальон вываливается и сердится. Это — рассказ «Почта». Зачем он мне? Не мне лично, конечно. Мне и «подножие ног» г. Лейкина не нужно, но где-нибудь в трактире или в бакалейной лавке это «подножие ног» произведет свой эффект; а от «Почты» никому, решительно никому ни тепла, ни радости, хотя именно в этом рассказе бубенчики так мило пересмеиваются с колокольчиками. И рядом вдруг «Спать хочется» — рассказ о том, как тринадцатилетняя девчонка Варька, состоящая в няньках у сапожника и не имеющая ни минуты покоя, убивает порученного ей грудного ребенка потому, что именно он мешает ей спать. И рассказывается это тем же тоном, с теми же милыми колокольчиками и бубенчиками, с тою же «холодною кровью», как и про быков или про почту, которая выехала с одной станции и приехала на другую...

Нет, не «хмурых людей» надо бы поставить в заглавие всего этого сборника, а вот разве «холодную кровь»: г. Чехов с холодною кровью пописывает, а читатель с холодною кровью почитывает.

Так думал я, пока, наконец, не дошел до «Скучной истории». Этой сравнительно довольно большой вещи я боялся. Дело в том, что к маленьким рассказцам г. Чехова, занимающим один газетный фельетон или пять-шесть страничек маленького формата в книжке, мы уже привыкли, и этот странный переплет хорошеньких колокольчиков с убийцами и людей с быками не особенно утомляет, когда он разбит на маленькие, оборванные клочки. А в «Степи», первой большой вещи г. Чехова, самая талантливость этого переплета является уже источником неприятного утомления: идешь по этой степи, и кажется, конца ей нет... В «Иванове», комедии, не имевшей, к счастью, успеха и на сцене, г. Чехов явился пропагандистом двух вышеприведенных «детских» тезисов: «идеалы отцов и дедов над нами бессильны»; «для нас существу-

ет только действительность, в которой нам суждено жить и которую мы потому и признали». Эта проповедь была уже даже и не талантлива, да и как может быть талантлива идеализация отсутствия идеалов? Не везет г. Чехову на большие вещи. Может быть, и «Скучная история» есть действительно скучный набор случайных впечатлений или же опять что-нибудь вроде «Иванова», опять пропаганда тусклого, серого, умеренного и аккуратного жития...

Я ошибся самым приятным образом. «Скучная история» есть лучшее и значительнейшее из всего, что до сих пор написал г. Чехов. Ничего общего с распущенностью и случайностью впечатлений в «Степи»; ничего общего с идеализацией серой жизни в «Иванове». И даже совсем напротив.

«Скучная история» имеет подзаглавие: «Из записок старого человека». Этот старый человек, Николай Степанович «такой-то», есть знаменитый профессор, ученый, умный, талантливый, честный. Таким он сам себя рекомендует и, судя по сообщаемым им фактам, говорит правду. Жизнь его, вообще говоря, сложилась недурно, но к шестидесяти двум годам подобрались разные облачка: некоторая денежная запутанность, кое-какие семейные дрязги, хворость, главное — хворость. Николай Степанович, как профессор по медицинской части, понимает, что смерть не за горами и что было бы с его стороны добросовестно уступить кафедру человеку более молодому и свежему, но этого он сделать не в силах. «Пусть судит меня бог, — он говорит, — у меня не хватает мужества поступить по совести»: он слишком привык к своему профессорскому делу, слишком любит его. «Как 20—30 лет назад, так и теперь, перед смертью, меня интересует одна только наука. Испуская последний вздох, я все-таки буду верить, что наука — самое важное, самое прекрасное и самое нужное в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви и что только ею одною человек победит природу и себя». Это не мешает, однако, Николаю Степановичу иметь и высказывать свои мнения о литературе, о театре, о разных житейских делах: мнения не бог знает какой оригинальности и премудрости, но с преданного своему делу ученого-специалиста нельзя в этом отношении многого и спрашивать. И вот этого «прекрасного, редкого человека», как его аттестует другой, несомненно тоже хороший человек, начи-

нают посещать странные мысли. Ему кажется, что «все гадко, не для чего жить, а те 62 года, которые уже прожиты, следует считать пропащими». С особенною силою эти мрачные мысли возникают в Николае Степановиче при следующих обстоятельствах. Понадобилось ему ехать в Харьков, чтобы собрать сведения о предполагаемом женихе его дочери. Поездка эта не особенно хорошо мотивирована. Предполагаемый жених, которого, мимоходом сказать, Николай Степанович терпеть не может, еще не делал предложения; в Харькове у Николая Степановича есть знакомые, вообще решительно не видно, почему шестидесятидвухлетний знаменитый профессор должен сам ехать для собирания сведений о женихе. Но это все равно. Приехал больной, слабый старик в Харьков и, натурально, загрустил. А тут еще телеграмма: дочь тайно обвенчалась (опять-таки неизвестно, почему тайно), и надо ехать назад. Тяжелая, бессонная ночь... Николай Степанович сидит в постели, обняв руками колена, и думает... между прочим, так: «Чего я хочу? Я хочу, чтобы наши жены, дети, друзья, ученики любили в нас не имя, не фирму и не ярлык, а обыкновенных людей. Еще что? Я хотел бы иметь помощников и наследников... Еще что? Хотелось бы проснуться лет через сто и хоть одним глазом взглянуть, что будет с наукой... Хотел бы пожить еще лет десять... Дальше что? А дальше ничего. Я думаю, долго думаю и ничего не могу еще придумать. И сколько бы я ни думал и куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что в моих желаниях нет чего-то главного, чего-то очень важного. В моем пристрастии к науке, в моем желании жить, в этом сиденье на чужой кровати и стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связывало бы все это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех картинах, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей или богом живого человека. А коли нет этого, то, значит, нет и ничего...»

Душевный мрак все сгущается, как вдруг в комнату Николая Степановича совершенно неожиданно является некая Катя. Это — его воспитанница, дочь его умершего друга, молодая женщина, хорошая, умная, живая, но

претерпевшая много бед и в конце концов одинокая. Наскоро поздоровавшись со своим воспитателем, она, задыхаясь и дрожа всем телом, умоляет старика помочь ей советом, научить ее, как ей жить, что делать.

«— Помогите! — рыдает она, хватая меня за руку и целуя ее. — Ведь вы мой отец, мой единственный друг! Ведь вы умны, образованны, долго жили! Вы были учителем! Говорите же, что мне делать?

— По совести, Катя, не знаю...

Я растерялся, сконфужен, тронут рыданиями и едва стою на ногах.

— Давай, Катя, завтракать, — говорю я, натянуто улыбаясь. — Будет плакать».

И больше ничего бедная Катя и не добивается от знаменитого профессора, которого она не без основания считает «прекрасным, редким человеком». Он даже не дает ей высказаться, выложить свое горе и уже тем самым облегчить его. Он только растерянно и беспомощно повторяет: «давай завтракать!» да «будет плакать!». Обескураженная Катя уходит. Николай Степанович рассказывает: «Лицо, грудь и перчатки у нее мокрые от слез, но выражение лица уже сухо, сурово. Я гляжу на нее, и мне стыдно, что я счастливее ее. Отсутствие того, что товарищи-философы называют общею идеею, я заметил в себе только незадолго перед смертью, на закате своих дней, а ведь душа этой бедняжки не знала и не будет знать приюта всю жизнь, всю жизнь!»

Да, это трагедия! И, надо отдать справедливость автору, хорошо поставленная трагедия. Но надо присмотреться к ней несколько ближе.

Николаю Степановичу шестьдесят два года, он припоминает в числе своих друзей Пирогова, Кавелина, Некрасова. Это, конечно, вполне возможно, но едва ли типично. Мало ли есть несомненных житейских возможностей, которые, однако, слишком индивидуальны, слишком случайны, чтобы правомерно сделаться объектом художественного воспроизведения во всех своих конкретных подробностях. Без всякого сомнения, у Пирогова, Кавелина, Некрасова мог быть современник и друг, который при многих отличных качествах ума и сердца всю жизнь прожил без того, «что называется общей идеей или богом живого человека». Всяко бывает. Но если читатель припоминает автобиографию Пирогова, литературную деятель-

ность Кавелина, литературную деятельность Некрасова, биографии других знаменитых русских людей, воспитавшихся около того же времени, например Белинского, Герцена, и т. д., то согласится, я думаю, что отсутствие «общей идеи» отнюдь для этого времени не характерно. Люди всегда люди. Они и в те времена падали, уклонялись от своего бога, становились в практическое противоречие с самими собой, но они всегда по крайней мере искали «общей идеи», и никоим образом нельзя сказать о них, как говорит о себе Николай Степанович, что они только перед смертью опомнились. Пусть их общие идеи, эти ныне по-детски отвергаемые идеалы отцов и дедов, были на тот или другой взгляд ложны, неосновательны, недостаточно выработаны, все что хотите, но они были или же составляли предмет жадных поисков. Для людей, воспитавшихся в той умственной и нравственной атмосфере, какую г. Чехов усвоивает Николаю Степановичу, нет даже ничего характернее этой погони за общими идеалами, которые связывали бы все концы с концами в нечто цельное и непрерывное. Мне кажется поэтому, что, обсуждая фигуру Николая Степановича и его печальный конец, можно совершенно отрешиться от показаний автора насчет его возраста и дружеских связей, — дело не в них совсем; не в силу условий своей молодости так тускло и жалобно доживает свои последние дни Николай Степанович, а напротив того — вопреки им. Очевидно, перед г. Чеховым рисовался какой-то психологический тип, который он чисто случайно и в этом смысле художественно незаконно обременил шестьюдесятью двумя годами и дружбой с Пироговым, Кавелиным, Некрасовым. Может быть, случайность эта объясняется просто тем, что автору нужно было именно предсмертное просветление, и этою надобностью обусловился выбор старика, а так как этот старик должен быть, по замыслу, хорошим и выдающимся человеком, то для сгущения красок автор наградил его дружбой с хорошими тоже и выдающимися людьми.

Затем г. Чехов сделал из Николая Степановича специалиста по какой-то отрасли медицинских наук, всецело преданного своей профессии. Беллетристы — могущественные люди. Они красят своих героев в любую краску, отдают их куда заблагорассудится на службу, на ком хотят женят, с кем хотят разженивают. Это их право, и

ничего с ними не поделаешь. Но и читатель тоже вправе оскорбляться в эстетическом чувстве теми явными несообразностями, которые иногда господа беллетристы проделывают над своими безответными художественными детищами. Г. Чехов большим несообразностям не подвергает своего Николая Степановича, хотя, например, выше отмеченная отправка этого почтенного ученого в Харьков за справками — немножко оскорбительна и совершенно ненужна. Но, я думаю, всякий внимательно прочитавший прекрасную сцену объяснения Кати с Николаем Степановичем должен остановиться над вопросом: почему Николай Степанович медик и заслуженный профессор? Пожалуй, если хотите, вполне естественно, что именно старый профессор медицины, в течение многих лет с головой погруженный в свою специальность, не умеет откликнуться на вопрос молодой женщины: как жить? что делать? Вот если бы к нему обратились за врачебным советом, за темой для диссертации на степень доктора медицины, за указанием литературы того или другого специально медицинского вопроса и т. п., он дал бы вполне удовлетворительные ответы, а тут с него и спрашивать нечего. Это так, конечно. Но сцена объяснения Кати с Николаем Степановичем слишком хороша, слишком жизненна и, очевидно, слишком глубоко задумана, чтобы к ней могло быть приложено такое плоское объяснение. Дряхлый ученый-специалист не умеет ответить на вопрос молодой жизни, — стоит ли из-за этого огород городить? Стоит ли из-за такого финала довольно большой рассказ писать? Нет, и медицинская специальность Николая Степановича и его дряхлость здесь опять-таки совершенно случайные черты, затемняющие суть дела. А суть дела в том, что у Николая Степановича нет того, «что называется общей идеей или богом живого человека». Сцена с Катей превосходно подчеркивает этот коренной изъян Николая Степановича, составляющий центральное место всего рассказа. Снимите с плеч Николая Степановича тридцать лет, переделайте его из заслуженного профессора медицины в кого угодно, ну хоть в беллетриста, но оставьте его при его коренном душевном изъяне, и он точно так же растерянно и беспомощно ответит на вопль Кати: «Давай завтракать! будет плакать!» Он бы и рад сказать другое, да слов нет и неоткуда им взяться. И в этом трагедия. Только совлекая с нее те чисто внешние

случайности, которыми ее обставил г. Чехов, мы поймем ее жизненное значение, а затем оставшемуся от такой операции разоблачения психологическому мотиву надо найти соответственную конкретную житейскую обстановку.

Припомните, что говорит Николай Степанович: «Во всех картинах, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общею идеей или богом живого человека». Это могут сказать о себе многие современные писатели, и в том числе г. Чехов. Его воображение рисует ему быков, отправляемых по железной дороге, потом тринадцатилетнюю девочку, убивающую грудного ребенка, потом почту, переезжающую с одной станции на другую, потом купца, пьющего, закусывающего и неизвестно что подписывающего, потом самоубийцу-гимназиста и т. д. И во всем этом действительно даже самый искусный аналитик не найдет общей идеи. Ни общей идеи, ни чутко настороженного в какую-нибудь определенную сторону интереса. При всей своей талантливости г. Чехов не писатель, самостоятельно разбирающийся в своем материале и сортирующий его с точки зрения какой-нибудь общей идеи, а какой-то почти механический аппарат. Кругом него «действительность, в которой ему суждено жить и которую он поэтому признал» всю целиком с быками и самоубийцами, колокольчиками и бубенчиками. Что попадется на глаза, то он и изобразит с одинаково «холодною кровью». Г. Чехов не один в таком положении. Таковы уж общие условия, в которых находится ныне литература, и не одна литература: такова «действительность», которую как факт и приходится признать. Но от признания факта как факта еще далеко до его оправдания и восхваления. Факт печальный так и должен называться печальным, иначе разуму человеческому и человеческому чувству нечего делать на белом свете, да и вовсе он не белый в таком случае. А между тем находятся люди, плавающие в этой мутной действительности как рыба в воде — весело, легко, самоуверенно. «Они приняли свою судьбу безропотно и спокойно, они прониклись сознанием, что все в жизни вытекает из одного источника — природы, все являет собою одну и ту же тайну бытия», — быки и убийцы, колокольчики и самоубийцы...

Этим так и бог велел, ибо все равно не летать курам под облака. Но г. Чехов талантлив. Талант может ша-

лить забавными водевилями вроде «Медведь» и «Предложение»; может размениваться на «Почту» и «Шампанское»; может, сбитый с толку, изменить самому себе, своей стихийной силе таланта, попробовав в «Иванове» идеализировать отсутствие идеалов; может, наконец, с течением времени совсем погрязнуть; но, пока этот печальный конец не пришел, талант должен время от времени с ужасом ощущать тоску и тусклость «действительности»; должен ущемляться тоской по тому, «что называется общей идеей или богом живого человека». Порождение такой тоски и есть «Скучная история». Оттого-то так хорош и жизненен этот рассказ, что в него вложена авторская боль. Я не знаю, конечно, надолго ли посетило это настроение г. Чехова, и не вернется ли он в непродолжительном времени опять к «холодной крови» и распущенности картин, «в которых даже самый искусный аналитик не найдет общей идеи». Теперь он во всяком случае сознает и чувствует, что «коли нет этого, то, значит, нет и ничего». И пусть бы подольше жило в нем это сознание, не уступая наплыву мутных волн действительности. Если он решительно не может признать своими общие идеи отцов и дедов, — о чем, однако, следовало бы подумать, — и также не может выработать свою собственную общую идею, — над чем поработать все-таки стоит, — то пусть он будет хоть поэтом тоски по общей идее и мучительного сознания ее необходимости. И в этом случае он проживет не даром и оставит свой след в литературе. А то что хорошего: читатель, подобно Кате, ждет отклик на свои боли, а ему говорят: «Пойдем завтракать!» Или даже еще того хуже; вон быков везут, вон почта едет, колокольчики с бубенчиками пересмеиваются, вон человека задушили, вон шампанское пьют.

О Г. МАКСИМЕ ГОРЬКОМ И ЕГО ГЕРОЯХ

Года три тому назад в разных журналах стали появляться рассказы, подписанные новым в литературе именем: Максим Горький. Они читались с интересом, от них веяло чем-то свежим, но, частию потому, что многие из них печатались в мало распространенных изданиях, частию вследствие разбросанности их вообще, трудно было составить себе определенное представление о литературной физиономии новоявленного писателя. Могло даже возникать сомнение — обладает ли еще он какою-нибудь определенною физиономией, и не есть ли он одно из тех мимолетных явлений, каких много в современной литературе: появится новый автор с повестью или рассказом, представляющими известный интерес в смысле оригинальности замысла или художественности исполнения, как будто обещающими что-то и в будущем, но затем очень скоро оказывается, что у автора только и хватило пороху на один, на два рассказа. Всегда, разумеется, были в литературе подобные мимолетные явления, но ныне что-то особенно много стало случайных гостей; побеседовали они с вами раз, другой, и, пожалуй, вы заинтересовались их беседой и недурно с ними время провели, но затем они выбывают из круга ваших знакомых, да так, что точно их и на свете никогда не было, и помянуть их нечем. Иные, правда, еще пытаются удержаться и не без гордости говорят, подобно Ипполиту Островского: «Коль скоро я пришел...» Но читатель с грустью припоминает реплику Ахова: «Коль скоро ты пришел, столь скоро ты и уйдешь...»[1] Это одно из проявлений современного лите-

ратурного, скажу больше, современного житейского оскудения вообще. Оскудению этому есть вполне уловимые причины, говорить о которых теперь трудно. Об них расскажет в свое время история. Но каковы бы ни были причины, а печальный факт остается фактом, и не удивительно, если люди, любовно следящие за русской литературой, встречают заинтересовавшего их нового автора с некоторым скептицизмом: можно ли рассчитывать на сколько-нибудь продолжительное общение с ним? есть ли у него за душой что-нибудь прочное, не изнашивающееся в два-три приема?

Скептицизм этот был естествен и относительно г. Максима Горького. Не скажу, чтобы он был устранен и теперь, когда рассказы г. Горького, частью погребенные в таких литературных могилах, как «Северный вестник» [2], да и вообще раскиданные, собраны и изданы отдельно. Но во всяком случае два томика его рассказов представляют собою нечто вполне определенное, притом такое, что может доставить и художественное наслаждение и пищу для размышления, что можно не только с удовольствием читать, но и перечитывать, и что помянется историей литературы, хотя бы г. Максим Горький уже ничего более не написал.

Г. Горький разрабатывает если не совсем новый, то очень мало известный рудник, — мир босяков, босой команды, золоторотцев. В отличие от своих предшественников, которых, впрочем, было всего один-два, да и обчелся и которые занимались этим своеобразным миром мимоходом и между прочим, он отдает ему все свое внимание и весь свой недюжинный талант. Мир — действительно в высокой степени заслуживающий внимания, как по своей благодарной для художника живописной яркости, так и по своему общественному значению. Это — чандалы европейской цивилизации. Индийские чандалы живут вне кастового строя и состоят частью из плодов строго воспрещенных mesalliance'ов * между представителями трех высших каст, частью из потомков судр, за преступления или по каким-нибудь другим причинам выбывших из своей касты, частью, наконец, из покоренных неарийских туземных элементов. Наши чандалы — то, что в Западной Европе называется Lumpenproletariat,

---

* неравных браков *(франц.)*.— *Ред.*

а у нас босяки, золоторотцы, — будучи такими же отверженными из отверженных, такими же отбросами различных общественных слоев, имеют, однако, совершенно иное происхождение. Не говоря уже о Западной Европе, и у нас в России не только нет кастового строя, но и сословные перегородки постепенно сглаживаются и теряют свое значение. Сын дворянина и мещанки или крестьянина и дворянки может, конечно, попасть в ряды босяков, но не по рождению, а по такому же стечению обстоятельств, какое и чистокровного дворянина, как и чистокровного мужика, может ввести в эти ряды. Лишение прав состояния за преступление тоже не обязательно ввергает людей в «золотые роты». Наконец, и о какой-нибудь национальной особенности босяков не может быть речи. И тем не менее они, подобно индийским чандалам, стоят вне общественного строя, и даже наиболее демократические европейские партии презрительно сторонятся от Lumpenproletariat'a. Они имеют на то свои резоны. Босяки от всех берегов отстали, но ни к которому не пристали, ни в какие регулярные кадры не устанавливаются, никакой партийной или классовой дисциплине не поддаются. Правда, г. Горький готов видеть в них особый класс. Это, говорит он, люди, «которых давно пора считать за класс и которые вполне достойны внимания, как сильно алчущие и жаждущие, очень злые и далеко не глупые» (II, 26). Что босяки вполне достойны внимания, это несомненно, и г. Горький, показавший нам их в целом ряде картин и образов, может по праву гордиться тем делом, которое он делает. Но не потому, однако, достойны внимания босяки, что они «сильно алчут и жаждут, очень злы и далеко не глупы». Это признаки слишком общие, а вместе с тем и слишком индивидуальные. Как и à priori можно было бы сказать, как и из рассказов г. Горького видно, есть между босяками и совсем не «очень злые», а даже очень добрые, есть, конечно, и глупые; всякие есть. Достойны они внимания как общественное явление, притом все растущее. Но чтобы босяки составляли или могли составить «класс», — в этом позволительно сомневаться, хотя бы на основании показаний самого г. Горького, с которыми мы сейчас познакомимся.

Остановимся на одном из лучших рассказов г. Максима Горького, озаглавленном по прозвищу героя «Чел-

каш». Кстати же он стоит первым в первом томе. Рассказ этот был напечатан в «Русском богатстве», но я считаю нужным напомнить читателям некоторые его подробности, быть может позабытые, тем более что в общей связи с другими рассказами г. Горького «Челкаш» получает особенное значение.

Дело происходит в большом приморском южном городе вроде Одессы или Севастополя. Рассказ открывается описанием места действия. Г. Горький любит подобные описания и большой мастер на них. Особенно ему удаются марины и степные пейзажи, между которыми есть истинно превосходные. Но описание, которым начинается «Челкаш», не принадлежа к числу лучших, имеет зато некоторое принципиальное значение, давая отправную точку для суждения о многом из того, что занимает г. Горького; и может быть, не случайно описание это попало на первые же страницы первого тома. Я приведу его целиком:

«Потемневшее от поднятой в гавани пыли голубое южное небо мутно; жаркое солнце тускло смотрит в зеленоватое море, точно сквозь тонкую серую вуаль. Оно не может отразиться в воде, то и дело рассекаемой ударами весел, пароходных винтов, глубокими, острыми килями турецких фелюг и других парусных судов, бороздящих по всем направлениям тесную гавань, в которой закованные в гранит свободные волны моря, подавленные громадными тяжестями, скользящими по их хребтам, бьются о борта судов, о берега, бьются и ропщут, вспененные ударами, загрязненные разным хламом.

Звон якорных цепей, грохот сцеплений у вагонов, подвозящих груз, металлический вопль железных листов, откуда-то падающих на камень мостовой, глухой стук дерева, дребезжание извозчичьих телег, свистки пароходов, то пронзительно резкие, то глухо ревущие, крики грузчиков, матросов и таможенных надсмотрщиков — все эти звуки сливаются в оглушительную симфонию трудового дня и, нерешительно колыхаясь, стоят в небе над гаванью, как бы боясь всплыть выше и исчезнуть в нем; а к ним вздымаются с земли все новые и новые волны: то глухие, рокочущие и сурово сотрясающие все кругом, то резкие, гремящие, разрывающие уши и пыльный знойный воздух.

Гранит, железо, мостовая гавани, суда и люди — все

дышит мощными звуками бешено страстного гимна Меркурию. Но голоса людей, еле слышные в нем, слабы и смешны. И сами люди, первоначально родившие этот шум, смешны и жалки: их фигурки, пыльные, рваные, юркие, согнутые под тяжестью товаров, лежащих на их спинах, под тяжестью заботы, толкающей их то туда, то сюда, в тучах пыли, в море зноя и звуков, так ничтожны и малы по сравнению с окружающими их железными колоссами, грудами товаров, гремящими вагонами и всем, что они создали. Созданное ими поработило и обезличило их.

Стоя под парами, тяжелые гиганты пароходы то свистели, то шипели, то как-то глубоко вздыхали, и в каждом рожденном ими звуке чудилась насмешливая нота иронического презрения к серым, пыльным фигуркам людей, ползавших по их палубам и наполнявших их глубокие трюмы продуктами своего рабского труда. До слез смешны были длинные вереницы грузчиков, таскавших на себе тысячи пудов хлеба и ссыпавших его в железные животы судов для того, чтобы заработать несколько фунтов того же хлеба для своего желудка, к несчастью людей, не железного и чувствующего боли голода. Рваные, потные, отупевшие от усталости, шума и зноя люди и могучие, блестевшие на солнце дородством и безмятежностью машины, созданные этими людьми; машины, которые в конце концов приводились в движение все-таки не паром, а мускулами и кровью своих творцов... в этом сопоставлении была целая поэма жестокой и холодной иронии.

Шум подавлял, пыль, раздражая ноздри, слепила глаза, зной пек тело и изнурял его, и все кругом — здания, люди, мостовая — казалось напряженным, назревшим, готовым прорваться, теряющим терпение, готовым разразиться какой-то грандиозной катастрофой, взрывом, за которым в освеженном им воздухе будет дышаться свободно и легко, на земле воцарится тишина, а этот пыльный шум, оглушительный, раздражающий нервы, доводящий до тоскливого бешенства, исчезнет, и в городе, на море, в небе станет тихо, ясно, славно... Но это только казалось. Это казалось потому, что человек еще не устал надеяться на лучшее, и желание чувствовать себя свободным не умерло в нем».

Из этой цитаты видно, что г. Горький не принадле-

жит к числу тех оптимистов, которых радует промышленный прогресс как таковой. В нарисованной им грандиозной и мрачной картине есть только один светлый луч, да и то скорее намек на луч: «человек еще не устал надеяться на лучшее, и желание чувствовать себя свободным не умерло в нем». Это-то желание и это чувство г. Горький и улавливает в своих босяках. Но не только к промышленному прогрессу, а — в связи ли с ним, или независимо от него — и к другим сторонам цивилизации наш автор относится весьма скептически. В рассказе «В степи», между прочим, читаем: «Я хочу быть только правдивым, и не в моих интересах быть грубым. Я знаю, что люди становятся все мягче душой в наши высококультурные дни, и даже когда берут за глотку своего ближнего с явною целью удушить его, так стараются сделать это с возможною любезностью и с соблюдением всех приличий, уместных в этом случае. Опыт собственной моей глотки заставляет меня отметить этот прогресс нравов, и я с приятным чувством уверенности подтверждаю, что все развивается и совершенствуется на этом свете. В частности, этот замечательный процесс веско подтверждается ежегодным ростом тюрем, кабаков и домов терпимости» (II, 327—328). И г. Горький держит своих героев неизменно поблизости от тюрем, кабаков и домов терпимости.

Таковы два устоя босяцкой жизни, как нам ее рисует г. Максим Горький: свободолюбие, с одной стороны, кабаки, тюрьмы, дома терпимости, вообще «порочность» — с другой.

Гришка Челкаш — «старый травленый волк, хорошо знакомый гаваньскому люду, как заядлый пьяница и ловкий смелый вор» (I, 3). Но просто пьяница и вор не удостоился бы внимания г. Горького, — мало ли их! Пьяница и вор может вызывать к себе презрение, в лучшем случае сожаление и другие подобные сочетания презрительно снисходительных и брезгливых чувств. Челкаш не таков. «Пьяница и вор» — это только одна сторона его души и жизни. Есть в нем еще многое другое, что не только не унижает его, а даже создает ему некоторый поэтический ореол и высоко поднимает его над уровнем не только обыкновенных пьяниц и воров, но и многих честных и трезвых людей. Так, «он, вор и циник, любил море; его кипучая, нервная натура, жадная

на впечатления, никогда не пресыщалась созерцанием этой темной широты, бескрайной и мощной» (19). Уже это показывает, что Челкаш не о едином хлебе думает, не о хлебе и водке только. И недаром он так любит именно море с его широким простором: его душе особенно родствен этот простор. Он смел, великодушен, преисполнен чувства собственного достоинства, никому не позволит наступить ему на босую ногу, и те грандиозные сочетания металла, дерева и пара, которые г. Горький изобразил в начале рассказа, никоим образом не могли бы похвалиться, что они поработили, обезличили Челкаша.

Все эти качества Челкаша развертываются перед читателем в одном эпизоде. Челкаш затеял рискованное предприятие — комбинацию воровства с продажей контрабандного товара, — с которым ему одному не справиться. Но под рукой нет привычного к такому делу помощника, и Челкаш берет к себе в товарищи случайно встреченного, прохожего молодого мужика Гаврилу. Парень шел домой к себе в деревню с косовицы, заработки были плохи, и Гаврила, не совсем понимая в чем дело, согласился на предложение Челкаша. При исполнении предприятия он, добродушный и глуповатый деревенский парень, вдоволь натрусился, вызывая то насмешки, то гневные окрики Челкаша, а затем произошла следующая сцена при дележе добычи. Операция принесла пятьсот сорок рублей, из которых сорок Челкаш отделил Гавриле, предполагая, по-видимому, и еще прибавить. Но Гаврилу, при виде радужных бумажек, обуяла жадность, — на эти огромные для него деньги, «заработанные» в одну ночь, он у себя в деревне как бы устроился! а Челкаш ведь их просто пропьет! И Гаврила униженно-страстно молит Челкаша отдать ему всю добычу. Молит, но вместе с тем как будто и отнять покушается, потому что неожиданным движением валит Челкаша на землю.

«На, собака, жри! — гаркнул Челкаш, дрожа от возбуждения, острой жалости и ненависти к этому жадному рабу. И, бросив деньги, он почувствовал себя героем. Удальство светилось в его глазах». Гаврила стал столь же униженно благодарить. «Челкаш слушал его визги, вопли, смотрел на его сиявшее, искаженное жадной радостью лицо и чувствовал, что он, вор и гуляка, ото-

рванный от всего в жизни, никогда не станет таким жадным, низким, не помнящим себя. Никогда не станет таким! И эта мысль и ощущение, наполняя его сознанием своей свободы и удали, удерживали его около Гаврилы на пустынном морском берегу». Но когда Гаврила, в порыве восторга, признается, что он хотел убить Челкаша, тот решается отобрать деньги. Происходит драка, Челкаш, пораженный камнем в затылок, падает, Гаврила просит прощения и проклинает соблазнившие его деньги. Челкаш, однако, презрительно заставляет его взять добычу, оставляя себе лишь одну радужную, и случайные товарищи расходятся...

Таков босяк Гришка Челкаш. В сравнении с добродушным, работящим и глуповатым мужиком Гаврилой он, вор и пьяница, есть настоящий герой и рыцарь чести. Он, в освещении г. Горького, имеет полное право смотреть сверху вниз на этого «жадного раба». И критики, недавно восторгавшиеся посредственным рассказом г. Чехова, собственно потому, что в нем «мужики» своим «деревенским идиотизмом» выгодно оттеняют фигуры трактирного лакея и горничной меблированных комнат, уже за одно это унижение мужика — такая теперь мода — высоко оценят г. Максима Горького. Я тоже ценю как талант г. Горького, так и употребление, которое он из него делает, но по несколько иным соображениям.

По-видимому, глубокое презрение к мужику и к деревенскому житью, презрение, сопровождаемое даже ненавистью, свойственно не одному Гришке Челкашу, а вообще излюбленным героям г. Горького. Так, в рассказе «Мальва» удалой золоторотец Сережка называет мужиков «землеедами тупорылыми» и «кротами таракановичами», а об одном из действующих лиц отзывается так: «Мне он не по душе... деревней от него воняет, а я запаха этого не терплю» (II, 109, 110—112). Сама Мальва презрительно говорит, что в деревне, «как в яме, — и темно и тесно» (85). Сережка же так поясняет свою мысль в другом месте: «Я, видишь ты, всех мужиков не люблю... они сволочи! Они прикинутся сиротами, им и хлеба дают и... все!.. У них вон земство есть, и оно все для них делает... Хозяйство у них, земля, скот... Я у земского доктора кучером служил, насмотрелся на них... потом бродяжил по земле много. Придешь, бывало, в

деревню, попросишь хлеба — цап тебя! Кто ты, да что ты, да подай паспорт... Бивали сколько раз... То за конокрада примут... то просто так... В холодную сажали... Они ноют да притворяются, но жить могут, у них есть зацепка — земля. А я что против них?» (117). В «Бывших людях» ненавидит мужиков некий Тяпа. «Каждый раз, когда в ночлежке являлся какой-нибудь свежий экземпляр человека, вытолкнутого нуждой из деревни, Тяпа при виде его впадал в тоскливое озлобление и беспокойство. Он преследовал этого несчастного едкими насмешками, с злым хрипом выходившими из его горла; он натравливал на него какого-нибудь злющего босяка, грозил, наконец, собственноручно избить и ограбить его ночью и почти всегда добивался того, что запуганный и растерявшийся мужик исчезал из ночлежки и уже больше не являлся в ней». В газете Тяпа читал «о том, что в такой-то деревне градом побило хлеб, а в другой — сгорело тридцать дворов, а в третьей — баба отравила свою семью, — все, что принято писать о деревне и что рисует ее только несчастной, глупой и злой. Тяпа читал все это глухо и мычал, выражая этими звуками, быть может, сострадание, быть может, удовольствие» (II, 200, 201). Емельян Пиляй, «мещанин-голоштанник», как он сам себя называет, грозит «дворянам от сохи» разными неприятностями. Он мечтает открыть кабак и с некоторым даже сладострастием представляет себе, как он будет грабить мужика: «Мужика бы этого черноземного барина — ух ты!.. грабь! дери шкуру! выворачивай наизнанку. Придет опохмелиться — «Емельян Павлыч, дай в долг стаканчик!» — «А? что?.. в долг?!. Не даем в долг!» — «Емельян Павлыч, будь милосерд!» — «Изволь, буду: вези телегу, шкалик дам. Ха-ха-ха! Я бы его, черта тугопузого, пронзил!» (II, 276).

Таким образом, босяк, представитель городской культуры, является антагонистом деревенского мужика и, как ни низко стоит сам он в обществе, смотрит на мужика сверху вниз и имеет, по-видимому, для этого достаточные основания. Но прежде чем делать из этого какие-нибудь выводы, прежде чем радоваться или горевать или искать подтверждения той или другой излюбленной теории, посмотрим, как относится босяк к представителям других сословий или классов, например к купцам.

Аристид Кувалда, один из «бывших людей» и некоторым образом глава их или по крайней мере пристанодержатель, делает такое определение: «Что есть купец? Рассмотрим это нелепое и грубое явление. Прежде всего каждый купец — мужик. Он является из деревни и по истечении некоторого времени делается купцом. Для того чтобы сделаться купцом, нужно иметь деньги. Откуда у мужика могут быть деньги? Как известно, они не являются от трудов праведных. Значит, мужик так или иначе мошенничал. Значит, купец — мошенник мужик... О, если б я писал в газетах!.. О, я показал бы его в настоящем виде, я бы показал, что он только животное, временно исполняющее должность человека. Я понимаю его! Он? Он груб, он глуп, не имеет вкуса к жизни, не имеет представления об отечестве и ничего выше пятака не знает» (II, 207, 208).

Правда, Аристид Кувалда — отставной ротмистр и дворянин, и можно, пожалуй, подумать, что его ненависть к купцам есть нечто исключительное. Но его дворянское прошлое, как и прошлое других его разношерстных товарищей, давно быльем поросло. Он принадлежит к числу «изгнанных из жизни, рваных, пропитанных водкой и злобой, иронией и грязью» (211). Мало того, благодаря некоторому образованию, недюжинному уму и ораторской способности Аристид Кувалда, пользующийся в своей среде огромным авторитетом, может логически выразить и более или менее ясно формулировать бродящие в душах золоторотцев инстинкты и чувства. Вот, например, одна из бесед Аристида Кувалды с братией:

«— Как бывший человек (говорит Кувалда), я должен смарать в себе все чувства и мысли, когда-то мои. Это, пожалуй, верно. Но чем же я и все вы — чем же вооружимся мы, если отбросим эти чувства?

— Вот ты начинаешь говорить умно, — поощряет его учитель.

— Нам нужно что-то другое, другие воззрения на жизнь, другие чувства... нам нужно что-то такое новое, ибо и мы в жизни новость...

— Несомненно нам нужно это, — говорит учитель.

— Зачем, — спрашивает Конец, — не все ли равно, что говорить и думать? Нам недолго жить... мне сорок, тебе пятьдесят, моложе тридцати нет среди нас. И даже в двадцать долго не проживешь такой жизнью.

— И какая мы новость, — усмехается Объедок, — гольтепа всегда была.

— И она создала Рим, — говорит учитель.

— Да, конечно, — ликует ротмистр, — Ромул и Рем, разве они не золоторотцы?[3] И мы, придет наш час, создадим...

— Нарушение общественной тишины и спокойствия,— перебивает Объедок. Он хохочет, довольный собой» (210).

Мы еще вспомним некоторые подробности этой знаменательной беседы, а пока заметим, что среди «бывших людей» есть всякие — и мужики, и дворяне, и интеллигенция, и городские и деревенские жители, и всем им «нужно что-то другое, другие воззрения на жизнь, другие чувства, нужно что-то такое новое». И если Мальва находит, как мы видели, что в деревне, «как в яме, —и темно и тесно», то вот, например, босяк Коновалов говорит автору: «Совсем напрасно ты, Максим, в городах трешься. И что тебя к ним тянет? Тухлая там жизнь и тесная. Ни воздуху, ни простору, ничего, что человеку надо» (II, 61). «Настроили люди городов, домов, собрались там в кучи, пакостят землю, задыхаются, теснят друг друга... Хорошая жизнь!» И только после убедительной реплики товарища Коновалов с сожалением соглашается, что «для зимы города действительно нужны... тут уж ничего с ними не поделаешь» (63). В деревне, как в яме, — и темно и тесно. Но вот и городской рабочий, сапожник Орлов, говорит теми же словами: «Сижу в яме и шью» (I, 263), «сижу вот в яме и все работаю, и ничего у меня нет» (266); «хоть на чердак заберись, все же в яме будешь... не квартира яма... жизнь яма» (268). И в итоге своей карьеры и своих размышлений о жизни Орлов говорит: «Противно все — города, деревни, люди разных калибров... тьфу!» (332).

Итак, герои г. Горького не к одному мужику относятся презрительно и ненавистно, и деревня и город равно вызывают в них недобрые и вообще отрицательные чувства. Мало того, если вы внимательно прочтете того же «Челкаша», то увидите, что к презрению, которое босяк питает к Гавриле, примешивается странное сочетание зависти и сочувствия. Одиннадцать лет тому назад Гришка Челкаш сам был деревенским мужиком, и в разговоре с Гаврилой он «чувствовал себя обвеянным примиряющей, ласковой струей родного воздуха, донесшего

с собой до его слуха и ласковые слова матери, и солидные речи исконного крестьянина-отца, много забытых звуков и много сочного запаха матушки-земли, только что оттаявшей, только что вспаханной и только что покрытой изумрудным шелком озими... И он чувствовал себя сбитым, упавшим, жалким и одиноким, вырванным и выброшенным навсегда из того порядка жизни, в котором выработалась та кровь, что течет в его жилах» (I, 34). Любопытно также, что наш автор колеблется в определении тех чувств, с которыми другой ненавистник мужика, Тяпа, вычитывает в газете неприятные известия о деревне: «быть может сострадание, быть может удовольствие». Тяпа даже посылает одного из «бывших людей» в деревню: «шел бы ты в деревню.... просился бы там в учителя или в писаря... и был бы сыт и проветрился бы. А то чего маешься?» (II, 206.)

Из всего этого видно, что задача г. Горького лежит где-то в стороне от грубого противопоставления деревни и города. Его образы и картины разные читатели могут, разумеется, истолковывать различно, смотря по степени своего понимания, а может быть, и добросовестности. Один может подчеркнуть для себя, — а если он не просто читатель, а и критик, то и для других, — одну сторону дела, другой другую. Эти односторонние освещения могут быть очень остроумны и представлять большой интерес в том или другом смысле. Но любопытно знать и мнения самого наблюдателя-автора, хотя для нас вовсе не обязательно с этими мнениями соглашаться. Но в двух томах рассказов г. Горького есть, кажется, только одно место, где автор прямо от себя как будто сопоставляет деревню и город. А именно: «Быть может, порядочный человек культурного класса и выше такого же человека из мужиков, но всегда порочный человек из города неизмеримо гаже и грязнее порочного человека деревни» (II, 199). Но и это мнение, конечно интересное в качестве итога очевидно тщательных наблюдений, очень далеко от огульного сопоставления мужика-земледельца и городского жителя вообще или, как у нас недавно еще до тошноты часто повторяли, «деревенской и городской культуры». Г. Горький сравнивает не вообще деревенских и городских жителей, а лишь определяемых известными нравственными признаками — «порядочности» и «порочности», причем относительно «порядочных» выра-

жается сомнительно: «быть может». Да и вообще все это мимоходом брошенное замечание не имеет большого значения для основной темы г. Горького, разрабатываемой в большинстве его рассказов. *Все* его излюбленные герои «порочны», близки к тюрьмам, кабакам и домам терпимости, все, как деревенские, так и городские. Если, например, городские «бывшие люди» «охотно, много и скверно говорили о женщинах», то, во-первых, один из их же среды — «учитель» — сердился, «если очень уж пересаливали», а во-вторых, и бывший мужик Челкаш — «циник». Если в рассказе «Дело с застежками» бывший мужик Мишка, к негодованию своего необузданного товарища Семки, способен растрогаться чтением, то и городской человек Коновалов ему в этом отношении не уступит. Все это оттенки, подробности, хотя и подлежащие сложению в общие правила и вычитанию исключений, но имеющие мало значения для главной темы г. Горького. Важно, что все эти чандалы, от какого бы общественного слоя они ни откололись, будучи отверженцами из отверженцев и сами сознавая свою «порочность», считают себя вправе свысока относиться ко всему окружающему и в каких-то отношениях действительно имеют это право.

Характеризуя только что упомянутого Мишку («Дело с застежками»), г. Горький говорит, что он «типичнейший мечтатель-мужик, излюбленный персонаж писателей-народников, так много говоривших о нем и позабывших рассказать, как он, этот тип, вымирает, постепенно отравляемый суровой жизнью, которая никогда не благоволила мечтателям, нимало не нуждается в них и всегда предпочитает здоровые руки слабой голове» (II, 167). Кого бы ни разумел здесь почтенный автор под писателями-народниками, — вообще ли писателей, черпавших свои темы из народного быта и с особенным интересом приглядывавшихся к мужицкой жизни, или же народников, так сказать, принципиальных, идеализировавших мужика и «устои» его жизни, — он во всяком случае не прав; фактически не прав, утверждая, что писатели эти позабыли рассказать, как вымирает «мечтатель». Это было бы нетрудно доказать многочисленными примерами, но такая экскурсия в сторону недавней истории нашей литературы слишком отвлекла бы нас от

г. Горького, да и не нужна она для нашей цели. Г. Горький не решается заполнить указанный им якобы пробел. Он дает ряд фигур, уже отвергнутых «суровой жизнью», и все это «мечтатели»: мечтатели-поэты или мечтатели-философы, быть может, слишком поэты и философы. И, глядя на них, приходится признать, что наша жизнь не нуждается не только в «слабых головах», предпочитая им «здоровые руки». Тут еще не было бы ничего удивительного или внимания достойного. Здоровые руки, конечно, предпочтительнее слабой головы, как маленький каменный дом предпочтительнее большого черного таракана. Удивительно то, что отвергнутые жизнью мечтатели г. Горького в большинстве случаев совсем не слабые головы (г. Горький считает даже возможным, как мы видели, объединить их общим признаком: «далеко не глупы»), и руки у большинства их тоже здоровые, а они все-таки отверженцы. Отчего же это так выходит?

Есть, впрочем, у г. Горького один совершенно безрукий герой — Михаил Антоныч в рассказе «Тоска». Об нем узнаем от него самого, что он перепробовал множество профессий: был часовых дел мастером, певчим, смазчиком на железной дороге, приказчиком у лесоторговца, торговал роговыми изделиями и, наконец, где-то на фабрике в пьяном виде попал в приводной ремень, которым ему и оторвало обе руки. Тут мы имеем по крайней мере указание на причину, окончательно выбившую человека из строя. Но и то надо сказать, что и прежде этого печального случая Михаил Антоныч почему-то не мог приспособиться ни к одной из перепробованных им профессий, да и в приводной ремень попал пьяный, может быть, конечно, и случайно, а может быть, и как привычный уже пьяница. Вообще г. Горький чрезвычайно скуп на разъяснение тех условий, при которых «суровая жизнь» вышвыривает за борт его героев; и даже когда более или менее подробно рассказывает их биографию, то обрывает ее на самом интересном месте. Вот, например, Гришка Челкаш. Он вспоминает свое прошлое. «Он успел посмотреть себя ребенком, свою деревню, свою мать, краснощекую, пухлую женщину с добрыми серыми глазами, отца, рыжебородого гиганта с суровым лицом; видел себя женихом и видел жену, черноглазую Анфису, с длинной косой, полную, мягкую, веселую; снова себя красавцем гвардейским солдатом; снова

отца, уже седого и согнутого работой, и мать, морщинистую, осевшую к земле; посмотрел и картину встречи его деревней, когда он возвратился со службы, видел и то, как гордился перед всей деревней отец своим Григорьем, усатым, здоровым солдатом, ловким красавцем...» (I, 33, 34). Все это только вступление к жизни босяка, но г. Горький ставит многоточие и затем ограничивается темным намеком на какие-то «ошибки». В чем состояли эти ошибки, так и остается неизвестным, но достоверно, что голова у Челкаша не слабая, а руки здоровые. Из биографии удалого золоторотца Сережки (в «Мальве») только и известно, что он мещанин города Углича и «везде бывал, скрозь прошел всю землю». А если г. Горький кое-где и намечает исходный момент босячества, то довольствуется общими выражениями вроде того, что «нужда загнала» или «запил», — просто запил, да и все тут. Это слишком неопределенно. Нужда то медленно и постепенно захватывает людей своими цепкими когтями, то настигает их внезапно, без предостережений, и в том и в другом случае подбираясь с очень разных сторон; а «запивают» люди, кроме нужды, еще и по многим другим, разнообразным, притом часто случайным, не поддающимся обобщению причинам. Попробуем обратиться за разъяснением не к г. Горькому, а к самим его героям.

Я уже заметил, что большинство этих героев поэты и философы, поэты по крайней мере в душе, и философы по крайней мере по склонности осмысливать и обобщать явления жизни. Г. Горький утверждает даже, что «каждый человек, боровшийся с жизнью, побежденный ею и страдающий в безжалостном плену ее грязи, более философ, чем сам Шопенгауэр, потому что отвлеченная мысль никогда не выльется в такую точную и образную форму, в какую выльется мысль, непосредственно выдавленная страданием» (II, 29). Г. Горький недаром говорит не только о точной, а и об образной форме, и, надо думать, не случайно выбрал именно Шопенгауэра, этого мыслителя-художника, для сравнения со своими героями. Его излюбленные персонажи даже в тех случаях, когда им не удается точно формулировать свои мысли, выражают их картинно, художественно, образно. До такой степени картинно и образно, что читателя невольно берет сомнение, — возможно ли, правдиво ли это?

В знании той среды, которую он описывает, г. Горькому никоим образом отказать нельзя; подлинная правда чувствуется как в общей концепции его произведений, так и во множестве житейских подробностей, которых нельзя выдумать, сочинить. Но иногда, читая речи и размышления его босяков, поневоле вспоминаешь его собственную оценку босяцких словесных автобиографий, «в которых ужасная, душу потрясающая правда фантастически перепутывалась с самою наивною ложью» (II, 29). Конечно, «ложь» в данном случае слишком грубое слово по отношению к столь почтенному писателю, но речь идет не о сознательной какой-нибудь лжи. Да и босяцкую ложь надо тоже понимать. Кроткий и ко всем, кроме себя, снисходительный, Коновалов на вопрос одного из товарищей босяков — «не веришь?» — отвечает: «Нет, верю... Как можно не верить человеку? Даже если видишь — врет он, верь ему. То есть слушай и старайся понять, почему он врет? Иной раз вранье-то лучше правды объясняет человека... Да и какую мы все про себя правду можем сказать? Самую пакостную... А соврать можно хорошо... Верно?» — «Верно», — соглашается рассказчик» (II, 30). Г. Горький рассказывает про своих героев ужасную, истинно душу потрясающую правду, не скрывая ни одной из черт их многоразличной «порочности», но вышеприведенное убеждение в их превосходстве над Шопенгауэром заставляет его влагать в их головы маловероятные мысли, а в их уста — маловероятные речи. Язык его босяков до крайности нехарактерен, напоминая собою превосходный язык самого автора, только намеренно и невыдержанно испорченный, и то же можно сказать, по крайней мере отчасти, об их философии. Вы понимаете, что старуха Изергиль может выражаться, например, так: «Однажды гроза грянула над лесом, и зашептали деревья глухо и грозно; и стало в лесу так темно, точно в нем собрались сразу все ночи, сколько их было на свете с той поры, как он родился» (II, 318). Эта цветистая речь, эти оригинально красивые поэтические образы, может быть, и уместны в устах старухи Изергиль, ввиду ее восточного происхождения. Безрукий Михаил Антоныч философствует в таком роде: «О чем рассуждать, когда существуют законы и силы? И как можно им противиться, ежели у нас все орудия в уме нашем, а он тоже подлежит законам и силам?

Вы понимаете? Очень просто. Значит, живи и не кобенься, а то тебя сейчас же разрушит в прах сила, состоящая из собственных твоих свойств и намерений и из движений жизни! Это называется философия действительной жизни... Понятно?» (I, 123). Прочитав эти и многие другие речи безрукого, вы чувствуете некоторую неловкость за автора, однако успокаиваетесь, когда узнаете, что безрукий «с умнейшими людьми вел по этим делам беседы — со студентами и со многими священнослужителями церкви» (его собственное показание), и что эти «законы и силы» суть «слова, которые он произносил с каким-то особенным подчеркиванием и понижением голоса, но значение которых вряд ли было ему понятно» (показание автора). Но если в этих случаях вы находите объяснение в экзотическом происхождении Изергили и в том, что безрукий нахватался у «умнейших людей» слов, которых хорошенько не понимает, то в других — и, к сожалению, многих — случаях босяки г. Горького безмерно щеголяют красотою речи и философским парением без всяких оправданий.... Местами их размышления и разговоры звучат такой фальшью, что просто больно и обидно читать. Таковы, например, очень лестные для нашего брата писателя, но деланные, слащавые разговоры о «Подлиповцах» Решетникова и о «психологии сочинителей» в рассказе «Коновалов», да и многое другое еще. Образчиков приводить не буду, тем более что ниже, по другим поводам, придется, вероятно, цитировать кое-что из подобных неприятных страниц.

Если отрешимся по возможности от разных ненужных и фальшивых украшений и не будем требовать от босяков, чтобы они превосходили Шопенгауэра точностью и образностью выражения своих мыслей, то увидим следующее. Босяки несчастны и иногда с грустью вспоминают свое прошлое, когда они так или иначе стояли в общем строе жизни. Но вместе с тем они у г. Максима Горького как будто не столько вышвырнуты из этого строя какими-нибудь внешними, объективными условиями, сколько сами ушли из него добровольно, побуждаемые жаждою свободы, наилучше для них удовлетворяемою бродячей жизнью. «В босяки бы лучше уйти, — говорит сапожник Орлов, — там хоть голодно, да свободно, иди куда хочешь! Шагай по всей земле!» (I, 266). «Люблю я, друг, эту бродяжную жизнь, — рассуждает от-

ставной солдат в рассказе «В степи». — Оно и холодно, и голодно, но свободно уж очень. Нет над тобою никакого начальства... сам ты своей жизни хозяин. Хоть голову себе откуси; никто тебе слова не может сказать... Хорошо... Наголодался я за эти дни,назлился, а вот теперь лежу, смотрю в небо... Звезды мигают мне, ровно говорят: ничего, Лакутин, ходи знай по земле и никому не поддавайся» (II, 336, 337). «Родился я, слышь, под забором и помру под ним, — говорит Кузька Косяк в «Тоске». — Судьба такая. По седые волосы вдоль да поперек шляться буду... А на одном месте скучно мне» (I, 87). Старый цыган Макар Чудра учит автора или лицо, от имени которого ведется рассказ: «Ходи и смотри, насмотрелся, ляг и умирай, вот и все!» Всякий человек, ведущий иной образ жизни, есть, по мнению Макара, «раб, как только родился, и во всю жизнь раб». «Иди, иди, и все тут, — продолжает поучать Макар. — Долго не стой на одном месте, чего в нем? Вон как день и ночь вечно бегают, гоняясь друг за другом вокруг земли, так и ты бегай от дум про жизнь, чтобы не разлюбить ее... Похаживай да посматривай кругом себя, вот и тоска не возьмет никогда» (I, 234, 235). Удалец Сережка излагает такую программу жизни: «Ничего не будем делать... гулять будем по земле» (II, 101), и героиня рассказа, Мальва, ставит Сережке в большое достоинство, что он «везде бывал, скрозь прошел всю землю». Коновалов отказывается жениться по следующим основаниям: «Первое дело, у меня запой, во-вторых, нет у меня никакого дому, в-третьих, я есть бродяга и не могу на одном месте жить» (II, 35). Сказочный Ларра (имя это, по объяснению старухи Изергиль, значит «отверженный, выкинутый вон») «ходит, ходит повсюду... все ищет, ходит, ходит» (II, 300).

Я не скуплюсь на выписки из рассказов г. Горького, не только несмотря на их однообразие, а даже именно ввиду этого однообразия. Автор имеет право требовать особенного внимания к таким многократно повторяющимся мотивам, очевидно играющим значительную роль в круге его наблюдений. Да и читатель, может быть, не заметивший или пропустивший их без внимания в отдельных рассказах г. Горького, когда они печатались в журналах, теперь естественно подчеркивает и суммирует их для себя.

Что же говорят нам только что сделанные выписки?

Что это за новейшие Агасферы, которым какою-то неумолимою внешнею или внутреннею силою дано предписание: ходи! ходи! ходи!? Агасферы не Агасферы, но невольно приходит в голову, что это если не отголосок кочевого быта, то прямое наследие или продолжение нашей старой «вольницы», тех «гулящих» удальцов, не менее героев г. Горького прикосновенных к тюрьмам и кабакам, которые еще в прошлом столетии слагались временами в яркое и громкое общественное явление и которые, однако, никогда не считались и не могли считаться «классом». А ведь г. Горький полагает, что его героев «пора считать за класс». А Аристид Кувалда, главный философ этого якобы класса, утверждает, что он составляет «новость в жизни». В чем же новость? Г. Горький, к сожалению, дает своими рассказами не особенно много материалов для ответа на этот вопрос.

Ядовитый скептик Объедок возражает Аристиду Кувалде, что совсем они не новость, потому что «гольтепа всегда была». Всегда не всегда, но «гольтепа», движимая непоседливостью и удальством и склонная к «нарушению общественной тишины и спокойствия», действительно не новость. Припоминая, однако, фигуры старорусской «гольтепы», «голи кабацкой» и всякой «вольницы», мы припоминаем и указания истории не только на внутренние психологические, субъективные моменты удальства и непоседливости, но и на внешние обстоятельства, вызывавшие или сопровождавшие эти мотивы. Гнет только еще слагавшегося государства, требовавшего часто непосильных жертв, всеобщая неурядица и бесправие, соседство полудиких кочевников, внезапным налетом сметавших целые населения, — вот некоторые из условий, способствовавших образованию общей «движущейся почвы», по выражению историка, на которой вырастала и вольница. А затем, когда государство, наконец, «прикрепило» население, гнет крепостного права явился в свою очередь стимулом для бегства с насиженного места и сопряженных с этим бегством приключений. Все это давно миновалось, и ныне должны быть налицо совершенно иные, действительно новые внешние условия, способствующие выработке «гольтепы». Но г. Горький нам их не показал, быть может «позабыл об них рассказать». Относительно безыменной голытьбы или «рядовых босяков», как в одном месте выражается

г. Горький, еще можно найти некоторые, слишком общие и неопределенные указания вроде того, что «нужда загнала»; но, не говоря уже о том, что этого слишком мало, мы и таких указаний не получаем относительно, так сказать, именованных чисел его рассказов, относительно его главных героев. Все они как будто не от нужды бегут из разных «ям», а напротив, сами лезут на рожон нужды, хотя ищут, конечно, не ее, а воли, — «свободно уж очень». Они даже не столько отверженные, сколько отвергшие. К некоторым из них можно бы было даже применить лермонтовское обращение к «тучкам»:

...вам наскучили нивы бесплодные...
Чужды вам страсти и чужды страдания;
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания [4].

Согласитесь, что это немножко слишком красиво и поэтично для циников, воров и пьяниц. Но если в самой глубине явления, занимающего г. Горького, под толстым слоем грязи и заключается нечто подобное, то не исключительно же только скуку наводили «нивы бесплодные», по крайней мере на тех, которые некогда орошали эти нивы своим потом. А г. Горький до такой степени скуп насчет указаний этого рода, что даже «голодающие» вследствие неурожаев мелькают у него всего раза два на протяжении всех рассказов, да и то где-то совсем вдали, не в действии, а в разговорах действующих лиц. Положим, что голодовки от неурожаев, как и другие стихийные бедствия, не «новость» на Руси и, может быть, поэтому не удостоились внимания нашего автора. Но вот грандиозно мрачная картина подавления человека его собственным созданием, которою начинается рассказ «Челкаш». Как бы ни уверяли нас некоторые неосновательные люди, что мы чуть не сравнялись с Англией в деле промышленного прогресса, но ведь это они рассказывают «обман своего сердца», по выражению пророка Иеремии. Означенная картина есть у нас новость, не сегодняшнего или вчерашнего дня, конечно, но настолько новость, что связанные с нею явления жизни мы вправе считать исторически новыми. И естественно было бы ожидать, чтобы г. Горький, нарисовав свою грандиозную картину, связал с нею судьбу своих героев. Ничего такого мы, однако, не получаем. А между тем пути воз-

действия промышленного прогресса в его современных формах на образование Lumpenproletariat'а хорошо известны. Прогресс этот «освобождает» разных Челкашей, Тяп и проч. от земли и от других «пут и уз», сгоняет их к нескольким центрам, из которых, однако, периодически выталкивает часть их, иногда целыми массами, на улицу в качестве безработных; а из последних, под влиянием разных неблагоприятных условий, главным образом условий городской жизни, с царящею в ней сутолокой и необузданной конкуренцией, с ее соблазнами, возбуждающими аппетит без возможности его удовлетворения, — оседают босяки. Со стороны этого-то процесса, оставленного, однако, г. Горьким без малейшей иллюстрации, его персонажи представляют собою действительно новое явление. К ним примыкают, с одной стороны, деревенские люди, сорванные с корня стихийными бедствиями, а с другой — разные неудачники из более высоких слоев общества, не приспособившиеся по каким бы то ни было причинам к условиям жизни, в которой родились или для которой готовились.

Но нов не только по крайней мере один из источников происхождения героев г. Горького. Нова в значительной степени и их психология, что уже гораздо лучше раскрывается в произведениях нашего автора. Как ни неистово и буйно прожигала жизнь старая русская вольница и голь кабацкая, но уже одно то, что она слагалась временами в целые шайки, даже в огромные полчища, то оседавшие где-нибудь на приволье в далеких краях и «кланявшиеся» московскому государю целыми областями, то входившие в состав своеобразных постоянных обществ, какова была Запорожская Сечь, то нарушавшие покой всего государства, — одно это свидетельствует о ее способности к организации и дисциплине. Совсем иное представляют герои г. Горького.

Герои г. Горького крайние индивидуалисты. Любопытно следующее замечание автора. Описывая постройку мола в Феодосии, он рассказывает: «В России голодали, и голод согнал сюда представителей чуть не всех охваченных несчастьем губерний. Они делились на маленькие группы, стараясь держаться земляк к земляку, и только космополиты босяки сразу выделялись и своим независимым видом, и костюмами, и особым складом речи из людей, еще находившихся во власти земли, лишь

временно порвавших с нею связь, оторванных от нее голодом и не забывших о ней. Они были во всех группах: и среди вятичей и среди хохлов, всюду чувствуя себя на своем месте» (II, 54). Это «всюду на своем месте» надо, однако, понимать только в отрицательном смысле, в том смысле, что «нет у них родины, нет им изгнания». Пожалуй, и Сережка в рассказе «Мальва», когда ему предсказали Сибирь, ответил: «Ух, страшно!» и «искренно расхохотался». Герои г. Горького везде на своем месте только потому, что нигде у них своего места нет. «Нет для меня на земле ничего удобного! Не нашел я себе места!» — говорит Коновалов (II, 63). Люди эти порвали все старые общественные связи и не нажили никаких новых. Самые пылкие их мечты лишены какого бы то ни было общественного характера и пропитаны индивидуализмом. Тот же Коновалов так рассказывает о впечатлении, произведенном на него чтением «Робинзона»: «Интересно страх как! Очень мне понравилась книга; так бы туда к нему и поехал. Понимаешь, какая жизнь? Остров, море, небо — ты один себе живешь, и все у тебя есть, и совершенно ты свободен! Там еще дикий был. Ну, я бы дикого утопил, — на кой черт он мне нужен, а? Мне и одному не скучно» (II, 58). Мальва мечтает: «Иной раз села бы в лодку и в море! Далеко-о! И чтобы никогда больше людей не видать» (II, 116). Челкаш в минуту душевного размягчения нахлынувшими на него деревенскими воспоминаниями рисует себе мужика каким-то своего рода тоже Робинзоном, «королем на своей земле», «хозяином самому себе», у которого все свое — дом, курица, яблоко. «Король ведь? так ли? — воодушевленно закончил Челкаш длинный перечень крестьянских преимуществ и прав и почему-то запамятовал об обязанностях» (I, 32). Челкаш запамятовал не только об обязанностях, но и о людях, притом не только о начальстве в его административных, военных, финансовых функциях, но и о родственниках, соседях, товарищах; его мужик-«король» одинок как перст. «Я отвержен, — говорит Аристид Кувалда, — значит, я свободен от всяких пут и уз. Значит, я могу наплевать на все!» (II, 234).

Все общественные отношения, в которые вступают герои г. Горького, случайны и кратковременны. Работники они плохие, не потому, чтобы были неспособны к труду, а потому, что не считают для себя обязательными какие

бы то ни было договоры (см., например, «Дело с застежками»), да и бродяжнический инстинкт не дает засиживаться на одном месте. Но не только с «работодателями», а и со своим братом они чрезвычайно легко порывают свои связи. Челкаш, как мы видели, прихватывает себе в товарищи первого встречного, Гаврилу, и тотчас по окончании операции они расходятся в разные стороны, чтобы уже никогда в жизни более не встречаться. В рассказе «В степи» «студент» тайно от двух своих товарищей грабит и убивает встречного путника и затем бесследно исчезает. И если один из покинутых товарищей, «солдат», очень строго осуждает этот поступок «студента», то не по существу.

В высшей степени характерны отношения героев г. Горького к женщинам. Но прежде чем перейти к ним, остановимся на мрачной, истинно страшной картине времяпровождения золоторотцев в рассказе «Бывшие люди». Тут изображено некоторое более или менее постоянное гнездо босяцкое — «ночлежка», в которой изо дня в день встречаются друг с другом одни и те же люди, связанные долгой привычкой, одинаковостью положения и взаимным пониманием.

«И вдруг среди них вспыхнула зверская злоба, пробуждалось ожесточение людей, загнанных, измученных своей суровой судьбой. Или ощущалась близость того неумолимого врага, который всю жизнь их превратил в одну жестокую нелепость. Но этот враг был неуловим, ибо невидим. И тогда они били друг друга, били жестоко, зверски били и снова, помирившись, напивались, пропивая все, что мог принять в заклад нетребовательный Вавилов. Так, в тупой злобе, в тоске, сжимавшей их сердца, в неведении исхода из этой подлой жизни, они проводили дни осени, ожидая еще более суровых дней зимы... Иногда... вдруг отчаянное, удалое веселье вскипало в трактире: пели, плясали, хохотали и на несколько часов становились похожими на безумных... И потом опять входили в тупое, равнодушное отчаяние и сидели за столами трактира в копоти ламп, в табачном дыму, угрюмые, оборванные, лениво переговариваясь друг с другом, слушая торжествующий вой ветра и думая о том, как бы напиться водки, напиться до бесчувствия. И все были глубоко противны каждому, и каждый таил в себе бессмысленную злобу против всех» (II, 221—222).

Вот что таится в центрах современной цивилизации, вот как живет наш Lumpenproletariat, те современные европейские чандалы, которые откалываются от всех слоев общества везде, где «гранит, железо, мостовая, люди — все дышит мощными звуками бешено страстного гимна Меркурию». Было время, — еще недавно, — что разные проницательные люди предсказывали разгром европейской цивилизации ордами новых, внутренних варваров — рабочего пролетариата, которому, дескать, чужды все высшие блага, достигнутые веками прогресса. Можно с уверенностью сказать, что это пророчество, имевшее за себя некоторую вероятность десятки лет тому назад, не сбудется. Европейские рабочие, составляя общепризнанный класс и правомерно участвуя в общей жизни своих стран, имеют свою положительную задачу и примыкают к преемственной культурной работе, как бы ни отличался их общественный идеал от идеалов других классов. Но процесс общественного дифференцирования не останавливается на выделении рабочего пролетариата, и, не говоря о других осложнениях, в центрах цивилизации копится Lumpenproletariat. Здесь уже мы не видим никакого общественного идеала, никакой сколько-нибудь прочной солидарности, все рассыпается на самодовлеющие, ничем не спаянные атомы, перед которыми нет положительной, творческой задачи и которые, как говорит Объедок, могут «создать» только нарушение общественной тишины и спокойствия. «Особливые мы будем люди и ни в какой порядок не включаемся», — философствует Коновалов. Этим чандалам, конечно, ничто из благ цивилизации не может быть дорого, и решение Пушкинского Фауста — «все утопить» [5] — было бы им вполне понятно. Их и посещают подобные мечты. Так, Мальва, выразив желание убежать далеко в море и никогда больше людей не видеть, прибавляет: «А иной раз так бы каждого человека завертела, да и пустила волчком вокруг себя... Избила бы весь народ. И потом бы себя страшною смертью». Так, бывший сапожник Орлов скорбит, что он «никакого геройства не совершил». «А и по сю пору, — продолжает он, — хочется мне отличиться на чем-нибудь... Раздробить бы всю землю в пыль или собрать шайку товарищей и жидов перебить... всех до одного! Или вообще что-нибудь этакое, чтобы встать выше всех людей и плюнуть на них с высоты... И потом

вниз тормашками с высоты и... и вдребезги!» (I, 332). «Зло в глазах этих людей имело много привлекательного», — замечает г. Горький от себя (II, 230). Это не значит, что то были все злые люди. Напротив, прямо злых, кажется, и совсем нет в коллекции г. Горького, а многим из его персонажей свойственны черты добродушия и великодушия, и на добрые дела они способны. Емельян Пиляй идет на убийство и грабеж, а кончает спасением девушки (вслед за чем, впрочем, совершает бессмысленнейший уличный скандал). Коновалов единственно ради доброго дела извлекает из дома терпимости проститутку (из чего, впрочем, в конце концов ничего путного не выходит). Да и Мальва вовсе не злая женщина. Но в ожидании случая «избить весь народ» она хотела бы хоть дом поджечь, — «вот суматоха была бы!» (II, 117), а затем, сообща с удалым Сережкой, придумывает план (и приводит его в исполнение) стравить отца с сыном, собственно потому, что «потешно будет». На лице Сережки «не было заметно ни злобы, ничего, кроме добродушной и немножко озорной улыбки», когда он убеждал Мальву: «Ты подумай... разве не приятно смотреть, как из-за тебя люди ребра друг другу ломают? Из-за одних только твоих слов?.. двинула ты языком раз, два и готово!.. Эх, ежели бы я красивой женщиной был! Такую бы я на сем свете заваруху завел!» (118). Словом, они готовы сделать всякую пакость ближнему, и не со зла, а так, для утешения своего *я*, над всем и всеми возвышающегося. Это даже не индивидуалисты, а, выражаясь модным, но по нынешнему времени, очевидно, нужным термином, — «эготисты». Орлов заявляет своей жене Матрене, что ему жениться не следовало бы, а лучше бы идти в босяки. «Так иди, — говорит Матрена, — а меня отпусти на волю». Но Орлов ее за эти слова прибил «беспощадно». Одно дело сам он и другое дело — его жена...

Но этот эпизод уже вводит нас в область отношений героев г. Горького к женщинам [6].

ПРИМЕЧАНИЯ

Статьи Н. К. Михайловского печатаются по последним прижизненным изданиям * с исправлением опечаток и других погрешностей по текстам первых публикаций и всех последующих изданий, вышедших при жизни автора или подготовленных им к печати, но изданных посмертно.

Помимо первых публикаций, указанных в примечаниях к отдельным статьям, источниками текста помещаемых здесь работ Михайловского послужили следующие издания его сочинений:

Сочинения Н. К. Михайловского, тт. 1—6, СПб. 1879—1885.

Сочинения Н. К. Михайловского, тт. 1—6, изд. 2, СПб. 1887—1894.

Сочинения Н. К. Михайловского, тт. 1—6, изд. 3 (редакции журнала «Русское богатство»), СПб. 1896—1897.

Критические опыты Н. К. Михайловского, вып. I, СПб. 1887.

Критические опыты Н. К. Михайловского, вып. II, М. 1890.

Н. К. Михайловский, Литература и жизнь (Письма о разных разностях), СПб. 1892.

Н. К. Михайловский, Отклики, т. 2, СПб. 1904.

Н. К. Михайловский, Г. И. Успенский как писатель и человек — в т. XII Полного собрания сочинений Г. И. Успенского, изд. Б. К. Фукса, Киев, 1904.

Все примечания под строкой, за исключением переводов иностранных слов, принадлежат Михайловскому.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ И ЖУРНАЛЬНЫХ ЗАМЕТОК 1874 ГОДА

Этот цикл печатался в «Отечественных записках» с января по апрель 1874 года. Помещаемый отрывок входит в состав третьего

* Исключение составляет лишь «Десница и шуйца Льва Толстого», о чем см. в примечаниях к этой статье.

раздела цикла (март) и представляет собою отклик Михайловского на Полное собрание сочинений Н. Ф. Щербины, вышедшее в 1873 году.

Печатается по тексту последнего прижизненного издания Сочинений Н. К. Михайловского, т. 2, СПб. 1896, стр. 600—612.

В первопечатном тексте между приводимыми Михайловским стихотворениями Щербины «Купанье» и «Ваятель и натурщица» помещены были «Дифирамбы» (стр. 24 цитируемого Михайловским издания Щербины). В окончательной редакции цикла эти стихи были опущены.

1 Драма А. К. Толстого *«Смерть Иоанна Грозного»* была поставлена в 1867 году в Петербурге в помещении Мариинского театра. Роль Грозного исполняли П. В. Васильев и В. В. Самойлов.

2 *Тамарин* — герой одноименного романа М. В. Авдеева, изображенный как эпигон печоринского типа. Роман «Тамарин» опубликован в 1852 году.

3 *Эпикурейцы* — последователи древнегреческого философа Эпикура, обосновывавшего разумность стремления человека к личному счастью.

4 *Стоики* — сторонники древнегреческой философской школы, развивавшей идею необходимости в духе фатализма.

5 Колонна, воздвигнутая в 1810 году на Вандомской площади в Париже в честь побед Наполеона I. Во время Парижской коммуны (1871) была разрушена и после поражения Коммуны вновь восстановлена.

6 Имеются в виду слова Степана Трофимовича Верховенского, намеревавшегося на литературном вечере прочитать речь о Сикстинской мадонне: «Я расскажу о том подлом рабе, о том вонючем и развратном лакее, который первый взмостится на лестницу с ножницами в руках и раздерет божественный лик великого идеала...» («Бесы», ч. II, гл. 5).

7 В 40-х годах Ламартин неоднократно выступал против культа Наполеона I.

ДЕСНИЦА И ШУЙЦА ЛЬВА ТОЛСТОГО

Первая редакция настоящей работы входила в состав цикла Н. К. Михайловского «Записки профана» (1875—1877), печатавшегося в «Отечественных записках», и составляла VII, X и XI его разделы («Отечественные записки», 1875, май, июнь и июль). В собраниях своих сочинений Михайловский всегда печатал «Записки профана» полностью. Однако в 1887 году в первом выпуске своих «Критических

опытов» он поместил «Десницу и шуйцу Льва Толстого» отдельно, как самостоятельное сочинение. В предисловии к «Критическим опытам» Михайловский объяснил причины, побудившие его выделить из «Записок профана» разделы, относящиеся к Л. Толстому, и переработать текст. «Записки профана» в Собрании сочинений публиковались, писал Михайловский, «в том самом виде, как они велись в журнале, то есть со всеми отступлениями, довольно запутанными, и полемическими экскурсиями. Для предполагаемой книжки я постарался все это устранить, тщательно выделив лишь то, что относится к характеристике графа Л. Н. Толстого. Однако следы первоначального облика всей работы там и сям сохранились, и я прошу читателя снисходительно отнестись к возникшим отсюда неровностям и шероховатостям, обнаруживающимся уже при самом приступе к делу: подробности специально педагогической распри, из-за которой сырбор загорелся, я старался устранить по возможности совсем». Устранение этих подробностей обозначено Михайловским в начале статьи строкой точек.

В настоящем издании статья печатается по тексту «Критических опытов».

Цитируя Л. Н. Толстого, Михайловский на протяжении всей работы ссылается на издание: Л. Н. Толстой, Сочинения, М. 1873.

После данной статьи Михайловский вновь вернулся к Толстому в связи с идейным кризисом великого писателя и его проповедью «непротивления злу насилием». См. «Дневник читателя» (1886), разделы III, IV и V: «Нечто о морали. — О гр. Л. Н. Толстом», «А. Н. Островский. Еще о графе Л. Н. Толстом» и «Опять о Толстом». В цикле «Случайные заметки и письма о разных разностях» (1888—1892) см. «О Крейцеровой сонате». Все эти работы вошли в т. 6 Сочинений Н. К. Михайловского, СПб. 1897. В цикле «Литература и жизнь» см. статью «Воскресение» («Русское богатство», 1900, март).

1 Л. Н. Толстой занимался педагогическими вопросами в 1861—1862 годах. Он изучил постановку школьного дела в России и за границей, основал собственную школу в Ясной Поляне и издавал в в 1862 году педагогический журнал «Ясная Поляна».

2 На работу Л. Толстого «О народном образовании» Н. Н. Страхов откликнулся статьей «Обучение народа» в реакционной газете «Гражданин», 1874, №№ 48 и 50. См. Н. Страхов, Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом, изд. 2, СПб. 1887, стр. 393—414.

3 В начале 60-х годов, будучи учителем тульской гимназии, Е. Л. Марков полемизировал с педагогическими идеями Толстого в статье «Теория и практика яснополянской школы» («Русский вест-

ник», 1862, март). В 70-х годах Марков выступил против статьи Л. Н. Толстого «О народном образовании». К тому времени Марков был уже довольно известным писателем, автором путевых очерков (особенно популярны были его крымские очерки) и публицистических статей, из которых много шума наделала статья «Софисты XIX века» (1874), упоминаемая ниже Михайловским.

[4] *«Семья и школа»* — ежемесячный педагогический журнал прогрессивного направления, издававшийся в 1871—1878 годах в Петербурге.

[5] *Схоластики* — средневековые философы-богословы.

[6] *Версальский склад жизни* — монархический порядок во Франции до буржуазной революции 1789 года; *Декларация прав человека и гражданина* — манифест, принятый французским учредительным собранием в 1789 году; *Карл Моор* — герой драмы Шиллера «Разбойники» (1781). Говоря о реакции против «версальского склада жизни», Е. Л. Марков имеет в виду факты общественно-политического и литературного движения кануна и начала французской буржуазной революции XVIII века.

[7] Здесь Михайловский сочувственно излагает взгляды философов-идеалистов. О философских заблуждениях Михайловского см. вступительную статью.

[8] *Кифа Мокиевич* — персонаж «Мертвых душ» Гоголя, любитель пустопорожних рассуждений.

[9] *Дыба, испанский осел, нюренбергская железная девица* — орудия пытки.

[10] *Тории* — английские консерваторы.

[11] Со Спенсером Михайловский полемизировал неоднократно; первая крупная работа Михайловского «Что такое прогресс?» (1869) была откликом на Собрание сочинений Спенсера.

[12] Анонимная статья «Г. Кавелин как психолог» принадлежит известному революционеру, теоретику народничества П. Л. Лаврову.

[13] В третьей главе первого тома «История Англии» Маколей говорит о торжестве прогресса в английской жизни.

[14] Тяжелое положение трудящихся Мальтус объяснял перенаселением и считал необходимым сокращение рождаемости. Классики марксизма не раз указывали на реакционный характер теории Мальтуса.

[15] Л. Н. Толстой имеет в виду изгнание польских интервентов под руководством К. Минина и Д. Пожарского в 1612 году и Отечественную войну с Наполеоном I в 1812 году.

[16] Имеется в виду героический переход русских войск под командованием А. В. Суворова через горный массив Сен-Готард в

Швейцарии во время итальянского и швейцарского походов против Наполеона Бонапарта в 1799 году.

[17] Речь идет о вооруженной интервенции, предпринятой правительством Николая I во время венгерской революции 1849 года.

[18] Роман Н. Чаева «Богатыри» из времен Павла I появился отдельным изданием в 1873 году, роман Е. Салиаса «Пугачевцы» — в 1874 году.

[19] Речь идет о статье А. М. Скабичевского «Литературные противоречия», помещенной в мартовском номере «Отечественных записок» за 1874 год.

[20] Газета *«День»* славянофильского направления издавалась И. С. Аксаковым с 1861 по 1865 год.

[21] *Почвенничество* — реакционное течение общественной мысли 60-х годов, близкое к славянофильству; его представители: Ф. М. Достоевский, Аполлон Григорьев, Н. Н. Страхов. «Почвенники» обвиняли революционно-демократическую интеллигенцию в отрыве от «почвы», то есть от «народа», которому приписывали склонность к терпению, смирению и покорности.

[22] *«Гражданин»* — газета крайне реакционного направления, издававшаяся с 1872 по 1914 год ярым крепостником князем В. П. Мещерским. Михайловский неоднократно выступал против газеты «Гражданин» и ее редактора в статьях: «Гражданин» и благонамеренность» («Литературные воспоминания и современная смута», т. I, СПб. 1900), «Обеспокоенный консерватор» («Русская мысль», 1902, февраль), «Гражданин» («Русское богатство», 1903, октябрь).

[23] В 1872 году Н. Н. Страхов в своей статье «Ренан», имея в виду содержащуюся в работах французского писателя идеализацию феодального порядка во Франции, заметил: «Ренан есть нечто вроде французского славянофила...» (Н. Страхов, Борьба с Западом в нашей литературе, СПб. 1882, стр. 290).

[24] Михайловский цитирует работу Э. Ренана «Умственная и нравственная реформа» (Париж, 1872) по уже упоминавшейся статье Н. Страхова (см. примечание 23).

[25] *«Русский мир»* — реакционная газета, издававшаяся В. В. Комаровым, публицистом и военным деятелем.

[26] Все названные Михайловским педагоги, за исключением Цветкова, принадлежали к передовому лагерю русской педагогики. С Бунаковым и Евтушевским Л. Толстой полемизировал в статье «О народном образовании», в связи с которой написана работа Н. К. Михайловского. Подробнее об этом см. в примечаниях В. Ф. Саводника к статье Л. Толстого «О народном образова-

нии» в юбилейном издании Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, т. 17, М. 1936, стр. 593—611.

[27] Цитата из «Горя от ума» Грибоедова.

[28] Имеется в виду французская шуточная песенка «Мальбрук в поход собрался...»

[29] В № 5 журнала «Дело» за 1875 год была помещена статья о Гальтоне Н. Я. (Н. Ядринцева) «Современная бездарность». Приведенная Михайловским цитата представляет собой изложение взглядов Гальтона.

[30] Цитата из «Фауста» Гете (первая часть, сцена с Вагнером).

[31] В журнале «Заря», выходившем под редакцией Н. Н. Страхова, был напечатан только «Кавказский пленник» (1872, № 2), второй рассказ для народа «Бог правду видит, да не скоро скажет», упоминаемый далее Михайловским, был напечатан в журнале «Беседа» (1872, № 3).

[32] Имеется в виду статья В. Г. Авсеенко «Очерки текущей литературы», помещенная в газете «Русский мир», 1875, № 69.

[33] Речь идет о картине А. А. Иванова «Явление Христа народу».

[34] Это положение Михайловского не отражает истинного отношения Писарева к Шекспиру. В статье «Реалисты» Писарев ставит Шекспира по его значению для «работников мысли», желающих получить «широкое и всестороннее образование», рядом с крупнейшими учеными, в том числе с Дарвином. Об отношении к Щедрину см. статью Писарева «Цветы невинного юмора».

[35] В «Критическом фельетоне», упоминаемом Михайловским («Дело», 1875, № 5), сказано: «О «Войне и мире» у нас писали довольно много, но писали, по правде сказать, все что-то смутное и касающееся больше частных достоинств романа и таланта его автора». «...Критика упустила из виду основную идею «Войны и мира»...» и т. д.

[36] *Фребелевские сады* — учебные заведения для детей дошкольного возраста, основанные в 1840 году известным немецким педагогом Фридрихом Фребелем.

[37] В основе классификации наук у Конта лежит принцип постепенно возрастающей сложности предметов изучения.

[38] Эти имена употреблены Михайловским в качестве нарицательного обозначения иностранных педагогических авторитетов.

[39] Точное название книги, о которой идет речь: «Государство и народное образование в России с XVII века до учреждения министерств» (1874).

[40] *«Сборник государственных знаний»* — ежегодное издание, выходившее в 1874—1880 годах.

[41] Михайловский ссылается здесь на свою работу «Борьба за

индивидуальность» (1875—1876) и на гл. VI «Заметок профана» (1875), носившую то же название.

[42] Михайловский ссылается на работу Э. Геккеля «Общая морфология организмов» (1866).

[43] Рассказ ученика Л. Н. Толстого В. С. Морозова («Федьки») «Солдаткино житье» был опубликован в сентябрьской книжке «Ясной Поляны» и затем перепечатан в серии книжек «Из Ясной Поляны», издававшихся одним из учителей яснополянской школы А. А. Эрленвейном.

[44] Михайловский цитирует статью В. Г. Авсеенко «По поводу нового романа гр. Толстого».

[45] Слова Прудона, сказанные им некоему легитимисту (то есть одному из аристократических сторонников королевской власти во Франции), приводятся во многих биографиях Прудона. См., например, книгу, безусловно известную Михайловскому: Ю. Жуковский, Прудон и Луи Блан, СПб. 1866, стр. I.

[46] Имеется в виду «История о храбром гишпанском рыцаре Венециане и прекрасной королеве Ренцывене» — переводной рыцарский роман XVIII века, распространявшийся сперва в рукописях, а затем, во второй половине XVIII века, выходивший лубочными изданиями.

ЖЕСТОКИЙ ТАЛАНТ

Впервые опубликовано в «Отечественных записках», 1882, сентябрь и октябрь. Печатается по тексту Сочинений Н. К. Михайловского, т. 5, СПб. 1897, стр. 1—78.

Эта статья подводит итог предшествующим откликам Михайловского на творчество Достоевского. См. отзыв о «Бесах» в цикле «Из литературных и журнальных заметок 1873 года», гл. II («Отечественные записки», 1873, февраль; то же в Сочинениях Н. К. Михайловского, т. 1, СПб 1896) и упоминаемую ниже, в примечании 1, статью «О Писемском и Достоевском».

[1] Глава II «Записок современника», опубликованная в февральском номере «Отечественных записок» за 1881 год под названием «О Писемском и Достоевском», представляет собой первый отклик Михайловского на смерть Достоевского; эта статья вошла в т. 5 Сочинений Н. К. Михайловского, СПб. 1897.

[2] Статьи и лекции О. Ф. Миллера о Достоевском собраны в его книге «Русские писатели после Гоголя», ч. I, СПб. 1886.

[3] См. В. С. Соловьев, Три речи в память Ф. М. Достоевского, М. 1884. Во второй речи, произнесенной 1 февраля 1882 года, В. Соловьев говорит: *«Творят жизнь* люди веры. Это те, которые называются мечтателями, утопистами, юродивыми, — они же пророки,

истинно лучшие люди и вожди человечества. Такого человека мы сегодня поминаем».

[4] Генерал М. Д. Скобелев придерживался антигерманской ориентации и высказывался в этом духе в Париже.

[5] Достоевский умер 28 января 1881 года. Вскоре после его смерти, 1 марта 1881 года, народовольцами был убит Александр II. С этого времени в России на многие годы воцарился свирепый правительственный террор.

[6] Имеются в виду строки из стихотворения Е. А. Баратынского «На смерть Гете»:

Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.

[7] Платон высказал эти взгляды в своем сочинении «Государство».

[8] См. статью Добролюбова «Забитые люди» (1861).

[9] По преданию, римский консул Мениний Агриппа уговорил плебеев, покинувших Рим из-за притеснений патрициев, вернуться назад, рассказав им притчу, в которой сравнивал разные классы общества с частями человеческого тела (патриции — желудок, плебеи — руки и т. д.)

[10] Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Чернь»:

Печной горшок тебе дороже;
Ты пищу в нем себе варишь.

[11] Говоря о «классическом детоубийстве», Михайловский имеет в виду насаждавшееся правительством и пропагандировавшееся реакционными кругами так называемое «классическое образование», основанное на преподавании в средней школе древних языков. На Страстном бульваре в Москве помещалась типография Каткова, в изданиях которого восхвалялось классическое образование.

[12] Здесь Михайловский повторяет ходячее обывательское представление о жестокости Жан-Поля Марата.

[13] Подобные взгляды Достоевский высказывал в «Дневнике писателя», который он публиковал сначала в газете «Гражданин» (1873), а затем издавал отдельными выпусками (1876—1881).

[14] «Вечный муж» вышел отдельной книжкой в 1872 году в издании «Библиотеки современных писателей» А. Ф. Базунова.

[15] Имеется в виду рецензия Н. Страхова на роман Д. И. Стахеева «Наследники», помещенная в «Русском вестнике», 1875, № 6, стр. 799—817. В этой рецензии Н. Страхов хвалит Стахеева за мягкий юмор и противопоставляет ему Некрасова и Щедрина, у которых ирония переходит в глумление.

[16] См. «Идиот», т. 2, ч. 3, гл. I — слова Евгения Павловича Р.

[17] Михайловский цитирует отзыв Белинского о повести Достоевского «Хозяйка» в письме к В. П. Боткину от 4—8 ноября 1847 года. См. В. Г. Белинский, Избранные письма, т. 2, Гослитиздат, М. 1955, стр. 360. Белинскому посвящена книга А. Н. Пыпина: «Белинский, его жизнь и переписка» (1876).

[18] Имеется в виду популярный роман Эжена Сю «Парижские тайны», сюжет которого, в частности историю двух персонажей — принца Родольфа и Шуранёра (по прозвищу Резака), — Михайловский излагает неточно.

[19] Цитата из стихотворения Некрасова «Песня Еремушке» в цензурной его редакции. Точный текст: «необузданную, дикую к угнетателям вражду».

[20] См. «Дневник писателя» Достоевского за 1880 год.

[21] Цитата из стихотворения А. И. Полежаева «Вечерняя заря».

[22] Цитата из оды Г. Р. Державина «Бог».

[23] В 1849 году Достоевский в числе других петрашевцев был арестован и приговорен к смертной казни. Казнь была заменена каторжными работами, которые Достоевский отбывал в Омской каторжной тюрьме (1850—1854), затем он был определен рядовым в Сибирский линейный батальон в Семипалатинске.

[24] Михайловский говорит здесь о периоде общественного оживления накануне крестьянской реформы.

[25] Цитата из стихотворения А. Фета «Я пришел к тебе с приветом».

[26] Статья Добролюбова называется «Когда же придет настоящий день?».

[27] В предисловии к III тому своих сочинений в издании наследников братьев Салаевых (М. 1880) Тургенев рассказал о том, что в основе романа «Накануне» лежит подлинное происшествие, о котором он узнал из записок, переданных ему соседом по имению В. Каратеевым. Героем записок был болгарин Катранов, послуживший Тургеневу прототипом для образа Инсарова.

О ТУРГЕНЕВЕ

Настоящая работа представляет собой VII раздел цикла Н. К. Михайловского «Письма постороннего в редакцию «Отечественных записок». Впервые опубликована в «Отечественных записках», 1883, сентябрь. В качестве отдельной статьи под заглавием «О Тургеневе» была включена в т. 6 Сочинений Михайловского, СПб. 1879—1883. Затем вновь, в составе цикла, была опубликована в Сочинениях Н. К. Михайловского, т. 5, СПб. 1897, стр. 805—827. По тексту этого издания печатается здесь.

Данной работе помимо беглых упоминаний о Тургеневе в разных сочинениях Михайловского предшествовала его статья «Новь» в цикле «Записки профана» («Отечественные записки», 1877, февраль, то же в т. 3 Сочинений Н. К. Михайловского, СПб. 1897).

[1] Речь идет о статье Тургенева «По поводу «Отцов и детей» (1868—1869), в которой писатель с горечью рассказывает о том, что сразу после выхода романа реакционеры злорадно ухватились за слово «нигилист», использовав его в борьбе с революционным движением. Эта же статья упоминается и ниже, где речь идет о сочувствии Тургенева взглядам Базарова.

[2] *Савл* — первоначальное имя апостола Павла, который, по церковному преданию, до обращения в христианство был жестоким гонителем христиан.

[3] Михайловский имеет в виду либеральные симпатии Тургенева.

[4] Имеется в виду герой рассказа «Дневник лишнего человека» Чулкатурин.

[5] Михайловский, разумеется ошибочно, объясняет популярность Тургенева тем, что он создавал общечеловеческие типы, лишь заставляя их действовать в русской обстановке. В действительности же Тургенев в своих романах изображал идейные искания, типичные именно для русского общества.

[6] За неспособность к «трезвой», практической деятельности людей рудинского типа упрекали либеральные критики вроде С. Дудышкина; критики же революционно-демократического направления упрекали их за неспособность к активной общественной борьбе.

[7] *«Гамлетизированными поросятами»* Михайловский называл ренегатов революционного движения. См. гл. XVII «Записок современника» (Сочинения Н. Михайловского, т. 5, СПб. 1897).

О ВСЕВОЛОДЕ ГАРШИНЕ

Данная статья входит в цикл «Дневник читателя» (1885—1888). Впервые опубликована в «Отечественных записках», 1885, декабрь. Печатается по тексту Сочинений Н. К. Михайловского, т. 6, СПб. 1893, стр. 305—327.

[1] См. письмо Тургенева к Я. П. Полонскому от 2 января 1868 года (Первое собрание писем И. С. Тургенева, СПб. 1884, стр. 129). В этом письме Тургенев упрекает в отсутствии «выдумки» Ф. М. Решетникова, В. А. Слепцова и других писателей демократического направления.

[2] Из романов С. И. Смирновой наиболее популярны были «Огонек» (1870) и «Соль земли» (1872).

[3] Цитата из стихотворения С. Я. Надсона «Умерла моя муза».

[4] Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Я не люблю иронии твоей».

[5] См. письмо Тургенева А. П. Философовой от 11 сентября 1874 года (Первое полное собрание писем И. С. Тургенева, СПб. 1884, стр. 241—242).

[6] Книжки рассказов В. М. Гаршина вышли в 1882 и 1885 годах.

[7] Цитата из стихотворения Лермонтова «Ребенку».

[8] То есть за участника польского восстания 1863 года.

[9] Книга А. В. Верещагина «Дома и на войне» вышла в 1885 году.

[10] Имеется в виду премия имени Монтиона, выдававшаяся Французской академией за сочинения, способствующие улучшению нравственности.

[11] Слова Менения Агриппы из драмы Шекспира «Кориолан».

[12] Цитата из стихотворения Ф. Шиллера «Торжество победителей» в переводе В. А. Жуковского. Патрокл и Терсит — персонажи из «Илиады» Гомера.

[13] Слова Фауста из «Фауста» Гете.

[14] Эта заметка перепечатана в сборнике «Памяти В. М. Гаршина», СПб. 1889.

ЕЩЕ О ГАРШИНЕ И О ДРУГИХ

Данная статья, как и предшествующая, входит в цикл «Дневник читателя» (1885—1888). Впервые опубликована в «Отечественных записках», 1886, февраль. Печатается по тексту Сочинений Н. К. Михайловского, т. 6, СПб. 1897, стр. 328—332. Статья называется «Еще о Гаршине и о других», так как вслед за отзывом о Гаршине помещены совершенно самостоятельные заметки о других беллетристах; эти заметки здесь не воспроизводятся.

[1] Гете, Фауст, ч. I, сцена у ворот, слова Фауста.

[2] *Спенсеровы дети* — сторонники органической теории Г. Спенсера; согласно этой теории, враждебные классы являются естественными частями единого социального целого, подобно органам единого организма, а социальное неравенство — нормальным состоянием общества.

[3] Слова из стихотворения Гете «Певец», из которых сторонники «чистого искусства» сделали свой девиз.

Г. И. УСПЕНСКИЙ КАК ПИСАТЕЛЬ И ЧЕЛОВЕК

Эта работа была написана в 1888 году и опубликована в качестве вступительной статьи к Сочинениям в двух томах Г. И. Успенского, изд. Ф. Ф. Павленкова, СПб. 1889. В 1897 году она

была включена в т. 5 Сочинений Н. К. Михайловского. После смерти Г. И. Успенского статья была переработана и значительно дополнена биографическими данными. В новой редакции она была напечатана в Полном собрании сочинений Успенского, изд. Б. К. Фукса, т. XII, Киев, 1904, стр. 5—78. В этой последней авторской редакции она и печатается в настоящем издании.

При переработке статьи Михайловский использовал ранее им изданные «Материалы для биографии Г. И. Успенского» («Русское богатство», 1902, март и апрель).

Письма Г. И. Успенского, цитируемые Михайловским, см. в Полном собрании сочинений Г. И. Успенского, изд. АН СССР, тт. XIII и XIV, 1951—1954. Иные из них (письма к самому Михайловскому, приведенные в «Материалах для биографии Г. И. Успенского» и в данной статье) явились первоисточником для последующих публикаций, так как оригиналы их не сохранились.

[1] См. примечание 1 к статье «О Всеволоде Гаршине».

[2] Представители литературной плеяды демократов-шестидесятников — Н. В. Успенский, В. А. Слепцов и упоминаемые далее А. И. Левитов и Ф. М. Решетников — прославились трезвым изображением народной жизни, без прикрас, без идеализации. Такую манеру изображения народа приветствовал Чернышевский в статье «Не начало ли перемены?» (1861), посвященной народным рассказам Н. В. Успенского.

[3] «Грозные окрики» вызывали крестьянские очерки Г. Успенского как у критиков и публицистов правонароднической газеты «Неделя» (П. П. Гайдебуров, И. И. Каблиц-Юзов и др.), так и у откровенно реакционных критиков, вроде сотрудника газеты «Новое время» В. Буренина, который обвинял Успенского даже в «крепостническом ретроградстве». «До чего договорился Глеб Успенский» — название статьи Л. Е. Оболенского, напечатанной в «Русском богатстве», 1883, № 7. О критической полемике, разгоревшейся в связи с первыми деревенскими очерками Г. Успенского, см. примечания к тому V Полного собрания сочинений Г. И. Успенского, изд. АН СССР, 1940, стр. 425—468.

[4] В публицистическом трактате «Защита народа в Англии» Мильтон выступил горячим сторонником английской буржуазной революции XVII века.

[5] Цитируется серенада Дон-Жуана из драматической поэмы А. К. Толстого «Дон-Жуан» и стихотворение Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива».

[6] В «Бесах» Тургенев карикатурно изображен в лице писателя Кармазинова, читающего на литературном вечере свое произведение

«Merci»; в нем пародируются «Призраки» и «Довольно», есть там ядовитые выпады и против стилистики тургеневского пейзажа.

[7] В статье «Менцель-французоед» Людвиг Бёрне сказал: «...Я пишу кровью моего сердца и соком моих нервов, и у меня не всегда хватает мужества собственной рукой причинять себе боль и не всегда хватает сил долго переносить ее» (Людвиг Б ё р н е, Менцель-французоед, Парижские письма, Гослитиздат, М. 1938, стр. 643).

[8] Слова из стихотворения «Памяти приятеля» («Упорствуя, волнуясь и спеша, ты честно шел к одной великой цели»).

[9] Имеется в виду повесть Лермонтова без заглавия (1832), которую позднейшие издатели условно назвали «Вадим».

[10] О сен-симонистском делении исторических эпох см. «Изложение учения Сен-Симона», изд. АН СССР, 1947, стр. 161—188 (лекция третья).

[11] Стихотворение А. А. Фета.

[12] Роман Фридриха Шпильгагена «Один в поле не воин» (1866) посвящен немецкому рабочему движению.

[13] См. примечание 3 к данной статье.

[14] *Ариман* — бог зла в иранской мифологии.

[15] См. статью Г. Успенского 1888 года «Не все коту масленица (П. К. Э н г е л ь м е й е р, Экономическое значение современной техники, М. 1887, изд. журнала «Техник»)».

[16] Названная статья Успенского 1887 года посвящена двум работам: книге И. Тимощенкова «Борьба с земельным хищничеством. Бытовые очерки», СПб. 1887, и «Запискам» знаменитого врача Н. И. Пирогова (1886).

[17] В «Песне о рубашке» Томаса Гуда, являющейся лучшим образцом его социальной сатиры, поэт выступает против бесчеловечной эксплуатации рабочих.

[18] Автобиография Г. И. Успенского полностью впервые была опубликована Н. К. Михайловским в статье «Материалы для биографии Г. И. Успенского («Русское богатство», 1902, апрель). Перепечатана в т. XIV Полного собрания сочинений Г. И. Успенского, изд. АН СССР, М. 1954.

[19] Под псевдонимом «Дм. Васин» писал дядя Г. И. Успенского Д. Г. Соколов.

[20] Дневник доктора Синани опубликован в «Летописях Государственного литературного музея», кн. 4, «Глеб Успенский», М. 1939, стр. 515—597.

[21] В действительности Успенский родился 13 октября 1843 года.

[22] В 1867 году «Отечественные записки» перешли от А. А. Краевского к Н. А. Некрасову. В 1868 году был обновлен состав редак-

ции. С этого времени «Отечественные записки» стали передовым демократическим органом.

[23] Ошибка Михайловского: Успенский уехал за границу в 1872 году.

[24] Автобиографическая заметка Г. Успенского датируется приблизительно 1883 годом. См. Г. И. Успенский, Полное собрание сочинений, изд. АН СССР, т. XIV, 1954, стр. 738.

[25] *Г-жа N*, предоставившая Михайловскому коллекцию писем Г. Успенского — писательница Е. П. Леткова.

[26] В правонародническом журнале «Неделя», проповедовавшем «теорию малых дел», псевдонимом «Единица» подписывался беллетрист и критик В. Л. Кигн.

[27] *«Обнаженные нервы»* — название сборника стихов А. М. Емельянова-Коханского.

[28] Утверждение Михайловского об отрицательном отношении марксистов к творчеству Успенского не соответствует действительности. Отмечая некоторые противоречия и слабые стороны в творчестве писателя, русские марксисты вместе с тем всегда высоко расценивали жизненную правду произведений Успенского и широко использовали его творчество в борьбе с народничеством. На авторитет Успенского опирались ранние марксисты — И. А. Гурвич (в книге «Экономическое положение русской деревни», 1892), А. А. Санин (в статьях на страницах марксистской газеты «Самарский вестник», 1896—1897 гг.), Н. Е. Федосеев (см. его полемические письма к тому же Михайловскому в 1894 году — «Литературное наследство», т. 7—8, 1933, стр. 181—239). На сочинения Успенского ссылался в своих работах Г. В. Плеханов, ему принадлежит большая статья об Успенском: «Наши беллетристы-народники. Статья первая. Г. И. Успенский», 1888. Наконец, не раз сочувственно ссылался на Успенского В. И. Ленин. Ленинская «Искра» после смерти Г. И. Успенского посвятила ему специальную статью, в которой отмечены его выдающиеся заслуги. О Г. Успенском в оценках Г. В. Плеханова и В. И. Ленина см.: Н. И. Соколов, Творчество Глеба Успенского в оценке Г. В. Плеханова.— Ученые записки Ленинградского государственного университета, 173, Л. 1954, стр. 258—305; Н. И. Пруцков, В. И. Ленин о Глебе Успенском. — Ученые записки Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР, т. I, М. 1952, стр. 197—259; Н. И. Соколов, В. И. Ленин о творчестве Глеба Успенского. — Вестник Ленинградского государственного университета, 1955, № 3, стр. 37—59.

[29] *Менониты* и упоминаемые далее *штундисты* — религиозные сектанты.

[30] Эпизод этот произошел не вскоре после закрытия «Отечествен-

ных записок», а незадолго до их закрытия. В. П. Буренин поместил в нескольких номерах «Нового времени» за 1884 год (с 17 февраля по 23 марта) статью о Г. Успенском: «Беллетрист шестидесятых годов». В этой статье Михайловский и Салтыков-Щедрин были обвинены в том, что они якобы создали Успенскому неблагоприятные условия для работы.

[31] В этом письме Успенский беспокоится за Е. П. Леткову (N), опасаясь дурного влияния со стороны руководящих сотрудниц «Северного вестника» А. М. Евреиновой (Z) и А. А. Давыдовой (NN). См. Г. И. Успенский, Полное собрание сочинений, т. XIII, изд. АН СССР, М. 1951, стр. 652.

[32] Письмо К. Маркса в редакцию «Отечественных записок» было опубликовано в октябрьском номере «Юридического вестника» за 1888 год. См. «Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями», изд. 2, М. 1951, стр. 220—223. Этому письму Г. Успенский посвятил статью «Горький упрек» (1888).

[33] Успенский был в Болгарии в 1887 году. В приведенном письме отразилось возмущение писателя как политикой болгарских властей, находившихся под контролем Австро-Венгрии, так и грубым нажимом со стороны царского правительства, старавшегося укрепить в Болгарии свое влияние. Впечатления от болгарской поездки отразились в цикле Успенского «Мы. Очерки. IV. Под впечатлением поездки по Дунаю» (1887).

ЩЕДРИН

Настоящий цикл статей впервые печатался отдельными фельетонами в газете «Русские ведомости» в 1889 году. Затем он был издан отдельной книжкой под общим заглавием «Щедрин» во втором выпуске «Критических опытов» Н. К. Михайловского, М. 1890. В предисловии к этой книге Михайловский писал: «Другой сумел бы, может быть, переработать эти фельетоны в нечто более связное, исправить и дополнить их, но мне никогда не удавалось справиться с препятствиями, выражаемыми пословицей: что написано пером, того не вырубить топором. Я ничего не изменил».

Без переработки статьи о Щедрине были включены Михайловским в т. 5 Сочинений, СПб. 1897, стр. 137—286. По этому тексту они печатаются в настоящем издании.

В Сочинениях изд. 1897 г. Михайловский дополнил цикл статей о Щедрине новой работой «Материалы для литературного портрета М. Е. Салтыкова (т. 5, стр. 287—304), первоначально опубликованной в апрельском номере «Русской мысли» за 1890 г. Эта статья здесь не воспроизводится, так как общего значения она не имеет:

ее главная ценность заключалась в первой публикации выдержек из писем М. Е. Салтыкова к Н. К. Михайловскому. Эти письма затем были опубликованы полностью. См. Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, тт. 19 и 20, Л. 1937—1939.

[1] В вятской ссылке М. Е. Салтыков был с 1848 по 1855 год.

[2] *«Московские кликуши»* — реакционная клика Каткова.

[3] *Бренн* — предводитель галлов, завоевавших Рим, взвешивая сумму, за которую откупились от него римляне, бросил на чашку весов и свой меч, воскликнув: «Горе побежденным!»

[4] В 1880 г. либеральные представители печати выдвинули предложение о том, чтобы взыскания на печать накладывались не по усмотрению органов правительственной власти, а только по решению суда. Щедрин отнесся к этому либеральному проекту более чем скептически. В гл. III очерков «За рубежом» он писал: «Разумеется, нам, литераторам, оно понятно, что по суду и скорпиона приятно проглотить, — особливо ежели он запущен на точном основании, — но ведь надобно же, чтобы и публика поняла, почему судебный скорпион считается более подходящим, нежели скорпион административный», См. Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. XIV, ГИХЛ, Л. 1936, стр. 152.

[5] Имеются в виду окрики реакционной прессы по адресу демократической печати. Впервые это выражение было употреблено в газете «Московские ведомости» в 1875 году. Щедрин неоднократно переадресовывал его реакционным публицистам. См. «Письма к тетеньке», «Круглый год».

[6] Полемика эта происходила в 1872 году в связи с щедринским «Дневником провинциала», где резко разоблачался буржуазный либерализм и его орган «Старейшая всероссийская пенкоснимательница», в которой «Санкт-Петербургские ведомости» узнали себя. Против Щедрина выступил В. П. Буренин, в то время либеральный журналист, впоследствии сотрудник реакционного «Нового времени». В «Отечественных записках» ему отвечал Михайловский. Об этой полемике см. Я. Эльсберг, Салтыков-Щедрин, Гослитиздат, М. 1953, стр. 306 и сл.

[7] Речь идет о картине Каульбаха «Hunnenschlacht» («Битва гуннов»).

[8] Персонаж романа Вольтера «Кандид».

[9] Имеется в виду античный мифологический сюжет о Пандоре, которую Зевс послал на горе людям, дав ей ящик, где заключены были всевозможные бедствия.

[10] Имеются в виду два библейских сказания: о Каине, убившем своего брата Авеля, и о Хаме, надругавшемся над своим отцом Ноем.

[11] См. статью Добролюбова «Губернские очерки».

[12] Из стихотворения Н. А. Некрасова «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая муза»).

[13] Здесь цензурная замена. У Щедрина: «народ, представляющий собою идею демократизма». См. Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. 18, ГИХЛ, 1937, стр. 235.

[14] *Седанский герой* — Наполеон III, во время франко-прусской войны потерпевший поражение под Седаном (1870).

[15] Оргон и госпожа Пернель — персонажи комедии Мольера «Тартюф».

[16] Перечислены персонажи «Убежища Монрепо» (Разуваев, Груздев), «Господ Головлевых» (семейство Головлевых) и «Благонамеренных речей» (все остальные).

[17] Одним из поводов Крымской войны был спор между католической и православной церковью о преимущественном праве владения религиозными памятниками в Иерусалиме.

[18] *Лихтенштейнец* — здесь, в контексте статьи, — немецкий обыватель. У Щедрина в «Силе событий» в этом же смысле названы мекленбуржцы, гессенцы и другие немецкие обыватели, торжествовавшие в 1871 году победу над Францией Наполеона III.

[19] См. примечание 6 к настоящей статье.

[20] Речь идет о работе К. К. Арсеньева «Русская общественная жизнь в сатире Салтыкова». Вошла в сборник Арсеньева «Критические этюды по русской литературе», т. I, СПб. 1888. Приводимые далее Михайловским цитаты из Арсеньева см. на стр. 72—74 названной книги.

[21] Девиз правонароднической газеты «Неделя».

[22] *«Галльский петух»* — национальная эмблема Франции, возникшая, по-видимому, из-за двойного значения слова gallus в латинском языке: галл (француз) и петух.

[23] В 1875—1880 годах Э. Золя сотрудничал в «Вестнике Европы», где помещал свои «Парижские письма», в которых было дано теоретическое обоснование «натурализма». Пропагандистом теорий Золя в России был П. Д. Боборыкин.

[24] Из книги Ренана «Умственная и нравственная реформа» (1872), которую Михайловский цитирует по статье Н. Н. Страхова «Ренан». См. Н. Страхов, Борьба с Западом в нашей литературе, СПб. 1882, стр. 278.

[25] Имеется в виду евангельская легенда о благочестивом Симеоне, которому было предсказано, что он не умрет, не увидав Христа. Увидев младенца Христа в храме, он произнес эти слова.

[26] По греческой мифологии и по «Илиаде» Гомера, Прекрасная Елена, жена спартанского царя Менелая, в отсутствие мужа бежала

с троянским царевичем Парисом, что привело к войне. Здесь, по-видимому, имеется в виду оперетта Оффенбаха «Прекрасная Елена», в которой пародируется этот мифологический сюжет.

[27] Из стихотворения Гете «Прометей».

[28] Эти слова принадлежат не Гете, а Бюффону («Гений есть величайший дар терпения»), произнесшему этот афоризм в речи при вступлении в члены Французской академии.

[29] См. В. Ф. Чиж, Достоевский как психопатолог, М. 1885.

[30] См. И. С. Тургенев, Первое собрание писем, СПб. 1884, стр. 200.

[31] Имеется в виду разговор М. Е. Салтыкова с Л. С. Маковым, занимавшим пост министра внутренних дел в 1879—1880 годах.

[32] Повесть Л. О. Котелянского «Чиншевики» напечатана в декабрьском номере «Отечественных записок» за 1878 год.

[33] См. примечание 15 к статье «Жестокий талант».

ОБ ОТЦАХ И ДЕТЯХ И О Г. ЧЕХОВЕ

Впервые опубликовано в газете «Русские ведомости», 1890, № 104, как очередной фельетон в цикле «Письма о разных разностях» (впоследствии объединенном со «Случайными заметками» под общим заглавием «Случайные заметки и письма о разных разностях»). Затем статья была включена в сборник Михайловского «Литература и жизнь», СПб. 1892, и в его Сочинения, т. 6, СПб. 1897, стр. 771—784. По этому последнему тексту статья печатается в настоящем издании.

После данной статьи Михайловский неоднократно писал о Чехове. См. «Палата № 6» в цикле «Случайные заметки и письма о разных разностях». Сочинения, т. 6, СПб. 1897; «Мужики» г. Чехова» в цикле «Литература и жизнь»: («Русское богатство», 1897, июнь), «О страшной силе г. Novus'a, о моей робости и некоторых недоразумениях» (там же, 1897, ноябрь), «Кое-что о Чехове» (там же, 1900, январь).

[1] Н. В. Шелгунов в 80-х годах на страницах «Русской мысли» блестяще полемизировал с «теорией малых дел», пропагандировавшейся газетой «Неделя». Михайловский в 1889 году коснулся этой полемики в своих «Случайных заметках». См. Сочинения Н. К. Михайловского, т. 6, СПб. 1897, стр. 632 и сл. В мартовской книжке «Русской мысли» за 1890 год, о которой дальше идет речь, Н. В. Шелгунов полемизировал с программными статьями «Недели»: «Отцы и дети нашего времени» В. Б <ирюковича> — 1890, № 5, и «Новое литературное поколение. (Опыт психологической характеристики)» Р. Д <истерло> — 1888, №№ 13 и 15.

[2] Щедрин осмеивал пресловутый афоризм «наше время — не время широких задач» во многих своих произведениях: в «Пестрых письмах», «Благонамеренных речах», «Пошехонских рассказах» и др.

[3] В газете «Новости и Биржевая газета», 1890, № 13, в статье В. О. Михневича «Театр и музыка (Бенефис Савиной)» было сказано: «...Островский с его безыскусственностью, чрезвычайно простой структурой его пьес, с незамысловатостью их интриги, с их давно отжившими типами, картинами и интересами, если не устарел, то во всяком случае не по вкусу нынешнему зрителю». Подобное утверждение см. в статье того же автора «Вчера и сегодня», там же, № 21.

[4] «Литератор пописывает, а читатель почитывает» — фраза Щедрина из «Пестрых писем», письмо 1-е.

О МАКСИМЕ ГОРЬКОМ И ЕГО ГЕРОЯХ

Статья написана в связи с выходом в свет двух томов «Очерков и рассказов» М. Горького (1898). Впервые опубликована в «Русском богатстве», 1898, сентябрь, в цикле «Литература и жизнь». Включена в подготовленный Михайловским к печати и вышедший после его смерти сборник «Отклики», т. II, СПб. 1904, стр. 338—359. В настоящем издании публикуется по тексту «Откликов».

Сочинения М. Горького Михайловский цитирует по изданию «Очерков и рассказов».

[1] А. Н. Островский, Не все коту масленица, сцена III, явление 3.

[2] В журнале «Северный вестник» в 1897—1898 годах были опубликованы рассказы Горького «Озорник», «Мальва» и «Варенька Олесова».

[3] Ромул и Рем, легендарные основатели Рима и Римского государства, по преданию, в юности стояли во главе шайки удальцов.

[4] Цитата из стихотворения Лермонтова «Тучи».

[5] Заключительные слова «Сцены из Фауста» Пушкина.

[6] Этой теме посвящена статья Михайловского «Еще о г. Максиме Горьком и его героях» («Русское богатство», 1898, октябрь).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН *

---

* Указатель составлен Л. Л. Рудником.

Имена, встречающиеся только в примечаниях, в указатель не включены.

СОДЕРЖАНИЕ

Н. К. Михайловский

Литературно-критические статьи

Редактор *Е. Мельникова* Худож. редактор *Г. Масляненко*
Технич. редактор *М. Позднякова* Корректоры *Э. Зайчикова и Т. Кузина*

Сдано в набор 14/III—1957 г. Подписано в печать 25/VII 1957 г.
Бумага 84×108 1/32—20,75 печ. л.=34,03 усл. печ. л. 36,72 уч.-изд. л.+1 вкл.
=36,77 л. Тираж 10000 экз. Заказ № 265. Цена 10 р. 75 к.
Гослитиздат, Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

20-я типография Главполиграфпрома Министерства культуры СССР
Москва, Ново-Алексеевская, 52